



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Рис. 236.4 (1955)  
12

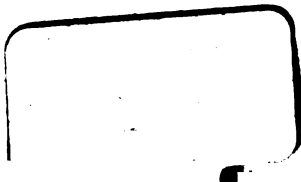
ПРОВЕРЕНО  
1940 г.

ПРОВЕРЕНО  
1955 г.

1947



HARVARD  
COLLEGE  
LIBRARY







ДЕКАБРЬ.

1875.

# ДѢЛО

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.

## СОДЕРЖАНІЕ.

- I. СТАРЫЯ ГИЗДА.** Романъ. (Гл. XIX—XXXIII.)  
(Окончаніе.) . . . . . А. МИХАЙЛОВА.
- II. НЕГРАМОТНЫЙ.** Стихотвореніе. (Изъ Влади-  
слава Сырокомли.) . . . . . Л. ТРЕФЛЕВА.
- III. ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ Ж. - Ж. РУССО.**  
(Окончаніе.) . . . . . С. СТАВРИНА.
- IV. ЖИЗНЬ.** Стихотвореніе. . . . . Н. СУРИКОВА.
- V. ИСПОВѢДЬ СТАРИКА.** Романъ. (Гл. XX—XXIII.)  
(Окончаніе.) . . . . . ИПОЛИТА ПЬЕВО.
- VI. ГЕРЦЕГОВИНЕЦЪ ВЪ ТУРЕЦКОЙ ТЮРЬМѢ.**  
Стихотвореніе. . . . . В. Н. СЛАВЯНСКАГО.
- VII. НА ПУТИ ВЪ ПЕРСІЮ.** (Окончаніе.) . . . . П. ОГОРОДНИКОВА.
- VIII. НЕВЛАГОДАРНЫЕ.** Стихотвореніе. . . . . П. БЫКОЗА.
- IX. КРАСАВЕЦЪ.** Романъ. (Гл. XX—XXVIII.)  
(Окончаніе) . . . . . ЖЮЛИЯ КЛАРЕТИ.
- X. СУДЬБА РАЙИ.** Стихотвореніе. (Съ сербскаго.) В. Н. СЛАВЯНСКАГО.

Ом. на оборотѣ.

## СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

### XI. РОЛЬ МЫСЛИ ВЪ ИСТОРИИ. . . . . И. НИКИТИНА.

(Опытъ исторіи мысли. Т. I. Вып. I. Издан. журнала «Знаміе».)

### XII. НЕ ПОДОЖДАТЬ-ЛИ ОТНИМАТЬ? (Окончаніе.) Д. Л. НОРДОВЦЕВА.

(По поводу предположеній о преобразованіи волостныхъ судовъ.)

### XIII. ЕЩЕ О ФРЕВЕЛЪ И ДѢТСКИХЪ САДАХЪ. Б. ЛЕНСКАГО.

### XIV. ПАРИЖСКІЯ ПИСЬМА. . . . . АНОНИМА.

### XV. НОВЫЯ КНИГИ.

Гете въ молодости и его поэтическія произведенія. Іоганнъ Шерръ. Спб. 1876 г.—Ерестьяно-присяжные. Н. Златовратскаго. Спб. 1875 г.—Герцеговина въ историческомъ, географическомъ и экономическомъ отношеніяхъ. Спб. 1875 г.—Путешествіе по Германіи и Швейцаріи, отъ Петербурга до Монблана. Путеводитель и чтеніе для юношества. И. Бѣлова. Изданіе И. И. Глазунова. Спб. 1875 г.

### XVI. РОЗЫ ПРОГРЕСА. (Продолженіе.) . . . . . 666.

Современный романъ-фельетонъ съ консерваторами, либералами, плутократами, жидами, адвокатами, прокурорами, художниками, журнальными авторами и сотрудниками, спиритами, кокетками, амурами, похаживаніями, увеселительными и благотворительными вечерами и спектаклями, поединками, поджогами для полученія страховой преміи, торжествомъ добродѣтели, посрамленіемъ порока и проч., и проч., и проч.

### XVII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА. И. ТРИГО.

Обзоръ событій нынѣшняго года.—Обанкротившіяся правительства.—Герой нашего времени, Бетель Струсбергъ.—Жизнь его въ Лондонѣ и Соединенныхъ Штатахъ.—Струсбергъ находитъ свое призваніе — Промышленныя предпріятія Струсберга.—Его благотворительность.—Ловко дѣлаетъ въ Румыніи.—Внутреннія затрудненія и экономическій упадокъ въ Германіи.—Новый избирательный законъ во Франціи.—Выборъ сенаторовъ.—Въ Испаніи все идетъ по-старому.—Экс-королева Изабелла.—Святѣйшій отецъ папа благодумствуетъ.—Современное значеніе Италіи.—Поразительная перемяна европейской политики.—Жизненный нервъ европейской политики.—Слухи о готовящемся возстаніи въ Болгаріи.—Варварскій способъ веденія войны въ Босніи и Герцеговинѣ.—Эмиграція изъ возставшихъ провинцій.—Раса, религія и языкъ не составляютъ главной причины вражды, характеризующей Турцію.—Въ чемъ заключается органической порокъ турецкаго государства?—Лучше-ли самимъ туркамъ въ Турціи, чѣмъ христіанамъ?

# ДѢЛО

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.



№ 12.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ В. ТУШНОВА, ПО НАДЕЖДИНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 39.

1875.

*Р. 16444.*



2  
Рис. 1. 1875

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 15 декабря 1875 г.



321

# СТАРЫЯ ГНѢЗДА.

РОМАНЪ.

(Окончаніе.)

XIX.

По отъѣздѣ Гущина Данило Павловичъ нѣсколько развеселился и, широкими шагами ходя изъ угла въ уголь, началъ предаваться радужнымъ надеждамъ насчетъ своего опредѣленія на строящуюся желѣзную дорогу. По своей живой и подвижной натурѣ онъ былъ способенъ увлекаться самыми несбыточными мечтами. Въ этомъ отношеніи онъ имѣлъ много родственнаго сходства съ Александромъ Николаевичемъ Баскаковымъ. Мечтая о мѣстѣ, онъ то посылалъ къ чорту свою настоящую службу, то заливался смѣхомъ, представляя себѣ, какъ будетъ скандализованъ дядя Платонъ Николаевичъ, узнавъ, что его племянникъ тутъ-же въ городѣ служить у его бывшаго крѣпостного, то начиналъ строить планы насчетъ возможности обольстить дочь Гущина и жениться на этой „деревянной колодѣ“, на этой „пшеничной булкѣ“. Во всемъ этомъ было много чего-то дѣтскаго, ребяческаго, и въ то-же время высказывалось стремленіе добиться возможности „пожить“, не разбирая никакихъ средствъ, которыми купится эта возможность.

Максимъ слушалъ довольно равнодушно и разсѣянно всѣ эти изліянія и все болѣе и болѣе задумывался о предстоящемъ свиданіи. Ему, наконецъ, надоѣла болтовня брата и онъ выбрался изъ дому довольно рано, рѣшившись пройти пѣшкомъ до Ольховатаго.

Несмотря на то, что до Ольховатаго было слишкомъ семь верстъ, несмотря на то, что онъ шелъ неторопливо, онъ пришелъ очень рано къ назначенному мѣсту. Прудъ въ паркѣ Платона Ни-

колаевича находился недалеко отъ барскаго дома, въ довольно глухомъ и тѣнистомъ мѣстѣ. Сюда рѣдко заходилъ кто-нибудь изъ барскаго дома, и Максимъ могъ быть совершенно спокоенъ, что его никто не увидитъ здѣсь. Онъ легъ на берегу пруда, подъ густою тѣнью старой липы, и закурилъ папиросу, мечтая о томъ, что уяснить ему и какіе плоды принесетъ этотъ вечеръ. Дуня дѣлалась для него все болѣе и болѣе загадкой. Онъ видѣлъ, онъ угадывалъ, что она любитъ его, но онъ не понималъ, почему она какъ-будто боится сказать послѣднее, желанное слово.

Въ домѣ-же Платона Николаевича произошли въ этотъ день неожиданныя для многихъ сцены. Платонъ Николаевичъ всталъ въ этотъ день довольно рано и во время утренняго кофе, украсивъ при помощи камердинера парикомъ свою совершенно голую, какъ ладонь, голову, велѣлъ „попросить“ къ себѣ Аделаиду Александровну. Въ ожиданіи ея онъ, что-то обдумывая, прошелся по комнатамъ, и по его лицу нѣсколько разъ скользнула довольная усмѣшка. Онъ впередъ наслаждался тѣмъ, что онъ „поразитъ“ Адель неожиданностью. Дѣлать „сюрпризы“, выкидывать никѣмъ непредвидѣнныя штуки было однимъ изъ величайшихъ наслажденій для Платона Николаевича, и ничто не могло его такъ разсердить, какъ неудача въ этомъ отношеніи. Этой страсти во дни крѣпостнаго права не разъ были обязаны его дворовые своимъ освобожденіемъ отъ наказанія.

Теперь ему тоже предстояло насладиться впечатлѣніемъ подготовленнаго имъ сюрприза, и онъ былъ доволенъ. Минуть черезъ пять явилась и Адель, всегда державшаяся чинно и серьезно при дядѣ. Она поцѣловала его руку и сдѣлала обычный въ этихъ случаяхъ вопросъ:

— Вы звали меня, топ опсе?

— Да, мнѣ нужно поговорить съ тобой, отвѣтилъ дядя и, помѣстившись въ своихъ большихъ вольтеровскихъ вреслахъ, указалъ ей на стулъ.

Взглянувъ пристально на племянницу, онъ неторопливо началъ:

— У тебя является женихъ.

— Да, дядя, спокойно отвѣтила Адель. — Это такъ неожиданно... Эффекта никакого не произошло.

— А ты развѣ уже знаешь объ этомъ? удивился дядя и сдвинулъ свои густыя брови.

— Онъ вчера просилъ моей руки.

Дядя нахмурился еще болѣе; онъ не вѣрилъ своимъ ушамъ, что его племянникъ могъ попросить руки Адели раньше, чѣмъ переговорилъ съ нимъ. Но, можетъ быть, послѣ? Да нѣтъ, для чего же ему было соваться не въ свое дѣло? Платонъ Николаевичъ начиналъ сердиться не на шутку. Это не ускользнуло отъ вниманія Адели и она покраснѣла, угадывая отчасти причину недовольства дяди.

— И что-же вы ему отвѣчали-съ? уже насмѣшливо спросилъ дядя ядовитымъ тономъ и заигралъ серебряной табакеркой.

— Я... я, дядя...

Адель остановилась. Ее оскорбляло, что дядя, повидимому, хотѣлъ безъ ея воли распоряжаться ея судьбой, и въ то-же время она боялась испортить дѣло прямымъ отвѣтомъ. Она уже давно привыкла хитрить съ старикомъ, какъ съ нимъ хитрили всѣ. Гордость и страхъ боролись въ ней въ эту минуту. Дядя, между тѣмъ, молчалъ и тихо повертывалъ между большимъ и указательнымъ пальцами табакерку, подталкивая ее среднимъ пальцемъ и постукивая ея углами о ручку кресель. Онъ уже злорадно любовался смущеніемъ племянницы, которою былъ недоволенъ и которую готовъ былъ теперь помучить.

— Данило, дядя, можетъ быть добрымъ мужемъ, наконецъ уклончиво отвѣтила она.

Старикъ широко открылъ глаза.

— Данило? переспросилъ онъ, въ свою очередь, пораженный неожиданнымъ сюрпризомъ.

— Да, отвѣтила Адель.

— Данило? Ха, ха, ха! залился смѣхомъ старикъ.—Эта винная бочка, этотъ бурбонъ, этотъ трактирный гуляка, этотъ бреттеръ, выродившійся въ площаднаго драгуна, можетъ быть добрымъ мужемъ! Ха, ха, ха!

Краска еще сильнѣе бросилась въ лицо Адели. Она растерялась.

— Я надѣюсь, начала она,—я надѣюсь, что онъ переменится, я буду стараться повліять на него.

Дядя пристально взглянулъ на нее.

— Да, повліять, проговорилъ онъ, дѣлая сильныя ударенія на словахъ. — Хочется имѣть мужа подъ башмакомъ, объѣздить его, водить на кордѣ... Это недурно обдуманно. Другой мужъ по-

требуетъ повиновенія. А этотъ глупъ, выдержки нѣтъ, характера нѣтъ! Имъ управлять легко!

Адель глядѣла въ сторону. Дядя угадывалъ ея мысли и безпоощадно выводилъ ее на свѣжую воду.

— Ты вѣдь именно это думала? спросилъ онъ, не довольствуясь однимъ ея смущеніемъ и требуя положительнаго отвѣта.

— Я думала... начала Адель.

— Я тебя спрашиваю, такъ-ли ты рассчитывала?

— Да, глухо отвѣтила Адель и прямо взглянула на дядю. Въ ея глазахъ блеснуло какое-то недоброе выраженіе.

Дядя небрежно опять началъ постукивать табакеркой.

— А я тебѣ приготовилъ совершенно другого жениха, отчетливо и неторопливо заговорилъ онъ, торжествуя, что сюрпризъ все-таки удался.—Твоей руки просить Аркадій...

Адель удивилась, смутилась, но молчала. Ея самолюбіе было сильно оскорблено тѣмъ, что Аркадій не счелъ нужнымъ предварительно переговорить съ нею. Она понимала, что полупьяный Данило Павловичъ поступилъ честно и лучше.

— Правда, у Аркадія тяжелый, настойчивый и упрямый характеръ, продолжалъ дядя.—Его подъ башмакъ трудно взять. Онъ, кромѣ того, и пожилъ, и едва-ли способенъ на страстную любовь. Данило въ этомъ отношеніи, можетъ быть, былъ-бы лучшимъ мужемъ.

Адель ничего не отвѣчала. Она боялась испортить дѣло выраженіемъ своего мнѣнія, зная, что дядя дѣлаетъ всегда то, чего не желаютъ другіе. Но онъ уже былъ раздраженъ и наслаждался мученіемъ своей жертвы.

— Что-же ты молчишь? Какое твое мнѣніе? спросилъ онъ.

— Мнѣ кажется, проговорила она,—что Данило въ сущности добрый человекъ, Аркадій-же...

— Да. Жаль только, что у Данилы нѣтъ ни гроша за душой и что онъ не умѣетъ свести концы съ концами даже при холостой жизни, перебилъ ее старикъ.—Впрочемъ, если-бы у него что-нибудь и было, то онъ промоталъ-бы все. Дать ему въ руки деньги—значить бросить ихъ въ огонь. Я, по крайней мѣрѣ, не далъ-бы ему ни гроша, ни одного гроша! Конечно, ты, можетъ быть, изъ любви къ нему перенесла-бы лишения? Ты даже, можетъ быть, надѣешься, что голодъ научить тебя трудиться, какъ вчера говорилъ Максимъ Павловичъ?

Платонъ Николаевичъ насмѣшливо наслаждался смущеніемъ молодой дѣвушки, едва скрывавшей душившую ее злобу. Въ эту минуту оба эти лица были достойны кисти художника. Старикъ продолжалъ допросъ:

— Что-же ты думаешь насчетъ этого брака?

Адель понимала, что ей нечего и думать о замужествѣ съ Данилой Павловичемъ. Будущее, полное лишеній, пугало ее. Но сознаться дядѣ, что она готова-бы была выйти за Данилу Павловича только въ томъ случаѣ, если-бы дядя далъ ей приличное приданое, она не могла. Она не отвѣчала, но старикъ не отставалъ.

— Ты скажи мнѣ откровенно, говорилъ онъ. — Ты сказала, что онъ добрый малый; ты, можетъ быть, уже общалась ему? Я тебя не стану ни въ какомъ случаѣ приневоливать. Выходи, если хочешь, за него.

— Я за него не пойду, глухо отвѣтила молодая дѣвушка, опускавая въ землю глаза.

— Да, я такъ и думалъ, проговорилъ старикъ. — Конечно, чтобы выйти за него безъ денегъ, нужна недюжинная энергія, нужна твердая сила воли. А что-же ты думаешь насчетъ Аркадія?

— Я, право, не знаю, прошептала Адель.

— Ты его не любишь? Или, можетъ быть, тебя оскорбляетъ, что онъ, не спросивъ тебя, обратился ко мнѣ?

— Я не ожидала его предложенія.

— Разумѣется, ты можешь бояться и его характера. Но я признаюсь, думалъ, что это была-бы недурная партія. Аркадій женится не безъ расчета. За тобой я могу дать хорошее приданое. Самъ онъ не богатъ и потому онъ завистль-бы отъ тебя. Это дало-бы возможность заставить его дѣлать то, что угодно тебѣ.

Адель была не въ силахъ вдругъ согласиться на эту сдѣлку и въ то-же время она только теперь вполне ясно почувствовала потребность поскорѣе вырваться изъ этого дома, избавиться зависимости отъ дяди.

— Ты, пожалуйста, не стѣсняйся, продолжалъ дядя. — Если ты не хочешь идти за него, оставимъ этотъ разговоръ. Ну, такъ какъ-же?

Адель тихо проговорила:

— Я согласна.

— Ну, наконецъ-то! ядовито усмѣхнулся старикъ.—Я такъ и ожидалъ, давая слово Аркадію. Я зналъ, что ты прямо смотришь на вещи и дѣлаешь то, что выгоднѣе. Я за тобой отдамъ „Вавиловское имѣніе“. При хорошемъ хозяйствѣ, оно принесетъ хорошій доходъ и, такимъ образомъ, ты не будешь зависѣть отъ мужа.

Адель сочла нужнымъ поцѣловать руку дяди. Она соглашалась выйти замужъ не по любви, она взвѣсила всѣ дурныя и хорошія стороны этого брака, она пришла къ заключенію, что ей будетъ лучше въ замужествѣ. Среди этихъ расчетовъ ни на минуту не пришелъ ей въ голову вопросъ, будетъ-ли счастливъ съ нею Аркадій Павловичъ. Но въ этомъ случаѣ она только платила жениху его-же монетою, такъ-какъ и онъ, сватаясь за нее, мѣтѣ всего думалъ о ея счастья.

— Ну, теперь пойдемъ объявлять новость компаніи, уже со всѣмъ довольнымъ тономъ произнесъ старикъ.

Адель послѣдовала за нимъ.

Платонъ Николаевичъ и Адель молча миновали голубую гостиную и бѣлый залъ и, не заглядывая на терасу, прошли въ желтую гостиную, такъ-какъ тамъ раздавался громкій голосъ Александра Николаевича. Дымя сигарою и шагая изъ угла въ уголъ крупными шагами, Александръ Николаевичъ, въ красивомъ пиджакѣ и небрежно завязанномъ галстухѣ, оживленно ораторствовалъ о политикѣ, высказывая свои глубокомысленныя соображенія о хитростяхъ Наполеона III и новомъ раздѣленіи Европы, къ которому, по его мнѣнію, стремится честолюбивый Бонапартъ. Софья Павловна сидѣла у открытаго окна въ креслѣ и безмолвно вязала шерстяной шарфъ. Ея лицо выглядѣло сурово, какъ оно выглядѣло обыкновенно въ тѣ минуты, когда она оставалась одна и обдумывала свои сложные планы. Она, повидимому, не только не слушала политическихъ воззрѣній дяди, но даже не обращала вниманія на его присутствіе. Сдвинувъ брови и пристально смотря на вязанье, она иногда опускала шарфъ и прекращала работу; потомъ, слегка пожавъ плечами или покачавъ головой, она опять принималась за вязанье, еще быстрѣе шевеля спицами.

— Представляю вамъ невѣсту, раздался громкій голосъ Пла-

тона Николаевича въ минуту самыхъ жаркихъ разсужденій Александра Николаевича.

Александръ Николаевичъ оборвался на полусловѣ и остановился; Софья Павловна опустила вязанье и по ея лицу скользнула радостная улыбка.

— Ба, это сюрпризъ! воскликнуть Александръ Николаевичъ.

— Аркадій просилъ ея руки и она согласна, пояснилъ Платонъ Николаевичъ.

— Я такъ и ожидалъ, такъ и ожидалъ! оживился Александръ Николаевичъ.

— Вы всегда все угадываете, топ гѣге, иронически усмѣхнулся Платонъ Николаевичъ.— У васъ замѣчательная проницательность.

— Опытность, опытность! пожалъ плечами Александръ Николаевичъ, словно извиняясь за свою догадливость.— Что-жь, я очень радъ, очень радъ, если ты его любишь, обратился онъ къ дочери.

— А я боялся, что вы не согласитесь, тѣмъ-же тономъ вставилъ Платонъ Николаевичъ.

— Вы знаете, топ гѣге, что я держусь прэнсипа невмѣшательства въ дѣла дѣтей, а тѣмъ болѣе въ ихъ сердечныя дѣла, проговорилъ Александръ Николаевичъ, и, поцѣловавъ дочь въ голову, сказалъ:— Ну, дай Богъ, чтобы ты была счастлива. Аркадій человекъ съ будущимъ.

— Поздравляю тебя, это хорошая партія, произнесла Софья Павловна и поцѣловала подошедшую къ ней Адель.

— Я васъ попрошу, топ гѣге, сходить къ попу и сказать ему, что мы поторопимся свадьбой, обратился Платонъ Николаевичъ къ брату.— Я не знаю, въ какомъ положеніи у него вѣнцы. Все это у нихъ держится неряшливо. Старъ ужъ отецъ Иванъ, пора-бы ему на отдыхъ. Еще вчера я замѣтилъ, что въ церкви пылъ. Иконостасъ не могли почистить даже къ такому дню, какъ вчерашній праздникъ. Распорядитесь, осмотрите.

— Хорошо, хорошо, будьте покойны, я все осмотрю, промолвилъ Александръ Николаевичъ, крайне довольный сдѣланнымъ ему порученіемъ, и направился къ дверямъ.

Адель послѣдовала за нимъ. Ей хотѣлось поскорѣй остаться одной. Еще впервые ей приходилось переживать тяжелую внутреннюю борьбу. До сихъ поръ она довольно равнодушно смотрѣла на Аркадія, и, можетъ быть, такъ-же равнодушно пошла-бы за



него замужь, какъ за каждаго другаго жениха, если-бы ее не оскорбило поведеніе Аркадія. Ей было обидно, что онъ не счелъ нужнымъ переговорить предварительно съ ней, что онъ такъ явно безцеремонно отнесся къ женитьбѣ, какъ къ коммерческой сдѣлкѣ, и призналъ нужнымъ переговорить только съ тѣмъ, отъ кого зависѣли матеріальныя условія брака.

Едва она удалилась изъ комнаты, какъ Платонъ Николаевичъ хотѣлъ тоже уйти въ свой кабинетъ. Но Софья Павловна, опустивъ вязанье на колѣни и зорко слѣдя за движеніями дяди, спросила его:

— Вы не боитесь, дядя, что эта свадьба можетъ разстроиться?

— Что? спросилъ онъ съ удивленіемъ. — Какъ это она можетъ разстроиться?

— Мнѣ кажется, что Максимъ, въ свою очередь, желаетъ жениться на Дунѣ, пояснила Софья Павловна, — а двумъ братьямъ нельзя жениться на двухъ сестрахъ. Вѣдь они и безъ того близкіе родные Адели и Дунѣ.

Платонъ Николаевичъ презрительно улыбнулся.

— Мало-ли кто чего желаетъ! отвѣтилъ онъ. — Я-бы вотъ желалъ китайскимъ императоромъ сдѣлаться...

— Да, исполненіе этого желанія нѣсколько труднѣе, чѣмъ исполненіе желанія Максима, сухо и небрежно замѣтила Софья Павловна. — Узнавъ о предстоящемъ бракѣ Адели, Максимъ можетъ предупредить васъ.

— Кто-же ему позволить? Кто его вѣнчать станетъ? загорячился Платонъ Николаевичъ.

— Ну, позволенья-то Максимъ едва-ли будетъ спрашивать, а пошъ найдется, чтобы повѣнчать ихъ. Впрочемъ, можетъ быть, сдѣлается еще что-нибудь худшее. Можетъ быть, вы сами будете желать брака Максима и Дуни.

— Я?

— Да. Вы, вѣроятно, поняли, что за человекъ Максимъ. Онъ можетъ поставить дѣло такъ, что его бракъ сдѣлается дѣломъ чести...

— Что мнѣ за дѣло до его чести! воскликнулъ Платонъ Николаевичъ.

Софья Павловна слегка пожала плечами.

— Вы забываете, что съ его честью и съ честью Дуни до-

вольно тѣсно связана ваша собственная честь, честь вашей фамилии, замѣтила она.—Если у воспитанной вами, живущей въ вашемъ домѣ племянницы будетъ...

Софья Павловна сдвинула брови и остановилась на минуту, глядя на ходившаго въ озлобленіи Платона Николаевича.

— Впрочемъ, не мнѣ давать вамъ совѣты, тихо и смиренно проговорила она.—Мнѣ только стало горько, что въ наше и безъ того тяжелое время семейные раздоры до того помutilи у всѣхъ умы, что мы перестаемъ даже стыдиться, когда близкіе намъ люди протаскиваютъ по грязи наши родовыя, честныя имена.

Софья Павловна принялась заботливо свертывать шарфъ, и, повидимому, хотѣла удалиться. Платонъ Николаевичъ нахмурился еще сильнѣе.

— Вы забываете, что у меня есть еще прислуга, которая можетъ выгнать въ шею этого господина при первомъ его появленіи. Вы забываете, что я могу запереть за десять замковъ эту дѣвчонку и лишить ее всякой возможности наложить пятно на нашу фамилію.

Софья Павловна встала и холоднымъ, зловѣщимъ тономъ проговорила:

— Дай Богъ, чтобы наемные холопы сужѣли спасти отъ пятна фамильную честь и чтобы ихъ холопскіе языки не загрязнили репутаціи вашей воспитанницы той грязью, о которой ей, быть можетъ, еще и не снилось.

Софья Павловна, склонивъ смиренно голову, направилась къ дверямъ.

— Куда вы? крикнулъ ей Платонъ Николаевичъ.—Что у васъ за манера? Начинаете разговоръ и не кончаете!

— Я, дядя, не спрашиваюсь ни къ кому въ совѣтницы, и прежде всего избѣгаю случаевъ раздражать кого-бы то ни было, а тѣмъ болѣе васъ, отвѣтила она покорно и кротко.—Вы находите глупыми мои предположенія, вы полагаете, что можно ввѣрить фамильную честь Басваковыхъ нескромности наемныхъ холоповъ, вы...

Платонъ Николаевичъ въ бѣшенствѣ топнулъ ногой. Онъ не выносилъ этого, повидимому, невозмутимаго, но въ сущности ядовитаго тона Софьи Павловны.

— Ну, что еще я? Что еще я дѣлаю? Ну? закричалъ онъ, сжимая кулаки.

— Вы готовы прибыть меня за то, что я такъ смотрю на вещи, какъ въ старыя годы обыкновенно смотрѣли всѣ наши и, главнымъ образомъ, вы сами, твердо и ровно проговорила Софья Павловна и вышла изъ комнаты.

Она слышала, какъ сзади ея раздался громъ далеко не приличныхъ ругательствъ, какъ хлопнулся объ полъ какой-то стулъ, какъ загремѣли послѣдовательно всѣ двери тѣхъ комнатъ, черезъ которыя несся въ свой кабинетъ Платонъ Николаевичъ, но она только улыбнулась едва уловимой иронической усмѣшкой.

— Теперъ изъ него хоть веревки вей! проговорила она почти вслухъ, проходя въ свою комнату черезъ небольшую прихожую, въ которой за ширмами, стянувъ въ трубочку тонкія губы и потупивъ лукавыя глаза, спѣшно вязала грязный чулокъ сестра Дорофея.

Эта неизбѣжная спутница Софьи Павловна была когда-то дворовою дѣвкой Баскаковыхъ, потомъ поступила въ монастырь и по волѣ игуменьи вездѣ сопровождала молодую дѣвушку. Дорофея по своей грубой, костлявой фигурѣ, по своему смуглому, скуластому лицу напоминала скорѣе мужчину, чѣмъ женщину. Она ходила въ монашеской одеждѣ, но въ ней по-прежнему билось сердце крѣпостной дворовой дѣвки, любимой наушницы барыни и первой ненавистницы всей остальной дворни.

— Укладывай вещи, сухо проговорила Софья Павловна, проходя мимо нея.

— Развѣ мы, матушка, сегодня ѣдемъ? спросила Дорофея, вскинувъ испуганно свои бѣгающіе глазки на барышню и сляся угадать по ея лицу, что случилось.

— Когда мы ѣдемъ—это не твое дѣло, а вытаци чемоданы и укладывайся, отвѣтила тѣмъ-же тономъ Софья Павловна и вошла въ свою комнату.

Дорофея покачала головой, спѣшно свернула чулокъ, сунула его въ карманъ и, вытацивъ изъ-подъ кровати маленькій чемоданчикъ, начала ерзать по полу и перетряхивать скудный запасъ женскаго бѣлья.

Чемоданъ былъ почти уже уложенъ, когда по лѣстницѣ послышались тяжелые шаги. Дорофея, сидя на корточкахъ, обернулась и выпустила изъ рукъ чемоданъ, увидавъ поднимающуюся передъ

нею, точно выроставшую изъ-подъ пола, фигуру Платона Николаевича.

— Что это? хмуро спросилъ онъ.

— Чемоданчикъ нашъ, чемоданчикъ! потушилась смиренно Дорофея, продолжая сидѣть на полу и видя передъ собою только одни сапоги Платона Николаевича.

— Я спрашиваю, что ты дѣлаешь? спросилъ онъ, ткнувъ ногой въ чемоданъ.

— Укладывала, укладывала, собираться велѣли, робко отвѣтила Дорофея, моргая глазами, но не рѣшаясь поднять ихъ вверхъ; впрочемъ, она, кажется, имѣла способность все видѣть, даже зажмуривъ глаза.

Платонъ Николаевичъ нахмурился и подошелъ къ дверямъ.

— Можно войти? постучалъ онъ въ дверь.

— Войдите, послышался отвѣтъ Софьи Павловны.

Платонъ Николаевичъ вошелъ и увидалъ, что его племянница укладываетъ вещи въ ручной сакъ-воляжъ.

— Что это вы дѣлаете? спросилъ Платонъ Николаевичъ.

— Укладываю вещи. Пора ѣхать, отвѣтила Софья Павловна. — Загостилась я у васъ.

— Что за глупости! проворчалъ Платонъ Николаевичъ.

Софья Павловна молчала и продолжала свое занятіе.

— Ну, характерецъ! ворчливо замѣтилъ Платонъ Николаевичъ.

— Наслѣдственный, должно быть, какъ-бы про себя проговорила Софья Павловна.

— Да бросьте вы къ чорту эту дрянъ и поговоримте, проворчалъ Платонъ Николаевичъ, отбрасывая въ сторону сакъ-воляжъ изъ рукъ племянницы.

— И опять разбранимся? съ усмѣшкой спросила она.

— Ишь вѣдь, шипитъ еще! постучалъ указательнымъ пальцемъ по столу Платонъ Николаевичъ и сѣлъ.

Софья Павловна тоже сѣла.

— Ну, вы, бабье, все высмотрите первыя, вамъ и книги въ руки, продолжалъ Платонъ Николаевичъ. — Что вы замѣтили?

— Я вамъ уже говорила, чтѣ, отвѣтила дѣвушка.

— Говорила, говорила! запальчиво передразнилъ Платонъ Николаевичъ. — Я хочу знать обстоятельно, на-сколько дѣло серьезно.

— А на-столько, что не сегодня, такъ завтра онъ окончательно объяснится и тогда будетъ поздно. Она переживаетъ теперь такія минуты внутренней борьбы, когда первое страстное признаніе можетъ заставить ее сдѣлать какой угодно рѣшительный шагъ.

— Блажь, одна блажь!

— Можетъ быть, но эту блажь не уничтожите угрозами и не остановите ея развитіе надзоромъ. Скандаль произойдетъ непременно.

— Скандаль, скандаль! загорячился Платонъ Николаевичъ. — Но если вы знаете жѣры для предупрежденія его, то говорите.

— Нужно переимѣнить ея обстановку, нужно направить ея мысли на другіе интересы.

— Не прикажете-ли послать ее за границу, или отправить въ Петербургъ эмансипироваться, или помѣстить...

— Въ монастырь, спокойно окончила Софья Павловна недоговоренную имъ фразу.

Это заключеніе было такъ неожиданно для Платона Николаевича, оно было сдѣлано такъ ясно, сухо и коротко, что онъ вытаращилъ въ недоумѣнныя глаза.

— Въ монастырь? Насильно отправить въ монастырь? воскликнулъ онъ. — И вы не считаете это скандаломъ?

— Зачѣмъ-же насильно? Нужно сдѣлать, чтобы она пошла по доброй волѣ, пояснила невозмутимо Софья Павловна.

— Когда у нея есть любовникъ, когда ей чертъ знаетъ что идетъ въ голову? Да это сумасшествіе! загорячился Платонъ Николаевичъ.

— При извѣстной ловкости это нетрудно сдѣлать.

— Ну, у меня этой ловкости нѣтъ-съ!

— Я знаю, спокойно согласилась съ нимъ племянница. — Я могла-бы взяться за это дѣло, но успѣхъ можетъ быть только въ томъ случаѣ, если я, или, лучше сказать, она будетъ располагать извѣстными матеріальными средствами.

— Я васъ не понимаю.

— Дѣло въ томъ, что она, несмотря на свою набожность...

— Ханжество, перебилъ Платонъ Николаевичъ.

— Несмотря на свою набожность, повторила настойчиво Софья

Павловна, не измѣняя тона, — она не пойдетъ въ монастырь безъ цѣли, безъ надежды на дѣло, на пользу своего подвига. Для нея нужно создать это дѣло, а это потребуетъ расходовъ.

— Какое-же это такое дѣло? спросилъ съ ироніей Платонъ Николаевичъ.

— Не знаю навѣрное: школа для бѣдныхъ, община сестеръ милосердія, богадѣльня, что-нибудь въ родѣ этого.

— И сколько, по вашему мнѣнію, нужно на это?

— Во всякомъ случаѣ менѣе того, что вы дали-бы за ней въ приданое.

— Я ничего не даль-бы за ней, проворчалъ Платонъ Николаевичъ.

— Ну, это вы такъ говорите, улыбнулась Софья Павловна. — Понадобилось-бы тысячъ десять, пятнадцать, добавила она, зорко слѣдя за Платономъ Николаевичемъ.

Платонъ Николаевичъ захохоталъ своимъ злымъ смѣхомъ.

— Ничего-съ, сдѣлка для монастыря выгодная!

— Монастырю отъ нея не будетъ ни выгоды, ни убытка, холодно замѣтила Софья Павловна. — Я говорю въ качествѣ члена вашей фамиліи, а не въ качествѣ члена монастыря. Если-бы я была монахиней, я не имѣла-бы ни права, ни нужды интересоваться мірскими дѣлами, гдѣ-бы они ни происходили. Вы сами знаете, что я не напрашивалась на этотъ разговоръ, и высказала вамъ свое мнѣніе потому, что вы этого желали. Если вы найдете лучший исходъ, я буду очень рада.

Платонъ Николаевичъ заходилъ по комнатѣ и задумался.

— Вы очень хорошо знаете, что что-бы ни случилось съ нею, винить будутъ васъ, какъ ея воспитателя, равнодушно продолжала Софья Павловна. — Услѣдить за нею, чтобы она не бѣжала, чтобы она не вышла замужъ за Максима, не въ вашей власти. Но даже если она и не выйдетъ замужъ, кто поручится за то, что она не убѣжитъ въ Петербургъ и не станетъ тамъ въ ряды тѣхъ женщинъ, которыя бредятъ теперь эмансипаціей и позорятъ своимъ поведеніемъ свои семьи, свои родовыя имена? Но я опять-таки повторяю, если у васъ есть другія средства остановить ее отъ поступленія въ ряды тѣхъ, кого вы ненавидите, то я буду очень рада.

— Вы говорите десять, пятнадцать тысячъ? задумчиво проговорилъ Платонъ Николаевичъ. — Положимъ десять...

— Положимъ лучше пятнадцать, улыбнулась Софья Павловна и покачала головой.—Я первый разъ вижу, что вы ставите на первый планъ денежный вопросъ, замѣтила она.—Я привела эти цифры случайно, на-угадъ. Можетъ понадобится менѣе, можетъ понадобится болѣе.

— Вотъ-съ какъ!

— Да, если ее заинтересуетъ и мелкое дѣло, то денегъ много не понадобится, если ее можно будетъ увлечь только грандіознымъ планомъ, то денегъ понадобится болѣе. Вѣдь я не говорила съ ней, я ничего не знаю. Да, признаюсь, мнѣ и непріятны эти переговоры. Что мнѣ-то за дѣло, кто за кого выходитъ, кто на комъ женится? Моя роль сыграна.

— Да, но вы все-таки будете говорить съ ней! настойчиво произнесъ Платонъ Николаевичъ.

— Говорить съ нею и не знать, что я могу ей предложить? покачала головой Софья Павловна, пожимая плечами.

— Ну, предложите тамъ, что надо, отрывисто произнесъ Платонъ Николаевичъ.

— И потомъ скажу, что я увлеклась, что на такіа средства нечего разсчитывать?

— Говорятъ вамъ, устраивайте дѣло, а тамъ увидимъ...

Платонъ Николаевичъ направился къ дверямъ. Онъ былъ теперь не столько раздраженъ, сколько недоволенъ чѣмъ-то. Впервые въ жизни ему было гадко то, на что онъ рѣшался, хотя онъ въ пылу негодованія и бѣшенства, если-бы только имѣлъ власть, могъ-бы безъ всякихъ угрызений совѣсти упрятать не только въ монастырь, но и въ казематъ любую изъ своихъ племянницъ. Теперь-же его возмущало это дѣло характеромъ сдѣлки, какимъ-то торгашескимъ разсчетомъ, какою-то барышническою аферой. Такія сдѣлки были менѣе всего въ характерѣ старика, привыкшаго дѣйствовать самостоятельно, деспотически и прямо. Онъ молча вышелъ изъ комнаты и едва не сбиль съ ногъ шмыгнувшую отъ дверей Дорофею, успѣвшую уже присѣсть на чемоданчикъ и потупить глаза. Онъ даже не замѣтилъ ее и тяжелою поступью началъ спускаться по лѣстницѣ. Его болѣе всего смущало то, что онъ не могъ найти другой комбинаціи въ этомъ дѣлѣ. Онъ, какъ угадывала Софья Павловна, боялся не того, что бракъ Адели съ Аркадіемъ не можетъ состояться послѣ брака Максима съ Дуной.

Подобные браки возможны. Но его смущало, что Максимъ удовлетворить свое желаніе и будетъ счастливъ. Платонъ Николаевичъ не любилъ Максима за рѣзкость, за неповорность, когда тотъ былъ еще ребенкомъ. Теперь старикъ ненавидѣлъ Максима, вида въ немъ челоѡѡка другого лагеря. И этому-то челоѡѡку приходится не только уступить любимую имъ дѣвушку, но и передать въ концѣ концовъ часть своего имѣнія! Не передать этой части имѣнія можно было только въ одномъ случаѣ—если-бы Платонъ Николаевичъ рѣшился лишить наслѣдства своего брата. Не лишивъ же его наслѣдства, онъ могъ быть увѣренъ, что Александръ Николаевичъ не обидитъ свою любимицу Дуню.

Какъ только скрылся Платонъ Николаевичъ, Дорофея на цыпочкахъ подошла къ двери Софьи Павловны и спросила позволенія войти.

— Войдите, слышалось оттуда.

— Собраться-то когда? спросила Дорофея.

— Мы не ѣдемъ, отрывисто отвѣтила молодая дѣвушка.

Дорофея, ничего не понимая, заморгала глазами.

— Петръ Павловичъ и Аркадій Павловичъ пріѣхали, скромно замѣтила Дорофея, глядя въ полъ.

— Одни? сквозь зубы спросила Софья Павловна.

— Безъ Данилы Павловича, торопливо отвѣтила Дорофея.

— И безъ Максима Павловича? спросила Софья Павловна.

— И безъ нихъ, отвѣтила Дорофея.

Софья Павловна пристально взглянула на нее и отчетливо проговорила:

— Они мнѣ не нужны.

У Дорофеи забѣгали глазки и она, по старой привычкѣ бывшей крѣпостной дѣвки, поцѣловавъ на лету ручку Софьи Павловны, скрылась изъ комнаты. „Они мнѣ не нужны, звучало у нея въ ухахъ.— Значитъ, кто-нибудь другой нуженъ... Про Максима Павловича спросила... Бойся вѣрно, что увезетъ Авдотью Александровну... Да какъ-же ее увезти, когда мы смотримъ? Совѣтъ невозможное дѣло!.. Ахъ, грѣхи, грѣхи!“ Дорофея сдѣлала смиренные глазки, стянула въ трубочку губы и, вытащивъ изъ кармана начатый чулокъ, пошла внизъ.



## XX.

Въ жизни человѣка бываютъ минуты, когда онъ, какъ говорится, теряетъ голову подъ гнетомъ тяжелыхъ событій и, не имѣя силъ придумать какое-нибудь средство для спасенія себя отъ опасности, не можетъ въ то-же время отдѣлаться отъ ужаса при видѣ все приближающейся къ нему грозы. Дуня находилась теперь именно въ такомъ положеніи. Она переживала ту эпоху зрѣлости, когда молодое существо страстно жаждетъ любви. Это бессознательное, инстинктивное стремленіе къ любви выливалось у нея покуда въ тѣхъ религіозныхъ порывахъ, которые доводили ее до экстаза, до поэтически-свѣтлыхъ минутъ восторга. Первая встрѣча съ Максимомъ дала другое направленіе этой несознанной, инстинктивной жадѣ любви и страсти.

Уже первый поцѣлуй, первыя объятія при встрѣчѣ съ юношей не носили на себѣ характера братскихъ чувствъ и заставили молодую дѣвушку и краснѣть, и жаждать новыхъ и новыхъ ласкъ и объятій. Но едва успѣли эти поцѣлуи открыть ей истинное значеніе ея чувствъ къ Максиму, какъ передъ ней всталъ цѣлый рядъ препятствій къ беззавѣтному наслажденію первую любовью.

Тутъ было все: сознаніе, что она своею любовью можетъ оторвать Максима отъ дальнѣйшаго развитія, отъ плодотворной дѣятельности и отъ блестящей будущности; страхъ, что ея замужество противъ воли дяди печально отзовется на ея отцѣ и его побочной семьѣ; наконецъ, убѣжденіе, что это замужество можетъ совершиться только тайно отъ всѣхъ и послужить, какъ ее убѣдили, преградою къ замужеству сестры. Каждое изъ этихъ препятствій заставляло ее отказаться отъ Максима.

Но какъ отказаться, когда сердце такъ страстно жаждетъ любви? Какъ отказаться отъ счастья всей предстоящей жизни, когда оно такъ близко, такъ возможно? Но если даже и хватить на это силъ, то что сказать Максиму? Солгать, что она его не любитъ? Да развѣ она сдумѣетъ солгать, когда она его любитъ, любитъ и любитъ? Развѣ онъ самъ не пойметъ лжи? Избѣжать объясненій, спрятаться отъ него? Но онъ добьется свиданія съ ней, добьется объясненія. Онъ не изъ тѣхъ людей, которые выносятъ двусмысленное положеніе, не договариваются до конца. Разсказать

ему все откровенно? О, какъ безопасно осмѣетъ онъ ея опасенія за его будущее! Онъ станетъ доказывать ей, что если онъ и можетъ сдѣлаться несчастнымъ, то только вслѣдствіе ея отказа выйти за него замужь. На ея опасенія за участь ея отца въ случаѣ ея замужества онъ скажетъ: „оставимъ мертвымъ хоронить мертвыхъ“, и не согласится на то, чтобы она, молодая, полная надеждъ и силъ, губила все свое будущее ради отживающаго старика. Ея бракъ съ Максимомъ можетъ помѣшать браку ея сестры съ его братомъ,—онъ скажетъ на это: „тѣмъ лучше“. Брата своего онъ не любитъ и не можетъ приносить жертвы ради него. Ея сестру онъ, можетъ быть, и любитъ, но никакъ не пожалѣетъ ее, если она не выйдетъ за его брата, потому что этотъ бракъ по расчету не обѣщаетъ молодой дѣвушкѣ особенно счастливаго будущаго.

Но что-же дѣлать, что дѣлать?

Опустивъ на колѣни руки, устремивъ впередъ неподвижные глаза, Дуня сидѣла въ своей комнатѣ, а минуты и часы летѣли своей обычной чередой. Наконецъ она встала, опустилась на колѣни и хотѣла молиться. Молитва не шла на умъ, губы шептали слова молитвы, а мозгъ работалъ все въ одномъ и томъ-же направленіи.

— Да научи-же меня, Господи, научи! вырвалось изъ ея груди болѣзненное восклицаніе и она подняла лихорадочно блестящія глаза къ озареннымъ лампадой образамъ.

Она смотрѣла на эти знакомыя ей изображенія и, кажется, ждала чуда, а время летѣло и летѣло. По глазамъ дѣвушки катились слезы, выраженіе ея глазъ становилось диво; наконецъ она съ какой-то нервной горечью прошептала:

— Чего я жду? Отвѣта нѣтъ и не будетъ его, никогда не будетъ.

Она уже заливалась слезами, болѣзненными, истерическими слезами, походившими и на рыданія, и на хохотъ. Она не то стояла на колѣняхъ, не то сидѣла на полу, закрывъ лицо руками, не имѣя силъ ни успокоиться, ни подняться.

Когда, черезъ полчаса, она съ усиліемъ поднялась съ полу и налила дрожащею рукою воды, ея зубы бились о стаканъ какъ въ лихорадкѣ и грудь высоко поднималась отъ всхлипываній. Она полураздѣтая бросилась на постель и заснула, или, можетъ быть, лишилась чувствъ, но во всякомъ случаѣ на-время успокоилась.

Когда она встала поутру, можно было подумать, что она была долго больна.

— Дядя Платонъ Николаевичъ объявилъ о свадьбѣ Адели, говорила ей Софья Павловна, пришедшая къ ней въ комнату послѣ объясненій съ дядей.

— Вотъ какъ! равнодушно отвѣтила Дуня, смотря безцѣльно въ окно.

Уже два долгихъ часа смотрѣла она въ это окно, ничего не видя, ничего не слыша, ничего не понимая.

— Свадьбой будутъ торопиться, замѣтила Софья Павловна.

— Да? проговорила Дуня.

— Ты, должно быть, нездорова сегодня? озоботилась Софья Павловна.

— Я? Нѣтъ, ничего, разсѣянно отвѣтила Дуня.

— У тебя утомленный видъ, пояснила Софья Павловна.

— Въ самомъ дѣлѣ? удивилась Дуня, ничего не понимая.

— Береги себя! поцѣловала ее Софья Павловна. — А что-же ты думаешь? спросила она, помолчавъ.

— Да!.. я очень рада! безсознательно отвѣтила Дуня.

— Чему? спросила Софья Павловна.

Дуня опять удивилась.

— Вы говорите, кажется, что сестра выходитъ замужъ? проговорила она.

— Да, но я не о томъ спрашиваю, замѣтила Софья Павловна. — Что ты думаешь дѣлать?

— Я? Что-же мнѣ тутъ дѣлать? пожала плечами Дуня.

Софья Павловна въ смущеніи покачала головой. Ее начинало тревожить странное положеніе молодой дѣвушки.

— Тебѣ надо-бы разсѣяться, приняться за что-нибудь. Твоя жизнь проходить даромъ. Такъ жить нельзя, заговорила она.

— Да, да, нельзя! повторила, нѣсколько оживившись, Дуня.

— Въ жизни нужна цѣль, та святая и высокая цѣль, которая поглощала-бы всѣ наши силы, къ которой влекло-бы все наше существо.

Дуня тупымъ взглядомъ посмотрѣла на свою родственницу. Софью Павловну смущала этотъ взглядъ.

— Я тоже видѣла горе въ жизни, я тоже готова была сломиться подъ бременемъ невзгодъ, заговорила она. — А вотъ теперь я только и молю Бога, чтобы онъ далъ мнѣ силы пожить и кончить то, къ чему я стремлюсь всѣми помыслами души. Я только

и мечтаю о томъ времени, когда я поступлю въ монахини и поставлю монастырь на ту степень высоты, на которой онъ долженъ стоять, когда я сдѣлаю его не мѣстомъ бражничанья для тупой лѣнности, а прибѣжищемъ для страждущихъ, для гонимыхъ, когда никто не будетъ уходить изъ него безъ помощи. Правда, покуда въ немъ еще много темныхъ и ничтожныхъ личностей въ родѣ сестры Дорофеи, но въ немъ уже есть и молодыя, свѣжія силы. Молодежь мнѣ поможетъ устроить больницу для бѣдныхъ и пріютъ для дѣтей. Денегъ только надо. Денежные недостатки — это мое несчастье, это не даетъ мнѣ покоя ни днемъ, ни ночью.

Софья Павловна помолчала.

— Право, иногда готова-бы Богъ знаетъ что сдѣлать, чтобы добыть хоть грошъ, продолжала она черезъ минуту. — Да кто дастъ? Ты, развѣ, одолжишь? А? улыбнулась она.

— Я? Что-же я могу? спросила Дуня.

— Можешь-то много, но захочешь-ли? замѣтила Софья Павловна. — Тебѣ самой нужны деньги на замужество. Если-бы, конечно, я могла поручиться, что скоро отдамъ, — тогда другое дѣло. А на эти деньги многое-бы можно сдѣлать.

— Я не понимаю... какія деньги? спросила Дуня, тупо смотря на свою родственницу.

— Твое приданое, пояснила Софья Павловна. — Дядя Платонъ Николаевичъ дастъ за тобой тысячу десять, пятнадцать...

— За мной? усмѣхнулась Дуня.

— Да, я еще сегодня мелькомъ слышала объ этомъ, когда говорили о приданомъ Адели, замѣтила Софья Павловна. — Впрочемъ, что толковать объ этихъ деньгахъ! Старикъ Бахмутовъ не выпуститъ ихъ изъ рукъ.

Старикъ Бахмутовъ, одинъ изъ сосѣдей Баскаковыхъ, тотъ Плюшкинъ, о которомъ говорилъ Александръ Николаевичъ Максиму, уже годъ тому назадъ сватался за Дуню.

— Что? воскликнула Дуня, какъ ужаленная. — Старикъ Бахмутовъ? И вы думаете, что я когда-нибудь выйду за него, за человѣка, котораго я презираю, ненавижу?

Софья Павловна покачала головой.

— За что-же ты сердилась? Ты знаешь, что я никогда не высказывала сочувствія этой партіи. Я только потому замѣтила объ этомъ, что, право, я не понимаю покуда, на что ты рѣшишь-

ся. Вѣдь и другія партіи, могуція представиться здѣсь, будутъ не лучше...

Она задумалась.

— Не выйти за него или за кого-нибудь другого, кого выбереть дядя, и остаться жить здѣсь, продолжала она въ раздумьи,—это значитъ подвергнуть себя медленной ежедневной пытке. Дядя Платонъ Николаевичъ не знаетъ пощады для тѣхъ, кто противится его капризамъ. Уйти? Но куда-же ты уйдешь безъ средствъ, безъ подготовки къ труду, даже безъ того официального образованія, которое даетъ право быть гувернанткой, учительницей?

— Господи! Что-же это и вы еще терзаете меня! воскликнула Дуня, сжимая конвульсивно руки. — Вѣдь я сама, сама все это передумала, поняла, перестрадала въ душѣ! Теперь не растревлять мои раны нужно, а залечить ихъ, помочь мнѣ, указать дорогу! А вы...

Она махнула рукой и взялась за голову. Ея голова горѣла. Въ ея голосѣ слышался такой горькій, такой надрывающій душу упрекъ, что Софья Павловна смутилась.

— Терзаю тебя! съ упрекомъ воскликнула она, потрясенная словами молодой дѣвушки. — Неужели ты еще до сихъ поръ не видишь, что я люблю тебя? Неужели ты не можешь понять, что меня мучаетъ все, что мучаетъ тебя? Неужели ты не сознаешь, что если я бываю въ этомъ домѣ, то бываю для тебя, для тебя одной? Съ кѣмъ еще изъ живущихъ здѣсь есть у меня внутренняя связь? Кому я говорю хоть слово о тѣхъ завѣтныхъ плачахъ и мечтахъ, которые наполняютъ всю мою жизнь? Тебѣ и только тебѣ одной, дитя мое, сестра моя!

Софья Павловна подошла къ Дунѣ и положила руки на ея плечи.

— Правда, съ твоей стороны я еще не встрѣчала полной откровенности, говорила она, и говорила, быть можетъ, вполне искренно. — Ты говорила только тогда, когда я спрашивала. Но до сихъ поръ я это приписывала тому, что твоя жизнь страдаетъ отсутствіемъ всякихъ интересовъ, всякихъ надеждъ. Послѣдніе два дня показали, что у тебя были надежды... Ты знаешь, что этимъ надеждамъ не суждено сбыться никогда. Это потрясло меня, потому что я увидела, какъ поразило тебя это несчастіе. Да, я понимаю, что значитъ обмануться въ надеждѣ, когда она была един-

ственной свѣтлою точкою, манившею къ будущему. Мы, люди дѣла, слуги общества, переносимъ легко подобныя удары, потому что мы живемъ не одними личными, невѣрными, обманчивыми интересами... Я задумалась о твоей судьбѣ, я старалась сообразить, что ты должна сдѣлать для твоего спасенія. Вотъ почему я наводила разговоръ на этотъ предметъ. А ты говоришь, что я тебя терзаю. Грѣхъ тебѣ, дитя мое!

Софья Павловна наклонилась и ласково поцѣловала Дуню въ голову. Дуня припала головой къ ней, хотѣла что-то сказать, зарыдала, и опять это рыданіе походило и на хохотъ, и на стоны. Съ ней сдѣлался второй истерическій припадокъ. Софья Павловна захлопотала. Она подавала воды Дунѣ, смачивала ей голову, старалась уложить ее на диванъ. Черезъ полчаса Дуня, нѣсколько успокоившаяся, уже безмолвно лежала на диванѣ и слушала Софью Павловну.

— Ты не дитя по лѣтамъ, но ты дитя по опытности. Ты не знаешь жизни. Ты встрѣтила первое препятствіе на своемъ пути къ осуществленію надеждъ и думаешь, что все погибло, что перенести этого несчастія нельзя, говорила или, скорѣе, шептала ей Софья Павловна. — Но, Господи, то-ли переносить человѣкъ? Было время, дитя мое, когда и я думала такъ-же, какъ ты. Въ моей жизни было тоже горе, но не такое, какъ твое. Я объ этомъ никогда никому не говорила, но ты должна знать это... У тебя, по крайней мѣрѣ, есть утѣшеніе, что ты не пала, что подъ твоимъ сердцемъ не бьется существо, еще ни въ чемъ не повинное, но уже обреченное на гибель или на позоръ. Я не имѣла и этого утѣшенія. Господи, Господи, чего-бы я не сдѣлала, чего-бы я не отдала, чтобы вычеркнуть изъ своей жизни это прошлое!

Софья Павловна закрыла лицо руками. Дуня приподнялась на локтѣ и протянула руку Софьѣ Павловне.

— Бѣдная моя! тихо прошептала молодая дѣвушка и, взявъ руку Софья Павловна, прижала ее къ губамъ.

Софья Павловна опустила передъ диваномъ на колѣни и припала къ ней лицомъ, смоченнымъ слезами.

— Вѣдь, можетъ быть, если я и люблю такъ тебя, то только потому, что ты напоминаешь мнѣ то дитя, которому я не могла дать даже перваго поцѣлuya, шептала она. — Можетъ быть, я потому и трепещу за тебя, что ты напоминаешь мнѣ мою соб-

ственную долю. Милая, дорогая, смотри за собой, береги себя, не губи себя!

Софья Павловна присѣла на диванъ и цѣловала руки и лицо Дуни, какъ мать, какъ влюбленная женщина. Въ эту минуту она была вполне искренна. Въ ней проснулась павшая когда-то женщина, въ которой не умирала потребность высказать, выплакать на чьей-нибудь груди свое затаенное втеченіи долгихъ лѣтъ горе. Она забыла въ эту минуту всѣ свои расчеты, всѣ свои планы, во имя которыхъ она влекла къ себѣ Дуню.

— Бѣдная, бѣдная, и вы все это пережили, перенесли, перенесла Дуня.

— Да, поднялась Софья Павловна. — Я все вынесла, вынесла для того, чтобы показать людямъ, раздавившимъ, погубившимъ меня, кого они губили. Я не хотѣла быть тѣмъ червякомъ, который, когда на него наступятъ, издыхаетъ въ мукахъ на землѣ, не имѣя возможности даже напомнить о себѣ тѣмъ, кто его придавилъ. Я хотѣла, чтобы эти люди снова вспомнили обо мнѣ, но не съ однимъ состраданіемъ, не съ однимъ сожалѣніемъ, а съ краскою стыда передъ тѣмъ, что они едва не убили полезную для нихъ, стоящую выше ихъ личность. У меня была энергія, энергія затаеннаго озлобленія, энергія оскорбленнаго самолюбія... Вотъ чего еще мало въ тебѣ. Ты терпишь, ты мучаешься, но ты не стараешься показать своимъ мучителямъ, что ты выше, что ты лучше, что ты честнѣе ихъ. Или ты думаешь, что дядя, этотъ старый деспотъ, раскается, если ты зачакнешь? Нѣтъ, онъ даже не смутится, когда ты будешь лежать передъ нимъ въ гробу. Но если ты выйдешь побѣдительницей изъ внутренней борьбы, если ты покажешь, что ты способна на дѣло, если ты заставишь говорить о себѣ, то его будетъ мучить, что онъ оттолкнулъ тебя отъ себя, что онъ не могъ понять твоихъ силъ, что ты побѣдила его.

— Это наслажденіе мести? проговорила Дуня.

— Да, отвѣтила Софья Павловна, сдвинувъ брови, — мести грѣшникамъ, мести преступникамъ. Имъ мститъ и Богъ, и потому можемъ мстить и мы. Ты видишь, какъ ищу я обществу? Я ищу, работая въ его-же пользу; ищу, являясь необходимымъ тамъ, гдѣ когда-то смотрѣли на меня съ презрѣніемъ. Ты слышала о нашихъ родныхъ князьяхъ Баскаковыхъ. Они когда-то

выбросили меня изъ своего дома. Теперь они считаютъ честью для себя переписку со мною, мои совѣты, потому что обо мнѣ говорятъ, потому что я вліяю на ихъ дѣтей. Такое положеніе я хотѣла-бы создать и для тебя, хотѣла-бы этого потому, что мнѣ самой нужна помощница, преданная, любящая, понимающая мои цѣли помощница, а не какая-нибудь мужичка Дорофея, сохранившая подъ монашеской рясой душу дворовой дѣвки.

Софья Павловна оживилась. Она сидѣла, выпрямивъ свой еще стройный станъ, ея глаза сверкали подъ сдвинутыми, густыми бровями, на ея губахъ играла усмѣшка, полная презрѣнія. Что-то бодрое и мужественное было во всей ея фигурѣ, во всей ея умной физиономіи.

— Вы тверды, какъ мужчина, невольно проговорила Дуня, глядя на нее.

— Я живу въ монастырѣ, коротко отвѣтила Софья Павловна. Она на минуту задумалась.

— Я никогда не была слишкомъ слабымъ существомъ, заговорила она снова.—Но тамъ, въ обществѣ, мнѣ приходилось покоряться капризамъ тѣхъ, отъ кого я зависѣла, мнѣ приходилось дѣйствовать самостоятельно. Самостоятельно я стала только въ монастырскихъ стѣнахъ, хотя я еще не сдѣлалась монахиней. Монастырь вообще развиваетъ самостоятельность и закаляетъ характеръ. Въ монастырѣ у меня уже не стало заботъ о кускѣ хлѣба, о пріютѣ: и то, и другое было обезпечено и я могла работать въ пользу тѣхъ плановъ, которые занимали меня. Для осуществленія этихъ плановъ мнѣ приходится обращаться къ чужой помощи, но я это дѣлаю спокойно, не унижаясь, не смущаясь, потому что я выпрашиваю не для себя. Я не знаю, на что-бы я не рѣшилась, чтобы осуществить свои завѣтныя желанія, чтобы показать обществу, что и мы можемъ быть полезными, и чѣмъ ближе становится то время, когда начнется осуществленіе моихъ желаній, тѣмъ смѣлѣе, тѣмъ настойчивѣе становлюсь я. Я еще не знаю, будутъ-ли у меня средства для того, чтобы, по крайней мѣрѣ, открыть на будущій годъ школу, но я буду этого добиваться, во что-бы то ни стало. Съ этого должно начаться преобразование монастырской жизни; довольно монашествующимъ лицамъ только молиться за людей, они должны служить обществу.



Софья Павловна вздохнула.

— Ахъ, дитя, дитя, если-бы ты такъ-же серьезно смотрѣла на жизнь, не мучилась-бы ты теперь, что тебѣ не удалось насладиться личнымъ счастьемъ, замѣтила она, лаская Дуню.— Это счастье—призракъ, это кажущееся счастье: нѣсколько дней увлеченія и наслажденія, и годы въ тупой, однообразной жизни, въ заботахъ о кускѣ хлѣба, о хозяйствѣ, о дрязгахъ будничнаго существованія... Но ты устала, отдохни немного, соберись съ силами...

Софья Павловна наклонилась поцѣловать Дуню.

— Ты вся горишь, замѣтила она.— Отдохни.

Она вышла изъ комнаты.

Дуня не поднималась съ мѣста и не засыпала. Устремивъ неподвижные глаза впередъ, она лежала, какъ окаменѣвшая, какъ мертвая можно-бы сказать, если-бы лицо ея не пылало яркимъ лихорадочнымъ румянцемъ. Время между тѣмъ шло.

Прошелъ часъ завтрака, прошелъ часъ обѣда; Дуня оставалась въ своей комнатѣ, отговорившись отъ приглашеній къ столу своимъ нездоровьемъ. Нѣсколько разъ она вставала, нѣсколько разъ она пробовала ходить по комнатѣ, но все это дѣлалось какъ-будто во снѣ. Въ ея душѣ теперь не было даже той тревоги, которую она ощущала такъ недавно. Всѣ событія, близко касавшіяся ея, теперь какъ-будто разомъ прошли и не должны были повториться снова; по крайней мѣрѣ, она уже не думала о нихъ, не могла думать, потому что ея мозгъ, повидимому, не повиновался ей, не работалъ. Часы между тѣмъ пробили семь. Дуня встрепенулась и торопливо начала искать большой шейный платокъ.

— Надо сходить, разсѣянно прошептала она,—проститься...

Она пошла изъ комнаты. Она не старалась укрыться отъ постороннихъ глазъ, пройти украдкой. Она шла обыкновенной дорогой, не заботясь о томъ, увидятъ-ли ее или нѣтъ.

— Господи, съ нами крестная сила! шептала Дорофея, смотря въ окно и вида, какъ въ саду мелькаетъ между деревьевъ бѣлое платье Дуни.— Цѣлый день чуть не умирала, а теперь гулять идетъ... И куда?.. Ужь не къ пруду-ли?.. Извѣститъ нѣшто?.. Да какъ вызовешь Софью Павловну?.. Сидитъ съ гостями... Неловко... Самъ-то тоже звѣремъ накинется, какъ взойду...

И ума не приложу, что дѣлать, а сама ругаться будетъ... Ужь это я знаю!

Дорофея развела руками и глубокомысленно стянула свои тощія губы.

## XXI.

Максимъ добрался до пруда гораздо раньше назначеннаго часа свиданія. Прудъ находился въ густо заросшей части парка. Сюда вели узенькія алей, какъ-бы предназначенныя для одинокихъ прогулокъ или для прогулокъ tête-à-tête. Мѣстами эти алей шли по берегу пруда, мѣстами терялись среди вѣковыхъ деревьевъ. На одной сторонѣ пруда былъ холмикъ съ группою деревьевъ, разсаженныхъ полукругомъ. Посрединѣ этого полукруга изъ-за деревьевъ выглядывало пожелтѣвшее отъ времени лицо сатира. Вся статуя давно обросла и задрапировалась хмѣлемъ, кисти котораго висѣли, какъ гроздья винограда. Противъ этого холмика находился на срединѣ пруда затѣйливый островокъ, гдѣ когда-то водились кроляки. Передъ островкомъ еще возвышался изъ воды небольшой камень; на этомъ камнѣ красовалась въ былые дни статуя купающейся нимфы. Она была помѣщена прямо противъ нагло улыбающагося сатира. На островкѣ среди вѣтвей еще видѣлись развалины небольшой бесѣдки, носившей названіе „храма любви“. Богъ знаетъ, звучало-ли въ этой бесѣдкѣ когда-нибудь слово: „люблю“. Отъ холмика спускалась узенькая алея къ самому берегу пруда и здѣсь еще видѣлись остатки небольшой пристани, у которой нѣкогда стояло много лодокъ, а теперь видѣлся одинокій, давно неупотреблявшійся въ дѣло челнокъ.

Максимъ хорошо помнилъ это мѣсто.

Здѣсь, въ тѣни деревьевъ, онъ скрывался нерѣдко съ Дуней отъ взрослыхъ, здѣсь плели они вѣнки, здѣсь ловили рыбу. Каждый кустикъ, каждая тропинка были ему знакомы. Ничто не было здѣсь измѣнено, но все само собою сильно состарилось, одряхлѣло. Въ былые дни все это поддерживалось, подновлялось, подкрашивалось. Теперь рабочія руки употреблялись не на поддержку парка, а на воздѣлываніе полей, потому что каждая рабочая рука стояла денегъ.

Максимъ спустился къ пристани, но не рискнулъ ступить на уцѣлѣвшіе остатки плота. Онъ поглядѣлъ на островокъ, манившій ихъ когда-то въ дѣтствѣ. Передъ островкомъ не было уже статуи купающейся нимфы. На немъ не было кроликовъ и видѣлись только доски и столбы отъ храма любви. Храмъ не только не подновляли, но даже не убирали его остатковъ.

— Да кто и пойдетъ теперь туда! усмѣхнулся Максимъ и невольно обернулся назадъ: ему захотѣлось увидать, сохранилось-ли еще смѣющееся лицо сатира.

Да, эта статуя сохранилась и ея ослабившееся лицо ясно вырисовывалось среди густой зелени. Когда-то этотъ сатиръ ослаблялъ свой широкій ротъ, смотря на нагую нимфу, готовую погрузиться въ воду, смотря на вырисовывавшійся среди зелени храмъ любви, смотря на лодки, уносящія на островокъ плачущихъ крѣпостныхъ дѣвокъ. Теперь это лицо смѣялось своей демонической улыбкой надъ запустѣніемъ, надъ разрушеніемъ всего былого.

Максимъ невольно вспомнилъ, какъ въ дѣтствѣ онъ и Дуня часто прибѣгали сюда и говорили:

— Теперь ужъ насъ не найдутъ.

И вдругъ кто-нибудь изъ нихъ взглядывалъ на сатира и говорилъ:

— А онъ смотритъ!

Тогда они отрывали широкіе листья хмѣля и залѣпляли ими глаза сатира.

— Вотъ онъ и не видитъ насъ! хохотали они.

А широкій ротъ сатира ослаблялся по-прежнему; точно сатиръ и съ закрытыми глазами зналъ, что міръ всегда былъ и будетъ достоинъ смѣха.

Потомъ они углемъ разрисовывали сатиру усы и бакенбарды. Ихъ забавляло это лицо. Теперь Максиму казалось оно особенно выразительнымъ, оно какъ-будто говорило людямъ:

— Что-же вы не хохочете вмѣстѣ со мною гомерическимъ смѣхомъ надъ этимъ хламомъ прошлой жизни?

Максимъ прилегъ на траву, закурилъ папироску и задумался. Онъ ждалъ.

Но придетъ-ли она? Если придетъ, то что скажетъ? Теперь надо поступать рѣшительно. Согласится-ли она уйти изъ дома, повѣнчаться съ нимъ безъ позволенія дяди? Она стала такая

странная, загадочная. Что съ ней сдѣлалось? Это все старая среда искалѣчила, надломила ее. Ей тяжело вырваться изъ тѣхъ путей, которыми опутали ее. Какое счастье, что ему, Максиму, случай помочь такъ рано оторваться, отрѣшиться отъ всего прошлаго! Теперь его ни въ какомъ случаѣ не остановятъ вопросы: что скажутъ объ этомъ дядя, братья, сестры? не оскорбитъ-ли это ихъ? принято-ли такъ поступать въ нашей семьѣ? не помѣшаетъ-ли это правильному теченію жизни этихъ людей? Нѣтъ, онъ, Максимъ, можетъ дѣлать все, что вздумаетъ, можетъ поступать, какъ захочетъ. Онъ свободенъ отъ своихъ семейныхъ традицій, отъ стремленій жертвовать своими интересами во имя обычаевъ и приличій тѣхъ родственниковъ, которые для него не поступятся ничѣмъ. Его если что-нибудь еще и заставляеть являться здѣсь, такъ это одна только Дуня.

Да, онъ свободенъ, какъ птица, летѣть, куда задумаетъ, куда загадаетъ.

Но куда-же онъ думаетъ летѣть, что загадываетъ онъ начать?

Постепенно у него обрывалась всякая связь съ близкими ему когда-то людьми, съ близкими ему когда-то образомъ жизни, но выработалъ-ли онъ въ это время идеалъ новаго строя жизни, приобрѣлъ-ли онъ точку опоры среди тѣхъ людей, въ которыхъ влекло-бы его сердце? Нѣтъ. Покуда онъ только понималъ, что онъ не хочетъ такъ жить, какъ жили его дяди, братья, родители, покуда онъ понималъ, что онъ не можетъ такъ жить, какъ онъ жилъ до сихъ поръ самъ, но онъ еще не могъ уяснить себѣ того, какъ-же онъ долженъ жить. Честно работать, честно относиться къ людямъ, честно исполнять свои обязанности—все это покуда прописныя истины, простыя фразы, громкія слова. Человѣкъ не можетъ горячо любить, страстно увлечься одними голыми идеями. Его воображенію нужны образы, идеалы, чтобы въ немъ вспыхнуло страстное желаніе осуществить эти идеалы, воплотить въ жизнь эти образы. Честно жить, честно относиться къ людямъ, честно исполнять свои обязанности могутъ и гробовщикъ, отлично дѣлающій гробы, и плотникъ, строящій сегодня эшафотъ, а завтра алтарь для церкви, и скромный писецъ, безъ пропусковъ и грамматическихъ ошибокъ переписывающій дѣловую бумагу, и великій геній, дѣлающій міровыя открытія въ области науки. Но гдѣ-же именно та работа, которая вдохновила-бы,

увлекла-бы его? Такой работы онъ еще не видитъ. Почему это? Не вслѣдствіе-ли недостатка дарованія, недостатка способностей? Едва-ли. Онъ еще полонъ силъ и энергіи, полонъ стремленія къ труду и дѣятельности. Онъ поставленъ обстоятельствами въ то-же положеніе, въ которое сталъ по своей волѣ дядя Александръ Николаевичъ, убившій на кутежѣ всѣ лучшіе годы и оставшійся безъ дѣла въ жизни. Такая жизнь безъ дѣла ужасна, но еще ужаснѣе взяться за первое попавшееся дѣло, къ которому относись равнодушно, которое не можетъ вдохновить. Что-же дѣлать? Нужно запастись знаніемъ — знаніемъ научнымъ, знаніемъ жизни, и тогда, быть можетъ, явится сознаніе, какого рода дѣятельность нужнѣе всего въ данную минуту, къ чему болѣе всего лежитъ сердце. До сихъ поръ вся его жизнь была отрицаніемъ прошлаго, была медленнымъ разрывомъ съ этимъ прошлымъ, не во имя какого-нибудь идеала, а во имя сознанія негодности этого прошлаго. Теперь наступаетъ пора исканія новаго идеала, безъ котораго жизнь будетъ безсодержательна, пуста, скучна. И если-бы были хотя друзья, если-бы былъ созданъ имъ кружокъ близкихъ людей. Но разрывая связь съ былыми близкими людьми, онъ не могъ, не успѣлъ найти себѣ точку опоры въ другихъ кружкахъ, потому что приходилось биться изъ-за куска хлѣба, метаться изъ угла въ уголъ, отъ одной поденной работы къ другой. Друзья приобрѣтаются только при общности интересовъ, при одинаковыхъ цѣляхъ, при однородныхъ стремленіяхъ; у него-же повуда вся задача жизни состояла въ томъ, чтобы выбиться изъ нужды и тѣмъ самымъ освободиться отъ вліянія своей семьи. Чувствовать себя одинокимъ тяжело. Чувствовать себя одинокимъ въ двадцать два года, когда еще ищешь исходнаго пути, еще тяжелѣе.

Вотъ почему Максимъ такъ дорожилъ своей любовью къ Дунѣ,

Онъ свяжетъ свою судьбу съ ея судьбой, они пойдутъ рука объ руку, они будутъ стремиться одинаково развить себя, подготовить къ дѣятельности.

Но что-же она не идетъ? Вотъ уже и солнце опускается все ниже и ниже. Его горячіе, багровые лучи пронизали наезвозъ паркъ и золотятъ стволы старыхъ деревьевъ. Скоро оно опустится еще ниже и померкнетъ. А Дуни все нѣтъ. Но вотъ на алеѣ мель-

кнуло что-то, тамъ кто-то идетъ. Кто-же это можетъ быть, кромѣ ея!

Максимъ быстро вскочилъ и пошелъ, почти побѣжалъ на встрѣчу.

— Дуня, Дуня, голубка, милая! страстно говорилъ онъ, сжимая ея руки, обвиняя ее.—Я ужь думалъ, что ты не придешь, что тебя задержали.

— Кто-же могъ задержать? отвѣтила она слабымъ голосомъ.— Но я не на долго...

— Не на долго! Недобрая! Заставила столько ждать и пугаешь, что не на долго! Такъ я тебя и отпущу! смѣялся онъ.

— Тамъ схватиться могутъ, отвѣтила она.

— Ну и пускай, что намъ-то за дѣло!

Онъ взглянулъ ей въ лицо. Оно горѣло лихорадочнымъ жаромъ, а глаза смотрѣли не то разсѣянно, не то озабоченно. Такъ смотритъ человѣкъ, когда онъ говоритъ не то, о чемъ думаетъ, когда онъ озабоченъ какой-нибудь своей собственной тревожной мыслью и въ то-же время разсѣянно ловить чужія слова.

— Ты нездорова? спросилъ Максимъ испуганно.

— Я?... Нѣтъ, я здорова... Жаръ маленькій... Это ничего, проговорила она.

— Пройдемъ туда, указалъ онъ ей на полукругъ деревьевъ, гдѣ стояла скамья подъ статуей сатира.—Ты, конечно, слышала о скорой свадьбѣ Адели?

— Да.

— Это дурная для насъ новость. Признаюсь, я не ожидалъ. Аркадій Павловичъ извоили скрывать свои планы отъ всѣхъ. Намъ нужно-бы предупредить своей свадьбой ихъ свадьбу. Последъ будетъ не такъ легко пожениться. Пожалуй, еще не разрѣшать. Дядюшка вѣдь готовъ сдѣлать интригу противъ меня. Да, признаюсь, я и самъ не знаю, допускаются-ли браки двухъ родныхъ братьевъ на двухъ родныхъ сестрахъ.

Они сѣли. Дуня сидѣла, опустивъ руки, потупивъ глаза въ землю.

— Зачѣмъ-же торопиться? проговорила она.— Конечно, разрѣшать... Тебѣ еще надо кончить свое образованіе... Время уходитъ...

— Кончатъ образованіе можно и женатымъ, отвѣтилъ онъ.— Я не желаю затягивать нашей свадьбы, не хочу оставлять тебя здѣсь.

— Что-же, мнѣ тутъ не худо... Четыре, пять лѣтъ пройдутъ незамѣтно, съ усиленіемъ проговорила она.

— Нѣтъ, нѣтъ, я на это не согласенъ! возразилъ онъ съ горячностью.—Это будутъ убитые для тебя годы. Тамъ, въ Петербургѣ, живя со мною, ты употребишь ихъ съ пользой. Тебѣ тоже нужно еще учиться.

— И ты думаешь, что мы будемъ учиться, когда мы женимся? тихо спросила она.

— А то какъ-же? спросилъ онъ.—Развѣ женитьба помѣшаетъ намъ заниматься, работать? Напротивъ того, у насъ явится болѣе энергіи и силы. Я буду бодрѣе, я буду спокойнѣе. Безъ тебя я буду мучиться тамъ мыслью, что-то ты дѣлаешь здѣсь, какъ-то тебѣ живется. Я буду создавать въ своемъ воображеніи всякія невзгоды, которыя обрушиваются на тебя. Пойдетъ-ли при этомъ на умъ занятіе?

„Господи, что я стану ему говорить, чѣмъ буду убѣждать его? думала съ тоскою Дуня, вертя въ рукахъ упавшій ей на колѣни листъ.—Онъ будетъ возражать на все, на все“.

— Что? Ты сама видишь, что я правъ? взялъ ее за руки Максимъ и заглянулъ ей въ глаза.

Его взглядъ былъ полонъ ласки и любви. Это былъ добрый, мягкій, просящій отвѣтныхъ ласкъ взглядъ. Дуня провела рукою по лбу, отвернулася, и вдругъ снова обернулася къ Максиму.

— Милый, добрый мой, оставимъ эти толки! проговорила она, смотря ему въ глаза.—Оставимъ теперь... Здѣсь такъ хорошо... Богъ знаетъ, когда мы опять будемъ вдвоемъ... Посидимъ такъ, не думая о будущемъ...

— Но объ немъ надо подумать, возразилъ онъ.

— Послѣ, послѣ... перебила его она.—Не надо теперь...

Въ ея голосѣ было что-то молящее, что-то болѣзненное.

— Ну хорошо, согласился Максимъ.—Мы не будемъ говорить о будущемъ, но въ такомъ случаѣ я беру на себя право устроить его такъ, какъ мнѣ вздумается. Согласна?

— Хорошо, хорошо, произнесла она и тихо опустила голову на его плечо.

Онъ обнялъ ее за талію.

„Если-бы теперь умереть!“ промелькнуло въ ея головѣ. — Я была-бы счастлива... А онъ? Что-же, ему легче-бы схоронить меня,

чѣмъ... Господи, неужели нѣтъ другого исхода?.. Выйти за него, загубить его будущность, повредить отцу, затруднить свадьбу сестры... Да, Софьи права: женитьба оторветъ его отъ ученья, отъ дѣятельности, загубить даромъ его силы... И какая я жена? какая мать?.. Ни силъ, ни знаній, ничего нѣтъ... Но какъ тяжело, какъ тяжело отказаться!..“

— Ты меня очень любишь, Максимъ? шопотомъ спросила она.

— И ты еще спрашиваешь! воскликнулъ онъ, цѣлуя ее въ лобъ.

— А отказался-ли-бы ты отъ меня, если-бы тебѣ казалось, что это принесетъ мнѣ пользу?.. спросила она.

— Я тебя не понимаю, отвѣтилъ онъ.

— Ну, если-бы ты былъ убѣжденъ, что я буду лучше, что я буду полезнѣе обществу, что я не растрочу даромъ силъ, когда не буду твоею,—отказался-ли-бы ты отъ меня? пояснила она.

— Не знаю... Кажется, нѣтъ, отвѣтилъ онъ. — Я слишкомъ люблю тебя... Мнѣ не могла-бы даже придти въ голову такая мысль... Я не могъ-бы подумать, что ты безъ меня будешь лучше или полезнѣе... Да, наконецъ, если-бы я и пришелъ къ этой мысли, то я не отдалъ-бы тебя ради пользы общества...

„Вѣрно я не умѣю любить!“ промелькнуло въ головѣ Дуни.

— Впрочемъ, это вообще ненормальная, болѣзненная мысль, продолжалъ Максимъ. — Когда кого-нибудь любишь, то не думаешь, что вредишь ему, что портишь его своею любовью. Напротивъ того, здоровому человѣку кажется, что онъ поддерживаетъ, спасаетъ, поднимаетъ любимое существо. Да иначе и быть не можетъ: здоровый человѣкъ долженъ оказывать здоровое вліяніе, только болѣзненные и слабые люди вліяютъ губительно на ближнего...

„Да, онъ правъ, я больна и потому только мнѣ могла придти въ голову эта мысль“, думала молодая дѣвушка.

— Вотъ моя покойная мать принадлежала къ числу такихъ натуръ, продолжалъ задумчиво Максимъ. — Бѣдная женщина не сознавала, что она загубила всю жизнь отца своею слабостью, своею болѣзненностью. Въ лучшіе годы его жизни она не только не подтолкнула его на дѣятельность, но убила въ немъ послѣднюю энергію, втянула его въ узкіе семейные интересы и довела до той тоски, до той скуки, вслѣдствіе которыхъ онъ началъ пить.



„Меня тоже часто сравнивали съ тетей, скорбно подумала Дуня.— Онъ самъ не знаетъ, на что онъ заставляетъ рѣшиться меня своими словами“.

— Но что это мы начали за здравіе, а свели за упокой, засмѣялся Максимъ.— Поговоримъ о себѣ, о нашемъ...

Дуня вздрогнула.

— Что съ тобой, Дуня! Тебѣ холодно? спросилъ Максимъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, разсѣянно отвѣтила она, устремивъ глаза въ сторону.

Тамъ, между группой деревьевъ, мелькнуло и скрылось что-то черное.

— Посмотри, посмотри туда! прошептала въ испугъ Дуня, указывая по направленію къ этой группѣ деревьевъ.

— Я ничего не вижу, отвѣтилъ Максимъ.

— Да, теперь не видать, тревожно заговорила Дуня.— Но это онъ... Что имъ надо отъ меня?... Зачѣмъ слѣдять... Онъ меня сведутъ съума...

Ея глаза сверкали, ея лицо горѣло горячечнымъ огнемъ.

— Про кого ты говоришь? испуганно спросилъ Максимъ, которому показалось, что у молодой дѣвушки начинается бредъ.

Но она не слышала его вопроса.

— Ты понимаешь, я не хочу идти къ нимъ, порывисто продолжала она, крѣпко прижимаясь къ нему.— Не хочу!.. Тамъ смерть, а я хочу жить... Слышишь, жить!.. Онъ губать меня, проклятыя!..

— Дуня, Дуня, что съ тобою? уже совсѣмъ тревожно воскликнулъ Максимъ.

— Жить хочу... съ тобою! лихорадочно шептала она.— Милый, дорогой мой, возьми меня... Спаси!.. Я вся твоя... Что мнѣ за дѣло до ихъ толковъ?... Онъ лгутъ, что я погублю тебя!.. Милый, ненаглядный, возьми меня... уведи!.. Да? ты вѣдь не отдашь имъ меня?... Не отдашь?..

Она порывисто обвила его своими руками и прильнула страстнымъ поцѣлуемъ къ его губамъ. Онъ обнялъ ее и на мгновеніе позабылъ свой испугъ. Онъ только сознавалъ, что его страстно цѣлуетъ та, которую онъ любитъ больше всего на свѣтѣ. Онъ цѣловалъ ее горячими поцѣлуями, а ея объятія все ослабѣвали и ослабѣвали; наконецъ, ея руки тяжело упали съ его плечъ и

вся она какъ-будто опустилась. Онъ заглянулъ ей въ глаза—они были закрыты; онъ окликнулъ ее—она не отвѣчалась.

— Дуня, Дуня! кричалъ Максимъ, опуская ее на скамью. Но Дуня не отвѣчала.

Онъ бросился къ пруду зачерпнуть воды; черезъ мгновеніе онъ былъ снова около дѣвушки и смачивалъ ей голову, виски. А гдѣ-то недалеко слышался зовъ:

— Eudoxie, Eudoxie!

Максимъ узналъ этотъ голосъ. Это былъ голосъ его сестры. Онъ обернулся и въ полутьмѣ увидалъ двѣ фигуры въ черномъ, медленно приближавшіяся къ нему.

„А! вотъ про кого говорила она!“ промелькнуло въ его головѣ.

— Максимъ! Вотъ неожиданность! проговорила его сестра, приближаясь къ нему.

Онъ хотѣлъ сказать что-то рѣзкое, злое, но махнулъ рукою тихо пробормоталъ:

— Помогите, съ ней обморокъ!

Софья Павловна стремительно бросилась къ Дунѣ.

## XXII.

У Дуни началась горячка.

Болѣзнь началась, быть можетъ, ранѣе, чѣмъ ее замѣтили. Надежды на выздоровленіе не было никакой.

Максимъ былъ въ полнѣйшемъ отчаяніи. Онъ забылъ все, онъ не слыхалъ и не замѣчалъ ничего, что происходило вокругъ него. Онъ видѣлъ только одно любимое существо, быстро приближавшееся къ смерти, и безъ мысли, безъ сознанія, тупо и безнадежно слѣдилъ за этимъ угасаніемъ молодой жизни. Необходимость отъѣзда въ Петербургъ для поступленія въ университетъ, дразги по дѣлежу имѣнія, мечты о будущемъ,—все было забыто, отброшено въ сторону.

Софья Павловна тоже была поражена болѣзью молодой дѣвушки и въ ея печали смѣшивалась искренняя тоска о любимомъ существѣ съ обманутыми надеждами на выгодную сдѣлку.

Проживая по цѣлымъ часамъ у постели умирающей, Максимъ и его сестра даже забывали свои враждебныя чувства

другъ къ другу и, кажется, готовы были соединить вмѣстѣ всѣ свои усилія, чтобы спасти ту, изъ-за обладанія которою они снова повели-бы войну послѣ ея выздоровленія. Теперь имъ хотѣлось только спасти ее, не загадывая, какія послѣдствія повлечетъ за собою ея спасеніе.

Покуда во второмъ этажѣ надворнаго флигеля шли хлопоты этихъ двухъ существъ около больной, внизу заботились о свадьбѣ.

Свадьбу хотѣли сыграть по-возможности скорѣе, и это дѣлалось потому, что неловко будетъ устраивать свадьбу, когда въ домѣ будетъ покойница. Болѣе всѣхъ заботился объ ускореніи свадьбы Аркадій Павловичъ. Этотъ бракъ имѣлъ для него двойной интересъ: его манили денежныя выгоды и стремленіе удовлетворить тѣ чувства, которыя онъ питалъ къ невѣстѣ. Онъ надѣялся захватить въ свои руки крупный кушъ. Эти деньги были ему нужны, отъ нихъ, по его мнѣнію, зависѣло все его будущее. До сихъ поръ онъ служилъ, при помощи протекціи графовъ Баскаковыхъ, довольно успѣшно, то-есть числился чиновникомъ по особымъ порученіямъ, путешествовалъ на казенный счетъ за ницу для осмотра какихъ-то правительственныхъ учрежденій торня онъ изучалъ въ кафе-шантанахъ и среди парижскаго свѣта. Но особенно блестящей служебной карьеры онъ не надѣялся сдѣлать. Онъ видѣлъ необходимость запастись деньгами, чтобы поставить свой домъ на широкую ногу, а потомъ... потомъ броситься въ игру, — въ игру въ карты, въ игру на биржѣ. Только этимъ путемъ можно было, какъ казалось ему, завоевать положеніе въ свѣтѣ, потому что никакая служба не даетъ такихъ средствъ, чтобы жить широко, открыто. Недаромъ-же онъ жилъ въ Петербургѣ въ то время, когда начали при помощи финансовыхъ операцій въ нѣсколько часовъ создаваться громадныя богатства. Онъ съ завистью слѣдилъ за этими спекуляторами, точно волшебствомъ превращавшимися изъ бѣдняковъ въ богачей. Въ его нехитрой, нѣсколько тупой и вялой головѣ роились тысячи комбинацій наживы, тысячи плановъ, въ родѣ сдѣлокъ съ концессионерами, директорства въ какой-нибудь акціонерной компаніи, игры за границей въ рулетку. Онъ мечталъ, какъ мечтаютъ всѣ барченки, непривыкшіе съ дѣтства къ кровавому труду или ловкому мошенничеству, но жаждущіе денегъ, денегъ и денегъ не менѣе тѣхъ

проходимцевъ, которые по грязи доползли до стотысячныхъ годовыхъ доходовъ. Мечтая, онъ сознавалъ, что его мечты могутъ осуществиться только при помощи случайно попавшихъ ему въ руки денегъ на первоначальныя спекуляціи, и эти деньги теперь давались ему въ видѣ приданого за невѣстой. Его мучило желаніе узнать поскорѣе, какъ велико будетъ это приданое, и онъ не разъ досадовалъ, что ему нельзя спросить объ этомъ у Платона Николаевича, который, подобно всѣмъ самодурамъ, не потерпѣлъ-бы, если-бы женихъ вздумалъ высказать свои условія насчетъ приданого, а не принялъ-бы этого приданого, какъ милостивой подачи изъ рукъ благодѣтеля. Въ то-же время Аркадій Павловичъ былъ далеко перавнодушенъ и въ отношеніи самой невѣсты. Онъ не любилъ ее, потому что онъ уже давно утратилъ способность любить. Кто съ шестнадцати-лѣтняго возраста пользовался ласками покорныхъ крѣпостныхъ дѣвокъ, кто прошелъ огонь и воду того холоднаго разврата, который начался въ корпусѣ, продолжался въ крѣпостнической средѣ, доходилъ до высшей степени среди золотой молодежи, тотъ утратилъ на-всегда способность испытывать то чистое чувство, которое называютъ любовью. Но чѣмъ менѣе онъ былъ способенъ любить, тѣмъ болѣе былъ онъ склоненъ къ сластолюбію, къ сладострастію. Постоянныя связи съ женщинами, постоянное пребываніе среди развращенной, праздной молодежи, вѣчные сальныя разказы и сальныя картины развили въ немъ, вяломъ и тупомъ по натурѣ человѣкѣ, ту холодную похотливость, для которой нѣтъ ничего святого, которая пробуждается при видѣ каждаго хорошенькаго личика, которая никогда не переходитъ въ страсть, но въ то-же время никогда не ослабѣваетъ. Онъ былъ способенъ сходитьса одинаково съ женщиной, равнодушно отдающейса ему за деньги, и съ женщиной, страстно бросающейса ему въ минуту увлеченія въ объятія. Онъ могъ сойтись съ женщиной противъ ея воли и удовлетвориться этою связью точно такъ-же, какъ связью съ женщиной, добровольно отдавшейса ему. Не зналъ любви, онъ не зналъ и ревности. Ему было все равно, любила-ли женщина, сошедшаяся съ нимъ, кого-нибудь прежде его или нѣтъ, ему было все равно, будетъ-ли она завтра любить другого или не будетъ. Онъ наслаждался обладаніемъ ею и точно также наслаждался-бы и тѣми сальными

● рассказами, которые сообщили-бы ему о ней ея прошлые или будущіе любовники. Онъ былъ вполне сыномъ того круга общества, гдѣ женщина-кокотка отдается разомъ нѣсколькимъ мужчинамъ, гдѣ мужчина въ одно и то-же время содержитъ нѣсколько женщинъ, гдѣ за пьяною оргіею передаются всѣ сальныя подробности тѣхъ грязныхъ отношеній, за которыя должны-бы краснѣть люди и которыми они хвалятся среди такихъ-же утратившихъ всякую нравственную опрятность людей, какъ они сами.

Но если, встрѣчая каждую женщину, онъ прежде всего представлялъ въ своемъ лѣнливомъ и сонномъ воображеніи всѣ ея прелести, то въ настоящемъ случаѣ эти представленія прелестей встрѣченной женщины были еще болѣе опьяняющими для него: онъ могъ представить себѣ Адель такъ-же полно, такъ-же подробно, какъ мы представляемъ себѣ Венеру, Діану.

Въ былые годы, когда онъ былъ еще юношею, когда Адель была почти дѣвочкою, онъ часто пріѣзжалъ въ Ольховатое. Онъ зналъ часы, когда Адель уходила купаться. Онъ зналъ, что Адель купается на открытомъ воздухѣ. Онъ пробирался въ паркъ, становился за дерево и, затаивъ дыханіе, ждалъ, когда появится она съ горничной. Горничная быстро раздѣвалась, а Адель оставалась сидѣть на пескѣ, медленно снимая платье. Онъ замиралъ и задыхался при каждомъ разстегнутомъ врючкѣ, при каждой развязанной тесемкѣ. Но вотъ все было сброшено, все было обнажено. Адель поднималась и лѣнливо, граціозно потягивалась, любуясь своимъ собственнымъ тѣломъ. Онъ не спускалъ съ нея глазъ, изъ которыхъ текли слезы отъ сильнаго напряженія. Съ открытымъ ртомъ, съ высоко поднимающеюся грудью, съ тяжелымъ дыханіемъ, онъ едва не падалъ на зѣмлю, всматриваясь въ это молодое тѣло, слыша, какъ Адель спрашивала горничную:

— Хороша я, Луша?

— Что это вы, барышня, все собой любуетесь? отзывалась недовольнымъ тономъ Луша. — Еще придетъ кто-нибудь да застанетъ. Срамъ какой! Идите купаться!

Адель улыбалась и неторопливо опускала шаловливую ножку въ воду, вздрагивала, потомъ тихо начинала погружаться въ холодную влагу.

Теперь все это живо, ярко припоминалось Аркадію Павло-

вичу и онъ перебиралъ всѣ подробности тѣхъ красотъ своей невѣсты, которыя будутъ принадлежать ему, — перебиралъ опять съ высоко поднимающеюся грудью, съ тупо устремленными впередъ глазами, съ полукрѣпкимъ ртомъ, съ высыхающими, толстыми губами. Это не былъ циникъ-сатиръ древности, съ своею животною и въ то-же время язвительною, сатанинскою улыбкою; это не былъ отважный Донъ-Жуанъ юга, идущій съ пѣснею и оружіемъ въ рукахъ на опасное свиданіе; это былъ давно пресытившійся, и все-таки вѣчно алчущій развратникъ, незнавшій ни поэзіи, ни увлеченія, ни страсти, ни порывовъ, ни жертвъ, и привышій только продавать, ссужать и уступать и женщину, и себя.

— Ты не можешь себѣ представить, что это за женщина, говорилъ Аркадій Павловичъ, сидя съ братомъ Петромъ Павловичемъ въ коляскѣ и направляясь къ дядѣ Платону Николаевичу. — Что за роскошь формъ, сколько граціи!

— Да мнѣ никогда не удавалось ее видѣть, когда ты водилъ меня смотрѣть, какъ она купается, отвѣтилъ Петръ Павловичъ.

— Да, ты положительно много потерялъ, замѣтилъ старшій братъ. — Это, я тебѣ скажу, просто восторгъ. У нея какая-то восточная нѣга, какое-то сладострастіе въ каждомъ движеніи. Это просто какая-то одалиска.

— Я, право, позавидоваль-бы тебѣ, если-бы чувствовалъ хотя какое-нибудь призваніе къ браку. Но я созданъ для веселой, холостой жизни съ французенками, съ молодой компаніей друзей, съ шампанскимъ и пѣснями.

— Да, это все отлично. Но все это можетъ существовать и для женатаго. А между тѣмъ женатый на подобной женщинѣ имѣетъ то преимущество, что у него во всякое время находится подъ рукою такая жена... Французенки, наши кутежи, все это hors d'oeuvre. А такая жена — это постоянный сытный обѣдъ. Сверхъ того, всѣ эти холостые кутежи доступны только при деньгахъ или при такой удачѣ, какою пользуешься ты. Ты вѣдь всегда былъ баловнемъ друзей и женщинъ.

Петръ Павловичъ мягко улыбнулся.

— Но на подобную удачу можно рассчитывать недолго, продолжалъ Аркадій Павловичъ. — Покуда ты молодъ, хорошъ, по-

куда у тебя есть прекрасный голосъ, ты можешь быть желаннымъ собесѣдникомъ и спутникомъ нашихъ петербургскихъ друзей, тебѣ могутъ перепадать крохи наслажденій на ихъ пирахъ. Но это случайность. Чтобы приобрести твердую почву въ ихъ кружкахъ, нужны все-таки деньги; эта-же свадьба даетъ мнѣ разомъ и деньги, и красавицу-жену.

— Которую станутъ отбивать у тебя твои-же друзья, зашѣлся Петръ Павловичъ.— Лишняя забота!

— Какъ тебѣ сказать? задумчиво проговорилъ Аркадій Павловичъ.— Я, кажется, не ревнивъ. Мужъ у насъ по закону стоять въ слишкомъ хорошихъ условіяхъ для того, чтобы выходить изъ себя отъ страха потерять на-всегда красавицу-жену. Временныя же ухаживанія друзей—это, должно быть, дразнить, щекочетъ чувство.

— А сколько придаваго думаешь ты получить? спросилъ Петръ Павловичъ.

— Право, не знаю, по мало не получу, отвѣтилъ старшій братъ.— Ты знаешь, дядя любить меня, любить Адель, — конечно, по-своему, но все-же любить. Кромѣ того, онъ понимаетъ, что я стремлюсь составить себѣ карьеру, а онъ былъ-бы радъ, если-бы кто-нибудь изъ насъ занялъ видное положеніе въ теперешнемъ обществѣ. Онъ вѣдь, въ сущности, страдаетъ болѣе всего вслѣдствіе оскорбленнаго самолюбія. Ему здѣсь скучно, но онъ не ѣдетъ въ Петербургъ потому, что тамъ ему пришлось-бы стоять одиноко. Если-бы я поставилъ свой домъ на широкую ногу, если-бы мнѣ удалась мои финансовыя проекты, — онъ пріѣхалъ-бы ко мнѣ и рискнулъ-бы тоже раскошиться, пустить въ обороты то, что лежитъ безъ употребленія. У него уже нѣтъ теперь смѣлости и ему нужно дать толчекъ, нужно показать, что онъ еще можетъ стоять на видномъ мѣстѣ въ современномъ обществѣ, если не въ качествѣ административнаго дѣятеля, то въ качествѣ богатого человѣка.

— Но увѣренъ-ли ты, что онъ по-прежнему богатъ? У него такъ плохо идетъ хозяйство, столько упуценій.

— Это все пустяки! Старикъ просто прижался. Бойся начать хозяйничать на новыхъ основаніяхъ.

Боляска вѣхала во дворъ барскаго дома. Молодые люди вы-

скачили изъ экипажа и поднялись по каменнымъ ступенямъ крыльца. Они встрѣтили Александра Николаевича.

— Не ожидалъ такой быстроты, не ожидалъ! кричалъ Александръ Николаевичъ, крѣпко пожимая руку Аркадія Павловича. — Такой увалень и такъ легко взялъ крѣпость!

— Что-жь долго думать, дядя! замѣтилъ Аркадій Павловичъ. — Годы бѣгутъ.

— Бѣгутъ, братецъ, бѣгутъ, это я на себя чувствую, вздохнулъ Александръ Николаевичъ. — Никуда не гокусь теперь, совсемъ старѣю... Ну, поцѣлуемся-же, будущій зятекъ!

Онъ обнялъ Аркадія Павловича.

— А твоя нарѣченная въ саду.

— Я пройду къ ней, замѣтилъ Аркадій Павловичъ.

— Ну, а ты стой! мѣшать не слѣдуетъ, обратился Александръ Николаевичъ къ Петру Павловичу. — Мы еще, пожалуй, изъ-за кустиковъ можемъ любоваться на влюбленныхъ, а мѣшать — ни-ни! Эхъ, время, время! Давно-ли, кажется, вотъ и я тоже сгоралъ отъ страстей? А теперь... Нѣтъ, ты послушай, пожалуйста, что со мной было недавно...

Александръ Николаевичъ взялъ подъ руку Петра Павловича и увлекъ его въ желтую гостиную. Аркадій Павловичъ изъ бѣлой залы вышелъ на терасу, сошелъ въ садъ и направился боковой дорожкой къ бесѣдкѣ, выстроенной въ концѣ сада, на берегу быстрой, небольшой рѣчки. Эта бесѣдка была любимымъ мѣстомъ полуденнаго отдыха Адели; недалеко отъ этой бесѣдки было и то завѣтное мѣстечко, гдѣ когда-то любовался Аркадій Павловичъ Аделью во время ея купаній. Ему теперь думалось, что хорошо-бы застать ее и теперь, какъ въ былые годы, готовою войти въ воду. Онъ теперь не стѣснился-бы подойти къ ней. Какъ испугалась-бы она! Сперва разсердилась-бы, а потомъ начала-бы смѣяться. Онъ улыбался сальною улыбкою. Уже за нѣсколько шаговъ не доходя до бесѣдки, онъ увидалъ, что на ступеняхъ бесѣдки сидитъ Адель. У нея на колѣняхъ была раскрытая книга, но она не читала, а смотрѣла безцѣльно въ даль.

— Адель, здравствуй! окликнулъ ее Аркадій Павловичъ и, взявъ ея руку, поднесъ ее къ губамъ.

Адель вздрогнула. Аркадій медленно и долго цѣловалъ ея руку



и потомъ опустился на ступени, не выпуская руки дѣвушки и глядя ее.

— Ты слышала отъ дяди? спросилъ онъ.

— Слышала, отвѣтила она.

— Ну, и что-же?

— Жалѣю, что ты не счелъ нужнымъ поговорить прежде со мною, отвѣтила она.

— Развѣ есть препятствія? спросилъ онъ. — Я не думаю, чтобы ты отказалась.

Онъ взглянулъ на нее съ тупымъ удивленіемъ; она потупила глаза. Ей было обидно, что она не могла сказать ему, что она не согласилась выйти за него замужъ, что она отказала ему.

— Ты не повѣришь, какъ я люблю тебя, началъ онъ, — люблю уже не со вчерашняго дня. Ты, конечно, и не знаешь, что уже лѣтъ пять тому назадъ я по цѣлымъ часамъ стоялъ вотъ тутъ, недалеко, чтобы дождаться, когда ты станешь купаться...

Адель вся вспыхнула.

— Ты, бывало, стоишь, любишь себя. Ты уже и тогда совнавала свою красоту, кокетка! Можетъ быть, мечтала о женихѣ, о любви.

— О, ради Бога! сорвалось съ языка у Адели.

Она была оскорблена тѣмъ, что этотъ человѣкъ зналъ ея тайны и цинично высказывалъ это.

— Я не понимаю, чего ты конфузишься? замѣтилъ Аркадій. — Вѣдь теперь мы стоимъ не въ прежнихъ отношеніяхъ. Мы скоро будемъ мужемъ и женою и намъ нечего будетъ краснѣть другъ передъ другомъ. Я и тогда, смотря на тебя, мечталъ, когда ты будешь моею. Мнѣ иногда трудно было удержаться, чтобы не броситься къ тебѣ. Я уже видѣлъ въ тебѣ не ребенка, а дѣвушку, жаждущую любви, ласкъ...

— Ты издѣваешься надо мною! тихо воскликнула она и встала.

— Куда ты? спросилъ онъ.

— Домой! глухо отвѣтила она.

— Ну полно! Ты еще даже не поцѣловала меня.

Она хотѣла уйти.

— Нѣтъ, нѣтъ, такъ не пусти! заговорилъ онъ, удерживая ее. — Теперь я въ правѣ поцѣловать тебя не какъ сестру, а какъ невѣсту.

Онъ сладострастно обнялъ ее и прижалъ свои губы къ ея губамъ въ долгомъ поцѣлуѣ.

— Пусти, пусти! шептала она, почти теряя сознание.

Наконецъ, онъ выпустилъ ее изъ своихъ объятій. Она, шатаясь, пошла по направленію къ дому. Она была унижена, втоптана въ грязь. Она уже сознавала, что она никогда не полюбитъ его, не полюбитъ ради этой первой любовной сцены.

— А вотъ и наши влюбленные! крикнулъ веселымъ тономъ съ терасы Александръ Николаевичъ. — Нашепталмсь? Тысячи клятвъ и миліоны обѣщаній! Знаю, знаю, все это старо, старо, какъ міръ.

Адель молча прошла мимо отца, не замѣтивъ даже присутствія Петра Павловича.

— Однако, ты, кажется, злоупотребляешь правами жениха, шопотомъ замѣтилъ Александръ Николаевичъ, погрозивъ Аркадію Павловичу. — Совсѣмъ смутилъ ее своими ласками!

— Чудѣ, дядя, что за дѣвушка! проговорилъ Аркадій Павловичъ, потирая руки. — Свѣжестъ какая! Еще конфузится. Для меня это ново.

— Да, да, степная дикарка, не вашимъ петербургскимъ бухгалтерамъ въ юбкахъ чета, похлопалъ его по плечу Александръ Николаевичъ. — А у меня, знаешь, будетъ до тебя просьба.

Александръ Николаевичъ озабоченно потеръ лобъ, оглянувшись кругомъ и взявъ подъ руку Аркадія Павловича.

— У меня, знаешь, очень неприятное дѣло есть, таинственно началъ онъ, прохаживаясь подъ руку съ племянникомъ. — Ты знаешь, мое положеніе неблестящее... Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ я, конечно, поправлюсь... Но теперь... Ты знаешь, братъ Платонъ очень добрый, но странный человѣкъ... У него гвоздь какой-то въ головѣ; никакъ не выбьешь, что ему западетъ въ голову... Видишь-ли...

Александръ Николаевичъ путался и никакъ не могъ сказать прямо, что ему нужно. Аркадій Павловичъ предчувствовалъ, что хочетъ сказать дядя, и молчалъ.

— Видишь-ли, оно довольно странно, что я хочу обратиться къ тебѣ съ просьбою въ такое время, но что дѣлать, что дѣлать! продолжалъ, волнуясь, Александръ Николаевичъ. — Оно, впрочемъ, можетъ быть, и смѣшно даже, что я волнуюсь, но у

насъ, людей стараго времени, есть свои прѣнсіпы, свои взгляды, свои традиции... Другой бы, изъ новыхъ, можетъ быть, вовсе и не волновался въ подобномъ положеніи...

— Я васъ не понимаю, дядя, пожалъ плечами Аркадій Павловичъ.

— Мнѣ нужно... Ты пожалуйста не удивляйся! пожалъ его руку Александръ Николаевичъ. — Мнѣ нужно денегъ... Взаимы, взаимы, на недолгій срокъ, поспѣшно добавилъ онъ. — Ты не повѣришь, что за трагическое положеніе. Жилъ десятки лѣтъ самостоятельно, кличку „пріятельскаго кошелька“ получилъ, и вдругъ—бац! на старости лѣтъ живу... безъ карманныхъ денегъ живу! съ горькою ироніей докончилъ онъ.

Аркадій едва замѣтно усмѣхнулся и подумалъ: „Подлецъ, выпрашиваетъ долю изъ приданаго дочери“.

— Сколько вамъ? спросилъ онъ сухо.

— Немного... тысячу, что-ли, бормоталъ Александръ Николаевичъ, проводя рукою по лбу. — Нѣтъ, этому надо положить конецъ. Вѣдь вотъ у меня дочь выходитъ замужъ, а у меня нѣтъ своего гроша, чтобы сдѣлать ей на память свадебный подарокъ. У меня, ты знаешь, есть на сторонѣ семья, а я не могу ничего ей дать... Братъ, правда, посылаетъ ей деньги, но даже не черезъ меня, а съ прикащикомъ. Это невыносимо... Конечно, я ничѣмъ не обязанъ въ отношеніи этой семьи; если смотрѣть на дѣло съ точки зрѣнія нынѣшнихъ непогрѣшимыхъ представителей административной исполнительности, у которыхъ вмѣсто сердца сводъ юридическихъ постановленій и вмѣсто понятія о чести статьи законовъ за номеромъ такимъ-то. Но у насъ, представителей стараго барства, степныхъ дикарей, свои понятія. Если ты скажешь мнѣ, что я правъ по закону бросить женщину, отъ которой я прижилъ незаконныхъ дѣтей, то я все-таки не успокоюсь. Если ты скажешь, что незаконно выходить на дуэль съ человѣкомъ, оскорбившимъ во мнѣ чувство чести, то я все-таки буду съ нимъ драться. Можетъ быть, все это донъ-кишотство, все это смѣшно, но все это мы всосали съ молокомъ матери.

— Я постараюсь исполнить вашу просьбу тотчасъ-же, какъ получу деньги, сухо замѣтилъ Аркадій Павловичъ.

— Да, пожалуйста! Я тебѣ ихъ отдамъ. Я жду только за-

мужества Адели, а тамъ я объяснюсь съ братомъ. Дальше жить такъ, какъ я живу теперь, у меня нѣтъ силъ.

— Вамъ надо-бы служить, посоветоваль Аркадія Павловичъ.

— Служить, служить! воскликнулъ Александръ Николаевичъ. — Легко это сказать! По выборамъ я не могу служить, я обезземель, я ничего не имѣю. Служить-же въ этихъ канцеляріяхъ, департаментахъ, палатахъ... Нѣтъ, ужь пусть тамъ служатъ тѣ, которые умѣютъ при трехстахъ годового жалованья держать собственныхъ лошадей, а при тысячномъ овладѣ строить стотысячные дома. Мы, мой другъ, тоже служили, но служили изъ чести, мы служили безъ жалованья въ полкахъ и кормили на свой счетъ свои роты. Мы сбрасывали свои халаты и, не требуя денегъ, поступали въ ополченіе въ севастопольскую войну. Мы послѣдніе моговане, которымъ уже не приладиться къ новому строю жизни.

Александръ Николаевичъ еще долго ораторствовалъ въ этомъ родѣ и успѣлъ порядкомъ надоѣсть Аркадію Павловичу, такъ что тотъ очень обрадовался, когда насталь часъ обѣда.

### XXIII.

Слѣдующіе дни пошли для Аркадія Павловича въ хлопотахъ, связанныхъ съ приготовленіями къ свадьбѣ. Онъ обратилъ очень мало вниманія на внезапную болѣзнь Дуни, на безмолвное отчаяніе Максима, на вспышки Адели, въ которыхъ выказывалось отвращеніе къ нему, и на особенную дѣятельность Данилы.

Данило Павловичъ не дремалъ.

Онъ сошелся съ Гуцинымъ и заключилъ съ нимъ условіе насчетъ поступленія на службу при строящейся желѣзной дорогѣ. Гуцинъ очень хорошо понялъ Данилу Павловича. Старикъ увидѣлъ, что это энергичный, живой и смѣтливый парень съ здоровой глотвой, съ способностью выругаться крѣпкими словами, съ умѣньемъ держать въ ежовыхъ рукавицахъ ослушный народъ. Такого человѣка было нужно Гуцину. Можетъ быть, еще болѣе, чѣмъ эти способности, заставляло Гуцина принять на службу Данилу Павловича и то соображеніе, что Данило Павловичъ былъ племянникъ его презняго барина. Это, во-первыхъ, льстило самолюбію

старика, а во-вторыхъ, служба Даниила Павловича у бывшаго крѣпостного дяди должна была оскорбить самолюбіе Платона Николаевича. Все это тѣшило старика Гущина, забывшаго нанесенной ему обиды. Данило Павловичъ, съ своей стороны, рассчитывалъ вѣрно: жалкое жалованье армейскаго офицера было крайне недостаточно для его широкой натуры; Гущинъ-же предлагалъ ровно втрое больше.

— Я, братъ, самъ въ черной работѣ выросъ, такъ знаю, что она стоитъ, говорилъ старикъ, похлопывая Данилу Павловича по плечу. — Конечно, чиновъ я тебѣ не могу дать, орденовъ тоже, а разсуждаю я такъ: наживешься ты у меня, разбогатѣешь, тогда и чины, и ордена купишь. Вонъ вѣдь я что — такъ-себѣ, мужикъ, а тоже когда-нибудь и вашимъ высокоблагородіемъ, и кавалеромъ буду. Все это деньги дѣлаютъ, а на дѣлѣ-то одна суета и тщета. Такъ-то. Служи у меня — все будетъ... А вотъ, если-бы ты мнѣ „Вавиловскую рошу“ предоставилъ, такъ я и не знаю, какое-бы спасибо я тебѣ сказалъ.

— Да какъ ее предоставишь вамъ! вздохнулъ Данило Павловичъ.

— Ужъ извѣстно, что не предоставишь! Не твоего ума дѣло, ваше благородіе. Такъ, къ слову сказалъ, замѣтилъ Гущинъ. — У дядюшки-то твоего хоть колъ на головѣ теши, а ужъ если что онъ заберетъ себѣ въ мозги, такъ того оттуда и во сто лѣтъ не выбьешь. Охъ, норовистъ человекъ!

— Вотъ я ему поднесу еще подарокъ, какъ скажу, что опредѣлился къ вамъ на службу, смѣялся Данило Павловичъ.

— Обидишь! усмѣхался Гущинъ. — Поди, изъ дому выгонишь.

— Ну, выгнать не выгонишь, а и не обрадуется.

Посѣтивъ нѣсколько разъ домъ Гущина, Данило Павловичъ ближе познакомился съ дочерью Гущина, Олимпіадой Пахомовной, которую онъ, смѣясь, назвалъ теперь „сырымъ матеріаломъ“, а уже не „колодою“. Дѣйствительно, новое названіе, данное ей Данилой Павловичемъ, было довольно мѣтко.

Олимпіада Пахомовна, довольно полная, точно изъ заварного тѣста слѣпленная дѣвушка, съ румяными щеками, съ масляными глазами, съ жирными волосами, представляла собою нѣчто такое безхарактерное и безличное, что, кажется, изъ нея можно было вылѣпить что угодно. Покуда ея жизнь и интересы заключались въ

ѣдѣ, спаньѣ, питьѣ, гуляньѣ, праздности. Получивъ самое поверхностное пансіонское образованіе, она жила въ родительскомъ домѣ въ ожиданіи будущаго, т. е. замужества. Отецъ ее кормилъ, поилъ, наряжалъ и не притѣснялъ; мать, маленькая и худенькая старушонка, хлопотала по хозяйству, ѣздила по монастырямъ, копила гроши на черный день, не умѣя себѣ представить разбѣровъ богатства своего мужа, и радовалась, что у нея выросла такая „скромная дѣвка“. Скромная-же дѣвка была вполнѣ довольна своею судьбою: она была наряднѣе всѣхъ одѣта, она могла спать сколько угодно по-утру, она не слыхала ни отъ кого дурного слова, она не нуждалась ни въ чемъ, она даже была любима всѣми. Впрочемъ, ее и нельзя было не любить: она была добра и отдавала просящимъ то, что не шло ей въ горло; у нея былъ сговорчивый характеръ изнѣженнаго лѣнтя, который не возражаетъ никому, чтобы не волновать понапрасно себя; у нея была склонность къ ласковости взлелѣяннаго пятилѣтнаго ребенка, для котораго хороши всѣ люди, потому что они всѣ цѣлуютъ его и онъ не понимаетъ, что можетъ быть въ нихъ дурного. Ее нельзя было назвать умною, ее нельзя было назвать глупою, потому что она въ сущности еще не могла составить себѣ ни о чемъ понятія, кромѣ ѣды, питья, спанья и пансіонскихъ знаній арифметики, французскаго и нѣмецкаго языковъ, плохой игры на фортепьяно и рукодѣлій. Отецъ говорилъ, что „дѣла“ не по бабьей части, и потому не посвящалъ ее ни во что. Мать трогательно замѣчала, что „пускай она покрасуетя, пока своихъ заботъ нѣтъ“, и не допускала до дочери никакихъ хозяйственныхъ и житейскихъ дразгъ и хлопотъ.

— Липка у меня еще на подножномъ корму! шутиливо замѣчалъ про нее Гуцинъ и, похлопывая ее по круглому и бѣлому плечу, прибавлялъ:—Ишь какая сдобная вышла!

Таковъ былъ „сырой матеріалъ“, съ которымъ пришлось встрѣтиться Данилѣ Павловичу послѣ первыхъ-же посѣщеній къ Гуцину. При первомъ свиданіи съ Липочкой Данило Павловичъ смутился и не зналъ, съ чего начать разговоръ съ этой „сдобной булею“.

— А вы все здѣсь живете? спросилъ онъ, наконецъ, у нея послѣ долгаго молчанія, и сконфузился еще болѣе, почувствовавъ, что онъ сказалъ понятную даже ему самому глупость.

— Гдѣ-же мнѣ и жить, какъ не здѣсь? удивилась Липочка, взглянувъ на него недоумѣвающими глазами.

Онъ закашлялся и постарался поправиться.

— Я хотѣлъ сказать, что вы здѣсь, вѣроятно, скучаете, про-  
бормоталъ онъ.

— О чемъ-же мнѣ скучать? У насъ всего довольно, безхит-  
ростно отвѣтила Липочка.

Данило Павловичъ опять сообразилъ, что ей дѣйствительно ску-  
чать не объ чемъ, что даже онъ очень охотно пожилъ-бы такою  
сытою и полною довольства жизнью.

— Это я, батюшка, скучаю, вздохнула старуха Гущина, — на  
ноги скучаю... Ложить ихъ у меня...

— Это, мамаша, отъ лѣтъ, замѣтила дочь.

— И отъ лѣтъ, дитя, и отъ простуды, и отъ всего, вздох-  
нула мать. — Тоже вѣдь увидалась на своемъ вѣку горя.

— Конечно, кто-же не знавалъ въ жизни горя! подтвердилъ  
Данило Павловичъ.

— Горе-то, батюшка, горю рознь, замѣтила старуха. — Не да-  
ромъ-же говорится, что сохнетъ море, да не такъ, какъ лужа.

Всѣ помолчали. Въ комнатѣ слышалось только сопѣнье само-  
вара, стоявшаго на столѣ.

— Что это отецъ-то замѣшался, проговорила старуха, не  
обращаясь ни къ кому. — Чай перестоятся. Налила-бы, да не лю-  
бить, когда безъ него начнутъ пить. Не можетъ одинъ пить. Въ  
горло, говорить, не идетъ.

— Много, по крайней мѣрѣ, у васъ подругъ? опять загово-  
рилъ Данило Павловичъ съ Олимпіадой Пахомовной.

— Нѣтъ, двѣ-три подруги у насъ бываютъ, а больше нѣтъ,  
отвѣтила Липочка.

— Она у насъ, батюшка, сама къ подругамъ не ѣздитъ, по-  
яснила мать. — Тамъ молодежь-мужчины увиваться стануть.

— Что-жь, Олимпіада Пахомовна въ такихъ лѣтахъ... началъ  
Данило Павловичъ.

— Что ея за годы! возразила мать. — Да не въ томъ дѣло.  
Отецъ говорить: „знаю я, что на такую невѣсту всякій подлецъ  
позарится, да не ради ея, а ради нея денегъ, такъ что-жь мнѣ  
ее точно на базаръ въ люди вывозить“.

— Но вѣдь когда-нибудь придется-же Олимпиадѣ Пахомовнѣ выйти замужъ, замѣтилъ Данило Павловичъ.

— Это что говорить, какъ не выйти! Да пусть выйдетъ не зря, а за человѣка, котораго и она узнаетъ, да и мы рассмотримъ. А такихъ-то людей не на улицѣ да не на балахъ искать надо.

Данилѣ Павловичу хотѣлось спросить, гдѣ-же искать такого человѣка, но въ эту минуту пришелъ самъ Гущинъ.

— Что, ваше благородіе, съ бабами балагуришь? замѣтилъ онъ Данилѣ Павловичу съ ироніей, такъ-какъ онъ почему-то почти всегда говорилъ съ молодымъ Муратовымъ въ этомъ тонѣ, называя его не иначе, какъ „вашимъ благородіемъ“. — Ты имъ больше рассказывай, онѣ всему повѣрятъ... Налей-ка поскорѣй, ѣхать надо! обратился онъ къ женѣ.

— Куда опять? спросила она, видя, что мужъ нѣсколько озабоченъ.

— Опять рабочіе бѣгутъ! проворчалъ онъ. — И что это за народъ окаянный у насъ на стройкѣ, такъ просто а-ахъ! Голытѣба, пропойца, со всей амуницией гроша не стоитъ, а туда-же кричить: „мало платишь, худо кормишь, провизія тухлая!“ Нѣтъ, ты мнѣ скажи, обратился онъ къ Данилѣ Павловичу, — какую онъ провизію, сбродъ-то этотъ самый безпардонный, трескать будетъ, коли его и къ нашему-то дѣлу не допустить? А? Кору, собачій сынь, станетъ трескать, да и за то не похвалятъ, потому лѣса барскіе, а законы государскіе...

Гущинъ сердито налилъ на блюдечко чай и, подувъ на него, началъ пить.

— Это одно, началъ онъ снова, поставивъ порожнее блюдечко на столъ, — а возьми теперь другое. Платять, говорятъ, мало. А гдѣ имъ больше-то дадутъ? Къ мужикамъ въ батраки пойдутъ? Такъ мужикъ теперь откупается и денегъ у него на батраковъ нѣтъ. Къ барамъ толкнутся? Такъ какое хозяйство теперь у баръ? Они еще не очухались на новомъ-то положеніи и не о хозяйствѣ думаютъ, а какъ-бы заложить да запродать имѣніе хлопочуть. Лѣтъ черезъ пять, черезъ десять, можетъ, за умъ и возьмутся, а теперь они только плачутся на самое это свое неумѣнье да дурость... И то возьми, изъ какихъ это капиталовъ платить-то больше? „Ты, говорятъ, берешь много“. А сколько я раздаю-то, этого не спросятъ. Теперь каждый сорвать норовить, какъ собаки го-



лодныя изъ-за кости всѣ грызутся. Отъ этого откупись, другого подкупи, третьяго подмасливай, а это все деньги. Теперь ты не на то расчитывай, сколько рабочему надо заплатить, а на то, сколько голодныхъ глотокъ разнымъ прощальгамъ заткнуть надо. Кабы мнѣ производить мое дѣло можно было съ одними рабочими, такъ и имъ-бы было не обидно, да и мнѣ не накладно. А то что-жь, свою шкуру я имъ отдамъ, что-ли? Нѣтъ, это шалишь, поработай они съ мое, такъ тогда и узнають, какъ эта шкура-то моя, на которую они зарятся, купилась. „У него отъ денегъ, говорятъ, сундуки ломаются“. Ну, и ломаются. А какъ я произошелъ, какъ я сундуки-то эти самые наполнилъ,—этого никто не знаетъ. Можетъ, тамъ рубль иной мнѣ дороже стоитъ, чѣмъ вотъ твоему дяденкѣ, Платону Николаевичу, все его Ольховатое стоило. Вотъ почему я этихъ рублей-то зря не отдамъ первому голодному псу. Такъ-то...

Гущинъ опять налилъ чаю, выпилъ его большими глотками, поставилъ на столъ порожнее блюдечко и отеръ потъ съ лица.

— Вѣдь иной межъ двухъ огней стоитъ, проговорилъ онъ,— а нашъ братъ десятью подпекается. Сегодня я горло деру на эту голь безпардонную, а завтра въ поясъ ихъ благородіямъ разнымъ кланяюсь. Здѣсь галдятъ: „деньги плати за работу да корми до отвала“, а тамъ фертъ какой-нибудь въ умиленье приводитъ: „за-лимообразно, говоритъ, нельзя-ли пять тысячъ“. Вотъ ты тутъ и вертись: платишь мало этой сволочи — работать не станетъ она; въ долгъ этимъ фертамъ не даешь—работу бракують, да еще хорошо, если-бы только браковали, а то и вовсе работать не позволять... Одначе, мнѣ пора!..

Гущинъ поднялся съ мѣста и потянулся, расправляя свои широкія, мужицкія плечи.

— Что-жь, со мной на линію поѣдешь къ дѣлу присматриваться? спросилъ онъ Данилу Павловича.

— Съ удовольствіемъ, отвѣтилъ тотъ, вставая.

— Оно и кстати: ты въ военной амуниціи, кто-нибудь еще и за начальство сдуру сочтеть, усмѣхнулся Гущинъ.

Онъ относился къ Данилѣ Павловичу какъ взрослый человѣкъ, смотрящій на неоперившагося, но желающаго казаться опытнымъ, юнца.

Простившись съ хозяйками, они вышли. У крыльца уже стояли

бѣговые дрожки, на которыхъ обыкновенно Гуцинъ ѣздилъ къ мѣсту работъ. Онъ сѣлъ впереди, Данило Павловичъ помѣстился сзади. Онъ уже не въ первый разъ сопровождалъ Гуцина въ его поѣздкахъ на работы. Кровный конь разомъ тронулся съ мѣста и понесъ ихъ по пыльной дорогѣ, ровно и красиво откидывая ногами. Черезъ десять минутъ они были уже за городомъ и ѣхали среди той равнины, которая лежала между городомъ и полотномъ строящейся дороги. Проѣхавъ версты четыре среди однообразной мѣстности, они увидали вдали лѣсъ. Онъ ткнулся за полверсты отъ полотна желѣзной дороги.

— Вотъ она, золотая моя! проговорилъ Гуцинъ. — Ишь ты, какъ красуется!

— Вы это про что говорите? спросилъ Данило Павловичъ.

— Да все про нее-же, про вавилловскую рощу, отвѣтилъ старикъ. — Ты только взгляни.

Гуцинъ сдержалъ лошадь. Данило Павловичъ взглянулъ на лѣсъ. Дѣйствительно, этотъ лѣсъ представлялъ теперь чудную картину. Его высокія, вѣковныя деревья, покрытыя начинавшей мѣстами желтѣть густой листвою, были сбоку насквозь пронизаны косыми, яркими лучами солнца, какъ золотыми нитями. Лѣсъ тянулся вдаль, уходилъ вглубь и, казалось, нѣтъ ему ни конца, ни края. Гуцинъ любовался лѣсомъ и, глубоко вздохнувъ, проговорилъ:

— Кажется, десятка тысячъ не пожалѣлъ-бы, если-бы это уладилъ дѣло!

— Ужь, вѣрно, очень выгодно вамъ купить этотъ лѣсъ, засмѣялся Данило Павловичъ.

— Выгодно, выгодно, что и говорить! отвѣтилъ старикъ. — Такого лѣса поискать да и поискать въ этихъ мѣстахъ. Да выгода что! Нравъ у меня упрямый. Знаешь ты, я еще махонькій былъ и комедянта одного видѣлъ, который ноги за шею загибалъ, ну и втемяшилось мнѣ въ голову произвести эту штуку самому. Такъ я по ночамъ не спалъ нѣсколько недѣль, чтобы постичь эту самую штуку. Днемъ набѣгаюсь, наработаюсь, а ночью не сплю и ломаюсь, какъ онъ...

— Ну, и что-же? спросилъ Данило Павловичъ.

— Ну, и загнулъ, лучше его загнулъ ноги, отвѣтилъ старикъ. — Такъ вотъ я какой...

„Дѣло“, № 12.

Онъ дернулъ возжи и дрожки снова покатались дальше. Данило Павловичъ задумался, пристально глядя на лѣсъ.

„Десять тысячъ, думалось ему, — десять тысячъ за то, чтобы эти вѣковые гиганты принадлежали не дядѣ, а Гушину, десять тысячъ, прибрѣтенныхъ безъ всякаго труда. Жаль только, что не хитеръ я подмазываться къ людямъ, а то-бы ужъ я умаслилъ дядю. Шутка-ли, десять тысячъ!“

Данило Павловичъ такъ увлекся этими мечтами о десяти тысячахъ, что довольно невнимательно слѣдилъ за всѣми распоряженіями Гушина, сдѣланными во время объѣзда по линіи, и очень удивился, когда дрожки снова покатались въ обратный путь. Мысль о наживѣ все глубже и глубже залегала въ его головѣ. Какъ человекъ, стоящій около бочки съ золотомъ, онъ не могъ не мечтать о томъ, что и ему могла-бы перепастъ часть этого золота.

Возвратившись домой, онъ засталъ въ столовой одного Петра Павловича, сидѣвшаго за чайнымъ столомъ. Петръ Павловичъ, наливъ брату чаю, началъ жаловаться, какъ капризная женщина, на скуку, на то, что ему теперь приходится или сидѣть дома одиноко, или тоскливо видѣть въ домѣ дяди Платона Николаевича печальныя лица. Самъ Платонъ Николаевичъ хандрить болѣе обыкновеннаго; сестра Софья почти не появляется въ общихъ комнатахъ, также какъ и Максимъ; братъ Аркадій все находится около своей невѣсты или въ разъѣздахъ; даже Александръ Николаевичъ потерялъ свой развеселый и безпечный тонъ и все жалуется на судьбу. Петръ Павловичъ высказывалъ капризнымъ тономъ, что ему неприятно смотрѣть на всѣ эти постныя фізіономіи, что онъ теряетъ здѣсь золотое время конца лѣтняго сезона, что онъ охотно-бы уѣхалъ, если-бы ему не приходилось изъ приличія ждать свадьбы брата. Онъ выражалъ даже мнѣніе о томъ, что онъ раскаивается за свой пріѣздъ сюда, такъ-какъ этотъ пріѣздъ не имѣлъ никакого смысла: за шестью тысячами наслѣдства не стоило ѣхать самому и выдерживать за это мѣсяць скуки.

Данило Павловичъ очень равнодушно слушалъ всю эту іереміаду, не раздѣляя чувствъ брата, такъ-какъ онъ, Данило Павловичъ, не имѣлъ никакой причины скучать въ Чистопольѣ болѣе, чѣмъ въ какомъ-нибудь Зарайскѣ или Піотрковѣ: веселыя дѣвочки, водка и билиардъ были и здѣсь, а для его веселья больше ничего и не нужно. Впрочемъ, въ послѣднее время онъ не скучалъ

даже и безъ этихъ развлеченій, отдавшись всею душою новымъ интересамъ—наблюденію за дѣлами Гуцина и мечтамъ о составленіи богатства.

Покуда онъ пилъ чай и выслушивалъ жалобы Петра Павловича, вернулся домой старшій братъ. Онъ бросилъ на стулъ свою панаму, сталъ стягивать перчатки и мелькомъ попросилъ Петра Павловича налить ему чаю. Онъ ходилъ по комнатѣ и какъ-то самодовольно улыбался.

— Вавиловское имѣніе переходитъ къ Адели, проговорилъ онъ, взглянувъ на Петра Павловича.

— Вавиловское! воскликнулъ Данило Павловичъ.

Со дня объясненія старшаго брата насчетъ свадьбы, Данило Павловичъ не говорилъ съ нимъ ни слова.

— Да-съ, Вавиловское! насмѣшливо усмѣхнулся Аркадій Павловичъ.—Отличное приданое. Теперь еще схватить крупной кушъ деньгами—и дѣло въ шляпѣ.

Данило Павловичъ задумался.

— Такъ-то-съ, Данило Павловичъ, иронически засмѣялся старшій братъ и фамильярно похлопалъ по плечу Данилу Павловича.—Прозѣвали! А ваши дѣлишки какъ идутъ?

— Отлично, отлично! проговорилъ Данило Павловичъ и вдругъ развеселился.

Передъ нимъ блеснулъ лучъ надежды на пріобрѣтеніе „Вавиловской рощи“.

— У мужика на посылакахъ служить будете за какихъ-нибудь тысячу пятьсотъ рублей въ годъ? говорилъ Аркадій Павловичъ.

— Около бочки съ золотомъ стоять буду, началъ Данило Павловичъ,—и...

— Облизываться? докончилъ старшій братъ.

— Нѣтъ, буду грести золото лопатами.

Старшій братъ иронически улыбнулся. Считая свою убогую столичную полированность умомъ, онъ видѣлъ въ неотесанномъ бурбонѣ Данилѣ Павловичѣ дурака. Ему никогда не приходило въ голову, что и ему также, какъ Данилѣ Павловичу, судьба отвѣсила ума на аптекарскихъ вѣсахъ, и что въ ихъ дальнѣйшей жизни тѣ или другіе ихъ успѣхи будутъ зависѣть вовсе не отъ

размѣровъ ихъ ума, а исключительно отъ большей или меньшей степени проницательности и хитрости — этихъ гениевъ-хранителей ограниченныхъ головъ.

#### XXIV.

Свадьба Аркадія Павловича и Аделаиды Александровны должна была совершиться скромно въ имѣніи Платона Николаевича: недавняя смерть матери жениха и смертельная болѣзнь сестры невѣсты заставляли обойтись безъ бала и даже почти безъ гостей. Быть можетъ, въ этой необходимости скромно обвѣнчать своихъ родственниковъ была доля утѣшенія для самого Платона Николаевича. Онъ увѣрялъ себя и всѣхъ близкихъ, что онъ не устраиваетъ пира и не сзываетъ всѣхъ губернскихъ тузовъ на торжество вслѣдствіе печальной необходимости, и такимъ образомъ онъ избѣгалъ непріятнаго сознанія, что ему, въ сущности, звать некого на пиръ, что къ нему никто не ѣздитъ, что пиръ могъ-бы состояться только съ очень мелкими гостями, что давно прошли тѣ времена, когда и самъ губернаторъ считалъ за честь знакомство съ старымъ самодуромъ. Вслѣдствіе скромности свадьбы въ домѣ было такъ-же мало оживленія въ день бракосочетанія, какъ и въ предшествовавшіе дни, и, смотря на лица присутствующихъ, можно было утверждать, что они скорѣе боятся услышать о смерти одного изъ членовъ семьи, чѣмъ надѣются на веселье свадебнаго пира.

Платонъ Николаевичъ тайно бѣсился на то, что свадьба пройдетъ безъ блеска, безъ торжественности, не заставитъ говорить о пирѣ всю губернію, не возбудитъ ни въ комъ зависти къ тѣмъ, кто былъ на пиру. Вѣчно вѣтренный, все легко выносящій Александръ Николаевичъ, противъ ожиданія, былъ сильно пораженъ болѣзью младшей дочери и огорчался, быть можетъ, еще болѣе тѣмъ, что онъ присутствуетъ какъ чужой при приготовленіяхъ къ свадьбѣ старшей дочери, не имѣя возможности даже сдѣлать ей свадебный подарокъ, такъ-какъ Аркадій Павловичъ не получилъ еще денегъ отъ Платона Николаевича и не могъ ссудить дядѣ Александру Николаевичу просимой послѣднимъ тысячи рублей. Петръ Павловичъ нервничалъ и кусился, говоря, что онъ охотнѣе присутствовалъ-бы на погребеніи, чѣмъ на скучной свадьбѣ, съ которой выносишь одну мысль, что кто-то будетъ наслаждаться любовью,

а ты только устанешь держать венецъ и провозглашать тосты. Данило Павловичъ, непосѣщавшій въ послѣднее время дома дяди, ругался, что на этомъ благочинномъ бракосочетаніи даже и „на-трескаться“ нельзя въ вознагражденіе за убійственную „тоскищу“ сидѣнія въ приличномъ обществѣ. Но тревожныѣ и печальнѣе всѣхъ выглядѣли сами женихъ и невѣста. Съ той минуты, какъ молодые люди были объявлены женихомъ и невѣстой, Аркадій Павловичъ старался сблизиться съ Аделью и доказать ей свои чувства къ ней, но, надо ему отдать справедливость, онъ дѣлалъ это съ такою ловкостью, что оскорбилъ въ молодой дѣвушкѣ всѣ чувства дѣвической скромности, приличія, искренней привязанности, жажды чистой любви. Въ этомъ случаѣ его не выручили его внѣшній лоскъ, его приличность, его напускное глубокомысліе, и недостатокъ ума и природной сообразительности сказался очень ясно. Онъ думалъ польстить самолюбію невѣсты и въ то-же время пощекотать свои сластъ любовныя наклонности, рассказывая ей подробно, что онъ видѣлъ, подсматривая за ней во время ея купанья, и оскорблялъ ея дѣвственную стыдливость. Онъ думалъ доказать ей, какъ онъ ее цѣнитъ, и говорилъ, что до сихъ поръ всѣ тѣ женщины, съ которыми онъ сходилъ, не стоятъ ея мизинчика, что это все продажныя женщины, что всѣ ихъ ласки поддѣльны, и оскорблялъ ея дѣвическое цѣломудріе своимъ цинизмомъ. Онъ хотѣлъ показать ей, что онъ любитъ впервые, и распространялся о значеніи мимолетныхъ связей мужичиъ, и она понимала, что съ ней сближается не тотъ чистый и чудный идеальный герой, о которомъ она мечтала, какъ каждая изъ ея сверстницъ, а личность грязная, пошлая, падшая. Иногда Адель вздрагивала, когда Аркадій Павловичъ точно присасывался своими выдавшимися, толстыми губами къ ея рту, къ ея полуоткрытой шеѣ, къ ея губамъ. Она никогда не испытывала ощущенія подобныхъ поцѣлуевъ, ее никто такъ не цѣловалъ: она росла въ деревенской глуши, въ родномъ домѣ, безъ подругъ, подъ надзоромъ старыхъ гувернантокъ; она даже не была заражена платоническимъ развратцемъ. Пороку она, никогда не знавшая слезъ, невольно плакала, чувствуя, что руки Аркадія Павловича сластолюбиво обвиваютъ ее, стараются коснуться ея тѣла подъ широкимъ рукавомъ ея лѣтняго наряда. Это была пытка, это была казнь для той, которая самолюбиво царилла въ этомъ домѣ, въ своемъ маленькомъ государствѣ, гдѣ даже злой духъ этого госу-

дарства, дядя Платонъ, брюзжалъ на нее, дразнилъ ее, кололъ ее самолюбіе, но въ концѣ-концовъ дѣлалъ все, чего она желала. Но почему-же она согласилась выйти замужъ за этого человѣка? Не потому-ли, что впервые она испугалась, что дядя Платонъ не поступить въ настоящемъ случаѣ согласно ея желанію? Не потому-ли, что ее подкупила мысль вырваться изъ скучной глуши, сдѣлаться самостоятельной, и, располагая матеріальными средствами, быть повелительницей своего мужа? Не потому-ли, что ей шель двадцать второй годъ, а женихи или не являлись въ домъ, или отпугивались дядею Платономъ и она рисковала остаться старой дѣвой? Тутъ вліяли всѣ эти причины и болѣе всего вліяла скука, скука и скука стараго гнѣзда, гдѣ все дышало преданьемъ, былою плесенью, тоской о невозможности возвратить прошлое, недовольствомъ, что новое смѣняетъ и должно смѣнить старое, что молодость должна перерости дряхлость. И теперь, когда бывали у Адели такія минуты, что она готова была бѣжать къ дядѣ Платону и, рыдая, сказать ему, что она не хочетъ, не хочетъ, не хочетъ выйти за Аркадія,—у нея вдругъ возникалъ вопросъ:

— А послѣ что? Опять жизнь здѣсь?

И она озиралась на эту полинялую голубую китайскую обивку мебели, на эту облупившуюся бѣлую краску стульевъ и столовъ голубой гостиной, на эти облѣзлыя, золоченныя рамы потемнѣвшихъ картинъ,—и ей становилось жутко. Какъ, опять вставать по-утру и ходить къ дядѣ съ привѣтствіемъ: „Bonjour, mon oncle! Avez-vous bien dormi?“ Потомъ бродить до завтрака безъ дѣла или сидѣть за чтеніемъ скучной книги, за ненужною вышивкою. Послѣ завтрака поиграть на фортепьяно, опять почитать, опять сдѣлать нѣсколько крестовъ по канвѣ и ждать обѣда, чтобы потомъ, среди смертельной скуки, ждать, когда настанетъ, наконецъ, ужинъ и сонъ. И какъ страшна, должно быть, станетъ здѣсь жизнь, когда умереть и Дуня, уѣдутъ и кузены! Всѣ событія дня, всѣ разговоры близкихъ, всѣ новости,—все это дѣлается старымъ, избитымъ, надѣвшимся въ этомъ старомъ гнѣздѣ. А тамъ, гдѣ-то далеко, говорятъ, идетъ новая жизнь, кипитъ дѣятельность, шумитъ молодое веселье. Взглянуть-бы на все это! Что-жь, если нельзя купить этого дешевле? Но это безнравственно! Что безнравственно? Отдаться нелюбимому человѣку ради своего освобожденія отъ тяжелаго положенія? Да, это было-бы безнравственно,

если-бы это дѣлалось съ цѣлью обмануть этого человѣка. Но вѣдь она, Адель, не желаетъ его обмануть, она останется вѣрною его женою, она никогда не падетъ, какъ тѣ женщины, о которыхъ говорить съ презрѣніемъ даже онъ. Она знаетъ, что ей тяжело будетъ привыкнуть къ его ласкамъ, полюбить его, но она сдѣлаетъ все, чтобы покорить себя необходимости. Вѣдь не легко ей было сносить капризы дяди Платона, однако она сносила. Недаромъ-же всѣ—и дядя Платонъ, и ея отецъ, и отецъ Иванъ, и миссъ Кетти, ея послѣдняя гувернантка,—говорили ей съ дѣтства „о святыхъ обязанностяхъ христіанки“, „о свѣтскихъ приличіяхъ“, „о долгѣ женщины“. Недаромъ-же она рано узнала, что „непристойно“, что „неприлично“, что „роняетъ“ благороднаго человѣка, что „shocking“. Но если Адель, стоя между двухъ огней, сильно тревожилась и боялась за свое будущее, то и Аркадій Павловичъ, съ своей стороны, былъ далеко неспокоенъ. Правда, его не смущалъ вопросъ: будетъ-ли онъ счастливъ съ своей женой. Она была хороша собою, она была пикантна, она была молода—и этого было съ него довольно, такъ-какъ онъ видѣлъ въ союзѣ съ этимъ существомъ цѣлую массу наслажденій для себя. Вопросъ о ея любви къ нему его нисколько не занималъ, потому что онъ былъ увѣренъ, что если-бы она даже и не особенно любила его до замужества, то полюбить его послѣ, узнавъ всѣ прелести супружества. Его волновала другая сторона дѣла: сколько дастъ дядя Платонъ денегъ за Аделью? Старикъ почему-то медлилъ разрѣшить этотъ вопросъ, предложить который не смѣлъ Аркадій Павловичъ, зная натуру дяди Платона. „А что, если онъ не дастъ вовсе денегъ?“ думалось ему. Но нѣтъ, не можетъ быть. Дядя долженъ понять, что деньги необходимы ему, Аркадію Павловичу. Старикъ просто готовитъ сюрпризъ, по своему обыкновенію. А день свадьбы между тѣмъ насталь.

Семейный кружокъ былъ весь въ сборѣ. Около семи часовъ вечера къ крыльцу дома подѣхали экипажи и всѣ тронулись въ церковь. Аркадій Павловичъ стоялъ подъ вѣнцомъ, сгорая отъ нетерпѣнія: онъ ждалъ пріѣзда домой и поздравленій: вѣроятно, дядя Платонъ Николаевичъ, поздравляя молодыхъ, вручитъ имъ крупную сумму денегъ. Наконецъ, вѣнчаніе кончилось, молодые приложились къ иконамъ, поцѣловались, поѣхали домой. Александръ Николаевичъ и Платонъ Николаевичъ, Зернина и одна изъ



дальнихъ родственницъ встрѣтили ихъ въ бѣломъ залѣ въ качествѣ посаженныхъ отцовъ и матерей. Совершились обычныя благословенія, раздалися поцѣлуи, подалось шампанское, провозгласилась тостъ за молодыхъ, начались поздравленія. Аркадій Павловичъ слѣдилъ за каждымъ движеніемъ дяди Платона. Вотъ старикъ полѣзъ въ карманъ, пошарилъ тамъ и вынулъ—табакерку. Когда же онъ дастъ деньги? Неужели онъ, въ самомъ дѣлѣ, хочетъ ничего не дать? Да нѣтъ, не можетъ быть, онъ долженъ понять, что деньги нужны. Однако деньги не выдавались. Подался шоколадъ, подалось мороженое и фрукты, подался чай, а денегъ дядя все-таки не давалъ. Пробыло двѣнадцать часовъ и молодую отвели въ приготовленную для новобрачныхъ комнату. Черезъ полчаса новобрачному пришлось распроститься съ гостями и идти къ молодой женѣ. Проходя по комнатамъ къ той юной красавицѣ, отъ чьей любви Аркадій Павловичъ ожидалъ столько наслажденій, онъ думалъ:

„А вѣдь онъ скверную штуку, кажется, хочетъ сыграть... Впрочемъ, можетъ быть, завтра“.

Съ этою сладкою надеждою онъ отперъ впервые дверь въ спальню своей молодой жены.

## XXV.

Только около полудня появились молодые въ столовой, гдѣ уже былъ поданъ завтракъ. Тихо, безъ радостной улыбки, съ смущеннымъ и почти строгимъ выраженіемъ лица вошла Аделаида Александровна въ комнату, гдѣ ее ждали нескромныя взгляды семейнаго кружка. Она подошла поздороваться къ отцу, къ дядѣ, къ Зерниной.

— Вотъ тебѣ на булавки, проговорилъ Платонъ Николаевичъ, подавая ей свертокъ.

Это были денежныя бумаги. Аркадій Павловичъ ожилъ.

— Вамъ вѣдь булавки всегда нужны, чтобы колоть мужей, пошутить старикъ.

Въ послѣднее время, послѣ болѣзни Дуни, онъ сталъ какъ-то страненъ: онъ не бранился, не придирался къ людямъ, не бѣсновался, но за то смотрѣлъ угрюмѣе прежняго.

— О, дядя, меня она не станетъ колотъ, весело засмѣялся Аркадій Павловичъ. — Моя жонка просто прелесть!

Начались разговоры, неловкіе, посторонніе разговоры, для того, чтобы разсѣять смущеніе молодой. Аркадій Павловичъ сгоралъ отъ нетерпѣнія, ожидая, когда кончится завтракъ, чтобы остаться опять наединѣ съ молодой женой и разсмотрѣть, сколько дано ей на булавки.

„Я такъ и думалъ, такъ и думалъ, что онъ дастъ денегъ. И охота была томить, держать ихъ у себя до сегодняшняго дня“, разсуждалъ новобрачный и поспѣшилъ уйти со своею женою, какъ только кончился завтракъ.

— Ну что, сколько намъ пожаловало его превосходительство? шутиливо спросилъ онъ у Аделаиды Александровны, какъ только затворилась за ними дверь ихъ комнаты.

Она молча вынула изъ кармана свертокъ и подала муж . Он сталъ поспѣшно развязывать ленту. Его руки отъ волненія дѣйствовали плохо и только затягивали узелъ. Наконецъ онъ догадался, свернулъ бумаги плотнѣе, снялъ ленту, не развязывая узла, и торопливо развернулъ свертокъ; въ эту минуту можно было сказать, что этотъ человѣкъ алченъ, — сказать съ такою-же увѣренностью, съ какою можно было по первымъ его поцѣлуямъ, подареннымъ Аделі, сказать, что этотъ человѣкъ развратенъ.

— Онъ шутитъ? Это насмѣшка! воскликнулъ Аркадій Павловичъ, блѣднѣя.

— Что съ тобой? разсѣянно спросила Аделаида Александровна.

— Да ты взгляни, взгляни! волновался онъ, поднося чуть не къ ея лицу бумаги, — пятьсотъ рублей, только пятьсотъ рублей, и то упавшими пяти-процентными бумагами...

— Что-же, на булавки достаточно! презрительно улыбнулась Аделаида Александровна.

— На булавки, на булавки! воскликнулъ Аркадій Павловичъ, швырнувъ свертокъ и шагая по комнатѣ. — Не булавки намъ нужны, а хлѣбъ, одежда, квартира, экипажи...

— Но вѣдь онъ далъ Вавиловское имѣніе, замѣтила она.

— Вавиловское имѣніе! Что-же, мы землю ѣсть будемъ въ Вавиловскомъ имѣніи, что-ли?

— Я думаю, оно приноситъ доходы.

— Ты думаешь! Ты думаешь! А я вотъ что тебѣ скажу: что-

бы имѣніе приносило доходы, нужно хозяйничать, а чтобы хозяйничать, нужны деньги. Еще будь дѣло весной, я могъ-бы сдать имѣніе на аренду, а кто его возьметъ осенью? Да и гдѣ теперь арендаторы, у кого теперь есть деньги? Въ прекрасное положеніе поставили меня: женатъ и не имѣю денегъ. Если-бы я зналъ...

— То не женился-бы на мнѣ? съ горькой ироніей спросила оскорбленная Аделаида Александровна.

— Совсѣмъ не то, отвѣтилъ Аркадій Павловичъ, нѣсколько смущенный этимъ вопросомъ.—Но я объяснилъ-бы дядѣ до свадьбы, что и тебѣ, и мнѣ нужны наличныя деньги.

— И разстроилъ-бы свадьбу, потому что дядя не далъ-бы ни гроша, если-бы ты сталъ самъ назначать приданое, тѣмъ-же тономъ замѣтила Аделаида Александровна. — Ты напрасно не сдѣлалъ этого...

Аркадій Павловичъ молча ходилъ по комнатѣ. Аделаида Александровна встала.

— Куда ты? спросилъ онъ.

— Въ садъ, отвѣтила она.

— Побудемъ вмѣстѣ, еще успѣешь насидѣться съ родными, проговорилъ онъ и хотѣлъ обнять ее.

Она отстранила его.

— Тебѣ, я думаю, будетъ удобнѣе одному предаваться своимъ денежнымъ расчетамъ, такъ-какъ я вовсе ихъ не знаю, сухо проговорила она и вышла.

Онъ постоялъ у дверей, точно раздумывая, слѣдовать-ли за нею или остаться одному, и, наконецъ, махнулъ рукою и зашагалъ по комнатѣ. Минутъ черезъ пять въ двери послышался слабый стукъ и раздался вопросъ:

— Можно войти?

— Войдите! отвѣтилъ Аркадій Павловичъ, узнавъ голосъ Александра Николаевича.

— А! ты одинъ? проговорилъ, озираясь, Александръ Николаевичъ.

Онъ отлично зналъ, что Адель прошла черезъ залъ и терасу въ садъ.

— Какъ видите! отвѣтилъ Аркадій Павловичъ.

— Это, впрочемъ, и хорошо, замѣтилъ Александръ Николаевичъ.

вкѣ. — Я по дѣлу... знаешь, по тому дѣлу, о которомъ говорилъ недавно...

— А, вы, вѣроятно, пришли за деньгами, такъ-какъ видѣли, что ваша дочь получила на булавки? спросилъ Аркадій Павловичъ.

Это былъ наглый тонъ раздосадованнаго неудавшейся аферой барышника. Александръ Николаевичъ смутился.

— Да-съ, моя жена, точно, получила на булавки, но я, къ величайшему моему прискорбію, не могу вамъ дать тысячи рублей, потому что, видите-ли, — Аркадій Павловичъ взялъ со стола бумаги и показалъ ихъ Александру Николаевичу, — ей дали только пятьсотъ рублей.

Онъ засмѣялся жолчнымъ смѣхомъ и, бросивъ бумаги на столъ снова заходилъ по комнатѣ. Александръ Николаевичъ стоялъ неподвижно, взволнованный и возмущенный неприличнымъ тономъ племянника.

— Братъ, можетъ быть, полагалъ, что тебѣ выгоднѣе будетъ получить имѣніе, началъ онъ нерѣшительно.

— Имѣніе, имѣніе! засмѣялся Аркадій Павловичъ. — Что я съ нимъ буду дѣлать? Развѣ я что-нибудь понимаю въ сельскомъ хозяйствѣ? Да если-бы и понималъ, то что я стану дѣлать безъ денегъ? Или прикажете на аренду его отдать? Такъ найдите теперь, подь осень и при общемъ безденежьѣ, арендаторовъ. Это беззубой бѣлкѣ орѣхи. Это насмѣшка надо мною.

— Но... началъ, теряясь, Александръ Николаевичъ, но племянникъ перебилъ его.

— Я всѣмъ этимъ обязанъ вамъ, заговорилъ онъ отчетливо и нагло. — Если вы живете на счетъ своего брата, если вы выпрашиваете у него субсидіи своей побочной семьѣ, то вашъ долгъ былъ...

— Ты забываешься! прервалъ его дядя, сдвинувъ брови и волнуясь. — Что за тонъ...

— Э, Боже мой, не прикажете-ли мнѣ сантиментальничать, когда меня надуваютъ! воскликнулъ Аркадій Павловичъ. — Повторяю еще разъ, что вашъ долгъ былъ хлопотать о судьбѣ своей законной дочери, если вы ужъ хлопчете о себѣ, о своихъ незаконныхъ дѣтахъ.

— Я тебя попрошу замолчать! почти закричалъ дядя, выходя изъ себя. — Не тебѣ судить, какъ я живу и что дѣлаю.

— Ахъ, повѣрьте, что мнѣ все равно, какъ вы живете и что

дѣлаете, когда это не касается меня! Но если вы не заботитесь о своей дочери, сдѣлавшейся моею женою, если вы позволили насмѣхаться надо мною, обмануть меня, то я вправѣ бросить вамъ въ лицо упрекъ. Вы хотѣли только сбыть ее съ рукъ...

— Молчи, мерзавецъ, или я тебѣ зажму ротъ иначе! закричалъ Александръ Николаевичъ, блѣднѣя отъ негодованія. — Не ты ли судья! Меня можно обвинять во всемъ, но не въ умысленной подлости!

— Да вы, пожалуйста, не кричите! Меня криками не запугаете, съ ироніей проговорилъ Аркадій Павловичъ.

— Я тебѣ голову разможу, какъ первому негодяю, если ты скажешь еще хоть слово, сжалъ кулаки опущенныхъ рукъ Александръ Николаевичъ.

— Что тутъ такое? вдругъ послышался сзади Александра Николаевича голосъ его брата.

Платонъ Николаевичъ, проходя въ свой кабинетъ, услышалъ крики и зашелъ узнать, что тутъ происходитъ.

— Ничего, mon frère, ничего, взволнованно проговорилъ Александръ Николаевичъ. — Мои личные счеты съ Аркадіемъ.

Какъ истинный джентльменъ, онъ не считалъ возможнымъ вмѣшиваться третье лицо въ свои личные счеты съ кѣмъ-бы то ни было. Это было въ его характерѣ.

— Александръ Николаевичъ взволновался, потому что я сказалъ ему откровенно свое мнѣніе, началъ Аркадій Павловичъ.

— Брату нѣтъ никакого дѣла до того, что касается только насъ, строго перебилъ его Александръ Николаевичъ.

Но Аркадій Павловичъ не унимался.

— На другой день послѣ моего предложенія насчетъ руки Адели Александръ Николаевичъ просилъ меня дать ему взаимны тысячу рублей. Я обѣщалъ, но исполнить этой просьбы не могъ, и дядя разсердился на меня за это, поясняя своимъ безстрастнымъ и ровнымъ тономъ Аркадій Павловичъ.

— За это? только за это? произнесъ Александръ Николаевичъ, дрожа и блѣднѣя отъ возмущенія. — Какая-же ты низкая, мелкая личность! съ отвращеніемъ проговорилъ онъ.

Онъ обернулся къ брату и сухо проговорилъ:

— Пойдемте, mon frère. Больше онъ вамъ ничего не осмѣ-

лится рассказать про нашъ разговоръ, я-же считаю недостойнымъ себя передавать вамъ эту грязь.

Онъ взялъ подъ руку брата и направился къ дверямъ. Къ величайшему изумленію Аркадія Павловича, Платонъ Николаевичъ не разразился ни насмѣшками, ни бранью противъ брата. Онъ, съ хмурымъ лицомъ, съ сдвинутыми бровями, пошелъ за братомъ. Онъ зналъ Александра Николаевича лучше, чѣмъ Аркадій; онъ зналъ, что въ характерѣ брата есть способность на такія вспышки, въ минуту которыхъ съ нимъ нельзя шутить, и понялъ по блѣдному лицу, по дрожащимъ губамъ и потѣмнѣвшимъ глазамъ брата, что въ эту минуту братъ испытывалъ именно такой приливъ бѣшеннаго гнѣва.

Оба брата молча вышли изъ комнаты.

## XXVI.

Когда всѣ собрались къ обѣду, у всѣхъ были постныя физиономіи. Данило Павловичъ и Петръ Павловичъ, незнавшие, что произошло въ это утро, были поражены похороннымъ настроеніемъ присутствующихъ. Мрачнѣе всѣхъ выглядѣлъ Платонъ Николаевичъ, непрopusкавшій теперь случая для брызгливыхъ замѣчаній. Утощая присутствующихъ старымъ венгерскимъ виномъ, онъ замѣтилъ:

— Отличное, *старое* вино, — и при этомъ сдѣлалъ особое удареніе на словѣ „старое“. — Да, это не то, что новья, *молодая* вина.

Данило невольно улыбнулся и шутливо промолвилъ:

— Будетъ время, что и *молодая* вина сдѣлаются *старыми*, тогда и ихъ хвалить будутъ.

— Ну, еще когда-то сдѣлаются, да и тогда эти будутъ лучше, потому что будутъ еще старше.

— Да, жаль, что не сохранилось вино отъ временъ Ноя: передъ тѣмъ и это вино, вѣрно, показалось-бы уксусомъ, засмѣялся Данило.

Его смѣшило недовольство родственникововъ. Онъ видѣлъ, что братья его брата и Адели обмануль чѣмъ-то ихъ ожиданія, и это тѣшило его.

— Ты скоро уѣзжаешь въ поле? спросилъ его Александръ Николаевичъ.

— Я вовсе не поѣду въ поле, отвѣтилъ онъ.—Я уже подалъ въ отставку.

— Хозяйствомъ, вѣрно, думаешь заняться въ своемъ городскомъ огородѣ или отдыхать на лаврахъ? иронически спросилъ Платонъ Николаевичъ.

— Ни то, ни другое, дядя, бойко отвѣтилъ Данило Павловичъ.—Просто поступаю на частную службу.

— Вотъ какъ! Выгодно, вѣроятно?

— Да, выгоднѣе военной службы.

— Ну, конечно, въ тѣ времена, когда деньги—все, нельзя брать ничѣмъ, что даетъ доходъ, усмѣхнулся Платонъ Николаевичъ.

— Еще-бы! Мундиръ не кормить, а ѣсть всею хочется, отвѣтилъ Данило Павловичъ.

— И гдѣ-же это ты досталъ мѣсто? спросилъ Платонъ Николаевичъ.

— У Гущина, при постройкѣ желѣзной дороги, произнесъ Данило Павловичъ.

Платонъ Николаевичъ сдвинулъ брови и едва не выронилъ ножа и вилки.

— У Гущина? воскликнулъ онъ.—Отлично, отлично! Къ цѣловальнику, къ кабатчику.

— Это все-же лучше, чѣмъ ждать того времени, когда дворянину придется протягивать руку за милостынею, отвѣтилъ Данило Павловичъ.

Платонъ Николаевичъ бросилъ полный презрѣнія взглядъ на Данилу Павловича и шумно поднялся изъ-за стола. Обѣдъ кончился. Аркадій Павловичъ нетерпѣливо ожидалъ этой минуты и поспѣшно увелъ братьевъ Петра и Данилу въ отведенныя ему и его женѣ комнаты.

— Намъ надо тотчасъ-же продать нашъ домъ, проговорилъ онъ, затворяя за собой дверь своей комнаты.

— Ты знаешь, что я ничего не имѣю противъ продажи этого стараго гнѣзда, небрежно замѣтилъ Петръ Павловичъ, разваливаясь въ креслѣ.

— Нужно выждать время, проговорилъ Данило Павловичъ. — Теперь Гуцинъ предлагаетъ слишкомъ мало. Но я увѣренъ, что старикъ поупрямится, поупрямится, а потомъ и сдастся.

— Обождать! воскликнулъ Аркадій Павловичъ. — Очень хороший совѣтъ! Ждать, когда нужны деньги до-зарѣзу. У меня въ Петербургѣ будутъ затраты, расходы, нужно обставиться...

— Но вѣдь ты-же получилъ приданое, произнесъ Данило Павловичъ.

— Приданое! Вавиловское имѣніе! съ ироніей сказала Аркадій Павловичъ.

— Что-жь, имѣніе хорошее. Лѣсъ отличный! рассуждалъ Данило Павловичъ.

— Лѣсъ, лѣсъ! Не прикажешь-ли мнѣ кору глотать? Мнѣ не лѣсъ, а деньги нужны!

Онъ обернулся къ Петру Павловичу:

— Можешь представить, этотъ старый подлець надулъ меня, заговорилъ онъ. — Не далъ ни гроша. Отдѣлался имѣніемъ.

Данило Павловичъ насторожилъ уши.

— Такъ ты продай лѣсъ, посоветовалъ онъ.

— Не тебѣ-ли? насмѣшливо спросилъ старшій братъ. — У кого это здѣсь есть свободные капиталы? Теперь банки, желѣзныя дороги, фабрики устраиваютъ, а я стану искать въ нашихъ мѣстахъ покупщиковъ на лѣсъ! Да, наконецъ, какъ это я найду покупателя вдругъ, сейчасъ, когда мнѣ нужны деньги до-зарѣзу?

Данило Павловичъ помолчалъ, словно что-то соображая, и потомъ снова обратился къ брату:

— Дай мнѣ довѣренность, я поищу покупателя.

— Э, Боже мой, что ты говоришь! Поищу! А что я теперь буду дѣлать? возразилъ Аркадій Павловичъ.

— Я могу отдать тебѣ взаимы свою долю наслѣдства, проговорилъ Данило Павловичъ.

Старшій братъ въ недоумѣніи остановился передъ нимъ.

— Но вѣдь у тебя у самого долги, тебѣ нужны деньги, сказалъ онъ.

Его поражало великодушіе Данилы Павловича: онъ на его мѣстѣ никогда-бы не сдѣлалъ подобнаго предложенія.

— Ну, кредиторы подождутъ, нужно будетъ только проценты уплатить, замѣтилъ въ раздумьи Данило Павловичъ. — Правда,



тебѣ, можетъ быть, будетъ это тяжело. Я плачу двадцать пять процентовъ въ годъ.

— Что тутъ о процентахъ толковать! Я тридцать готовъ отдать, сказалъ Аркадій Павловичъ. — Я очень тебѣ благодаренъ.

Данило Павловичъ платилъ не болѣе пятнадцати процентовъ, и то въ тѣхъ случаяхъ, когда не могъ надуть „подлеца-ростовщика“.

— Но ты понимаешь, что я могу отсрочить уплату своихъ долговъ только въ томъ случаѣ, когда я буду обезпеченъ твоею довѣренностью насчетъ продажи лѣса, замѣтилъ онъ.

— Неужели-же ты думаешь, что я надую! воскликнулъ Аркадій Павловичъ.

— Совѣмъ не то, пояснилъ Данило Павловичъ; — но тамъ, въ Петербургѣ, ты не скоро найдешь покупщика, да и забудешь о продажѣ лѣса. Здѣсь-же я найду покупщика скорѣе и, такимъ образомъ, буду обезпеченъ относительно уплаты долга въ скоромъ времени. Лично я готовъ-бы ждать, сколько хочешь. Но шельмецы-кредиторы долго ждать не будутъ.

— О довѣренности нечего и толковать! проговорилъ Аркадій Павловичъ. — Я тебѣ буду очень, очень обязанъ, если ты продашь лѣсъ. Мнѣ нужно обратить въ деньги весь этотъ жертвнй капиталъ. Теперь нужно деньги пускать въ обращеніе, нужно ими играть, а не любоваться столѣтними лѣсами да необъятными лугами. Вѣдь это здѣшніе байбаки лежатъ на своихъ капиталахъ, на своихъ богатствахъ, и не понимаютъ, какую пользу они могутъ извлечь изъ всего этого.

Данило Павловичъ, сильно затягиваясь папирской, слушалъ рѣчи Аркадія Павловича и думалъ: „и что-же ты за олухъ царя небеснаго!“

— Я очень радъ, что могу услужить тебѣ, замѣтилъ онъ безъ ехидства. — Мнѣ, право, жаль, что дѣло оказалось не такимъ выгоднымъ для тебя, какъ ты думалъ, когда отбивалъ у меня Адель.

Аркадій Павловичъ закурилъ губы и промолчалъ.

— Такъ не пригласить-ли намъ завтра Гущина для окончательнаго устройства дѣла о продажѣ дома? спросилъ Петръ Павловичъ. — Признаюсь, мнѣ надоѣло быть здѣсь. Я, право, удивляюсь Данилѣ, что онъ остается здѣсь.

— Что дѣлать, пошелъ въ чернорабочіе — чернорабочимъ и останусь! засиѣлся Данило Павловичъ. — Я смотрю на жизнь такъ: если ты хочешь успѣть въ жизни, такъ долженъ пробивать путь и золотомъ, и молотомъ, да не разбирать, во что по дорогѣ наступишь.

— Да, конечно, ты стоишь не въ такихъ условіяхъ, какъ я, замѣтилъ Петръ Павловичъ разпѣжившимся тономъ. — Миѣ во всемъ везеть. Я служу въ гвардіи, хорошъ собою, принятъ въ лучшихъ кружкахъ, — миѣ все дается легко.

— Твое несчастіе, что ты не въ Петербургѣ воспитывался, замѣтилъ старшій братъ Данилѣ Павловичу. — Тамъ знаешь, видишь на каждомъ шагѣ, какъ легко и безъ труда наживаются деньги аферами, спекуляціями, биржевой игрой, ну и приучаешься къ этой лихорадкѣ ажіотажа, къ этой азартной игрѣ деньгами и, конечно, въ концѣ-концовъ добьешься своего.

— Да, вамъ везеть, согласился Данило Павловичъ, — а я ужъ такъ бурбономъ и останусь. Миѣ-бы вотъ и теперь — пивка да дѣвчовокъ, я-бы и развернулся во всю ширь.

Онъ развеселился и готовъ былъ обнять братьевъ. Впрочемъ, и они въ этотъ вечеръ впервые почувствовали сильное расположеніе другъ къ другу. Оно и немудрено: черезъ нѣсколько дней они могли разбѣжаться въ разныя стороны изъ стараго гнѣзда; они оказывали одинъ другому денежныя услуги; они, наконецъ, внутренно были убѣждены, что они устраиваютъ не безвыгодную сдѣлку каждый для себя.

## XXVII.

Черезъ часъ, не дождавшись чаю, Данило Павловичъ скакалъ уже въ городъ. Онъ ежеминутно понукалъ кучера и, кажется, былъ готовъ вскочить на козлы и взять возжи въ свои руки, только-бы скорѣе доѣхать до города. Онъ проѣхалъ прямо въ домъ Гущина и засталъ старика и его семью за ужиномъ.

— Хлѣбъ да соль, проговорилъ онъ, бросая фуражку и пожимая руки хозяевъ.

— Хлѣба кушать! Что поздно, ваше благородіе? спросилъ Гущивъ.

— По дѣлу, отвѣтилъ Данило Павловичъ.

— Ну, поѣдемъ, а потомъ и поговоримъ.

— Да я, признаться, и ѣсть-то не хочу, отвѣтилъ Муратовъ.

— Вѣрно загорѣлось что-нибудь? усмѣхнулся Гущинъ и зорко взглянулъ на Данилу Павловича.

— Ну да, вотъ посмотримъ, что-то вы заговорите, какъ узнаете, засмѣялся Муратовъ, потирая руки.

Гущинъ поторопился кончить ужинъ и повелъ молодого человека въ свой кабинетъ.

— Ну-съ, завтра можете купить нашъ домъ, произнесъ торжественно Данило Павловичъ.

Старикъ посмотрѣлъ на него во всѣ глаза.

— Такъ это ты съ этою-то новостью, какъ шальной, прискакалъ? спросилъ онъ.

— Съ этою? А развѣ не хороша? засмѣялся Данило Павловичъ.

— Шутъ ты гороховый, ваше благородіе, какъ я вижу! махнулъ рукою хозяинъ.

Данило Павловичъ покачалъ головой.

— А что-бы вы дали, если-бы я новость-то другую привезъ? спросилъ Данило Павловичъ. — Ну, хоть ту, что я воленъ продать кому вздумаю „Вавиловскую рощу“?

— Да ты въ умъ? воскликнулъ старикъ, подходя къ нему. — Дай посмотрю: не выпилъ-ли?

Онъ поверотилъ Данилу Павловича лицомъ къ огню и покачалъ головой.

— Ты говори толкомъ, произнесъ онъ.

Старикъ видимо волновался отъ радостной вѣсти.

— Чего еще повторять! засмѣялся Данило Павловичъ. — Говорю, что могу продать лѣсъ, — вотъ и все.

Старикъ въ волненіи заходилъ по комнатѣ.

— Что-жь, я сказалъ... я денегъ не пожалѣю, говорилъ онъ, разводя руками.

— А если я не денегъ попрошу? вдругъ произнесъ Данило Павловичъ и почувствовалъ, что у него духъ захватываетъ.

— Не денегъ? изумился Гущинъ и остановился передъ молодымъ человекомъ. — Такъ чего-же ты попросишь?

— Руки вашей дочери, отрѣзаль Данило Павловичъ и перевелъ духъ.

— Руки моей дочери? повторилъ, качая головой, Гущинъ. — Чѣмъ-же это тебѣ такъ понравилась моя Липа? спросилъ онъ, пристально глядя на гостя.

— Она дѣвушка здоровая, круглая, скромна...

Данило Павловичъ въ смущеніи не кончилъ.

— И денегъ за ней отецъ дастъ много? докончилъ Гущинъ и опять покчалъ головой. — Не она, а деньги мои тебѣ нравятся, произнесъ онъ. — Ну, такъ вотъ что я тебѣ на это скажу: я люблю людей, которые деньгамъ счетъ знаютъ, — охъ, какъ люблю! Только дочь-то я продавать ради этого не стану. И жѣнять се на товаръ тоже еще нужды у меня нѣтъ!.. А ты эти рѣчи-то брось да говори о дѣлѣ...

Данило Павловичъ былъ смущенъ и печально проговорилъ:

— Значить, вы отказываете?

Гущинъ задумался.

— Какъ тебѣ сказать? началъ онъ. — Кабы я отказывалъ, такъ взялъ-бы я тебя теперь за эти самыя за плечи, — дѣйствительно старикъ взялъ Данилу Павловича своими сильными руками за плечи, — и сказалъ-бы тебѣ: вотъ Богъ, а вотъ и порогъ.

Онъ повернулъ Данилу Павловича, какъ ребенка, къ дверямъ лицомъ и потомъ съ усмѣшкой выпустилъ его изъ своихъ желѣзныхъ лапъ.

— А прислугѣ велѣлъ-бы тебя метлой гнать, когда ты къ дому моему подойти вздумалъ-бы, кончилъ старикъ. — Но я тебя не гоню. Ты ходи ко мнѣ, работай у меня, наживайся. И когда ты наживешься да почувствуешь, что и тогда тебѣ моя дочь нравится — сватайся. Тогда тебѣ и моихъ денегъ будетъ не нужно, чтобы въ довольствѣ съ нею жить. Можешь ее въ одной рубашкѣ взять, если любишь.

Старикъ усмѣхнулся.

— Ну, а теперь у меня денегъ свободныхъ мало ей на приданое. Ты-же самъ бѣденъ, и пришлось-бы вамъ горе мыкать, а Липа къ бѣдности не привыкла. Что за житье было-бы у васъ!

Онъ снова подошелъ къ Данилѣ Павловичу, уже съ веселымъ лицомъ, и хлопнулъ его по плечу.

— Ну, ваше благородіе, какъ-же насчетъ лѣса?

Данило Павловичъ тоже повеселѣлъ и шутливо проговорилъ:

— Торговаться теперь будемъ. Сдеру все, что можно.

— Ну, что-жь, дери, только душу отпусти на покаяніе, отвѣтилъ старикъ.

— А вы вотъ что лучше скажите: дадите-ли вы мнѣ впередъ три тысячи, если мнѣ понадобится? Дѣло-то такое, что мнѣ подмазывать колеса нужно.

— Не постоимъ за этимъ.

— Ну, такъ помните-же свое слово, проговорилъ Данило Павловичъ, вставая.

— Говорю, что не постоимъ за деньгами, утвердительно отвѣтилъ Гущинъ.

— Не объ деньгахъ рѣчь, а объ томъ, что когда разбогатѣю, такъ въ одной рубашкѣ или и вовсе безъ рубашки, а отдадите Олимпиаду Пахомовну.

— Да ты и въ самомъ дѣлѣ нѣшто влюбился? спросилъ уже нѣсколько озадаченный старикъ.

— Крѣпнѣе она у васъ такой, не ущипнешь! Люблю я такихъ, проговорилъ Данило Павловичъ, щелкнувъ пальцами.

— Ишь ты! разсмѣялся Гущинъ.

— Такъ до завтра? спросилъ Данило Павловичъ.

— До завтра, отвѣтилъ старикъ.

Они простились. Гущинъ, противъ обыкновенія, проводилъ Данилу Павловича до самой лѣстницы.

Муратовъ вышелъ на крыльцо. Ясная лунная ночь царила надъ городомъ. Ни откуда не доносилось ни звука. Все спало крѣпкимъ, безмятежнымъ сномъ. Данило Павловичъ выпрямился, потянулся, посмотрѣлъ во всѣ стороны и пробормоталъ:

— Ишь ты благодать какая!

Впервые въ жизни его совѣзмъ не тянуло ни къ „ливку“, ни къ „легковѣснымъ дѣвицамъ“, ни къ „картишкамъ“. Впервые въ жизни ему хотѣлось въ эту ночь подышать воздухомъ, насладиться затишьемъ природы. Онъ пошелъ куда-то прямо, безъ цѣли.

— Яблоко, просто наливное яблоко, а щеки такъ и рдѣютъ, разсуждалъ онъ, смотря въ свѣтлую даль.—И гдѣ у меня глаза были, что я сразу по прїѣздѣ въ городъ не влюбился въ нее!.. Не ущипнешь!.. Да нѣтъ, ущипнемъ, такъ ущипнемъ, что захлеб-

нется отъ удовольствія... Знаемъ мы любовь этихъ дочерей природы... И дуракъ-же я былъ, объясняясь со своею благородной и благоприличной бузиной... Обнимать сталь — кричать начала... Нѣтъ, эта не крикнетъ, эта сама тебя такъ облапять, что кости затрещать...

Онъ засмѣялся и сдвинулъ на затылокъ фуражку, продолжая свой путь.

„А и дурни-же мои почтенные братцы, думалось ему. — Вотъ меня все простякомъ считали...“

Онъ усмѣхнулся.

Онъ былъ уже за городомъ; передъ нимъ направо рисовались при лунномъ свѣтѣ какія-то фантастическія, точно кружевные, темныя постройки; это были лѣса строящейся станціи. Отъ нея тянулась и извивалась, пропадая вдаль, чернѣвшая въ ночной мглѣ насыпь полотна желѣзной дороги. Казалось, это была гигантская змѣя, подползавшая по землѣ среди ночного затишья къ спящему городу, и не было конца этой змѣѣ, а около нея виднѣлись землянки, виднѣлись спавшіе на открытомъ воздухѣ люди. Данило Павловичъ засмотрѣлся на эту картину.

— Вотъ онъ, змѣй-искуситель, проговорилъ онъ. — Скоро понесетъ онъ плоды отъ древа познанія добра и зла, скоро... Манить онъ уже людей, сотни, тысячи бѣдныхъ и богатыхъ... Да и какъ не манить!.. Деньгами сыплетъ онъ, деньгами... Эхъ, если-бы захватить его въ свои руки, управлять имъ... А что, развѣ нельзя?.. Или силы да ума не хватить?

Данило Павловичъ усмѣхнулся, повернулъ назадъ — и вдругъ въ затишѣ ночи раздался его сильный, мужественный баритонъ. И повеселись куда-то вверхъ и вдаль звуки русской народной пѣсни, полные безпредѣльной, забубенной удали и здоровой животной силы, немучимой никакими вопросами, никакими сомнѣніями. Такъ, можетъ быть, пѣвалъ и Александръ Николаевичъ Баскаковъ, когда онъ куралесилъ во всю ширь своей неутомившейся еще русской природы. Если-бы въ эту минуту подъ руку Данилѣ подвернулась Липочка, онъ сдавилъ-бы ее въ своихъ объятіяхъ съ неустержимой животной страстью; если-бы ему представилась въ эту минуту возможность обобрать Гущина, онъ обобралъ-бы его до-чиста, съ животнымъ, искренимъ смѣхомъ, съ алчностью дикаря, поймавшего добычу.

XXVIII.

И въ это-то время, когда всѣ члены семьи Муратовыхъ и ихъ родственники были до мозга костей проникнуты однимъ стремленіемъ—захватить большій кусокъ изъ доставшейся имъ добычи, одна близкая имъ личность забыла всѣ расчеты, всѣ личные интересы, все окружающее, и видѣла, помнила, понимала только одно то, что на ея глазахъ гаснетъ молодая жизнь.

Максимъ, исхудавшій, блѣдный, дошедшій до крайняго первнаго разстройства, неспавшій ночей, какъ-то тупо и сосредоточенно слѣдилъ у постели Дуни за процесомъ медленнаго угасанія юныхъ силъ.

— Скажите, докторъ, спрашивалъ онъ домашняго врача дяди Platona, человекъ среднихъ лѣтъ, сухого и акуратнаго нѣмца, — есть-ли надежда?

— Надежда всегда бываетъ, когда живъ субъектъ, отвѣчалъ докторъ, поднявъ брови и глубокомысленно глядя черезъ очки.

— Значить, сестра можетъ еще подняться? приставалъ Максимъ.

— Все бываетъ, природа производитъ иногда чудеса, философствовалъ нѣмецъ.

— Но какъ вы думаете, возможно-ли ждать благополучнаго исхода?

— Врачъ только потому и лечитъ, что всегда надѣется на благополучный исходъ.

— Значить, вы надѣетесь?

— Я всегда надѣюсь. Если у нея достанетъ силъ, то она перенесетъ...

— Но какъ вы думаете, достанетъ у нея силъ?

— О, этого я не знаю. Это знаетъ одинъ Богъ.

— Но по вашему мнѣнію какъ?

— Я этого ничего не знаю, потому что это для врача неизвѣстно.

Максимъ не выходилъ изъ терпѣнья, слушая эти отвѣты. Онъ то воскресалъ, то падалъ духомъ, слыша ихъ.

А больная то металась и бредила, то лежала, какъ мертвая, и Максимъ, видя эти страданія, не умѣя помочь ей, не понимая, въ

какому исходу приведутъ они, волновался все сильнѣе, проклиная судьбу за то, что онъ не медикъ, что медики вообще такъ равнодушно смотрятъ на больныхъ, что, по его мнѣнію, врачъ не употребляетъ всѣхъ средствъ для спасенія Дуни. Въ эти минуты Максимъ дорого-бы далъ за то, чтобы быть медикомъ, чтобы облегчить хотя на минуту больную, чтобы зпать ожидающую ее участь. Софья Павловна, проводившая тоже не мало часовъ около больной, слѣдила иногда за нимъ, когда онъ, забывшись, неподвижно, съ остановившимися глазами, съ стиснутыми зубами сидѣлъ у постели. Она знала, что ему уже извѣстно о свадьбѣ его брата и сестры больной, что онъ уже понимаетъ невозможность своего брака съ больной, и ее поражала, трогала сила этой привязанности, чистой, безпорочной, безразсчетной. Что-то въ родѣ состраданія къ страдающему брату, раскаяніе за сыгранную ею самую роль въ отношеніи къ нему, уваженіе къ его энергіи закрадывалось въ душу этой женщины. Иногда она ласково совѣтовала ему отдохнуть, порою она ободряла его надеждою, подчасъ она говорила:

— Всѣ мы передъ нею виноваты!

Изрѣдка заходилъ въ эту комнату Платонъ Николаевичъ и постоянно заставлялъ здѣсь все на одножъ и томъ-же мѣстѣ Максима. Сначала онъ бросалъ на него мелькомъ равнодушныя и полупрезрительныя взгляды. Потомъ онъ началъ пристальнѣе всматриваться въ это энергичное и суровое лицо и ему показалось его выраженіе выраженіемъ лица фанатика, подвижника: ему показалось, что именно такъ смотрѣли тѣ люди, которые проставляли десятки лѣтъ на одномъ столбѣ, которые сгорали на кострахъ съ священными гимнами, которые давали обѣтъ молчанія и не нарушали его среди страшнѣйшихъ истязаній, которые могли быть среди всѣхъ истязаній и мукъ вѣрными своей идеѣ, какъ-бы ни была она мелка или широка. Наконецъ, онъ началъ нѣсколько осторожно, если не почтительно, относиться къ нему, съ невольнымъ смущеніемъ говоря мысленно, что такіе люди въ минуту фанатичнаго раздраженія способны или наложить на себя руки, или погубить другихъ, и что поэтому ихъ не слѣдуетъ раздражать. Платонъ Николаевичъ не-на-шутку боялся, что его племянникъ въ минуту смерти молодой дѣвушки можетъ сдѣлать что-либо такое, что всполошитъ весь домъ. Начинало закрадываться въ душу старика и что-то похожее на раскаяніе, на сознаніе, что Максимъ



честіе своихъ братьевъ. Съ какимъ-то отвращеніемъ вспоминалъ Платонъ Николаевичъ и о томъ, что онъ готовъ былъ „упрятать“ молодую дѣвушку въ монастырь и велъ по этому поводу переговоры, походившіе на омерзительные для него торгашескіе разсчеты. Все это дѣлало его все болѣе и болѣе хмуримъ и молчаливымъ. Заходилъ въ комнату больной каждый день и Александръ Николаевичъ и онъ, быть можетъ, главнымъ образомъ спасалъ Максима отъ помѣшательства. Онъ, несмотря на свои огорченія, не могъ даже здѣсь удержаться отъ своей болтливости и нѣсколько отвлекалъ Максима отъ одной и той же мысли, принося въ эту комнату вѣсти „съ того свѣта“, находившагося за ея предѣлами. Максимъ волей-неволей долженъ былъ выслушивать эти рассказы, иногда отвѣчать на вопросы. На другой день послѣ свадьбы дочери Александръ Николаевичъ пришелъ вечеромъ въ комнату Дуни въ необычайно мрачномъ настроеніи.

— Ну что наша милая больная? спросилъ онъ, пожимая руку Максима.

— Все то же, глухо отвѣтилъ Максимъ.

— Спасибо тебѣ, что хоть ты замѣняешь около нея безпутнаго отца, проговорилъ со вздохомъ Александръ Николаевичъ.

Онъ присѣлъ и задумчиво опустилъ голову.

— Да, только теперь я понимаю, какъ мало я былъ способенъ на роль отца, вздохнулъ онъ.—Одну дочь не спасъ отъ болѣзни, другую допустилъ выйти замужъ за человѣка, съ которымъ она не можетъ быть счастлива.

— Вы думаете? машинально спросилъ Максимъ.

— Да, я только теперь разглядѣлъ его, отвѣтилъ дядя.—Мелочность, безсердечность, алчность...

Онъ махнулъ рукою.

— А что будетъ еще съ тѣми дѣтьми? заговорилъ онъ, вспоминая о своей побочной семьѣ, жившей въ городѣ. — Я и ума не приложу. Миѣ нечѣмъ даже обезпечить ихъ. Нечего оставить имъ въ наслѣдство. У нихъ нѣтъ даже правъ наслѣдовать послѣ брата Платона, если и я, и онъ умремъ. Все перейдетъ къ Адели, а съ такимъ мужемъ она будетъ не въ состояніи помочь имъ.

— Я думаю, что ихъ судьба будетъ не такъ печальна, отвѣтилъ Максимъ.—Ихъ мать приучитъ къ труду. Платонъ Николае-

вичь поддержать ихъ покуда и дать средства на образованіе, а потомъ... Я, Данило можемъ пособить имъ...

— Да, что ты имъ поможешь, въ этомъ я не сомнѣваюсь; въ помощи Данилы я тоже почти увѣренъ, заговорилъ дядя. — Онъ грубъ, мало развитъ, но онъ въ сущности не золь. Но дѣло въ томъ, что у васъ ничего нѣтъ...

— Будетъ на ихъ долю, проговорилъ Максимъ. — Мнѣ много не надо, а Данило достанетъ...

— Ты не повѣришь, какъ иной разъ тяжело сознавать свое безсиліе, испорченность своей жизни, свою ненужность, проговорилъ Александръ Николаевичъ со вздохомъ. — Я, какъ какая-нибудь комета, всю жизнь искалъ пути и только переносился отъ одного дѣла къ другому, не довольствуясь ничѣмъ. Конечно, у меня были велики требованія, мало усидчивости, наконецъ, всевозможныя занятія казались неплодотворными... Вѣдь я, *mon cher*, всѣмъ былъ: и изучалъ медицину въ Парижѣ, и виноуроумъ былъ, и провинціальный антрепренеромъ, и разводилъ табакъ... Ахъ, какія у насъ плантаціи табаку были! Выписали мы сѣмяна изъ Гаванны...

Александръ Николаевичъ уже сѣлъ на своего конька и понесся въ область фантазій. Этого было достаточно, чтобы онъ ожилъ и забылъ всѣ свои душевныя тревоги и покаянія. Максимъ молча, сострадательно слушалъ живую болтовню этого начинавшего сѣдѣть младенца и мало-по-малу забылся подъ нее. Александръ Николаевичъ говорилъ и говорилъ и только черезъ полчаса замѣтилъ, что его собесѣдникъ задремалъ.

— Усталъ, бѣдняга! проговорилъ онъ добродушно и взглянулъ на его лицо.

Худое, блѣдное, оно было прекрасно. Серьезно сдвинутыя брови со складкой, лежавшей поперегъ между ними, плотно сжатые и красиво очерченныя губы, сильно обрисовавшіяся, нервныя ноздри правильного носа, — все это дышало энергіей, страстностью и въ то же время серьезностью. Александръ Николаевичъ не успѣлъ полюбоваться на племянника, какъ тотъ проснулся отъ внезапно прекратившейся оболы него болтовни.

— Я слушаю... я слушаю, дядя! пробормоталъ онъ, приподнямая голову.

— Нѣтъ, *mon cher*, ты не слушаешь, а спишь, ласково усмѣх-

нулся дядя, положивъ руку на его колѣно. — И благо тебѣ! Что меня слушать! Отдохни, а я посижу...

— Нѣтъ, нѣтъ, уже совсѣмъ бодро проговорилъ Максимъ. — Я не усталъ. Я только отвыкъ отъ разговоровъ... Вы ступайте. Уже поздно.

Онъ совсѣмъ бодро всталъ, откинулъ волосы назадъ и простился съ дядей.

Александръ Николаевичъ вышелъ. Вошла горничная Дуни, спросила, не нужно-ли чего-нибудь сдѣлать. Максимъ отвѣтилъ отрицательно. Пришла его сестра, чтобы подежурить около больной. Максимъ уговорилъ ее лечь спать и сказалъ, что онъ просидитъ до пяти часовъ утра. Софья Павловна вышла. Она знала, что убѣдить Максима лечь спать ночью нельзя. Ему все казалось, что безъ него никто не услѣдитъ за больной, не поможетъ ей, если нужно будетъ помочь. Онъ остался одинъ. Поправивъ зеленый абажуръ на свѣчкѣ и посмотрѣвъ на часы, онъ присѣлъ около кровати. Онъ глядѣлъ на больную: она лежала въ забытїи. Теперь ему припоминалась вся ихъ жизнь, всѣ ихъ свиданїя, всѣ ея фразы, ласки, совѣты. Сколько непорочности, сколько теплой любви, сколько способности прощать было въ этомъ дорогомъ существѣ! А теперь? Теперь она, убитая людьми, лежитъ безъ всякаго сознанїя, не знаетъ даже, что онъ, любимый ею человѣкъ, ловитъ каждый ея вздохъ, слѣдитъ за малѣйшимъ ея движенїемъ. Но вотъ ему показалось, что она открыла глаза и смотритъ на него. Потомъ ему показалось, что ея лежащая на бѣломъ одѣялѣ рука слабо пошевелилась, точно больная хотѣла ее поднять. Онъ тихо подошелъ къ постели и взялъ руку больной. Ему показалось, что эта рука слабо пожала его руку. Онъ опустился на колѣни и заглянулъ въ лицо своей любимой сестры: по ея лицу скользнуло что-то въ родѣ ласковой, знакомой ему улыбки. Въ немъ промелькнулъ лучъ надежды; онъ припалъ губами къ этой рукѣ и почувствовалъ, что она еще крѣпче сжала его руку, что это пожатїе продолжалось.

— Милая, дорогая! шепталъ онъ сердечнымъ, потрясеннымъ голосомъ, и опять поднялъ голову, опять взглянулъ на это милое лицо.

Она все еще улыбалась одною и тою-же улыбкою. Но онъ зафѣтилъ, что улыбались только губы, а не глаза. Эти глаза были

открыты, они смотрѣли, но не на него, не на какой-нибудь предметъ, а въ пустое пространство, дальше этихъ постылыхъ стѣнъ, гдѣ загубилась вся молодая жизнь, гдѣ были обмануты всѣ свѣтлыя мечты. Онъ шевельнулъ свою рукою и почувствовалъ, что ее все еще придерживаетъ по-прежнему рука больной. Но это была уже холодная, неподвижная рука. Онъ хотѣлъ приподняться, хотѣлъ идти, и упалъ головою на эту уже холодную, какъ мраморъ, грудь.

Черезъ полчаса въ дверь комнаты Софьи Павловны послышался слабый стукъ.

— Войдите! проговорила Софья Павловна.

Къ ней вошелъ Максимъ. Онъ былъ еще блѣднѣе обыкновеннаго, его волосы были въ еще большемъ беспорядкѣ; онъ походилъ на выходца изъ могилы. Софья Павловна, проводившая послѣднія ночи сидя въ креслѣ, встала къ нему на встрѣчу.

— Что? спросила она дрогнувшимъ голосомъ.

— Пройди, пожалуйста, туда... извѣсти другихъ... я самъ не могу, тихо проговорилъ Максимъ.

— Умерла? слабо воскликнула Софья Павловна.

Максимъ махнулъ рукою и пошелъ вонъ.

На слѣдующій день совершалась панихида. Трупъ молодой дѣвушки, весь въ бѣлой кисеѣ, лежалъ на столѣ. Густыя волны ладона клубились кругомъ нея, какъ легкія облака. Въ комнатѣ слышались рыданія Софьи Павловны, Аделаиды Александровны и женщинъ-служанокъ. Александръ Николаевичъ стоялъ на колѣняхъ и усердно молился, отирая катившіяся по его лицу крупныя слезы. Платонъ Николаевичъ, съ нахмуренными бровями, стоялъ у стѣны, заложивъ одну руку за бортъ сюртука и держа свѣчку, нѣсколько дрожавшую въ его лѣвой рукѣ. Какъ-то случайно онъ взглянулъ среди панихиды въ задній уголъ комнаты и увидалъ тамъ Максима. Максимъ стоялъ неподвижно, смотря издали на покойницу. Онъ былъ блѣденъ, но въ его глазахъ не было слезъ; онъ стоялъ твердо, его рука, державшая свѣчу, словно окаменѣла. Онъ не склонялъ колѣнъ, не крестился. Платонъ Николаевичъ опять невольно задумался о томъ, что за личность былъ его племянникъ. Была-ли это узкая, ограниченная натура, ошеломленная до отупѣнія, до оцѣпененія горемъ, или, напротивъ того, это было существо, безгранично страстное, отдающееся каждому чувству

всѣѣло, безраздѣльно и сдерживающее теперь только при помощи желѣзной воли всѣ внѣшнія проявленія горя? Когда напихида кончилась и всѣ пошли изъ комнаты, Александръ Николаевичъ подошелъ къ Максиму.

— Теперь тебѣ нужно отдохнуть, побережь себя, ласково замѣтилъ онъ племяннику.

— Что мнѣ дѣлается, отвѣтилъ Максимъ.— Обтерпѣлся!

Платону Николаевичу хотѣлось заговорить съ Максимомъ, но его оскорбляло поведение Максима въ отношеніи его: Максимъ относился къ нему, какъ къ чужому, вѣжливо, холодно, сдержанно. Заговорить съ нимъ—значило попроситься на односложные, холодные, какъ ледъ, отвѣты. Сойтись-же съ нимъ ближе, родственниѣе, не было уже никакой возможности. Платонъ Николаевичъ понималъ изъ поведения Максима, что послѣдній не находитъ ничего общаго съ нимъ, со своимъ дядей. Максимъ даже не называлъ его дядей.

„А между тѣмъ именно въ немъ сохранились родовыя черты: упорство, непокорность, непоколебимость, думалъ старикъ.— И на кого это онъ сталъ похожъ?“ разсуждалъ онъ, проходя въ свой кабинетъ черезъ столовую, гдѣ висѣли фамильные портреты.

Его взглядъ невольно остановился на одномъ портретѣ: сходство между этимъ портретомъ и Максимомъ было поразительное. Это былъ портретъ дѣда Платона Николаевича, прадѣда Максима,—портретъ человѣка, оставившаго въ памяти людей цѣлыя легенды о своей ужасающей дѣятельности и о своей желѣзной волѣ: во время пугачевщины онъ былъ схваченъ своими взбунтовавшимися крестьянами и среди пытокъ откусилъ себѣ языкъ, чтобы не проговориться холопамъ подъ вліяніемъ мукъ о спрятанныхъ имъ богатствахъ.

## XXIX.

Монотонно, и день, и ночь, читаетъ дьячекъ у гроба молодой покойницы, а въ разныхъ углахъ дома идутъ мелкіе счеты и толки о грошахъ, идутъ приготовленія къ отъѣзду молодежи. Къ Аркадію Павловичу въ комнату собираются братья Данило и Петръ и дѣлятъ вырученныя отъ продажи стараго гнѣзда и стараго хлама деньги. Аделаида Александровна укладываетъ вещи,

готовясь уѣхать изъ своего стараго гнѣзда въ столицу. Софья Павловна, еще плачущая и рыдающая во время панихиды, уже старается убѣдить Платона Николаевича дать хотя что-нибудь на устройство монастырской школы въ память Дуни. Александръ Николаевичъ тревожится, что ему будетъ еще невыносимѣе жить въ домѣ брата безъ дочерей, и часто беретъ подъ руку Максима и изливаетъ передъ нимъ свое горе, пожимая ему руку за то, что тотъ предлагаетъ ему взять половину того, что достанется на долю ему, Максиму.

Но вотъ настали и четвертые сутки. Прошла и обѣдня въ церкви, кончилось и отпѣваніе, простились съ покойницей, понесли гробъ къ могилѣ, опустили въ землю, засыпали землю; настало время идти истреблять похоронный обѣдъ. Максимъ подошелъ къ Александру Николаевичу.

— Итакъ, дядя, прощайте! проговорилъ онъ тихо.—Помните, что я всегда къ вашимъ услугамъ, на сколько могу.

— Такъ ты не передумалъ? Сейчасъ уѣзжаешь? печально спросилъ Александръ Николаевичъ.

— Да!

Молодой человѣкъ пожалъ руку дяди, простился съ Аделью, съ своей сестрой, наконецъ подошелъ и къ Платону Николаевичу.

— Да разве ты сейчасъ уѣзжаешь? изумился тотъ.

— Сейчасъ, холодно отвѣтилъ Максимъ.

— И то сказать, что тебѣ здѣсь теперь дѣлать? Ничто не привязываетъ. Жалѣть нечего! не столько жолчно, сколько съ горечью проговорилъ Платонъ Николаевичъ.

— Вы совершенно правы, тѣмъ-же тономъ отвѣтилъ Максимъ. — Но я думаю, что и другимъ ни тепло, ни холодно отъ моего отъѣзда.

— Еще-бы, еще-бы! раздражился еще болѣе Платонъ Николаевичъ.—Ты насъ за чужихъ считаешь, ну и мы тебѣ отвѣчаемъ тѣмъ-же. Какъ аукнется, такъ и откликнется.

— Это совершенно вѣрно, подтвердилъ Максимъ.—Только вы, кажется, нѣсколько ошибочно смотрите на это дѣло: аукались вы, а не я,—я только откликнулся.

Онъ поклонился Платону Николаевичу холодно, вѣжливо, какъ человѣку, съ которымъ онъ долженъ былъ говорить и прощаться только изъ приличія, и пошелъ прочь. Платонъ Николаевичъ

сдвинулъ брови и смотрѣлъ ему вслѣдъ, какъ онъ шель твердою, неторопливою, ровною поступью, съ опущенною на грудь головою, съ засунутыми въ карманы пальто руками.

— Что это, куда Максъ пошелъ? подлетѣла къ Платону Николаевичу Зернина.

— Искать себѣ берлоги, съ горькой проніей отвѣтилъ старикъ.

— Ахъ, онъ точно волкомъ смотреть. Но неужели-же онъ дѣйствительно совсѣмъ уѣхалъ? Вѣдь онъ даже не простился со мною!

— А вы-бы лучше спросили его, замѣтилъ-ли онъ васъ? жолчно произнесъ Платонъ Николаевичъ. — Я думаю, онъ объ васъ такъ-же мало думалъ, какъ о томъ червякѣ, который издыхаетъ подъ его сапогомъ.

Старикъ направился къ дому.

— Какой неучъ! Невѣжа! волновалась Зернина, толкуя со всѣми о Максимѣ. — Я его на рукахъ въ дѣтствѣ носила... а онъ... Ахъ, пѣтъ, вы представьте: прошелъ мимо меня и даже не кивнулъ головою... И если-бы еще чѣмъ-нибудь отличался, въ гвардіи служилъ или при министрѣ, а то такъ что-то... Онъ вѣдь студентъ? обратилась она къ Софѣ Павловнѣ.

— Да, поступаетъ въ академію, кажется, отвѣтила та.

— Скажите! Даже и не студентъ еще! заволновалась еще болѣе Зернина. — Онъ, впрочемъ, всегда общался сдѣлаться негодяемъ... Я говорила моему неоцѣненному Самѣ: „ради Бога, ради Бога сторонись отъ него“... Я понимаю, что изъ него выйдетъ... Но это меня забавляетъ: пройти и даже не поклониться... Какое знаніе приличій!.. Да гдѣ онъ все послѣднее время прожилъ?

Она обратилась къ Софѣ Павловнѣ. Но та только пожала плечами и отвѣтила:

— Право, не знаю!

— Дядя, дядя, обликнула Зернина Александра Николаевича. — Гдѣ жилъ Максъ въ послѣдніе годы?

— Въ Петербургѣ, отвѣтилъ Александръ Николаевичъ.

— Да, но въ какомъ кругу, въ какой средѣ?

— Право, не умѣю вамъ сказать, отвѣтилъ Александръ Николаевичъ. — Мы всѣ такъ много виноваты въ отношеніи его, что мнѣ было-бы совѣстно разспрашивать, какъ онъ перебивался въ тѣ годы, когда мы даже не справлялись о немъ.

— Ахъ, дядя всегда хочетъ быть рыцаремъ, защитникомъ много угнетенныхъ! воскликнула Зернина, обращаясь къ Софьѣ Павловнѣ.

— Что-жь, дядя правъ: мы, точно, всё виноваты въ отношеніи Максима, смиренно покаялась Софья Павловна.

— Я только знаю то, что онъ не лебезилъ передъ тѣми, передъ кѣмъ было-бы выгодно стоять на заднихъ лапкахъ, сухо замѣтилъ Платонъ Николаевичъ, подходя къ разговаривающимъ и приглашая всѣхъ къ столу.

— Конечно, я такъ мало его знаю, оправдалась въ смущеніи Зернина. — Меня только поразили эти вульгарныя манеры, эта мѣщанская невѣжливость.

— Ну, онъ - то, можетъ быть, болѣе дворянинъ, чѣмъ многие блюдолизы, оборвалъ ее Платонъ Николаевичъ, и круто пережвѣнилъ разговоръ.

Всѣ сидѣли за похороннымъ столомъ въ похоронномъ настроеніи. Каждый только и думалъ, какъ-бы поскорѣе кончился этотъ обѣдъ, какъ-бы скорѣе вырваться изъ этого дома. Данило Павловичъ, всматриваясь въ лица присутствующихъ, невольно подумалъ, что Максимъ былъ правъ, не насилуя и не мучая себя присутствіемъ въ этомъ обществѣ, съ которымъ у него было такъ-же мало общаго, какъ и у прочихъ членовъ семейнаго кружка. Вслушиваясь въ разговоры, Данило Павловичъ замѣчалъ, какъ эти люди начинали пикироваться между собой со второй-же фразы, какъ они не могли ни на чемъ сойтись, и ему казалось, что то старое гнѣздо, въ которомъ они находятся теперь, должно неминуемо разрушиться, какъ разрушилось ихъ собственное старое гнѣздо.

Черезъ часъ послѣ обѣда все общество разсѣялось по разнымъ угламъ. „Уѣзжать, уѣзжать отсюда!“ — вотъ единственная мысль, занимавшая всѣхъ, и каждому хотѣлось только унести побольше сварба изъ этого стараго гнѣзда.

Вечеромъ братья отправились въ Чистополье, чтобы свести въ своемъ домѣ еще кое-какіе мелкіе счеты. Максимъ ждалъ ихъ съ нетерпѣніемъ. Покончивъ дѣла, онъ поручилъ Данилѣ Павловичу спрятать половину его денегъ на случай, если они понадобятся Александру Николаевичу.

— Пиши мнѣ объ немъ, пиши объ его семьѣ, обратился къ



нему Максимъ.—Я не успѣлъ въ это тяжелое время побывать у его дѣтей; ты сдѣлаешь это за меня.

Данило Павловичъ изъявилъ полную готовность сдѣлать все, что нужно, для семьи дяди.

Максимъ пожалъ ему руку и пошелъ наверхъ собрать свои вещи. Къ нему на цыпочкахъ вошла Настасья.

— А, это ты, Настуся! проговорилъ онъ, связывая въ узелъ свои немногіе пожитки.— Вотъ тебѣ, Марья и Вавилъ на первый случай.

Онъ передалъ пакетъ съ деньгами своей нянѣ.

— Батюшка, да на что-же! бросилась къ нему съ подѣлуями Настасья.

— Стары вы, гдѣ вамъ служить! проговорилъ онъ.— А скопить многого, я думаю, не пришлось...

— Вотъ и готово! поднялся онъ, завязавъ узелъ, и вздохнулъ.— Ну, теперь болѣе не вернусь сюда...

Онъ махнулъ рукою и проговорилъ:

— Ну, прощай!

Настасья зарыдала, бросившись цѣловать его.

— Позови сюда и Вавилу, и Марью, сказалъ онъ.

Старые слуги поднялись въ мезонинъ. Максимъ обнялъ ихъ.

— Пишите, если будутъ нужны деньги, говорилъ онъ.— Къ брату Даниилъ обращайтесь. Онъ не оставитъ васъ и самъ, и меня извѣстить. Не пишите-же жить вамъ на старости... Прощайте... Спасибо вамъ за все, за все...

— Присѣсть, присѣсть, батюшка, нужно передъ дорогой, проговорила Настасья.

Всѣ сѣли. Прошла минута тяжелого молчанія. Наконецъ, Максимъ не выдержалъ и всталъ, порывисто обнявъ еще разъ стариковъ и быстро сталъ спускаться съ лѣстницы. Онъ дошелъ до площадки перваго этажа, завернулъ въ залъ и торопливо промолвилъ:

— Ну, прощай, Данило!

Данило Павловичъ бросился къ нему.

— Какъ, уже и готовъ? А лошади?

— Пройдусь пѣшкомъ, гдѣ-нибудь попутчика найду. Надо поразмяться... Не забывай-же, дружище, дядю, старухъ, Вавилу.

— Положись на меня... Да ты самъ пріѣзжай!

— Приѣду, приѣду... Будешь жениться—шаферомъ буду, улыбнулся Максимъ, ничего не видя отъ сдержанныхъ слезъ, и дружески сжалъ руку Даниила Павловича. — А съ вами... не прощаюсь, обернулся онъ къ Петру Павловичу и къ Аркадію Павловичу.—Въ одинъ городъ ѣдемъ, можетъ быть и встрѣтнися... До свиданья...

Онъ кивнулъ имъ головой и торопливо вышелъ изъ комнаты, провожаемый Данииломъ Павловичемъ и прислугой. Они спустились внизъ. Тамъ стоялъ „Митюшка-фалеторъ“.

— А тебя-то я и забылъ, улыбнулся Максимъ. — Вотъ тебѣ на орѣхи...

Онъ далъ ему нѣсколько серебряныхъ монетъ.

— Купи и Валетѣ съухарей, улыбнулся онъ, проводя рукой по головѣ мальчугана.

— Я его къ себѣ въ камердинеры возьму, засмѣялся Данило Павловичъ.

— Ну, и хорошо. Прощайте-же, друзья... Довольно!.. Дальніе проводы—лишнія слезы.

Максимъ, стиснувъ крѣпко зубы, сдерживая слезы, вышелъ изъ воротъ, повернулъ по Старой Господской улицѣ, по направленію къ Новой Господской, и скоро скрылся за угломъ крайняго дома.

„И все та-же тишина, тотъ-же сонъ, какъ и тогда!“ думалъ онъ, ступая по мягкой, пыльной дорогѣ и смотря на полуразвалившіеся заборы, на зароставшія мхомъ крыши, на заколоченные ставни домовъ.

### XXX.

Старый барскій домъ въ Ольховатомъ опустѣлъ.

Въ немъ остались только Платонъ Николаевичъ и Александръ Николаевичъ, окруженные дворней. Покуда здѣсь были люди, эти парадныя, построенныя для пировъ комнаты не казались неудобными, неуютными. Теперь онѣ, построенныя въ рядъ, чрезмѣрно высокія, выглядѣли неуклюжими сараями. Массивная мебель нагоняла тоску своею правильностью, своимъ порядкомъ. Тяжелые стулья изъ стараго дуба, изъ корельской березы, никѣмъ неслышавшіеся съ мѣста, казались, прирости къ стѣнамъ. Бронзовыя украшенія ме-

бели давно потемнѣли. Китайская голубая ткань на диванахъ и стульяхъ въ голубой гостиной, желтый штофъ на креслахъ въ желтой гостиной, позолота и бѣлая краска стульевъ, — все это приходило въ ветхость. Въ комнатахъ перестало пахнуть людьми и пахло кладовою. Пыль и паутина, несмотря на ежедневное обметаніе, садилась толстымъ слоемъ на все, потому что ихъ не уносили, не тревожили, какъ прежде, поминутно сновавшіе здѣсь люди. Звуки шаговъ и голоса людей стали раздаваться крикливѣе, ярче въ опустѣвшемъ пространствѣ. Стало слышно, какъ трещить мебель и полы, какъ лопаются гдѣ-то обои отъ первой осенней топки печей. Прежде, проходя по этимъ комнатамъ, никто не замѣчалъ своей тѣни; теперь становилось какъ-то неприятно и жутко, когда, проходя по ряду этихъ комнатъ, человѣкъ видѣлъ свое темное, доходившее до потолка, отраженіе. Иногда въ полутьмѣ, взглянувъ случайно по направленію къ окнамъ, обитатели смущались: имъ казалось, что въ окна смотрятъ какія-то тѣни — это были густыя вѣтви деревьевъ, близко прильнувшія къ окнамъ. Когда оба брата садились за чай, имъ было странно, что они должны были разливать себѣ чай сами или заставлять это дѣлать слугу, при которомъ они стѣснялись разговаривать. За утреннимъ чаемъ, за завтракомъ они еще находили кое-какія темы для разговоровъ, но уже за обѣдомъ они сидѣли молча, не зная, о чемъ говорить. Платонъ Николаевичъ сильнѣе прежняго злился на все: онъ злился на литературу, въ которой появляются какіе-то проходимцы, рагченцы, семинаристы и разночинцы, въ которой уже не умѣютъ такъ писать, какъ писали Карамзинъ и Пушкинъ, въ которой нѣтъ ничего возвышеннаго и благороднаго, а все стало мелочно, утилитарно, похоже на счета лавочниковъ и отчеты прикащиковъ; онъ злился на реформы, изъ которыхъ каждая, по его мнѣнію, подрывала основы старой жизни, но не могла создать новаго строя, потому что, по его словамъ, каждая реформа только стѣсняла власть самаго образованнаго сословія и расширяла права необразованныхъ сословій, грозя откинуть насъ назадъ, а не двинуть впередъ; онъ злился на молодыхъ дворянъ вообще и на своихъ племянниковъ въ особенности, говоря, что эти люди, испуганные невозможностью жить доходами съ крестьянъ, бросились, очертя голову, добывать деньги и сблизились съ мѣщанствомъ, съ булаками, съ лавочниками, причемъ они, вмѣсто того, чтобы

поднять этихъ людей до себя, стали спускаться до нихъ; онъ лился на то, что у дворянства нѣтъ никакихъ общихъ „своихъ“ интересовъ и общаго „своего“ дѣла, что его члены заняты исключительно личными, отдѣльными заботами о добычѣ денегъ. Но сердясь на все это, онъ не дѣлалъ и не могъ дѣлать никакихъ попытокъ для противодѣйствія злу. Чтобы противодѣйствовать новому порядку вещей, нужно было бросить просторный пиджакъ и облечься во фракъ, нужно было разстаться съ старымъ гнѣздомъ, гдѣ все рабски повиновалось ему, и опять выступить на паркетъ великосвѣтскихъ залъ и въ стѣнахъ министерствъ, гдѣ иногда пришлось-бы хитрить, подчиняться, обдумывать каждое свое слово, каждый свой шагъ. Но сладость бездѣйствія и прелесть самодурства, связанная съ образомъ жизни богатаго помѣщика, находящагося не у дѣлъ въ своей деревнѣ, уже вошли ему въ плоть и кровь. Чѣмъ болѣе онъ сознавалъ, что новые порядки дѣлаются безповоротными, чѣмъ менѣе онъ былъ способенъ дѣятельно бороться съ ними, тѣмъ сильнѣе рѣзвивалась въ немъ жолчь, и мало-по-малу недовольство и раздраженіе стало принимать характеръ простой, почти бессознательной привычки, чего-то въ родѣ рюмки водки за обѣдомъ и завтракомъ. Онъ чувствовалъ себя не въ духѣ, ему чего-то не доставало, когда онъ не могъ найти предлога для брани на все новое, для ѣдкихъ выходокъ противъ ненавистныхъ ему порядковъ.

Но если Платонъ Николаевичъ находилъ хотя какое-нибудь утѣшеніе въ возможности опьянять себя звуками своей собственной брани и насмѣшекъ противъ всего міра, то Александръ Николаевичъ не имѣлъ и этого утѣшенія. Живой и подвижной по натурѣ, готовый ужиться въ мирѣ со всѣми порядками, лишь-бы эти порядки не мѣшали ему ораторствовать, мечтать о широкихъ предприятияхъ и бить въ сущности баклуши, но бить ихъ, размахивая руками, двигаясь, волнуясь,—онъ менѣе всего былъ способенъ примириться съ жизнью въ домѣ своего брата. Отсутствие въ домѣ гостей, полный недостатокъ какой-бы то ни было дѣятельности, вѣчно мрачное и жолчное настроеніе его единственнаго собесѣдника,—все это было невыносимо для этой широкой натуры. При первой возможности Александръ Николаевичъ сталъ ускользать въ городъ, въ маленькую квартиру въ Семинарскомъ переулкѣ, гдѣ жила Матрена Кузьминична съ своими дѣтьми. Эта баба, мягкая

и круглая, какъ называли ее, бывало, дворовые люди, жила когда-то горничной, а потомъ ключницей въ домъ Александра Николаевича, и жила съ такимъ успѣхомъ, что нажила отъ него шестерыхъ дѣтей, изъ которыхъ трое остались въ живыхъ. Послѣ разоренія Александра Николаевича Матренѣ Кузьминичнѣ пришлось-бы идти по-миру, если-бы Александръ Николаевичъ прежде всего не выхлопоталъ у брата ежемѣсячной пенсіи на содержаніе этой женщины и ея дѣтей. Матрена Кузьминична, покуда Александръ Николаевичъ былъ ея „баринномъ“, играла роль простой любовницы изъ крѣпостныхъ, т. е. рядилась лучше остальной дворни, „фыркала“ на эту дворню, хозяйничала въ домѣ и по-своему кокетничала съ баринномъ, стараясь удержать его въ своихъ рукахъ. Это ей удавалось, потому что баринъ, послѣ всевозможныхъ интрижекъ съ свѣтскими томными красавицами и съ нарумяненными актрисами, возвращался все-таки къ своей круглой и мягкой бабѣ, отъ которой вѣяло здоровьемъ, силой, веселостью и неподдѣльной страстью, выражавшейся иногда довольно сильными щипками или такими объятіями, послѣ которыхъ долго чувствовалось нытье въ костяхъ. Но какъ только Александръ Николаевичъ пересталъ быть для нея баринномъ, такъ тотчасъ-же перемѣнились и ея отношенія къ нему. Сначала она думала, что Александръ Николаевичъ ее броситъ, и не осушала глазъ, плача о своемъ „голубчикѣ“; потомъ-же, когда онъ пріѣхалъ къ ней впервые послѣ раздѣлки съ кредиторами и хотѣлъ ее обнять, она грубо оттолкнула „своего губителя“ и излилась въ упрекахъ, говоря о томъ, что, видно, ему мало, что троихъ дѣтей пустил по-миру, такъ еще хочетъ новыхъ прижить. Александръ Николаевичъ растерялся, сообразилъ, что, дѣйствительно, неблагородно и безчестно приживать новыхъ дѣтей, не имѣя возможности ихъ воспитать, и уже хотѣлъ ретироваться, когда Матрена Кузьминична рыдалась еще сильнѣе, говоря, что, вѣрно, навязалась ему на шею какая-нибудь „шлюха“, что, видно, забылъ онъ, какъ ласкала да миловала его она, Матрена Кузьминична, что, должно быть, не помнить онъ, какъ она сама ему постельку готовила да утромъ чаецъ въ постелькѣ, ровно ребеночка малаго, поила. Александръ Николаевичъ все это помнилъ на-столько хорошо, что почувствовалъ, что все его несчастіе состоитъ теперь не въ потерѣ имѣнія, а въ недостаткѣ женщины, которая стлала-бы ему сама постельку и поила-

бы его въ этой постелькѣ чаемъ, какъ малаго ребеночка, и началъ клясться, что онъ ее не забываетъ, что онъ даже выхлопоталъ ей содержаніе отъ брата. Разразилась новая буря; Матрена Кузьминична заявила, что не за деньги она его любила, что она и безъ его денегъ обойдется, что она готова воду таскать и помыть, лишь-бы онъ былъ съ нею. Вся эта смѣсь грубости и нѣжности, упрековъ и ласкъ ошеломила Александра Николаевича до того, что Матрена Кузьминична сдѣлалась ему теперь дороже всего на свѣтѣ. Онъ сталъ съ ней видѣться чаще прежняго и блаженствовалъ, когда она одѣвала его въ халатъ, окружала дѣтymi, а сама, то ворча, то бросая на него нѣжные взгляды, хлопотала надъ приготовленіемъ чая съ сдобными булочками для своего „тирана“, „губителя“ и „злодѣя“. Онъ сидѣлъ съ блаженною улыбкою, когда его ребятишки ерошили ему волосы, теребили усы, а Матрена Кузьминична „помирала со смѣху“, глядя, какъ „премазили пострѣлята“. Онъ блаженствовалъ, когда, собираясь уѣхать домой, онъ чувствовалъ, что Матрена Кузьминична тайкомъ отъ дѣтей довольно больно толкаетъ его въ бокъ и съ лукавой усмѣшкой шепчетъ:

— Да ну, останься!

Ни дома, ни въ постороннихъ домахъ, нигдѣ его не ждали съ нетерпѣніемъ, нигдѣ не отпускали съ сожалѣніемъ, а здѣсь...

— Папка, папка идетъ! раздавались крики ребятишекъ при его прїѣздѣ, и шесть маленькихъ рученокъ ухватывались за него, вѣшались ему на руки, на шею.

Матрена-же Кузьминична, круглая, здоровая, румяная, съ усмѣшкой стояла въ комнатѣ и любовалась сценой. Александръ Николаевичъ обнималъ ее, а она со смѣхомъ отталкивала его, говоря:

— Ишь, радъ, что есть что облапить, медвѣдь!..

И чѣмъ скучнѣе было дома, чѣмъ болѣе вѣяло холодомъ отъ отношеній другихъ людей, тѣмъ сильнѣе тянуло Александра Николаевича въ этотъ домъ. Здѣсь были у Александра Николаевича и свои знакомые: учитель арифметики Крестonosцевъ, нанимавшій комнату у Матрены Кузьминичны; семинаристъ Воздвиженскій, обучавшій ея старшую дочку; попъ Архангельскій, крестившій у Матрены Кузьминичны дѣтей и служившій у нея въ торжественные дни молебны. Всѣ эти люди были людьми съ философскимъ складомъ ума, глубокомысленно разсуждавшіе о политикѣ, о реформахъ, о новостяхъ дня. Съ этими людьми Александръ

Николаевичъ могъ разсуждать „о козняхъ Австріи“, „о планахъ Наполеона“, „о попыткахъ Пруссіи“. Имъ могъ онъ разсказывать, какъ онъ содержалъ лучшій въ Россіи театръ, какъ разводилъ табакъ изъ гаванскихъ сѣмянъ. Передъ ними онъ могъ развивать свои планы насчетъ изданія газеты для объединенія сословій. Въ этомъ кружкѣ никто не обрывалъ его, не замѣчалъ ему, что онъ залетаетъ слишкомъ далеко и уклоняется отъ истины. Напротивъ того, здѣсь считали его всевѣдущимъ гениемъ и обращались къ нему за разрѣшеніемъ самыхъ глубокихъ вопросовъ. Учитель Крестonosцевъ, заржавѣвшій, по его словамъ, въ провинціи и занимавшійся втеченіи тридцати лѣтъ разрѣшеніемъ вопроса, „въ какую пучину бѣдствій былъ-бы повергнутъ міръ, если-бы кто-нибудь изобрѣлъ такую машину, которая дѣлала-бы все сама, безъ помощи людей“, — занимался по-преимуществу экономическими вопросами и добивался у Александра Николаевича отвѣта. почему правительство при всеобщей бѣдности не сдѣлаетъ столько-же „бумажекъ“, чтобы на каждого человѣка пришлось, по крайней мѣрѣ, по тысячѣ рублей въ годъ, и такимъ образомъ всѣ-бы стали богатыми. Священникъ Архангельскій любилъ больше политику и носился со своимъ проектомъ насчетъ Польши: по его мнѣнію, Россія должна-бы была написать письмо въ Европу, чтобы Европа взяла Польшу въ аренду, а для безопасности границъ Россія могла-бы поставить на границѣ три миліона солдатъ. Семинаристъ Воздвиженскій отдавалъ предпочтеніе вопросамъ литературнымъ; этотъ честный простякъ и добрый малый, любившій, какъ онъ выражался, „хлестнуть маленько“, то - есть небрезгавшій водкой, читалъ своимъ собесѣдникамъ свои собственныя критическія статьи, которыя почему-то нигдѣ еще не печатались. Самая скромная изъ этихъ статей начиналась такъ: „Прохвосты, отхлеставшіе Помяловскаго за то, что онъ рисуетъ жизнь гольемъ, конечно, сами по себѣ плевка не стоютъ“... Въ этомъ-то кружкѣ Александръ Николаевичъ являлся оракуломъ и цивилизаторомъ. Иногда къ этому кружку присоединялся и Данило Павловичъ, полюбившій компанію Матрены Кузьминичны, такъ-какъ здѣсь можно было быть на-распашку, въ разстегнутомъ жилетѣ. Мало-по-малу это общество стало насущною потребностью для Александра Николаевича и онъ подъ тысячами предлоговъ вырывался сюда изъ дома брата. Платонъ Николаевичъ косился на брата и съ раздраженіемъ спрашивалъ:

— Куда это вы исчезаете, мон frèге?

— По дѣламъ, все по дѣламъ, отвѣчалъ озабоченно Александръ Николаевичъ.

— По дѣламъ! съ ироніей восклицалъ старшій братъ.— Могу я себѣ представить, какія у васъ дѣла!

— Нельзя-же, мон frèге, въ мои лѣта сидѣть сложа руки, возражалъ Александръ Николаевичъ.

— Не знаю, можно-ли въ ваши лѣта сидѣть сложа руки, замѣчалъ Платонъ Николаевичъ,—но знаю, что въ ваши лѣта можно научиться болѣе искусно лгать.

— Брюзга, брюзга! восклицалъ въ смущеніи Александръ Николаевичъ и еще поспѣшнѣ ускользалъ изъ дома.

У Матрены Кузьминичны онъ отводилъ душу послѣ воркотни брата. Впрочемъ, эта воркотня начинала дѣлаться на-столько нестерпимою, что Александръ Николаевичъ сталъ нерѣдко задумываться о поступленіи на какое-нибудь мѣсто.

### XXXI.

Такъ шло время, не принося никакихъ видимыхъ, рѣзкихъ переѣнъ ни въ жизни двухъ братьевъ, ни въ жизни маленькаго кружка Матрены Кузьминичны, но между тѣмъ среди этихъ людей было одно лицо, которое подготовляло переѣну въ своей жизни.

Данило Павловичъ, имѣя въ рукахъ довѣренность брата Аркадія на продажу лѣса, медлил продавать этотъ лѣсъ, слѣдуя поговоркѣ: „Поспѣшишь—людей насмѣшишь“. Онъ ждалъ, когда Гуцинъ самъ заговоритъ о лѣсѣ, и предвидѣлъ, что это случится скоро, такъ-какъ наступала глубокая осень. Онъ не ошибся.

— Что-же, ваше благородіе, „Вавиловская-то роща“? спросилъ его однажды Гуцинъ, начинавшій терять терпѣніе. — Или только по губамъ помазалъ?

— Надъ нами не каплетъ, отвѣчалъ Данило Павловичъ, выжидавшій случая, когда старикъ самъ заговоритъ о лѣсѣ.— Передавать въ цѣнѣ не стоитъ.

— Такъ-то оно такъ, да вѣдь другой покупатель найтись можетъ.



- Не найдется, съ увѣренностью отвѣчалъ Данило Павловичъ.
- Да за сколько продасть ее твой братъ? Брайняя цѣна какая?
- Тридцать тысячъ. Двадцать брату, десять мнѣ за...
- Не много-ли будетъ?
- Тридцать-то тысячъ? Сами знаете, что цѣна недорогая.
- Недорогая, а все-же лучше-бы, если-бы подешевле купить.
- Ты-то за что больно много хочешь?
- По вашему-же обѣщанію.
- Ну да, я обѣщаль, если ты отъ дяденьки Платона Николаевича мнѣ лѣсъ приобрѣтешь, а теперь вѣдь это ты мнѣ его отъ имени Аркадія Павловича продаешь.
- Да не все-ли это равно?
- Нѣтъ, не все равно. Съ Аркадіемъ Павловичемъ я и самъ могу дѣло обдѣлать. Ты вонъ ему двадцать тысячъ даешь, а я дамъ двадцать двѣ—вотъ мнѣ и расчетъ безъ твоего комисіонерства обойтись.

Данило Павловичъ покачалъ головой.

— Эй, Пахомъ Семеновичъ, не обочтитесь! проговорилъ онъ.— Обратитесь сами—дѣло испортите.

Старикъ нахмурился.

— Да ты, ваше благородіе, загадокъ мнѣ не загадывай, а говори толкомъ. Съ чего это ты взялъ, что Аркадію Павловичу прибыточнѣе получить черезъ тебя двадцать тысячъ, чѣмъ прямо отъ меня двадцать двѣ?

— Не выгоднѣе, Пахомъ Семеновичъ, отвѣтилъ Данило Павловичъ.—а просто не захочу я, чтобы онъ вамъ продалъ, и не продасть. Вѣдь мнѣ стоитъ только дядѣ Платону Николаевичу сказать, что лѣсъ вы покупаете, тогда и не видать вамъ его, какъ ушей безъ зеркала. Дядя ничего не пожалѣетъ, чтобы перебить лѣсъ у васъ. Брату-же будетъ выгодно: онъ и денегъ отъ дяди получить, и лѣсъ за собой сохранить.

Гущинъ задумался.

— Ты, ваше благородіе, не промахъ, замѣтилъ онъ съвозъ зубы.—Ну, хорошо, дѣлай дѣло, а тамъ сочтемся.

Старикъ заходилъ по комнатамъ.

Данило Павловичъ пристально слѣдилъ за нимъ глазами и что-то соображалъ.

— Ужь если мы начали этотъ разговоръ, такъ и будемъ кончать, произнесъ молодой Муратовъ.

— Что кончать-то? Сказано, что куплю, значитъ и куплю, уклончиво отвѣтилъ старикъ.

— Что слова-то! промолвилъ Данило Павловичъ. — А вы лучше закрѣпите дѣло, дайте мнѣ десять-то тысячъ.

— То-есть какъ это дать? изумился старикъ, остановившись передъ нимъ.

— Такъ, просто дать, простодушно сказалъ Данило Павловичъ. — Изъ разговора вашего я увидѣлъ, что вы не прочь и сами войти въ сдѣлку съ братомъ. Кто-же мнѣ поручится, что вы тотчасъ-же не уладите всего дѣла тайкомъ отъ меня? Прежде-то я объ этомъ и не думалъ, а вотъ теперь вы меня навели на эту мысль. Ну, и нужно мнѣ ручательство, что вы сами переговариваться съ братомъ не будете, а предоставите это дѣло мнѣ.

— Да говорить тебѣ... перебилъ его Гуцинъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, Пахомъ Семеновичъ, теперь слова не поведутъ ни къ чему, нахмурился Данило Павловичъ и по его лицу пошли пятна, предвѣщавшія бурю. — Вы со мной шутки шутить хотите, за носъ меня провести думаете. Молодъ, молъ, неученъ еще, поучить надо! Да я не такой! Жидовское отродье, батюшка, въ Польшѣ выучился морочить, такъ ужь съ русскимъ-то почетнымъ гражданиномъ потягаться съумѣю... Кладите десять тысячъ на столъ или лѣса не видать вамъ ни за тридцать, ни за сорокъ, ни за сто тысячъ.

Онъ всталъ и тоже запагалъ по комнатамъ, пощипывая усы.

— Ну, чего пѣтушишься, ваше благородіе, шутливо замѣтилъ Гуцинъ. — Даромъ я тоже денегъ такъ, зря, не дамъ.

— Не дадите? Ну, и не давайте!

Данило Павловичъ взялъ фуражку. Старикъ струсилъ.

— Ты не кипятись, остановилъ онъ его. — А ты вотъ что сдѣлай. Продавай лѣсъ мнѣ сейчасъ за двадцать пять тысячъ. Грѣхъ пополамъ... Обмолвился я тогда, ну и поплачусь...

— За двадцать девять тысячъ девятьсотъ девяносто девять рублей не отдамъ, почти кричалъ Данило Павловичъ. — Будете торговаться—еще накинута тысячу. Завтра придете—совѣмъ не продамъ. Вы думаете, покупателей не найдется? Дядя Платонъ Николаевичъ сейчасъ купить. Вы думаете, я мѣстоишь у васъ дорожку?

Да дядя Платонъ Николаевичъ мнѣ пенсію положить, если я не стану срамить его, служа у васъ! Вѣдь вы меня и взяли-то только потому, что лестно вамъ говорить, что вы его племяннику Христа-ради кусокъ хлѣба даете.

— Ишь ты расходился! хмуро проговорилъ Гущинъ. — Ну, ладно. Тридцать тысячъ даю, значить и по-рукамъ.

Гущинъ протянулъ руку.

— Нѣтъ, не по-рукамъ, отстранился отъ него Данило Павловичъ. — А вы дайте мнѣ сейчасъ десять тысячъ, да тогда и бейте по-рукамъ.

— Какъ-же это я тебѣ дамъ: въ видѣ задатка, подъ росписку? недоумѣвалъ Гущинъ.

— Нѣтъ, такъ: достаньте десять тысячъ и дайте. Это пойдетъ мнѣ за комисію. Росписки-же вамъ я не дамъ и даже при свидѣтеляхъ денегъ не возьму.

Гущинъ былъ пораженъ нахальнымъ видомъ Данилы Павловича и его предложеніемъ.

— Да ты шутишь или умомъ рехнулся, ваше благородіе? воскликнулъ онъ, вытаращивъ глаза.

— Не шучу и умомъ не рехнулся, а хочу поучить васъ, какъ со мной держать себя надо, отвѣтилъ Данило Павловичъ.

— Да за какого-же дурака ты меня считаешь, что я тебѣ возьму да и дамъ безъ росписки, безъ свидѣтелей деньги? возмутился старикъ. — Ты лучше проспись да одумайся, а тогда и приходи.

Старикъ тревожно заходилъ, въ свою очередь, по комнатѣ, ворча что-то себѣ подъ носъ.

— Ну, прощайте, Пахомъ Семеновичъ, произнесъ Данило Павловичъ, — на себя пеняйте.

Онъ вышелъ изъ комнаты. Пахомъ Семеновичъ, взволнованный и раздраженный, продолжалъ ходить по комнатѣ. Изъ его рукъ ускользала крайне выгодная сдѣлка; онъ лишился возможности насмѣяться надъ безсильнымъ гнѣвомъ Платона Николаевича. Трудно было-бы рѣшить, которая изъ этихъ двухъ причинъ заставляла его печалиться болѣе. Онъ понималъ, что отъ Данилы Павловича всего можно ждать, что этотъ человѣкъ въ родню уродился настойчивостью и бѣшеннымъ правомъ, что онъ не задумается поѣхать къ дядѣ Платону Николаевичу и испортить все дѣло. Рядомъ съ

этимъ шла мысль о томъ, что какъ это онъ, Гущинъ, позволить провести себя такому молокососу. Въ то-же время Пахомъ Семеновичъ негодовалъ на себя, что не съумѣлъ такъ устроить дѣло, чтобы непосредственно сойтись съ Аркадіемъ Павловичемъ. Съ полчаса старикъ шагаль по своему кабинету, наконецъ крикнулъ:

— Эй, Петька!

Въ кабинетъ явился малый лѣтъ шестнадцати, остриженный по-русски, съ бойкими ухватками не то кабацкаго подносчика, не то мальчика изъ лавки.

— Сбѣгай въ Данилѣ Павловичу, приказалъ Гущинъ, — скажи, что, молъ, Пахомъ Семеновичъ просить на часъ времени завернуть къ нимъ. Да чтобы сейчасъ-же.

— Слушаю-съ! встряхнулъ головой Петька.

— Ну! махнулъ рукой старикъ.

Петька исчезъ, а онъ снова заходилъ по комнатѣ.

— Чай подавать, что-ли? спросила его жена, пріотворивъ двери въ кабинетъ.

— И до чаю! отрывисто отвѣтилъ старикъ.

— Что ты, нездоровъ, что-ли, Пахомушка? озаботилась она.

Онъ махнулъ рукою.

— Послѣ... приду!

Жена скрылась, покачавъ сомнительно головою.

— Разорился, ей-богу разорился! прошептала она. — И то сказать: шутка-ли, сколько народу надо содержать и всѣмъ-то платить, всѣмъ платить!.. Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!

Она боязливо начала креститься, глядя подслѣповатыми, опцвѣтшими глазами на образъ.

А Петька легълъ уже по улицамъ къ старому муратовскому дому, гдѣ еще жилъ Данило Павловичъ. Онъ засталъ Данилу Павловича курившимъ у окна папироску и барабанившимъ по подоконнику. На дворѣ запрягали лошадь.

Данило Павловичъ пришелъ домой и послалъ, ни за что, ни про что, къ чорту и Настасью, и Марью, и Вавилу, вытрепалъ за вихорь игравшаго на дворѣ съ Валеткой „Митьку-фалетора“ и прошелъ въ свою комнату, приказавъ подавать самоваръ.

— Бестія старая! громко проговорилъ онъ, скрипнувъ зубами. — Ломаться еще вздумалъ, холопъ, сермяжникъ!.. А! тебѣ и лѣсъ хочется задаромъ получить, и старому барину насолить, и молодого птен-

чика надуть!.. Шалишь!.. Не такихъ мы обрабатывали да объѣзжали...

— Митька! крикнудь онъ, топнувъ ногою.

Митька-фалеторъ появился въ дверяхъ.

— Черти проклятые, гдѣ запропастились! Не дозовешься! закричалъ Данило Павловичъ.— Запречь лошадей въ коляску! Чего стоишь!.. Чтобъ мигомъ!

Митька исчезъ.

— Я воображаю, какъ ахнетъ почтенный дядюшка, когда все расскажу! продолжалъ разсуждать Данило Павловичъ.— Тоже дешево не отдѣляется... Подлецы этакие, нажились, на золотыхъ мѣшкахъ сидятъ, а ты тутъ бейся... Нѣтъ, я васъ вотъ какъ сожму...

Онъ сжалъ кулакъ. Его лицо одушевилось страстью и энергіей.

— Что-же чай? крикнудь онъ въ двери.

— Сейчасъ, сейчасъ! отозвалась Настасья.— Самоваръ долго не кипить.

— Сама садь на него, а чтобы сейчасъ былъ готовъ! отозвался Данило Павловичъ, нетерпѣливо садясь къ окну.

Въ эту минуту отворилась дверь и на порогъ предсталъ Петька.

— Пахомъ Семеновичъ... началъ онъ.

— Скажи своему Пахому... перебилъ его Данило Павловичъ.

— Просятъ васъ къ себѣ, кончилъ скороговоркой Петька.

— Убирайся къ чорту! Некогда мнѣ бѣгать! Слышалъ?..

Данило Павловичъ поднялся съ мѣста съ такимъ видомъ, что Петька скрылся.

— Ахъ ты выжига кабацкая!.. ругался Данило Павловичъ.— Приказали просить!.. Мальчишку нашель!.. Въ гулячки играть вздумалъ... Нѣтъ, ты у меня, подлець, въ передней настоишься да накланяешься... Ты у меня...— Чаю!

Настасья вбѣжала мелкими шажками съ подносомъ. За ней, пыхтя, появилась Марья съ самоваромъ. Обѣ женщины засуетились надъ завариваніемъ чая.

„Ужь если-бы не Липка его, такъ я-бы и минутки не задумался, мысленно разсуждалъ Данило Павловичъ.— А то разсооришься съ старикомъ—ее не вырвешь у него...“

Петька между тѣмъ появился въ кабинетѣ Пахома Семеновича и началъ переминаться на порогѣ съ ноги на ногу. Едва не вы-

трепаный Данилой Павловичемъ, онъ ожидалъ трепки и здѣсь. Когда старшіе сердились и ссорились, трепка обыкновенно выпадала на его долю.

— Ну что? спросилъ старикъ.

— Ругаются-сь, отвѣтилъ Петька.

— Какъ? спросилъ старикъ, не понявъ отвѣта.

— Непристойными словами-сь! отвѣтилъ Петька.

— Болванъ!

— Слушаю-сь!

— Да придетъ-ли?

— Никакъ нѣтъ-сь!.. На дворѣ лекипажъ закладываютъ, ѣхать хотять...

— Что? куда ѣхать?

— Митька-фалеторъ говоритъ, что не знаетъ, куда ѣдутъ...

— Не знаетъ, не знаетъ! передразнилъ его старикъ.— Палку, шляпу!.. Нѣтъ, каково-же, каково-же!.. Въ родню уродился, бѣшенный...

Онъ быстро взялъ шляпу и палку и направился къ выходу.

— Чай-то какъ-же? окликнула его жена.

— Да ну васъ съ чаями! сердито махнулъ онъ рукой.

Жена совсѣмъ растерялась и стала опять креститься.

— Какъ-бы чего не случилось! вздохнула она.— Ну, разорился, ну, и свазаль-бы, а то... Мало-ли какое затмѣніе найти можетъ... Бѣсъ-то силенъ... Пойти посчитать, что у меня-то есть...

Старуха копила на черный день, котораго ожидала съ-часу-на-часъ, и успѣла уже отложить— семьсотъ рублей!

Гущинъ-же торопливо шелъ къ муратовскому дому. Ему такъ и чудилось, что онъ не застанетъ Данилу Павловича. Тогда все пропало. Платонъ Николаевичъ не пожалѣетъ ничего, чтобы остановить продажу лѣса. Когда старикъ подходилъ къ дому, у крыльца стояла уже коляска.

— Ишь ты, ишь ты расхотился! ворчалъ Гущинъ, отирая потъ.— Вѣдь этакій человекъ убьетъ подъ сердитую руку и не поморщится... Ну, въ роденьку!..

Гущинъ поднялся по лѣстницѣ и вошелъ въ комнату, гдѣ Данило Павловичъ допивалъ чай.

— Ты чего-же это, ваше благородіе, ломаешься? спросилъ онъ сдержаннымъ тономъ.— Ты-бы хоть то взялъ въ расчетъ, что ты у меня служишь теперь...

— Служилъ, да больше не служу, отвѣтилъ Данило Павловичъ,— потому что вижу, что сегодня я вамъ лѣсъ продамъ, а завтра вы мнѣ на дверь укажете...

— Ну, это ты напрасно! А ты лучше говори дѣло. Я согласенъ. Будь по-твоему.

— Да вы меня спросили-бы прежде, согласенъ-ли я-то, отвѣтилъ Данило Павловичъ.— Теперь я хочу, чтобы вы мнѣ десять тысячъ выложили сначала, а потомъ контрактъ подписали, что не оставите меня раньше года отъ должности, а въ случаѣ отставки заплатите неустойку.

— Да что-жь ты, въ самомъ-то дѣлѣ, ломаешься! вышелъ изъ терпѣнія старикъ и стукнулъ кулакомъ по столу.— Да за одну эту обиду да надруганье...

— Ну, толковать больше нечего: хотите—рѣшайтесь, не хотите—у меня коляска подана ѣхать къ дядѣ. Лѣса вы не увидите, какъ ушей безъ зеркала. Да если я поступлю къ дядѣ управляющимъ, тогда... потягаемся еще, Пахомъ Семеновичъ...

Данило Павловичъ всталъ. Въ эту минуту онъ былъ очень хорошъ: энергія и оживленіе проглядывали во всемъ его существѣ.

Онъ уже не походилъ ни на трактирнаго маркера, ни на армейскаго кутилу.

— Ну, братъ, развелъ руками Гуцинъ, — меня мошенникомъ звали, а ты почище будешь!

Муратовъ сдвинулъ брови и стиснулъ зубы.

— Да ну, хорошо, хорошо! испуганно проговорилъ старикъ.— Я вѣдь знаю, ты не надуешь меня-то, не возьмешь денегъ даромъ съ меня, старичка...

— Полноте Лазаря гѣть, засмѣялся Данило Павловичъ, повидному, угадавъ, что Гуцинъ боится выдать деньги и быть обманутымъ.— Залобить хотите, чтобы не надулъ? Такъ вы то подумайте, что мнѣ за расчетъ обманывать васъ, если я думаю когда-нибудь получить руку Олимпиады Пахомовны? Вотъ скажите вы теперь, что отдаете мнѣ ее безъ приданого, безъ всего,—я съ радостью возьму ее, подписку дамъ, что ничего просить не буду у васъ... Съ меня покуда довольно. Получу десять тысячъ, три-четыре

своихъ найдется, тутъ по сосѣдству имѣнїе за безцѣнокъ продается, куплю его и такъ заживу, что чудо!.. Года два, три пройдетъ—поведутъ желѣзную дорогу и черезъ это имѣнье, тогда цѣна-то ему будетъ вдвое... У меня грошъ изъ рукъ не уйдетъ даромъ.

— Что говорить, что говорить! произнесъ старикъ, глядя на Муратова почти съ любовью.—Только ты еще повремени, Липка отъ твоихъ рукъ не уйдетъ. Ужъ это я вижу... Человѣкъ ты такой, что лучше съ тобой дѣло вести, чѣмъ противъ тебя...

— Чаю хотите? смѣясь, спросилъ Данило Павловичъ.

— Брось! весело махнулъ рукою Гущинъ.—Поѣдемъ во мнѣ, бутылочку откупоримъ хорошаго...

— Что-жь, я и отъ бутылочки не прочь! совсѣмъ повеселѣлъ Данило Павловичъ.—А что, вѣдь досадно, что не удалось поддѣть? похлопалъ онъ по плечу старика.

— Ну, теперь все равно, въ тотъ-же сундукъ потомъ вернется, отвѣтилъ старикъ.—Ужъ, видно, надо будетъ не сегодня, такъ завтра тебя зяткомъ назвать.

Данило Павловичъ обнялъ Пахома Семеновича.

— Не раскаетесь, ей-ей, не раскаетесь! проговорилъ онъ въ волненїи.—Теперь вотъ вы нашъ домъ купили при моей помощи, лѣсъ у брата берете за безцѣнокъ,—будетъ время, коли дружно поїдемъ вмѣстѣ, такъ не только вонъ эта полоска, указалъ онъ въ окно на змѣившуюся насыпь желѣзной дороги,—будетъ наша, а и то все, что за нею тянется, не уйдетъ отъ нашихъ рукъ. Теперь вы вотъ почетный гражданинъ, а будетъ время, что и въ чинахъ будете, и ордена носить станете. Вотъ здѣсь, гдѣ мы теперь стоимъ, можетъ быть, школа вашего имени будетъ. Портретъ вашъ вотъ тутъ въ золотой рамѣ противъ губернаторскаго портрета висѣть будетъ. У васъ вѣдь капиталъ, а у меня родня въ Петербургѣ. Теперь я къ ней не пойду безъ гроша въ карманѣ, а когда можно будетъ къ ней на рысакахъ тысячныхъ прїѣхать да глотку ей виномъ залить, тогда я поѣду, тогда она за насъ будетъ въ министерствахъ горой стоять. Чьи тогда главныя желѣзныя дороги будутъ? Гущинскія! Чьи благотворительныя школы? Гущинскія-же! Кого будутъ просить быть головой въ Чм-стопольѣ? Гущина-же!..

Старикъ покачалъ съ улыбкой головой.

— Ишь ты занесся! пробормоталъ онъ.



— Занесешься, когда такое время настало, что кто кого надуетъ, тотъ на томъ и побѣдетъ, отвѣтилъ Данило Павловичъ. — Теперь вонъ я, мелкій дворяннишка, къ вамъ въ службу пошелъ; будетъ время, что и крупные дворяне будутъ за счастье считать, если вы ихъ къ себѣ въ домъ примете. Теперь только работать нужно и молотомъ, и золотомъ, а тамъ...

Данило Павловичъ размашисто свистнулъ и махнулъ рукою.

— Ну, въ дорогу! проговорилъ онъ и быстро направился съ Гуцинымъ къ дверямъ.

— Ишь ты, ишь ты шальной, старика очерта голову тащить, бормоталъ Гуцинъ, увлекаемый имъ, а по его лицу такъ и разливалась самодовольная, жирная улыбка.

### XXXII.

Среди вавиловскихъ мужиковъ съ нѣкоторыхъ поръ начались странные и тревожные толки.

Одни рассказывали, что молодой баринъ Данило Павловичъ смѣнилъ всѣхъ лѣсныхъ сторожей, которые были набраны изъ вавиловскихъ-же крестьянъ, и приставилъ новыхъ, нанятыхъ со стороны, и что, такимъ образомъ, зимою будетъ трудно производить порубки въ господскомъ лѣсу, на которыя до сихъ поръ „свои“ сторожа смотрѣли сквозь пальцы. Другіе рассказывали, что новые сторожа передали приказъ барина насчетъ того, чтобы мужики не смѣли брать изъ лѣсу даже хвороста безъ спроса и дозволенья, и что дозволеніе будетъ получаться за деньги. Третьи передавали слухи, что „Вавиловская роща“ будетъ рубиться въ началѣ зимы и срубится совсѣмъ, что для осмотра уже пріѣзжалъ молодой баринъ съ Гуцинымъ, покупающимъ рощу. Всѣ эти толки были тѣмъ тревожнѣе, чѣмъ болѣе нуждались вавиловскіе мужики въ лѣсѣ. Своего лѣса у нихъ не было, по-близости чужихъ лѣсовъ тоже не имѣлось, а между тѣмъ къ зимѣ нужно было запастись топливомъ. Говоръ съ каждымъ днемъ становился все сильнѣе и сильнѣе.

— Этакъ хоть ложись да умирай! слышались голоса. — И чего Платонъ Николаевичъ смотреть! Лѣсъ-то, поди, его.

— Какой его! Племяннику отдай! возражали другіе.

— Что-жь, что отдалъ! Отдалъ, такъ и взять можетъ. А это развѣ дѣло—лѣсъ вырубать? Шутка, сколько годовъ стоялъ, всѣ пользовались, а тутъ на-поди!

— Не знаетъ онъ, оттого и молчитъ. Сказать-бы все, такъ и такъ, мы, моль, твой споконъ-вѣку были, безъ обиды жили, а теперь вотъ...

— Что ему до насъ: теперь воля, возражали молодые.

— Это что толковать!

— А все надо-бы попытаться.

— Ну, да, попытайся! Много толку выйдетъ!

— Дормидонту Саввичу нѣшто сообщить? сообразилъ какой-то смѣтливый мужикъ.

— Дормидонта Саввича попросить можно. Онъ вступится. Человѣкъ свой. Антипки Косорылова жена ему племянницей доводится. Тоже у Матвѣя Безпатова дѣвчонку встилъ намедни. Его попросить можно.

— Можно-то можно, да толкъ-то будетъ-ли? Не вступится, тогда хоть волкожь вой. Лѣсу-то вотъ не далъ Платонъ Николаевичъ, обдѣлили, а теперь и вѣдайся, какъ знаешь. Ему что! Продадутъ, срубятъ, а ты тутъ поколѣвай.

— И поколѣнешь. Это что говорить! Какъ есть поколѣнешь.

И отправили мужики депутатомъ къ Дормидонту Саввичу, камердинеру Платона Николаевича, жену Антипки Косорылова, бабу пуструю и на слезы способную. Залилась она слезами передъ Дормидонтомъ Саввичемъ, какъ рѣка разлилась, и долго не могъ унять ее дядя, когда-же унялъ—отерла она слезы и пошла чесать своимъ бойкимъ и размашистымъ языкомъ. Тутъ были пущены ею въ ходъ жалкія слова про „грабителей“, про „душегубцевъ“, про „злодѣевъ“, про „человѣконенавистниковъ“, и только послѣ получасового причитанья разъяснила она толкомъ дядѣ, въ чемъ заключалась ея просьба. Извѣстіе было на-столько тревожно и неожиданно, что самъ всегда важный и хмурый, точно одеревенѣвшій камердинеръ Платона Николаевича взволновался не на шутку. Неизвѣстно, что поразило его болѣе, опасеніе-ли за участь вавилонскихъ мужиковъ, сожалѣніе-ли о предназначенной къ срубкѣ родной „Вавилонской рошѣ“, негодованіе-ли на переходъ этого лѣса въ руки „кабатчика“ Гущина, — Гущина, котораго не любили всѣ мужики и дворовые, помнившіе его еще въ тѣ времена, когда онъ ходилъ

„въ черношѣ тѣлѣ“. Быть можетъ, подвѣствовали на Дормидонта Саввича всѣ эти мотивы разомъ. Онъ далъ слово женѣ Антипки Косорылова, что это все уладится, что Платонъ Николаевичъ не такой человекъ, чтобы съ нимъ шутить, чтобы надъ нимъ издѣваться какому-нибудь Гущину.

— Да онъ у насъ дальше прихожей не хаживалъ, презрительно замѣтилъ Дормидонтъ Саввичъ.—И это вы напрасно страхъ на себя напускаете, потому что баринъ слово скажетъ—и ничего такого не произойдетъ.

Жена Антипки Косорылова ушла совершенно успокоенная. Дормидонтъ-же Саввичъ вечеромъ того-же дня, раздѣвая Платона Николаевича, осторожно замѣтилъ:

— Изъ вавилонской вотчины сегодня приходили сюда. Нехорошіе слухи тамъ ходять.

— Что еще? спросилъ Платонъ Николаевичъ.

— Такъ, должно быть, зря народъ болтаетъ, но опасеніе у нихъ большое.

— Ну?

— Насчетъ нашей „Вавилонской рощи“... Говорять, рубить ее стануть.

— Болваны! Кто это смѣетъ ее рубить безъ моего вѣдома?

— И я то-же-съ говорилъ. Да вѣдь народъ глупъ. Говорять, что новыхъ лѣсниковъ приставили. Данило Павловичъ съ какими-то людьми осматривалъ. Не приказали вавилонскихъ мужиковъ пускать въ рошу.

— Данило Павловичъ? нахмурился Платонъ Николаевичъ.—Онъ-то тутъ при чемъ? Имѣніе Аркадія Павловича.

— Да они-съ не сами-по-себѣ, должно быть, а отъ Гущина.

Платонъ Николаевичъ вскочилъ и зашагалъ по комнатѣ безъ панталонъ и безъ парика.

— Отъ Гущина! отъ Гущина! Онъ какъ смѣетъ тутъ распоряжаться? Подлецъ! кабатчикъ!

— Не знаю-съ, толкуютъ дурни деревенскіе, что ему продають будто-бы нашу рошу.

— Продають? Да кто смѣетъ? Кто смѣетъ?.. Позвать брата Александра Николаевича, чтобы сейчасъ вѣхалъ...

— Ихъ нѣтъ-съ дома!

— Гуляетъ, гуляетъ, а тутъ... Нѣтъ, скажите пожалуйста, ка-

кая исторія. Продають, „Вавиловскую рошу“ продають Гущину... цѣловальнику, мошеннику... тѣфу!.. Завтра, чѣмъ свѣтъ, лошадей... Подлецы, подлецы!.. Я имъ покажу... Данило Павловичъ распоряжается... заодно съ цѣловальникомъ... потомокъ Баскаковыхъ... мой племянникъ...

— Да это все-съ въ вашихъ рукахъ, осмѣлился замѣтить Дормидонтъ Саввичъ.

— Еще-бы, еще-бы!.. Я къ губернатору... Я найду на нихъ управу... А! онъ агитировать противъ меня, подрывать мои интересы... Я упрячу... Я покажу!.. Завтра, на зарѣ, слышишь?.. Ступай!..

Дормидонтъ Саввичъ выпелъ. Платонъ Николаевичъ бросился на постель, скрежеща зубами. Потомъ онъ вскочилъ снова, подошелъ къ письменному столу и сталъ писать:

„Не продавать ни подъ какимъ видомъ „Вавиловскую рошу“...“

Потомъ онъ разорвалъ написанное, началъ писать снова, разорвалъ опять листъ бумаги и проговорилъ:

— Нѣтъ, подождать до завтра...

Затѣмъ, взглянувъ на часы, онъ удивился, что былъ всего двѣнадцатый часъ. Ночь прошла безъ сна и тянулась очень долго. Платону Николаевичу вспоминалось его прошлое; копошилось въ его душѣ сознаніе, что онъ теперь остался совершенно одинъ; срывались съ его языка проклатія всему и всѣмъ. Что-то горькое и безотрадное было во всѣхъ его думахъ и среди этихъ думъ почему-то все яснѣе и яснѣе вырисовывались два образа: кроткое, доброе лицо дѣвушки съ прямодушнымъ взглядомъ и серьезное, суровое, но честное лицо юноши. Старикъ вспоминались Дуня и Максимъ и, казалось, они говорили: „Ты гналъ отъ себя всѣхъ, находи ихъ подлыми, гнусными, низкими, но за что-же ты гналъ насъ?“ Старикъ старался отогнать отъ себя эти образы, старался не видѣть ихъ укоряющихъ взглядовъ, а они неотступно преслѣдовали его и, казалось, шептали: „Ты отогналъ насъ, а между тѣмъ только мы и могли-бы быть твоими утѣшителями теперь“.

— Проклатіе! кричалъ старикъ и, сжимая кулаки, вскакивалъ съ постели. — Ну, что вамъ надо? Что?

Онъ походилъ на помѣшаннаго. Въ шесть часовъ онъ уже позвонилъ и велѣлъ подавать чай.

Дормидонтъ Саввичъ пришелъ его одѣвать и удивился прошедшей въ немъ перемѣнѣ. Его лицо словно опухло и покрылось багровыми пятнами, руки дрожали. Въ восьмомъ часу онъ выѣхалъ изъ дома.

— Въ Вавилово! хриплымъ и удушливымъ голосомъ крикнулъ онъ.— Гони!

Лошади понеслись. Утренній холодный воздухъ и мелкая изморозь нѣсколько освѣжили Платона Николаевича. Утро было туманное, мгlistое, холодное. Баскаковъ прѣхалъ въ Вавилово прямо къ избѣ старосты.

— Народу! крикнулъ онъ вышедшему съ поклонами старику.

Черезъ пять минутъ собралось нѣсколько мужиковъ.

— Гдѣ прежніе сторожа изъ „Вавиловской рощи“? спросилъ Платонъ Николаевичъ, стоя въ коляскѣ.

— Мы батюшка! отозвались два мужика, выходя изъ толпы.

— Вы опять займете старыя мѣста. Ступайте и выгоните вонъ новыхъ лѣсниковъ. Будутъ сопротивляться—гоните силой. Я отвѣчаю!.. Послать къ посреднику и къ исправнику... Сказать, что я приглашаю... Ну, живо!

Платонъ Николаевичъ вышелъ изъ коляски и пошелъ по дорогѣ по направленію къ „Вавиловской рощѣ“. Ему было тяжело идти: его медвѣжья шуба давила ему плечи, его ноги скользили по размокшей отъ дождей дорогѣ. Пройдя съ полверсты, онъ почувствовалъ изнеможеніе и сѣлъ на виднѣвшійся близъ дороги первый попавшійся пенъ. Недалеко отъ него стоялъ давно сброшенный свои послѣдніе листья гигантъ-лѣсъ, мрачно темнѣя подъ облачнымъ небомъ тусклаго осенняго дня.

— Лѣсъ, родовой лѣсъ... Гущину! шепталъ Платонъ Николаевичъ, опустивъ голову и руки и не замѣчая, что его медвѣжья шуба распахнулась и падала полами на сырую землю. — И хорошъ племянникъ!.. Да, впрочемъ, всё, всё хороши!.. Христопродавцы, Іуды предатели... Въ глаза кланяются, ползаютъ у ногъ, а за глаза... Я имъ покажу... Гущину... холопу... цѣловальнику!..

Онъ бормоталъ, не понимая, что вокругъ него происходитъ, и даже не обратилъ вниманія, что по вязкой и мокрой дорогѣ уже неслись по направленію къ нему со стороны лѣса бѣговые дрожки. На дрожкахъ сидѣли Гущинъ и Данило Павловичъ, забрызганные съ ногъ до головы липкою грязью и необращавшіе вниманія

на то, что имъ въ лицо легѣли изъ-подъ ногъ коня комки нерой земли и глины. Они въ это утро надѣялись сдѣлать условіе съ крестьянами насчетъ рубки лѣса и по дорогѣ узнали о происшедшемъ. Гуцинъ даже нѣсколько струсилъ; смѣлый до наглости со всѣми людьми, онъ все еще хранилъ въ душѣ что-то въ родѣ невольнаго страха передъ своимъ бывшимъ бариномъ. Данило Павловичъ, напротивъ того, ощущалъ что-то въ родѣ злораднаго наслажденія, узнавъ, что до дяди, до этой грозы ихъ семьи, дошли слухи о продажѣ „Вавилонской роши“ и что теперь ему, Данилѣ Павловичу, приходится стать лицомъ къ лицу съ старымъ самодуromъ и полюбоваться его безсильной злобой. Данило Павловичъ никогда не вдавался въ психологическія тонкости и не могъ себѣ представить, на-сколько сильно повліяетъ на его дядю эта новость. Онъ только зналъ, что она „взбѣситъ старикашку“. Зажѣтивъ Платона Николаевича, Гуцинъ разомъ остановилъ лошадь и Данило Павловичъ быстро соскочилъ съ дрожекъ.

— Что это вы дѣлаете? Мужики тутъ по вашей милости безчинствуютъ! крикнулъ Данило Павловичъ, шагая по грязи къ дядѣ.

— Безчинствуютъ?.. по моей милости? хрипло закричалъ Платонъ Николаевичъ, тяжело поднимаясь съ мѣста.—А ты... а ты какъ смѣешь распоряжаться... въ чужомъ лѣсу...

— Я служу у Пахома Семеновича Гуцина и лѣсъ имъ купленъ, отвѣтилъ Данило Павловичъ.

— Купленъ? Врешь, негодяй! Кто смѣлъ продать? Кто?

— Я продалъ по порученію брата, отчетливо отвѣтилъ Данило Павловичъ.

Платонъ Николаевичъ широко открылъ глаза и словно остолбенѣлъ.

— Ма-влякъ... ба-ры-шникъ! наконецъ хрипло закричалъ онъ и съ сжатыми кулаками хотѣлъ сдѣлать шагъ къ племяннику, но запутался въ шубѣ и остуился.— Не дворянинъ... не дворянинъ... а... барышникъ... ба-ры-шникъ! прохрипѣлъ онъ, падая на грязную землю.

— Эй, кто-нибудь! закричалъ Данило Павловичъ.— За колеской сбѣгайте! обратился онъ къ сбѣжавшемуся народу.— Въ городъ, въ Семинарскій переулокъ, въ домъ Матрены Бузьминичны Васильевой скачите, тамъ Александръ Николаевичъ... Или погодите, я напишу.

Онъ вытащилъ изъ кармана записную книжку, выдралъ изъ нея листокъ и, поставивъ ногу на тотъ самый пенъ, на которомъ только-что сидѣлъ Платонъ Николаевичъ, положилъ листокъ на колѣно и написалъ:

„Дядя! съ Платономъ Николаичемъ сдѣлался ударъ или параличъ, не знаю. Спѣшите, чтобы не обворовали дома. Данило“.

Онъ свернулъ записку, передалъ ее одному изъ мужиковъ и обернулся къ Гущину:

— Я ему дамъ наши дрожки, вамъ все равно придется быть здѣсь долго, а я отвезу его въ коляскѣ, указалъ онъ на дядю.

Гущинъ вивнулъ головою, хмуро смотря изподлобья на лежавшаго на землѣ у его ногъ бывшего его помѣщика.

### XXXIII.

Сковало землю морозомъ; выпалъ первый снѣгъ. По блѣдно-голубому небу лѣниво бродятъ волокнистыя бѣлыя облака съ розовымъ отливомъ. Солнце свѣтитъ довольно ярко, но не грѣетъ, озаряя опаловую даль поля, и точно брилліанты блестятъ снѣжинки на голыхъ вѣтвяхъ деревьевъ. Гигантскій лѣсъ спитъ могучимъ зимнимъ сномъ, но онъ скоро проснется, проснется для того, чтобы уже заснуть-замереть на-вѣки.

Онъ назначенъ на срубъ.

Долго не соглашались вавилонскіе мужички идти рубить свой родной лѣсъ, но не потому, что онъ ихъ родной, а потому, что на деревнѣ ходили толки, что не сегодня, такъ завтра наѣдутъ власти и накроютъ Гущина за его попытку рубить родовой лѣсъ стараго барина Платона Николаевича. Дормидонтъ Саввичъ черезъ жену Антипки Косорылова сильно поддерживалъ эти слухи, говоря, что какъ только полегчаетъ старому барину, такъ тотчасъ-же Гущина засадятъ за самоуправство въ теплое мѣсто. Но старый баринъ не вставалъ, а Гущинъ объявилъ, что если вавилонскіе мужики не хотятъ рубить лѣсъ, то онъ нагонитъ свой народъ. Вавилонскіе мужики знали, что за народъ у Гущина. Недаромъ въ верстѣ отъ нихъ прокладывалось Гущинимъ полотно желѣзной дороги. Соображали и то, что лѣсъ все равно вырубить и останутся они безъ топлива, что лучше хотъ заработать

деньги, а то и безъ лѣса, и безъ денегъ придется остаться, да еще терпѣть наплывъ гущинскаго народа. Ну, а если потянуть къ отвѣту за рубку чужого лѣса? Что-жь, они не виноваты, ихъ наняли.

— Наняли! А если-бъ человѣка убить, либо чужой домъ разнести наняли, такъ развѣ за это похвалили-бъ?

— Извѣстно, хвалить тутъ не за что.

— То-то!

Опять шли колебанія, толки, а Гущинъ подсымалъ прикащика, выставлялъ вино, давалъ задатки.

— Скоро на твоей улицѣ празднень, шутилъ гущинскій прикащикъ, сидя въ комнатѣ Потапа Анисимовича Крючкова, вавиловскаго кабатчика.

— А что? спрашивалъ тотъ.

— Да какъ-же: вотъ сговоримся, задатки дадимъ, пить больше начнутъ. Нонче зима у тебя будетъ прибыльная. Около печки не будутъ грѣться, такъ виномъ согрѣются.

— А слышалъ вашъ-то насчетъ старика-то?

— Это насчетъ какого?

— Да насчетъ Платона Николаевича.

— А что?

— Скончался сегодня, говорятъ, въ ночь...

— Что ты? обрадовался прикащикъ. — Ну, и царство небесное... Руки развязалъ.

— Это такъ... Народъ-то глупъ... Порядковъ еще не знаетъ... Все, думаетъ, по-старому...

— Ну, значитъ, благословясь, теперь и приступимъ.

И, точно, приступили.

Очнулся сонный лѣсъ и застоналъ, затрепалъ каждымъ стволомъ, каждою вѣткою. Раздались въ немъ тяжелые шаги мужиковъ по скрипучему снѣгу. Загремѣли въ немъ топоры. Закряхтѣли рабочія груди. Здѣсь скрипнетъ разсѣвшаяся балка, тамъ послышится грузный гулъ отъ ея паденія, какъ раскатъ далекаго грома. Повсюду идетъ переключка рабочихъ, въ воздухѣ виситъ размашистая и неудержимая ругань. Ругаются за то, что пробраться среди деревьевъ спутавшихся не могутъ, ругаются за то, что топоръ куда-то засунули, ругаются за то, что ногу свалившимся деревомъ придавило, ругаются зря и похода, безъ злобы



и ради шутки, придумывая такія родственныя связи матерей и сыновей, что только приходится удивляться изобрѣтательности русскаго ума. А морозъ все крѣпчаетъ; въ лѣсу холодно, въ избахъ холодно, — теплѣе всего въ кабагѣ Потапа Анисимовича Брючкова, и тамъ-то пропивается почти все, что зарабатывается неустаннымъ трудомъ въ лѣсу...

— Нынче-то имъ и безъ дровъ тепло-бы было, если-бъ и не воровали дровъ: вашимъ топливомъ согрѣваются, смѣялся гуцинскій прикащикъ Потапу Анисимовичу. — А каково-то послѣ будетъ, когда и лѣсъ вырубятъ, и заработокъ кончится...

— Земля-то не влиномъ сошлась, на сторону пойдутъ, замѣчалъ Потапъ Анисимовичъ. — Имъ что!.. Мнѣ плохо будетъ, какъ въ деревнѣ однѣ бабы останутся... Ну, да я послѣдній годъ здѣсь этимъ дѣломъ занимаюсь...

— А что?

— Въ городъ тянетъ...

А лѣсъ все рѣдѣетъ и рѣдѣетъ по окраинѣ, падаютъ его вѣковые гиганты, служившіе защитой для Вавилова отъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣтровъ. Падаютъ они, а надъ ними съ неистовымъ карканьемъ кружатся стаями вороны, опалѣвшія при видѣ того, какъ разрушаются созданные природой гигантскіе пьедесталы ихъ воздушныхъ построекъ, ихъ дворцовъ и замковъ. Падаютъ гиганты и при каждомъ новомъ паденіи взвиваются новыя и новыя тучи мрачныхъ птицъ, оглашая воздухъ пронзительными, тревожными криками.

Но вотъ по скованной морозомъ дорогѣ несутся легкіе бѣговые санки съ посеребренной рѣшеткой вмѣсто спинки. Сидитъ въ нихъ молодая, краснощекая, здоровая дѣвушка, вся утонувшая въ соболяхъ, вся занесенная снѣжною пылью. Рядомъ съ нею помѣщается молодой человекъ, въ чуйкѣ съ собольимъ воротникомъ, подпоясанной по-вупечески, и въ собольей шапкѣ, низко опускающейся на густыя брови; его лицо нѣсколько татарскаго типа, съ только-что запущенными, кудрявящимися бородой и усами.

— Ну, ребята, приналягте, приналягте! Олимпиада Пахомовна хочетъ посмотреть, какъ рубятъ лѣсъ! говоритъ онъ рабочимъ, сдерживая лошадь.

Рабочіе принимаютъ дружныя за работу. Лошадь прядетъ уха-

ми, слыша звонкій гулъ топоровъ и крики носящихся тучами птицъ.

— Не дернуть-бы, Даня, Галчонокъ, замѣчаетъ дѣвушка, указывая на лошадь.

— У меня, Липа, не дернетъ! смѣется молодой человѣкъ, показывая глазами на свои сильныя руки, на которыя намотаны возжи.

Она смѣется и успокоивается, вполне увѣренная, что эти желѣзные руки сдержатъ какого угодно коня. Она любитъся, какъ рубятъ для ея потѣхи самое толстое, самое крѣпкое дерево. Вотъ оно подрубилось, вотъ раздались крики рабочихъ, вотъ послышался трескъ, оно пошатнулось и начало падать. Въ воздухѣ сильнѣе пронесся стонъ заматавшихся птицъ. Лошадь замотала въ тревогѣ головой и попробовала рвануться и шарахнуться въ сторону, но вдругъ остановилась. На бѣлый снѣгъ вмѣстѣ съ пѣною упало нѣскольکو капель ея крови. Она стала, какъ вкопанная, и только легкая нервная дрожь пробѣгала по ея стройному тѣлу.

— Спасибо, ребята! Вотъ вамъ!

Молодой человѣкъ бросилъ въ шапку одного изъ рабочихъ деньги.

Раздалось:

— Благодаримъ покорно! Жѣлаемъ много лѣтъ здравствовать!

Кто-то даже крикнулъ:

— Ура!

Вѣгловые санки уже неслись обратно.

— Ты довольна? спросилъ молодой человѣкъ.

— Ахъ, какъ это весело, когда лѣсъ рубятъ, Даня! отвѣтила дѣвушка.

— Это вѣдь, Липа, подмошки для нашего счастья, проговорилъ онъ и, взявъ возжи въ одну руку, обнялъ ее и звонко поцѣловалъ.

— Что ты!.. Увидать!

— Пусть смотрять!

Она прижалась поближе къ нему.

— Ты очень меня любишь? спросила она.

— Погоди, узнаешь, какъ выйдешь замужь, засмѣялся онъ и, снова взявъ возжи въ обѣ руки, ухарски понесся по дорогѣ въ облакахъ снѣжной пыли, обдававшей свѣжестью эти два молодые лица.

Сколько въ нихъ было въ эту минуту животнаго счастья, животнаго здоровья!

И опять опустѣла дорога передъ лѣсомъ. Замолкли на-время топоры пошабавшихъ рабочихъ. Утихли немного птицы и только на какой-то кочкѣ, точно одѣтый въ глубокой трауръ, весь черный, сидѣлъ большой воронъ, смотря своими черными и умными глазами хищника на груды поваленныхъ деревьевъ, на блестящія свѣжіе пни, на простертые съ земли кверху вѣтви, точно молившія о помощи, и, казалось, размышлялъ о томъ, что ему дѣлать теперь, когда погибли всѣ старыя гнѣзда? Вить новыя, но гдѣ же, когда палъ и завѣтный родимый лѣсъ?

А. Михайловъ.

## НЕГРАМОТНЫЙ.

(Изъ Владислава Сырокомли.)

(Посвящается *Евгенію Александровичу Алексьеву.*)

### I.

Не завидую на свѣтъ никому и никогда,  
Только мнѣ на васъ завидно, грамотѣи-господа!  
Деревенскому сироткѣ, сжалась, сдѣлайте добро:  
Дайте листъ бумаги бѣлой да гусиное перо,  
И писать меня учите хорошенько, поскорѣй,  
Чтобъ перо мое летало яркой молніи быстрѣй,  
Чтобы могъ я на бумагѣ рассказать вамъ обо всемъ:  
Какъ трудимся, какъ страдаемъ, какъ тяжелый крестъ несемъ.  
Всѣ мечты мои, всѣ думы описаль-бы на листѣ,  
Цѣлый міръ изобразиль-бы въ безпредѣльной красотѣ;  
Но теперь мои мечтанья исчезаютъ безъ слѣда:  
Я—неграмотный, я—неучъ... Поучите, господа!

### II.

Описаль-бы я сначала, что мнѣ снится... Эти сны  
Такъ роскошны, такъ чудесны!.. Вотъ, прекраснѣе весны,  
Молодая поселанка жнетъ безъ устали серпомъ;  
На нее взираетъ ангель въ небѣ ясномъ, голубомъ...  
Вѣрно жницу онъ жалѣетъ? И, забывъ гнѣздо свое,  
Вѣрно, жаворонокъ звонкій распѣваетъ для нея?..  
Описаль-бы я, какъ зорька въ ночьку лѣтнюю горитъ,  
Какъ, журча между камнями, что-то рѣчка говоритъ,  
Какъ, на нивѣ розь, волнуясь, съ вѣтромъ шепчется тайкомъ,  
Какъ нашъ воловошь церковный ударяетъ языкомъ.  
Онъ молиться заставляетъ. Я молюсь; но вотъ бѣда:  
Я—неграмотный, я—неучъ... Поучите, господа!

## III.

Благородное искусство—записать свои слова,  
 Все, что думаетъ, гадаетъ, замышляетъ голова,  
 Все, что въ сердцѣ накопило, и при помощи пера  
 Возвѣщать святую правду и величіе добра.  
 Хорошо, отраднo также на язвительную рѣчь  
 Отвѣчать перомъ: съумѣетъ поразить оно какъ мечъ.  
 Часто слышу я насмѣшки; но ученому врагу,  
 Хоть кипитъ мое сердечко, отвѣчать я не могу,—  
 И напрасно я страдаю, и волнуюсь, и дрожу,  
 И бессмысленно зигзаги на бумагѣ вывожу:  
 Надо мной смѣются люди, я краснѣю отъ стыда..  
 Я—неграмотный, я—неучъ... Поучите, господа!

## IV.

Хорошо быть грамотѣемъ. Грамотѣи—всѣ жида,  
 Грамотѣи—людъ чиновный, наполняющій суды.  
 Вотъ они и пишутъ дружно, на землѣ имъ—свѣтлый рай,  
 А отъ этого писанья ты ложись и умирай!  
 Дайте мнѣ перо скорѣе, научите имъ владѣть,  
 За народъ писать я буду, для него хочу радѣть.  
 Онъ найдетъ во мнѣ защиту отъ злодѣя и глушца,—  
 И евангеліе спилу я съ первой буквы до конца...  
 Охъ ты, гусь мой бѣлокрылый! я тебѣ не дѣлалъ зла,  
 Я кормилъ тебя: за это дай перо мнѣ изъ крыла,  
 Дай мнѣ крылья—оба, оба!.. Полѣчу на нихъ туда,  
 Гдѣ всѣ люди—грамотѣи: поучите, господа!

Леонидъ Трефоловъ.

# ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

Ж.-Ж. РУССО.

(Окончаніе.)

## XI.

Тихая, поэтическая жизнь Руссо въ Мотье продолжалась недолго, и ботаническія экскурсіи не могли заставить его забыть все остальное. Обвиненія, сыпавшіяся на него со всѣхъ сторонъ, и интриги враговъ не давали ему покоя. Онъ считалъ себя благодѣтелемъ людей и, видя, что люди не понимаютъ его, хотѣлъ во что-бы то ни стало убѣдить ихъ въ своей справедливости. Когда женеvскій совѣтъ отказался передать дѣло Руссо на обсужденіе общаго собранія гражданъ, Руссо воспользовался этимъ случаемъ, чтобы снова обратиться къ женеvцамъ съ защитительною рѣчью, связавъ свой личный вопросъ съ общимъ вопросомъ о нарушеніи женеvскимъ совѣтомъ принциповъ конституціи. Указывая всѣ опасности, вытекающія изъ самовластия женеvскаго совѣта, Руссо клеймилъ женеvцевъ названіемъ рабовъ, доказывалъ имъ, что они губятъ свое отечество, и подробно разбиралъ противоконституціонный образъ дѣйствій ихъ кантональнаго совѣта. Но главнымъ содержаніемъ его „Писемъ съ Горы“ была самозащита.

„Извѣстно, пишетъ онъ женеvцамъ,—какъ жестоко и постыдно поступили вы со мною“. Соглашаясь, что есть случаи, въ которыхъ необходимо истреблять вредныя сочиненія и преслѣдовать ихъ авторовъ, Руссо замѣчаетъ, что при этомъ необходи-

мо строгое законное слѣдствіе, и невозможно дѣйствовать такъ, какъ поступилъ съ нимъ женеvскій магистратъ. Его обвиняли, во-первыхъ, въ томъ, что его сочиненія направлены противъ религіи, но магистратъ не имѣлъ даже права поднимать этого вопроса, подлежащаго разсмотрѣнію консисторіи. Что-же касается сущности обвиненія, то оно клевета. „Предположимъ, что „Вѣроисповѣданіе савойскаго викарія“ вошло-бы въ силу въ какомъ-нибудь уголѣ христіанскаго міра, — каковы были-бы результаты? Никакихъ измѣненій въ культѣ и большія перемѣны въ душахъ, — вѣра безъ раздоровъ, ревность безъ фанатизма, раціональность безъ атеизма, терпимость философа и любовь христіанина“. Таковы хорошія послѣдствія этого ученія; дурныя-же можно выразить въ двухъ словахъ: оно не будетъ органомъ челоvческой злобы и орудіемъ клерикальнаго властолюбія и деспотизма. „Можно-ли послѣ этого считать его вреднымъ для общества и нехристіанскимъ — предоставляется судить каждому безпристрастному челоvку“. Противники Руссо обвиняли его въ нападеніи на государственную религію женеvской республики. Но въ Женеvѣ — протестантство, основанное на принципѣ свободнаго изслѣдованія, и онъ только слѣдовалъ этому основному началу государственной религіи. „Если мнѣ докажутъ, что я долженъ покориться чужому авторитету, то я завтра-же сдѣлаюсь католикомъ, и люди искренніе и логичные должны послѣдовать моему примѣру“. Затѣмъ Руссо очень подробно говоритъ о христіанствѣ, религіи вообще, и излагаетъ принципы своей деистической системы. Наконецъ, онъ указываетъ на то, что между тѣмъ, какъ свободно обращаются въ публикѣ сочиненія Вольтера, книги Руссо сожигаются совѣтомъ. „Господа члены совѣта видятся съ г. Вольтеромъ и какъ-же г. Вольтеръ не внушить имъ духа терпимости, который онъ постоянно проповѣдуетъ и въ которомъ иногда самъ нуждается?“

Въ церковномъ спорѣ Руссо не могъ побить своихъ противниковъ. Обѣ стороны стояли на различныхъ точкахъ зрѣнія, — одна держалась опредѣленныхъ формъ и традицій, другая развивала новую доктрину. Противники Руссо, какъ протестанты, такъ и католики, очень хорошо понимали, въ чемъ и до какой степени онъ враждебенъ имъ; Руссо-же старался доказать, что эта враждебность только кажущаяся, что его доктрина преслѣдуетъ тѣ-же

цѣли, какія имѣлись въ виду основателями ихъ доктринъ. Развивая свои идеи, онъ думалъ примирить ихъ съ ученіемъ противниковъ, идеализируя его, но тѣмъ самымъ еще болѣе выяснялъ, какая пропасть раздѣляла обѣ стороны, изъ которыхъ одна защищала *statu quo*, другая создавала новое ученіе. Но на политической почвѣ Руссо одержалъ блистательную побѣду. Женевскій совѣтъ обвинялъ его въ посягательствѣ на основы государства; Руссо доказалъ, что его „Общественный договоръ“ составленъ по образцу женевского государства! „Если-бы я еще выдумалъ какую-нибудь систему, то можно было-бы отвергать ее, какъ химеру, отнеся къ разряду „Республики“ Платона, „Утопіи“ и др. подобныхъ сочиненій. Но я только изобразилъ дѣйствительно существующій порядокъ и желалъ выставить его въ лучшемъ свѣтѣ. Моя книга служить доказательствомъ противъ покушенія, которое указываютъ въ ней“. „Общественный договоръ“ не отвергаетъ никакой формы правленія; онъ выставляетъ и преимущества монархій. Но за что-же его преслѣдовать, особенно въ Женевѣ? „Развѣ въ какой-нибудь монархіи осужденъ Гоббсъ за то, что его принципы непримиримы съ республикой? Развѣ тамъ, гдѣ царствуютъ короли, преслѣдуютъ тѣхъ писателей, которые осуждаютъ и порицаютъ республику?“ А Руссо преслѣдуютъ за то, что онъ взялъ за образецъ Женеву! „Женевскій магистратъ бросился защищать другія государственныя формы противъ своей собственной! Онъ наказываетъ гражданина за то, что послѣдній предпочитаетъ законы своего отечества всѣмъ другимъ!.. Во всей остальной Европѣ никому не пришло въ голову преслѣдовать мою книгу, ни въ той странѣ, гдѣ она напечатана, ни во Франціи, гдѣ власти такъ строги къ подобнымъ вещамъ; книга обращается свободно и безпрепятственно. „Договоръ“ нигдѣ не сожженъ, кромѣ Женевы, гдѣ онъ не былъ напечатанъ; только женевское правительство нашло въ немъ разрушительные принципы. Повѣрно, оно не сказало, какіе эти принципы, и, я думаю, хорошо сдѣлало“. Разсматривая далѣе поведение женевского магистрата, Руссо доказалъ, что не авторъ „Договора“, а самъ магистратъ посягаетъ на безопасность государства и подкапываетъ его основы.

„Письма съ Горы“—одно изъ самыхъ блестящихъ произведеній Руссо; это самая страстная и сокрушительная полемика про-



тивъ разныхъ непризванныхъ блюстителей Сіона. Но авторъ не только не достигъ ими того, чего желалъ, не только не примирилъ съ собою своихъ враговъ, но еще болѣе раздражилъ ихъ. Протестанты, католики, женевская аристократія, Вольтеръ—всѣ поднялись противъ него. Книгу преслѣдовали не только во Франціи, но даже въ Голландіи. „Я, писалъ Руссо,—долженъ сообщить своимъ добрымъ друзьямъ хорошія вѣсти. Двѣ недѣли назадъ мою книгу сожгли въ Гаагѣ; сегодня будутъ жечь ее въ Женевѣ; есть надежда, что ее сожгутъ еще гдѣ-нибудь. При теперешнихъ холодахъ это очень хорошо для тепла... Сколько иллюминацій въ честь меня!“ Вѣсти о сожженіяхъ не оправдались, но книгу преслѣдовали съ ожесточеніемъ. Литературные и личные враги Руссо воспользовались случаемъ, чтобы осыпать его всевозможною бранью. Вольтеръ не находилъ словъ для униженія этого „клеветника“, презрѣннаго мошенника“, „чудовища, которое слѣдуетъ повѣсить“. Въ анонимномъ пасквилѣ, „Мысли Гражданина“, Вольтеръ выставилъ Руссо „измѣнникомъ“, „безбожникомъ“, „бунтовщикомъ“. „Что-же это за человѣкъ, выступающій съ такими преступными притязаніями? Сочинитель одной оперы и двухъ освященныхъ комедій, человѣкъ, который до сихъ поръ еще носитъ на своемъ лицѣ печать разврата, и, одѣтый шутомъ, шатается изъ деревни въ деревню, таская за собой несчастную, мать которой онъ погубилъ, а дѣтей ея подбрасывалъ къ дверямъ воспитательнаго дома“. Вольтеръ даже называетъ Руссо просто дуракомъ, возмечтавшимъ, что женевцы начнутъ междоусобную войну изъ-за его „Эмиля“. „Но все-таки ему нужно дать понять, что если относительно безстыднаго писака романовъ можно ограничиться легкимъ наказаніемъ, то обыкновенный бунтовщикъ подлежитъ уголовной казни“. Руссо снабдилъ этотъ пасквиль своими примѣчаніями и отправилъ къ своему парижскому издателю для напечатанія и распространенія. Между тѣмъ въ Женевѣ партія, утомленная враждой, начавшей изъ-за Руссо, склонялась къ примиренію, чему онъ очень радовался. Но когда это примиреніе состоялось, а объ удовлетвореніи Руссо все-таки не было рѣчи, онъ съ горечью заявилъ, что ему остается только прекратить всякія сношенія съ людьми. „Вышній міръ и дѣла его, въ которыхъ онъ ничего не можетъ измѣнить, отнынѣ не занимаютъ его. Онъ равнодушенъ ко все-

ну, что ни дѣлается тамъ; въ особенноти онъ ничего не хочетъ слышать о Женевѣ. Онъ желаетъ избавиться отъ новыхъ страданій и воспользоваться хотя нѣсколькими минутами покоя на закатѣ печальныхъ дней своихъ“.

Но покоя не было. Едва Руссо отдѣлался отъ женецевъ, какъ противъ него поднялось вершательское духовенство и потребовало его изгнанія. Чиновники прусскаго короля на первый разъ защитили его, самъ Фридрихъ былъ за него, но пасторы не унимались и волновали общество, которое и то косо смотрѣло на него, какъ на протеже несправедливыхъ пруссаковъ, какъ на еретика и челоуѣка, оскорблявшаго обывателей своимъ высокоуміемъ. Раздраженіе усиливалось и крайне безпокоило Руссо. „Я буду изгнанъ отсюда, писалъ онъ Мульту,—и я не знаю, гдѣ искать пристанища на землѣ. Посмотрите, милнй Мульту, на судьбу мою: величайшіе злодѣи находятъ себѣ прибѣжище, и только вашъ другъ не имѣетъ его“. Онъ жалуется, что не приходитъ смерть, что „природа медлитъ извлечь его изъ столь затруднительнаго положенія“. Онъ не можетъ слышать о своихъ сочиненіяхъ, навлекшихъ на него столько несчастій. „Я не могу безъ содраганія видѣть этихъ книгъ, и все, чего я еще желаю въ этомъ мірѣ, ограничивается клочкомъ земли, на которомъ-бы я могъ спокойно умереть“. Консисторія протестантскихъ пасторовъ рѣшила осудить Руссо, какъ еретика, и потребовала его къ отвѣту. Руссо не устоялъ противъ искушенія явиться передъ собраніемъ деревенскихъ поповъ и разбить въ пухъ и прахъ этихъ „невѣжественныхъ стражей Сіона“. Онъ написалъ рѣчь и началъ твердить ее наизусть. „Вечеромъ я уже выучилъ свою рѣчь; я читалъ ее безъ ошибокъ и постоянно повторялъ ночью. Но утромъ я уже не зналъ ея; я запинаясь на каждомъ словѣ; я воображалъ себя въ достопочтенномъ собраніи, безпокоился, голова моя шла кругомъ“. Руссо обратился къ консисторіи съ коротенькимъ письмомъ; отлученіе его было отсрочено, а прусское правительство объявило его излѣтымъ изъ-подъ власти консисторіи. Но пасторы начали проповѣдывать о немъ съ кафедръ и другими способами возбуждать народъ, чему не мало способствовала также Тереза своими постоянными ссорами съ сосѣдями. Дѣло дошло до того, что Руссо невозможно было показываться на улицѣ; его оспали бранью, насмѣшками, угро-

зани; наконецъ, начали нападать на его домъ. Однажды во время ярмарки подгулявшіе обыватели атаковали квартиру философа съ такимъ ожесточеніемъ, что онъ едва вышелъ цѣлымъ изъ этой передраги. „Около полуночи я услышалъ сильный шумъ въ галереѣ, примыкающей къ задней стѣнѣ дома. Градъ камней, бросаемыхъ въ окна и двери, выходящія на эту галерею, падалъ съ большимъ трескомъ. Я вскочилъ съ постели, и только-что хотѣлъ бѣжать въ кухню, какъ камень, брошенный сильною рукою въ окно, упалъ около моей кровати. Я бросился въ кухню, гдѣ была дрожавшая отъ страха Тереза. Мы стали къ стѣнѣ, чтобы разсудить, что дѣлать. Кричать о помощи было опасно. Къ счастью, служанка стараго господина, жившаго подъ нами, услышала шумъ, вскочила и отправилась къ жившему подлѣ кастеляну. Онъ тотчасъ-же явился въ сопровожденіи стражи, которая, по случаю ярмарки, дѣлала обходъ и очутилась на этотъ разъ подъ рукою“. Нападавшіе разбѣжались. Послѣ этого случая оставаться въ Мотье было не безопасно, и Руссо въ сентябрѣ 1765 г. переселился на прекрасный островокъ Св. Петра, на Вильскомъ озерѣ. Островъ былъ почти необитаемъ; онъ принадлежалъ бернскому кантону, но бернскія власти обѣщались не тревожить Руссо.

„Берега Вильскаго озера болѣе дики и романтичны, чѣмъ берега Женевскаго, потому что скалы и кустарники подходятъ къ самой водѣ; но тѣмъ не менѣе они прелестны. Такъ-какъ къ этимъ счастливымъ гаванямъ не проложено никакихъ удобныхъ дорогъ, то мѣстность мало посѣщается путешественниками. Тѣмъ привлекательнѣе она для отшельниковъ, любящихъ восторгаться красотами природы и жить въ мирной тишинѣ, ненарушаемой другими звуками, кромѣ криковъ орла, отрывистаго чирканья пташекъ и шума горныхъ потоковъ, низвергающихся съ высотъ. Посреди этого прекраснаго и почти круглаго бассейна находятся два островка. Одинъ, обитаемый и воздѣланный, имѣетъ полчаса ходьбы въ окружности; другой, шагахъ въ 500 къ югу, гораздо меньше. Пустынный и голый, онъ между своими песчаными холмами имѣетъ только луга да кой-какія растенія. Но за то прекраснѣе и плодороднѣе первый островъ. Онъ представляетъ на своей холмистой, очень разнообразной поверхности множество картинъ и видовъ, составляющихъ тѣмъ болѣе

интересное цѣлое, что отдѣльные пункты выступают не всё вдругъ. Несмотря на свое ограниченное пространство, онъ производитъ все, необходимое для жизни. Тутъ и пашни, и виноградники, и рощицы, и фруктовые сады, и сочные луга, осѣняемые деревьями и окруженные кустарниками всякаго рода. Особеннымъ украшеніемъ ему служить высокая тераса, усаженная деревьями въ два ряда и открывающая роскошный видъ на противоположный берегъ, гдѣ взоръ падаетъ постоянно на многочисленные городки и деревни, расположенные при подножии горной цѣпи. Посреди острова стоитъ широкая галерея, въ которой во время сбора винограда приозерные жители собираются танцевать“. На всемъ островѣ былъ только одинъ домъ, въ которомъ жилъ смотритель съ своимъ семействомъ. Руссо съ Терезой поселился у этихъ добрыхъ людей. Руссо проводилъ цѣлыя дни въ лѣсу или на озерѣ, ботанизируя и наслаждаясь природой. Онъ даже не распаковывалъ своихъ книгъ и письменныхъ принадлежностей; онъ совершенно погрузился въ какое-то блаженное, созерцательное состояніе. „Минута, въ которую я отталкивалъ свой челнокъ отъ берега, заставляла меня дрожать отъ радости. Я не въ состояніи ни передать, ни выяснить причины этого внутренняго волненія. Можетъ быть, оно вытекало изъ счастливаго сознанія, что въ этотъ моментъ я нахожусь внѣ сферы злыхъ людей. Отплывъ отъ берега, я лежалъ въ челнокѣ на спину и, глядя въ небо, носимый теченіемъ, по цѣлымъ часамъ предавался сумасброднымъ, но дорогимъ мечтамъ. Часто только закатъ солнца напоминалъ мнѣ, что время возвращаться, и, поднявшись, я видѣлъ, что островъ такъ далеко, что мнѣ нужно грести изо всѣхъ силъ, чтобы поспѣть домой до наступленія ночи“. Въ этомъ счастливомъ уединеніи Руссо увлекся только одной письменной работой. Корсиканцы, освободившіеся отъ генуэзскаго владычества, просили его составить для нихъ конституцію, и Руссо прельстила эта роль новаго Солона. Онъ составилъ „Проектъ конституціи Корсики“, но политическія обстоятельства помѣшали его осуществленію. Въ этомъ проектѣ онъ прилагалъ къ Корсикѣ уже извѣстныя читателямъ принципы „Общественнаго договора“.

Счастливая жизнь Руссо на островѣ продолжалась только мѣсяць. 17 октября онъ неожиданно получилъ приказаніе берн-

скаго правительства немедленно оставить островъ и территорію республики. Онъ просилъ отсрочки до весны, но, не получивъ еще отвѣта изъ Берна, послалъ туда новую просьбу. „Принявъ во вниманіе мое состояніе, мой возрастъ, мои силы, я пашелъ, что они не дозволяютъ мнѣ въ этотъ моментъ, не приготовившись, пуститься въ далекую и трудную дорогу, тащиться по холоднымъ мѣстностямъ и искать вдали убѣжища въ такое время года, когда мои болѣзни едва позволяютъ мнѣ выходить изъ комнаты“. Вблизи-же нѣтъ для него никакого приставища. Изъ такой крайности онъ видитъ только одинъ выходъ: онъ проситъ берпскій сенатъ дозволить ему провести остатокъ дней своихъ въ какомъ-нибудь замкѣ или другомъ подобномъ мѣстѣ въ качествѣ *арестанта*. Онъ обязывается жить на свой счетъ, отказывается отъ бумаги, пера, всякихъ сношеній съ людьми и проситъ только оставить ему нѣсколько книгъ да право гулять по временамъ въ саду. „Не подумайте, что моя просьба — результатъ отчаянія. Въ настоящее время я очень спокоенъ; я имѣлъ время здраво обсудить дѣло и рѣшился только послѣ основательной оцѣнки своего состоянія“. Просьба необычайна, но его положеніе еще болѣе необыкновенно. Онъ не можетъ болѣе переносить такой тревожной жизни; онъ жаждетъ покоя и можетъ найти его только въ тюрьмѣ. — Отвѣтомъ на эту просьбу было категорическое предписаніе выѣхать въ 24 часа.

Оставивъ на островѣ Терезу съ книгами и пожитками, Руссо потащился въ Берлинъ. Въ Билѣ нѣсколько молодыхъ людей такъ трогательно и убѣдительно просили его остаться у нихъ, что Руссо согласился. Но на завтра-же оказалось, что горожане совершенно вооружены противъ него, а начальство намѣрено выслать его. Руссо оставилъ Билъ, не надѣясь, чтобы болѣзнь дозволила ему доѣхать до Берлина. Въ Базелѣ одинъ знакомый купецъ убѣдилъ его ѣхать въ Страсбургъ. Изгнанныкъ встрѣтилъ здѣсь самый восторженный приѣмъ. Во все время его пребыванія въ Страсбургѣ выходили ежедневные бюлетени, извѣщавшіе, что онъ дѣлалъ, гдѣ бывалъ и т. д. Но постановленіе парламента объ арестѣ Руссо не было отмѣнено; враги постоянно могли вооружить противъ него правительство, и Руссо рѣшился уѣхать въ Англію, хотя и боялся, что будетъ встрѣченъ враждебно за свои неблагоприятные отзывы объ англичанахъ. Но знаменитый

Юмъ, состоявшій въ это время при англійскомъ посольствѣ въ Парижѣ, успокоилъ Руссо и выхлопоталъ ему дозволеніе проѣхать въ Англію черезъ Парижъ.

Вѣсть о прибытіи Руссо быстро облетѣла и взволновала столицу. Руссо помѣстился въ роскошномъ палаццо своего покровителя, принца Конти. „Я здѣсь, какъ Санчо на островѣ Баратаріи, цѣлый день на выставкѣ, писалъ онъ. — У меня поѣздители съ того момента, какъ я пробуждаюсь, и до того, когда ложусь въ постель; я принужденъ даже одѣваться публично“. Такой образъ жизни былъ до того утомителенъ для Руссо, что онъ былъ радъ, когда полиція велѣла ему выѣхать. Выѣстъ съ Юмомъ онъ отправился въ Англію и былъ принятъ въ Лондонѣ съ необычайными почестями. Всѣ газеты превозносили его до небесъ; всѣ сословія старались заявить ему свое сочувствіе. Руссо былъ истомленъ, подавленъ этими знаками всеобщаго уваженія. Онъ хотѣлъ поселиться гдѣ-нибудь въ сельскомъ уединеніи, и всѣ наперерывъ предлагали ему свои помѣстья. Наконецъ, онъ выбралъ себѣ мѣстомъ жительства Вуттонъ, имѣніе богача Давенпорта, согласившагося даже получать съ него небольшую плату за квартиру.

Но для Руссо уже невозможенъ былъ душевный покой, и немедленно-же по прибытіи въ Вуттонъ въ его головѣ начали слагаться и развиваться самыя мрачныя подозрѣнія относительно окружающихъ. Дѣйствительно, англичане должны были нѣсколько разочароваться въ немъ, увидѣвъ его странности, узнавъ обстоятельства его жизни; до него начали доходить неизбѣжныя въ такихъ случаяхъ сплетни и слухи о немъ, а онъ все преувеличивалъ, дѣлался подозрительнымъ, злымъ. Онъ разочаровался въ Юмѣ, не найдя въ немъ такого нѣжнаго друга, какого желалъ. Когда ему показалось, что портретъ, снятый съ него Рамаземъ, не похожъ, онъ тотчасъ заподозрѣлъ живописца въ умысленномъ искаженіи его фізіономіи. „Я, писалъ онъ одному знакомому англичанину, — съ изумленіемъ слышу, какъ третируетъ меня въ Лондонѣ публика, которая даже легкомысленнѣе, чѣмъ я думалъ. Мнѣ кажется, было-бы гораздо лучше отказаться несчастному въ убѣжищѣ, чѣмъ дать его и потомъ подвергать меня оскорбленіямъ. Я также полагаю, что для сужденія о человѣкѣ, котораго не знаютъ, слѣдовало-бы обратиться къ людямъ, которые

знаютъ его“. Руссо начали грезиться всюду интриги и агенты его швейцарскихъ и французскихъ враговъ. Особенное подозрѣніе въ немъ началъ возбуждать Юмъ, благодаря тому любопытству, съ какииъ онъ относился къ человѣку, котораго считалъ своимъ другомъ. „Онъ, рассказываетъ Руссо,—не ограничивался тѣмъ, что спрашивалъ меня о моихъ личныхъ отношеніяхъ; онъ даже позволялъ себѣ, при каждомъ свиданіи съ моею гувернанткой \*), допытываться у нея о моихъ занятіяхъ, средствахъ жизни, друзьяхъ и знакомыхъ, ихъ званіи, мѣстѣ жительства, фамиліи“. Руссо увѣряетъ даже, что Юмъ воровалъ и читалъ его письма! „Письма, которыя я писалъ, не доходили, получаемыя мною были вскрыты и всѣ они проходили черезъ руки Юма“. Но всѣ эти подозрѣнія даже самому Руссо казались сначала не совсѣмъ основательными и онъ мучился сомнѣніемъ относительно своего друга. Наконецъ, тревога его дошла до того, что онъ рѣшился на объясненіе. Наканунѣ отъѣзда въ Вуттонъ, „когда послѣ обѣда мы оба сидѣли у камина, я замѣтилъ, что Юмъ упорно смотритъ на меня. Я постарался тоже вперить въ него свой взглядъ; но когда я оставилъ свои глаза на его глазахъ, то почувствовалъ необъяснимое содраганіе и принужденъ былъ потупить взоръ. Мое безпокойство дошло почти до ужаса. Заговорила совѣсть и я былъ возмущенъ собою. Наконецъ, съ страстными порывемъ я бросился въ его объятія; я крѣпко прижалъ его къ груди, орошалъ своими слезами и восклицалъ: нѣтъ, нѣтъ, Давидъ Юмъ не измѣнникъ!“ Юмъ, ничего незнавшій ни о подозрѣніяхъ, ни о сомнѣніяхъ Руссо, не понялъ смысла этой сцены и на восторженное восклицаніе друга отвѣчалъ довольно равнодушно. Руссо, въ свою очередь, не понялъ этого обстоятельства, и его подозрѣнія усилились. Желая позондировать Юма, онъ написалъ ему изъ Вуттона слѣдующее письмо: „Вы видите, что я пріѣхалъ, но не можете видѣть всѣхъ прелестей, какія я нашелъ здѣсь. Вы должны знать это мѣсто и *умѣть читать въ моемъ сердцѣ*. Читайте-же въ немъ, по крайней мѣрѣ, тѣ чувства, которыя относятся къ вамъ и которыхъ вы такъ достойны. Если

\*) Руссо выдалъ пріѣхавшую вслѣдъ за нимъ Терезу за свою „гувернантку“.

я въ этомъ прекрасномъ убѣжищѣ буду жить такъ счастливо, какъ надѣюсь, то одною изъ самыхъ сладкихъ радостей моеи жизни будетъ то, что этимъ я обязанъ вамъ. Сдѣлать человѣка счастливымъ—значитъ быть самому достойнымъ счастья. Желаю вамъ въ самомъ себѣ найти награду за все, сдѣланное для меня. Если-бы я и могъ ожидать такого радушнаго приѣма, то не радовался-бы ему такъ сильно, если-бы не былъ обязанъ имъ вашей дружбѣ. Сохраните ее для меня; любите меня, любите меня за то добро, которое вы сдѣлали мнѣ. Я чувствую всю цѣну вашей искренней дружбы; я страстно желаю ее“. Юмъ не понималъ, что это повидимому нѣжное письмо было въ сущности ультиматумомъ со стороны Руссо, ждавшаго отъ Юма, если онъ другъ его, самыхъ пламенныхъ увѣреній и запросовъ относительно сомнѣній, которыя такъ тонко выражены въ письмѣ. Когда-же Руссо не получилъ на этотъ ультиматумъ желаннаго отвѣта, то вполне убѣдился, что ихъ дружба кончена и что Юмъ желаетъ только избѣжать скандала гласнаго разрыва. Въ это время въ Англіи распространилось подложное письмо къ Руссо Фридриха прусскаго, въ которомъ философъ былъ осыпанъ насмѣшками. Въ распространеніи этого письма Руссо заподозрѣлъ того-же Юма, считая его участникомъ въ заговорѣ, составленномъ противъ него во Франціи. Въ каждомъ поступкѣ Юма, даже въ пенсіи, которую Юмъ выхлопоталъ ему отъ короля и которую Руссо принялъ послѣ долгихъ колебаній, Руссо видѣлъ подвохъ. Ему казалось, что Юмъ нарочно обижаетъ его, чтобы вывести его изъ терпѣнія, понудить къ открытой ссорѣ и свалить на него всю вину, какъ на чудовищнаго, неблагодарнаго эгоиста. Наконецъ, Руссо написалъ Юму, что убѣжденъ въ его коварствѣ, интригахъ, подлости. Юмъ вышелъ изъ себя. Вѣсть о ссорѣ разнеслась по всей Европѣ и возбудила во всѣхъ гораздо большій интересъ, чѣмъ какое-нибудь объявленіе войны Англіей Франціи. Юмъ составилъ для друзей оправдательную записку, которая пошла по рукамъ и попала въ печать. Неосновательность обвиненій Руссо была очевидна даже для друзей его; общественное мнѣніе было рѣшительно на сторонѣ Юма, и несчастный философъ былъ осыпанъ бранью, насмѣшками, пасквилями. Его подозрительность усилилась. Живя въ чужой странѣ, не зная ея языка, онъ видѣлъ себя окруженнымъ всевозможными опасностями и врагами.



Въ Давенпортѣ Руссо подружился съ сосѣднимъ семействомъ Гренвилей, но вообще велъ уединенную жизнь и дѣятельно писалъ свои мемуары. Съ хозяиномъ своимъ онъ былъ на дружеской ногѣ, но послѣ разрыва съ Юмомъ онъ началъ подозрѣвать и его, какъ юмовскаго друга, требовалъ отъ него объясненій, спрашивалъ, продолжаетъ-ли онъ питать къ нему дружескія чувства, не говорилъ-ли ему чего-нибудь Юмъ и т. д. Эти подозрѣнія еще болѣе усиливались поведеніемъ прислуги Давенпорта, которая обчитывала Руссо и, выводима изъ терпѣнія сварливостью Терезы, жстила ей мелкими выходками, въ которыхъ Руссо видѣлъ признаки заговора противъ него. Къ этому присоединился еще разрывъ съ его старымъ другомъ и покровителемъ, лордомъ Кейтомъ. Старый, больной, полуживой Кейтъ не могъ уже писать и бросилъ всякую корреспонденцію, а Руссо настаивалъ, чтобы онъ писалъ ему, и, не получая отвѣтовъ, приходилъ къ убѣжденію, что Кейтъ поддался пронкамъ его враговъ и возненавидѣлъ его. Эта мысль окончательно сбила его съ толку и повлияла на его отношенія къ прислугѣ, которую онъ подозрѣвалъ и обвинялъ въ преступныхъ замыслахъ. „Я согласился бы лучше быть во власти всѣхъ чертей ада, чѣмъ англійскихъ слугъ“, писалъ онъ. Онъ хотѣлъ переѣхать въ Лондонъ, гдѣ можно имѣть французскую прислугу и избавиться отъ шпіоновъ, окружающихъ его. Но Руссо боялся и Лондона. Его письма, казалось ему, вскрывались на почтѣ; его лондонскіе друзья, черезъ которыхъ шла вся корреспонденція, казались ему соучастниками въ этомъ дѣлѣ. Словомъ, знакомые, отправлявшіе или получавшіе его письма, чиновники лондонскаго почтамта, вуттонская прислуга — всѣ состояли на службѣ его враговъ, имѣвшихъ цѣлью прекратить всѣ его сношенія съ материкомъ и погубить на чужбинѣ. Кроме того, Руссо казалось, что Юмъ, знавшій о составленіи имъ мемуаровъ, боялся быть изображеннымъ въ нихъ въ самомъ непривлекательномъ видѣ, употреблялъ всѣ усилія, чтобы овладѣть ими, и заодно съ нимъ дѣйствовалъ, конечно, французскій король... Онъ караулилъ своихъ мемуары, онъ боялся выходить изъ дому, ему грезились всюду шпіоны и бандиты, подкупленные его врагами. „Кругомъ меня раскинуты сѣти, и я не могу вырваться изъ нихъ, писалъ онъ своему другу.—Находясь въ рукахъ каждаго встрѣчнаго, я не могу нигуда выходить, такъ-какъ могутъ овладѣть мной... О,

судьба! О, другъ мой, молитесь за меня!“ Руссо считалъ себя погибшимъ и только немного успокоился, когда ему удалось съ однимъ довѣреннымъ лицомъ отправить бумаги во Францію.

Кончилось тѣмъ, что, взявъ съ собой Терезу, Руссо бѣжалъ изъ Вуттова, оставивъ слѣдующее письмо Давенпорту: „Хозяинъ дома долженъ знать, что дѣлается въ немъ, въ особенности относительно постороннихъ, которыхъ онъ принимаетъ въ немъ. Если вамъ неизвѣстно, что было со мной въ вашемъ домѣ, особенно съ Рождества, то вы неправы. Если вы знаете и допускаете это, то неправы еще болѣе. Наименѣе неизвинительная несправедливость ваша состоитъ въ томъ, что вы, забывая свое обѣщаніе и спокойно оставаясь въ Давенпортѣ, не позаботились даже узнать, хорошо-ли живется человѣку, котораго вы пригласили сюда. Этого болѣе, чѣмъ достаточно, для оправданія моего рѣшенія. Завтра утромъ я покидаю вашъ домъ. Мои вещи я оставляю какъ залогъ въ обезпеченіе моего долга вамъ. Примите еще разъ мою искреннюю и живѣйшую благодарность“ и т. д. Никто не зналъ, куда направился Руссо, да онъ и самъ не зналъ, куда идти. Сначала онъ хотѣлъ-было ѣхать въ Лондонъ, но побоялся, и цѣлыхъ двѣ недѣли блуждалъ неизвѣстно гдѣ. Наконецъ, канцлеръ получилъ отъ него изъ одной деревни, въ графствѣ Линкольнъ, письмо. Руссо писалъ, что онъ желаетъ выѣхать изъ Англіи черезъ Доверъ, но, боясь своихъ враговъ, не рискуетъ выйти изъ квартиры и умоляетъ министра дать ему конвоира. Черезъ нѣсколько дней оттуда-же онъ писалъ Давенпорту, что раскаивается въ своемъ несчастномъ положеніи и хочетъ возвратиться въ Вуттонъ. Но прошло нѣсколько часовъ, и генералъ Конвей получилъ новое письмо, уже изъ Довера, въ которомъ Руссо умолялъ выпустить его изъ Англіи, обязуясь ничего не писать, оставляя правительству всѣ свои бумаги, кромѣ небольшого портфеля, который предлагалъ осмотрѣть. Но не успѣлъ еще министръ отвѣтить ему, какъ Руссо уже сѣлъ на корабль, и, понятно, никто не препятствовалъ его отъѣзду, который его разстроенному уму казался бѣгствомъ. Разстройство его доходило до такой степени, что онъ даже Терезу считалъ шпионкой...

## XII.

22 мая 1767 г. Руссо высадился въ Калэ, „внѣ себя отъ радости“. Мирабо давно уже предлагалъ въ его распоряженіе одно изъ своихъ помѣстій, а теперь началъ хлопотать, чтобы ему дозволено было поселиться во Франціи. Правительство общало не обращать на Руссо никакого вниманія, если только онъ будетъ жить скромно, и „г. Жакъ“ съ своей „сестрою“ поселился въ С.-Дени, около Парижа. Но Руссо прожилъ здѣсь только шестнадцать дней; Мирабо ему пришлось не по душѣ, и онъ перѣхалъ въ помѣстье принца Конти, въ 15 часахъ отъ столицы. Принцъ, бывавшій только по временамъ въ этомъ имѣніи, постарался устроить въ немъ Руссо какъ можно лучше и строго приказалъ всѣмъ безусловно повиноваться ему. Работѣнное отношеніе къ Руссо управляющаго и прислуги скоро показалось ему подозрительнымъ. Прошло послѣ его пріѣзда нѣсколько дней, и онъ уже убѣдился, что всѣ жители замка и окрестностей вполне враждебны ему и стараются выжить его!.. Онъ жалуется Конти, что переносить отъ всѣхъ невообразимыя насмѣшки, оскорбленія, стѣсненія; что будто-бы даже онъ не смѣетъ пользоваться яблочками: „окруженный садами и плодовыми деревьями, я стою, какъ Танталь посреди воды“. Онъ даже боится выходить изъ замка: крестьяне, священники, всѣ противъ него, всѣ считаютъ его „шпіономъ князя“; если кого посадятъ въ тюрьму, всѣ думаютъ, что это сдѣлано по его доносу. Гдѣ-бы онъ ни появился, всюду видитъ мрачныя фисіономіи, враждебныя взгляды, угрожающія тѣлодвиженія. „Я начинаю бояться, говорить онъ, — что послѣ столькихъ дѣйствительныхъ козней я могу страшиться воображаемыхъ“. „Такъ жить долѣе невозможно, пишетъ онъ другому другу; — я долженъ бѣжать, хотя-бы въ глубину пропасти или на костеръ“. Но опасенія парламентскаго преслѣдованія заставили его остаться. Руссо объявилъ, что никогда не покинетъ этого убѣжища, что его могутъ выжить только силою, что онъ лучше погибнетъ, чѣмъ двинется съ мѣста. Принцъ Конти лично посѣтилъ своего гостя и нѣсколько успокоилъ его. Въ то-же время къ нему ѣхалъ другъ его, Дю-Шейру. Но Шейру пріѣхалъ больной и расхворался такъ, что Руссо долженъ былъ ухаживать за нимъ день и

ночь. Однажды Пейру, въ сильномъ припадкѣ своей болѣзни, не хотѣлъ ни принимать отъ Руссо лекарства, ни говорить съ нимъ; этого обстоятельства было достаточно, чтобы Руссо дошелъ до мысли, что Пейру подозрѣваетъ его въ намѣреніи отравить своего друга! Мало этого, когда, побуждаемый не столько невыносимыми страданіями Пейру, сколько порывомъ болѣзненнаго самолюбія, Руссо бросился со слезами на больного и началъ душить его въ своихъ дружескихъ объятіяхъ, а Пейру замѣтилъ, что онъ доводитъ его до разстройства, которое можетъ убить его, Руссо возмущился такою „неблагодарностью“ и не могъ простить ея! Будучи увѣренъ, что рыдавшій о господицѣ слуга Пейру тоже раздѣляетъ подозрѣнія своего господина, Руссо заподозрѣлъ, что онъ самъ отравитель. „Это черное подозрѣніе внезапно достигло такой силы, что я рѣшился не отходить отъ больного и наблюдать за всѣмъ, что будетъ давать ему слуга. До полуночи я не покидалъ комнаты. Но вскорѣ я почувствовалъ свою несправедливость и покраснѣлъ за себя. Убѣдившись, что этотъ человѣкъ скорѣе мошенникъ, чѣмъ отравитель, я буду постоянно упрекать себя, что заподозрѣлъ слугу въ томъ ужасномъ умыслѣ, въ которомъ не стѣснился обвинять меня въ своемъ сердцѣ мой другъ!“ Размолвка съ Пейру еще болѣе разстроила Руссо.

Его, впрочемъ, развлекли на нѣкоторое время швейцарскія событія. Вражда партій угрожала перейти въ междоусобную войну. Руссо, ненавидѣвшій насильственные перевороты и утверждавшій, что „самая лучшая революція не стоитъ крови одного человѣка“, съ величайшимъ удовольствіемъ узналъ, что партіи не прочь предоставить рѣшеніе спора третейскому суду Франціи. Когда-же поклонники Руссо стѣснились избрать его врага, Вольтера, своимъ повѣреннымъ для сношеній съ французскимъ правительствомъ, Руссо отвѣчалъ имъ: „какъ вы могли подумать, что такой шагъ будетъ непріятенъ мнѣ? Какъ вы плохо знаете мое сердце! Дай Богъ, чтобы старанія этого знаменитаго человѣка привнесли миръ; онъ заставилъ-бы меня забыть всѣ несправедливости и позволилъ-бы мнѣ безгранично изумляться ему. Даже тогда, когда онъ поступалъ со мной самымъ позорнымъ образомъ, во мнѣ было меньше отвращенія къ нему, чѣмъ любви къ своему отечеству. Я буду всегда любить и уважать всякаго, кто бы ни возвратилъ вамъ миръ и свободу. Если-же это будетъ Вольтеръ, то онъ мо-

зеть во всѣхъ другихъ отношеніяхъ дѣлать мнѣ какое угодно зло, я все-таки не перестану желать ему счастья и славы". Вольтеръ былъ взволнованъ, когда ему прочли письмо Руссо. „Я предлагалъ ему когда-то свой домъ; напишите, что я и теперь предлагаю ему, и если онъ желаетъ, то употреблю всѣ усилія, чтобы онъ былъ восстановленъ во всѣхъ своихъ правахъ". Руссо оскорбился такою угодливостію своего соперника, какъ нѣсколько позже оскорбился и Вольтеръ, увидѣвъ фамилію Руссо въ числѣ лицъ, подписавшихся на сооруженіе ему статуи. „Вы, конечно, не могли подумать, писалъ Руссо къ посреднику,—что я могу быть обязанъ г. Вольтеру возвращеніемъ своихъ правъ. Только-бы онъ оказалъ вамъ полезную услугу, а издѣваться надо иной онъ можетъ сколько угодно. Его *дружбу* я считалъ-бы честью для себя, по его *покровительству* для меня *никогда* невозможно". Примиреніе партій состоялось. Репутація Руссо, много содѣйствовавшая миру, достигла въ Швейцаріи высшей степени. Въ его бывшей квартирѣ жила въ это время его старая кормилица Дѣкелина. Руссо всегда любилъ ее и послалъ ей серебряную чашку, изъ которой долго самъ пилъ. Хорошая старуха расхвасталась подаркомъ на весь городъ. Назавтра къ квартирѣ ея начали являться одна за другой процесіи, и она угощала гостей виномъ изъ этой чашки. Когда-же вино вышло, она выставила ведро воды и сказала: „господа, у меня нѣтъ болѣе вина, но есть вода изъ кутанцскаго источника, который прославленъ въ письмѣ Руссо къ Даламберу: выпьемъ-же за здоровье Руссо кутанцской воды!" И посѣтители начали пить воду.

Швейцарскія дѣла не надолго да и не совсѣмъ отвлекли Руссо отъ его *idée fixe*. Въ квартирѣ ему грезались шпіоны и предатели, а внѣ ея—убійцы. Онъ рассказываетъ, что прислуга дѣлала съ нимъ самыя возмутительныя штуки, чтобы только выжить его, и онъ, какъ во время болѣзни Дю-Пейру, снова сталъ подозрѣвать, что его обвиняютъ въ отравительствѣ. Одинъ изъ служителей замка, Дешампъ, руководившій будто-бы всѣми просками, направленными противъ Руссо, заболѣлъ водянкою. Руссо послалъ ему вино, хлѣбъ и рѣбу, но скоро услышалъ, что больной принимаетъ эти подарки съ отвращеніемъ, и изъ нѣсколькихъ словъ его вывелъ, что Дешампъ и его родные считаютъ Руссо отравителемъ. Наконецъ, больной умеръ. „Все, что

я видѣлъ и слышалъ въ этотъ день, говорить Руссо:—двусмысленныя слова интенданта, садовника, парикмахера, глухие слухи, распространявшіеся въ сосѣдствѣ, осторожность, которую больной проявлялъ относительно меня,—все говорило мнѣ, что меня обвиняютъ въ его смерти. На завтра утромъ я написалъ интенданту, требуя вскрытія трупа. Онъ рѣшительно отказался. Тогда я написалъ его высочеству принцу, что я желаю быть въ Парижѣ, чтобы подвергнуться исполненію падо мною состоявш: гося противъ меня парламентскаго постановленія и прошу немедленно увезти меня туда, потому что если я отправлюсь самъ, то люди, съ которыми я имѣю дѣло, не преринуть обвинить меня въ попыткѣ къ бѣгству; если же я не получу отвѣта въ субботу, то въ воскресенье отправлюсь въ трискую тюрьму и останусь въ ней до тѣхъ поръ, пока его высочеству угодно будетъ представить меня судѣ“. Принцу удалось успокоить Руссо, но не надолго; пршло нѣсколько дней, и философъ снова писалъ къ нему, что прислуга рѣшительно выживаетъ его изъ дома и старается опозорить его. „Моя жизнь и мое сердце принадлежать вамъ, но моя честь—мнѣ. Позвольте мнѣ слѣдовать ея голосу и завтра же покинуть вашъ домъ. Смѣю утверждать, что вы обязаны сдѣлать это. Не оставляйте дольше подобнаго мнѣ мошенника между этими честными людьми“. Думая, что путешествіе развлечетъ больного, Конті согласился на отъѣздъ. Взявъ гербарій, Руссо въ іюнѣ 1768 г. отправился въ Лионъ.

Поѣздка подѣйствовала на Руссо отлично, а въ Лионѣ друзья и поклонники встрѣтили его такъ радушно, что его мрачныя мысли совершенно разсѣялись и онъ былъ въ самомъ веселомъ настроеніи, особенно когда отправился съ большой компаніей въ продолжительную ботаническую экскурсію. Въ Греноблѣ ему оказана была со стороны аристократіи самая изысканная любезность, заходившая такъ далеко, что Руссо началъ подозрѣвать, что надъ нимъ просто смѣются. Кто же относился къ нему подержаннѣе, тотъ, казалось ему, презираетъ его и выражаетъ свое отвращеніе. „Во время моего пребыванія въ Греноблѣ, рассказываетъ Руссо,—я часто дѣлалъ небольшія экскурсіи въ окрестностяхъ города и меня обыкновенно сопровождалъ адвокат Бовье, поставившій себѣ въ обязанность ни на минуту не оставлять меня. Однажды, когда мы гуляли вдоль Изеры, я увидѣлъ спѣ-

ляя ягоды, вздумалъ попробовать ихъ и, найдя ихъ пріятно-сладкими, началъ ѣсть. Бовье стоялъ подлѣ меня, не слѣдуя моему примѣру и не говоря ни слова. Одинъ-же изъ друзей его, увидѣвъ, что я ѣмъ ягоды, подошелъ и сказалъ мнѣ:—Что вы дѣлаете? развѣ вы не знаете, что онѣ ядовиты?—Ядовиты? воскликнулъ я въ изумленіи.—Безъ сомнѣнія, отвѣчалъ онъ,—это всѣмъ извѣстно и никто ихъ не ѣсть.—Я посмотрѣлъ на Бовье и спросилъ, почему онъ мнѣ не сказалъ объ этомъ?—О, почтительно отвѣчалъ онъ,—я не смѣлъ дозволить себѣ этой вольности!“ Руссо заподозрѣлъ Бовье въ коварствѣ! Въ то-же время жители Женевы вздумали вознаграждать услуги, оказанныя Руссо республикѣ, поднесеніемъ ему бюста Вольтера. И въ этомъ Руссо увидѣлъ коварство, и еще сильнѣе заподозрѣлъ Бовье въ желаніи погубить его. Мнительность его достигла высшей степени, и, отправляясь въ Шамбери, поклониться могилѣ г-жи Варренсъ, Руссо послалъ Терезѣ прощальное письмо, на случай, если имъ не суждено болѣе увидѣться въ этомъ мірѣ. Онъ пишетъ, что ему едва ли суждено возвратиться. Съ каждымъ днемъ онъ болѣе и болѣе убѣждается, что враги слѣдятъ за нимъ по пятамъ, особенно на границѣ. Но онъ все-таки переѣдетъ черезъ границу, чтобы заставить ихъ, наконецъ, привести въ исполненіе свои варварныя замыслы. „Лучше умереть, чѣмъ влечти жизнь, будучи окруженнымъ шныряющими вокругъ шпионами“. Руссо безпрепятственно, конечно, переѣхалъ границу и возвратился въ Гренобль, но все-таки не успокоился. Онъ рѣшился искать безопаснаго убѣжища отъ преслѣдующихъ его враговъ. Онъ пишетъ, что не ждетъ отъ людей ни справедливости, ни состраданія. Они не хотятъ оставить его въ покоѣ, и онъ рѣшается лучше блуждать по землѣ безъ пристанища, чѣмъ доставлять врагамъ возможность удобно раскидывать свои сѣти въ мѣстѣ его постоянного жительства. Онъ будетъ переходить изъ одного мѣста въ другое, пока не найдетъ людей, которые уважаютъ несчастіе или, по крайней мѣрѣ, не издѣваются надъ нимъ. Дозволятъ-ли ему выполнить этотъ планъ, онъ не знаетъ, но его могутъ остановить только силою; ему не похѣшаетъ и нищета: онъ будетъ просить милостыню и безъ сожалѣнія умереть, если ему не будутъ подавать. Но едва онъ началъ свое странствованіе, какъ ему пришло въ голову, что отъ враговъ не убѣжать. Онъ остановился въ нѣ-

стечѣ Бургуанѣ и уже хотѣлъ вернуться въ Гренобль, какъ случилось обстоятельство, убѣдившее его, что „безумно самому лѣзть въ ловушку“. Въ Гренобль какой-то кожевникъ заявилъ друзьямъ Руссо, что послѣдній, еще въ Швейцаріи, десять лѣтъ назадъ, занялъ у него 9 франковъ и до сихъ поръ не заплатилъ. Руссо отвѣчалъ, что этого никогда не было, и просилъ друзей настоятельно уличить мошенника, считая его орудіемъ своихъ враговъ. Хорошо знакомый Жъанъ-Жъаку губернаторъ пригласилъ его въ Гренобль, чтобы при личномъ свиданіи онъ могъ самъ изобличить обманщика, но Руссо увидѣлъ въ губернаторскомъ предложеніи только желаніе завлечь его въ западню. Онъ остался въ Бургуанѣ, куда пріѣхала вскорѣ и Тереза. Руссо предлагалъ ей разойтись, но она рѣшительно отказалась, и такая привязанность тронула Руссо до того, что онъ рѣшился, наконецъ, формально сдѣлать ее своей женой. Но онъ не вѣнчался, не заключалъ даже гражданскаго брака, а въ присутствіи знакомыхъ свидѣтелей объявилъ ее своей законной женой — и только.

Хотя въ Бургуанѣ Руссо нашелъ добрыхъ людей и даже подружился съ однимъ капитаномъ, но онъ вовсе не думалъ навсегда оставаться здѣсь. Въ головѣ его бродили самые разнообразныя планы: то онъ хочетъ поселиться въ Греціи, то ѣхать на Минорку, то предложить дворамъ лондонскому и парижскому свои услуги въ качествѣ ботаника, то готовится къ возвращенію въ Буттопъ. „Между тѣмъ, рассказываетъ онъ, — я замѣтилъ вокругъ себя какое-то странное движеніе, слышалъ таинственныя рѣчи, получалъ тревожныя письма, и видѣлъ, что меня рѣшительно хотятъ сбить съ толку. Голова моя пошла кругомъ и эти страхи усиливались еще тѣмъ, что ихъ старались облекать таинственностью. Какъ-разъ въ это время на границахъ Дофинѣ былъ арестованъ человекъ, подозрѣваемый, какъ соучастникъ, въ гнусномъ злодѣяніи, въ покушеніи на жизнь Людовика XIV въ 1757 г. Утверждали, что онъ будетъ слѣдовать черезъ Бургуанъ. Возбужденіе было сильное, таинственные намеки продолжались дѣлаться съ очевидною преднамѣренностью. Словомъ, если бы хотѣли совершенно свести меня съ ума, то не могли-бы дѣйствовать пѣлесообразнѣе“. Руссо боялся, что его могутъ заподозрѣть въ какомъ-нибудь участіи въ упомянутомъ преступленіи! Между тѣмъ, приготавливаясь къ отъѣзду въ Англію, онъ перебиралъ свои



бумаги, чтобы сжечь лишнія, и открылъ, что у него пропали нѣкоторые рукописи и письма. „Въ этомъ обстоятельствѣ я нашелъ ключъ къ окружающимъ меня тайнамъ. Теперь я не сомнѣвался что уже болѣе шести лѣтъ рѣшились погубить меня и что письма, негодныя ни для какой другой цѣли, должны были служить для постройки живой махинаціи, жертвой которой я буду“. Бѣжать въ Англію онъ побоялся, чтобы его не заподозрѣли въ бѣгствѣ, и рѣшился отправиться въ Лаваньякъ, замокъ принца Конті. Но вдругъ ему почему-то показалось, что управляющій этого замка находится въ тайномъ союзѣ съ управляющимъ того замка, изъ котораго Руссо бѣжалъ, и онъ не поѣхалъ, а переселился въ Монкенъ, имѣніе маркиза Сезаржа, въ январѣ 1769 г.

Здѣсь ему показалось очень хорошо, и онъ рѣшилъ, что нигуда болѣе не поѣдетъ до самой смерти. „Мое положеніе, писалъ онъ Мульту,—необходимость, мои наклонности,—все заставляетъ меня кончить жизнь въ этомъ уединеніи“. Ботаника доставляла ему въ это время большее удовольствіе, чѣмъ когда-нибудь прежде. „Я чувствую, что я нахожусь подъ полнымъ владычествомъ ботаники. Я буду заниматься ею до смерти и даже послѣ смерти; если въ елисейскихъ поляхъ есть цвѣты, то я буду плестъ вѣнки для искреннихъ и честныхъ людей“. Кроме ботаники, онъ привязался къ сочиненіямъ Тасса и съ увлеченіемъ читалъ его. Съ наступленіемъ весны здоровье его поправилось, начались прогулки, явились новыя друзья—собака, кошка, птицы, прилетавшія подъ окно за кормомъ, который раздавалъ имъ философъ. Но съ возвращеніемъ жизненныхъ силъ возвратились и душевныя страданія. „Страна, въ которой я живу, писалъ онъ уже въ маѣ,—была-бы пріятна, если-бы жители были другіе“; а черезъ нѣсколько дней объявилъ принцу Конті, что онъ „ни за что добровольно не останется здѣсь“. О причинахъ онъ не рѣшается говорить въ письмѣ и проситъ принца выхлопотать ему заграничный паспортъ. Конті пригласилъ его къ себѣ въ Неверъ, какъ-то успокоилъ его, Руссо вернулся въ Монкенъ и вскорѣ отправился въ отдаленную ботаническую экскурсію. Онъ оставилъ Терезѣ письмо, въ которомъ упрекалъ ее за охлажденіе къ нему и предлагалъ разойтись. Онъ подозрѣвалъ, что надобно Терезѣ, и просилъ ее испытать свое сердце временною разлукой,—окончательной онъ не перенесъ-бы. Тереза отказалась,

и черезъ двѣ недѣли Руссо снова былъ въ ея объятіяхъ. Дѣло спокойно Руссо ботанизировалъ, занимался музыкой, писалъ письма, оканчивалъ свои признанія, даже влюбился платонически въ одну даму и изливалъ передъ нею свои чувства. Но прислуга опять испортила все дѣло, особенно женская прислуга, эти „бандиты въ юбкахъ“, какъ выражается Руссо, которые то-и-дѣло ссорились съ Терезой и оскорбляли ее. Руссо написалъ хозяйкѣ, что онъ будетъ самъ защищать честь свою и своей жены и снимаетъ съ себя всякую отвѣтственность за скандалъ, который можетъ случиться въ ея домѣ. Крестьяне любили Руссо, такъ-какъ онъ помогалъ обыкновенно больнымъ и бѣднымъ, но одинъ изъ нихъ обманулъ его, и Руссо началъ подозрительно поглядывать на всѣхъ крестьянъ. Подобно всякому крайнему самолюбцу, занятый постоянно мыслью о томъ, что о немъ думаютъ другіе, Руссо въ настоящемъ случаѣ задался вопросомъ, что думаютъ мужики о собраніи ихъ разныхъ травъ, и рѣшилъ, что считаютъ его отравителемъ. Впрочемъ, его дѣйствительно обвиняли въ смерти больного, котораго онъ лечилъ какимъ-то декоктомъ. Всѣ эти крестьяне, слуги и т. д. казались ему орудіями какой-то таинственной враждебной интриги. Онъ жаловался, что кто-то читаетъ его переписку, что его „окружаютъ сыщики и шпіоны, которые лѣстятъ ему, а въ сущности хотятъ заколотъ“; его оскорбляютъ на каждомъ шагу и т. д. Онъ рѣшилъ, что гораздо лучше идти на-встрѣчу своимъ врагамъ, отказаться отъ псевдонима, подъ которымъ онъ до сихъ поръ жилъ, и поселиться въ Парижѣ. Важную роль въ этомъ рѣшеніи играло, конечно, его безмѣрное самолюбіе. Въ столицѣ онъ надѣялся на восторженный пріемъ; онъ думалъ, сверхъ того, что онъ оправдаетъ всѣ свои недостатки и отомститъ врагамъ, пустивъ въ ходъ свои „Признанія“, которыя онъ только-что кончилъ.

### ХІІІ.

Въ іюнь 1770 г. Руссо пріѣхалъ въ Парижъ, въ которомъ онъ не былъ уже четырнадцать лѣтъ. „Я снова въ Парижѣ, писалъ онъ одному изъ своихъ друзей.— Вотъ уже три недѣли, какъ я снова занялъ прежнюю квартиру, снова посѣщаю старыхъ знакомыхъ, снова

веду прежній образъ жизни, снова принялся за ремесло переписчика, и, вообще, нахожусь въ томъ-же самомъ положеніи, въ какомъ былъ до своего отъѣзда“. Руссо въ это время ничего не боялся и, предаваясь судьбѣ, шелъ на-встрѣчу опасностямъ, которыхъ, впрочемъ, не было, такъ-какъ полиція уже не думала болѣе преслѣдовать его. Между тѣмъ для публики пріѣздъ его былъ чрезвычайнымъ событіемъ, главною темою толковъ, и всѣ спѣшили увидѣть его, познакомиться съ нимъ, поговорить съ великимъ мыслителемъ и страннымъ человѣкомъ въ армянскомъ костюмѣ. Въ кафе и передъ кафе, въ которомъ онъ перѣдко игралъ въ шахматы, толпились массы народа. Когда ихъ спрашивали, что имъ нужно, они отвѣчали, что хотятъ видѣть Жанъ-Жака. — Какого Жанъ-Жака? — Не знаемъ; но вотъ онъ сейчасъ будетъ. Хозяйка кафе, которой были чрезвычайно выгодны его посѣщенія, привлекавшія столько посѣтителей, всячески ублажала Руссо, но когда она вздумала угостить его изъ позолоченной чашки, которую ей подарилъ Вольтеръ, онъ разсердился и сказалъ, что „никогда не будетъ пить изъ одной чашки съ этимъ человѣкомъ“. Посѣщеніямъ, приглашеніямъ, обѣдамъ конца не было, и Руссо началъ бояться, что, отрывая его постоянно отъ его ремесла, доведутъ его, наконецъ, до голодной смерти. Но вообще ему было хорошо. Дюссо рассказываетъ, какъ онъ бывалъ веселъ, краснорѣчивъ, занимателенъ на обѣдахъ. „Мы думали, что слышимъ попеременно то Платона, то Лукреція“. Запросъ на Руссо, на обѣды и вечера съ Руссо былъ такъ силенъ, что появилось даже нѣсколько Руссо-самозванцевъ!.. Но разъѣзды и посѣтители страшно утомляли Руссо, часто выводили его изъ себя. „Сегодня утромъ, рассказывалъ онъ друзьямъ, — приходитъ какой-то шалопаѣ, если не шпионъ, врывается ко мнѣ въ комнату и говоритъ: „вы вполне оригинальный человѣкъ, всѣ убѣждены въ этомъ; я тоже оригиналъ не мѣтѣ, чѣмъ вы. Отнынѣ я не хочу быть ни съ кѣмъ знакомымъ, кромя Жанъ-Жака“. — „Но вы не такъ оригинальны, какъ я, отвѣчалъ Руссо: — вы хотите бывать у меня, а я не хочу этого“. Молодые писатели за совѣтомъ, бѣдняки за помощью, дамы за бесѣдою, несчастные за утѣшеніемъ — всѣ шли или писали къ Руссо. „Двадцати лѣтъ едва-ли хватило-бы, чтобы только прочитать всѣ эти бумаги, которыя я долженъ былъ пересмотрѣть, исправить. Нужно было-

бы десять рукъ и десять секретарей, чтобы писать письма и записки, комплименты и стихи, которыхъ настойчиво требовали отъ меня“. Большая часть посѣтителей руководилась однимъ празднымъ любопытствомъ, но были въ числѣ ихъ и такіе, которые знакомились съ Руссо съ цѣлью посмѣяться надъ нимъ. Таковъ былъ Рюльеръ, салонный франтъ, посѣщавшій Руссо съ тѣмъ, чтобы потомъ рассказывать о немъ въ большомъ свѣтѣ и вывести его въ своей комедіи, которую онъ тогда писалъ. Не мало было у Руссо и самыхъ пламенныхъ поклонниковъ, особенно среди молодыхъ писателей и ученыхъ, которые чуть не молились на него, и въ ихъ обществѣ онъ какъ-бы молодѣлъ самъ. Но его подозрительность скоро начала усиливаться снова. Даже въ своихъ искреннихъ поклонникахъ онъ видѣлъ льстецовъ и не могъ простить своимъ друзьямъ, что они не развѣдываютъ и не извѣщаютъ его о козняхъ враговъ. „Люди наскучили мнѣ, говаривалъ онъ перѣдко, — и я подумываю возвратиться къ прежней уединенной жизни“. Но ему еще нужно было пустить въ ходъ свои „Признанія“.

„Дневники и признанія, справедливо замѣчаетъ Геттнеръ, — всегда будутъ носить на себѣ проклятье тщеславія: человекъ стоитъ передъ зеркаломъ, выбираетъ искусственную позу, принимаетъ и представляетъ себя героемъ романа. Но это разсматриванье себя въ зеркало никогда не бывало такъ рѣзко, какъ у Руссо. Онъ не написалъ ни одного письма, котораго-бы сначала старательно не обдумалъ и не обработалъ; даже любовныя письма къ г-жѣ д'Урто были написаны имъ вдвойнѣ. Только немного лѣтъ назадъ въ *Revue Suisse* изданъ былъ первый планъ начала „Признаній“, находящійся въ невшательской публичной библіотекѣ, который ясно показываетъ, какъ рассчитанно и тонко придумано въ нихъ распредѣленіе свѣта и тѣни“. Главная цѣль „Признаній“ — защита отъ обвиненій враговъ и самовосхваленіе. „Я предпринимаю сочиненіе, которое не имѣло и не будетъ имѣть себѣ подобнаго, говоритъ Руссо въ предисловіи. — Я хочу показать другимъ людямъ человека въ его истинной природѣ; этотъ человекъ я, я одинъ. Я знаю свое сердце и сердца другихъ. Я созданъ не такъ, какъ кто-нибудь изъ тѣхъ, кого я видѣлъ; я осмѣливаюсь думать, что я не таковъ, какъ кто-бы то ни было изъ тѣхъ, которые существуютъ. Если я не лучше ихъ,

то я все-таки не такой. Пусть труба страшнаго суда звучитъ когда хочеть, я предстану передъ судьей міровъ съ этой книгой въ рукахъ и скажу громко: „вотъ что я дѣлалъ, что думалъ, чѣмъ я былъ“. Я съ одинаковой прямою раскрылъ и хорошее, и дурное; я не скрылъ ничего дурнаго и не прибавилъ ничего хорошаго; и если мнѣ случалось употребить какое-нибудь индифферентное украшеніе, это было только для того, чтобы недостаткомъ памяти не сдѣлать пропуска въ разсказѣ. Я показалъ себя, какимъ я былъ, презрѣннымъ и низкимъ, когда я былъ такимъ, но и добрымъ, благороднымъ, возвышеннымъ; все, что было внутри меня, теперь раскрыто! Вѣчный Боже, собери вокругъ меня безконечное множество моихъ братій—людей, чтобы они слышали меня; они могутъ вздыхать о моихъ недостаткахъ, краснѣть за то, что было во мнѣ низкаго; но пусть каждый съ такою-же искренностью раскроетъ передъ престоломъ твоимъ свое сердце, и тогда пусть скажетъ кто-нибудь изъ нихъ, если можетъ: „я былъ лучше его!“ Съ такимъ самовосхваленіемъ мы встрѣчаемся на каждомъ шагу и въ „Признаніяхъ“, и въ письмахъ. „Я знаю свои великія ошибки и живо чувствую мои пороки, говорится, напр., въ письмѣ къ Малербу;—но я все-таки буду умирать съ полнымъ довѣріемъ къ Высшему Существому, убѣжденный, что изъ всѣхъ людей, которыхъ я наблюдалъ, никто не былъ лучше меня“. „Вы, пишетъ онъ мадамъ Б.,—всегда оказывали уваженіе къ моимъ сочиненіямъ; вы оказали-бы столько-же уваженія къ моей жизни, если-бы она была вамъ извѣстна, и еще болѣе къ моему сердцу, если-бы оно было вамъ открыто: никогда не было сердца болѣе вѣжнаго, лучшаго и болѣе справедливаго; злоба и ненависть никогда не приближались къ нему“. Выбросивъ на улицу пятерыхъ дѣтей, Руссо въ „Признаніяхъ“ не стѣсняясь заявилъ, что онъ „никогда въ своей жизни не могъ быть человѣкомъ безъ чувства, безъ сердца, быть отцомъ, забывающимъ природу“!.. Даже свои пороки онъ выдаетъ иногда за доблести. Обвиняя, напр., себя въ неблагодарности къ г-жѣ Варренсъ, онъ прибавляетъ: „эта неблагодарность слишкомъ долго терзала мое сердце, чтобы оно могло быть сердцемъ неблагодарнаго!..“

Руссо хотѣлъ, чтобы „Признанія“ были изданы гораздо позже его смерти, но не могъ удержаться, чтобы не насладиться само-

восхваленіемъ передъ современниками, и началъ читать въ избранныхъ обществахъ. Первое свое чтеніе въ одномъ аристократическомъ кружкѣ онъ кончилъ слѣдующею рѣчью: „Я сказалъ всю правду. Если кто-нибудь знаетъ вещи, которыя противорѣчатъ сказанному, то—будь онъ тысячу разъ доказаны—онъ знаетъ только ложь и клевету! Я громко и смѣло объявляю: должно удавить того человѣка, который, даже не читавъ моихъ сочиненій, только познакожившись лично съ моимъ характеромъ, съ моими нравами и привычками, съ моими удовольствіями и обычаями, будетъ считать меня дурнымъ человѣкомъ!“ Собраніе молчало, и Руссо остался крайне недоволенъ. Онъ поручилъ Дюссо составить кружокъ слушателей изъ болѣе подходящихъ людей. „Въ шесть часовъ утра, говоритъ Дюссо,—всѣ избранные собрались у г. Пезэ. Руссо былъ уже тамъ. Это засѣданіе, можетъ быть, самое продолжительное, какое только извѣстно въ литературныхъ лѣтописяхъ всѣхъ вѣковъ, тянулось семнадцать часовъ и было только дважды прервано кратковременными завтраками. Во все это время голосъ Руссо не ослабѣлъ ни на минуту, равно какъ и вниманіе слушателей. Когда онъ дошелъ до мѣста, въ которомъ онъ рассказываетъ о покинутіи своихъ пятерныхъ дѣтей, ему было тяжело. Онъ остановился и посмотрѣлъ на насъ вопросительно. Мы потупили глаза. „Вы ничего не имѣете замѣтить мнѣ?“ Ему отвѣчали глубокимъ молчаніемъ. Онъ очень хорошо замѣтилъ наше смущеніе и печаль. Когда мы пошли къ столу, онъ сказалъ намъ: „вы люди справедливы! Вы не осмѣлились судить, не выслушавъ меня. Слушайте-же мою защиту!“ Онъ говорилъ, и съ каждымъ словомъ наши фивіономіи прояснялись. Мы почти раскаявались, что смущили его, и онъ имѣлъ полное основаніе быть довольнымъ своей защитой. Нѣкоторые изъ насъ хватали его руки, цѣловали ихъ и старались его утѣшить. Онъ плакалъ и всѣ мы проливали горячія слезы“.

За этимъ чтеніемъ слѣдовали другія. Парижъ, Франція, Европа взволновались. „Уже одна вѣсть объ обнаруженіи этихъ грозныхъ признаній произвела величайшую сенсацію. Короли, принцы, всѣ вострепнулись одинаково, хотя изъ разныхъ побужденій,—одни изъ желанія узнать, въ какомъ свѣтѣ выставлены они сами, другіе изъ интереса къ Руссо, третьи изъ злостнаго

любопытства“. Отъ слышавшихъ чтеніе „Признаній“ вѣсти о содержаніи ихъ расходились шире и шире, подвергаясь всевозможнымъ преувеличеніямъ и искаженіямъ и возбуждая противъ Руссо злобу и недовольство тѣхъ, которые справедливо или несправедливо считали себя обиженными. Малеръ просилъ его исключить изъ „Признаній“ нѣкоторые анекдоты, наносящіе безчестіе цѣлымъ семействамъ. Руссо отвѣчалъ: „Что написано, то написано; я ничего не исключу. Пусть, если угодно, волнуются; но вѣдь мои „Признанія“ появятся только тогда, когда умрутъ послѣдніе изъ людей, о которыхъ идетъ въ нихъ рѣчь“. А самъ, между тѣмъ, продолжалъ читать ихъ!.. Мадамъ д'Эпинэ, которой Руссо очень ужъ удружилъ въ „Признаніяхъ“, обратилась къ президенту полиціи и настойчиво требовала запретить Руссо чтеніе его „паксвилльскихъ“ мемуаровъ. Руссо пригласили въ полицію, и чтенія прекратились. Это запрещеніе подѣйствовало на него не такъ тяжело, какъ то, что „Признанія“ достигли совершенно противоположныхъ результатовъ, чѣмъ тѣ, какіе имѣлись въ виду при ихъ составленіи и чтеніи. Они не оправдали Руссо въ глазахъ людей безпристрастныхъ, а врагамъ дали страшное оружіе противъ него. До сихъ поръ Руссо могъ еще говорить о клеветѣ враговъ, теперь - же враги могли опираться на его собственные признанія, выбирая изъ нихъ все дурное и отбрасывая смягчающіе коментаріи автора. Разочарованіе Руссо было такъ-же сильно, какъ и упоеніе славой въ первые дни по пріѣздѣ въ Парижъ. Онъ рѣшился „погасить фонарь, съ которымъ такъ напрасно искалъ человѣка“, нигдѣ не бывать и по-возможности никого не принимать, кромѣ тѣхъ, которые, „по крайней мѣрѣ, настолько деликатны, что не будутъ оскорблять его въ собственной квартирѣ“. Однакожь, у него все-таки не мало бывало гостей, внушавшихъ ему самый живой интересъ. Таковъ былъ, напр., знаменитый композиторъ Глюкъ, съ которымъ Руссо сначала былъ очень друженъ, а потомъ грубѣйшимъ образомъ прервалъ съ нимъ всякія сношенія, объясняя причину своего поступка такъ: „Глюкъ до сихъ поръ писалъ для итальянскаго языка, столь удобнаго для музыки, а теперь началъ для французскаго, который не подходитъ къ ней ни въ какомъ отношеніи. Такъ-какъ я утверждаю, что на французскій текстъ невозмож-

но написать хорошей музыки, то онъ и поступилъ такъ единственно съ тѣмъ, чтобы сдѣлать меня лжецомъ!..“

Въ это время Руссо во второй разъ былъ приглашенъ разыграть роль повѣйшаго Солона. По просьбѣ польскихъ патріотовъ онъ написалъ свои „Размышленія о польской конституціи и ея реформѣ“. Эта работа нѣсколько отвлекла его отъ мрачныхъ мыслей, но едва она была кончена, едва успѣлъ смолкнуть возбужденный ею гулъ похвалъ, какъ меланхолія снова овладѣла несчастнымъ. Онъ рѣшился начать, такъ-сказать, тяжбу съ чelовѣчествомъ, оправдать себя отъ клеветъ и обвиненій и обвинить людей въ самой несправедливой, самой безсмысленной враждѣ къ нему. Эта апологія имѣетъ форму діалога между „французомъ“ и „Жанъ-Жакомъ“, разсуждающими о жизни и сочиненіяхъ Руссо. Вотъ какъ описываетъ французъ отношенія къ Руссо людей. „Если онъ переѣзжаетъ куда на квартиру, что обыкновенно извѣстно заранее, то стѣны, полы, замки, — словомъ, все приводится въ надлежащій порядокъ. Но при этомъ не забываютъ снабдить его и подходящими сосѣдями, т. е. хитрыми шпионами, ловкими мерзавцами и хорошенькими дѣвушками, которые получаютъ точныя инструкціи. Всѣ его письма вскрываются и тѣ изъ нихъ, которыя могутъ дать какое-нибудь свѣденіе объ его положеніи, задерживаются. Ему-же посылаютъ постоянно письма разнаго почерка, чтобы изъ его отвѣтовъ узнать объ его мысляхъ и намѣреніяхъ. Изъ Парижа для него сдѣлали пустыню ужаснѣе вертеповъ и лѣсовъ. Онъ не находитъ среди людей ни сочувствія, ни утѣшенія, ни совѣта, ничего, что помогло бы ему держаться какъ слѣдуетъ. Въ этомъ чудовищномъ лабиринтѣ, во тьмѣ, ему указываютъ только тѣ тропинки, на которыхъ онъ заблуждается больше и больше. Замѣчаютъ всѣхъ, желающихъ видѣть его, и дозволяютъ свиданіе только тѣмъ, которые согласятся дѣйствовать по инструкціямъ. Если онъ появляется въ общественномъ мѣстѣ, то на него смотрятъ и обращаются съ нимъ, какъ съ зараженнымъ чумою. Всѣ окружаютъ его, но не приближаясь и не заговаривая съ нимъ. Если-же онъ самъ осмѣливается заговорить, то ему или отвѣчаютъ лживо, или-же обходятъ вопросъ такъ грубо и презрительно, что онъ уже не рѣшается продолжать. Въ театрахъ его усердно рекомендуютъ сосѣдямъ и постоянно ставятъ подлѣ него наблюдателя или поли-



цейскаго, который такъ ясно говорить о немъ, не произнося ни слова. Вездѣ и каждому указываютъ его, — прикащикамъ, носильщикамъ, полицейскимъ шпионамъ, во всѣхъ театрахъ, ресторанахъ, цирюльняхъ, лавкахъ, книжныхъ магазинахъ. Ищетъ-ли онъ какую-нибудь книгу, календарь, романъ, — во всемъ Парижѣ не оказывается ни одного экземпляра! Стоитъ ему только выразить желаніе имѣть какую-нибудь вещь, какъ она уже исчезла. Хочетъ-ли онъ переписать рѣку, не везутъ, хотя-бы онъ платилъ за весь паромъ "... По этому отрывку изъ обвинительнаго акта противъ челоуѣчества читатель можетъ судить, какъ сильно было душевное разстройство Руссо. Написавъ этотъ актъ, Руссо побоялся печатать его, да онъ и не надѣялся болѣе на то, что люди поймутъ его, и рѣшился обратиться къ самому Богу, положивъ рукопись на алтарь кафедральнаго собора Божіей Матери (Notre Dame de Paris). Изучивъ расположеніе церкви, онъ переписалъ свое произведеніе и сдѣлалъ на оберткѣ надпись:

• *„Провидѣнію врученный актъ“.*

„Покровитель угнетаемыхъ, Богъ справедливости и истины, прими этотъ актъ, который несчастный чужеземецъ возлагаетъ на алтарь твой и повѣряетъ твоему провидѣнію! Онъ одинъ на землѣ, безъ покровительства, безъ защитниковъ, поруганный, осмѣянный, отверженный, оскорбленный цѣлымъ поколѣніемъ, служащій пятнадцать лѣтъ жертвою гоненія, которое хуже смерти, и неслыханныхъ до сихъ поръ между людьми несправедливостей, даже причины которыхъ онъ узнать не въ состояніи. Отъ людей я уже не жду ничего, кромѣ позора, лжи и измѣны. Вѣчный Промыслъ, ты моя единственная надежда! Прими этотъ актъ подъ свою защиту, и да попадетъ онъ въ молодые и вѣрные руки, которыя-бы въ цѣлости передали его лучшему поколѣнію. Пусть послѣднее, сожалѣя о судьбѣ моей, узнаетъ, какъ нигдѣ живущіе люди поступали съ челоуѣкомъ, немилостивымъ ни злобы, ни лжи, который былъ врагомъ несправедливости, но могъ терпѣливо переносить ее и никогда не желалъ, не дѣлалъ, не воздавалъ никому зломъ.

„Я, рассказываетъ самъ Руссо, — взявъ адресованный такимъ образомъ пакетъ и 24 февраля 1776 г. отправился въ соборъ Богоматери, около 2 часовъ, чтобы положить его на алтарь. Я хотѣлъ войти въ однѣ изъ боковыхъ дверей, но, найдя ихъ за-

пертыми, пошелъ въ другія. Когда я вошелъ, то взглядъ мой упалъ на рѣшетку, до тѣхъ поръ незамѣченную мною, которая отдѣляла средину церкви отъ пространства, окружающаго хоры. Какъ только я увидѣлъ эту рѣшетку, то почувствовалъ головокруженіе, какъ при началѣ удара, и за этимъ головокруженіемъ слѣдовало такое потрясеніе всего моего организма, какого никогда не бывало со мною. Мнѣ казалось, что видъ церкви совершенно измѣнился; я сомнѣвался, дѣйствительно-ли я въ соборѣ Богоматери; я силился придти въ себя и лучше разсмотрѣть, что я вижу. Втеченіи 36 лѣтъ, проведенныхъ мною въ Парижѣ, я часто и въ разное время бывалъ въ этомъ соборѣ и постоянно проходилъ около хоръ видѣлъ открытымъ, никогда не замѣчая тутъ ни рѣшетки, ни двери. Изумленный этимъ неожиданнымъ препятствіемъ, тѣмъ болѣе, что я никому не говорилъ о своемъ намѣреніи, я подумалъ, что даже небо принимаетъ участіе въ людской несправедливости. Ропотъ, которому я произвольно предался, будетъ понятенъ только тому, кто сможетъ стать на мое мѣсто, и извинителенъ лишь для тѣхъ, которые умѣютъ смотрѣть въ глубину сердца. Я поспѣшно оставилъ церковь, чтобы никогда болѣе не вступать въ нее, и въ лихорадочномъ возбужденіи проходилъ весь остатокъ дня, не зная, гдѣ я и куда я иду; наконецъ, я не могъ двигаться далѣе; усталость и наступившая ночь заставили меня, совершенно истомленного, вернуться домой“.

Вскорѣ Руссо узналъ, что въ Парижъ пріѣхалъ его старшій знакомый, знаменитый философъ Кондильякъ. Онъ увидѣлъ въ этомъ указаніе самого неба, отправился къ Кондильяку съ своею рукописью и оставилъ ее у него. „Черезъ двѣ недѣли я снова посѣтилъ его, въ полной увѣренности, что настала минута, когда спадеть завѣса съ глазъ моихъ и я такъ или иначе получу объясненіе, которое, какъ я думалъ, должно быть результатомъ чтенія моей рукописи. Но ничего не бывало. Онъ говорилъ о рукописи, какъ о литературномъ произведеніи, относительно котораго словно я просилъ у него совѣта. Онъ говорилъ о передѣлкахъ, необходимыхъ для лучшаго распредѣленія матеріала, но ничего не сказалъ о впечатлѣніи, какое она произвела на него, и что онъ думаетъ объ ея авторѣ“. Оставивъ Кондильяка, Руссо рѣшился искать подходящаго человѣка, которому можно было-бы

вручить на храненіе свою рукопись. Съ жаромъ онъ началъ переписывать ее, и еще не кончилъ, какъ его посѣтилъ прѣхавшій изъ Англіи знакомый молодой англичанинъ, котораго Руссо принялъ, какъ посланника неба, и передалъ ему рукопись. Но и это не успокоило его. Онъ пришелъ къ заключенію, что дѣйствовалъ глупо, обращаясь въ такомъ дѣлѣ къ болѣе или менѣе близкимъ ему людямъ: вѣдь всѣ они орудія его враговъ. Людей справедливыхъ онъ можетъ найти только вдали отъ себя. Онъ рѣшилъ написать „родъ окружнаго посланія“ и раздавать его на улицахъ людямъ, фізіономіи которыхъ внушаютъ довѣріе. Эти циркуляры были адресованы „каждому французу, который любитъ еще истину и справедливость“. Въ нихъ заключались обыкновенныя жалобы Руссо на судьбу свою и просьба объяснить ему причины воздвигнутаго на него гоненія. Сдѣлавъ множество копій, онъ началъ раздавать ихъ на улицахъ, но проходящіе или не принимали конвертовъ, или смѣялись надъ нимъ. Тогда Руссо рѣшилъ, что пусть всѣ считаютъ его мошенникомъ и злодѣемъ, пусть даже будущія поколѣнія получаютъ о немъ совершенно превратное понятіе, онъ все-таки останется честнымъ и будетъ ждать переселенія въ вѣчную, блаженную жизнь. Для его блаженства вовсе не нужно, чтобы люди узнали его и оказали ему справедливость. Небо, безъ сомнѣнія, ведетъ его особымъ путемъ, чтобы осчастливить и наградить его за страданія.

Эта мысль нѣсколько успокоила Руссо, хотя далеко не примирила его съ его положеніемъ. Онъ по-прежнему былъ подозрителенъ, часто походилъ на помѣшаннаго, безмолвный сидя на стулѣ, постоянно вертѣлся на немъ или раскачивалъ рукою, какъ маятникомъ. Всѣ его мысли были сосредоточены на собственныхъ несчастіяхъ, всякое событіе онъ такъ или иначе связывалъ съ своей судьбой. „Однажды, рассказываетъ Бсрансе, — онъ говорилъ со мной о смерти Людовика XV. Слушая его тяжелые вздохи и выраженія глубочайшей скорби, я изумился. „Съ вашими принципами, сказалъ я, — вы не можете ни въ какомъ отношеніи сочувствовать Людовику XV, ни какъ отцу семейства, ни какъ государю; его безнравственность и преступная безчестность принесли только зло“. — „Вы, отвѣчалъ Руссо, — не видите послѣдствій, какія смерть этого короля должна имѣть для меня лично. Для всѣхъ другихъ людей смерть его можетъ быть бла-

годѣянiемъ. Но вспомните, что его всѣ ненавидѣли. Меня тоже всѣ ненавидятъ. До сихъ поръ всеобщая ненависть раздѣлялась между нами обоими; теперь-же остаюсь я одинъ и одинъ долженъ буду нести на себѣ всю тяжесть ея“. — „Въ другой разъ онъ спросилъ меня: знаете-ли вы, почему я такъ люблю Тассо? — „Нѣтъ, но догадываюсь“, и Корансе осыпалъ похвалами великаго поэта. „Въ томъ, что вы говорили, отвѣчалъ Руссо,—есть доля правды; но знаете-ли, что Тассо предсказалъ мои несчастiя? Какъ онъ могъ знать о моей горькой судьбѣ, я не знаю и, вѣроятно, онъ самъ не зналъ; но онъ все-таки предсказалъ мои несчастiя“. Музыка, прогулки, ботаника, свиданiя съ немногими друзьями нѣсколько развлекали Руссо. Онъ никого изъ постороннихъ не принималъ, ни у кого не бывалъ, даже не распечатывалъ писемъ съ адресами, написанными незнакомымъ почеркомъ. Болѣзнь не очень мучила его; но однажды во время прогулки на него бросилась большая датская собака; Руссо перепрыгнулъ черезъ нее, но упалъ на мостовую, страшно разбился и долго пролежалъ въ постели. Между тѣмъ по городу прошелъ слухъ о его смерти, начали даже собирать деньги на изданiе оставшихся послѣ него рукописей. Руссо, узнавъ объ этомъ, вообразилъ, что дѣло идетъ объ изданiи не настоящихъ его сочиненiй, а подложныхъ, давно будто-бы уже заготовленныхъ его врагами. Онъ уже не сомнѣвался болѣе, что послѣ смерти будетъ оклеветанъ и опозоренъ еще болѣе, чѣмъ при жизни, и утѣшался только одною надеждою вѣчнаго блаженства. Его положенiе было ужасно. Работать много онъ не могъ, хворалъ, хворала и Тереза; бѣдность доходила до крайней степени. Въ февралѣ 1777 г. Руссо уже доведенъ былъ до того, что раздавалъ проходящимъ на улицахъ слѣдующiй циркуляръ: „Жена моя давно уже нездорова и ея постоянно возрастающая болѣзненность не только не позволяетъ вести наше маленькое хозяйство, но дѣлаетъ для нея самой необходимою чужую помощь, когда она принуждена лежать въ постели. До сихъ поръ, въ случаѣ ея болѣзни, я самъ ухаживалъ за ней; но старость не позволяетъ болѣе дѣлать мнѣ этого. За хозяйствомъ, какъ ни ничтожно оно, тоже нужно смотрѣть, покупать припасы, готовить ихъ, поддерживать чистоту. Такъ-какъ мнѣ одному со всѣмъ этимъ не управиться, то я пробовалъ держать служанку. Но десятилѣтний опытъ убѣдилъ меня,

что это средство недостаточно и при нашемъ положеніи соединено съ большими неудобствами, которыя неизбѣжны и невыносимы. Мы, такимъ образомъ, принуждены жить совершенно одни и, въ то-же время, не можемъ обходиться безъ чужой помощи; при нашей слабости и одиночествѣ намъ остается только одно средство для поддержанія себя въ дни старости,—обратиться къ тѣмъ, которые располагаютъ нашею судьбою, съ просьбою дать намъ пристанище, въ которомъ-бы мы могли жить на свой счетъ, но безъ трудовъ и заботъ, превышающихъ наши силы. Какъ-бы со мной ни поступали, будутъ-ли меня содержать въ формальномъ заключеніи или предоставлять наружную свободу, поселать-ли въ больницы или пустынь, между жестокими или добрыми, фальшивыми или искренними людьми,—я согласенъ на все, только-бы дали женѣ моей необходимый уходъ, а мнѣ какое-нибудь жилище, самое простое платье и пищу“.

Маркизь Жирарденъ предложилъ Руссо квартиру въ своемъ помѣстьи, и въ маѣ 1778 г. Руссо переѣхалъ въ нее. Онъ ботанизировалъ, училъ музыкѣ дѣтей своего хозяина, былъ спокоенъ нѣкоторое время, но вдругъ все окружающее окрасилось въ глазахъ его въ черный цвѣтъ, опротивѣло, и онъ началъ готовиться къ возвращенію въ Парижъ. Кое-какъ успокоили его, и онъ остался. Онъ жилъ совершенно уединенно, не прерывая сношеній только съ семействомъ Жирарденовъ да съ крестьянами. Людей незнакомыхъ онъ избѣгалъ и имъ стоило большого труда, чтобы увидѣть его.

Руссо умеръ въ іюнь 1778 г., 66 лѣтъ отъ роду. Смерть его была скоропостижна и до сихъ поръ не разъяснено, была-ли она естественна или-же онъ отравился. При вскрытіи головы у него нашли 8 унцовъ серозной жидкости между существомъ мозга и оболочками. Этимъ накопленіемъ, вѣроятно, и слѣдуетъ объяснить его психическое разстройство въ послѣднее время жизни.

Для похоронъ Руссо не было пастора, а католическіе патеры не хотѣли отпѣвать еретика. Вѣсть объ его смерти была сигналомъ, по которому посыпались на покойника всевозможные печатныя пасквили и даже его надгробный камень марали циническими надписями. Но молодое поколѣніе выросло въ любви и уваженіи къ нему и его идеи скоро начали осуществляться въ жизни. Онъ вошелъ въ общее сознаніе и легли въ основу новѣйшаго мі-

росоверпанія. Руссо былъ однимъ изъ величайшихъ провозвѣстниковъ лучшаго будущаго; переработавъ въ своемъ чувствѣ и сознаніи старинную идею объ естественномъ состояніи и естественномъ правѣ, переданную Европѣ римской юриспруденціей, онъ воспользовался ею для проповѣди о возрожденіи человѣчества, погрязшаго въ омутѣ ложныхъ положеній. Руссо сдѣлался идоломъ, и его кости въ 1794 г. были торжественно перенесены въ Пантеонъ, вмѣстѣ съ гробомъ Вольтера. Но недолго онѣ пролежали здѣсь: въ 1814 г. клерикалы тайно уничтожили останки Руссо и Вольтера, бросивъ ихъ въ известковую яму и оставивъ только ихъ пустые гробы. И послѣ смерти не нашелъ покоя этотъ несчастнѣйшій человѣкъ! Рожденный съ необыкновенными способностями, но совершенно испорченный съ дѣтства, онъ привилъ къ себѣ всѣ пороки и слабости воспитавшаго его дряхлаго общества и готовъ былъ превратиться въ какого-нибудь архимощенника, въ родѣ Картуша. Но въ томъ-же обществѣ, которое развратило его, лежали уже сѣмена лучшей жизни, упавшія на плодородную почву его души и давшія жизнь чуднымъ растеніямъ, перемѣшаннымъ съ плевелами. Жизнь, создавшая Руссо, могла создавать только подобныхъ ему людей, которые, по выраженію Бэкона, своимъ мыслию подобны ангеламъ парящимъ, а страстями — змѣямъ, пресыщающимся по землѣ.

С. Оставрикъ.

## Ж И З Н Ь.

Жизнь, точно сказочная птица,  
Меня надъ бездною несетъ.  
Вверху мерцаетъ звѣздъ станица,  
Внизу шумить водоворотъ.

И слышно въ этой безднѣ темной  
Не ясный рокоть, ревъ глухой,  
Какъ будто звѣрь рычить огромный,  
Въ желѣзной клѣткѣ запертой.

Порою звѣзды скроютъ тучи  
И я, на трепетномъ хребтѣ,  
Съ тоской и болью въ сердцѣ жгучей,  
Мчусь въ непредѣльной пустотѣ.

Тогда страшить меня молчанье  
Свинцовыхъ тучъ, и вѣтра вой,  
И крыль холодныхъ колыханье,  
И мракъ, гудящій подо мной,

Когда-же тѣни ночи длинной  
Смѣнятся краткимъ блескомъ дня?  
Что будетъ тамъ, вдали пустынной?  
Куда уносить жизнь меня?

Чѣмъ кончить? Въ бездну-ли уронить,  
Иль въ область свѣта принести,  
И духъ мой въ мирномъ снѣ потонетъ?—  
Иль ждать меня иной исходъ?..

Отвѣта нѣтъ: однѣ догадки,  
Предположеній смутный рой!  
Кружатся мысли въ беспорядкѣ,  
Мечта смѣняется мечтой...

Смерть, вѣчность, тайна мірозданья,—  
Какой хаосъ! И, сверхъ всего,  
Всплываетъ страшное сознанье,  
Въ безсиле духа своего.

И. Суринъ.

# ИСПОВѢДЬ СТАРИКА.

РОМАНЪ

ИПОЛИТА НЬЕВО.

(Переводъ съ итальянскаго.)

(Окончаніе.)

ГЛАВА XX.

Въ лагерь Пепе въ Авруццахъ.—Я знакомлюсь съ тюрьмой.—Пизана опять спасаетъ меня.—Слѣпота и нищета.—Лондонскіе эмигранты и греческіе войцы.—Я прозрѣваю, лишаюсь Пизаны и возвращаюсь на родину.

Въ декабрь 1820 года я отправился на корабль изъ Венеціи. На высотѣ Анконы насъ встрѣтило сирокко и такъ задержало, что мы четыре недѣли плыли до Манфредоніи, гдѣ я долженъ былъ высадиться, а въ Мольфету я попалъ уже въ первыхъ числахъ февраля. Провинціальная милиція собиралась на границахъ Авруццъ отражать съ генераломъ Гильельмо Пепе нашествіе непріятеля, грозившее съ этой стороны, въ то время, какъ регулярная армія подъ начальствомъ Караскозы стояла между Гаэтой и Аппенинами противъ главныхъ непріятельскихъ силъ, ожидаемыхъ по римской дорогѣ. Я быстро покончилъ свои дѣла. Старый священникъ умеръ, но занесъ имя моего отца въ списки умершихъ въ 1799 году. Я снялъ съ книги копію и послѣшилъ въ лагерь генерала Пепе исполнить данныя мнѣ по-



рученія. Молодой генеральъ принялъ меня очень любезно. Онъ твердо полагался на храбрость своихъ волонтеровъ и приготовлялся мужественно отразить непріятеля. Никто не ожидалъ, что Пугентъ атакуеть его со всѣми своими силами. Не довѣря папскому правительству, Пепе намѣревался предпринять движеніе на Ріети въ Церковной области. Онъ распоряжался приведеніемъ въ исполненіе этого смѣлаго замысла, когда я былъ введенъ къ нему и вручилъ ему мои рекомендательныя письма. Выслушавъ меня, онъ отвѣчалъ, что подумаетъ о моемъ предложеніи, когда дѣло дойдетъ до военныхъ дѣйствій и когда онъ, какъ ему казалось, прогонитъ непріятеля за По.

За обѣдомъ у генерала было нѣсколько молодыхъ сициліянецъ, людей пылкихъ, утонченно-вѣжливыхъ и хорошо образованныхъ. Сицилія—Тоскана нижней Италіи и ей очень трудно было уживаться съ грубоватымъ Неаполемъ. Въ то время въ Сициліи желали отдѣленія отъ Неаполя, и генеральъ Флорестанъ Пепе былъ посланъ туда съ войскомъ удерживать эти сепаратистскія стремленія, что значительно ослабило неаполитанскую армію. Если-бы Флорестанъ Пепе оставался съ своимъ войскомъ въ Неаполѣ, онъ могъ-бы подкрѣпить брата своего, Гильельмо, или Караскову и, такимъ образомъ, можно было-бы избѣжать пораженій при Ріети и при Антродоко.

Сициліянскіе депутаты, впрочемъ, защищали своихъ согражданъ отъ упрека въ несвоевременныхъ притязаніяхъ; они приписывали эти притязанія прокамъ кальдераровъ, тайнаго общества, противопоставленнаго карбонарамъ начальникомъ полиціи Канозой. Но тайное общество, покровительствуемое полиціей, не можетъ имѣть серьезнаго вліянія, и если эти промки удались, значитъ почва для нихъ существовала въ націи. Объ этомъ у насъ шли жаркіе споры. Депутаты въ доказательство добрыхъ намѣреній своихъ соотечественниковъ шли на уступки, но, въ свою очередь, требовали нѣкоторыхъ гарантій, послѣ чего сициліянцы будутъ искренно помогать во всемъ Неаполю. Генеральъ выражалъ свою готовность содѣйствовать соглашенію, но теперь ему было не до того. Едва мы успѣли отобѣдать, какъ узнали, что въ окрестностяхъ былъ замѣченъ эскадронъ австрійскихъ уланъ; вслѣдъ затѣмъ прибыли бѣглецы изъ поселянъ; они увѣрили, что за ними идетъ большая невріятельская армія. Генера-

ралъ рѣшилъ, что, вѣроятно, австрійцы желаютъ сдѣлать ложную диверсію со стороны Капуи, чтобы отвлечь туда всѣ наши силы, а самимъ въ это время проникнуть въ страну черезъ плохо - охраняемые абруцскіе проходы. Генералъ надѣялся продержаться при Ріети столько времени, чтобы дать Караскозѣ время заступить дорогу къ Неаполю съ Абруцъ. Онъ двинулъ въ Ріети всю милицію, бывшую у него подъ рукою; я и сициліянце вызвались идти съ нею; онъ назначилъ меня начальникомъ небольшого кавалерійскаго отряда и поручилъ какъ можно скорѣе занять важную позицію Ріети. Затѣмъ онъ разослалъ всѣмъ отряднымъ начальникамъ приказъ спѣшить въ Ріети.

Опасенія его были не напрасны. Нугентъ со всей арміей стоялъ на границѣ Абруцъ. Сильный отрядъ кавалеріи атаковалъ Ріети. Пѣшіе волонтеры плохо выдерживали кавалерійскія атаки; внезапность нападенія, громадное превосходство силъ непріятеля, слабость средствъ защиты поставили ихъ въ затруднительное положеніе. Артилеріи почти не было; кавалеріи было не болѣе 400 человѣкъ. Когда мы прибыли, Ріети было потеряно. Пепе зналъ, что, потерявъ эту позицію, другой подобной нельзя было найти; въ то-же время стали подходить разбросанные отряды и усиливать его войско. Онъ собралъ военный совѣтъ; командиры отрядовъ признали невозможнымъ овладѣть позиціей, которую непріятель уже успѣлъ укрѣпить артилеріей. Но генералъ настаивалъ на необходимости рѣшенія. Онъ объявилъ наотрѣзъ, что не покинетъ границы, не испробовавъ послѣдней попытки овладѣть Ріети. На это отчаянное воззваніе откликнулось много волонтеровъ и въ числѣ первыхъ я съ сициліянцами.

Только на минуту блеснула у меня мысль о женѣ и дѣтяхъ; я подумалъ, что первая обязанность отца—оставить сыновьямъ хорошей примѣръ. Смерть въ эту минуту казалась мнѣ прекрасной и славной.

Атака наша была быстра и рѣшительна, но насъ было слишкомъ мало. Непріятельская картечь страшно опустошала наши слабые ряды. Изъ сициліянцевъ только одинъ остался въ живыхъ и былъ взятъ въ плѣнъ передъ жерломъ пушки. Вторично двинулись мы въ атаку; пули сыпались на насъ градомъ; половина волонтеровъ легла; остальные дрогнули и разсѣялись, а не-

пріятельская кавалерія, бросившись въ карьеръ, растоптала ихъ. Генераль почти одинъ усекалъ въ Аквилу, куда бѣжали остатки войска. Я, тяжело раненный въ плечо, всячески старался спрятаться, но нѣсколько стрѣлковъ подиѣтили меня, взяли въ плѣнъ и, узнавъ, что я не неаполитанецъ, сдали меня въ главную квартиру, гдѣ я оставался до конца кампаніи и былъ свидѣтелемъ пораженій неаполитанцевъ при Аквилѣ и Антро-доко.

Въ мартѣ меня привезли въ Неаполь, засадили въ замокъ Саянт-Эльмо и предали военному суду; рана моя не успѣла еще зажить, какъ мнѣ въ одно прекрасное утро прочли смертный приговоръ. Я ничего не писалъ роднымъ, находя, что дурная вѣсть всегда придетъ слишкомъ рано, и приготовился умереть съ достоинствомъ. Правда, мнѣ намекнули, что я могу получить прощеніе, если скажу, кто меня послалъ и съ какими порученіями; но на этотъ нескромный вопросъ я отвѣчалъ только, что пріѣхалъ за свидѣтельствомъ о смерти моего отца, которое и было найдено на мнѣ, и что, на свою бѣду, пожелавъ повидаться съ генераломъ Пепе, попалъ въ эту несчастную передрагу. На это объясненіе не обратили вниманія, но я воспользовался этимъ разговоромъ, чтобы попросить переслать свидѣтельство моему семейству, которому оно можетъ понадобиться для полученія денегъ съ Порты. Полицейскіе посмотрѣли на меня съ изумленіемъ, предполагая, что я рехнулся; но я увѣрилъ ихъ, что нахожусь въ здоровомъ умѣ, и далъ имъ адресы моей жены и зятя. Они обѣщали исполнить мое желаніе. Затѣмъ я освѣдомился, когда назначена церемонія казни и гдѣ она совершится; мнѣ отвѣчали: „черезъ три дня и во рву замка“. Непріятно: быть въ Неаполѣ и не увидѣть его! Оставшись одинъ, я старался укрѣпиться духомъ. Но, признаюсь, ночь я провелъ безпокойно. На слѣдующее утро я услышалъ въ коридорѣ незнакомые шаги, и уже ожидалъ увидѣть или духовника, или прислужника палача, присланнаго, чтобы остричь мнѣ волосы. Вмѣсто того или другого явились три долговязыя черныя фигуры; одна изъ нихъ держала бумагу, медленно развернула ее и стала читать гнусливымъ голосомъ и скороговоркой. Мнѣ припомнился Фульдженціо и я слушалъ, ничего не понимая, какъ вдругъ былъ пораженъ словомъ *помилваніе*.

— Что? воскликнулъ я.

— „И казнь замѣняется вѣчной каторжной работой на галерахъ въ Понца“, прогнусѣлъ секретарь.

Сначала я очень обрадовался, но потомъ опомнился и подумалъ, что вѣчная каторга стоитъ висѣлицы. На островѣ-же Понца, куда меня перевезли, я началъ даже думать, что смертная казнь была-бы, пожалуй, лучше. Узкая комнатка съ деревянной скамейкой вмѣсто постели, вода и бобовая похлебка, многочисленное общество неаполитанскихъ мошенниковъ и калабрійскихъ разбойниковъ, легионы всевозможныхъ насѣкомыхъ,—все это переносить было выше моихъ силъ. Сторожа говорили, что воздухъ на Понца очень здоровъ; на меня-же онъ производилъ противное дѣйствіе. Не понимаю, какъ могли дочь и племянница Августа выживать здѣсь десятки лѣтъ; вѣроятно, имъ въ бобамъ отпущалось еще что-нибудь болѣе питательное. Я пробылъ здѣсь очень недолго: черезъ мѣсяць меня перевели въ Гаэту, гдѣ было нѣсколько получше. Здѣсь меня помѣстили въ маленькой комнаткѣ, ярко выбѣленной и выходящей окномъ прямо на море, такъ-что отъ постоянного солнечнаго отраженія и сверканія моря я сталъ терять зрѣніе. Всѣ просьбы мои оставались тщетны. Въ три мѣсяца я почти совсѣмъ ослѣпъ; вещи представлялись мнѣ не въ натуральномъ цвѣтѣ; я съ каждымъ днемъ терялъ представленіе о размѣрахъ; иногда моя клѣтка представлялась мнѣ громадной залой, а рука моя—слоновимъ хоботомъ; сторожа-же казались мнѣ носорогами. На четвертый мѣсяць этотъ мой фантастическій міръ рисовался мнѣ въ туманѣ; на пятый—я попалъ въ потемки и изъ всѣхъ цвѣтовъ видѣлъ только какой-то грязно-красный, смѣсь крови и пыли. Тутъ пришелъ приказъ перевести меня въ замокъ Сант-Эльмо, гдѣ ко мнѣ опять явились два секретаря съ новой бумагой. То было полное прощеніе. Я обрадовался, что могу скоро обнять жену, дѣтей, если не увидѣть родную страну, то хоть почувствовать себя дома. Но радость эта оказалась преждевременной. Мнѣ было приказано выѣхать изъ Италіи, а изгнаннику изъ Италіи въ то время не было убѣжища ни въ Испаніи, ни во Франціи. Меня утѣшило только сообщеніе, что помилованіемъ я обязанъ ходатайству княгини Сантакоче и что мнѣ позволено передъ отъѣздомъ увидѣться съ этой покровительницей.

Княгиня, вѣроятно, очень постарѣла; но я не видѣлъ ее и, слушая ея голосъ, готовъ былъ поклониться, что ей не больше тридцати лѣтъ, какъ во времена партенопейской республики. Она встрѣтила меня очень любезно, сказала, что очень рада, что могла выхлопотать мнѣ освобожденіе, но что объ этомъ, кромѣ нея, хлопотала еще другая особа, которая очень расположена ко мнѣ, однакожь желала-бы знать прежде, чѣмъ увидѣться со мной, дѣйствительно-ли здоровье мое такъ разстроено, какъ говорятъ.

— Княгиня, отвѣчалъ я, — къ несчастью, мнѣ не суждено больше видѣть любимыхъ лица, и я могу любоваться только въ воспоминаніи вашими милыми, кроткими чертами.

— Если такъ, сказала она, вставая и отворяя дверь въ кабинетъ, — идите сюда, синьера Пизана; вы дѣйствительно нужны синьеру Карло.

Я едва стѣла не сошелъ. Пизана была моимъ ангеломъ всякій разъ, какъ судьба поражала меня. Она неистово бросилась въ мои объятія, но увернулась въ ту минуту, когда я хотѣлъ прижать ее къ сердцу. Она взяла меня за руку и дала поцѣловать себя въ щеку.

— Карло, начала она взволнованнымъ голосомъ; — я пріѣхала въ Неаполь семь мѣсяцевъ тому назадъ съ позволенія или даже по просьбѣ вашей жены. Княгиня написала намъ въ Венецію, желая узнать, тотъ-ли Карло Альтовити содержится въ замкѣ Сант-Эльмо, котораго она знала двадцать лѣтъ тому назадъ. Она написала мнѣ потому, что другихъ вашихъ родныхъ не знала. Не получая отъ васъ долго писемъ, я уже предполагала, что вы волей или неволей участвуете въ неаполитанскомъ движеніи. Вы можете себя представить, какъ поразило насъ письмо княгини! Я хотѣла ѣхать тотчасъ, но это было невозможно. Я объяснила вашему зятю, что при помощи княгини я могла-бы много сдѣлать для васъ. Онъ хотѣлъ ѣхать со мной, но усилившаяся болѣзнь вашей сестры задержала его. Онъ далъ мнѣ на дорогу денегъ, потому что, вы знаете, ихъ у насъ не водится. Передъ отъѣздомъ я хотѣла повидаться съ вашей женой и съѣздила къ ней. Бѣдная Аввилина была въ отчаяніи; она хотѣла бросить все, домъ, дѣтей, брата, и ѣхать. Вашъ зять Спиро отговорилъ ее, представивъ ей, что ея поѣздка вамъ пользы не принесетъ, а дѣтямъ можетъ повредить. Я пріѣхала сюда и, благодаря кна-

гинѣ, вы получили помилованіе; но такъ-какъ вы поражены другимъ несчастіемъ, то я готова быть вамъ другомъ, руководительницей или, по крайней мѣрѣ, сидѣлкой, и всегда буду гордиться довѣріемъ, оказаннымъ мнѣ вашей женой.

Мы уѣхали на другой-же день. Добрая впагиня снабдила меня цѣлымъ сундукомъ разныхъ нужныхъ вещей. Передъ отъѣздомъ я имѣлъ удовольствіе видѣть старшаго сына бѣднаго Мартелли; впагиня была для нихъ матерью, такъ-какъ вдова Мартелли умерла вскорѣ послѣ геройской гибели мужа. Княгиня воспитала сыновей, и теперь старшій былъ инженеромъ, а младшій плавалъ въ морѣ помощникомъ капитана купеческаго судна.

Мѣсяцъ спустя мы были въ Лондонѣ. Дороговизна жизни и моя болѣзнь, все сильнѣе развивавшаяся, при недостаткѣ средствъ дѣлали наше положеніе невеселымъ, а будущее рисовалось въ еще болѣе мрачномъ свѣтѣ. Пизана работала для меня день и ночь и училась по-англійски, имѣя въ виду давать уроки итальянскаго языка и этимъ зарабатывать наше пропитаніе. Въ ожиданіи-же заработковъ намъ приходилось очень плохо, и я уже собирался обратиться за помощью къ зятю, какъ вдругъ получилъ отъ сестры письмо, что Спиро съ обоими сыновьями и всѣми капиталами уѣхалъ въ Грецію по первому призыву къ возстанію противъ турокъ; Аглаура-же, по разстроенному здоровью, была вынуждена остаться въ Венеціи, но она не роптала на судьбу, потому что всѣ эти жертвы были священнымъ долгомъ отечеству.

Такимъ образомъ съ этой стороны надежда на помощь лопнула. Обратиться-же за помощью въ Кордовадо я не могъ и помыслить. Аквиліна и Бруто, конечно, рады были-бы отдать послѣднее, но я, во-первыхъ, не хотѣлъ разорять дѣтей, во-вторыхъ, все надѣясь на лучшее будущее, скрывалъ отъ жены свое отчаянное положеніе и свою слѣпоту. Въ оправданіе каракулей, которыя я выводилъ на письмахъ къ женѣ, я увѣрялъ ее, что заваленъ работой; а въ объясненіе присутствія въ Лондонѣ Пизаны мы писали, что она имѣетъ здѣсь отличное мѣсто гувернантки и потому не хочетъ возвращаться, чтобы не быть въ тягость мужу при его бѣдности, тѣмъ болѣе, что онъ въ ней не нуждается, такъ-какъ при немъ Клара. Пизана необыкновенно скоро выучилась по-англійски, но ожидаемыхъ уроковъ не находилось. Она добывала себѣ кое-что плетеніемъ кружевъ, на что

венеціанки особенныя мастерицы, но эта работа чрезвычайно утомляла ее и разрушительно дѣйствовала на ее здоровье. Я замѣчалъ это по слабости ея голоса и по худобѣ ея рукъ, но она всегда обращала разговоръ въ шутку, когда я заговаривалъ объ ея жертвахъ мнѣ. Мы жили съ нею совсѣмъ по-братски, и между нами никогда даже намека не было, что когда-то насъ соединяла болѣе нѣжная связь. Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Я потерялъ надежду возвратить себѣ зрѣніе и выходилъ изъ дому только по воскресеньямъ, опираясь на руку Пизаны. Впрочемъ, я не могъ пожаловаться вообще на здоровье и отъ сидячей жизни началъ даже полнѣть. По буднямъ я сидѣлъ дома, больше одинъ, потому что Пизана по утрамъ исчезала надолго; она увѣряла меня, что ходить по урокамъ, чему мнѣ, впрочемъ, не вѣрилось, хотя настоящая причина ея отлучекъ, которую я впоследствии узналъ, не могла придти мнѣ въ голову.

— Пизана, спросилъ я однажды, — сегодня воскресенье; почему ты не надѣла своего шелкового платья? (Я узнавалъ его по шелесту.)

Она отвѣчала, что отдала перешить его, но я догадывался, что она продала его, что подтвердила мнѣ сосѣдка, помогавшая ей въ продажѣ.

Вскорѣ у ней исчезла шаль; я замѣтилъ ей это; но она стала увѣрять, что шаль при ней, и дала мнѣ пощупать какую-то шерстяную матерію; я распозналъ ощупью, что это была не шаль, и догадался, что шаль послѣдовала за платьемъ. Иногда я даже радовался, что слѣпъ и не вижу нашей нищеты во всей ея наготѣ. Аквиллина, несмотря на наши увѣренія, что дѣла наши идутъ отлично, присылала намъ отъ времени до времени небольшія крохи, писала, что хлопочетъ о позволеніи мнѣ вернуться на родину и что копить понемногу денегъ, чтобы пріѣхать ко мнѣ. Но я потерялъ всякую надежду на поправленіе своей участи. Чтобы расшевелить меня и вывести изъ мрачнаго унынія, Пизана иногда прибѣгала къ своимъ прежнимъ колкимъ выходкамъ и забавнымъ причудамъ, но долго не могла выдержать и возвращалась къ обычной добротѣ и терпѣнію. Да, люди часто бываютъ много обижаны своимъ матерямъ и женамъ; но я увѣренъ, что очень немногія женщины дѣлали такъ много добра, какъ Пизана дѣлала мнѣ.

Ея отлучки изъ дому становились все чаще и продолжительнѣе. Я приставалъ къ ней съ разспросами о цѣли ихъ, не вѣря ея объясненію, будто она ходитъ на уроки. Тогда она выходила изъ себя, упрекала меня въ недовѣріи къ ней и, наконецъ, разсердившись, уходила, топая ногами и ворча. Черезъ нѣсколько времени она возвращалась и спрашивала: „Ты пересталъ злиться, Карло? а то я опять уйду и вернусь попозже“. Такимъ образомъ, мнѣ приходилось ломать себѣ понапрасну голову, придумывая, куда-бы она могла ходить. Между тѣмъ я даже замѣчалъ, что здоровье ея разстраивается. Я слышалъ, какъ, взойдя на лѣстницу, она тяжело дышетъ; я слышалъ ея кашель, ея невольные, сдержанные вздохи, и вся внутренность переворачивалась во мнѣ отъ скорби.

Вначалѣ второго года нашей жизни въ Лондонѣ она серьезно занемогла. Не берусь описывать мученія, тревогу и томленія несчастнаго слѣпца у изголовья женщины, которая была для него жизнью. Она и тутъ всячески старалась утѣшить меня, говорила о своей болѣзни шутя и увѣряла, что черезъ недѣлю выздоровѣетъ. Врачъ тоже ободрялъ меня, но сердце мое чуяло грозившее мнѣ горе. Въ то-же время мы дожили до послѣдней крайности, и я долженъ былъ рѣшиться продавать по частямъ мое бѣлье и платье.

Наконецъ, небо сжалилось надо мной и послало мнѣ лучъ надежды. Пизана оправилась и встала съ постели. Въ первые дни, когда она стала выходить изъ дому, я рѣшительно объявилъ, что буду сопровождать ее; но черезъ нѣсколько дней она захотѣла непремѣнно отправиться одна.

— Ты говоришь, что идешь получать деньги за уроки; почему-же мнѣ нельзя идти съ тобой? сказалъ я.

— Вотъ прекрасно, отвѣчала она, — явиться съ слѣпымъ! Нѣтъ, я не хочу подвергать себя насмѣшкамъ! И притомъ богъ-вѣстъ что могутъ подумать. Англичане народъ чопорный; повторяю тебѣ, мнѣ надо идти одной.

Мнѣ пришлось уступить, и ея отлучки возобновились. Когда она уходила, я оставался одинъ, замирая отъ безпокойства и ожидая, что когда-нибудь она уйдетъ и не вернется. Дѣйствительно, какъ она ни крѣпилась и какъ ни старалась сберечь отъ меня свое положеніе, но я замѣчалъ, что она съ каждымъ



днемъ слабѣть. Я не могъ даже удерживать ее, потому что при ея слабости всякое противорѣчіе доводило ее почти до нервнаго припадка.

Лондонъ великъ, конечно, но гора съ горой не сходятся, а человекъ съ человекомъ столкнется. Пизана встрѣтилась съ докторомъ Лючилио, который зналъ, что мы въ Лондонѣ, но не искалъ встрѣчи со мной, зная, какъ несправедливо оскорбилъ меня своими подозрѣніями. Пизана рассказала ему о моей болѣзни и о нашемъ положеніи. Тогда онъ пришелъ ко мнѣ и выказалъ мнѣ больше дружбы, чѣмъ выказывалъ ее прежде. Я, съ своей стороны, былъ очень радъ ему. Онъ изслѣдовалъ мои глаза и сказалъ, что у меня на нихъ катаракты, которые черезъ нѣсколько мѣсяцевъ можно будетъ снять. Это меня очень утѣшило. Затѣмъ онъ сказалъ мнѣ, что я долженъ выписать въ Англію мое семейство, и что когда я выздоровѣю, онъ найдетъ мнѣ средства содержать себя и семью. Онъ имѣлъ огромную практику между англійскою знатью и значительное вліяніе въ политикѣ; между прочимъ, тогдашніе протесты парламентской оппозиціи противъ веронскаго конгресса были внушены главнымъ образомъ имъ. Предложеніе его я выслушалъ холодно: съ одной стороны, у меня не было денегъ на переселеніе въ Лондонъ моей семьи, а съ другой — вызывать жену казалось мнѣ почти оскорбленіемъ для великодушной преданности Пизаны. Когда она вышла, я представилъ эти соображенія доктору.

— Нѣтъ, нѣтъ, отвѣчалъ онъ почти съ досадой, — вамъ необходима ваша семья; повѣрьте, что и для графини это будетъ хорошо.

Я спросилъ, почему онъ такъ думаетъ; онъ отвѣчалъ, что уходъ за больнымъ — трудное дѣло и что ей не мѣшаетъ имѣть помощницу.

— Скажите мнѣ, Лючилио, встревожился я, — вы намекаете на здоровье Пизаны?

— Да... конечно... оно можетъ разстроиться.

— А теперь вы находите его удовлетворительнымъ?

— Ахъ, Богъ мой! Это трудно сказать! Врачъ не всегда можетъ угадать. Я состарѣлся въ своей профессіи, а вчера оставилъ больного, по-моему близкаго къ выздоровленію, и что-же? сегодня застаю его мертвымъ. Это пощечины, которыя природа

отпускаетъ намъ, когда мы хотимъ слишкомъ дерзко поднять покровъ ея таинственной дѣвственности. Да, Карло, наука до сихъ поръ дѣвственница, и до сихъ поръ мы не ушли съ ней дальше поцѣлуевъ въ щеку.

— Какъ? Вы даже въ науку не вѣрите? Во что-же вы вѣрите?

— Вѣрю въ ея будущность, если до тѣхъ поръ земная кора не остынетъ до замерзанія. Вѣрю въ энтузіазмъ души, который на нѣсколько тысячелѣтій ускоритъ торжество науки! Вѣрю въ честную рану, которую вы получили при Ріети.

Онъ обнялъ меня и продолжалъ:

— Болѣе всего утѣшаетъ меня, когда я вижу благороднаго человѣка, ставящаго выше всего на свѣтѣ истину, отдающаго себя въ жертву святому дѣлу. Такого человѣка я считаю истиннымъ героемъ.

— Докторъ, вы мнѣ льстите; я думаю, не самолюбіе-ли вовлекло меня въ неаполитанскую исторію и не виноватъ-ли я, что пожертвовалъ своему самолюбію счастьемъ своего семейства.

— Нѣтъ, вы ничѣмъ не пожертвовали безвозвратно. Семейство прійдетъ къ вамъ. Вы увидите солнечный свѣтъ и любяща лица.

— Можете-ли вы увѣрить меня также, что Пизана совершенно выздоровѣетъ?

— Совершенно, отвѣчалъ онъ съ страннымъ дрожаніемъ въ голосѣ.

Я вздрогнулъ: мнѣ послышался въ этомъ словѣ смертный приговоръ. Онъ сталъ спокойно говорить мнѣ о болѣзни Пизаны, о ея леченіи, о ея несомнѣнномъ выздоровленіи, но все это не могло разсѣять впечатлѣнія этого убійственнаго слова: *совершенно*.

Благодаря помощи доктора, мы перестали терпѣть нужду; мнѣ было совѣстно принимать отъ него милостыню, но онъ говорилъ Пизанѣ, что ни за какія сокровища не уступить никому права быть полезнымъ своей будущей свояченицѣ. Пизана была очень удивлена и спросила его, неужели онъ все еще не оставляетъ намѣренія жениться на ея сестрѣ.

— Вы видѣли, говорила она, — что Клара еще больше состарѣлась душой, чѣмъ тѣломъ, и къ тому-же она монахиня съ головы до пятокъ.

— Я неисправимъ, отвѣчалъ онъ; — чего я добивался въ двадцать и въ тридцать лѣтъ, того добивался и въ пятьдесятъ и добиваюсь въ шестьдесятъ. Я во всемъ таковъ, и хорошо было-бы, если-бы всѣ были похожи на меня въ этомъ отношеніи.

— Но упорства монашескаго ничѣмъ не побѣдишь.

— Хорошо; только пожалуйста не будемъ говорить объ этомъ. Лучше скажите, что пишетъ синьера Аквиллина о своемъ путешествіи?

— Вчера, сказалъ я, — мы получили отъ нея письмо изъ Брюсселя. Бруто сопровождаетъ ее на своей деревяшкѣ. Я не знаю, какъ благодарить васъ за вашу помощь.

— Благодарить меня! Помируйте! Мнѣ стоитъ на два дня затянуть аристократическую подагру какого-нибудь лорда, чтобы дать вамъ средства объѣхать всю Европу. Вы знаете лорда Байрона, поэта? Онъ предлагалъ мнѣ десять тысячъ фунтовъ, чтобы я на палецъ вытянулъ ему правую ногу, которая у него короче лѣвой. Я отвѣчалъ ему со смѣхомъ, что мнѣ некогда тянуть за ноги верхнюю палату, потому что я нуженъ въ больницѣ. Онъ въ отместку прислалъ мнѣ прелестнѣйшій сонетъ. Увѣряю васъ, что въ этой бурной душѣ Жуана и Манфреда скрывается чистое пламя, которое обнаружится когда-нибудь. Байронъ слишкомъ великъ; у него хватитъ поэзіи не только на книги, но и на жизнь.

— Да, сказалъ я, — поэзія составляетъ единственное полное реальное счастье души.

— Это вѣрно, замѣтилъ Лючилио; — внѣ поэзіи могутъ быть наслажденія, но нѣтъ истиннаго удовлетворенія.

— А я чувствую себя удовлетворенной безъ поэзіи, сказала Пизана.

— Вы? Вы Коринна, вы Сафо! воскликнулъ Лючилио. — Вы не пишете одъ, но вы создаете чудныя поэмы своими дѣлами, вы жизнь возносите въ дивную поэзію.

— Плохой комплиментъ Кориннѣ и Сафо, отвѣчала она со смѣхомъ; — я не думаю, чтобы онѣ были такія блѣдныя и тощія; я стала похожа на англичанку; впрочемъ, можетъ быть, приобрѣла за то аристократическую внѣшность.

— О, вы никогда не подуряете и не состарѣетесь! Ваша

душа блеститъ сквозъ блѣдность лица. Вамъ никто не дастъ больше двадцати пяти лѣтъ.

— Да, пожалуй; нашъ бѣдный священникъ, крестившій меня, давно уже умеръ, и мало осталось свидѣтелей моего рожденія. Да, грустно подумать, сколько могилъ осталось позади насъ! Первый рядъ весь почти легъ, теперь въ первомъ ряду мы.

— Что-же? Надѣюсь, мы выдержимъ карточку молодцами.

За нѣсколько времени передъ прїѣздомъ моихъ родныхъ въ Пизанѣ произошла странная перемена. Она охладѣла ко мнѣ, не стѣсняясь говорила, что очень рада, что ее избавляютъ отъ необходимости ухаживать за мной; она перечисляла все, чѣмъ я обязанъ ей за это время. Мнѣ это было крайне непріятно. Признаюсь, я и раньше не разъ спрашивалъ себя, что можетъ побуждать Пизану къ такимъ жертвамъ для меня, и мнѣ иногда приходило на умъ, что это такая-же необъяснимая выходка ея загадочной и причудливой природы, какъ и ея самоотверженное ухаживаніе за мужемъ; теперь я болѣе прежняго сталъ склоняться къ этой мысли.

Наконецъ, я дождался дня, когда обнялъ дѣтей, жену и честнаго Бруто. Радость свиданія была отравлена только тѣмъ, что я не могъ видѣть ихъ дорогихъ мнѣ лицъ; Лючилио утѣшилъ насъ обѣщаніемъ скорого исцѣленія моего. Послѣ первыхъ минутъ радости пошли разспросы и рассказы. Новостей было мало. Въ Венеціи все шло по-старому. Старый Венквередо умеръ, также, какъ и фратскій капитанъ. Моя сестра уѣхала къ мужу въ Грецію и прислала мнѣ оттуда письмо, которое такъ замѣчательно, что я приведу его въ подлинникѣ.

„Дорогой братъ Карло, писала Аглаура, — я, наконецъ, въ Греціи. Теперь у меня два отечества, оба великія, оба несчастныя: Когда я на идріотскомъ кораблѣ вошла въ Эгейское море, я смотрѣла на себя какъ на сестру милосердія, переходящую отъ изголовья одного дорогого умирающаго къ изголовью другого, столь-же дорогого. Въ Корфу къ намъ на корабль съѣли нѣсколько итальянскихъ эмигрантовъ изъ Неаполя и Пьемонта, ѣхавшихъ проливать за Грецію кровь, которую имъ не удалось пролить за родину. Я плакала съ ними, какъ итальянка; но едва вступила я на почву Лаконіи, въ сердцѣ моемъ пробудился духъ древнихъ спартанокъ. Здѣсь женщины — товарищи мужчинъ: жена

и сестра Тсавеласа скатывали камни со скалъ Сули на головы мусульманъ, распѣвая гимны. Спартанки, вооруженныя копьями и саблями, стремились подъ знамена Константа Захаріаса. Маврогенія изъ Миконы командовала кораблемъ, поднимала Эвбею и общала руку свою тому, кто отмститъ туркамъ за казнь ея отца. Жена Канариса, на замѣчаніе, что мужъ ея — герой, отвѣчала: — „Развѣ иначе я вышла-бы за него?“ Вотъ какъ воскрешаютъ націи, Карло!

„Тотчасъ по прїѣздѣ я встрѣтила моего сына Деметріо, возвращающагося съ кораблями Канариса послѣ сожженія турецкаго флота при Тенедосѣ. Тамъ противъ насъ были христіанскіе флоты Европы: крестъ соединился съ полумѣсяцемъ противъ креста. Богъ обратился въ прахъ невѣрныхъ; ренегаты бѣжали первыми. У Деметріо были обожжены щека и половина груди взрывомъ гранаты, но мое материнское сердце узнало его; въ моихъ объятіяхъ онъ получилъ награду героевъ—видѣть мать, гордящуюся имъ. Спиро и Теодоро, запершись въ Аргосѣ съ Иисиланти, старались остановить потокъ турецкаго нашествія, между тѣмъ какъ Колокатрони и Никитасъ отрѣзывали ему отступленіе, поднимая горцевъ.

„О, Карло, что за чудный былъ день, когда мы четверомъ обнялись другъ съ другомъ почти на порогѣ Целопонеза, освобожденнаго отъ враговъ! Миссолонги укрѣплялось и Наполи-ди-Романья была въ нашихъ рукахъ. У флота была гавань, у правительства—убѣжище, и Греція торжествовала надъ стамбульскимъ варварствомъ и христіанскимъ предательствомъ. Всѣ частныя интересы исчезли передъ общимъ. Каждый владѣетъ только тѣмъ, что не нужно отечеству, радуется его побѣдамъ, печалится его пораженіямъ. Поэтому я не говорю тебѣ о нашихъ дѣлахъ. Довольно сказать, что здоровье мое поправилось, и Спиро выздоровѣлъ отъ раны, полученной подъ Аргосомъ. Теодоро—левъ, его ставятъ въ примѣръ; но Провидѣніе охраняетъ его, и онъ не получилъ ни царапины. Когда я иду по улицамъ Афинъ, гдѣ мы теперь находимся, опираясь на руку одного изъ моихъ сыновей, мнѣ кажется, что возвратились времена Леонида. Спиро часто вспоминаетъ о тебѣ и проситъ тебя прислать въ Грецію одного или обоихъ твоихъ сыновей, если ты хочешь, чтобы изъ нихъ вышли люди. Здѣсь шестнадцатилѣтній мальчикъ считается уже воиномъ, годнымъ на то, чтобы пробраться вплавь къ ту-

рецкому кораблю и зажечь его. Посылай къ намъ своего Лучіано, а если можно, то и Донато. Убѣди Аквилину, что безъ души нѣтъ жизни и что смерть сына за свободу родины должна казаться завиднымъ жребіемъ истинной матери. Вчера депутаты Греціи собирались подъ кедрами Астроса. Ипсиланти, Улиссось, Маврокордато, Колокотрони — имена, достойныя затмить имена Кимоновъ, Мильтіадовъ и Аристидовъ. Повторяю, Карло, послушайся сестру, которая не дастъ тебѣ дурного совѣта: посылай сыновей; чтобы сдѣлаться хорошими итальянцами, имъ надо побыть немного греками. Если ты еще въ Лондонѣ и Пизана съ тобой, кланяйся ей и доктору Віанелло, котораго я уважаю и люблю. Я встрѣтила здѣсь итальянца лейтенанта Арриго Мартелли, — онъ служить дѣлу Греціи; по его словамъ, онъ много обязанъ тебѣ и любитъ тебя почти какъ отца.

„Прощай, мой Карло. Дай Богъ, чтобы ты выздоровѣлъ и могъ пріѣхать самъ къ намъ. Что-бы это было за счастье!“

Когда Лючіліо прочелъ мнѣ это письмо, я позвалъ Лучіано, далъ ему прочесть и ждалъ, что онъ скажетъ. О, какъ счастливъ я былъ, когда, не дочитавъ еще письма, онъ бросился въ мои объятія, воскликнувъ:

— Отецъ, пусти меня въ Грецію!

Въ эту минуту вошла Аквиліна. Я объявилъ ей о намѣреніяхъ нашего сына.

— Если это его призваніе, пусть ѣдетъ, сказала она нѣсколько взволнованнымъ голосомъ.

— Спасибо, Аквиліна! воскликнулъ я, — ты именно такая женщина, какихъ намъ нужно для возрожденія.

Вскорѣ Аквиліна и Лучіано вышли и я остался съ докторомъ наединѣ.

— Скажите мнѣ, сказалъ докторъ, — по какому праву вы показываете Пизанѣ неудовольствіе?

— А, вы замѣтили! сказалъ я, — въ такомъ случаѣ вы должны были замѣтить и странную холодность ея ко мнѣ. Я знаю, какъ много я ей обязанъ; я никогда этого не забуду, и если-бы кровью могъ доказать ей свою благодарность, я пролилъ-бы ее до послѣдней капли. Но иногда Пизана возмущаетъ меня. Представьте, недавно объяснила она мнѣ, что въ Неаполь она пріѣхала единственно отъ скуки въ домъ мужа и что всѣми ея

попеченіями обо мнѣ я обязанъ единственно чувству состраданія!

— Вы думаете, значить, что она не любитъ васъ по-прежнему?

— О, въ этомъ я увѣренъ! Хотя я и слѣпъ, но все-же еще не лишился пониманія. Притомъ я Пизану знаю, какъ самого себя; я очень хорошо знаю, что она не способна подчиняться никакимъ соображеніямъ. Я говорю съ вами откровенно, потому что вы физиологъ, слѣдовательно, снисходительны къ человѣческимъ слабостямъ, особенно когда, какъ въ Пизанѣ, къ нимъ прикѣшано такъ много благородства и великодушія. Повторяю вамъ, живя съ нею два года, я убѣдился, что она забыла прошлое, и я не могу не вѣрить, что всѣ чудеса самоотверженія и преданности, оказанныя ею мнѣ, вызваны въ ней просто чувствомъ состраданія. Не такая она женщина, чтобы выдерживать долго какіе-нибудь предвзятые принципы воздержанія.

— О, Карло, не судите слишкомъ поспѣшно. Именно такіе необыкновенные характеры не могутъ быть судимы по общимъ правиламъ. Не такъ-бы говорили вы, если-бы могли видѣть.

— Что тутъ еще видѣть, докторъ? Вы знаете, я ее люблю и никогда не переставалъ любить. Я вамъ рассказывалъ исторію моей женитьбы... Слишкомъ ясно, что Пизана пожелала дать мнѣ почувствовать, какъ много я потерялъ, лишившись того мѣста, которое занималъ въ ея сердцѣ; она наказываетъ состраданіемъ мою слишкомъ покорную и слишкомъ упорную любовь. Это ужасное наказаніе! Какое утонченное мщеніе наказывать благодареніями!

— Молчите, Карло; каждое слово ваше — святотатство!

— Я говорю правду.

— Повторяю вамъ, вы кощунствуете. Знаете-ли, что она дѣлала, когда я встрѣтилъ ее на лондонскихъ улицахъ блѣдную, изнеможенную, почти умирающую?.. Она просила милостыню! Она выпрашивала подаваніе, Карло, чтобы содержать васъ!

— Боже! Неужели? Быть не можетъ!

— Я самъ хотѣлъ-было подать ей, какъ вдругъ... О, что случилось со мною, когда я узналъ ее! Оба мы остолбенѣли.

— Ради Бога, довольно, Лючилю! Я съума схожу!

— И вы еще сомнѣваетесь зъ ея любви! Это любовь без-

примѣрная, любовь, которая еще поддерживаетъ ея жизнь, но которая убьетъ ее.

— Сжальтесь, не говорите этого!

— Я говорю какъ врачъ и говорю правду. Она васъ любить и скрываетъ отъ васъ свою любовь. Постоянное усиліе скрывать ее еще хуже, чѣмъ самыя лишенія, нужды и заботы разстроило здоровье Пизаны. Карло, откройте глаза на такое геройство. Вы должны молиться на эту женщину!

Я былъ пораженъ. Какъ могъ я не замѣтить этого впродолженіи двухъ лѣтъ? Заблужденіе мое свидѣтельствовало объ ея чрезвычайной деликатности.

— Докторъ, сказалъ я, — научите меня, что мнѣ дѣлать, чтобы спасти ее? Самое меньшее, что я могу предложить ей за всѣ эти жертвы, — посвятить ей весь остатокъ моей жизни.

— Надо подумать объ этомъ, Карло; для меня одинъ вздохъ, одинъ стонъ Пизаны важнѣе жизни всѣхъ моихъ больныхъ. Она имѣетъ право жить въ счастіи долгіе дни и умереть отъ избытка радости.

— О, не говорите о смерти!

— Для такихъ высокихъ душъ смерть часто бываетъ наградой, Карло. Но подумаемъ, что можно для нея сдѣлать. Я нахожу, что прежде всего необходимо доставить ей новую арму, гдѣ-бы она могла опять проявить въ полной силѣ свою доброту и самоотверженіе. Пусть ѣдетъ она къ мужу; у постели его она найдетъ въ себѣ силы жить; можетъ быть, и родной воздухъ будетъ ей полезенъ.

— Отослать ее въ Венецію? Но возможно-ли это, Лючидіо? Могу-ли я прогнать ее отъ себя теперь, когда, повидимому, услуги ея больше не нужны мнѣ?

— Совсѣмъ не то; вы должны ѣхать вмѣстѣ. И пусть она остается съ вашимъ семействомъ въ прежнихъ дружескихъ отношеніяхъ. Найдя поприще для своей самоотверженной доброты, она перестанетъ терзаться невозможными желаніями, и вы будете имѣть въ ней друга.

— О, какъ-бы это было хорошо! Завтра-же надо ѣхать въ Венецію.

— Вы забываете, что, во-первыхъ, мнѣ надо вылечить васъ, во-вторыхъ, что вы не можете возвратиться въ Венецію. Но по-



ка мы будемъ хлопотать о позволеніи вамъ вернуться, катаракты ваши созрѣютъ, и я вамъ обещаю, что вы скоро увидите свѣтъ. Кроме того, я хочу предложить вамъ слѣдующее. У васъ есть вексель на турецкое правительство. Вы сами никогда не добьетесь уплаты по немъ. Хотите, я иродамъ его какому-нибудь англичанину? Онъ навѣрное взыщетъ; Англія отличная мать для своихъ дѣтей; изъ-за векселя въ тысячу фунтовъ она готова поджечь міръ съ четырехъ концовъ; притомъ турки теперь въ ея рукахъ, потому что она помогаетъ имъ тиранить несчастныхъ грековъ. Итакъ, согласны вы?

— Еще-бы! Завтра-же передамъ вамъ бумаги, которыя Спиро прислалъ мнѣ черезъ Бруто, потому что теперь ему, участвующему въ возстаніи грековъ, не приходится получать долговъ съ турокъ.

— Хорошо. Итакъ, пока будьте съ Пизаной нѣжны и добры и не расхваливайте при ней слишкомъ свою жену, какъ вы сдѣлали сегодня. Ваша жена достойна похвалы, но опѣ неумѣстны, потому что причиняютъ страданія Пизанѣ.

Но Пизана по-прежнему избѣгала меня, хотя я былъ съ нею такъ нѣженъ, что, можетъ быть, возбуждалъ ревность Аквиліны; однакожь, она не показывала этого, зная, чѣмъ я обязанъ Пизанѣ. Наконецъ, насталъ день, назначенный Лючилио для операціи, котораго я ждалъ съ мучительнымъ нетерпѣніемъ. Когда Лючилио связалъ: „Кончено!“ — окна и двери моей комнаты были уже, по его приказанію, на-глухо заперты, но мнѣ показалось, что я вижу смутный свѣтъ, и отъ радости я такъ вскрикнулъ, что Аквиліна и Бруто, поддерживавшіе меня, вздрогнули. Изъ сосѣдней комнаты раздался другой крикъ, крикъ Пизаны, которая подумала, что случилось какое-нибудь несчастіе. Но Лючилио успокоилъ всѣхъ, сказавъ, что операція удалась отлично и что, вѣроятно, я что-нибудь увидѣлъ. Онъ далъ строгій приказъ держать окна и двери комнаты закрытыми и не снимать наложенной имъ мнѣ на глаза повязки.

Когда всѣ вышли изъ комнаты слѣдомъ за докторомъ, Пизана тихонько подошла ко мнѣ, и я почувствовалъ на щекѣ ея теплое дыханіе.

— Пизана, проворкотала я, — ты ангелъ любви и доброты!

Она побѣжала къ дверямъ, спотыкаясь о мебель; я слышалъ,

какъ она удерживала рыданія. Въ дверяхъ она встрѣтилась съ Аквилиной.

— Ну что нашъ больной? спросила моя жена.

— Кажется, все хорошо, отвѣчала Пизана, сдѣлавъ надъ собой геройское усиліе. Но она не могла долго выдержать и убѣжала въ свою комнату прежде, чѣмъ Аквилина успѣла замѣтить ея волненіе. Мнѣ чудилось, что я слышу ея рыданія и стоны, и сердце мое разрывалось.

Она рѣдко входила ко мнѣ и почти постоянно молчала. Я спрашивалъ доктора, обрадовалась-ли она предстоящему возвращенію въ Венецію; онъ отвѣчалъ неопредѣленно — ни да, ни нѣтъ. Когда, наконецъ, онъ принесъ мнѣ паспортъ, выхлопотанный въ астрійскомъ посольствѣ, я спросилъ ее, рада-ли она.

— О, моя Венеція! отвѣчала она. — Еще-бы мнѣ не радоваться!

— Докторъ, сказалъ я, — когда-же вы, наконецъ, позволите мнѣ увидѣть божій свѣтъ?

— Послѣ завтра я сниму повязку, отвѣчалъ онъ, — но ѣхать еще нельзя.

Въ эти послѣдніе дни моей слѣпоты Пизана совсѣмъ не входила ко мнѣ; говорили, что она сидитъ въ своей комнатѣ. Наконецъ, Лючилио снялъ съ меня повязку, и полумракъ, устроенный въ комнатѣ, пріятно поразилъ мое зрѣніе. Это была сладкая минута. Но вслѣдъ за ней послѣдовала другая, очень тяжелая.

Пизана пришла присутствовать при довершеніи чуда. Когда, послѣ первой минуты прозрѣнія, я началъ привыкать къ свѣту и различать предметы, первое, что я увидѣлъ, было ея лицо. Какая ужасная перемена! Блѣдная, прозрачная какъ алебастръ, грустная какъ Мадонна Фра-Анджелико, съ глазами непомерно увеличенными — она явилась мнѣ неземнымъ существомъ; она показалась мнѣ ни старой, ни молодой, но видно было, что она ближе къ небу, чѣмъ къ землѣ.

Я не выдержалъ этого зрѣлища и слезы хлынули у меня изъ глазъ. Родные подумали, что я плачу отъ радостнаго волненія. Но Лючилио и Пизана поняли, должно быть, истинную причину моихъ слезъ. Она тотчасъ встала и вышла. Я знаками показалъ, что желаю остаться наединѣ съ докторомъ. Когда всѣ вышли, я сталъ умолять его, чтобы онъ спасъ Пизану.

— О, Лючилио, говорилъ я, — вы можете сдѣлать все. Съ дѣтства я привыкъ видѣть въ васъ высшее существо, почти всемогущее. Ваша воля повелѣваетъ природой. Ищите, изучайте, пробуйте; такое святое дѣло достойно всѣхъ чудесъ вашей науки. Спасите, спасите ее!

— Итакъ, вы все угадали, отвѣчала Лючилио, помолчавъ;— душа ея уже не живетъ между нами; тѣло живо, но само не знаетъ, зачѣмъ. Вы говорите—спаси ее. Но не спасеніе-ли дасть ей природа, возвращая ее на лоно свсе? Противъ болѣзней плоти и крови можно многое сдѣлать; но не противъ духа, Карло. Въ какой аптекѣ продаются для этого лекарства? Какими инструментами вырѣжешь изъ него пораженныя части для спасенія здоровыхъ? Чѣмъ удержишь его на землѣ, когда непреодолимая сила мало-по-малу поглощаетъ его въ „морѣ бытія“, какъ говоритъ Дантъ? Карло, вы не ребенокъ, а я не шарлатанъ; вы не хотите, чтобы я обманулъ васъ, хотя въ эту минуту слабости всякій обманъ былъ-бы для васъ лучше неумолимой дѣйствительности. Смерть любимыхъ людей ужасна для насъ не за нихъ, а за себя. Мы съ вами должны, кажется, знать жизнь и ея цѣну. Не будемъ-же такими эгоистами, чтобы желать другимъ продленія мукъ, скорбей и печалей для нашего удовольствія. Сами мы смѣло войдемъ въ великую область небытія; будемъ-же и для друзей нашихъ думать о томъ только, чтобы облегчить имъ тяжесть этого перехода.

— Хорошо вамъ такъ разсуждать! воскликнулъ я, возмущенный, а не утѣшенный этими разсужденіями, — но каково мнѣ? Неужели вы не понимаете, какое безнадежное горе душитъ меня при мысли, что я хоть на день ускорилъ смерть такого несравненнаго существа! Вы говорите: смерть—необходимость. Да. Но убійство, Лючилио, убійство той, которую я любилъ больше всего на свѣтѣ, больше жизни, больше чести,—какая тутъ необходимость? Какое тутъ можетъ быть утѣшеніе? Нѣтъ, для того-ли, чтобы омытъ это преступленіе, для того-ли, чтобы забыть его, я заранѣе отрекаюсь отъ жизни безъ нея; только смертью можно заплатить за убійство!

— Смертью ничего не оплачивается, повѣрьте. Какъ забвенія, смерти вы не минуете, а искать его въ ней—малодушіе. Я не такой поклонникъ жизни, какъ тѣ, которые въ семьѣ и въ се-

мейныхъ обязанностяхъ ищутъ предлога, чтобы не подвергать ее ни малѣйшему риску; но недостойно бѣжать отъ своихъ обязанностей изъ-за нетерпѣливаго желанія избѣжать страданія.

— Нѣтъ, у меня сила нѣтъ! Всякая привязанность будетъ мнѣ упрекомъ совѣсти. Какъ! Видѣть смерть той, которой жизнь я долженъ былъ украсить всѣми радостями любви и преданности... Нѣтъ!

— А я! воскликнулъ Лючилио, весь вспыхнувъ и крѣпко сжимая мнѣ руку. — А я развѣ меньше несчастливъ? Я видѣлъ не смерть, — нѣтъ, хуже — я видѣлъ постепенное умерщвленіе всего человѣчнаго въ той, которая была душой моей души; еще молодой и весь пылая страстью, я видѣлъ, какъ она совершала надъ собой нравственное самоубійство! Но я живу, потому что я рассчиталъ, что смерть моя никому не можетъ быть полезна, тогда какъ, живя, я могу быть полезенъ хоть нѣсколькимъ бѣднякамъ, хоть нѣсколькимъ больнымъ. Разсудите, что можетъ быть послѣдствіемъ вашей смерти? Что можетъ случиться съ вашей женой, съ вашими дѣтьми? И если они будутъ несчастны, каково будетъ оскорбленіе для памяти Пизаны, что она стала хотя невинной причиной ихъ несчастія? Впрочемъ, я увѣренъ, что лучше меня васъ убѣдитъ и укрѣпитъ сама Пизана. Я не хочу, однакожь, сказать, что несчастіе, о которомъ мы говоримъ, неизбежно. Если-бы она вернулась въ Венецію, возвратъ къ прежнимъ привычкамъ, родной воздухъ...

— О, докторъ, правда-ли, что есть еще надежда? Не обманываете-ли вы меня?

— Что я не желаю васъ обманывать, вы можете убѣдиться изъ того, что сперва я открылъ вамъ возможный худшій исходъ. Я и теперь не подаю вамъ много надежды. Въ одномъ я увѣренъ, что слово и примѣръ Пизаны отвратятъ васъ отъ отчаяннаго рѣшенія.

Со времени этого разговора я сталъ употреблять всѣ усилія, чтобы лаской и нѣжностью, на-сколько можно, смягчить Пизану; но она избѣгала меня по-прежнему. Однакожь, я не унывалъ, и мои усилія увѣнчались, наконецъ, успѣхомъ. Она опять вошла со мной въ прежнюю дружбу. Но что за мученіе было мнѣ видѣть пробужденіе въ ея глазахъ огня жизни въ то время, какъ силы ея все болѣе и болѣе слабѣли и тѣло ея разрушалось! Какое

ужасное зрѣлище было видѣть ея снисходительную привѣтливость, съ которой она принимала мои ласки, и безнадежную улыбку, съ которой она выслушивала мои мечты о будущемъ! Однажды вечеромъ все мое семейство въ сопровожденіи Лючилио ушло смотрѣть какую-то лондонскую достопримѣчательность, и мы съ Пизаной остались вдвоемъ. Она была веселѣе обыкновеннаго, и у меня явилась смутная надежда на поправленіе ея здоровья.

— Пизана, сказалъ я ей, — въ будущемъ мѣсяцѣ мы можемъ быть въ Венеціи. Не правда-ли, что при одной этой мысли ты чувствуешь себя лучше?

Она улыбнулась, подняла глаза къ небу и ничего не сказала.

— Тамъ родной воздухъ, миръ и спокойствіе въ нашемъ кружкѣ вылечатъ тебя отъ меланхоліи, продолжалъ я.

— У меня меланхолія? Съ чего ты это взялъ, Карло? Неужели ты до сихъ поръ не видѣлъ, что у меня никогда не было искренней, естественной веселости въ характерѣ? Были проблески, минутныя вспышки веселья — не болѣе. Я была всегда измѣнчива по природѣ, но въ душѣ болѣею частью чувствовала тоску. Только теперь спокойствіе начинаетъ улыбаться мнѣ, и я никогда не ощущала себя на-столько удовлетворенной. Мнѣ кажется, что я какъ-будто сыграла свою роль и жду рукоплесканій.

— Что ты говоришь, Пизана! Ты заслужила больше рукоплесканій, чѣмъ мы можемъ дать ихъ тебѣ. Но погоди — вернемся въ Венецію...

— О, Карло, не говори мнѣ о Венеціи; мнѣ предстоитъ ѣхать гораздо дальше или гораздо ближе. Мнѣ кажется, я сдѣлала все добро, какое могла сдѣлать, и, по всей справедливости, награда не должна замедлить; мнѣ хочется получить ее поскорѣй и покинуть васъ, унося съ собой вашу любовь.

— Пизана, ты раздираешь мнѣ душу этими словами. Подлецъ, безумный, убійца, я не видалъ твоихъ жертвъ, я убѣждалъ себя вѣрить твоему равнодушію, быть можетъ, въ подломъ расчетѣ дешевой цѣной расквитаться съ тобою, не хотѣлъ знать твоей преданности, пользовался чудной деликатностью, съ которой ты жертвовала мнѣ собой! О, прокляни меня, Пизана! Прокляни судьбу, которая свела насъ и заставила тебя принести

мнѣ столько геройскихъ жертвъ, что ихъ было-бы достаточно для награды добродѣтелей святого и страданій мученика! Прокляни мое глупое самолюбіе, мой гнусный эгоизмъ, съ которыми я два года высасывалъ изъ тебя кровь! О, пусть падетъ на мою голову наказаніе за такую подлость! Я этого желаю, я объ этомъ молю! Пока я кровавыми слезами не смою моего отвратительнаго грѣха противъ тебя, до тѣхъ поръ я не буду имѣть покоя, не посмѣю поднять головы и назвать себя человѣкомъ!

— Ты съ ума сходишь, Карло. Ты думаешь, что я и теперь притворяюсь довольной и счастливой? Клянусь тебѣ, Карло, я на самомъ дѣлѣ счастлива. Вопросъ жизни или смерти нисколько не вліяетъ на мое счастье. Не хочу скрывать, я думаю, что скоро умру; но это не уменьшаетъ моего счастья. Напротивъ, Карло, твоя нѣжность, твоя любовь были послѣднимъ утѣшеніемъ, котораго я ждала, и ты далъ мнѣ его. О, я благословляю тебя! Одно твое слово благодарности, одинъ твой любящій взглядъ могутъ заплатить за двѣ жизни, болѣе продолжительныя, чѣмъ моя, и втрое болѣе богатныя жертвами. Чѣмъ и когда провинился ты передо мной, Карло? Я грѣшила противъ тебя, и ты прощалъ мнѣ и принималъ меня съ распростертыми объятіями и съ улыбкой на устахъ. Ты благороднѣйшій, великодушнѣйшій человѣкъ въ мірѣ! Въ тяжелыя минуты сомнѣнія въ себѣ я думала: значить, я еще не такъ порочна, если такой человѣкъ любитъ меня,—и эта мысль воскресала меня.

— Нѣтъ, Пизана, не говори такъ, твои слова бросаютъ меня въ краску. Да, въ отношеніи тебя я былъ гнуснымъ тираномъ, безчувственнымъ палачомъ! Я загубилъ тебя!

— Карло, ты, кажется, до сихъ поръ не знаешь меня. Какъ ты не понимаешь, что то, что ты называешь моими жертвами, страданіями, было для меня величайшимъ наслажденіемъ? Какъ ты не понимаешь, что мой взбалмошный характеръ и дурно направленный умъ искалъ въ невозможныхъ противорѣчіяхъ удовлетворенія, котораго не находилъ въ жизни? Не видѣлъ-ли ты перваго симптома этого безумія въ нелѣпомъ и тираническомъ капризѣ моемъ женить тебя на Аквилинѣ? Ахъ, Карлино! какъ я виновата передъ тобой! Простишь-ли ты мнѣ, что я принесла тебя въ жертву моимъ бреднямъ, что я играла твоей жизнью по прихотямъ своей сумасбродной фантазіи? Ты не понималъ меня;

тебѣ слѣдовало ненавидѣть меня, а ты любишь меня! И въ послѣднее время я находила удовольствіе въ томъ, чтобы скрывать свою любовь къ тебѣ и показывать, что дѣйствую только по необходимости и изъ состраданія, но развѣя не понимала, что это должно мучить тебя, что это отнимало всякую цѣну у моихъ услугъ? Но я все-таки выставляла на показъ свою жестокую деликатность, упорствовала въ системѣ тщеславной добродѣтели, первымъ шагомъ которой была твоя женитьба. Я потѣшала себя, Карло, не щадя тебя! Видишь, какой скверный эгоизмъ былъ въ моемъ самопожертвованіи! Теперь я все это вижу ясно и каюсь тебѣ. Твоя великая любовь не заслуживала такой награды, но пусть хоть откровенное сознаніе примиритъ меня съ тобою. Я тебя знаю: ты любишь меня и всегда будешь любить, и память моя, очищенная смертью, будетъ вѣчно жить въ твоей мысли.

— Смерть! О, умоляю, не произноси этого слова! Иначе я не буду ждать, чтобы послѣдовать за тобой, а предупрежу тебя!

— Карло, не смѣй говорить этого! Не отравляй мнѣ самую смерть! Подумай, каково мнѣ умирать съ мыслью, что по моей милости семья твоя осиротѣетъ? Если ты хочешь доказать мнѣ любовь, докажи ее тѣмъ, что свято исполни свои обязанности къ семьѣ, которые возложены на тебя моей-же прихотью. Будь хорошимъ мужемъ, хорошимъ отцомъ, Карло. У тебя почти взрослые сыновья; священный долгъ твой—вести ихъ тѣмъ путемъ справедливости, которымъ ты самъ шелъ всю твою жизнь.

— Ахъ, Пизана, о какой справедливости можетъ быть рѣчь въ мірѣ, когда такая жизнь, какъ твоя, такъ ужасно вознаграждается!

— Моя жизнь, Карло, такъ завидна, что дай Богъ всякому такъ прожить ее. Жизнь, начинающаяся любовью и кончающаяся примиреніемъ, самопознаніемъ, удовлетвореніемъ,—жизнь идеальная! Я могу умереть вполне довольная.

— О, Пизана, умоляю тебя, останься, останься съ нами!

— Ты думаешь, что, оставшись, я могла-бы найти въ жизни блаженство болѣе полное, болѣе чистое, чѣмъ то, которымъ я наслаждаюсь теперь? О, нѣтъ, Карло, всякая радость была-бы теперь для меня слишкомъ недостойной и безцвѣтной. Пусти, пусти меня уйти! Прощай, Карло; простимся теперь, пока

наши души сильны и приготовлены. Быть можетъ, мы увидимся еще много разъ, быть можетъ, только разъ. Прощай, прощай!

И она вырвалась изъ моихъ объятій, и я не имѣлъ силъ удержать ее, и я плакалъ, плакалъ отчаянно, какъ-будто она уже умерла, какъ-будто это *прощай* было дѣйствительно ея послѣднее слово. Душа моя была погружена въ непроглядный мракъ. Когда эта сіяющая небеснымъ свѣтомъ душа покинула ее, всѣ остальные земныя сіянія стали казаться мнѣ блѣдными призраками и всякая другая любовь—холодной и непривѣтной. Вернулась Аввилина съ сыновьями, и они показались мнѣ въ эту минуту почти ненавистными, пошлыми. Я убѣждалъ въ свою комнату и тамъ едва опомнился. Слова Пизаны ожили въ моей памяти. Я почувствовалъ желаніе и силу быть хорошимъ мужемъ и отцомъ, исполнять свои обязанности, служить близкимъ и отечеству. Много слезъ пролилъ я еще, но эти слезы были уже безъ горечи и отчаянія, это были вроткія слезы умиленія и покорности судьбѣ.

Пизана угасала. Мало-по-малу замирало свѣтлое, ровное пламя ея души, прежде пылавшее бурнымъ огнемъ страстей. Съ улыбкой на устахъ, ровная и невозмутимая, отдавалась она во власть смерти, которая, съ своей стороны, подходила къ ней какъ ласковая подруга, готовая принять ея душу въ послѣднемъ лобзаніи. Предсмертный бредъ ея былъ рядомъ чудныхъ видѣній. Много разъ называла она Италію, со взглядомъ, полнымъ вѣры, пожимая мнѣ руку и говоря: „Твои сыновья, твои сыновья! Они счастливые насъ. Будемъ счастливы тѣмъ, что приготовили имъ это счастье“. Иногда-же она вспоминала въ бреду ужасныя времена, пережитыя двадцать четыре года тому назадъ въ Неаполѣ, и бормотала: „Прости, прости меня!“

О, святая душа! Тридцать лѣтъ живу я на свѣтѣ безъ тебя; но если когда-нибудь съ тѣхъ поръ я сдѣлалъ доблестное дѣло, если сыновья мои прославили себя въ честной борьбѣ, тебѣ принадлежитъ вся заслуга, и вся честь этого,—тебѣ, приказавшей мнѣ остаться на свѣтѣ, продолжить въ себѣ и увѣковѣчить въ дѣтяхъ примѣръ твоей великодушной жизни!

Разъ, когда она пришла въ себя, Аввилина спросила ее, не желаетъ-ли она позвать священника.



— О, да, отвѣчала она;— иначе бѣдной Бларфъ будетъ тяжело узнать, что я умерла безъ религіознаго напутствія.

Когда священникъ пришелъ, она поговорила съ нимъ немного; потомъ поблагодарила Лючилию за леченіе, Аквилину и Бруто за дружбу, просила моихъ сыновей слѣдовать родительскому примѣру и, взявъ меня за руку, не отпускала больше отъ себя. Дыханіе ея становилось все рѣже и труднѣе, она перестала говорить, и только обращенный на меня взоръ еще ласкалъ и утѣшалъ меня. Вдругъ сердце мое затрепетало; то былъ ея послѣдній вздохъ, отделившійся въ немъ. Рука ея еще сжимала мою, губы улыбались, глаза глядѣли на меня,—но Пизаны уже не было. Никто долго не могъ пошевелиться; всѣ стояли задумчивые, неподвижные, созерцая грандіозную тайну смерти. Наконецъ, меня хотѣли увести. Безъ слезъ поправилъ я ея одѣяло, закрылъ ей глаза, и только когда въ послѣдній разъ прикоснулся губами къ ея лицу, мнѣ показалось, что душа покидаетъ мое тѣло вслѣдъ за ея душой, и я упалъ безъ чувствъ.

Много дней провелъ я какъ одеревенѣлый, не зная, живъ я или мертвъ. Когда я началъ приходить въ себя, послѣднія слова и увѣщанія Пизаны живо возникли въ моей памяти и я захотѣлъ исполнить ея волю—отдаться воспитанію дѣтей. Мы стали собираться къ отъѣзду. Передъ самымъ отъѣздомъ получено извѣстіе, что Наваджеро скончался, завѣщавъ женѣ все свое состояніе въ два миліона слишкомъ, съ условіемъ, что если она умретъ бездѣтной, то состояніе будетъ обращено на основаніе больницы подъ ея именемъ. Грустно мнѣ было разставаться съ загороднымъ кладбищемъ, гдѣ была схоронена лучшая половина моей жизни; грустно было разставаться и съ Лючилию, но надо было ѣхать. 15 сентября 1823 года мы прибыли въ Венецію. Первую ночь по пріѣздѣ я провелъ одинъ въ той комнатѣ, гдѣ нѣкогда прожилъ много блаженныхъ дней. Теперь я цѣловалъ и обливалъ слезами двѣ пряди волосъ: одна была та, которую я вырвалъ у Пизаны-дѣвочки; другая та, которую я благоговѣнно снялъ съ блѣднаго лба мертвой Пизаны.

## ГЛАВА ХХІ.

Отъездъ моего старшаго сына въ Грецію съ лордомъ Байрономъ. — Дуэль стариковъ за честь умершей. — Веселая поѣздка въ Наполи-ди-Романья и печальное возвращеніе черезъ Анкону. — Смерть моего второго сына. — Холера. — Развязка романа Лючілио и Клара.

Венецію я засталъ мертвой. Торговля, богатство, наука, искусство, слава, дѣятельность — все исчезло. Городъ стоялъ, какъ пустой домъ, всѣ обитатели котораго вымерли. Я имѣлъ отъ Спиро порученіе заняться его дѣлами, покинутыми въ Венеціи, и на первыхъ-же шагахъ наткнулся на мертвенную апатію, мѣшавшую всякой комерческой предприимчивости. Однакожь, мнѣ такъ хотѣлось что-нибудь сдѣлать въ пользу интересовъ сестры и зятя, что я не остановился передъ первыми препятствіями и мнѣ удалось основать общество для торговли сушеными плодами, оливковымъ масломъ и другими предметами, и оно пошло очень успѣшно.

Мы часто посѣщали графа Ринальдо, съ которымъ по смерти Наваджеро поселилась и Клара. Графъ по цѣлымъ днямъ корпѣлъ въ библіотекахъ и на службѣ. У Клары собирались ея пріятельницы, бывшія монахини св. Терезы, и скоро къ нимъ присоединился цѣлый кружокъ разныхъ антиковъ, древнихъ нобилей, вздыхавшихъ о добромъ старомъ времени и осуждавшихъ суету вѣка. Моя жена очень сошлась съ этимъ кружкомъ и любила посѣщать его. Ее часто сопровождалъ туда мой второй сынъ, Донато, бывший мнѣ хорошимъ помощникомъ по торговымъ дѣламъ. Это былъ юноша умный, веселый, добрый, и характеръ его чрезвычайно нравился мнѣ. Когда мнѣ бывало грустно, одинъ взглядъ на его остроумное, живое лицо развеселялъ меня. Онъ уморительно представлялъ мнѣ античное общество, собиравшееся у Фратовъ, хотя изъ уваженія къ матери не позволялъ себѣ смѣяться надъ нимъ при ней. Что касается Лючіано, онъ велъ разгульную жизнь, нетерпѣливо выслушивалъ увѣщанія матери, и на замѣчанія ея, что онъ не хочетъ заниматься ничѣмъ полезнымъ, отвѣчалъ, что та жизнь, которою мы

живемъ, — не жизнь, а потому въ ней не можетъ быть ничего ни полезнаго, ни бесполезнаго, а лучше всего заниматься тѣмъ, что даетъ возможность забыться, будь то хорошее или дурное.

— Смотри, Лучіано, говаривалъ я ему, — смотри, какъ все забудешь, придетъ день и ты вспомнишь, что забылъ сдѣлаться человѣкомъ.

О Греціи онъ, повидимому, совсѣмъ забылъ, помышляя только о женщинахъ и мальвазіи. Аквиліна, которая прежде отговаривала его тайкомъ и безъ меча отъ намѣренія ѣхать въ Грецію, теперь обвиняла меня за его кутежи, говоря, что я съ дѣтства приучилъ его не помышлять о родителяхъ и устраивать себѣ счастье на свой ладъ.

— Вчера была Греція, ворчала она, — нынче кутежи, завтра еще богъ-вѣсть что будетъ. Вотъ что значить избаловать мальчика!

— Все это не бѣда, душа моя. Это пылъ молодости. Ты сама виновата, что дала ему сильный и пылкій темпераментъ.

— Нѣтъ, я старалась воспитать его въ хорошихъ правилахъ, а ты распустилъ его потворствомъ.

— Я очень былъ-бы радъ, если-бы сбылись тѣ надежды, которыми я потворствовалъ.

— Значить, надежды были плохи, если дошло до этого. Хороши результаты, нечего сказать! Отецъ убивается надъ работою, младшій братъ день и ночь трудится, какъ мученикъ, а герой шляется по публичнымъ домамъ и трактирамъ!

— Эхъ, не надо быть слишкомъ строгимъ. Помню я и свою молодость.

— Если-бы я такъ провела свою молодость, я не хвасталась-бы этимъ.

— Я говорю къ тому, что это пройдетъ съ лѣтами.

— Нѣтъ, не пройдетъ, а обратится въ привычку, если вовремя не принять мѣръ.

Такимъ образомъ, мы спорили, а между тѣмъ Лучіано проводилъ ночи неизвѣстно гдѣ и при малѣйшемъ замѣчаніи вспыхивалъ, какъ порохъ. Въ одно прекрасное утро онъ неожиданно вошелъ ко мнѣ, блѣдный и растрепанный, и объявилъ, что на будущей недѣлѣ ѣдетъ въ Грецію. Это было для меня неожиданностью.

— Зачѣмъ? спросилъ я съ удивленіемъ.

— Защищать Миссолунги противъ Мустафы - паши, отвѣчалъ онъ.

— Вотъ какъ! сказалъ я насмѣшливо; — я очень радъ, что ты знаешь о существованіи Мустафы-паши въ Пелопонезѣ.

— Я не зналъ, отвѣчалъ Лучіано сквозь зубы, — но мнѣ сообщилъ это лордъ Байронъ, который тоже черезъ нѣсколько дней ѣдетъ въ Грецію.

— Какъ ты познакомился съ лордомъ Байрономъ?

— Довольно тебѣ знать, что я съ нимъ знакомъ и что онъ пригласилъ меня ѣхать вмѣстѣ въ Грецію.

— Ты шутишь или бредишь?

— Нѣтъ, я говорю серьезно, и прошу васъ, когда будете писать дядѣ, сообщите ему о моемъ пріѣздѣ.

— Я повторяю то, что говорила твоя мать нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ: въ самоѣ-ли дѣлѣ ты чувствуешь призваніе? Признаюсь, въ послѣднее время ты далъ поводъ сомнѣваться въ этомъ.

— Да, отецъ, я хотѣлъ просить у васъ прощенія за то, что далъ вамъ поводъ составить обо мнѣ дурное мнѣніе; но будьте великодушны и ссудите мнѣ на нѣсколько мѣсяцевъ впередъ уваженіе, которое, я увѣренъ, заслужу.

— Хорошо, я подумаю. Но и ты, съ своей стороны, обдумай и разбери хорошенько, основательно-ли твое рѣшеніе.

Я зналъ лорда Байрона за великаго поэта, но вмѣстѣ съ тѣмъ за человѣка, который не могъ считаться образцовымъ примѣромъ для юношества. Я подозрѣвалъ, что внезапное рѣшеніе моего сына было внушено ему увлеченіемъ личностью великаго человѣка; его влекло въ Грецію не желаніе служить свободѣ угнетеннаго народа, а честь быть спутникомъ и товарищемъ знаменитаго поэта. Поэтому я довольно холодно отнесся къ намѣренію Лучіано. Аквиліна-же рѣшительно заявила свое несогласіе. Но тѣмъ не менѣе Лучіано оставался при своемъ, и на мое замѣчаніе, что я вижу въ его намѣреніи одно увлеченіе молодымъ романтизмомъ, отвѣчалъ:

— Положимъ, что вы правы. Но лучше быть романтикомъ въ дѣлахъ, чѣмъ проявлять его вздохами и прической. Я не приму на себя мрачнаго вида человѣка, замышляющаго само-

убійство—этого моднаго косметика для окрашиванія щекъ блѣдностью, за то сдѣлаюсь героемъ какой-нибудь баллады, и жены Аргоса и Афинъ будутъ вспоминать мое имя рядомъ съ именами Ригаса и Бодариса. Такой романтизмъ, по крайней мѣрѣ, принесетъ пользу. Притомъ черезъ два года мнѣ будетъ восемнадцать лѣтъ, и я буду подлежать конскрипціи; самъ я не пойду въ солдаты и не соглашусь купить человѣка, который исправлялъ-бы за меня эту службу; тогда мнѣ все равно придется куда-нибудь уѣхать.

Я рѣшился отпустить его, къ великому негодованію Аввилины, которая мѣсяца три все упрекала меня за то, что я не умѣлъ подчинить сына своей власти. Отправляя его, я писалъ Спиросу, сообщая ему свои опасенія насчетъ недостаточной выдержанности характера Лучіано и прося его наблюдать за племянникомъ. Но безпокойство мое оказалось напраснымъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ я получилъ прекрасныя извѣстія. Война продолжалась; турецкія арміи таяли, какъ снѣгъ, на горячей почвѣ Пелопонеза. Лучіано съ своими двоюродными братьями, Деметріо и Теодоро, отличался и былъ не разъ упомянутъ въ приказахъ по войскамъ за свою храбрость. Лордъ Байронъ, правда, умеръ, но смерть его привлекла къ дѣлу Греціи симпатіи всей образованной Европы. Побѣда Греціи, долго казавшаяся несбыточной мечтой, казалась теперь неизбѣжной. Греческій народъ геройской стойкостью заставилъ, наконецъ, европейскія правительства, до сихъ поръ враждебныя ему, принудить Турцію признать его освобожденіе.

Втеченіи этого времени я крѣпко жилъ въ Венеціи, занимаясь торговыми дѣлами. Раймондо Венквередо, женатый на старшей дочери Агостино Фруміера, много терпѣлъ отъ капризовъ молодой жены и испытывалъ нужду въ деньгахъ. Для развлеченія онъ шлялся по кафе, рассказывая невѣроятныя вещи обо мнѣ и о Пизаниѣ. За себя я, конечно, не обидѣлся-бы, но за Пизану я воспылялъ негодованіемъ и сталъ ходить въ кафе Суттиль, мѣстопробываніе Венквередо. Я садился въ маленькой боковой комнатѣ и, прикрывшись газетой, могъ слышать, что выдумываетъ этотъ сплетникъ.

Во второй или третій разъ, когда я занялъ свой наблюдательный постъ, я услышалъ въ залѣ звонъ шпоръ и сабель и

затѣмъ знакомый голосъ Венквередо, который привѣтствовалъ Партистаньо, поздравляя генерала съ его каждодневно прибывавшей полнотою и освѣдомляясь у него въ шуточномъ тонѣ, продолжаетъ-ли онъ соблазнять игуменью.

— Нѣтъ, милѣйшій, отвѣчалъ Партистаньо, — мнѣ не до игуменій. Моя благовѣрная приподнесла мнѣ одного за другимъ семь штукъ дѣтей, съ которыми мнѣ больше возни, чѣмъ съ цѣлымъ полкомъ; тутъ уже не до монахинь. А жалъ! Я думаю, она все вздыхаетъ по мнѣ, хотя теперь она уже старуха. А вы, почтенѣйшій, какъ уладили вы ваши дѣла съ ея сестрой, которая, кажется, въ монастырь не собиралась? Мнѣ помнится, вы были сильно втюрившись въ нее.

— Да развѣ вы не знаете: Пизана умерла.

— Умерла! Каково! Жѣнщины обыкновенно не такъ легко умираютъ.

— Еще-бы ей не умереть! Представьте себѣ, она два года была кухаркой у своего любовника. Помните, Карло Альтовити?

— Еще-бы не помнить! Тотъ, что воровалъ всѣмъ во Фратѣ, а потомъ былъ секретаремъ венеціанской республики?

— Именно. Ну, вотъ видите, Пизана любила его по-своему. Въ девяносто девятомъ году они были вмѣстѣ въ Неаполѣ и Генуѣ, все съ согласія ея добраго мужа, Наваджеро; потомъ нѣсколько разъ они жили какъ въ супружествѣ, пока она, не знаю какъ, подсунула ему въ любовницы какую-то деревенскую дѣвушку и женила его на ней. Много толковъ было по этому поводу, но дѣло осталось неразъясненнымъ. Вы, милѣйшій генераль, съ вашимъ воображеніемъ, можете быть, рѣшите эту задачу. Ну, послушаемъ, что вы скажете?

— Гмъ!.. Смотря по... Погодите!.. Вѣрно, онъ смертельно надоѣлъ ей и, чтобы избавиться отъ него, она навязала ему жену.

— Bravo, генераль! Но что вы скажете, если я замѣчу вамъ на это, что вслѣдъ затѣмъ она вернулась въ Венецію и принялась прикладывать припарки мужу и распѣвать гимны съ игуменьей?

— Чортъ возьми!.. Скажу, что ей, вѣрно, вздумалось покаяться; потому-то она и разошлась съ любовникомъ.

— Прекрасно, дорогой генераль; у васъ воображеніе быстро и вы за словомъ въ карманъ не дѣзаете. Но что скажете вы,

если я сообщу вамъ, что милашка Карло въ Неаполѣ чуть-было не потерялъ головы, и она, бросивъ припарки, прикатила въ Неаполь, выхлопотала ему помилованіе, и когда онъ ослѣпъ, чуть не два года содержала его въ Англіи, зарабатывая деньги.

— Ахъ, Господи! Сумасшедшая она была, что-ли? Или я спятилъ, что вѣрю вамъ, или вы рехнулись, что рассказываете мнѣ такія небылицы.

— Я вамъ докладываю чистую правду, возразилъ съ жаромъ Раймондо;— и вы можете догадаться, какимъ ремесломъ она зарабатывала деньги. Венеціанки много ремеслъ не знаютъ, но одно знаютъ въ совершенствѣ. Правда, ей было сорокъ лѣтъ, но она такъ сохранилась, что англичане съ ума отъ нея сходили. Другъ Карлино, конечно, прекрасно зналъ, откуда идутъ щедроты, но желудокъ имѣлъ крѣпкій. Притомъ что дѣлать? Запоешь поневолю!

Тутъ я не выдержалъ, подбѣжалъ къ Раймондо, закатилъ ему полновѣсную оплеуху и закричалъ:

— Вотъ и ты запоешь поневолю! Если хочешь удовлетворенія, то знаешь, гдѣ я живу. Впрочемъ, клеветники всегда трусы!

Эффектъ вышелъ необычайный. Присутствующіе разбѣжались, а Раймондо такъ и замеръ на мѣстѣ, не находя ни словъ, ни голоса. Я ушелъ домой и три дня не имѣлъ о немъ никакого слуха. На четвертый день утромъ явился ко мнѣ нѣкто Марколини и объявилъ, что синьеръ Раймондо Венквередо, чувствуя себя глубоко оскорбленнымъ моимъ поступкомъ съ нимъ въ кафе, требуетъ удовлетворенія и предоставляетъ мнѣ выборъ оружія; поэтому я могу прислать своихъ секундантовъ, чтобы сговориться насчетъ условій дуэли. Я отвѣчалъ, что я имѣлъ первый право вызвать синьера Венквередо за его клеветы, оскорбительныя для чести дорогой мнѣ особы, и потому въ качествѣ вызывающаго лица предоставляю выборъ оружія ему; секундантовъ-же пришлю сегодня. Марколини раскланялся со мной и ушелъ. Впослѣдствіи я узналъ, что по уходѣ моемъ изъ кафе Венквередо разразился самыми нелѣпными угрозами, но потомъ образумился и на другой день началъ уже говорить, что отомстилъ-бы мнѣ, не будь у него жены и дѣтей. Это возбудило въ обществѣ хохотъ, и когда Венквередо, встрѣтившись на улицѣ съ Партистаньо, взялъ его подъ руку, намѣреваясь идти съ нимъ, генералъ высвободилъ свою

руку и насмѣшливо сказалъ ему, что пошелъ-бы съ нимъ рядомъ, если-бы у него не было жены и дѣтей. Раймондо былъ озадаченъ этимъ и рѣшился, наконецъ, послать мнѣ вызовъ черезъ Марколини.

Дуэль состоялась черезъ недѣлю въ саду близъ Местре. Я отправился на нее, какъ на прогулку, съ полнымъ спокойствіемъ духа; злоба моя противъ Венквередо совершенно прошла, и мнѣ стало даже жаль его, когда я увидѣлъ его, блѣднаго и дрожащаго. Дуэль была на шпагахъ, и онъ все отступалъ передо мной, пока не очутился на краю глубокаго рва. Я остановился и предупредилъ его, что еще шагъ—и онъ полетитъ въ ровъ; секунданты также крикнули ему въ предостереженіе, но онъ, воспользовавшись моею остановкой, направилъ мнѣ въ грудь ударъ, отъ котораго я едва увернулся скачкомъ въ сторону. Однакожь, шпага его оцарапала мнѣ грудь и кровь брызнула; рана и гнусная улыбка, появившаяся на его лицѣ, воспламенили мой гнѣвъ, я напалъ на него съ ожесточеніемъ, и въ ту минуту, какъ онъ уже собирался, кажется, бросить шпагу и бѣжать, шпага моя вонзилась ему въ бокъ и онъ полетѣлъ въ ровъ. При этомъ онъ сломалъ еще себѣ бедро, и хотя выздоровѣлъ, но остался хромымъ. Несмотря на строгость законовъ противъ дуэлей, меня не преслѣдовали. Только Аввилина, узнавъ о моей продѣлкѣ, намылила мнѣ голову. Вообще мы съ ней довольно часто ссорились, что, впрочемъ, не помѣшало рожденію у насъ сначала третьяго сына, а потомъ, черезъ два года,—дочери. Мы назвали ихъ Джуліо и Пизаной въ память умершихъ дорогихъ друзей.

Въ это время дѣло Греціи было окончательно выиграно. Наваринское сраженіе сокрушило силы Турціи. Наконецъ независимость Греціи сдѣлалась совершившимся фактомъ. Русская армія предписала Турціи миръ въ Адрианополѣ; императоръ Николай могъ-бы получить для Греціи больше, чѣмъ ей было дано, если-бы этому не воспротивилась завистливая политика Франціи и Англіи. Какъ-бы то ни было, Спиро писалъ мнѣ восторженные письма. Онъ съ радостью извѣщалъ меня о предполагаемомъ бракѣ моего сына съ племянницей президента, графа Каподистрии, говоря: „Такимъ образомъ твое семейство соединится родствомъ съ благороднымъ родомъ, имя котораго начертано на актѣ независимости новой Греціи“. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, Аглаура и



Лучіано звали насъ въ Грецію полюбоваться счастіемъ освобожденнаго народа и присутствовать при брачномъ торжествѣ.

Я рѣшился принять это приглашеніе, но Аквиліна не могла ѣхать, имѣя на рукахъ двухъ маленькихъ дѣтей. Сдавъ свои дѣла Бруто и сыну моему, Донато, я отплылъ въ Грецію въ августѣ 1830 года, въ то самое время, когда революція въ Парижѣ кружила всѣ головы, съ одного конца Европы до другого. Три недѣли спустя, я былъ въ Наполи-ди-Романья, гдѣ могъ убѣдиться, какъ велика была радость народа, освободившагося отъ четырехвѣкового ига. На всѣхъ лицахъ сіяла гордость торжества. Только неблагодарность правительства къ старымъ предводителямъ возстанія огорчала всѣхъ. Правда, это были горячія головы, незамѣнимыя въ войнѣ, но съ которыми было трудно ладить въ мирное время; однакожь не слѣдовало забывать ихъ заслуги и наказывать ихъ слабости тюрьмой, какъ дѣлалъ президентъ.

Я порицалъ его за это за одно съ Спиро и Теодоро, но Лучіано горячо возставалъ на насъ. Мнѣ очень не нравились его государственныя теоріи; мнѣ казалось неестественнымъ встрѣчать въ молодомъ человѣкѣ, двадцати лѣтъ съ небольшимъ, логику Кромвеля и Ришелье. Впрочемъ, Лучіано былъ такъ нѣженъ со мной и пользовался такой прекрасной репутаціей, что я приписывалъ его софизмы духу противорѣчія, дѣтскому желанію разыгрывать роль государственнаго мужа и увлеченію милостью президента. Самъ Каподистрія показался мнѣ человѣкомъ въ высшей степени самодовольнымъ. Я не вѣрилъ его манифесту, гдѣ онъ увѣрялъ, что только ради славы Господа и ради блага грековъ согласился принять власть; но не вѣрилъ и слухамъ о его стремленіи управлять тиранически и сдѣлаться новымъ Пизистратомъ. Невѣста моего сына жила при дядѣ съ царскою пышностью, но показалась мнѣ очень некрасивой; я-же всегда имѣлъ и, несмотря на старость, имѣю и теперь еще пристрастіе къ красотѣ въ жевщинахъ, почему женитьба сына пришла къ мнѣ не по вкусу. Но потомъ Аргенида, — такъ звали невѣсту, — показалась мнѣ доброй и скромной дѣвушкой, очень сконфуженной своими величіемъ, и я сталъ надѣяться, что Лучіано будетъ съ нею счастливъ.

Свадьба была отпразднована съ необыкновенной пышностью.

Лучіано былъ очень популяренъ въ войскахъ, и эта популярность отразилась отчасти на президентѣ, который, можетъ быть, это и имѣлъ въ виду, устраивая этотъ бракъ. Лучіано упрасивалъ меня остаться; Аргенида выказывала мнѣ дочернюю любовь; графъ Каподистрія намекалъ мнѣ, что я могу получить высокое положеніе, министерство финансовъ или что-нибудь въ этомъ родѣ. Я съ улыбкой вспоминалъ золотыя мечты интенданта-вихря, но не шелъ на удочку, да и письма Аквиліны были слишкомъ настоячивы, чтобы я могъ не подумать о возвращеніи.

Печальное событіе не позволило, однакожь, мнѣ отправиться такъ скоро, какъ я думалъ. Аглаура, всегда слабая здоровьемъ, вдругъ тяжело захворала. Не помогали ни заботы, ни лекарства. Спиро, ея сыновья и я были въ одинаковомъ отчаяніи. Я терзалъ въ ней единственную сестру, единственное существо, напоминавшее мнѣ мать. Она скончалась на моихъ рукахъ, между тѣмъ какъ три героя, тысячу разъ подставлявшіе груди подъ турецкія сабли, рыдали, окружая на колѣняхъ ея постель. Не успѣлъ я опомниться отъ этого жестокаго несчастія, какъ другой ударъ поразилъ меня. Бруто написалъ мнѣ изъ Венеціи, что сынъ мой, Донато, внезапно исчезъ безслѣдно; предполагали, что онъ вѣшался въ происходившія тогда смуты въ Романьи. Аквиліна едва съума не сошла отъ горя и заболѣла. Я мигомъ собрался и въ тотъ-же день поѣхалъ на французскомъ пароходѣ въ Анкону, куда я прибылъ 27 марта 1831 года, въ тотъ самый день, когда генераль Армапди, побѣжденный, опускалъ передъ австрійцами знамя романскаго возстанія. Я сталъ разспрашивать у офицеровъ, не слыхали-ли о Донато Альтовити; не добившись никакого отвѣта, я обратился въ главную квартиру, гдѣ узналъ, что венеціанецъ этого имени былъ дѣйствительно въ икольскомъ легіонѣ, сражался какъ левъ при Римини и два дня тому назадъ остался тамъ раненый. Я побѣжалъ на почту, но всѣ лошади были забраны австрійцами; я вышелъ изъ города пѣшкомъ и, только пройдя четыре мили, догналъ телѣжку огородника и нанялъ его. Поздно вечеромъ пріѣхали въ Римини. Я побѣжалъ въ госпиталь; здѣсь одинъ молодой хирургъ, тронутый моими просьбами, отвелъ меня въ сторону и сказалъ, чтобы я подождалъ его на улицѣ, прибавивъ, что черезъ полчаса сведетъ къ тому, кого я разыскиваю.

— О, ради всего святого, воскликнулъ я, — скажите мнѣ, въ какомъ онъ положеніи? Умоляю васъ, докторъ, скажите правду, не обманывайте несчастнаго отца!

— Будьте покойны, отвѣчалъ онъ, — рана глубока, но надежда есть. Онъ находится на хорошихъ рукахъ, чего вполне заслужилъ. А пока подождите; черезъ нѣсколько минутъ я буду къ вашимъ услугамъ. Главное же — будьте осторожны; дѣло щекотливое, и времена нынче трудныя.

Нечего и говорить, съ какимъ чувствомъ увидѣлъ я сына! Онъ находился на попеченіи одной бѣдной дѣвушки, швея, едва зарабатывающей себѣ хлѣбъ; она взяла его къ себѣ съ улицы и ухаживала за нимъ такъ, что ни мать, ни жена не могли-бы оказывать больше нѣжности и заботы больному. Я могъ благодарить ее больше слезами, чѣмъ словами. Докторъ осмотрѣлъ рану, нашелъ, что все идетъ хорошо, и ушелъ, запретивъ больному разговаривать. Я поспѣшилъ сообщить утѣшительныя надежды женѣ, которая отвѣчала, что, получивъ это извѣстіе, сразу выздоровѣла и съ нетерпѣніемъ ждетъ обнять сына, какъ скоро его здоровье поправится настолько, что ему можно будетъ пріѣхать со мной въ Венецію.

Между тѣмъ Донато рассказывалъ мнѣ свои похождения и причины, побудившія его принять участіе въ движеніи. Одною изъ нихъ были нелѣпыя клеветы, которыхъ онъ наслушался у Фраттовъ, противъ романскихъ дѣятелей.

— Эти толки такъ возмущали меня, говорилъ онъ, — что я не захотѣлъ даже опровергать ихъ, а подумалъ, что лучше будетъ на дѣлѣ доказать, во что я ихъ ставлю.

Выздоровленіе Донато, вопреки ожиданіямъ доктора, замедлилось, и мы могли отправиться въ путь только въ маѣ. Добрая швея получила вознагражденіе, далеко несоотвѣтствовавшее ея заслугамъ въ отношеніи насъ, но сообразное съ нашими средствами: у нея былъ женихъ, но до сихъ поръ крайняя бѣдность служила имъ препятствіемъ къ браку; оставленныя нами деньги помогли имъ заключить брачный союзъ.

Въ Болоньѣ, гдѣ мы остановились на нѣсколько дней, я увидѣлся кое съ кѣмъ изъ старыхъ знакомыхъ. Пережвѣтъ было много; многіе умерли, другіе, бывшіе въ мое время дѣтьми, ста-

ли отцами и матерями семействъ; красавицы, за которыми я нѣкогда пріударялъ, стали похожи на печенныя яблоки.

Много радости было въ Венеціи по случаю нашего пріѣзда. Но она была непродолжительна. Здоровье Донато стало быстро ухудшаться. Въ ранѣ образовалось прободеніе внутрь. Врачи предполагали, что кость была повреждена или что въ ранѣ остался осколокъ картечи. Всѣ мы были въ горѣ и безпокойствѣ, кромя самого больного, который былъ веселъ, шутилъ надъ обществомъ, собиравшемся въ домъ Фрата, и смѣялся, когда Бруто передавалъ ему ихъ толки. Докторъ Ормента, между прочимъ, недавно возвратившійся изъ Рима съ деньгами и почетомъ, рѣшилъ, что „яблоко не далеко отъ яблони падаетъ“. Миѣ было не до этихъ толковъ. Болѣзнь Донато все усиливалась, и въ концѣ осени онъ умеръ. Изъ всѣхъ несчастій, какія миѣ пришлось испытать въ жизни, послѣ смерти Пизаны это было самое тяжкое. Но мое горе было ничто въ сравненіи съ горемъ Аквилины. Она никогда не простила миѣ смерть Донато, какъ-будто я былъ виновникомъ, между тѣмъ какъ скорѣе она была ея невинной причиною, потому что заставляла его выслушивать нелѣпыя толки ханжей; побудившіе его, наперекоръ имъ, пролить свою кровь на полѣ битвы при Римини. Тѣмъ не менѣе она продолжала посѣщать домъ Фратовъ и водила туда дѣтей, а на мои замѣчанія, напоминавшія ей о печальномъ результатѣ этихъ посѣщеній для Донато, она отвѣчала, что его несчастіе не отравило-бы ея существованія, если-бы я моими нелѣпыми внушеніями не уничтожилъ пользу, какую получалъ Донато отъ бесѣдъ въ обществѣ дома Фратовъ. Такимъ образомъ, эта добрая женщина ежедневно все больше и больше превращалась въ ханжу. Я помалчивалъ, пока не уличалъ маленькую Пизану во лжи или не ловилъ Джуліо въ какой-нибудь гадкой плутнѣ; тогда я спрашивалъ жену, слѣдуетъ-ли обманы, ложь и плутовство считать плодами ханжескаго воспитанія. Она отвѣчала запальчиво, что предпочитаетъ, чтобы дѣти ея были лгунами и плутами, чѣмъ посылать ихъ на убой, и что миѣ слѣдовало-бы не забывать, какъ много зла я уже надѣлалъ.

Однажды она принялась выхвалять доктора Ормента, какъ образецъ христіанина и честнаго гражданина. Я не воздержался и

замѣтилъ ей, что этотъ образцовый христіанинъ оставляетъ родного отца въ крайней бѣдности.

— Это гнусная ложь! закричала Аквиллина; — старый Ормента получаетъ отъ правительства большую пенсію и могъ-бы прекрасно жить, если-бы не имѣлъ разорительныхъ пороковъ.

— Ты, вѣрно, не знаешь, возразилъ я, — что большая часть его пенсіи идетъ на уплату процентовъ по долгамъ, которые онъ надѣлалъ для осуществленія честолюбивыхъ плановъ сына; докторъ знаетъ это и все-таки ничего не дѣлаетъ, чтобы помочь отцу.

— Пускай и такъ! Все-же я не буду обвинять его. Его отецъ былъ такой негодяй, что заслуживаетъ примѣрнаго наказанія, и хорошо было-бы, если-бы всѣмъ подлецамъ пришлось такъ плохо.

— Я полагаю, что не дѣтямъ наказывать родителей.

— Я этого не говорю; но Богъ попускаетъ, чтобы докторъ не зналъ крайняго положенія отца, чтобы такимъ образомъ наказать старика за его развратную и подлую жизнь.

— Ну, я не желалъ-бы имѣть на совѣсти подобнаго невѣденія, отвѣчалъ я.

Дѣйствительно, старый Ормента умеръ вскорѣ, провожаемый въ могилу общимъ презрѣніемъ; но несмотря на полное отсутствіе всякой симпатіи къ нему, всѣ были возмущены поступкомъ сына, который отказался отъ наслѣдства, чтобы не платить долговъ, и не заплатилъ даже доктору, лечившему старика отъ послѣдней болѣзни.

Такимъ образомъ, у насъ очень часто выходили съ женой споры и ссоры, въ которыхъ я, однакожъ, по свойственной мнѣ слабости характера, всегда уступалъ, хотя и видѣлъ, какъ вредно отзываются ея понятія на нравственности дѣтей. Я полагалъ, что давать имъ воспитаніе, исключительно основанное на религіозномъ страхѣ, который замѣнялъ-бы имъ всякое другое нравственное основаніе, дурно уже потому, что когда человекъ, воспитанный такимъ образомъ, теряетъ это основаніе, у него не остается уже никакого моральнаго принципа, въ силу котораго онъ могъ-бы жить честно и достойно. Но Аквиллина и слушать не хотѣла подобныхъ разсужденій. Я особенно боялся за сына. Что-же касается Пизаны, я былъ снисходительнѣе къ ней. Виѣстѣ съ име-

немъ она какъ-будто наслѣдовала темпераментъ моеѣ незабвенной Пизаны; когда, отрапортовавъ мнѣ съ наивнѣйшимъ видомъ какую-нибудь очевидную ложь, она встряхивала кудрявой головкой, въ памяти моеѣ воскресала маленькая фратская волшебница, и сердце мое смягчалось. Хотя она не имѣла въ характерѣ той живости, какъ моя Пизана, но, подобно ей, любила и умѣла подлаживаться ко всѣмъ, и, какъ та, съ каждымъ днемъ совершенствовалась въ искусствѣ правиться, которое составляетъ счастье и погибель женщинъ.

Ссоры мои съ женой изъ-за сына были прерваны холерой, нагрянувшей на Венецію и переполошившей всѣхъ. Нашъ Джулио заболѣлъ страшной болѣзью; мужество и терпѣніе, съ которыми мать укаживала за нимъ, осыпали ея материнскія права; онъ былъ вторично обязанъ ей жизнью. Нѣкоторые изъ нашихъ старыхъ знакомыхъ отдѣлялись не такъ счастливо. Однимъ изъ первыхъ умеръ Агостино Фруиеръ, не дождавшись камергерскаго ключа, бывшаго его мечтой въ послѣдніе годы. Въ это-же время его братъ лишился своей жены; послѣ долгихъ лѣтъ уединенія, онъ вышелъ на свѣтъ божій совершенно одичавшимъ; чтобы найти другой подобный примѣръ вѣрности (когда она умерла, ей было лѣтъ за 70, а ему 65), надо обратиться къ первымъ временамъ человѣчества, когда на свѣтѣ существовали только одинъ мужчина и одна женщина. Тутъ умерла въ больницѣ и Доретта, давно влачившая жалкое и презрѣнное существованіе.

Въ концѣ холернаго года, помнится, въ концѣ ноября, вечеромъ ко мнѣ явился докторъ Віанелло. Я долго былъ съ нимъ въ перепискѣ, но со времени 1831 года, когда онъ на короткое время тайно пріѣзжалъ въ Италію, мы писали другъ другу все рѣже и рѣже. Онъ былъ блѣденъ, сгорбленъ, и многіе уцѣлѣвшіе у него волосы совсѣмъ побѣлѣли; но въ глазахъ все еще горѣлъ огонь энергіи.

— Я говорилъ тебѣ, что пріѣду умирать на родину, сказалъ онъ;— вотъ и пріѣхалъ. Мнѣ семьдесятъ два года, но я еще продержался-бы, если-бы лондонскій климатъ не разстроилъ моего здоровья. Плохо приходится намъ, дѣтямъ солнца, отъ сѣверныхъ тумановъ.

— Надѣюсь, ты шутишь; ты возвратилъ мнѣ зрѣніе, съумѣешь возвратитъ и себѣ здоровье.

— Ну, какъ-бы тамъ ни было, поживемъ еще виѣсть.

— Желаетъ увидѣться съ Кларой, спросилъ я его, — или уже прошла охота?

— Нѣтъ, нѣтъ, непременно увижусь. Миѣ любопытно посмотреть различные результаты одной и той-же страсти въ двухъ столь различныхъ характерахъ, какъ мой и ея.

— Стало быть, тебѣ любопытно видѣть Клару, какъ анатому любопытенъ трупъ?

— Нѣтъ, Карло, я взгляну на нее, какъ гляжу на себя, а я еще не смотрю на себя какъ на трупъ.

— Признаюсь, еще болѣе твоего постоянства меня удивляло всегда твое снисходительное отношеніе къ Кларѣ; я никогда не слыхалъ отъ тебя ни жалобы, ни упрека. Какъ-же ты объясняешь себѣ ея удивительную переѣву къ тебѣ?

— Видишь, въ душѣ Клары была всегда склонность къ великодушнымъ увлеченіямъ, и я нисколько не удивился, что она покинула меня, тѣмъ болѣе, что я, занятый разными другими дѣлами, предался глупой безпечности. Живщины, Карло, покидаютъ насъ обыкновенно, падая; болшею частью бываетъ такъ, и этого мы опасаемся; но тогда не трудно снова приобрести ихъ. Съ этой стороны я считалъ себя обезпеченнымъ, но не подумалъ, что могу лишиться ея другимъ способомъ. Неисправимая бѣда, когда онѣ покидаютъ насъ, уносясь вверхъ, въ высокія сферы самопожертвованія! Слѣдовать за ними туда мы не можемъ; звать назадъ — бесполезно; для нихъ нѣтъ высшаго блаженства, какъ блаженство самопожертвованія, и мы никакъ не можемъ тягаться съ ними въ способности жить, отрекшись отъ всего земного. Какъ врачъ, я знаю, что ни одинъ мужчина, какъ-бы ни былъ онъ несчастливъ или мужественъ, не можетъ сравниться съ самой слабой женщиной въ равнодушіи къ смерти. Могъ-ли я сердиться на Клару за то, что она хотѣла любить меня на тотъ ладъ, который считала лучшимъ и высшимъ, думая вмѣсто временного счастья доставить мнѣ вѣчное блаженство?

Втеченіи этой зимы Лючилио почти всякій вечеръ видался съ Кларой, и общество въ домѣ Фратовъ часто скандализовалось рѣзкими выходками стараго доктора. Но Аугусто Чистерна говорилъ, что по старости ему можно прощать, а Блара простирала терпимость даже дальше и говорила, что онъ всегда былъ

такой сумасбродный и что Богъ проститъ ему ради его добрыхъ намѣреній. Больше всѣхъ радовался прїѣзду доктора графъ Ринальдо, который готовился, наконецъ, разродиться плодомъ своего многолѣтняго корпѣнія въ библіотекахъ; то было громаднѣйшее сочиненіе о венеціанской торговлѣ отъ временъ Аттилы до Карла V, въ которомъ смѣлость гипотезъ, эрудиція и зреницательность критики были поразительны. Лючилио помогъ автору въ разрѣшеніи нѣкоторыхъ запутанныхъ вопросовъ; и по его совѣту графъ кое-что измѣнилъ и исправилъ и былъ ему чрезвычайно благодаренъ. Лючилио былъ удивленъ, открывъ въ такомъ сухомъ и ничтожномъ человѣкѣ, какъ графъ, бездну учености и горячій патріотизмъ, хотя относившійся больше къ средневѣковой, чѣмъ къ настоящей Италиі.

— Вотъ что дѣлается съ людьми, говорилъ онъ, — въ эпохи застоя и униженія. Вся ихъ сила и энергія обращается на попытки воскрешать муміи; не имѣя возможности улучшать учрежденія и служить людямъ, они выкапываютъ древніе камни и пергаменты, изучаютъ и любятъ ихъ. Такова общая участь нашихъ писателей.

Въ послѣднемъ онъ былъ не совсѣмъ правъ. Въ это время выросла новая семья писателей, какъ Альфіери, Уго Фосколо, Манцони, Пеллико, уважавшая развалины, но звавшая живыхъ людей къ живому дѣлу; видя ничтожество настоящаго, она надѣялась на будущее. Къ этой-же семьѣ принадлежали Леопарди и Джусти, каждый по-своему призывавшіе современниковъ къ возрожденію.

Мы недолго пользовались обществомъ доктора. Въ началѣ весны онъ сильно занемогъ и умеръ послѣ непродолжительной болѣзни. Умирая, онъ указалъ мнѣ на сосѣдную комнату, гдѣ Клара молилась за него, и сказалъ: „Поблагодари ее“. Я передалъ ей эти слова, хотя рѣшительно не понималъ, за что онъ благодарилъ ее. Я даже не могъ упросить ее утѣшить умирающаго своимъ присутствіемъ; она упорно оставалась въ сосѣдней комнатѣ, бормоча отходную. Такъ-какъ у нея была система дѣлать все противъ своихъ желаній, то, можетъ быть, и этимъ она хотѣла принести жертву, которая послужила-бы въ пользу душъ Лючилио. Моя жена выразила неприличную радость по случаю смерти доктора; она находила, что его знакомство подвергаетъ опасности



правственность моего сына, и объявила, что Богъ призвалъ его къ себѣ по милости своей къ намъ.

Такъ одинъ за другимъ исчезали товарищи моего дѣтства, молодости и зрѣлаго возраста, какъ лепестки маргаритки, обрываемые пальцами дѣвушки, гадающей о любви. Скоро послѣ смерти Лучіано сынъ мой, Лучіано, извѣстилъ меня о кончинѣ Спиро, и эта потеря также тяжелымъ горемъ легла на мое сердце. Лучіано рѣшительно не желалъ возвращаться въ Италію; какъ я предвидѣлъ съ горечью, честолюбіе заглушило въ немъ всѣ другія чувства. Онъ было-пріунылъ послѣ убійства Каподистріи, но при вступленіи на престолъ короля Оттона получилъ видное мѣсто въ военномъ министерствѣ и пошелъ въ гору съ терпѣніемъ собаки, которая владеть морду на колѣни хозяина въ ожиданіи подачи. О насъ, о Венеціи, объ Италіи онъ говорилъ какъ о совершенно чужомъ; жена его писала намъ гораздо болѣе симпатичныя письма; она не была счастлива; отъ сыновей Спиро мы знали, что Лучіано обходится съ нею дурно. Моя жена, конечно, не преминула обвинить меня и въ холодности Лучіано, какъ обвиняла въ смерти Донато. Въ эти годы она также лишилась сестры и всѣхъ своихъ братьевъ, кромѣ Бруто, съ которымъ мы оставались среди новаго поколѣнія какъ два обломка старины.

## ГЛАВА XXII.

Ученое твореніе графа Ринальдо.—Мои семейныя огорченія. — Бѣгство Джуліо и пріездъ старыхъ друзей. — 1848 годъ.—Общественныя и частныя торжества и вѣдствія.—Возвращеніе въ Фриуль.—Извѣстіе о смерти сына.

Приближались сороковые года. Мнѣ перевалило за 60. Чувствуя старость и слабость зрѣнія, я сталъ подумывать о ликвидаціи своихъ торговыхъ дѣлъ, такъ-какъ могъ уже жить процентами съ пріобрѣтеннаго небольшого капитала. Въ то время, какъ я обдумывалъ это, мнѣ вдругъ объявили черезъ австрійскаго интернунція въ Константинополь, что турецкое правительство предлагаетъ мнѣ въ уплату отцовскаго векселя восемьдесятъ тысячъ піастровъ, предоставляя получить остальное съ наслед-

никовъ великаго визиря. Я, конечно, согласился, а объ остальномъ забылъ и думать, такъ-какъ Лучіано, которому я поручилъ навести справки, писалъ мнѣ, что эти наследники—люди крайне бѣдные и темные. Такимъ образомъ, получивъ эти восемьдесятъ тысячъ піастровъ да выручивъ отъ ликвидаціи своей торговли тридцать тысячъ дукатовъ, я сдѣлался обладателемъ крупнаго капитала, на который купилъ большое и хорошее имѣніе, по сосѣдству съ имѣніемъ Проведони въ Кордовадо, и значительную часть земель, принадлежавшихъ прежде Фруміерамъ и проданныхъ мнѣ докторомъ Доменико Фульдженціо. Но такъ-какъ воспитаніе Джуліо требовало, чтобы мы жили въ городѣ, то большую часть года мы проводили въ нашемъ домѣ въ Венеціи, уѣзжая только на два осенніе мѣсяца на дачу на берегу Brenty. Я такъ привыкъ къ Венеціи, что уѣзжать изъ нея не хотѣлось. Напротивъ, Бруто предпочиталъ сельскую жизнь и съ охотой взялся управлять нашимъ имѣніемъ; къ тому-же у него былъ въ Фріулѣ цѣлый рой племянниковъ и племянницъ, судьбу которыхъ ему надо было устроить.

Наши дѣла, такимъ образомъ, процвѣтали, а дѣла Фратовъ шли все хуже и хуже. Упадокъ ихъ состоянія могъ сравниться только съ стоическимъ равнодушіемъ, съ которымъ они переносили его. Графъ покупкой рѣдкихъ и дорогихъ книгъ и рукописей и небрежностью управленія, а Клара—безразсудной щедростью, оба взапуски разбрасывали послѣднія крохи своего имущества. У нихъ оставались еще двѣ-три фермы, полуразвалившійся флигель замка и двѣ раскрытыя башни, но ничтожный доходъ, получавшійся съ этихъ жалкихъ остатковъ, весь уходилъ въ руки кредиторовъ. Графу Ринальдо и его сестрѣ приходилось жить на дукатъ въ день его жалованья и на три венеціанскія лиры, которыя выдавались Кларѣ изъ казны въ качествѣ неимущей патриціанки. На эти средства едва можно было жить, и существованіе ихъ было непрерывнымъ постомъ. Но, по счастью, Клара за своими экстазами, а графъ за своими учеными занятіями, не обращали вниманія на свои желудки и ихъ удовлетвореніе. Они худѣли съ каждымъ днемъ, не замѣчая этого, и, повидимому, замыслили отучить себя отъ пищи, какъ арлекинъ своего осла. Однажды, когда я выразилъ Кларѣ мое удивленіе, что она пьетъ такъ много кофе, который ей вреденъ, она отвѣчала, что этотъ напитокъ дешевле

въ Венеціи и замѣняетъ ей супъ. Между тѣмъ всякая дѣвчонка, являвшаяся къ ней съ причитаніемъ, отпускалась съ щедрой подачкой. Тѣмъ временемъ графъ Ринальдо бѣгалъ вездѣ, отыскивая издателя для своего творенія, найти котораго было не легко, принимая въ соображеніе громадность сочиненія, лишеннаго притомъ всякаго живого интереса и потому необобщавшаго барышей. Всякій издатель измѣрялъ глазами объемъ графской рукописи, взвѣшивалъ ее на ружь и возвращалъ автору съ низкими поклономъ. Тщетно просилъ онъ просмотрѣть сочиненіе, чтобы оцѣнить его достоинства: ему отвѣчали, что не сомнѣваются, что это образцовое произведеніе, но что издателямъ приходится соображаться со вкусомъ публики, для которой это сочиненіе недоступно по своей эрудиціи. Въ утѣшеніе себѣ графъ, возвращаясь домой, принимался снова пересматривать, чистить и исправлять свой трудъ. Послѣ тридцатилѣтнихъ трудовъ, посвященныхъ этой работѣ, онъ еще всякій день находилъ въ ней что-нибудь требующее разъясненій и дополненій. Иногда онъ даже чувствовалъ благодарность къ издателямъ, которые своимъ отказомъ помѣшали ему преждевременно опубликовать сочиненіе. Затѣмъ, окончивъ пересмотръ, онъ снова пускался на поиски издателя. Обойдя всѣхъ венеціанскихъ, онъ вступилъ въ дѣятельную переписку съ миланскими, флорентинскими, туринскими и неаполитанскими. Иные вовсе не отвѣчали, другіе просили препроводить для образца нѣсколько главъ, и онъ съ новымъ жаромъ принимался переписывать, очищая и исправляя; затѣмъ получался отзывъ, что предметъ слишкомъ мало представляетъ интереса, и приглашеніе писать легкія статейки по статистикѣ или политической экономіи.

Нѣсколько лѣтъ прошло въ этихъ тщетныхъ хлопотахъ. Графъ обращался за совѣтомъ даже къ кавалеру Фруміеру, котораго литературныя свѣденія не простирались дальше конца прошлаго вѣка и кончались на аббатѣ Чезаротти и графѣ Гаспарѣ Гоцци. Увидавъ, что отъ вузена ничего не добьешься, и придя въ отчаяніе отъ отказовъ, графъ Ринальдо принялся продавать все, что еще у него было продажнаго, чтобы на свой счетъ издать книгу. Клара ограничила свое потребленіе кофе, а самъ онъ буквально морилъ себя голодомъ, пока не скопилъ 500 франковъ, нужныхъ на напечатаніе первыхъ четырехъ главъ. Скопивъ ихъ, онъ побѣжалъ въ типографію и, выложивъ деньги на столъ, сказалъ торжественно:

— Напечатайте мнѣ рукописи на эту сумму.

— Сколько экземпляровъ? Какого формата? и т. д., спросили его.

Ни о чемъ подобномъ графъ не имѣлъ и понятія. Однакожь, разспросивъ хорошенько, онъ заказалъ четыре тысячи экземпляровъ объявленій съ перечнемъ главъ сочиненія и нѣсколькими строками приглашенія на подписку, и, сверхъ того, первый выпускъ книги въ тысячѣ экземпляровъ. Онъ вернулся домой внѣ себя отъ восторга. Три недѣли, которыя онъ провелъ въ бѣготнѣ изъ дома въ типографію и обратно, были счастливѣйшей эпохой его жизни. Однакожь, подписка шла туго и едва набралось дюжины двѣ подписчиковъ въ Венеціи и окрестностяхъ. Но графъ былъ увѣренъ, что какъ-бы то ни было, первый выпускъ скоро выйдетъ, и былъ на седьмомъ небѣ, находя величайшее удовольствіе даже въ препирательствахъ съ цензурой, которая, впрочемъ, оставляла его твореніе почти неприкосновеннымъ.

Наконецъ, вышелъ въ свѣтъ заглавный листъ съ четырьмя первыми главами, и графъ съ восторгомъ увидѣлъ свою книгу въ окнахъ книжныхъ магазиновъ. За этой радостью послѣдовала другая — о книгѣ заговорили журналы. Первымъ откликнулся одинъ миланскій журналъ, который, похваливъ эрудицію автора, говорилъ затѣмъ въ очень пространной статьѣ о торговлѣ вообще, объ Индіи, Китаѣ, Молуккахъ, Англии, Россіи, опиумѣ, перцѣ, рисовой соломѣ, Мегаметѣ-Али, бирманской имперіи, про-рытіи Суэзскаго перешейка, — словомъ, обо всемъ на свѣтѣ, кромѣ книги графа Ринальдо и среднесѣковой венеціанской торговлѣ. Не менѣ лестный отзывъ сдѣлала одна тосканская газета, но тоже говорила очень много о разныхъ вещахъ и умалчивала о книгѣ. Послѣдній ударъ нанесъ одинъ ученый туринскій публицистъ, который отрекомендовалъ сочиненіе графа Фрата, какъ отличное руководство для комерсантовъ, желающихъ освѣтитъ свою торговую практику выводами современной экономической науки. Читая эту похвалу, авторъ выпучилъ глаза и долго не вѣрилъ, что рѣчь идетъ о немъ и объ его книгѣ; наконецъ, онъ не выдержалъ и, вознегодовавъ въ первый разъ въ жизни, воскликнулъ:

— Что за ослы! Пусть-бы не понимали, пусть-бы не читали; но какъ не понимать даже заглавія? Судятъ и рядятъ, не посмотрѣвъ даже на заголовокъ! Это превышаетъ всякую мѣру, и я

лучше желалъ-бы, чтобы такіе болваны бранили меня, чѣмъ хвалили!

Однакожь, несмотря на похвалы, покупателей на книгу не находилось. Кого, въ самомъ дѣлѣ, могъ интересовать трактатъ о средневѣковой торговлѣ! Какъ-разъ въ это время умеръ папа Григорій XVI, и Джовани Мاستан-Феррети наслѣдовалъ ему подъ именемъ Піа IX. Восторженная надежда охватила всю Италію. Все разомъ пробудилось, вспыхнуло энтузіазмомъ, и самъ графъ, забывъ свое сочиненіе, кричалъ съ толпой на площади: Вива Піо Ноно!

Его сестра раздѣляла его энтузіазмъ къ новому папѣ, почитая его за пророка, къ великому соблазну своего общества, которое понять не могло, какимъ образомъ женщина столь благочестивая, заслуженная и престарѣлая игуменья св. Терезы, можетъ рукоплескать папѣ-революціонеру. Въ это время графъ продалъ на сломъ остатки своего родового замка и на вырученныя деньги собирался основать патріотическій журналъ въ какомъ-нибудь итальянскомъ городѣ. Планъ этотъ не осуществился, но деньги были истрачены, и графъ съ Кларой очутились въ еще худшей крайности. При ихъ непомѣрной щекотливости, я долженъ былъ подниматься на разныя хитрости, чтобы помогать имъ. Когда я приглашалъ графа обѣдать, онъ обыкновенно забывалъ приглашеніе или являлся только къ десерту; когда-же приходилъ во-время, то ѣлъ, безъ церемоніи, съ такимъ аппетитомъ, что выдавалъ свой голодъ. Аквиліна подкупала ихъ служанку для того, чтобы при ея общничествѣ наполнять съѣстнымъ ихъ шкафы. Было время, сознаюсь, когда я ихъ очень не жаловалъ. Но теперь я понялъ разницу между ними, людьми, жившими все-таки идеалами, хотя ложными, и такими тварями, какъ, наприимѣръ, докторъ Ориента, для котораго не было въ мірѣ ничего святого, кромѣ собственной особы.

Къ несчастью, подобный эгоизмъ, подобное грубое пренебреженіе ко всему идеальному я съ ужасомъ видѣлъ въ своемъ сынѣ Джуліо. Сколько я ни старался поддерживать въ немъ свѣжесть духа, онъ все болѣе грубѣлъ и въ двадцать два года казался старѣе меня, семидесятилѣтняго старика. Онъ заявлялъ прямо, что спокойствіе, хорошій столъ и мягкая постель выше всего на свѣтѣ, и съ гордостью выставлялъ на показъ эти мнѣнія, какъ признакъ

сильной души и философской независимости. Корень этихъ мнѣній лежалъ въ реакціи противъ романтизма, но плуты пользовались ею, чтобы направлять молодые умы согласно своимъ интересамъ. Когда честные люди вооружались противъ этого, говоря, что гнусно отрицать все идеальное въ жизни и повергаться въ рабство матеріальныхъ интересовъ, молодежь подстрекала противъ нихъ, выставляя ей, какъ доблестное мужество, пренебреженіе къ сужденіямъ пуританъ и совѣту ей, въ противность ихъ лицемѣрью, циническое хвастовство пороками. Кутежи, игра, пьянство и публичныя женщины—вотъ предметы, считавшіеся достойными развитаго мужчины. Джуліо присоединялъ къ разврату еще болѣе отвратительное лицемѣріе. Такъ-какъ ему нужно было угождать матери, чтобы получать черезъ нее деньги, то, входя въ домъ, онъ совершенно измѣнялся и превращался въ ангела непорочности. Поэтому когда я сообщалъ Аквилинѣ слухи, доходившіе до меня о поведеніи Джуліо за порогомъ родительскаго дома, она сердилась и кричала, что все это клеветы, что если онъ и дѣлаетъ шалости, приличныя его возрасту, то все-же мы должны благодарить Бога, что онъ водится большею частью съ людьми солидными и что мнѣ слѣдовало-бы помнить ужасный примѣръ Донато. Мнѣ оставалось только пожимать плечами и уходить изъ дома, чтобы не слышать цѣлый день разглаговольствованій на эту тему.

Когда общій энтузіазмъ вспыхнулъ еще сильнѣе послѣ обнародованной Пиемъ IX амнистіи, Джуліо имѣлъ печальное мужество идти наперекоръ общественному мнѣнію, осмѣивать общее ликованіе и называть дурачествами манифестаціи по этому поводу. Конечно, онъ дѣйствовалъ не изъ-за выгоды и разсчета, а изъ глупаго желанія отличиться оригинальностью и цинизмомъ, но даже тѣ, которые въ душѣ гораздо больше и искреннѣе его раздѣляли его убѣжденія, изъ разсчета боялись слушать его и, подобно доктору Ормента, заявляли себя сторонниками либеральныхъ идей. И чѣмъ больше встрѣчалъ онъ противорѣчія, чѣмъ больше презрѣнія и негодованія возбуждала эта роль, тѣмъ съ большимъ усердіемъ игралъ онъ ее, и своей болтовней онъ навлекъ на себя гораздо больше ненависти, чѣмъ другіе—гнусными дѣлами.

Я пытался образумить Джуліо, говоря ему, что придетъ время, когда душа его проснется, онъ почувствуетъ потребность любви и

уваженія, и тогда ему будетъ очень тяжело, что онъ испортилъ себѣ жизньъ.

— Ахъ, отецъ, возражалъ онъ нетерпѣливо, — ты неисправимый поэтъ! Все это было-бы прекрасно, если-бы люди были умны, добродѣтельны, совершенны; но такъ-какъ они не таковы, то искать ихъ любви и уваженія все равно, что искать любви и уваженія своей собаки. Я, по крайней мѣрѣ, заранѣе навсегда отказываюсь отъ этого сокровища.

— Ты слишкомъ молодъ, Джуліо; не ручайся за будущее, не говори: навсегда. Люди, которыхъ ты находишь такими презрѣнными, могутъ воспрануть въ чудномъ порывѣ благороднаго энтузіазма изъ своего униженія и пережить высокіе моменты справедливости и великодушія. Что, если въ такія минуты тебѣ придется испытать ихъ презрѣніе? Если ты еще не потеряешь всякій стыдъ, всякое человѣческое достоинство, сердце твое не выдержитъ этого. Тебѣ нельзя будетъ отрицать, что приговоръ тебѣ произнесенъ не безуміемъ и невѣжествомъ, а правосудіемъ и великодушіемъ. Можно идти противъ одного, двухъ, десяти, но противъ всего народа идти нельзя; отверженному имъ человѣку остается одно прибѣжище — совѣсть, если она у него чиста. Но въ какомъ положеніи очутишься ты, Джуліо, лицомъ къ лицу съ твоей совѣстью? Какое утѣшеніе внушитъ она тебѣ? — тебѣ, вмѣнившему себѣ въ честь истребить въ себѣ всякое благородное чувство, тебѣ, заявлявшему глубокое презрѣніе къ людямъ, не узнавъ ихъ, и давшему этимъ поводъ думать, что ты презираешь больше всего самого себя? Неужели ты не видишь разницы между твоими Орментами, Чистернами и имъ подобными и прочими людьми? Если всѣ презираютъ ихъ, значитъ общественная совѣсть, люди вообще, выше и лучше этихъ тварей, значитъ возможна болѣе счастливая и достойная жизнь, чѣмъ ихъ жизнь.

— Ты очень ошибаешься на мой счетъ, отвѣчалъ Джуліо холодно; — ты воображаешь, что я слѣдую чужимъ внушеніямъ и подчиняюсь чужому вліянію. Я знаю, что Ормента, Чистерна и прочіе — негодяи, не лучше и не хуже другихъ, впрочемъ. Но мнѣ съ ними пріятнѣе, чѣмъ съ дураками. Что касается совѣсти, то моя совѣсть въ моемъ разсудкѣ, который всегда оправдываетъ меня за то, что я не раздѣлялъ глупыхъ увлеченій.

Такъ кончились наши пренія, и я начиналъ опасаться, что

время не исправить моего сына, какъ я сначала надѣялся, и что намъ съ Аквиллиной придется горько заплатить за нашу слабость. Въ это-же время и поведеніе Пизаны стало сильно огорчать меня, а съ горечью долженъ былъ убѣдиться, что не имѣю на нее никакого вліянія.

Эта дѣвочка съ самаго дѣтства была необыкновенно хитра и лжива. Предоставляя ей воспитаніе матери, въ надеждѣ, что ея примѣръ хорошо подѣйствуетъ на такую натуру, я издали наблюдалъ за нею и все болѣе убѣждался, что хорошаго вышло очень мало. При матери она была кротка и нѣжна, со мною почтительна и скромна, при людяхъ — просто ангелъ; но я замѣчалъ, что она груба съ прислугой, а съ горничными ведетъ такіе разговоры, какихъ никто не ожидалъ-бы отъ такой невинности. Въ обществѣ, едва мать отворачивалась отъ нея, она переглядывалась съ молодежью. Поэтому когда Аквиллина принималась при мнѣ благодарить Создателя за то, что онъ далъ ей такое совершенство въ дочери, я не могъ воздержаться отъ кислой гримасы.

— Ну что? Что ты хочешь сказать? спросила жена тѣмъ сварливымъ голосомъ, которымъ имѣла привычку говорить со мной.

— Ничего, уклончиво отвѣчалъ я!

— Какъ ничего? Развѣ я не вижу, какія рожи ты строишь? Изволь сказать, что ты имѣешь противъ Пизаны. Развѣ она не ангелъ? Ты взгляни на ея синіе глаза —какая въ нихъ невинная и любящая душа, а ужъ такого цвѣта лица и такихъ волосъ нигдѣ не найдешь. И какой характеръ, какія манеры! Набожна, скромна, послушна, просто ягненокъ! Гдѣ еще найти такой прижѣрной дѣвушки? Я желала-бы быть молодымъ мужчиной, чтобы жениться на ней; счастливецъ будетъ тотъ, кому она достанется.

Я не прерывалъ этихъ панегириковъ, прося только говорить потише, когда подозрѣвалъ, что Пизана находится въ сосѣдней комнатѣ и, можетъ быть, подслушиваетъ; мнѣ случалось нѣсколько разъ заставить ее въ этомъ занятіи.

— Ну, что-же ты самъ ей ничего не говоришь, если она что-нибудь не по тебѣ дѣлаетъ? ораторствовала Аквиллина. — Что-же ты молчишь, какъ статуя? Вѣдь ты отецъ! Торговлю ты бросилъ, братъ управляетъ за тебя имѣніемъ — скажи пожалуйста, на что ты годеишь? Только шляться по кафе, читать газеты да болтать глу-



пости съ другими старыми дураками; смотри, еще, Боже сохрани, попадешься!

— Аквилаина, мнѣ часто хочется сказать, но...

— Ну, такъ что-же? За чѣмъ дѣло стало? Я цѣлый часъ у тебя добиваюсь, что ты находишь въ Пизанѣ. Какъ моего терпѣнія хватается!

— Я хочу сказать, что Пизана при насъ не такая, какъ безъ насъ; когда ты на нее не смотришь, она мгновенно перемѣняется, такъ что я опасаюсь, что ея добродѣтели—притворство и...

— Господи, что мнѣ приходится слушать! Бѣдная дѣвочка! Горе мнѣ! Хватается-же у тебя духу говорить такія мерзости! Много ты о ней заботишься! Ты по цѣлымъ днямъ ее не видишь и хочешь указывать мнѣ, когда я съ утра до ночи глазъ съ нея не спускаю.

— Это правда, Аквилаина, ты всегда съ нею; но ты любишь разговаривать и не всегда наблюдаешь за ней въ обществѣ. Я, правда, не всегда съ вами, потому что не люблю бесѣды у Фратовъ и у Чистерна, но когда бываю тамъ, то больше молчу и наблюдаю. Повѣрь мнѣ, ты хочешь сдѣлать изъ нея святую, но если будетъ такъ продолжаться, то выйдетъ образцовая кокетка!

— Ахъ, пресвятая Мадонна! Уйди, ради Бога, слышать я тебя не могу. Моя Пизана кокетка!

— Тихо, Аквилаина, не кричи, она услышитъ.

— А мнѣ что? Да она и не пойметъ такихъ гадкихъ клеветъ! Я тебя знаю: ты ее не любишь; тебѣ нравятся безчувственные, какъ Лучіано, или сумасбродные, какъ несчастный Донато, котораго ты загубилъ. А скромные, любящіе юноши, добрыя, кроткія дѣвушки тебѣ не по вкусу. Тебѣ и у Фратовъ скучно, когда мы тамъ; другое дѣло по цѣлымъ часамъ болтать съ графомъ Ринальдо, строя воздушные замки, понося все святое и проповѣдуя ереси. Тогда тебѣ весело, тогда у Фратовъ тебѣ по-себѣ!

— Конечно; графъ Ринальдо не то, что всѣ эти плуты, которыхъ его сестра по довѣрчивости навела въ домъ.

— Вотъ, вотъ, все брань, все насмѣшки надъ всѣмъ, что есть почтеннаго на свѣтѣ.

— Я уже тысячу разъ говорилъ тебѣ: я уважаю синьеру игуменью, но нахожу, что она слишкомъ наивна, чтобы узнавать лю-

дей. Да и куда дѣлись ихъ лучшіе друзья, самые близкіе родные, съ тѣхъ поръ, какъ они впали въ крайность?

— Почему ты знаешь? Можетъ быть, они дѣлаютъ для нихъ не меньше нашего? И больше дѣлали-бы, если-бы не щекотливость графини.

— Да, вѣрно отъ ея щекотливости они все разлетѣлись какъ мухи, когда со стола убираютъ крошки.

— Если они удалились, то хорошо сдѣлали, да и тебѣ не мѣшало-бы такъ сдѣлать. Не такое теперь время, чтобы собираться и болтать, особенно старикамъ.

— Что-же, прикажешь заживо похоронить себя, когда къ намъ началъ проникать лучъ надежды, когда въ обществѣ начала просыпаться новая жизнь?

— Хороши надежды! Хороша жизнь! Увидимъ, чѣмъ кончится. Я умолкалъ, видя, что разговоръ переходитъ на политику, и принимался снова наблюдать за Пизаной. Она казалась мнѣ чѣмъ-то озабоченной, безпрестанно конфузилась, пугалась, краснѣла и дѣлала явныя, хотя бесполезныя усилія скрыть свое смущеніе, когда думала, что за нею наблюдаютъ. Я подозрѣвалъ, что это неспроста и что-нибудь неладно; но проходили дни, и я ничего не могъ подмѣтить. Наконецъ, однажды вечеромъ, когда Аквиллина съ Бруто, только-что пріѣхавшимъ изъ Фриуля, были въ гостяхъ и я оставался одинъ, мнѣ зачѣмъ-то понадобилось войти въ комнату, гдѣ жена и дочь обыкновенно сидѣли по вечерамъ. Пизаны тамъ не было; на вопросъ мой, гдѣ она, горничная отвѣчала, что она въ своей спальнѣ. Подойдя потихоньку къ дверямъ ея комнаты, я услышалъ скрипъ пера и, попробовавъ отворить дверь, замѣтилъ, что она заперта изнутри на ключъ.

— Кто тамъ? раздался въ ту-же минуту встревоженный голосъ дѣвушки.

— Это я; пришелъ побесѣдовать съ тобой.

— Сейчасъ, сейчасъ, папа; я почти раздѣта. Сейчасъ отворю.

Дѣйствительно, она отворила мнѣ съ такой веселой улыбкой, что подозрѣнія мои разсѣялись и я нѣжно поцѣловалъ ее. Въ комнатѣ была разбросана одежда, что подтверждало ея слова, но подойдя къ столу, я замѣтилъ на немъ еще невысохшее перо. Значитъ, она что-то писала, что желала скрыть, и это снова возбудило мои подозрѣнія. Я посидѣлъ съ нею,

поговорилъ и простился, пожелавъ ей покойной ночи. На другое утро, когда она отправилась съ матерью къ обѣднѣ, я произвелъ обыскъ въ ея комнатѣ, во всѣхъ ящикахъ и шкафахъ, но ничего не нашелъ и уже собирался уйти, когда на столѣхъ подлѣ кровати, между книгами, замѣтилъ вышитую ладонку, въ которой она держала образки, крестики и картинки религіознаго содержанія. Взявъ ее въ руки, я почувствовалъ, что между подкладкой и верхомъ есть промежутокъ, на-соро зашитый изнутри бѣлыми нитками, и въ немъ какія-то бумажки. Я ихъ извлекъ и увидѣлъ передъ собой три надушенные записочки.

„Ага, попалась, дѣвчонка!“ подумалъ я, радуясь, что мнѣ пришлось на умъ воспользоваться родительскимъ правомъ узнать секреты дочери; письма оказались отъ младшаго сына Аугусто Чистерны, Энрико; въ нихъ слишкомъ много говорилось о любви, поцѣлуяхъ и объятіяхъ. Я положилъ ихъ въ карманъ и сталъ ждать возвращенія Пизаны изъ церкви. Когда, черезъ полчаса, она вошла въ свою комнату, ее не мало удивило мое присутствіе здѣсь. Не давъ ей опомниться, я сказалъ:

— Пизана, будь откровенна и этимъ загладь свою вину; какимъ образомъ ты устраиваешь свои свиданія съ Энрико, который пишетъ тебѣ такіа нѣжные письма?

Она такъ смутилась и испугалась, что мнѣ стало жаль ее; но она стала запертаться, влястсья, что все это неправда; я рассердился и уже болѣе строгимъ тономъ предложилъ ей немедленно сознаться во всемъ. Она упорно все отрицала и представлялась такой наивной, что, не имѣй я уликъ, я повѣрилъ-бы ей.

— Послушай, сказалъ я, сдерживая свое нетерпѣніе;—если-бы я сказалъ, что ты переписываешься съ Энрико Чистерна и переговариваешься съ нимъ въ окошко по ночамъ, то это была-бы почти чистая правда. Но я не скажу этого, чтобы не отнимать у тебя заслуги признанія. Теперь ты видишь, что я все знаю, и все-таки говорю съ тобой, какъ всегда, дружески; покажи-же себя достойной моей доброты, рассказавъ мнѣ чистосердечно, какимъ образомъ ты сошла съ этимъ молодымъ человѣкомъ, чѣмъ онъ тебѣ понравился и почему ты скрывала свои поступки, если считала ихъ невинными. Я знаю, что ты можешь быть разсудительной, если захочешь, и потому должна понять, что теперь для тебя самое лучшее—сознаться мнѣ во всемъ, чтобы сообща обсудить это дѣло

При этихъ словахъ все смущеніе Пизаны прошло и она сдѣлалась такъ развязна, какъ бывала иногда съ прислугой и посторонними.

— Извини, отецъ, начала она самоувѣреннымъ тономъ австрийки, произносящей свой монологъ, — что я не оказала тебѣ должнаго довѣрія; я не знала тебя и больше боялась твоей власти, чѣмъ довѣряла твоей любви. Да, это правда; просьбы и мольбы Энрико Чистерна тронули меня и, чтобы избавить его отъ страданій, я согласилась переписываться съ нимъ.

— А я тебѣ скажу, что Энрико Чистерна — дрянь, юноша неприличный и печестный, и отдать тебя ему было-бы для тебя самымъ жестокимъ наказаніемъ.

— Ахъ, отецъ, не сердись! Сердиться не изъ-за чего. Правда, мнѣ было жаль Энрико, но я за него не стою, и если онъ тебѣ не нравится, я предпочту ему кого тебѣ угодно.

— Но вѣдь ты писала ему нѣжныя письма, переговаривалась съ нимъ каждую ночь...

— Нѣтъ, не каждую; только въ тѣ, когда мама гасила огонь раньше полуночи. А какъ въ нѣкоторые дни она долго молится по вечерамъ, то это бывало только по понедѣльникамъ, средамъ и воскресеньямъ.

— Не въ томъ дѣло. Я говорю, что все это ты дѣлала только изъ состраданія?

— Да, изъ состраданія.

— Такъ-что завтра первый встрѣчный попросить себя вступить съ нимъ въ любовную переписку и назначить ему свиданіе, и ты изъ состраданія согласишься?

— Нѣтъ, это разница.

— Значить, по твоему мнѣнію, въ Энрико есть какія-то особенныя достоинства, по которымъ онъ больше другихъ внушаетъ состраданіе. Что-же это за достоинства?

— Мнѣ, право, очень трудно отвѣчать на это; но ты такъ добръ, что я постараюсь угодить тебѣ. Во-первыхъ, когда мы ѣздили въ театръ, я видѣла, что самыя прекрасныя дамы ухаживаютъ за Энрико. Ты не можешь отрицать, что онъ имѣетъ симпатичную наружность. Потомъ онъ очень хорошо одѣвается, у него прекрасныя манеры, пріятный разговоръ. Всего этого, мнѣ кажется, достаточно, чтобы вскружить голову неопытной дѣвушкѣ. О ха-

рактёръ-же его и поведеніи я ничего не знаю; я думала, что онъ хорошій человѣкъ, и даже не знаю, что значить развратникъ.

Такъ-какъ я не называлъ ей Энрико развратникомъ, то этимъ увѣреніемъ она доказала совершенно противное, и всѣ эти разсужденія „неопытной дѣвушки“ не показывали большой неопытности. Я отвѣчалъ ей, что порядочныя дѣвушки не увлекаются одною внѣшностью, за которую людей любить нельзя.

— Да я и не говорю, что люблю его, возразила она.— Увѣряю тебя, я отвѣчала ему единственно изъ состраданія, и, разъ что онъ тебѣ не нравится, мнѣ не трудно будетъ забыть его и выйти за всякаго другого, за кого ты пожелаешь выдать меня.

— Ахъ, чушка! воскликнулъ я, — кто тебѣ говорить о замужествѣ! Что это за мысли? Откуда ты вздумала говорить мнѣ объ этомъ?

— Я сказала только для того, чтобы лучше показать готовность мою повиноваться, пробормотала она въ смущеніи.

— Я знаю твое послушаніе, но совѣтую тебѣ перевоспитать и укротить себя; пока ты не будешь въ состояніи оцѣнить честнаго человѣка, я не отдамъ тебя ни за кого замужъ. Не хочу губить ни тебя, ни другого.

— Я общаю тебѣ, папа, исправиться, но пожалуйста не говори ничего матери.

— Отчего?

— Потому что мнѣ будетъ передъ ней стыдно.

— Немножко стыда не мѣшало-бы тебѣ: я желалъ-бы, чтобы тебѣ было очень стыдно, чтобы въ другой разъ ты избѣгала стыда. Во всякомъ случаѣ, я не могу скрыть отъ твоей матери твой поступокъ, который дастъ ей настоящее понятіе о твоей святости.

— Прошу тебя!

— Нѣтъ, не проси и не плачь! Подумай объ исправленіи, будь искренна, не увлекайся глупостями и не расточай легкомысленно своихъ чувствъ.

— Отецъ, пожалуйста!.. Клянусь тебѣ!..

— Не клянись; послѣ объѣда мать сообщитъ тебѣ о нашемъ рѣшеніи. Ты еще молода и, надѣюсь, сдѣлаешься хорошей дѣвушкой. Пока-же избѣгай такихъ поступковъ, которые заставляютъ дочь краснѣть передъ родителями.

Жена едва не взбѣсилась, когда я сообщилъ ей свое открытіе. Сначала она не повѣрила, но когда я показалъ ей письмо, она раскричалась и готова была выпарапать Пизанѣ глаза. Я унялъ ее, сказавъ, что бранью не поможешь, а надо переѣменить обстановку дѣвушки. Мы порѣшили, что она сама должна спровадить Энрико, который былъ дѣйствительно безпутный малый. Я рѣшился пускать ее какъ можно рѣже въ общество, посѣщаемое Аввилиной, и занять ее интереснымъ чтеніемъ.

Еще внимательнѣе прежняго я сталъ молча наблюдать за Пизаной и нашелъ въ ней нѣкоторую переѣмну къ лучшему. Она была по-прежнему легкомысленна и кокетлива, но гораздо проще и откровеннѣе, и я начиналъ надѣяться, что когда въ сердцѣ ея проснется настоящее чувство, недостатки ея пройдутъ. Любовь — великій учитель; она научаетъ даже тому, чего сама не знаетъ.

Насталъ 1848 годъ. Революція стала грозить Вѣнѣ, охватила Миланъ и разразилась въ Венеціи. Не стану описывать подробностей событій, потому что всѣ ихъ знаютъ. Скажу только, что, несмотря на свои семьдесятъ лѣтъ, я все еще чувствовалъ себя крѣпкимъ, бодрымъ и веселымъ; я вышелъ изъ дому и бѣгомъ пустился на площадь.

Когда стали организовать національную гвардію, я былъ избранъ въ полковники второго легіона и съ радостью принялъ эту честь, постарался припомнить все, что зналъ нѣкогда по части военного искусства, и принялся повертывать вправо и влѣво нѣсколько сотенъ молодцовъ. Когда я въ первый разъ вернулся домой въ плащѣ и при оружіи, съ видомъ скорѣе разбойника, чѣмъ полковника, съ Аввилиной чуть не сдѣлались корчи отъ негодованія. Я на-скоро съѣлъ кусокъ, не слушая ея ворчанія, и поспѣшилъ опять къ моимъ волонтерамъ. Только вечеромъ, возвратясь домой и терпѣливо выслушавъ отъ жены всѣ насмѣшки и ругательства, какія она могла придумать, я спросилъ ее, гдѣ Джуліо, котораго я цѣлый день безуспѣшно искалъ. Она ничего не знала, и вопросъ только далъ новую тему ея краснорѣчію. Однакожъ, его отсутствіе тревожило меня; подождавъ съ полчаса, я отправился на поиски, съ волненіемъ въ душѣ, но не подозрѣвая страшнаго удара, который долженъ былъ поразить меня.

Я ходилъ навѣдываться о сынѣ у Фратовъ, у Чистерна; нигдѣ его не видали; ходилъ даже къ Партистаньо; тамъ мнѣ сказали,

что генераль два дня тому назадъ уѣхалъ, проклявъ своихъ семерыхъ сыновей, захотѣвшихъ остаться въ Венеціи, но Джуліо не видали. Мнѣ пришло въ голову справиться о немъ на гауптвахтѣ нашего квартала, и тамъ я услышалъ грустную истину отъ одного молодого студента-волонтера. Утромъ Джуліо пришелъ съ студентами въ арсеналь, гдѣ раздавалось оружіе, и уже взялъ саблю, когда одинъ дуралей (какъ выразился студентъ) принялся ругать его; Джуліо обратился къ нему, но тутъ всѣ прочіе взяли сторону оскорбителя, осыпали Джуліо ругательствами и оскорбленіями, такъ что онъ долженъ былъ бѣжать, чтобы остаться цѣлымъ.

— Надѣюсь, сказалъ студентъ въ заключеніе, — что вашему сыну будетъ воздана справедливость, дѣло разъяснится и онъ получитъ въ національной гвардіи мѣсто, принадлежащее ему какъ гражданину.

Я понялъ больше, чѣмъ онъ сказалъ мнѣ, и догадался, что послѣднія слова его были вызваны больше жалостью къ отцу, чѣмъ участіемъ къ сыну. Однакожь, я имѣлъ еще столько силы, что пошелъ домой одинъ, отказавшись отъ его предложенія проводить меня. Но дома со мной сдѣлался нервный припадокъ прежде, чѣмъ я успѣлъ что-нибудь сказать Аввилини. Къ утру меня привели въ чувство, я могъ говорить и сказалъ женѣ, что нездоровье случилось со мной отъ утомленія, а сынъ уѣхалъ изъ города по дѣламъ. Жена, повидимому, повѣрила, но среди дня пришло письмо изъ Падуи, она узнала почеркъ сына, распечатала письмо, прочла и ворвалась ко мнѣ въ комнату, крича, какъ сумасшедшая, что у нея убили другого сына. Пизана выказала больше сердца, чѣмъ я ожидалъ отъ нея; она бросилась къ матери на шею и съ помощью горничной уложила ее въ постель. Двѣ недѣли провела она, переходя отъ постели матери къ моей, какъ самая неутомимая сидѣлка. Письмо Джуліо было слѣдующаго содержанія:

„Ты былъ правъ, отецъ! Можно отразить оскорбленіе одного человѣка, даже десяти, но не цѣлой толпы; а въ жизни народа бываютъ минуты, когда его приговоры ужасны. Я понесъ наказаніе за свое тщеславіе, за мое глупое самолюбіе. Мнѣ отказано жить въ отечествѣ, которое я люблю, хотя и отчаявался видѣть его возрожденіе; оно иститъ мнѣ за мое трусливое отчаяніе, отвергая меня въ ту минуту, когда призываетъ всѣхъ своихъ

сыновъ на свою защиту и на свое торжество. Отецъ, надѣюсь, ты одобришь рѣшеніе несчастнаго, который намѣренъ кровью купить потерянное уваженіе своихъ братьевъ. Буду драться, можетъ быть, умереть, во всякомъ случаѣ загладить вину, которую чувствую за собой. Утѣшь мать, скажи ей, что уваженіе къ имени вашему побудило меня уѣхать. Не могъ-же я оставаться въ странѣ, гдѣ публично былъ названъ измѣнникомъ, шпиономъ! Я долженъ былъ проглотить оскорбленіе и бѣжать. О, отецъ, велика была вина, но какъ ужасно наказаніе! Только помня твои совѣты, я не вздумалъ возстать противъ приговора и рѣшился искать покоя совѣсти въ славномъ искупленіи, а не удовлетвореніи оскорбленной гордости въ братоубійственномъ мщеніи. Ты не скоро получишь отъ меня извѣстія; я хочу, чтобы имя мое было мертво, пока ему нельзя будетъ воскреснуть съ честью на устахъ славы. Прощай; меня утѣшаетъ теперь только увѣренность въ вашей любви и въ вашемъ прощеніи“.

Странное дѣло! Письмо это утѣшило меня; я опасался худшаго, и меня пріятно удивило, что съ своей необузданной гордостью мой Джуліо рѣшился признать свою вину и искать ея искупленія. Мнѣ было утѣшительно, что приходится оплакивать сына, а не отрекаться отъ него. Выздоровѣвъ, я принялся за свою службу въ легионѣ. Между тѣмъ слухъ объ отъѣздѣ моего сына и объ его письмѣ ко мнѣ распространился, и мнѣ было пріятно видѣть участіе и уваженіе ко мнѣ со стороны тѣхъ самыхъ людей, которые нанесли ему оскорбленіе. Отъ него я не имѣлъ извѣстій до мая, когда онъ написалъ мнѣ нѣсколько словъ изъ Брешии, извѣщая меня о своемъ поступленіи въ отрядъ волонтеровъ, расположенныхъ на тирольской границѣ.

Въ это время я свидѣлся съ старымъ пріателемъ, съ Алессандро Джорджи. Онъ пріѣхалъ изъ южной Америки, постарѣвшимъ, искалѣченнымъ, загорѣлымъ, за то маршаломъ и герцогомъ де-Ріо-Ведрасъ. Съ своимъ громаднымъ, неуклюжимъ тѣломъ, облаченнымъ въ какой-то неслыханнаго покроя красный камзолъ, весь увѣшанный лентами и крестами, онъ походилъ на какого-нибудь нелѣпаго дѣдушку королевы Помаре. Но онъ нисколько не переѣвился: тотъ-же ребенокъ и солдатъ вѣстѣ.

— Милѣйшій Карлино, заревѣлъ онъ, сжимая меня въ объятіяхъ, причемъ его звѣзды исцарапали мнѣ лицо, — видишь, я бро-



силъ все—мое герцогство, бразильскую армію, Америку, и вернулся въ нашу Венецію.

— О, я не удивляюсь этому, отвѣчалъ я:— сколько разъ, прислушиваясь къ шагамъ на лѣстницѣ, я думалъ: ужь не Алессандро-ли?

— Ну, расскажи-же мнѣ, что ты дѣлалъ все это время.

Я рассказалъ ему вкратцѣ и въ заключеніе представилъ дочь, вошедшую въ это время въ комнату.

— Да, набѣдовался ты, дружище, но за то и утѣшеніе пріобрѣлъ недурное, сказалъ онъ, глядя Пизану по щекѣ.— Я вотъ и съ герцогствомъ такого счастья не нажилъ, хотя, клянусь, всѣ хорошенькія бразильянки хотѣли идти за меня замужъ. Слушай, другъ, если у тебя есть холостые сыновья, пусть обращаются ко мнѣ; я найду имъ невѣсть прехорошенькихъ и съ нѣсколькими миліончиками приданаго.

— Спасибо; только теперь не до того.

— Ахъ, пустое; это живо покончится. Въ Америкѣ мы дѣлаемъ по двѣ революціи въ годъ, да еще остается времени пожить на дачѣ и полечить подагру морскими купаньями.

Пизана съ удивленіемъ смотрѣла на этого чудака герцога-маршала; замѣтивъ это, онъ взялъ ее за руку и объявилъ, что очень радъ, что хорошенькія дѣвушки еще заглядываются на него.

— Хе, хе, Карлино, въ наше-то время! Помнишь графиню Мильяна?

— Какъ не помнить! Миръ праху ея! Она скончалась лѣтъ десять тому назадъ съ репутаціей святой. А мы все еще тянемъ жизненную ляжку, хотя и плохо.

— Что касается меня, то, не будь этой проклятой подагры, я хоть сейчасъ заплясалъ-бы тарантелу. А! Бруто! Милый братъ! Вотъ мнѣ и пара! Да что ты какъ-будто почернѣлъ? Клянусь, безъ твоей деревяшки я не узналъ-бы тебя!

Послѣднія восклицанія относились къ Бруто, входившему къ намъ въ пыли и копоти съ батарей, гдѣ онъ служилъ канониромъ. Послѣдовали объятія и поцѣлуи двухъ ветерановъ. Алессандро, несмотря на свое маршальство, тотчасъ записался въ волонтеры съ чиномъ полковника. Въ это время пылаго энтузіазма каждый венеціанецъ спѣшилъ записываться въ солдаты; поступилъ на службу даже графъ Ринальдо; мнѣ привелось не разъ видѣть

его съ ружьемъ на плечѣ на часахъ. Другому антику, кавалеру Альфонсо Фруміеру, не пришлось стоять на часахъ. Когда камердинеръ, вбѣжавъ къ нему, объявилъ, что на площади кричатъ: „да здравствуетъ св. Маркъ!“ что учреждена республика и пр., старикъ, давно выжившій изъ ума и потерявшій память, вдругъ точно опомнился, вскочилъ, весь задрожалъ и залепеталъ:

— Скорѣе одѣваться! Поддай тогу! Гдѣ парикъ? Да здравствуетъ св. Маркъ! Тогу... парикъ, говорю тебѣ! Скорѣе... надо идти!..

При этихъ словахъ онъ запнулся, распростеръ руки и повалился мертвый на полъ. Онъ вообразилъ, что воскресла старая венеціанская республика, и умеръ отъ радости.

Въ это время мы могли назвать себя счастливыми. Дружное согласіе гражданъ всѣхъ классовъ, невозмутимое терпѣніе, съ какимъ венеціанцы переносили невзгоды, слѣпая вѣра въ будущее — все это позволяло думать, что насталъ конецъ владычеству иноземца или, по крайней мѣрѣ, пришло начало конца, какъ говорилъ Талейранъ. Измѣнники были поражены ужасомъ. Докторъ Ормента бѣжалъ изъ города и вкорѣ умеръ въ деревнѣ отъ страха, по случаю набѣга туда нашихъ волонтеровъ. Аугусто Чистерна оставался въ Венеціи, всѣми презираемый, такъ-что даже сыновья не хотѣли имѣть съ нимъ ничего общаго, и я началъ благосклоннѣе смотрѣть на Энрико, когда онъ вернулся съ вылазки противъ Местре съ рубцомъ на лицѣ.

Однажды, когда я пришелъ домой отъ генерала Пепе, командовавшаго вспомогательнымъ неаполитанскимъ корпусомъ, Пизана встрѣтила меня съ серьезнымъ лицомъ и сказала, что ей нужно поговорить со мной о важномъ дѣлѣ. Я приготовился слушать; она напомнила мнѣ, что я требовалъ отъ нея откровенности въ случаѣ, если она кого-нибудь дѣйствительно полюбитъ, и совѣтовалъ ей обращать больше вниманія на внутреннія достоинства человѣка, чѣмъ на внѣшность; теперь она нашла такого человѣка и полюбила его.

— Кто-же это? спросилъ я съ удивленіемъ, не понимая, кого она могла найти въ это время, такъ-какъ она почти не отходила отъ постели больной матери.

— Энрико Чистерна! воскликнула она, обвиняя меня.

— Какъ? Все онъ-же?

— Нѣтъ, не говорите о немъ дурно! Скажите, что это храбрый и славный юноша, который, несмотря на вліяніе дурного воспитанія, понялъ свой долгъ, получилъ сабельный ударъ по всему лицу и черезъ недѣлю, какъ ни въ чемъ не бывало, возвратился въ ряды. О, я люблю его больше себя! Теперь я знаю, что значить любить! Я говорила, что люблю его изъ состраданія, когда онъ не нуждался въ состраданіи; теперь, когда онъ больше заслуживаетъ его, я люблю его изъ уваженія къ нему, люблю настоящей любовью.

— Все это прекрасно; но мать?

— Она все знаетъ съ нынѣшняго утра и согласна.

Въ эту минуту дверь изъ сосѣдней комнаты отворилась и Энрико, ожидавшій тамъ, бросился ко мнѣ, умоляя меня произнести ему приговоръ жизни или смерти. Оба они вцѣпились въ меня и тормозили немилосердно.

— Женитесь, женитесь себѣ съ Богомъ! закричалъ я, заливаясь сладкими слезами радости.

Однакожь, я пожелалъ знать, какимъ образомъ любовь ихъ продолжалась, помимо моего вѣдома и послѣ отказа, посланнаго Пизаной по нашему приказанію. На этотъ вопросъ дѣвушка, краснѣя, созналась, что написала не одно, а два письма, и во второмъ отгѣняла жестокой приговоръ перваго.

— А, негодница, воскликнулъ я, — вотъ какъ ты меня обманывала! И вы у меня подъ носомъ до сихъ поръ продолжали переписку?

— Ахъ, нѣтъ, отецъ; намъ было это не нужно.

— Отчего?

— Оттого, что... мы всякій вечеръ видались.

— Видались всякій вечеръ? Гдѣ? Вѣдь я-же велѣлъ заколотить то проклятое окошко?

— Извини, папа; когда мама засыпала, я тихонько спускалась и отворяла дверь.

— Ахъ, несчастная! Ахъ, безстыдница! Приводила его въ домъ! Любовника въ домъ! Только постой: ключъ отъ двери находился всегда у моей постели.

— Да; не сердись, папа, я всякій вечеръ уносила у тебя этотъ ключъ, а утромъ, принося матери бульонъ, клала его назадъ.

— И ты обманывала меня въ ту самую минуту, какъ цѣловала меня, прощаясь и здороваясь?

— О, папа, будь добръ, прости меня!

— Что-же больше дѣлать? Только ужь пожалуйста не рассказывайте этого; я не хочу попасть въ какую-нибудь комическую оперетку.

Между тѣмъ Энрико стоялъ въ смущеніи, слушая, какъ его общница рассказываетъ свои продѣлки. Я обратился къ нему и, хлопнувъ его по затылку, сказалъ:

— Ну, ну, не притворяйся невинностью! Бери свою невѣсту; ты заслужилъ ее подъ Местре!

Всѣ мы, веселые, отправились въ комнату Аквилины.

Черезъ три недѣли отпраздновали свадьбу. Всѣ наши друзья были приглашены. Это былъ апогей нашего счастья и веселья. Вскорѣ настали печальные дни. Зима съ 1848 на 1849 годъ была полна разочарованій. Одна за другой лопались надежды на Францію, на Англию, пока всѣ опасенія не подтвердились роковымъ образомъ: поражениемъ при Новарѣ. Съ тѣхъ поръ приходилось сражаться уже не для побѣды, а для чести, хотя никто этого не высказывалъ, чтобы не подрывать духа другихъ.

Послѣ общественныхъ бѣдствій пошли для насъ частныя несчастія. Однажды мнѣ пришлось сказать, что полковникъ Джорджи и капраль Проведони, раненные на мосту гранатой, перенесены въ военный госпиталь, гдѣ находятся при смерти. Прибѣжавъ къ нимъ, я засталъ ихъ лежащими рядомъ умирающими. Бруто былъ еще въ памяти, а Алессандро бредилъ.

— Прощай, Карлино, говорилъ онъ;—положись на меня, я все для тебя сдѣлаю. Съ императоромъ бразильскимъ мы пріатели.

Когда вскорѣ затѣмъ пришли Пизана, Аквилина и Энрико, они застали меня рыдающимъ на колынахъ между двумя трупами. Въ тотъ-же день въ лагерь осаждающихъ подъ Местре умеръ генералъ Партистаньо, служа врагамъ, воевавшимъ противъ его отечества и противъ его родныхъ сыновей. Еще черезъ нѣсколько дней графъ Ринальдо заболѣлъ холерой, начинавшей тогда свои опустошенія. Когда я навѣстилъ его, онъ отходилъ; сестра его, дряхлая и сгорбленная, ухаживала за нимъ съ своимъ обычнымъ невозмутимымъ спокойствіемъ.

— Карлино, сказалъ онъ мнѣ, — я позвалъ тебя, вспомнивъ, что мнѣ некому больше поручить мою книгу. Поручаю тебѣ; обѣщай мнѣ напечатать ее въ сорока выпускахъ въ форматѣ перваго.

— Обѣщаю; будь увѣренъ...

— Коректуру... пробормоталъ онъ едва слышно; — если найдешь нужнымъ... дополненія...

Онъ не кончилъ и умеръ съ мыслью о томъ, что было единственнымъ интересомъ его долгой безцвѣтной жизни. Я похоронилъ его съ почестями, подобающими его званію, и пригласилъ въ себѣ жить Клару, совсѣмъ разбитую параличемъ, но намъ недолго пришлось ухаживать за ней. Въ Успеневъ день она скончалась, радуясь и благодаря Бога, что умираетъ въ одинъ день съ Пречистой Дѣвой.

Августа 22 была подписана капитуляція Венеціи, которая послѣдняя сошла съ поля итальянскихъ битвъ —

*A guisa di leon quando si posa.*

какъ говорить Дантъ.

Тутъ постигло меня новое несчастье: Энрико Чистерна былъ въ спискѣ изгнанниковъ. Лучіано, повидимому, совсѣмъ забылъ насъ; о Джуліо я не имѣлъ извѣстія и, въ виду всего совершившагося въ Италіи, не думалъ, что онъ живъ; теперь увѣжала и дочь на исходѣ беременности. Она съ мужемъ увѣжала въ Геную.

Мы остались съ Аквилиной, печальные, унылые, какъ два обожженные молніей пня. Жить въ Венеціи для насъ съ каждымъ днемъ было невыносимѣе, и мы переселились въ Кордовадо, въ старый домъ Проведони, полный для насъ воспоминаній. Тамъ мы тихо и печально прожили два года; тутъ скончалась и она, моя бѣдная старушка. Я остался одинъ и могъ теперь вполне понять страшный смыслъ этого слова: одинъ...

Одинъ! О, нѣтъ, я былъ не одинъ! На минуту я подумалъ это, но опомнился: со мной жили всѣ дорогіе моему сердцу, умершіе для всѣхъ, кромѣ меня. Живой мертвецъ, я былъ ближе къ нимъ, чѣмъ къ живущимъ; призракъ стараго, я жилъ среди призраковъ. Это была жизнь полная тихой грусти, но озаренная чистой совѣстью и сознаниемъ исполненнаго долга.

Черезъ годъ по смерти жены пріѣхалъ ко мнѣ Лучіано съ женой и двумя мальчиками, которые лучше говорили по-гречески, чѣмъ по-итальянски, но вскорѣ очень полюбили меня, полюбила меня и мать ихъ, и для всѣхъ насъ былъ тяжелъ часъ разлуки; Лучіано рѣшилъ пробыть у меня шесть мѣсяцевъ и ни за что не

согласился подарить мнѣ ни одного лишняго дня. Что дѣлать? Ужь такова была его натура.

Послѣ паденія Рима я нѣсколько разъ получалъ письма отъ Джуліо изъ разныхъ мѣстъ его скитаній—изъ Чивитавеккіа, Нью-Йорка, Рио-Жанейро. Онъ былъ одинокимъ, бездомнымъ скитальцемъ, безъ крова и надежды, но гордый тѣмъ, что смылъ кровью пятно съ своей чести и могъ достойно носить уважаемое имя. Вдругъ письма отъ него прекратились, и я только изъ газетъ узналъ, что онъ сдѣлался однимъ изъ директоровъ военной итальянской колоніи, учрежденной въ аргентинской республикѣ въ провинціи Буэнос-Айресъ. Это успокоило меня. Въ это-же время я былъ не-связанно обрадованъ пріѣздомъ Пизаны съ Энрико и съ веселой дѣвочкой, носившей мое имя и, говорятъ, очень похожей на мой портретъ, сдѣланный въ бытность мою секретаремъ венеціанскаго муниципалитета. Сидя между дочерью и зятемъ, съ внучкой на колѣняхъ, я почувствовалъ, что оживаю. Точно теплая весна настала для меня послѣ долгой суровой зимы. Тогда только, послѣ четырехлѣтняго пребыванія въ Кордовадо, я рѣшился посѣтить Фрату, гдѣ отпраздновалъ въ кружкѣ внуковъ стараго Андреини восьмидесятую годовщину прибытія моего изъ Венеціи въ замокъ въ корзинѣ. Послѣ праздничнаго обѣда я вышелъ одинъ взглянуть на то мѣсто, гдѣ стоялъ нѣкогда замокъ, котораго и слѣдовъ теперь не оставалось; здѣсь паслось нѣсколько козъ подъ присмотромъ дѣвушки. Въ моей памяти, однакожь, воскресъ замокъ съ его башней, гдѣ, бывало, Джермано заводилъ часы; съ его коридорами, черезъ которые Мартино водилъ меня укладывать спать; съ его дворомъ, гдѣ монсиньеръ прогуливался съ молитвенникомъ подмышкой и куда торжественно въѣзжала грандіозная фамильная колымата съ графомъ, графиней и канцеліере. Передъ глазами моими прошли монсиньеръ ди-Сант-Андреа, Джуліо дель-Понте, канитанъ, капеланъ, приходскій священникъ, Партистаньо и Лючилио; я слышалъ шумные голоса за карточнымъ столомъ и видѣлъ Клару, молодую и прекрасную, читающую Аріоста подъ ивой. Но вотъ сердце мое затрепетало: я увидѣлъ ее, мою Пизану!.. О, какъ я плакалъ въ этотъ день, но эти старческія слезы не всѣ были слезами скорби... Поздно вечеромъ разстался я съ этими развалинами; птички еще щебетали на сосѣднихъ тополяхъ передъ сномъ, какъ щебетали въ моемъ дѣтствѣ; но сколько поколѣній ихъ смѣнилось съ

того времени! Все частное въ природѣ ежеминутно измѣняется, но въ общемъ не измѣняется ничто, и когда я вошелъ въ освѣщенныя комнаты, ласковая улыбка и протянутыя мнѣ на-встрѣчу ручки Каролины говорили мнѣ о той-же любви, которая была въ моихъ воспоминаніяхъ!

Но еще не все горе испыталъ я въ жизни. Въ слѣдующемъ году я получилъ извѣстіе о печальной смерти Джуліо. Онъ умеръ отъ ранъ, полученныхъ имъ въ войнѣ съ инсургентами; тутъ только я узналъ, что онъ былъ женатъ въ Америкѣ на дочери одного итальянскаго эмигранта, доктора Чамполи; но жена его послѣдовала за нимъ въ могилу прежде, чѣмъ я узналъ, что у меня есть невѣстка. Утѣшеніемъ мнѣ было узнать, что, согласно желанію покойныхъ, генералъ Урквиза посылаетъ мнѣ двухъ осиротѣвшихъ внуковъ. Генералъ писалъ мнѣ по этому поводу очень любезное письмо, въ которомъ говорилъ, что смерть полковника Альтовити—большая потеря для республики, и препровождалъ мнѣ всѣ бумаги его. Въ нихъ, между прочимъ, я нашелъ журналъ сына, веденный имъ въ первые годы послѣ своего бѣгства изъ Венеціи и адресованный мнѣ. Много слезъ пролилъ я надъ нимъ и помѣщая отрывки изъ него въ слѣдующей главѣ, чтобы читатель могъ лучше узнать душу моего сына.

Сиротки, которыхъ назвали въ честь дядей—одного Лучіано, другого Донато, прибыли, и Пизана сдѣлалась для нихъ любящей матерью, взявъ на себя трудъ дополнить мою семью рожденіемъ сына, получившаго имя Джуліо. Когда я гляжу на эту милую, добрую женщину, мнѣ не вѣрится, чтобы это была та самая плутовка-дѣвушка, съ которой десять лѣтъ тому назадъ я имѣлъ извѣстный читателю разговоръ.

### ГЛАВА XXIII.

Журналъ Джуліо.—Окруженный дѣтьми и внуками, я благословляю вѣчную справедливость, сдѣлавшую меня зрителемъ и дѣятелемъ прекрасной главы всемірной исторіи и медленно ведущую меня къ смерти, какъ къ успокоенію; заключаю эту „Исповѣдь“ именемъ Пизаны, какъ началъ ее.

Тональ, июль 1848 г.

„Измѣнникъ и шпіонъ!“

„Эти ужасныя слова еще звучатъ въ моихъ ушахъ.“

„О, была минута, когда я готовъ былъ, какъ Неронъ, пожелать, чтобы родъ человѣческій имѣлъ лишь одну голову, чтобы срубить ее однимъ ударомъ! Чтобы молчаніе, полное разрушенія, мрака и смерти, настало на-вѣки послѣ этого страшнаго обвиненія! Чтобы я могъ возстать неумолимой Немезидой и запѣть гимнь мести и истребленія!

„Но въ моей совѣсти раздался иной голосъ; онъ провѣщалъ:

„Да, ты былъ измѣнникъ, когда подавлялъ духъ угнетенныхъ и насмѣшкой убивалъ въ нихъ вѣру въ освобожденіе! Ты былъ измѣнникъ, когда смѣялся надъ слабостью людей, вмѣсто того, чтобы плакать вмѣстѣ съ ними и помогать имъ подняться! Ты былъ трусливый шпионъ, когда обличалъ мнимыя преступленія и воображаемые пороки, чтобы не краснѣть передъ тѣми, кого обвинялъ! Понеси-же униженно срамъ, которымъ сегодня воздается тебѣ за твои вчерашнія оскорбленія. Если можешь, отомсти имъ, подражая имъ!

„Гнѣвъ еще пылалъ въ моей крови, когда раскаяніе говорило во мнѣ и обращало меня въ бѣгство. О, будь благословенна сладкая скорбь искупленія, чудное самоотреченіе, повергающее виновнаго въ прахъ, чтобы дать ему возможность подняться! Нѣтъ у меня ни семьи, ни имени. Я рабъ раскаянія, который долженъ кровью своею возратить себѣ права человѣка, гражданина, сына. Когда братья прочтутъ кровавыя буквы, которыми напишется возвращеніе брата, тогда объятія раскроются и тысячи голосовъ будутъ привѣтствовать возвратъ. Пока-же я найденъ, Ауреліо Джани, воинъ справедливости, и больше ничего. Буду искать самыхъ опасныхъ постовъ, кидаться въ самыя рискованныя предпріятія; надѣюсь, что судьба дастъ мнѣ довольно жизни, чтобы я могъ успѣть возстановить свое имя“.

Тональ, іюль 1848 г.

„Вотъ жизнь, какая нужна для искупленія! Мы передъ неприятелемъ; разсѣянные по ущельямъ, мы должны защищать вѣренную намъ границу—и только. Схватки всякій день, опасность, утомленіе ежеминутныя, и никакой надежды на славу. Длинные мѣсяцы трудовъ въ глухихъ горахъ безъ увлеченія битвъ, безъ надежды на славный успѣхъ; что случилось сегодня, то-же будетъ завтра; въ случаѣ неудачи—безвѣстная смерть въ оврагѣ. Въ этихъ пусты-



ныхъ горахъ, между шумящими потоками и черными пропастями, кающіеся ищутъ Бога въ уединеніи, а борцы за независимость отечества — искупленія мученичествомъ“.

Лугано, августъ 1848 г.

„Все то-же. Вчера побѣждали безъ славы, теперь бѣжимъ безъ пораженія. Намъ возвѣстили войну отчаянія, борьбу на жизнь и смерть; а теперь воля начальства заставляетъ насъ сдать эти горныя ущелья. Ходятъ обычные слухи объ измѣнѣ \*). Но таково всегдашнее прибѣжище человѣческой слабости — сваливать свои вины на другихъ. Какъ-бы то ни было, но мнѣ, мечтавшему о славномъ, отчаянномъ боѣ, о смерти или торжествѣ, которыя воскресили-бы мою честь, приходится имѣть терпѣніе нѣмыхъ жертвъ и медленныхъ искупленій. Тѣмъ лучше. Жертва, хотя-бы жизнью, значитъ много только тогда, когда сопровождается доказательствомъ постоянства. Кончить разомъ — ничего не значитъ. Итакъ — терпѣніе!“

Генуя, октябрь 1848 г.

„Меня разбираетъ нетерпѣніе драться, но здѣсь все дѣлается тихо; можетъ быть, такъ и слѣдуетъ. Велика наша глупость мѣрять жизнь народа по мѣрѣ жизни индивидуума; народы должны ждать, потому что могутъ ждать; могутъ, потому что передъ ними не двадцать или тридцать лѣтъ жизни, а вѣчность. Я самъ иногда готовъ-бы рискнуть судьбой народа изъ-за того, что у меня руки чешутся, но не буду больше позволять себѣ этого чувства: оно кажется великодушнымъ, а въ сущности безумно и подло. Гдѣ загорится, тамъ я и буду; я не буду ускорять взрывъ, но буду первымъ въ опасности.“

„Здѣсь есть кое-кто изъ венеціанцевъ, и нѣкоторые узнали меня. Они перемигивались между собой, но не подходили ко мнѣ; однакожь потомъ я замѣтилъ, что они стали смотрѣть на меня иначе, съ удивленіемъ, но безъ презрѣнія. Можетъ быть, они догадались о моемъ намѣреніи и уважили его. Я знаю, что они

---

\*) Тирольскій отрядъ покинулъ альпійскую границу, вообразаясь съ дѣйствіями арміи сардинскаго короля Карла-Альберта, который послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ сраженій заключилъ съ Радецкимъ перемиріе и предалъ Миланъ.

спрашивали обо мнѣ моихъ товарищей, которые назвали имъ меня тѣмъ именемъ, подъ которымъ я извѣстенъ имъ, и очень расхвалили. Тогда между венеціанцами вышло разногласіе; одни говорили, что я Альтовити и что я все-таки неблагонадеженъ; другіе усомнились, что я Альтовити; но мои товарищи защищали меня, говоря, что это-бы я ни былъ, Альтовити или Джани, во всякомъ случаѣ я храбрый солдатъ и честный человѣкъ. Одинъ изъ венеціанцевъ, Джузеппе Минато, согласился съ этимъ и сказалъ, что если я избралъ этотъ путь для возстановленія своей чести, то поступилъ хорошо. Я его въ Венеціи почти не зналъ и очень ему благодаренъ за то, что онъ заступился за меня и оказалъ мнѣ довѣріе. Надѣюсь доказать, что я достоинъ его. Двое молодыхъ Партистаньо, храбро дравшіеся въ прошломъ апрѣлѣ въ Виченцѣ, были сначала упорнѣйшими врагами моими, но потомъ стали относиться ко мнѣ лучше другихъ и даже были не прочь возобновить старую дружбу. Но я уклонился. Теперь они поѣхали въ Туринъ, гдѣ организуется нѣсколько ломбардскихъ полковъ. Я хотѣлъ-было тоже записаться въ эти полки, но разсудилъ, что мнѣ не подобаетъ высказывать впередъ. Быть можетъ также, меня удержалъ остатокъ гордости: мнѣ было-бы тяжело выставять на показъ прежнимъ знакомымъ и друзьямъ мое раскаяніе“.

На морѣ, декабрь 1848 г.

„Для тебя, отецъ, для тебя одного пишу я эти записки. Если мнѣ придется умереть вдали отъ тебя, я хочу, чтобы ты зналъ, что не совсѣмъ былъ я недостоинъ имени, которое ношу и которое снова приму, когда буду умирать или когда, воскресенный, вернусь въ твои объятія. О, какъ тяготилъ меня въ первые мѣсяцы изгнанія страхъ твоего проклятія! Но ты повѣрилъ моимъ словамъ, писаннымъ изъ Падуи; ты повѣрилъ, и я получилъ отъ тебя слова похвалы, утѣшенія и благословенія. О, съ какимъ благоговѣніемъ и чувствомъ цѣловалъ я этотъ листокъ, удостоившій меня въ твоей любви, въ твоемъ уваженіи! Благодарю тебя, отецъ, что ты заступился за мою честь. Безъ сомнѣнія, твои слова лучше моихъ дѣлъ помогутъ возвратить мнѣ уваженіе согражданъ; но все-таки позволь мнѣ дѣйствовать самому, чтобы сдѣлаться до-

стойнымъ твоей нѣжности. Вчера я со слезами цѣловалъ твое письмо, садясь на корабль, когда одинъ старый морякъ, замѣтивъ это, сказалъ мнѣ:

— Ну, ну, юноша, утѣштесь, это пройдетъ. Долой съ глазъ, долой изъ сердца—въ любви всегда такъ!

Онъ думалъ, что я плачу надъ письмомъ любовницы, повинутой въ отечествѣ, быть можетъ, съ обѣщаніемъ жениться. Увы! Я оставилъ въ отечествѣ только презрѣніе къ себѣ, и только вы, отецъ, мать и сестра, безъ пренебреженія вспоминаете бѣднаго Джуліо!“

Римъ, 9 февраля 1848 г.

„Вѣчный городъ! Гигантскій и ужасный призракъ! Слава, кара, надежда Италіи! Передъ тобой замолкаетъ всякая братская злоба, какъ передъ всемогущимъ правосудіемъ. Ты возвышаешь голосъ, и, молча склонившись, слушаютъ тебя народы отъ альпійскихъ снѣговъ до водъ іоническихъ. Ты властелинъ прошлаго и будущаго. Нынѣ выходитъ великое имя твое изъ забвенія вѣковъ. Но всякій вздохъ Рима выкупается кровавой жертвой. Ты родился изъ братоубійства, освободился кровью Лукреціи и Виргиніи, и окровавленные головы Граковъ запятнали лучшія страницы твоей исторіи. Кинжалъ Брута ниспровергъ гиганта и проложилъ путь карликамъ, залившимъ тебя кровью. И теперь твой великій порывъ къ жизни начался убійствомъ“ \*).

Римъ, іюнь 1849 г.

„Я поклялся не прибавлять больше ни слова, пока не буду имѣть возможности написать, что искушеніе мое совершилось. Наконецъ-то! Я возвратилъ себѣ имя, честь. Мои родные, мое отечество будутъ довольны мной, и, чувствуя боль раны, я счастливъ и гордъ.

„Въ моемъ легіонѣ я встрѣтилъ нѣсколько молодыхъ людей изъ Падуи, посматривавшихъ на меня косо и, кажется, предупреждавшихъ противъ меня другихъ товарищей; я дѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаю, ожидая, чтобы дѣла заговорили за меня. Пора была дождаться этого; иначе терпѣніе мое могло лопнуть.

\*) Министра Росси.

„Десять дней тому назадъ французы повели траншею противъ Сан-Панкраціо. Атаки ихъ становились все рѣшительнѣе; но вчера вечеромъ установился родъ перемирія, и наши воспользовались этимъ, чтобы дать отдыхъ солдатамъ; только полукогорта, расположенная въ цѣпи, охраняла угрожаемую часть бастиона; я стоялъ на часахъ за землянымъ валомъ, возведеннымъ нѣсколько дней тому назадъ и уже совершенно разрытымъ бомбами. Была темная ночь и вдали видѣлись огни лагеря Удино. Вдругъ внизу, во рву, мнѣ послышались шаги людей; наши часовые, должно быть, дремали, потому что не пикнули. Я крикнулъ: къ оружію! но прежде, чѣмъ ко мнѣ собралась дюжина легионеровъ, колонна французскихъ стрѣлковъ успѣла черезъ брешь взобраться на верхъ бастиона. Я вспомнилъ Манлія и штыкомъ опрокинулъ первыхъ; мнѣ помогало мое возвышенное положеніе и, можетъ быть, приказъ, данный атакующимъ, не стрѣлять, пока не займутъ бастионъ. Какъ-бы то ни было, но непріятель на минуту поколебался; однакожь, командующій отрядомъ офицеръ бросился впередъ; за нимъ устремились и солдаты. Я отчаянно кричалъ: „Къ оружію! Къ оружію!“ Пока нѣсколько подоспѣвшихъ легионеровъ собирались вокругъ меня, я бросился на офицера и обозоружилъ его, причѣмъ онъ выстрѣлилъ въ меня въ упоръ изъ пистолета, но, по счастью, пуля оторвала мнѣ только одинъ палець.

„Между тѣмъ подоспѣли наши, и отчаянная драка завязалась на бастионѣ; французы были отражены, потерявъ командира, котораго я взялъ въ плѣнъ. Отъ плѣнныхъ узнали впоследствии, что въ эту ночь была задумана общая атака, но отжѣнена вслѣдствіе неудачи рекогносцировки стрѣлковъ.

„Я долженъ отдать справедливость товарищамъ: они въ одинъ голосъ признали, что вся честь этой стычки принадлежитъ мнѣ, и единодушно просили наградить меня. Черезъ день на смотру, гдѣ я присутствовалъ съ повязанной рукой, былъ читанъ дневной приказъ, въ которомъ объявлялись благодарность республике рядовому Аурелио Джани и производство его въ прапорщики. Всѣ взоры обратились на меня; я попросилъ позволенія сказать нѣсколько словъ. Капитанъ позволилъ.

„Я посмотрѣлъ на моихъ падуанскихъ знакомыхъ и, возвысивъ голосъ, сказалъ: „Прошу, какъ единственной милости, позволенія остаться рядовымъ, но получить общественную благодарность подъ

моимъ настоящимъ именемъ. Несчастное подозрѣніе въ измѣнѣ и шпіонствѣ заставило меня на время отказаться отъ него; теперь, когда клеветники мои, надѣюсь, убѣдились въ своей несправедливости, я съ гордостью принимаю его опять. Меня зовутъ Джуліо Альтовити; родомъ я изъ Венеціи!“

„Общія рукоплесканія покрыли мои слова; если-бы офицеры не удерживали, многіе вышли-бы изъ рядовъ, чтобы позать мнѣ руку. Когда порядокъ возстановился, капитанъ, поговоривъ съ генераломъ, снова вышелъ и сказалъ взволнованнымъ голосомъ, что отечество гордится сыномъ, который такъ благородно мститъ за оскорбленія; что я могу служить приѣздомъ среди насъ, у которыхъ взаимныя распри — злѣйшій нашъ врагъ, и что въ награду за мою великодушную твердость я назначенъ адъютантомъ къ генералу, съ чиномъ капитана.

„Новыя рукоплесканія одобрили эту награду; когда мы были распушены, я не сталъ болѣе удерживаться и разрыдался какъ ребенокъ. Меня окружили, и многіе плакали со мной. Падуавскіе юноши умоляли меня о прощеніи и скорбѣли, что раньше не знали меня. Для всего легіона былъ праздникъ, и я чувствовалъ себя сторицей вознагражденнымъ за все, что вытерпѣлъ. Вынужденный принять уваженіе людей какъ награду, я устыдился, вспомнивъ, что нѣкогда, не зная его цѣны, пренебрегалъ имъ, и сознался, что какъ ни тяжело было мое наказаніе, но вина моя заслуживала его“.

Римъ, 4 іюля 1849 г.

„Къ чему послужила наша стойкость? Вотъ мы опять вынуждены отправляться въ изгнаніе, быть можетъ, навсегда. Легіонъ ушелъ въ Романью и Тоскану въ надеждѣ пробраться оттуда въ Венецію, Пьемонтъ или Швейцарію; рана моя, открывшаяся вслѣдствіе утомленія послѣднихъ дней осады, помѣшала мнѣ отправиться съ нимъ. Генераль предложилъ мнѣ рекомендательныя письма въ Америку, и я ѣду туда, какъ только выздоровѣю. Да, ѣду за океанъ! Колумбъ искалъ тамъ новаго міра; я буду искать только терпѣнія. Чувствую, что честь нашей націи ввѣрена намъ, несчастнымъ, разбросаннымъ грозой по всемъ концамъ свѣта. Прочь уныніе! Буду стараться быть достойнымъ имени, которое возвратилъ себѣ, и своего отечества. Ты, отецъ, быть можетъ, надѣяв-

шійся въ послѣдніе дни увидѣть меня и теперь расстающійся съ этой надеждой, прими послѣднія слезы сына-изгнанника. Отнынѣ моя любовь будетъ безъ слезъ и безъ вздоховъ, до того дня, когда родина снова призоветъ меня на службу, если мнѣ суждено дожить до этого“.

Ему не суждено было дожить. Онъ умеръ въ февралѣ 1855 года въ Саладильѣ, въ провинціи Буэносъ-Айресь. Его жена скончалась въ томъ-же году, поручивъ своихъ дѣтей инженеру Мартелли, находившемуся также на службѣ аргентинской республики, съ просьбой переслать ихъ ко мнѣ.

И вотъ я живу съ дѣтьми и внуками, довольный жизнью, но довольный и приближающейся смертью. Я счастливъ, что еще могу быть полезенъ и другимъ. Раймондо Венквередо, недавно умершій здѣсь въ деревнѣ, задался передъ смертью весьма лестнымъ для меня желаніемъ поручить мнѣ заботу о своихъ дѣтяхъ. Я забылъ нашу старинную вражду и люблю его семью, какъ родную. Лучіано обѣщаетъ мнѣ побывать у меня будущей весной, и дѣти его очень рады, что въ этой поѣздкѣ ихъ будетъ сопровождать ихъ дядя, Теодоро Аюстуло, который остался холостякомъ и посвятилъ себя этой семьѣ. Бѣдный Деметріо предался душой и тѣломъ Россіи, поступилъ въ молдаванское ополченіе и погибъ во время восточной войны при Ольтеницѣ. Я занимаюсь изданіемъ книги графа Ринальдо и надѣюсь скоро окончить его.

По воскресеньямъ, отправляясь въ каретѣ (увы! и я чувствую сирокко монсиньера!) на прогулку въ Фрату или въ венквередскому ручью, въ сопровожденіи Пизаны, зятя и внучатъ, я иногда чувствую приливъ меланхоліи, но стараюсь ее съ себя и дѣлаюсь веселъ, какъ всегда. Энрико удивляется моему свѣтлому настроенію послѣ столькихъ несчастій въ жизни. Я отвѣчаю ему:

— Сынъ мой, неизгладимую печаль накладываютъ не несчастія, а грѣхи; а у меня, какіе и были, и тѣ, надѣюсь, заглажены; я не боюсь ихъ. Я ничего не жду, ни на что не надѣюсь, но знаю, что отъ меня не вышло никакого зла.

Теперь, читатель, вы меня знаете, и мнѣ остается только поблагодарить тѣхъ изъ васъ, кто съ терпѣніемъ прочелъ мою старческую болтовню. Если вы найдете въ ней что-нибудь хорошее, то это заслуга великой эпохи, въ которую я жилъ. Мнѣ привелось втеченіи своей жизни видѣть два разные міра. Тотъ міръ,

что теперь окружаетъ насъ, совсѣмъ другой, чѣмъ тотъ, который обружалъ меня въ дѣтствѣ, и для того, чтобы мнѣ умереть счастливымъ, довольно уже той отрадной мысли, что, не оставаясь безучастнымъ зрителемъ событій, я внесъ хотя малѣйшую крупичку своего труда въ гигантское дѣло пересозданія. Втеченіи короткой человѣческой жизни я заодно съ монимъ народомъ сдѣлалъ шагъ въ его исторіи. Этого довольно.

А мой внутренній душевный міръ! Міръ, насленный призраками почившихъ любимыхъ существъ! Онъ не покинетъ меня, онъ будетъ со мной, пока искра сознанія останется въ моемъ тѣлѣ! О, этотъ міръ мой! Ты моя, о, первая и единственная любовь моя, моя Пизана! Ты еще мыслишь, живешь, чувствуешь во мнѣ! Я вижу тебя на восходѣ солнца въ твоей пурпуровой мантии героини въ пламени востока, съ отблескомъ свѣта на чистомъ челѣ! Я вижу тебя, нѣжную и эфирную, въ серебряномъ сіяніи луны; я говорю мысленно съ тобою при разсѣивающеи всякіе призраки полуденномъ свѣтѣ дня! Пока буду чувствовать, я буду чувствовать тебя, буду жить тобою.

## ГЕРЦЕГОВИНЕЦЪ ВЪ ТУРЕЦКОЙ ТЮРЬМЪ.

Горить ночникъ... Въ глуши темницы  
Я вновь одинъ... брожу... пою...  
Мечты о прошломъ, словно птицы,  
Летать на родину мою,  
Гдѣ все цвѣтеть подъ небомъ юга,  
Гдѣ даль ласкаетъ и машитъ,  
Гдѣ сердце, полное недуга,  
Весна, чаруя, оживить...  
Въ душѣ встаютъ былыя силы,  
Надежды, прежнія мечты —  
Такъ вырастаютъ изъ могилы  
Благоуханныя цвѣты...

Я чутко слышу шопотъ дуба  
Надъ ветхимъ домикомъ моимъ...  
Рѣка шумить... И сердцу любо  
Отдаться грезамъ золотымъ!  
Я снова вижу милый локонь  
И трепеть маленькой руки...  
Но мигъ еще—рѣшетки оконъ,  
Дверей тяжелые замки,  
Суровый обликъ часового,  
Желѣзо цѣпи роковой,  
И бредъ колодника больного,  
И вопль проклятья за стѣной!...

Да! здѣсь—страданье безъ предѣла...  
Здѣсь униженье, здѣсь позоръ!..  
Здѣсь давить душу, мучить тѣло  
Суда суровый приговоръ...  
Здѣсь забываютъ брата братья,  
Здѣсь даже смерть—конецъ невзгодъ—  
Одни безумныя проклятья,  
Не примиренье принесеть!



О, пусть скорѣй погаснетъ злоба!  
Пусть свѣтитъ память дней былыхъ,  
Какъ надъ покойникомъ, у гроба  
Сіянье свѣчекъ восковыхъ.  
Бѣ нему въ окно немолчно, громко.  
Напѣвы чудные звучать,  
И скорби стонъ, и крикъ ребенка,  
И яркой жизни рай и адъ;  
А онъ лежитъ, скрестивши руки.  
Съ печатью смерти на челѣ,  
Любовь свою, земныя муки  
Оставивъ жизни и землѣ...

В. И. Славинскій

# НА ПУТИ ВЪ ПЕРСИЮ.

(Окончаніе.)

IV.

БАКУ.—АСТАРА.

Миновавъ гористые и обнаженные острова Наргенъ и Вульфъ, откуда замѣтны нефтяные заводы *Сурахане*, пароходъ подошелъ къ Баку заливомъ. Здѣсь берегъ волнуется точно куполами; вдали видѣнъ аулъ, жители котораго занимаются добываніемъ соли изъ близъ лежащихъ соляныхъ озеръ. Прямо передъ нами на низменномъ берегу дымится густымъ облакомъ черный нефтяной городокъ, т. е. мѣсто бакинскихъ керосиновыхъ заводовъ, переведенныхъ сюда изъ города въ предупрежденіе частыхъ пожаровъ отъ нихъ, а также вслѣдствіе копоти, производимой перегонкою нефти.

Съ рубки парохода городъ Баку кажется красивымъ; онъ стелется на горномъ берегу амфитеатромъ, съ возвышающимися минаретами и „Дѣвичью башней“, съ европейскою облицовкою набережной, запруженной пароходами, судами. Тутъ-же, вблизи берега, стоитъ и брандвахта, отъ выстрѣловъ которой лопаются стекла въ ближайшихъ домахъ, а раннимъ утромъ пугаются спящія дѣти... Затѣмъ, вдали по крутизнамъ чернѣются точками аулъ и мусульманское кладбище, а на песчаной, ровной низменности Баллова мыса стоитъ особо какъ-бы другой городокъ, съ бѣлыми и темными зданіями, зеленымъ куполомъ церкви и нѣсколькими пароходами; это портъ и адмиралтейство каспійской флотиліи, съ обширнымъ механическимъ заведеніемъ при немъ.

На пристани, къ которой мы вплоть подошли, пестрилась толпа: моряки, дамы, армяне, персы, татары и двое таможенныхъ солдатъ съ оттопыренными карманами, а на заднемъ планѣ, какъ-то не смѣло, пугливо озирается прелестная блондинка съ скромнымъ видомъ и кучею дѣтей; это гувернантка, недавно пріѣхавшая сюда искать счастья.

На пароходъ ввалилась мѣстная аристократія съ привѣтствіями, вопросами и напускнымъ восторгомъ; кое-кто изъ моряковъ прошелся по „внутренней шубкѣ“, т. е. водкѣ, какъ ее они называютъ здѣсь.

Улыбающійся исправникъ выглядывалъ непорочнымъ агнцемъ, солидный таможенный держалъ себя сдержанно; въ то-же время ихъ усердные подчиненные „честью просятъ“ на пристани не нарушать правилъ то одного, то другого носильщика-перса, недогадавшася заискать расположеніе начальства и тѣмъ гарантировать себя отъ чувствительной чести его объемистыхъ кулачищъ; прочіе хохочутъ или безучастно относятся къ этимъ сценкамъ, а побитый тоже снисходительно молчитъ. На палубѣ „цивилизованные“ матросы изъ персовъ тоже *честью* прохаживаются по затылкамъ нецивилизованныхъ собратьевъ изъ города. Вообще *честь* здѣсь въ ходу.

На палубу вошелъ красивый брюнетъ высокаго роста, съ обольстительною бородкою итальянскаго фасона, въ соломенной шляпѣ и съ пледомъ, кокетливо переброшеннымъ черезъ плечо, хотя стоять жара; онъ всѣмъ улыбается, тихо смѣется и любитъ русскія пословицы, постоянно перевирая ихъ, что вмѣстѣ съ акцентомъ, говоритъ объ его иностранномъ происхожденіи.

— „Ласковое телятко молока не даетъ“, треплетъ онъ фамильярно по плечу капитана.

— Ласковый теленокъ двухъ матокъ сосеть,—вотъ какъ у насъ говорятъ, поправляетъ его капитанъ.

— Да, да... двухъ матокъ сосеть...

— А у васъ цѣлыхъ три, хохочетъ капитанъ, намекая, что мѣстный сердцеѣдъ пользуется нетимнымъ расположеніемъ трехъ здѣшнихъ барынь, проматывающихъ на него доходы своихъ мужей.

Въ Баку пароходъ долженъ стоять 35 часовъ, а этого времени весьма достаточно для бѣлаго знакомства съ городомъ и его окрестностями.

Пройдя отлично устроенную пристань общества „Кавказъ и Меркурій“, съ мортоновымъ эллингомъ при ней для починки судовъ, стоящимъ обществу, вмѣстѣ съ мастерскими, машиною и станками, кладовыми, желѣзною дорожкой и подъемнымъ краномъ, около 213,000 р., изъ которыхъ, кажется, третья часть пала на долю правительства; пройдя мимо дворика съ агентствомъ этого общества, гдѣ валяются пушки и стоитъ мортира, кому-то угрожая, и направился изъ воротъ пристани къ группѣ извозничьихъ фаэтоновъ, и послѣ продолжительныхъ торговъ нанялъ упорнаго перса за 7 руб. въ Сурахане, въ 12 верстахъ, и къ нефтянымъ источникамъ въ Балахане, въ 15 верстахъ отъ города.

Съ барышнями вообще неприятно возиться, но съ нѣмецкими— въ особенноти! Что моя спутница, ѣдущая въ фаэтонѣ на мой счетъ, оставалась на полчаса повидаться съ своимъ родственникомъ, почтеннымъ аптекаремъ, это еще выposимо, но если-бы я могъ предвидѣть, что онъ снабдитъ ее громаднымъ кувшиномъ съ растопленнымъ жаромъ масломъ, испортившимъ мои панталоны, то, конечно, я предпочелъ-бы ѣхать одинъ.

— Везу въ подарокъ сестрицѣ, оправдывается барышня, закатывая глаза.

Пока извозникъ припрягалъ въ фаэтонъ третью лошадь, я взобрался на плоскую крышу мечети; смазанная глиною и съ маленькимъ куполомъ посрединѣ, она не имѣла никакихъ изображеній и даже минарета. Поднявшійся вслѣдъ за мною мулла съ топкимъ чубукомъ въ зубахъ, дождавшись захода солнца, плаксиво загорлапиль азонъ; проходившіе мимо персенки злобно поглядывали на меня, а одинъ изъ нихъ крикнулъ: „Пошелъ прочь!“, но на лицахъ взрослыхъ не изображалось никакихъ чувствъ.

Хорошенькія дѣти, цѣпляясь за рѣшетку наружнаго окна мечети, глазѣли на фаэтонъ и мою спутницу; у дверей правобѣрный куриль трубку, а внутри пустынной и сырой молебни раздавался могильный голосъ муллы, одиноко молящагося въ полумракѣ; одна за другою прошли туда пять-шесть жевщицъ, лукаво выглядывавшихъ изъ-за пестрыхъ покрывалъ. Наконецъ, лошади готовы, и мы тронулись въ путь.

Выбравшись по крутому подъему на голое, возвышенное плато,

фаэтонъ запрыгаль по усѣянной камнями, глинистой дорогѣ. Навстрѣчу попадаются скрипучія, то открытыя сверху, то съ покрывками, арбы, между громадными колесами которыхъ болтаются пустыя или наполненныя нефтью бочки; ихъ тащутъ сильныя и выносливыя, короткія лошадки, безъ выгиба въ спинѣ. Иногда встрѣчается нефть въ бурдюкахъ, т. е. въ мѣшкахъ изъ цѣльной овечьей или козлиной шкурки, перекинутыхъ на выносливой спинѣ маленькаго осла.

Степнѣло. Моя спутница видимо беспокоится.

— Что съ вами?

— Ахъ, я боюсь... Что, если мы заблудимся?—Ада (персидская кличка: человекъ), обращается она къ извозчику,—ты хорошо знаешь дорогу?

— Мой много издить, дорога знатъ.

— Персы—страшные люди! Посмотрите, у него кинжалъ!.. Ахъ!..

Мнѣ, вѣроятно, пришлось-бы утѣшать ее, но вскорѣ показались огоньки Сурахаве. Фаэтонъ подкатилъ къ запертымъ воротамъ одипоко стоящаго обширнаго нефтянаго завода Кокорева и К<sup>о</sup>, обнесеннаго высокою стѣною. На нашъ стукъ поднялся вой и лай собакъ изъ подворотни; привратникъ отворилъ ворота, и онѣ замолкли, ласкаясь къ знакомой имъ барышнѣ.

Изъ одноэтажнаго длиннаго флигеля съ крошечнымъ палисадникомъ вышелъ кривоглазый старикъ въ широкополой шляпѣ,—химикъ завода, а вслѣдъ за нимъ выбѣжавшая широколицая дама въ очкахъ и съ веснушками быстро зашебетала съ моею спутницею; спустя двѣ-три минуты я уже осматривалъ, въ сопровожденіи химика, заводъ съ разными хозяйственными заведеніями и жильемъ для служащихъ, занимающій огромную ровную площадь. Посреди нея стоитъ котельная мастерская, непредставляющая особаго интереса, и бондарная; показывая послѣднюю, химикъ сообщилъ мнѣ, что по мѣрѣ развитія нефтянаго производства, Баку сильно нуждается въ бондарномъ производствѣ, которое очень выгодно не только для предпринимателей, но и для рабочихъ, приходящихъ сюда изъ Россіи и зарабатывающихъ по 60 руб. въ мѣсяцъ.

Далѣе, на площадкѣ передъ заводомъ устроены закрытыя ре-

зержуары для выходящаго изъ разсѣлинъ земли газа, проведеннаго трубами для освѣщенія и топки печей въ заводѣ, гдѣ работы были уже окончены, газъ потушенъ, но химикъ велѣлъ зажечь его; въ рожкахъ запылалъ онъ большимъ бѣлымъ пламенемъ, а въ печи лился то тонкою, то широкою струею, смотря по тому, насколько открывался кранъ.

Этотъ матеріалъ, изобильно извергаемый подземною лабораторіею, на-много удешевляя нефтяное производство, могъ-бы служить для освѣщенія и въ особенности для топки въ Баку, нуждающемся въ горючемъ матеріалѣ, такъ-какъ окрестности его совершенно голы; но до сихъ поръ пробовали его примѣнять, кажется, только въ хлѣбопекарняхъ, и то неудачно.

О состояніи нефтяного дѣла въ настоящее время скажу ниже, при описаніи *чернаго* городка; теперь-же попрошу читателя отправиться со мной къ жрецу, поддерживающему священный огонь въ храмѣ, построенномъ, кажется, въ 1822 г. разбогатѣвшимъ рыбнымъ промысломъ въ Сальянахъ индійцемъ для своихъ единовѣрцевъ, издавна по временамъ заглядывающихъ сюда. На нашъ продолжительный стукъ въ калитку, плотно примыкающую къ заводской стѣнѣ, вышелъ красивый brunetъ, босикомъ, въ бѣломъ узкомъ кителѣ и панталонахъ; въ его блестящихъ глазахъ свѣтилось лукавство, а черные волосы, зачесанные съ одного виска на другой, были собраны въ пучекъ. Онъ ввелъ насъ во внутренній дворикъ, застроенный маленькими кельями для приходящихъ богомольцевъ, но теперь пустыми; посреди него возвышается каменная площадка съ колоколомъ подъ навѣсомъ; это мѣсто служитъ для сожиганія труповъ умершихъ; тутъ-же и неугасаемый огонь. Индѣецъ, отколупавъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стѣны камешки, зажегъ газъ, освѣтившій дворикъ яркимъ пламенемъ, и, обращаясь ко мнѣ лицомъ, показалъ на свои два передніе зуба съ маленькими отверстіями, заклепанными золотою проволокою.

— Это признакъ духовнаго сана, пояснилъ химикъ, — и онъ будетъ сейчасъ справлять напутственный молебень вамъ.

*Какша изъ Лагоры*, — такъ зовутъ жреца, — повелъ насъ въ свою узенькую, длинную келью съ низкимъ сводчатымъ потолкомъ и глинянымъ поломъ, мѣстами устланномъ циновками; въ одномъ углу валялся убогій скарбъ, къ дверямъ примыкала глиняная ле-

жанка съ дырявыхъ ковровъ, а другой отгороженный уголь служилъ моленной, въ маленькой нишѣ которой лежали два мѣдныхъ образка съ выцарапанными изображеніями страшныхъ, съ свирѣпыми выраженіями, людей и фантастическихъ животных, оказавшимся, по объясненію моего чичероне, Браномъ, Адамомъ, Евою и проч.; тутъ-же маленькій колокольчикъ, а въ грязной бумажкѣ—леденецъ. На стѣнахъ углемъ или черною краскою нарисовавъ рай и еще что-то непонятное, съ туловищемъ рыбы на четырехъ палочкахъ вмѣсто ногъ и съ хвостомъ въ носу, — „ихній слонъ“, объяснялъ мнѣ химикъ, между тѣмъ какъ Какша, облачившись въ длинную бѣлую рубаху, пронзительно пѣлъ, acompанируя самъ себя колокольчикомъ. Окончивъ пѣніе и поднося мнѣ крошку леденца, подъ звонъ того-же колокольчика, онъ что-то пробормоталъ.

— Онъ желаетъ, шепчетъ химикъ, — чтобы слово Божіе произвело на вашу душу такую-же сладость, какъ этотъ леденецъ на вашъ языкъ.

Я вручилъ Какшѣ 20 к.; расточительные туристы даютъ ему по 50 к. и болѣе, но, право, вся эта комедія была сыграна такъ грубо, а самъ Какша, по словамъ моего чичероне, сомнительная личность, пьяница и развратникъ, что платить ему болѣе не слѣдовало. Онъ содержитъ одну персіанку, съ которою кутить по ночамъ, благо огонь и жилье, отдаваемые имъ подъ выжиганіе извести, приносятъ ему вѣрный и легкій доходъ.

Рано утромъ на другой день я отправился на нефтяные источники въ Балахане, въ сопровожденіи молодого технолога, хорошо знакомаго съ мѣстными дѣлами.

— У насъ, говорилъ онъ, — господствуютъ недобросовѣтность и рутина; съ рабочаго перса берутъ все, что возможно, а платятъ ему въ мѣсяцъ какихъ-нибудь 10 рублей! Дѣла завода идутъ скверно; К. устанавливаетъ въ городѣ пѣны на керосинъ, продавая въ убытокъ себя съ намѣреніемъ подорвать своихъ многочисленныхъ мелкихъ конкурентовъ; напр., за пудъ керосина онъ беретъ теперь 3 п. нефти и 1 р. 10 к. деньгами или всего 1 р. 22 к. (считая нефть по 4 к.), между тѣмъ какъ самому заводу керосинъ обходится дороже. Далѣе: въ Баку пудъ керосина стоитъ 1 р 45 к., провозъ въ Москву — 65 к., а К. продаетъ тамъ его по 2 р. 10 к!.. Убытокъ или никакой выгоды, съ понятною цѣлью за-

бить мелкихъ заводчиковъ, большею частью невѣжественныхъ персовъ и армянъ, дѣйствующихъ врознь; болѣе развитые изъ нихъ только-что еще подумываютъ сплотиться и удержать за собой промышлень.

Ухабистая, усыпанная камнями дорога съ завода въ Балахане проходитъ по пустынной, слегка волнующейся мѣстности каспійской формации съ преобладающею известковою почвою, пригодною для злаковъ, винограда и фруктовъ, но отсутствіе воды, бездождіе и зной наложили на нее печать мертвенности; иногда по голой глинѣ съ выжженою солнцемъ рѣдкою травой проползетъ сухопутная черепаха или мелькнетъ большая ящерица; кое-гдѣ желтѣютъ полосы несжатой тощей пшеницы и ячменя, которые здѣсь въ урожайные года собираютъ обыкновенно между 20-мъ мая и 1-мъ іюля, но въ этомъ году, при засухѣ, хлѣбъ брошенъ; не стоитъ съ нимъ возиться. Мѣстами, въ высушенныхъ вмѣстилищахъ дождевой воды, блестятъ полосы поваренной соли съ примѣсью глауберовой, а кое-гдѣ вода еще не успѣла испариться и манитъ усталый глазъ, но гдѣ нефть, тамъ и соль, слѣдовательно она негодна.

Вдали показался зеленый оазисъ; это персидская деревушка въ садахъ. Проѣзжая по узкой, извилистой улицѣ ея, гдѣ снаружи домовъ, обнесенныхъ каждый особо стѣнами изъ грубо сложенного на глинѣ камня, не видно ни оконъ, ни дверей, — насъ остановили нѣсколько персовъ съ убѣдительною просьбою посѣтить ихъ сады.

— Разсчитываютъ на подачку, замѣтилъ мой спутникъ, когда мы проходили въ маленькій фруктовый садъ къ одному изъ нихъ. Въ высѣченномъ изъ камня бассейнѣ съ водою смазливенькія дѣти болтались ногами, со смѣхомъ обрызгивая другъ друга. Женщины скрылись. Гранаты и винныя ягоды еще не скоро поспѣютъ, а яблоки уже можно ѣсть.

— Только-бы воды, говоритъ мой спутникъ, — и здѣсь будетъ такая-же благодать, какъ въ кубинскомъ уѣздѣ, богатомъ фруктовыми лѣсами, гдѣ безъ запрета можно собирать яблоки, груши, орѣхи и проч., а въ бакинскомъ уѣздѣ развѣ только одинъ шафранъ растетъ хорошо.



Заплативъ хозяину 30 к. и отклонивъ навязчивость прочихъ, мы свернули къ выдававшейся изъ волнообразной мѣстности известковой скалѣ съ пещерою Стеньки Разина, какъ гласитъ молва. Въ ней сыро и видны свѣжіе слѣды дикихъ голубей и стадъ, загоняемыхъ сюда иногда пастухами отъ зноя, но нѣкогда, какъ говорятъ, она посѣщалась полчищами Чингисъ-Хана, а Стенька Разинъ выдержалъ въ ней трехмѣсячную осаду отъ бакинцевъ, которыхъ намѣревался ограбить, послѣ чего побывалъ и въ другихъ приморскихъ портахъ: Ленкорани, Энзели и пр., съ тою-же цѣлью; еще недавно въ ней укрывалась шайка разбойниковъ, большею частью переловленныхъ исправникомъ. Говорятъ также, что отсюда ведетъ подземный ходъ къ морю, и много еще чего толкуютъ объ этой пещерѣ.

Отъ вѣвѣтриванія на скалѣ образовались во многихъ мѣстахъ узорчатые валаны, а у подножія ея навалены груды камней. Пещера слабо освѣщается пробитою сверху скважиною, теперь уже разрушенною и заваленною, но прежде служившею сообщеніемъ ея съ сторожевою башенкою на скалѣ. Шероховатія стѣны пещеры испещрены какими-то загадочными письменами и уродливыми человѣческими фигурами въ разныхъ позахъ; полъ заваленъ камнемъ.

Съ вершины скалы, куда мы вскарабкались, глазъ охватываетъ далеко голый просторъ степи съ разбросанными по ней полосками восьми персидскихъ деревень, двухъ зеленѣющихъ виноградниковъ и блестящей поверхностью соляного озера, а прямо виднѣется гора Богдагъ, грязный вулканъ, выбрасывающій по временамъ газъ, воду и иль, и нѣсколько другихъ маленькихъ сопокъ.

Показалась группа разбросанныхъ узенькихъ досчатыхъ башенокъ, напоминающихъ своею фигурою высокія мельницы безъ крыльцовъ; это—*Балахане* (по персидски—вышка), мѣсто нефтяныхъ источниковъ, доставившее правительству, кажется, 3 миліона рублей. Здѣсь находится до 20 нефтяныхъ скважинъ, изъ которыхъ 6 кокоревскихъ даютъ до 13 тысячъ пудовъ нефти въ сутки; Мирзаву принадлежатъ 3 скважины; Бурмейстеру, кажется, 4; Бенкендорфу 1 или 2; Вермишеву и другимъ — остальные. Кромѣ того, теперь еще буравится нѣсколько новыхъ скважинъ; у одной изъ нихъ, кажется, кокоревской, мы остановились; прикащикъ, какъ видно

знакомый моему спутнику, недовѣрчиво взглянувъ на меня, что-то таинственно шепнулъ ему, но тотъ, вѣроятно, его успокоилъ на мой счетъ и бесѣда пошла вслухъ. По словамъ прикащика изъ русскихъ, углубившись буровомъ на 39 сажень, они достигли теперь сажennaго слоя песку, сильно пропитаннаго нефтью, что служить хорошимъ признакомъ; далѣе пойдетъ глина, послѣ чего вычерпается грязь и откроется чистая нефть. Здѣсь работаютъ 5 засушенныхъ въ маслѣ персовъ по 12 часовъ въ сутки.

Изъ дѣйствующихъ нефтяныхъ источниковъ самый замѣчательный, безспорно, фонтанъ Вермишева, бьющій сильною струею нефти до 40 разъ въ сутки, чередуясь съ газомъ, ищущимъ выхода на просторъ, и безслѣдно пропадающимъ въ пространствѣ. Мой спутникъ говоритъ, что за Балловымъ мысомъ, въ недалекомъ разстояніи отъ порта, этотъ газъ выходитъ изъ моря въ большомъ количествѣ; иногда, въ тихіе вечера, обыватели ѣздятъ въ лодкахъ на прогулку туда и зажигаютъ газъ и тогда представляется волшебный видъ объятаго огнемъ воднаго пространства. Изъ 6 — 7 тысячъ пудовъ ежедневно получающейся съ вермишевскаго источника нефти продается на мѣстѣ около 4 — 5 тысячъ пудовъ въ сутки, по 4 — 5 копеекъ за пудъ. Нельзя умолчать о жалкомъ видѣ досчатой постройки, прикрывающей этотъ фонтанъ, и маленькомъ резервуарѣ въ немъ, куда падаетъ нефтяная струя; все это построено какъ-то на скорую руку и носить печать временнаго; но замѣчательнѣе всего, что въ Балахане нѣтъ заводовъ, а между тѣмъ газъ, какъ горючій и освѣтительный матеріалъ, тутъ-же подъ руками, да и возить отсюда въ Баку готовый продуктъ (керосинъ) было - бы удобнѣе сырѣя (нефти). При открытіи вермишевскаго источника хлынувшая струя нефти наполнила сосѣднюю впадину и образовала озеро грязной нефти, налитавшей воздухъ своими испареніями; на берегу его виднѣется лодочка; отсюда нефть продается по 2 коп. за пудъ.

На обратномъ пути въ Баку мы спустились къ ровной площадкѣ, покрытой толстымъ слоемъ песку съ ракушками — признакомъ морскаго дна, вѣроятно, поднятаго вулканическими силами, неустанно измѣняющими профиль и очертаніе береговъ Каспійскаго моря; такъ, по словамъ моряковъ, производившихъ въ этомъ году промѣры его, на немъ появились новые острова и мели, а въ иныхъ мѣстахъ оно углубилось.

Нептуническимъ или вулканическимъ путемъ образовалась эта впадина — пусть рѣшаютъ спеціалисты, но теперь на этомъ невыносимо-пыльномъ мѣстѣ безпорядочно разбросано до 90 каменныхъ домиковъ невзрачной наружности, изъ которыхъ клубится густой дымъ; кое-гдѣ наскоро строятся изъ мѣстнаго известняка новыя каменные ящики, куда вмажутся котлы и кубы — вотъ и готовъ персидскій или армянскій заводъ, въ которомъ перегоняется нефть безъ всякихъ научныхъ приѣмовъ и приспособленій. Русскіе заводы устроены далеко лучше. Это и есть *черный* или нефтяной городокъ.

Извозчикъ, котораго мы попросили остановиться у крайняго завода, никакъ не могъ понять нашей любознательности:

— Всѣ умремъ, — зачѣмъ нефть? Смотри! проговорилъ онъ, указывая на черныя клубы дыма, показавшіеся на окраинѣ города.

— Всемогуцій Мирзаевъ горитъ, замѣтилъ мой спутникъ;— снисходительная къ нему администрація не только что не изгнала изъ города его заводъ, но даже внушила его соудьямъ воздержаться отъ строптивости по поводу сего исключенія, обладающаго ихъ копотью и угрожающаго имъ пожарами.

По словамъ моего спутника, частые пожары нефтяныхъ заводовъ здѣсь находятся въ зависимости отъ неудобной системы акцизнаго сбора, взимаемаго за 6 дней впередъ, по 10 руб. въ сутки съ куба, емкостью въ 200 ведеръ, и по 4 к. съ ведра, если кубъ меньшей емкости; слѣдовательно, чѣмъ больше перегонится нефти въ день, тѣмъ выгоднѣе производителямъ, и заводчикъ наливаетъ нефтью вмѣсто  $\frac{2}{3}$  полный кубъ и торопится спустить неохлажденные еще остатки, которые нерѣдко загораются и охватываютъ пламенемъ весь заводъ, а въ связи съ ущербомъ частной предпримчивости находится и государство. По общему голосу, было-бы несравненно выгоднѣе всѣмъ тремъ сторонамъ: производителямъ, потребителямъ и государству, если-бы акцизъ взимался здѣсь, какъ на водочныхъ заводахъ, т. е. съ перегнанной нефти или керосина.

Въ прошломъ году выручено до 240 тысячъ рублей акциза, а до того времени получалось не болѣе 180 тысячъ рублей въ годъ; эта разница происходитъ отъ увеличенія акциза, но отнюдь не служитъ признакомъ развитія нефтяного дѣла, котореѣ, по

словамъ заводчиковъ, вообще тормозится здѣсь. Вотъ что говорилъ мнѣ одинъ изъ нихъ, вполне заслуживающій довѣрія:

— Есть не мало желающихъ строить фабрики, но земля государственная; дѣло стѣсняется разными формальностями и проволочками. Развѣ государство, для развитія экономическихъ силъ страны, не могло-бы уступить земель городу и ввести болѣе рациональную систему взиманія акциза? Кроме того, дѣло тормозится еще стремленіями К. подорвать мелкихъ конкурентовъ, а провозъ керосина отсюда въ Россію очень дорогъ; наконецъ, отсутствіе выгоднаго кредита,—не занимать-же у жидовъ и армянъ 100 на 100? Впрочемъ, съ 1-го іюня здѣсь открытъ банкъ „взаимнаго кредита“ и вскорѣ откроется отдѣленіе государственнаго банка. Вотъ почему мы, обладатели неисчерпаемыхъ источниковъ нефти, не можемъ конкурировать съ американскимъ керосиномъ.

Нефть подвозится сюда съ окрестныхъ мѣстъ въ бочкахъ или бурдюкахъ; арба въ одну лошадь зарабатываетъ въ день по 1 р. 80 к. или по 5 к. съ пуда; вообще это дѣло довольно прибыльно, хотя возчики и выглядятъ оборвышами. Одна изъ ближайшихъ деревень зарабатываетъ на перевозѣ нефти до 400 тысячъ руб. въ годъ.

Пудъ нефти стоитъ здѣсь 1 р. и 1 р. 20 к., а нефтяные остатки идутъ отчасти на пароходы общества „Кавказъ и Меркурій“, по 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп. за пудъ, или скупаются городской думою по 1—2 коп. за пудъ, для поливки ими нѣкоторыхъ улицъ, отчего образуется на нихъ вязкое, маслянистое вещество, непристающее къ ногамъ, но значительно уменьшающее городскую пыль, поднимаемую сѣвернымъ вѣтромъ, дующимъ здѣсь лѣтомъ, осенью и зимою нерѣдко съ такою силою, что даже наноситъ ушибы мелкими камешками.

Бесѣдуя о бакинской нефти, встаетъ упомянуть, что на Каспійскомъ морѣ, по словамъ моряковъ, производившихъ промѣры на немъ, нерѣдко попадаются сильно-бьющіе ключи нефти, которая также встрѣчается и на восточномъ берегу его, но въ особенности ея, какъ и самосадочною и каменною солью, богатъ маленькій, не больше 100 верстъ въ окружности, лишенный всякой растительности и годной къ употребленію воды островокъ Челекенъ, расположенный противъ Красноводскаго залива.

Мѣстное населеніе—огурджалинцы, состоящее изъ пришельцевъ

разныхъ тюркменскихъ племенъ, издавна добывало здѣсь нефть, называемую *нефтаниль* (горный воскъ), содержащую въ себѣ до 30% парафина; копая глубокіе колодцы, они сильно страдали отъ удушливаго запаха ея; готовые колодцы прикрывались камнями и засыпались землею, на которой хозяинъ отпечатывалъ слѣдъ своей ступни, дѣлая его такимъ образомъ неприкосновеннымъ для постороннихъ. Отсюда нефть вывозилась ими вмѣстѣ съ солью въ Хиву, Бухару, но въ особенности въ Персію и къ прибрежнымъ тюркменамъ, которые употребляютъ ее для освѣщенія безъ перегонки; сюда-же ежегодно за нею пріѣзжали изъ Баку. Ежегодно добывалось здѣсь нефти до 150 тысячъ пудовъ, но съ недавняго времени, когда тюркмены согласились сдавать свою землю въ аренду русскимъ предпринимателямъ, замѣнившимъ копаніе колодцевъ буровыми скважинами, количество добываемой нефти увеличилось и цѣна ея упала; это послѣднее обстоятельство, по словамъ моего спутника, взбудоражило тюркменъ—владѣльцевъ колодцевъ. „Стой! Копай колодцы, а не буравъ!“ кричали они арендаторамъ. — „Когда бакинцы копали колодцы, пудъ нефти доходилъ до 45 коп., а съ тѣхъ поръ, какъ они начали буравить, цѣна упала до 12 к. и ниже; это очень дешево и намъ невыгодно!“ объясняли они, подшибленные конкуренціею.

Между тюркменами и персами существуетъ преданіе, что островъ Челекенъ нѣкогда соединялся съ Баку перешейкомъ и что въ этомъ направленіи на днѣ моря есть даже слѣды дороги. Если нельзя довѣрять зоркости ихъ глазъ въ этомъ отношеніи, то, во всякомъ случаѣ, въ преданіяхъ всегда найдется доля правды.

Проѣхавъ по знойно-пыльнымъ улицамъ Баку въ гостиницу „Кавказъ“, содержащую армяниномъ, угостившимъ насъ очень порядочнымъ обѣдомъ съ сноснымъ виномъ за 40 к. съ особы, мы отправились пѣшкомъ ознакомиться съ торговою частью города, служащаго съ 1864 г. транзитнымъ путемъ для мануфактурныхъ и заводскихъ произведеній западной Европы, направляемыхъ черезъ Поті и Тифлисъ сюда и далѣе по Каспійскому морю въ Персію. Между ними первое мѣсто принадлежитъ ан-

гліиской мануфактурѣ и марсельскому сахару въ маленькихъ головкахъ, которые, по своей относительной дешевизнѣ, наполняютъ бакинскій рынокъ преимущественно передъ нашими таковыми же произведеніями. Въстѣтъ съ тѣмъ Баку, изобилующій не меньше нефти жадными торгашами изворотливаго типа: армянами, персами и всесвѣтными пройдохами—евреями, служить главнымъ складочнымъ мѣстомъ не только западныхъ контрабандныхъ товаровъ, но и нашихъ, провозимыхъ сюда каботажемъ изъ Астрахани, для отправки въ Персію и среднюю Азію.

Мы вышли на каменную набережную, на которую весело смотрится рядъ двухъ и трехэтажныхъ домовъ съ нарядною европейскою внѣшностью и съ невыпосимую вонью отхожихъ мѣстъ, хотя цѣна на квартиры здѣсь петербургская.

— Лѣтъ семь тому назадъ, говоритъ мой товарищъ, — въ берегу еще прилегалла городская стѣна съ персидскими клѣтушками и здѣсь господствовала непроходимая грязь. Во время послѣдней американской войны многіе бакинцы, благодаря персидскому хлопку, обогатились, и, кажется, въ 1867 г., по настоянію тогдашняго губернатора, соорудили эту блестящую набережную съ домами и караванъ-сараями, по плану мѣстнаго архитектора.

Эта лучшая въ городѣ улица сплошь покрыта вывѣсками армянскихъ и еврейскихъ магазиновъ, агентствъ пароходныхъ, парусныхъ и разныхъ другихъ обществъ; тутъ-же — таможня, губернаторскій домъ съ садомъ, наискось котораго сильно-бьющая въ носъ струя сѣрнистоводороднаго газа отъ сточныхъ трубъ, выходящихъ въ море у самаго берега, можетъ сшибить съ ногъ; далѣе—роскошныя палаты г. Кокорева и дрянныя персидскія лавочки.

Волны безъ устали полощутся о низкую набережную, обрызгивая плиты тротуара; не въ далекомъ разстояніи, у наваленной кучи камня, персіянки съ открытыми лицами моютъ бѣлье, жадно вшиваясь глазами въ прохожихъ „кафировъ“ — невѣрныхъ; на лицахъ ихъ видно уныніе и тоска: затворничество дѣлается невыносимымъ для восточныхъ женщинъ, когда имъ приходится жить въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ женщина сравнительно болѣе свободна.

Прежде всего мы зашли въ мѣняльную лавку, гдѣ рядомъ съ акуратными голандскими червонцами и русскими золотомъ лежали

персидскія деньги: золотые томаны—по 3 рубля и серебряные, то тонкіе, то толстыя, неправильной формы кружки съ неаккуратною чеканкою,—краны или кираны, по 30 к., и бананаты—по 15 к., такъ-же невзрачны на видъ, какъ и жизнь персовъ; тутъ-же висѣли персидскіе ковры.

По совѣту своего спутника, я размѣнялъ здѣсь всѣ свои деньги на краны, а не на обрѣзанное персидское золото, которое принимается даже въ Персіи неохотно, и то не иначе, какъ на вѣсъ; наши русскіе червонцы тамъ лучше идутъ. Нѣкоторые извозчики и лавочники въ Баку уже принимаютъ персидскія деньги, отъ которыхъ также не отказываются и буфетчики на пароходѣ, начиная съ Астары и далѣе къ Астрабаду. Вотъ тянутся армянскіе магазины табаку, который, послѣ введеннаго здѣсь акциза на него, сталъ не лучше петербургскаго; за ними—персидскія лавчонки въ подвальныхъ этажахъ, со сводами, безъ оконъ, но всегда съ настѣжъ открытыми дверями, въ которыя видны кучами наваленный ячмень, а пшеница и рисъ, привозимые сюда изъ Астрабада, сложены въ мѣшкахъ; тутъ-же виситъ копченая, вкусная и дешевая рыба кутумъ, доставляемая сюда преимущественно изъ Энзели; на лавкѣ лежитъ коранъ, у дверей выставлено для продажи длинное персидское ружье съ испорченнымъ замкомъ, валяется желѣзный ломъ, навѣшаны канаты, веревки и выставлены наружу тростниковыя рогожи и циновки, привозимыя сюда тоже изъ Энзели. Тутъ-же продаются маленькія персидскія туфли, къ которымъ нужно привыкнуть съ дѣтства, ибо каблукъ туфли приходится чуть-ли не по серединѣ ступни, что неудобно. Купивъ на пробу за 10 коп. десятокъ мазандаранскихъ (персидскихъ) лимоновъ, я тутъ-же принялся ихъ ѣсть, и это уронило меня во мнѣніи восточныхъ людей на 99%... Эти сладковатые лимоны напоминаютъ водянистыя апельсины.

У дверей одной цирюльни персь-цирюльникъ открыто брилъ голову правовѣрному лавочнику; изъ любопытства мы зашли въ его лавчонку.

— Побрей насъ!

— Нельзя,—иди наверхъ къ армянину, замахалъ руками тощій персь.

Армянинъ, съ вкрадчивою улыбкою, объясняетъ намъ:

— Бойтся опоганиться; въ мой стаканъ нальетъ воды, а изъ своего намъ не дастъ.

Вообще лавочки персовъ бѣдны, богатые-же склады товаровъ помѣщаются въ нижнихъ этажахъ караванъ-сараявъ, а верхніе служатъ жильемъ. Армяне, напротивъ того, щеголяютъ своими магазинами. Передаю слово въ слово отъзвѣвъ объ этихъ ловкихъ торговцахъ только-что возвратившагося съ промѣра по Каспійскому морю моряка:

— Куда ни заглянешь, говорилъ онъ, — вездѣ встрѣтишь торговое гнѣздо армянина; прїѣдешь на необитаемый островъ,мотришь — и тамъ онъ воду продаетъ. Администрація, таможня, полиція — по всему каспійскому побережью — преимущественно изъ армянъ. А наши бакинскіе просто рѣжутъ насъ: не довольствуясь даже 50%, они нерѣдко берутъ 100% и болѣе; напримѣръ, пудъ желѣза обходится имъ около 4 р., а они продаютъ его здѣсь по 8 р. Мы крайне нуждаемся въ хорошихъ, свѣжихъ силахъ изъ Россіи для борьбы съ жаднымъ армянствомъ, безсовѣстнымъ еврействомъ и персидскимъ невѣжествомъ!

Блестящіе армянскіе магазины наполнены самымъ разнообразнымъ товаромъ: тутъ бакалея, кондитерское, табакъ и чай, вино и пр. Мы спросили икры, водки и мѣстнаго вина.

— Вы съ парохода? съ нѣжною улыбкою обратился къ намъ зоркій хозяинъ, тучный армянинъ, униженный золотыми побрякушками.

На нашъ утвердительный отвѣтъ, онъ отпустилъ требуемое съ обольстительною граціею; но рублевая икра оказалась промозглою, вино, стоящее въ подвалахъ 1 р. 80 к. и 2 р. 40 к. за ведро, оказалось поддѣльнымъ; оно становилось въ горлѣ коломъ, хотя бутылка стоила 30 к., а вмѣсто очищенной водки насъ угостили отвратительною кисловатою кишмишевкой, т. е. водкою, выгоняемою изъ кишмиша (сладкаго винограда).

Далѣе мы обошли „Форштадтъ базаръ“ и „Темный базаръ“, которые вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ и открытыми мастерскими, и клубомъ для персовъ; въ зеленныхъ рядахъ — грязь и нагота бѣгающихъ мальчишекъ; другіе ряды почище: здѣсь шьютъ, пилятъ, стучать, — словомъ, сидя на корточкахъ, работаютъ и продаютъ преимущественно заграничные товары; бирюза недорога, но древнія монеты — большею частью фальшивыя.



Еще есть время за-свѣтло осмотрѣть старый городъ или, какъ его называютъ, крѣпость, съ ханскимъ дворцомъ, служащимъ теперь арсеналомъ, куда безъ разрѣшенія начальника его никого не пускаютъ, но мнѣ везетъ, и я, въ сопровожденіи любезнаго артиллериста, направился туда. Старый городъ, замкнутый двумя каменными стѣнами, спускается къ нарядной набережной терасою, сплошь заваленною лѣпящимися одна къ другой персидскими саклями съ плоскими крышами; вонь и духота здѣсь, несмотря на дующій сѣверный вѣтеръ, очень чувствительны; по узкой, извилистой улицѣ едва-едва можно проѣхать въ экипажѣ.

Часовой пропустилъ насъ черезъ калитку во дворъ ханскаго дворца, стѣны котораго во многихъ мѣстахъ носятъ слѣды цициановской картечи, подчинившей Баку русской власти.

Входная дверь въ бывшее ханское жилье украшена замѣчательно искусною рѣзбовою и арабесками; женская половина его представляетъ рядъ маленькихъ комнатъ съ нишами; въ нижнемъ этажѣ съ прочными сводами, гдѣ теперь свалены колеса, снаряды и прочія артиллерійскія принадлежности, полъ подъ нашими ногами издавалъ глухой звукъ—признакъ пустоты подъ нимъ; не здѣсь-ли начинается тотъ подземный ходъ далеко за крѣпость, которымъ бѣжалъ отъ русской кары послѣдній бакинскій ханъ? Съ одного бока дворца, посреди замкнутого стѣнами дворика, возвышается бывшее *судилище*, съ навѣсомъ на аркахъ и темнымъ отверстіемъ въ подвалъ, служившій нѣкогда мѣстомъ заточенія для правовѣрныхъ преступниковъ. Наружная часть этого скорбнаго сооруженія покрыта хорошо сохранившимися отъ всеразрушающаго времени арабесками и надписями, мастерски вырѣзанными на известковомъ камнѣ, изъ котораго построенъ весь дворецъ. Обыкновенный известнякъ вообще скоро вывѣтривается, но здѣшній очень проченъ; его ломаютъ въ семи верстахъ отъ Баку, въ Шихіевой деревнѣ, названной такъ по имени св. Шихія, на поклоненіе которому ежегодно стекается изъ окрестныхъ мѣстъ персидское населеніе; въ особенности этого праздника ждутъ не дождутся бакинскія персіянки: тамъ онѣ обыкновенно назначаютъ свиданія своимъ любовникамъ, еутятъ и развратничаютъ вдали отъ безпощадныхъ мужей.

Въ центрѣ судилища, на возвышеніи, сиделся ханъ, окруженный почетными лицами; дворикъ наполнялся публикою,—и шелъ

судь да расправа; кого оправдывали, а кому — рубили головы.

Въ окнахъ домашней ханской мечети, тоже носящей слѣды циціановскихъ снарядовъ, замѣчательно искусно вырѣзаны фигурчатая рѣшетки изъ камня; баня, въ куполъ которой вмазаны маленькія круглыя стекла, тоже покрыта снаружи арабесками и надписями; здѣсь былъ бассейнъ отличной воды, но послѣ бѣгства хана ее скрытно отвели въ неизвѣстное мѣсто и городъ сталъ страдать отъ недостатка хорошей воды. Къ счастью, эта скрытая вода сама собою недавно обнаружилась за таможеню, гдѣ предполагается теперь устроить фонтанъ.

Изъ оконъ дворца хорошо видѣнъ старый городъ. Мой чичероне, указывая на ближайшій минаретъ, круглую, узенькую, въ 15 саж. высоты башенку, увѣрялъ меня въ необыкновенной прочности ея: „Камень обратите въ порошокъ, а связь цѣла; говорятъ, что цементъ, связывающій камни, состоитъ изъ извести, ваты и какого-то масла“.

Въ сопровожденіи солдата я взобрался по крутизнѣ пыльной и темной лѣстницы на самый верхъ минарета, представляющаго маленькую площадку съ куполомъ на аркахъ и съ узенькимъ, опоясывающимъ ее, выступомъ съ полуразрушенною рѣшеткою кругомъ, мѣстомъ муллы, призывающаго къ молитвѣ правовѣрныхъ. Отсюда великолѣпный видъ на городъ, на людей, важущихся муравьями, на темнозеленоватую даль безбрежнаго моря съ полукруглымъ заливомъ, у пристаней котораго спокойно стоятъ пароходы, суда и мелькаютъ лодки.

На обратномъ пути изъ крѣпости мы остановились у монумента Циціанову; мой спутникъ, указывая на него, сказалъ:

— Бинжалъ и пистолетъ, изображенные на немъ, напоминаютъ жителямъ вѣроломство ихъ послѣдняго хана, который, выйдя къ Циціанову для мирныхъ переговоровъ, выстрѣлилъ въ него и скрылся изъ дворца подземнымъ ходомъ. На другой день Баку былъ взятъ.

Скрытая ненависть, фанатизмъ и презрѣніе все еще проглядываютъ въ большей части населенія не только къ намъ, но и къ тѣмъ изъ своихъ собратій, которые сближаются съ нами и подчиняются русскому вліянію; о нихъ они отзываются такъ: „Это — не человѣкъ; онъ пойдетъ къ русскимъ, потомъ опять къ

татарамъ, и снова къ русскимъ; онъ хуже собаки, даже хуже русскаго“. А родовая мѣсть нашихъ мусульманъ господствуетъ здѣсь тайно въ той-же степени, какъ она открыта въ самой Персіи. Безъ сомнѣнія, образованіе молодого мусульманскаго поколѣнія могло-бы мало-по-малу примирить ихъ съ нами и гуманизировать ихъ нравы и обычаи, но оно пока такъ ничтожно, что видимаго вліянія отъ него еще незамѣтно, между тѣмъ, по общему отзыву, персы болѣе способны къ развитію, чѣмъ даже армяне, „предназначенные самою природою исключительно къ коммерческимъ тайнамъ“, какъ говорятъ о нихъ моряки. Въ бакинской гимназіи учатся теперь 84 мусульманина; изъ нихъ 12 въ послѣдній выпускъ получили награды: золотыя, серебряныя медали и похвальные листы; въ числѣ награжденныхъ было 8 персовъ, вообще отличающихся хорошими способностями и прилежаніемъ.

Къ крѣпости непосредственно примыкаетъ новый городъ, съ болѣе широкими улицами, домами преимущественно европейской архитектуры и съ смѣшаннымъ европейско-азіатскимъ населеніемъ.

Высокая, неправильной кругловатой формы, обширная *Двѣмичья башня*, во дворикъ которой я зашелъ съ набережной узенькимъ переулкомъ, недавно еще обрызгивалась волнами моря, теперь отступившаго отъ нея на десятки сажень. Объ ней рассказываютъ слѣдующую легенду: какой-то ханъ, влюбившись въ свою дочь и добываясь ея любви, по ея желанію построилъ для нея эту башню и не прекращалъ своихъ ухаживаній за нею; желая избавиться отъ нихъ, дѣвушка бросилась съ вершины башни въ море...

Теперь въ этой башнѣ устроенъ маякъ, сторожъ котораго, принеся мнѣ напитокъ соленой воды, пустился въ рассказы:

— Вода здѣсь соленая, говорилъ онъ,—дожда мало, хлѣба нѣтъ и персы жрутъ; тяжела наша жизнь въ этой басурманской сторонѣ и земля-то здѣсь какая-то *не божья*. Взгляните, вотъ посѣялъ нашъ лукъ, а онъ уродился длиннымъ картофелемъ на видъ, да и скусъ не тотъ...

Темнѣетъ. Съ утреннимъ своимъ пріятелемъ и шведомъ-механикомъ идемъ мы по набережной въ крошечный городской садикъ, откуда несется военная музыка. По словамъ моихъ спутниковъ, разведеніе этого сада на здѣшней известковой почвѣ

стоило не мало денегъ и хлопотъ; одинъ изъ комендантовъ, когда ихъ власть здѣсь была обширна, обязывалъ прїѣзжающихъ сюда изъ болѣе благодатныхъ мѣстъ персовъ, въ видѣ особой пошлины, доставлять по нѣсколько кубовъ земли, которою и грунтировался садъ; между тѣмъ и безъ этихъ крайнихъ мѣръ можно-бы было выростить его, проведя сюда хорошую воду.

Мы пришли въ биткомъ набитый, душный садикъ; нарядная толпа развязныхъ барынь, офицеровъ, статскихъ движется, тѣснится и запрудила всѣ три буфета, изъ которыхъ клубный лучше прочихъ; въ здѣшнемъ клубѣ до 300 членовъ, преимущественно изъ служащаго люда: моряки, чиновники и пр.; погулять по пустынной набережной, освѣжаемой морскими вѣтрами, несравненно прїятнѣе, чѣмъ здѣсь...

— Замѣчаете, говоритъ одинъ изъ моихъ спутниковъ,—что большая часть нашихъ дамъ обладаетъ походкою и манерами петербургскихъ камелій, потому что у нихъ, при многихъ недостаткахъ столичныхъ барынь, отсутствуетъ нравственный регуляторъ и нѣтъ пищи для ума, безъ чего скромность немислима.

Развратъ въ Баку, по словамъ К., самый широкій. О развратѣ персовъ я уже говорилъ. Персы въ Баку ведутъ себя такъ-же, какъ и въ другихъ мѣстахъ. Развратничаютъ и персіянки, но водиться съ ними опасно. Если персіянка торгуетъ собою безъ вѣдома мужа и объ этомъ узнаетъ онъ или кто-нибудь изъ его родни, тогда ее безпощадно зарѣжутъ, и слѣдъ простылъ, что очень часто случается здѣсь. Однакожъ, въ прїютахъ разврата персіянки составляютъ наибольшій процентъ; хозяйва и хозяйки, промышленяющіе развратомъ, обыкновенно похищаютъ ихъ еще дѣтми; это несчастнѣйшія созданія. Нѣмки въ здѣшнемъ развратѣ занимаютъ второе мѣсто по численности; онѣ развратничаютъ уже сознательно, копятъ деньги и потомъ или выходятъ замужъ, или-же дѣлаются солидными и примѣрными хозяйками меблированныхъ квартиръ; проститутокъ изъ русскихъ немного.

Шведъ, внимательно вслушиваясь въ эту характеристику моего утренняго спутника, отчеканилъ:

— Если я хочу, чтобы моя жена была честна, я самъ долженъ быть честнымъ. Я люблю русскихъ, но отъ здѣшнихъ дамъ отворачиваюсь; пока она дѣвушка — скромна; а какъ выйдетъ

замужь, прежде всего заботится о томъ, чтобы обзавестись любовникомъ. Порча нравовъ здѣсь поразительная.

— Ну, нынче въ этомъ отношеніи мы стали поскромнѣе, но что здѣсь творилось въ прежнее время— и рассказывать гадко.

Тихо возвращался я на пароходъ по пустынной набережной, вдыхая полною грудью свѣжей вѣтерокъ. Съ Бабу мы поѣдемъ далѣе на „Туркменъ“; эта шкуна удобнѣе „Армянина“, но въ каютъ-компаніи, гдѣ я помѣстился, не видно прислуги, а шныряютъ какіе-то подозрительныя фигуры; я позвалъ буфетчика, очень словоохотливаго и долговязаго парня, и онъ объяснилъ мнѣ, что эти „армяшки“ шляются по пароходу съ цѣлью „стибрить“, что плохо лежитъ, а не то въ почтальону съ письмами. Я имъ толкомъ говорю: идите на берегъ, кладите ихъ въ ящикъ; нѣтъ, лѣзутъ сюда, потому, скажемъ прижѣрно, онъ дастъ почтальону пятакъ, тотъ его въ карманъ, а письмо, значить, безъ марки отдаетъ по портажъ“.

Подошелъ юркій почтальонъ; я спросилъ у него марку.

— 15 копеекъ-съ.

— Вездѣ 11.

— Знаемъ-съ, но я продаю отъ себя...

Кстати замѣчу, что въ навигацію почта ходитъ въ Персію на срочныхъ пароходахъ два раза въ недѣлю, зимою-же, кажется, разъ въ мѣсяцъ, а черезъ Джульфу въ Астрабадъ письма иногда путешествуютъ по два и по три мѣсяца!

Поднялся на рубку; пассажировъ очень мало, и тѣ большею частью ѣдутъ на ленкоранскія воды; ихъ провожаютъ пивомъ и отрадною бесѣдою на тему: деньги и любовь; другимъ-же чувствамъ и стремленіямъ, повидимому, здѣсь мѣста нѣтъ... Подлѣ меня дамы бесѣдуютъ съ носатыми джентльменами изъ армянъ.

— Женщины—это высшее наслажденіе, это—цѣль моей жизни, говоритъ одинъ горбатый носъ.

— А деньги—лучше, на нихъ все купишь! возражаетъ другой.

— Ведите-ка намъ пива подать, прерываетъ его блондинка.

— Одно желаніе у меня—ѣхать въ Ленкорань! говоритъ брюнетка.—О, милый Ленкорань!

А вотъ достойная парочка: коротенькая барыня съ выдающимися челюстями, свидѣтельствующими объ ея хищныхъ наклонностяхъ, съ рѣдкими волосами, зачесанными по-японски, и съ чисто-россійскимъ ожирѣніемъ сердца, хотя, взглянувъ на эту фигуру, не трудно угадать въ ней *бывалую нѣмку*. Рядомъ съ нею сидитъ тщедушный человѣчекъ съ масляными, шныряющими глазами, коротко-выстриженными волосами съ просвѣчивающею лысиной, несмотря на то, что этому акуратненькому господину не болѣе 30 лѣтъ. Онъ чиновникъ, по имени Антоша, а спутница—честная жена его Надя, какъ можно судить по слѣдующей бесѣдѣ ихъ между собою. Какъ видно, они прибыли сюда недавно изъ Петербурга и все еще находятся подъ впечатлѣніемъ какой-то непріятности...

— Какой скандалъ! Антоша, мнѣ дурно.

— Успокойся, Надичка, не разстраивайся...

— Если-бы еще тихо, а то прямо, при мужичкѣ, кривнуть мнѣ, женѣ надворнаго совѣтника: „я васъ кормить не намѣренъ!“ Или, при нашихъ сердечныхъ друзьяхъ Кубышкннхъ, осмѣлился сказать: „мой принципъ—преслѣдовать хищниковъ“, что, безъ сомнѣнія, относилось къ намъ, порядочнымъ людямъ,—не правдали, какъ это благородно съ его стороны?

— Бога ради, не разстраивайся... А сколько лишнихъ рублей ты получила отъ него?

— Семь за квартиру да 27 четвертаковъ отъ обѣдовъ.

Надя скромно потупила глаза, какъ-бы стыдась неудачѣ поглубже запустить свою пятерню въ карманъ какого-то господина.

— За то-же, ободрилась она,—я его выругала на весь дворъ революціонеромъ.

Всмотрѣвшись въ лицо Антоши, я узналъ въ немъ обладателя одной кассы ссудъ въ Питерѣ, куда мнѣ пришлось однажды обращаться...

Капитанъ парохода, изъ нѣмцевъ, подалъ знакъ двинуться въ путь; его помощникъ, тоже нѣмецъ, отвѣтивъ ему съ покорностью „Ja wohl“, гаркнулъ на персовъ-матросовъ, поднимающихъ лодку на парходъ подъ мѣрный, тихій напѣвъ съ громкимъ припѣвомъ: „А-а-ли!“ (имя имама, приверженцы котораго называются шіитами).

— Гей! Деръжи лодька, животь! (живо или животныя —

богъ-вѣсть, что нѣмецъ хотѣлъ сказать),—и мы, вмѣсто 12, въ часъ ночи двинулись по направленію къ городу Ленкорани, въ 12 верстахъ отъ котораго находятся теплыя, кажется, сѣрныя воды, помогающія, какъ говорятъ, отъ ревматизма и скуки.

Отдѣльныхъ каютъ во 2-мъ классѣ на „Туркменѣ“ нѣтъ, а общая; съ своими жесткими и узкими клеенчатыми скамьями вокругъ стѣны, она крайне неудобна. Цѣны на все здѣсь весьма внушительныя; напр., за приборъ воды къ чаю на одного человѣка 7 к.; для двухъ 14 к. и т. д.; за пробку отъ 20 к. и до 1 рубля! Обѣдъ обязательнъ—по 1 р.; завтракъ и ужинъ, необязательныя, по 75 к. Таксы, по словамъ слуги, „нѣтути, потому дилекторъ унесъ“.

У буфета—кафта вѣчно-суеятягося почтальона и стойка съ четырьмя ружьями, прежде пригодными на случай нападенія туркменъ, а теперь совершенно бесполезными.

Пора уже спать, но посаженные пассажиры, освѣщенные огаркомъ стеариновой свѣчи, еще не угомонились. Они бесѣдуютъ между собой, каждымъ словомъ доказывая свое невѣжество, а на другомъ концѣ стола разбитной русскій мальчикъ толково объясняетъ сопровождающему его въ Ленкорань слугѣ изъ персовъ сущность какой-то карточной игры:

— Теперь ты бей!

— Бей, повторяетъ персъ, наливая себѣ и ребенку чай.

— А теперь я бью.

— Бью, опять повторяетъ слуга, положивъ свою карту на его.

— Нѣтъ, нѣтъ, Мамедка, теперь я бью.

— Хорошо, хорошо, твоя бьетъ.

Мои вѣки уже тяжелѣютъ, а въ ухахъ все еще раздаются „бью, бью, бью“, между тѣмъ какъ въ глазахъ Мамедки сверкаетъ нѣжная привязанность къ ребенку, котораго онъ ни шагъ не пускаетъ отъ себя...

На другой день, миновавъ, въ 11 часовъ утра, Буринскій островъ, мы все еще ѣдемъ въ виду низменныхъ береговъ, окаймленныхъ на горизонтѣ волнующимися горами; вдали видѣется пикъ Ленкоранской горы.

Погода предлестная: привѣтливое солнышко играетъ въ морѣ; вѣтеръ ласкаетъ своею нѣжною прохладою; широконосый пеликанъ, лѣнливо покачиваясь на едва-колыхающейся поверхности воды, такъ-же бессмысленно смотритъ въ пространство, какъ и эти растянувшіеся на дыривыхъ коврахъ семь персовъ съ крашеными бородами на изнуренныхъ лицахъ и съ выглядывающими пятеми ногъ, обутыхъ въ короткіе, узорчатые носки. Подлѣ нихъ одинокая персіянка, хоть и въ чадрѣ, но съ полуоткрытымъ лицомъ, застѣнчиво бесѣдуетъ съ армяниномъ; у борта стоитъ суровый старикъ съ длинною бородою, въ порывѣломъ высокомъ цилиндрѣ и съ громадною шишкою на затылкѣ, въ длиннополомъ сюртукѣ и большихъ сапогахъ; говорятъ, что онъ утромъ кружился на палубѣ съ причитаніями и выдѣлывалъ разныя уморительныя штуки; это—сектантъ-скакунъ. Далѣе, вблизи кормы, стоятъ два солдата; одинъ—въ бѣлой форменной рубахѣ, другой—въ сюртукѣ на распашку, а за ними, прислонясь къ борту, задумалась жепщина съ грустью на смугломъ, красивомъ лицѣ, одѣтая вся въ черномъ, какъ видно, тоже сектантка... Вотъ и всѣ палубные пассажиры.

Передъ Ленкоранью горы опять приблизились къ берегу; въ часъ разсѣялся густой туманъ, облегающій ихъ, и передъ нами открылась узенькая и низменная полоса берега, одѣтая въ яркую зелень, изъ которой выглядываютъ покатыя крыши молуканской слободы, за нею мелькаютъ плоскія крыши персидской деревни въ садахъ, а дальше—недавно выстроенная армянская церковь, крытая, кажется, камышемъ, надъ которымъ зеленѣетъ коническій куполъ; еще дальше чернѣются нѣсколько домиковъ, а на голой площадкѣ одиноко стоитъ круглая, низкая башенка съ красною крышею и вышкой—это маякъ; а вотъ и самъ городишко съ рѣдкою зеленью—маленькій Ленкорань, слывшій за крѣпость, хотя отъ нея и слѣдъ давно простылъ, и имѣетъ онъ нищенскій видъ.

Въ 2 часа пароходъ остановился въ 250 саженьяхъ отъ мелководнаго берега безъ пристани; съ шумомъ и гвалтомъ подѣхали къ намъ неуклюжіе *киржимы*,—такъ называются персидскія плоскодонныя лодки съ высокимъ бортомъ и громаднымъ рудемъ топорной работы; большая часть грязныхъ, изнуренныхъ и безтолково-суетящихся гребцовъ или полунаги, или одѣты въ короткія



кумачевныя рубахи русскаго покроя и рваные панталоны; у всѣхъ вмѣсто шапокъ торчатъ бѣлыя или цвѣтныя вязанныя ермолки на макушкахъ бритыхъ по серединѣ головъ, изобильно покрытыхъ, въ особенности у дѣтей, струпами.

Въ киржики сбрасываютъ съ борта тюки и багажъ, садятся пассажиры, а съ ними и я, ибо трехчасовая остановка здѣсь достаточна для осмотра Ленкорани вдоль и поперегъ. Здѣсь кстати упомянуть, что если бурунъ или свѣжій вѣтеръ мѣшаетъ высадѣ на берегъ Ленкорани, то пароходъ останавливается за островомъ *Sara*, гдѣ и свозитъ почту и пассажировъ, грузъ-же сдается на обратномъ пути; но теперь воды спокойны.

„А-а-али!“ періодично раздавались гнусливыя выкрики гребцовъ на переполненной нашей лодкѣ, врѣзавшейся въ песокъ, не доѣзжая 10 сажень до берега, на которомъ пестрѣла кучка изъ персовъ и армянъ; двѣ дѣвушки-молованки, два таможенныхъ, полицейскій и два жандарма стояли тутъ-же, а между ними выдавался атлетъ—армянскій священникъ, и благообразный старикъ, горный еврей въ персидскомъ востюмѣ; лѣвѣе, въ 40 шагахъ отсюда барыня съ дѣтми, сидя подъ тѣнью своего жилья, задумчиво смотритъ на бритыя головы и изможденные тѣла правовѣрныхъ, открыто купавшихся на песчаномъ, вѣчно-пѣнящемся берегу, куда насъ, пассажировъ, стаскиваютъ теперь гребцы на своихъ спинахъ.

— Дай! дергаетъ одинъ изъ нихъ меня за рукавъ; даю 20 к.—не беретъ, настойчиво требуя 2 абаза; я обратился къ атлету-священнику за совѣтомъ, сколько слѣдуетъ заплатить за 200-саженный проѣздъ.

— Вы одни, безъ вещей, такъ заплатите 20 к., это обыкновенная пассажирская плата, а мѣстные жители дадутъ за проѣздъ на пароходъ и обратно не болѣе 5 к.

Ленкорань съ своими короткими улицами, покрытыми толстымъ слоемъ раскаленнаго песку, съ своими маленькими домами изъ мѣстнаго дуба, рѣдко кирпичными, съ покатыми камышевыми или плоскими глиняными крышами, выглядываетъ деревушкой. Кругомъ ветхость, бѣдность и пустыня; въ городѣ не видно ни души,—ну точно забытое кладбище! Ни собакъ, ни птицъ, и только кохинхинка на высокихъ ногахъ, съ цыплятами, меланхолически кудахтаетъ, да подъ навѣсомъ одного домика во дворѣ

три перса задають кейфъ, т. е. съ обезсмысленнымъ взоромъ безмятежно курятъ кальянъ.

При единственной въ городѣ ветхой церкви, покачнувшейся на бокъ, рѣденыи садикъ, въ которомъ, вѣроятно, никто не гуляетъ.

Коренные обыватели города—персы, или, какъ ихъ здѣсь называютъ, татары; торговля сосредоточена въ рукахъ армянъ; служащій людъ составляетъ остальное городское население; въ окрестностяхъ города живетъ много русскихъ сектантовъ. Они занимаются хлѣбопашествомъ, приготовленіемъ лѣса для бочекъ, отправляемаго въ Баку и Астрахань, и рубкою дровъ для вывоза въ безлѣсный Красноводскъ и Баку.

Окрестности Ленкорани сплошь покрыты дремучими лѣсами изъ дуба, ольхи, тополя и проч.

Въ садахъ растутъ айва, величиною съ маленькую тыкву, вишня, черешня, алуча, яблоки, дыни и разная зелень...

Однакожь, я запоздалъ: съ парохода слышенъ сигналъ за сигналомъ.

— Сколько? спросилъ я гребца, доставившаго меня туда.

— Одна ихаль, — одна рупь.

— Не давайте ему болѣе 20 коп., посоветовалъ мнѣ таможенный чиновникъ, — проѣзжихъ грабятъ, а работать лѣнны.

Вотъ-вотъ пароходъ двинется дальше въ путь, а персъ съ корзинкою фруктовъ вскарабкался на бортъ, предлагая буфетчику упустить ихъ дешево.

— Алуча и вишни по 2 к. за фунтъ, — живо! а то—конецъ базару, швырну все за бортъ!

Персъ колеблется, труситъ и даетъ ему фунтъ даромъ, а остальное по 2 к. за фунтъ, вмѣсто запрошенныхъ имъ 5 коп.

Въ 5 часовъ пополудни тронулись дальше, къ г. Астарѣ, отстоящей отсюда на 20 миль.

Пассажировъ осталось мало; въ первомъ классѣ — докторъ N. съ острова Ашуръ-аде; во второмъ—агентъ общества „Кавказъ и Меркурій“ и таможенный съ нѣжно-ласкающей къ нему женою; а на палубѣ на корточкахъ сидятъ 3 перса и 1 персіянка да 2 солдата заунывные пѣсни поютъ.

Вообще въ это время года проѣзжихъ въ Персію или оттуда

очень мало, и только во время нижегородской ярмарки палуба нѣсколько пестритъ персидскими костюмами, такъ-что изъ Баку въ персидскимъ портамъ и назадъ сюда пароходы несли-бы чистый убытокъ, если-бы только не получали помилной платы.

Мы ѣдемъ въ виду болотистыхъ береговъ, прелестно зеленѣющихъ камышами и разнотѣнною растительностью, изъ-за которой мѣстами выглядываютъ маленькія деревушки, а дальше въ глубь уступами волнуются лѣсистыя горы; эта цвѣтущая богатою растительностью полоса тянется отсюда вплоть по всему персидскому прибрежью Каспійскаго моря, отравляя жизнь ея населенія ядомъ вѣчно свирѣпствующихъ здѣсь лихорадокъ.

Сумерки. Слабый блескъ луны освѣщаетъ на песчаной площадкѣ нѣсколько деревянныхъ домиковъ съ одинокою вышкою агента общества „Кавказъ и Меркурій“,—это русская Астара, отдѣленная отъ персидской, выглядывающей изъ-за зелени садовъ, рѣченкой того-же имени, т. е. Астарю, служащею границею между Россіей и Персіей. Отсюда несетъ сыростью и болотною травю, а тамъ, въ горахъ—мгла. Темныя тучи заволакиваютъ небо,—море волнуется.

Въ 8 час. вечера пароходъ остановился въ 800 саж. отъ мелководнаго берега, о который съ шумомъ и пѣною разбиваются волны мелкаго буруна. Приближающіеся къ намъ кирпичины то захлебываются водою, то всплываютъ на верхушку волны; нельзя не опасаться за гребцовъ,—несчастія здѣсь нерѣдки.

Буруны, разгуливая по прибрежью Каспійскаго моря, въ особенности часто зимою, свирѣпствуютъ съ большою силою у мелководныхъ береговъ, о которые разбиваются высокія волны, образуемая сильнымъ вѣтромъ съ моря; стремительно отскакивая назадъ, онѣ угрожаютъ разможить или потопить маленькія суда; въ такую погоду ни одна персидская лодка не отваживается выйти къ пароходу, а послѣдній никогда не высылаетъ ихъ къ берегу,—сообщеніе съ открытыми портами прекращается и пароходы, не останавливаясь, идутъ дальше; пассажиры и почта садятся въ ближайшихъ удобныхъ мѣстахъ, а грузъ—на обратномъ пути, и то только въ томъ случаѣ, если море покойно, а иначе ему долго придется путешествовать назадъ и впередъ, за что, впрочемъ, не взимается вторичнаго фрахта.

Даже отважные, опытные рыболовы и моряки не рѣшаются въ свѣжій вѣтеръ выѣзжать въ лодкахъ на сотню сажень отъ берега, ибо если волна ударитъ ей въ бокъ — вѣрная гибель; въ концѣ 50-тыхъ годовъ командиръ баржи Кюмаровъ съ тремя матросами рискнулъ выѣхать у Ленкорани въ бурю — и всѣ погибли.

Если свѣжій вѣтеръ прерываетъ сообщеніе парохода съ Астарою, въ такомъ случаѣ онъ останавливается за островомъ Сара, куда свозятся почта и пассажиры, а грузъ, какъ уже упомянуто мною, сдается на обратномъ пути.

Теперь — же легкій бурю, и такъ — какъ мы простоямъ здѣсь до часу ночи, то я съ докторомъ съ удовольствіемъ приняли предложеніе агента М. съѣздить на берегъ въ компанейскомъ киржимѣ, который доставитъ насъ и обратно на пароходъ: съ нами усѣлся и таможенный чиновникъ съ объявшею его за шею женою, что напоминаетъ нѣсколько Венецію или Гвадалквивиръ, — только оборвыши-гребцы разрушаютъ иллюзію.

Черезъ 40 минутъ ѣзды киржимъ остановился въ 7 сажняхъ отъ берега. Два перса, по колѣно въ водѣ, подхвативъ меня подмышки и за ноги, вынесли туда.

Совсѣмъ стемнѣло. Ноги вязнуть въ глубокомъ пескѣ съ ракушками и не малымъ количествомъ блохъ; въ воздухѣ теплая, душная сырость; вблизи виднѣется фигура таможенного солдата съ ружьемъ, а поодаль — группа персовъ, привезшихъ сюда товары изъ Персіи сухимъ путемъ черезъ Ардебиль; они готовятся спать на разостланныхъ кошмахъ (войлокахъ) подъ открытымъ небомъ; ихъ въчюныя лошади тутъ-же жуютъ ячмень, а въ сторонкѣ раскинутъ шалашъ сторожа-перса, караулящаго нѣсколько полосъ русскаго желѣза, назначеннаго для отправки въ Персію.

— Наше желѣзо идетъ туда, говоритъ М., — въ большомъ количествѣ и имѣетъ вѣрній сбытъ, но съ англійскою мануфактурой конкурировать намъ невозможно; напр., англійскіе ситцы, большею частью контрабандные, такъ дешевы здѣсь, что если-бы ихъ отправить отсюда въ Москву, то они и тамъ будутъ дешевле нашихъ.

Русская Астара — это собственно таможня, очищающая пошлиною персидскіе товары, идущіе въ Россію преимущественно изъ Тавриза и окрестностей озера Урмія черезъ Ардебиль, служащій

складочнымъ пунктомъ для нихъ; отсюда отправляются въ Астрахань и Нижній: сухіе фрукты, чернильный орѣшекъ, немного марены, хлопокъ, шелкъ, мѣха, большею частью куньи, и пр. Съ персидскихъ товаровъ, идущихъ изъ прочихъ портовъ, взимается пошлина въ Баку или Астрахани, смотря по тому, куда они направляются.

Русскихъ товаровъ идетъ въ Персію черезъ Астару и Ардебиль вообще незначительное количество; но лѣтомъ 1874 года отправлено въ Тавризмъ много дешевыхъ ситцевъ новой краски, вытѣснившей собой, какъ мы уже говорили, марену.

Городъ Тавризмъ составляетъ центръ торговыхъ оборотовъ Персіи съ Европою и служитъ складочнымъ мѣстомъ какъ туземнымъ произведеніямъ, для отправки ихъ за-границу, такъ и за-граничнымъ товарамъ, откуда они расходятся по всей Персіи и далѣе на востокъ, въ Херать и Бухару. Цифра торговыхъ оборотовъ Тавриза колеблется около 25 мил. руб. въ годъ; болѣе трехъ четвертей этой суммы составляетъ привозъ, въ которомъ первое мѣсто занимаютъ англійскія бумажныя матеріи, на 10 и болѣе мил. руб., — марсельскій-же сахаръ не достигаетъ и 700 тысячъ руб.

Эти товары доставляются туда черезъ Эрзерумъ и транзитнымъ путемъ черезъ Поты, Тифлисъ и Джульфу; транзитъ-же въ Тавризмъ черезъ Баку на Астару очень незначителенъ, ибо сопряженъ съ большими неудобствами, какъ для товароотправителей, такъ и получателей ихъ, персидскихъ купцовъ.

По существующему правилу, товары, отправляемые въ персидскіе порты, не иначе сгружаются по назначенію, какъ по свидѣтельствуваніи ихъ русскими консулами, одинъ изъ которыхъ, проживая въ Рештѣ, держитъ для того агента въ Энзели; другой, астрабадскій консулъ, имѣетъ агента на гязскомъ берегу. Такимъ образомъ, товаръ, назначенный, положимъ, въ Астару, не прямо получается тамъ, а идетъ въ слѣдующій портъ Энзели за свидѣтельствомъ, и сдается по назначенію только на обратномъ пути парохода; товары-же, слѣдующе въ Мешедесеръ, свидѣтствуются въ послѣдующемъ портѣ, на гязскомъ берегу, что сопряжено съ большими стѣсненіями, расходами и потерей времени. А между тѣмъ персидскимъ купцамъ отказано въ ихъ ходатайствѣ объ учрежденіи повѣреннаго консульства въ Астарѣ,

что дало-бы возможность имъ везти товары отсюда въ Персію болѣе удобнымъ имъ сухимъ путемъ.

По мнѣнію М. и прочихъ компетентныхъ лицъ, общество „Кавказъ и Меркурій“, ради своего личнаго интереса, охотно и даже безвозмездно приняло-бы на себя обязанность нашихъ консульствъ свидѣтельствовать эти товары, что, безъ сомнѣнія, послужило-бы къ расширенію нашей торговли съ Персією.

Если эта стѣснительная и разорительная формальность мотивируется какими-нибудь высшими соображеніями, то мы укажемъ на тотъ неопровержимый фактъ, что несмотря на всѣ эти неудобства, почти всѣ прикаспійскіе порты наполнены транзитными произведеніями, а наши едва-едва сбываются тамъ.

Бесѣдуя такимъ образомъ, мы тихо подвигались по глубокому песку къ деревяннымъ сараямъ, служащимъ складомъ товаровъ; тутъ-же на площадкѣ валялись ящики вишниша, обтянутые въ бѣлую кожу. Далѣе шла широкая улица съ десяткомъ ветхихъ домовъ, крытыхъ камышемъ, въ двѣ или три комнаты каждый; это жилье таможенныхъ чиновниковъ; солдатская слободка расположена въ сторонѣ; налѣво чернѣется вышка агента,—вотъ и вся Астара.

Пока нашъ любезный спутникъ распорядился по дѣламъ службы, я съ докторомъ подошли къ маленькому домику въ двѣ комнаты, съ промежуточными сѣнями, въ открытыхъ дверяхъ и окнахъ котораго виднѣлись дѣти въ однѣхъ рубашенкахъ и заботливая мать.

— Вотъ скоро примутся за постройку красивыхъ каменныхъ домовъ для насъ и таможи, говорила она намъ,—а теперь мы стѣснены: у одного только управляющаго три комнаты, а у прочихъ — по двѣ. Жалованье служащимъ здѣсь ничтожное; управляющій таможеню, изъ армянъ, получаетъ 800 р. въ годъ; а казначей, у котораго хранятся иногда большія суммы, всего 40 р. въ мѣсяць. Пожалуй, лѣтъ черезъ десять всѣ разбѣгутся отсюда: теперь найдется много болѣе прибыльныхъ занятій, а здѣсь кромя скуки и лихорадокъ ничего нѣтъ. Мои дѣти всѣ больны; одинъ изъ нихъ вотъ уже восьмой годъ не можетъ избавиться отъ лихорадки, совсѣмъ изнемогъ; нашъ фельдшеръ съ своею жалкою аптечкою безсиленъ оказывать помощь противъ этого мѣстнаго зла.

— А откуда получаете вы жизненные припасы? спросил докторь.

— Съ персидскаго берега, съ которыми мы сообщаемся лодками; тамъ базаръ—баранина, зелень... Воду беремъ изъ колодезь, потому что рѣчная лѣтомъ, когда Астара почти пересыхаетъ, не хороша. Молоко покупаемъ у нижнихъ чиновъ, они держать коровъ; птица своя. Фрукты у насъ не хороши: виноградъ толстокожій; почва богатая, да персы не умѣютъ пользоваться ею; рисовыхъ полей много, урожай самъ-30 и болѣе, не мало шелку; въ горахъ собираютъ съ орѣшника *напмызъ*; иногда съ одного ствола получается до 30 пудовъ этого нароста. Одинъ черногорецъ ведетъ обширную торговлю этимъ прибыльнымъ товаромъ, отправляя его въ Марсель, гдѣ приготавливаютъ изъ него тотъ самый фаниръ, который употребляется въ столярномъ дѣлѣ у насъ.

Подошедшій къ намъ агентъ М. повелъ насъ къ себѣ на вышку, въ нижнемъ жильѣ которой помѣщается его семья, а на верхушкѣ, въ мезонинѣ—контора. Интересную бесѣду мою съ И. передамъ въ краткомъ извлеченіи.

Первый богачъ здѣсь—гусарскій полковникъ М. Талышхановъ, потомокъ Мухаммеда, внука владѣтельнаго хана ленкоранскаго, обладающій полосой земли отъ Ленкорани до Астары и десятью дѣвами—своими дочерьми, которымъ, по корану, не дозволяетъ открывать лицъ передъ мужчиной и не даетъ буквально никакого образованія, а между тѣмъ считаетъ себя *цивилизующимъ рычагомъ Азіи*.

— Если я, говоритъ онъ,—разливаю шампанское при первомъ удобномъ случаѣ, то дѣлаю это, подчиняясь современнымъ требованіямъ образованнаго общества.

— Но первое современное требованіе—это образованіе! возражаютъ ему;—ваши юноши учатся въ бакинской гимназіи; выйдутъ отсюда, имъ нужны будутъ жены одного съ ними уровня по образованію, а у васъ ихъ нѣтъ.

Гусарскій полковникъ слушаетъ и еще крѣпче закутываетъ въ покрывало своихъ дочерей. Хозяйство его ведется по-старинѣ; напр., сдаетъ онъ молоканину участокъ береговой земли за 50 р., а берега здѣсь, большею частью, какъ перешеекъ: за моремъ слѣдуетъ песчаная полоса земли, потомъ—болота, а дальше—

горы; весеннія воды переполняютъ болота; рыбопромышленникъ соединить ихъ канавками съ моремъ и судаки повалить сюда метать икру; до 10,000 штукъ наловить онъ ихъ за 50 рублей!.

Въ уѣздѣ проживаетъ много молоканъ и суботниковъ; они трудолюбивы, зажиточно живутъ, но невѣжественны; медицинская помощь вполнѣ отсутствуетъ, а потому смертность между ними большая.

Что-же касается персидскаго населенія, то оно находится буквально въ дикомъ состоянїи; несмотря на лихорадки, спитъ на голой землѣ, питается исключительно плодами и рисомъ. О нравственности ихъ нечего и говорить: невѣжество и климатъ, разжигающаго страсти, доводятъ ихъ до крайнихъ излишествъ.

М. очень дѣльный господинъ и притомъ бывалый; служба у г. Кокорева въ приснопамятномъ *закаспійскомъ товариществѣ*, онъ проживалъ въ г. Шахрудѣ въ то время, когда сюда прїѣхалъ Вамбери, возвращавшійся изъ своего путешествія по средней Азїи; Вамбери чувствовалъ себя изнеможеннымъ и былъ одѣтъ оборваннымъ въ персидскомъ костюмѣ.

— Приходитъ ко мнѣ, рассказывалъ М., — какой-то нищій и, заговоривъ сперва по-чешски, потомъ по-персидски (фарси), несказанно обрадовался, принявъ меня за англичанина. Въ живомъ разказѣ онъ передалъ мнѣ много интересныхъ сценъ изъ своего опаснаго путешествія, въ которомъ онъ *дрожалъ каждую минуту за свою жизнь*.

„Знаете, чѣмъ я писалъ? говорилъ онъ:—оловянною пуговкою на клочкахъ бумаги, въ то время, когда я справлялъ нужду“. А когда онъ высадился съ нѣсколькими богомольцами на Ашуръаде, и одинъ нашъ морякъ, случайно взглянувъ на него, проговорилъ: „какой бѣлый тюркменъ“, Вамбери ужасно струсилъ, полагая, что его узнали русскія власти и могутъ арестовать, а не то его спутники тюркмены, разоблачивъ обманъ, навѣрное убьютъ его въ степяхъ.

„Колокольный звонъ, говорилъ Вамбери, — довелъ меня до слезъ: я хотѣлъ открыться и возвратиться назадъ, но превозмогъ себя“.

Прогостивъ у М. три дня, этотъ отважный путешественникъ отправился изъ Шахруда въ Тегеранъ и отсюда возвратился въ Европу.



Опъ-же, М., разыскалъ и похоронилъ тѣло торговавшего въ Шахрудѣ англійскаго купца Лонгфильда, ограбленнаго и убитаго вмѣстѣ съ его переводчикомъ-армяниномъ на пути между Астрабадомъ и Шахрудомъ, не вдали караванъ-сарая Тадженъ, персидскими всадниками, возвращавшимися съ похода на тюрменъ въ 1865 г. Тѣло его нашли въ щеляхъ мрачныхъ скалъ; на подозрѣваемыхъ въ участіи убійства, по настоянію англійскаго правительства, была наложена контрибуція, а нѣкоторые поквитались головами.

Бесѣдуя объ Афганистанѣ, М. передалъ намъ характеристическій разсказъ знакомаго ему гератца о причинѣ гибельнаго исхода для англійскихъ войскъ вмѣшательства въ 1839 — 1840 гг. остъ-индскаго правительства въ распри между ханомъ Шеджа и знаменитымъ Достъ-Магометомъ за обладаніе афганскимъ престоломъ. Восточная фантазія уже составила легенду объ этомъ печальномъ событіи, но, можетъ быть, въ ней есть доля правды; вотъ почему мы помѣщаемъ ее здѣсь.

„Главнoкомандующій англійскимъ экспедиціоннымъ корпусомъ въ Кабулѣ Мак - Натенъ, однажды прогуливаясь по крышѣ дома, увидѣлъ необыкновенную красавицу, по справкамъ оказавшуюся женою муштегида (первое духовное лицо, пользующееся любовью и довѣріемъ народа), съ которымъ и поторопился познакомиться; тотъ—въ восторгѣ, не столько отъ этой высокой чести, сколько отъ англійскаго золота, которымъ щедро снабжалъ его „посоль и министр“ за доставляемыхъ имъ ему женщинъ, для невиннаго удовольствія быть только въ ихъ обществѣ, ибо онъ, по разсказамъ этихъ женщинъ муштегиду, „ихъ угощаетъ разными сластями, но не прикасается къ нимъ“. „Въ такомъ случаѣ я пошлю ему свою жену, и онъ будетъ еще щедрѣе“, подумалъ муштегидъ и сдѣлалъ такъ, но вышло иначе: Мак - Натенъ, только и ждавшій того, вступилъ съ красавицею въ связь, а та, возмущившись поступкомъ мужа, отказалась отъ него: „Безчестный, ты продалъ меня англичанину; оставляю тебя и буду его женою“. Муштегидъ возмутилъ народъ, и вотъ ближайшая причина ужаснѣйшей катастрофы, постигнувшей сперва Мак - Натена, убитаго изъ пистолета напавалъ сыномъ Достъ-Магомета, вѣроломнымъ Экберъ-ханомъ, а потомъ и 16-ти-тысячную его армію, погибнувшую, за исключеніемъ одного только человѣка, при позорномъ отступленіи ея изъ Афганистана къ англійскимъ владѣніямъ...

Но время возвращаться на пароходъ.

Опять подмышки перенесли насъ въ неуклюжій киржимъ, и длинныя весла, оканчивающіяся чечевицеобразною лопатою, неравномѣрно заработали, отчего лодка сильно качается и бросается съ волны на волну.

— Ввѣрять жизнь такимъ морякамъ, какъ персы, рискованно, замѣтилъ докторъ, между тѣмъ какъ захывшіеся гребцы выкрикивали періодично, черезъ каждыя 15 минутъ, свой обычный припѣвъ: „Ал-л-ли!.. Ал-л-ла!.. Муххамедъ-Алл-ли!..“

— Нечистоплотный голосъ! жолчно проговорилъ М., когда я ихъ назвалъ гондольерами.

— Утопите! Бери вправо! кричалъ докторъ, когда киржимъ, сильно хлебнувъ воды, стукнулся о пароходъ. Темнота мѣшаетъ спустить трапъ къ намъ и мы карабкаемся на бортъ съ помощью персидскихъ рукъ и плечъ, но неудобно: киржимъ сильно придавилъ мою ногу къ пароходу.

— А здѣсь одинъ убится: тюкъ упалъ на него, утѣшаетъ меня помощникъ капитана, приглашая доктора осмотрѣть несчастнаго; ушибъ оказался не такъ опасенъ, какъ общее состояніе изможденнаго перса съ того берега.

— Жалкій народъ, говорилъ М., прикладывая компрессъ къ опухшему мѣсту.—Заморенный, ограбленный персъ радъ-бы нашему покровительству; вѣдь шахъ отдаетъ ихъ губернаторамъ провинцій какъ-бы на откупъ...

На всемъ пароходѣ остались только я и докторъ, пригласившій меня остановиться у него на Ашуръ-аде; прочіе слѣзли. Въ каютѣ душно и раздается храпъ буфетчика, растянувшагося на моемъ мѣстѣ; отерывъ илюминать, бужу его. „Полно шутить!“ бурчить онъ спросонья и ругается.

Въ два часа ночи двинулись къ Энзели, отстоящей отъ Астры на 64 мили или 12 часовъ ходу.

Прощай, Россія!

П. Огородниковъ.

## НЕБЛАГОДАРНЫЕ.

Въ лонѣ матери нашей родимой земли  
Много тайнъ сокровенныхъ таится,  
Но мы, дѣти ея, ихъ узнать не могли,—  
Намъ старушка довѣрить боится.

А какія она подъ своею корою  
Разнородныя чувства скрываетъ:  
Жарко любить она и томится, порой  
Отъ глубокой тоски изнываетъ...

Охъ, куда-какъ бываетъ родной тяжело,  
Стонъ подчасъ у ней рвется изъ груди,  
Что ликують на свѣтѣ неправда и зло,  
Что другъ съ другомъ враждуютъ все люди!

Поглядите, какъ сохнетъ иной разъ она,—  
Это горе ее истощаетъ...  
Но любви, доброты безконечной полна,  
Все она человѣку прощаетъ.

Отдохнувши зимой отъ тревогъ и заботъ,  
Воскресаетъ она для насъ снова  
И съ цвѣтущей весной-чародѣйкою шлетъ  
Намъ и ласки свои, и обновы...

Только мы не умѣемъ добра понимать,  
За любовь ей не платимъ любовью,—  
И, случается, нашу кормилицу-мать  
Обагрѣемъ мы братнею кровью!...

Петръ Выковъ.

# КРАСАВЕЦЪ.

РОМАНЪ

ЖЮЛЯ КЛАРЕТИ.

(Окончаніе.)

XX.

Луиза Фаржъ.

Всякій на мѣстѣ Агостино бросилъ-бы предпринятое имъ роковое дѣло. Онъ во второй разъ покусился на жизнь Солиньяка и снова потерпѣлъ пораженіе, которое могло привести его къ вѣрной гибели. Онъ, впрочемъ, надѣялся, что красавецъ полковникъ не выдастъ его, предоставляя себѣ дѣло мести, а графиня Фаржъ конечно, не могла подозрѣвать въ отравѣ маркиза Олону; къ тому-же побѣгъ Саверіо давалъ Чіампи право сказать, что, по всей вѣроятности, *баварка* не была отравлена, а если въ ней дѣйствительно находился ядъ, то въ этомъ виноватъ солдатъ-дезертиръ, нѣкогда служившій подъ начальствомъ Солиньяка, котораго онъ по какой-нибудь причинѣ ненавидѣлъ. Приготовивъ такое объясненіе на случай, если Солиньякъ разскажалъ-бы всю правду Луизѣ; Агостино успокоился и, съ помощью маркиза Новаля, надѣялся достигнуть своей завѣтной цѣли.

Однакожь относительно графини Фаржъ Чіампи ошибался. Она угадывала, чья рука подсыпала ядъ въ *баварку*. Солиньякъ рѣшительно отвергъ виновность Андреины, — ясно тогда, что отравителемъ могъ быть только ея братъ. Но графиня не передавала Солиньяку своихъ подозрѣній или, лучше сказать, не выражала своего убѣжденія въ виновности Агостино изъ боязни, упоминая имя

Андреины, оскорбить красавца полковника, въ которому со времени рокового событія въ Фраскати питала еще болѣе нѣжныя чувства; онъ выхватилъ изъ ея рукъ смертоносный напитокъ съ такой пламенной любовью, что она считала себя счастливой, вспоминая объ этой минутѣ. Все-же имени Агостино она не могла избѣгнуть въ разговорѣ съ Солиньякомъ, и на другой-же день послѣ происшествія въ Фраскати рассказала ему о непонятной дружбѣ ея дѣда съ Чіампи. Не объясняя намѣреній стараго маркиза, она спросила совѣта у Солиньяка, какъ удалить Агостино изъ ея дома.

— Очень просто, отвѣчалъ, поплѣднѣвъ, Солиньякъ: — стоять только поставить насъ обоихъ лицомъ къ лицу. У меня есть другъ, братъ по оружію, лучшій и благороднѣйшій человекъ на свѣтѣ; онъ любилъ всею душою свою жену, бѣдную, увлекающуюся, романтическую женщину, искавшую счастья тамъ, гдѣ его не было, и съ презрѣніемъ отвернувшуюся отъ искренней, возвышенной любви мужа. У нея было всеми уважаемое имя, преданный мужъ и мирный семейный очагъ. Ее соблазнилъ одинъ изъ тѣхъ гнусныхъ измѣнниковъ, которые дружески пожимаютъ руку мужу и увозятъ жену. Теперь бѣдная женщина горько оплакиваетъ свое потерянное счастье, а мой благородный другъ живетъ въ уединенномъ убѣжищѣ, перенося адскія муки отъ вѣроломства злодѣя.

— Что вы хотите этимъ сказать? спросила Луиза; — имѣеть-ли что общаго маркизъ Олона съ вашимъ другомъ?

— Я говорю объ измѣнѣ, о вѣроломствѣ, — неужели надо называть злодѣя по имени? Это онъ.

— Отчего-же вы мнѣ никогда не говорили про вашего товарища?

— Я полагалъ, что его тайна принадлежала ему одному; но теперь я считаю себя обязаннымъ объяснить вамъ, почему я ненавижу этого человека и жажду ему отомстить.

— Развѣ мужъ не можетъ самъ вступить за свою честь?

— Онъ не можетъ сдѣлать ни шага въ Парижѣ, не рискуя своей жизнью.

— Что-же это за человекъ?

— Онъ неизмѣримо выше меня и принесъ въ жертву свою жизнь благороднѣйшей изъ химеръ: свободѣ.

— Принесъ въ жертву жизнь?

— Да, онъ былъ-бы уже давно разстрѣлянъ, если-бы я не помогъ его бѣгству изъ тампильской тюрьмы.

— Это капитанъ Ривьеръ! воскликнула Луиза, которая, какъ всѣ въ Парижѣ, знала объ его бѣгствѣ. — Неужели вы, полковникъ, устроили это дѣло?

— Я рисковалъ попасть подъ военный судъ для спасенія товарища, который съ радостью отдалъ-бы за меня жизнь. Но какіе судьи признали-бы меня виновнымъ? Да, впрочемъ, я объ этомъ и не думалъ. Спаси Ривьера я считалъ своимъ долгомъ.

— Капитанъ Ривьеръ, кажется, принималъ участіе въ заговорѣ филадельфовъ, о которыхъ говорятъ, хотя и шопотомъ?

— Я не знаю, какому дѣлу служить Ривьеръ, къ какой цѣли онъ стремится, и не хочу этого знать. Я его люблю, уважаю, сожалею и готовъ ему всегда служить.

— И этотъ бѣдный человекъ, вы говорите, оплакиваетъ свое погибшее счастье?

— Да, онъ съ радостью пошелъ-бы на вѣрную смерть, чтобы избѣгнуть мучительнаго воспоминанія о горячо-любимой женщинѣ.

— А она гдѣ?

— У маркизы Ригоди.

— Вы живете тамъ?

— Да.

— Что-же она дѣлаетъ?

— Думаетъ и плачетъ.

— Она страдаетъ?

— Да, она искупаетъ свою вину.

— Какъ посмотришь, сказала маленькая графиня съ грустной улыбкой, составлявшей поразительный контрастъ съ ея обычнымъ, дѣтски-веселымъ выраженіемъ лица, — прямая выгода оставаться честной женщиной не только по долгу, то даже и по эгоизму.

Она взглянула прямо въ глаза Солиньяку и прибавила рѣшительнымъ тономъ:

— Вы освободили вашего товарища изъ тюрьмы, а что вы скажете, если я ему дамъ свободу и жизнь?

— Я скажу, что всегда считалъ васъ за добрую фею, но, по несчастью, на приговоры военныхъ судовъ безсиленъ волшебный жезлъ.

— Капитанъ Ривьеръ приговоренъ судомъ?

— Нѣтъ еще; но заочный приговоръ будетъ постановленъ, какъ только убѣдятся въ невозможности его отыскать.

— Въ чемъ его обвиняютъ?

— Въ государственной измѣнѣ, въ заговорѣ противъ императора и имперіи.

— О, несчастный, несчастный! произнесла Луиза грустно, качая головою; но черезъ нѣсколько минутъ размышленія продолжала:—Вы знаете, я, какъ всѣ женщины, безразсудна и мнѣ-бы хотѣлось, несмотря на всѣ преграды, соединить эти два любящія, страждущія сердца.

— Ривьера и Терезу?

— Ее зовутъ Терезой? Да, Ривьера и Терезу, хотя-бы для того только, чтобы доказать маркизу Олона...

— О! перебилъ ее Солиньякъ, — о немъ нечего говорить; это человѣкъ мертвый; все равно, кто его убьетъ, я или Ривьеръ.

— Вы такъ хладнокровно говорите, что невольно становится страшно.

— Забудемъ о немъ, а поговоримъ лучше о Ривьерѣ. Вашъ планъ прекрасный, вполне достойный вашей благородной души, но какъ его исполнить?

— Завтра императоръ пріѣзжаетъ въ Фонтенебло; вы знаете, что мои извѣстія всегда вѣрны. Опъ васъ очень любитъ и считаетъ однимъ изъ лучшихъ офицеровъ своей арміи. Отчего-бы вамъ не выпросить у него помилованіе вашему товарищу?

— Мнѣ? Это невозможно. Императоръ непреклоненъ, когда дѣло касается дисциплины; и какъ могу я, солдатъ, просить о нарушеніи военнаго устава, жестокаго, но необходимаго! Къ тому-же, когда Ривьеръ былъ отставленъ отъ службы, то всѣ мои усилія не могли поколебать военнаго министра. Нѣтъ, все, что я могъ, я сдѣлалъ для Ривьера — я его освободилъ изъ тюрьмы, рискуя своей жизнію.

— Вы правы, отвѣчала Луиза:—на ваше ходатайство у императора нечего надѣяться, но, прибавила она съ улыбкой, — чего вы не можете добиться, быть можетъ, другой...

— Другой? Слава-богу, никто не знаетъ его тайны.

— А я? Императоръ ко мнѣ очень благоволитъ и дозволяетъ многое, хотя я рѣдко этимъ пользуюсь. Быть можетъ, онъ не откажетъ мнѣ... Я буду, къ тому-же, краснорѣчива, убѣдительна. Защищая Ривьера, я буду въ сущности защищать...

— Кого? спросилъ Солиньякъ, видя, что Луиза запнулась.

Она не отвѣчала, а неожиданно спросила:

— Что вы думаете, полковникъ, о моемъ планѣ?

— Я думаю, что вы не только прелестная, но благороднѣйшая...

— Полноте, полковникъ, вы отбиваете хлѣбъ у Сен-Клера.

— Я думаю, что если-бъ уже давно я не былъ преданъ вамъ всею душою, то одной вашей мысли о спасеніи моего товарища было-бы достаточно, чтобъ сдѣлать меня вашимъ рабомъ на всю жизнь.

— Вотъ это лучше пустого комплимента. Такъ вы мнѣ совѣтуете поговорить съ императоромъ?

— Да, но будьте увѣрены, что если вы и добьетесь помилованія Ривьера, онъ не приметъ свободы изъ руки императора.

— А какое намъ дѣло, приметъ онъ или нѣтъ дарованную ему императоромъ свободу? Несмотря на все свое спартанство, не станетъ-же онъ требовать, чтобъ его разстрѣляли! Къ тому-же теперь онъ жаждетъ смерти, какъ несчастный, обманутый мужъ, но соединившись съ любимой...

— Онъ ее простилъ, но никогда болѣе ее не увидитъ. Вашъ планъ примиренія ихъ неосуществимъ.

— Такъ въ вашемъ Ривьерѣ нѣтъ ничего человѣчнаго? Онъ никого и ничего не любитъ?

— Онъ любитъ свободу и Францію.

— Такъ пускай онъ живетъ для Франціи и для мести маркизу Олона. Вотъ что заставить его принять милость. Да, я сдѣлаю все, чтобъ плѣнить императора, и добьюсь помилованія Ривьера. Получивъ-же свободу, онъ можетъ разсчитаться съ маркизомъ. Я не имѣю ничего противъ его поединка съ этимъ низкимъ человекомъ, но не хочу, чтобъ вы рисковали своей славной жизнью, спасеніе которой надо было вымолить у кого-то болѣе всемогущаго, чѣмъ Наполеонъ.

— Вы не хотите, чтобъ я рисковалъ жизнью? повторилъ Солиньякъ.

— Да, не хочу.

— Отчего?

Онъ ждалъ отвѣта съ замираніемъ сердца.

— Отчего? отвѣчала Луиза дрожащимъ голосомъ и тщетно стараясь сохранить равнодушный тонъ;— да оттого, что вы только что оправились... дуэль... теперь... докторъ Дюпюитрень...



Голосъ ея оборвался и она впиалась въ голубые глаза Солиньяка своими черными глазами. Ея маленькія, бѣлыя руки инстинктивно сжимали могучія руки героя.

— Нѣтъ, сказалъ онъ тихимъ, ласкающимъ, но мужественнымъ голосомъ;—это не потому. Нѣтъ, вы не изъ состраданія, не изъ жалости хотите, чтобъ я жилъ, Луиза, а потому, что моя жизнь всецѣло принадлежитъ вамъ. Вы знаете, что я васъ люблю, и хотите, чтобъ я жилъ для васъ.

Луиза не промолвила ни слова; обычная улыбка исчезла съ ея лица, она страшно поблѣднѣла и тихо, какъ-бы надломленная бурей пламенной страсти, опустила голову на плечо Солиньяка. Онъ такъ-же молча прижалъ ее къ сердцу и прильнулъ губами къ ея опущеннымъ вѣкамъ. Ему казалось, что въ эту сладостную минуту едва слышный, замирающій голосъ лепеталъ:

— Я тебя люблю!

Но его бѣдное, физически больное сердце не вынесло этого тяжелаго испытанія. Онъ вдругъ вскочилъ и съ глухимъ стономъ схватился за спинку кресла, чтобъ не упасть.

— Боже мой! Что съ вами? воскликнула Луиза.

— Ничего, отвѣчалъ онъ съ улыбкой, хотя очень блѣдный;— можно страдать и отъ счастья. Это сердце... Вы правы, Луиза, моя жизнь на волосѣхъ и я долженъ ее беречь. Но какъ я счастливъ, какъ я счастливъ!

И онъ пламенно сжималъ руки графини.

— Позвольте мнѣ уѣхать, сказалъ онъ черезъ минуту:— мнѣ надо отдохнуть, и все пройдетъ. О! сладостное страданіе, упоительное замираніе сердца!

Она хотѣла удержать его, но Солиньякъ желалъ скрыть отъ нея свои физическія страданія.

— А если вы упадете на дорогѣ? спросила его Луиза.

— Нѣтъ, не бойтесь, отъ счастья не умираютъ.

Онъ еще разъ покрылъ поцѣлуями обѣ руки графини и, уходя, промолвилъ:

— Не забудьте Ривьера.

— Клянусь! отвѣчала Луиза, и въ этомъ простомъ словѣ ясно звучала клятва вѣчной любви и преданности.

Солиньякъ едва не сошелъ съ ума отъ счастья. Кровь прилила къ его больному сердцу; увидавъ его, Кастаре воскликнулъ въ испугѣ:

— Что случилось? Несчастье?

— Нѣтъ, напротивъ.

— Счастье?

— Величайшее въ моей жизни.

Марціалъ далѣе не разспрашивалъ и только, крутя усы, подумалъ: „И Катису сказала, что меня любить“.

Раздѣвшись, Солиньякъ сѣлъ въ покойное кресло и предался сладкимъ мечтаніямъ, а Кастаре, выходя изъ комнаты, бормоталъ про-себя:

— А все-же эти женщины—дьявольское отродье. Такъ или иначе, а всегда онѣ губятъ мужчинъ. Гадкія женщины бѣсятъ насъ, а хорошія волнуютъ. Нечего сказать, хитрую штуку выкинула природа, создавъ женщину!

Графиня Фаржъ не ошиблась: Наполеонъ, дѣйствительно, прибылъ 26 октября въ Фонтенебло и поселился тамъ со всеѣмъ своимъ дворомъ. Она хотѣла тотчасъ отправиться туда и, не теряя ни минуты, просить у цезаря милосердія; но до нея дошли слухи, что Наполеонъ былъ исключительно занятъ политикой и удивлялъ своей холодностью даже Жозефину. Отчего послѣ счастливой, славной кампаніи онъ былъ мраченъ, безпокоенъ,—никто этого не зналъ.

— Во всякомъ случаѣ, сказала Луиза Солиньяку,—мнѣ легче будетъ поговорить съ императоромъ въ Тюльери, чѣмъ въ Фонтенебло. Надо подождать.

Однакожь, ей не пришлось ждать возвращенія императора въ Парижъ. Его прибытіе праздновалось непрерывно всеѣми высшими чинами имперіи и каждый считалъ за величайшую честь устроить великолѣпный пиръ для ваграмскаго побѣдителя. Между прочими приближенными къ императору, и герцогъ Невшательскій пригласилъ на охоту въ свой замокъ Грасбуа весь дворъ, въ томъ числѣ графиню Фаржъ и Солиньяка.

Послѣ охоты и роскошнаго обѣда былъ приготовленъ въ особой залѣ спектакль. Наполеонъ вышелъ изъ внутреннихъ покоевъ подъ руку съ Жозефиной, мрачный и недовольный, но, увидавъ издали своего красавца полковника, слегка улыбнулся.

— А! это вы, полковникъ? сказалъ онъ. — Неузвимый на Дунаѣ и Рейнѣ, вы хотѣли умереть на берегахъ Сены.

— Мнѣ горько было-бы пасть не на службѣ вашего величества и Франціи.

Императоръ улыбнулся: отвѣтъ Солиньяка ему понравился.

— Вы очень блѣдны, полковникъ.

— Я только-что поправился.

— Хотите, я вамъ пришлю Корвизара?

— Вы слишкомъ милостивы, ваше величество, но для меня лучшей докторъ—время.

— Хорошо; смотрите, берегитесь. Намъ еще съ вами много работы, и помните, что во всей арміи у меня нѣтъ офицера, который-бы я дорожилъ болѣе васъ.

Съ этими словами онъ прошелъ далѣе и занялъ мѣсто съ Жозефиной противъ импровизированной сцены, среди блестящаго кружка принцевъ, принцессъ и счастливыхъ воиновъ, вчерашнихъ маршаловъ и завтрашнихъ королей. Графиня Фаржъ сидѣла не вдалекѣ отъ императора, который, какъ всегда, поздоровался съ нею привѣтливой улыбкой. Но улыбки было мало, когда дѣло шло о помилованіи преступника.

„Подождемъ до конца пьесы, думала Луиза, — можетъ быть, Брюне его развеселитъ“.

Актеръ Брюне, создавшій великолѣпный типъ Жювриса, былъ любимцемъ императора, и оберъ-камергеръ Сен-Сиръ самъ выбралъ пьесу для представленія у Бертъе. Это былъ веселый водевиль Ода „Cadet-Roussel, professeur de déclamation“, въ которомъ, кромѣ Брюне, играла извѣстная тогда актриса Флоръ.

Импровизированный театръ былъ очень малъ и актеры находились почти лицомъ къ лицу съ зрителями. Императоръ въ этотъ вечеръ былъ очень озабоченъ, и знаменитому комику Брюне необходимо было играть вдвое искуснѣе и веселѣе обыкновеннаго, чтобъ его развеселить.

Въ первой сценѣ Флоръ играла одна; бѣдная молодая дѣвушка невольно дрожала, появляясь передъ такимъ высокимъ обществомъ.

— Она очень мила, сказала Жозефина императору.

— Да, отвѣчалъ онъ разсѣянно, и черезъ минуту прибавилъ почти громко:— Отчего-же Брюне неидетъ?

Услыхавъ эти слова изъ-за кулисъ, Брюне быстро выбѣжалъ на сцену и второпяхъ задѣлъ за декорачію, такъ что его большая шляпа упала на колѣни Камбасересу. Канцлеръ имперіи насупилъ брови и кинулъ шляпу обратно на сцену, гдѣ она попала прямо въ лицо одному изъ актеровъ.

Императоръ разсмѣялся. Этотъ неожиданный эпизодъ понравился ему болѣе пьесы. Всѣ вторили его смѣху и только Камбасересъ, нахмурившись, сказалъ своему сосѣду:

— Зачѣмъ выбрали такую пьесу?

— Зачѣмъ? Она нравится императору.

Никто болѣе графини Фаржъ не радовался неожиданной веселости Наполеона. Она теперь могла рассчитывать на успѣхъ своего ходатайства; но ея радость была непродолжительна.

Пьеса шла, и вдругъ на сценѣ раздалось слово, поразившее всѣхъ зрителей, — разводъ. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ предложило Руссею отдѣлаться отъ жены разводомъ, на что Брюне, игравшій Руссея, поспѣшно отвѣчалъ:

— Конечно, я разведусь. Неужели вы думаете, что я женился для удовольствія? Нѣтъ, я женился для того, чтобъ не прекратился мой родъ, чтобъ жить вѣчно въ моихъ наслѣдникахъ.

Луиза съ изумленіемъ слѣдила за страшнымъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ на всѣхъ этими словами. Точно леденящій вѣтеръ пронесся по залѣ. Лица всѣхъ придворныхъ вытянулись и брови насупились. Императрица ужасно поблѣднѣла и скрыла вѣромъ свое волненіе. Императоръ нахмурился. Бертъе не зналъ, куда дѣваться. Одинъ Камбасересъ иронически улыбался, какъ-бы радуясь, что судьба отомстила за него. Маленькая графиня бросила вопросительный взглядъ на Солиньяка, ясно говорившій: что это значить?

Между тѣмъ Сен-Сиръ побѣждалъ къ режисеру.

— Говорится-ли еще о разводѣ въ этой проклятой пьесѣ? воскликнулъ онъ.

— Помилуйте, да она вся основана на разводѣ.

— Ахъ, дуракъ, я этого и не замѣтилъ! Выпускайте, урѣзываютъ, но не говорите ни слова болѣе о разводѣ.

Когда опустился занавѣсъ, Луизѣ объяснили, почему императоръ былъ такъ озабоченъ, а Жозефина такъ печальна. Наполеонъ хотѣлъ развестись съ женою; онъ выставлялъ предлогомъ необходимость имѣть наслѣдниковъ, о чемъ такъ не кстати распространялся въ пьесѣ Брюне.

„Онъ, вѣрно, взбѣшенъ, думала графиня; — благоразумно-ли теперь говорить съ нимъ о капитанѣ Ривьерѣ!“

Она хотѣла-было отложить свою попытку, но желаніе обрадо-

вать Солнныка счастливымъ извѣстіемъ о спасеніи его друга переселило ея колебаніе и она рѣшилась немедленно дѣйствовать.

Императоръ перешелъ изъ залы въ одну изъ роскошныхъ гостинныхъ замка. Онъ сѣлъ на диванъ и разговаривалъ съ приближенными, стараясь придать спокойный видъ своему взволнованному лицу. Жозефина была рядомъ съ нимъ; она ничего не знала положительнаго о намѣреніяхъ императора, но боялась ходившихъ слуховъ.

Увидавъ издали графиню Фаржъ, которая подошла къ нему дрожащей поступью, но сіяя красотою, императоръ пріятно улыбнулся и сказалъ по своей всегдашней привычкѣ вмѣшиваться въ семейныя дѣла подданныхъ:

— Ну, графиня, вамъ еще не надоѣло быть вдовою? Неужели въ моей арміи мало красивыхъ офицеровъ, которые почли-бы за счастье упасть къ вашимъ ногамъ?

Луиза ничего не отвѣчала и только съ трудомъ улыбнулась.

— Вы знаете мой взглядъ на женщинъ, продолжалъ императоръ;—я не люблю, чтобъ такая красавица, какъ вы, пропадала даромъ; ея обязанность дарить мужу красивыхъ, здоровыхъ, полезныхъ государству дѣтей.

Графиня вспыхнула какъ макъ, а Жозефина стала бѣлѣе полотна.

— На бездѣтную женщину я смотрю, какъ на солдата-дезертира, прибавилъ Наполеонъ, быть можетъ, не отдавая себѣ отчета въ жестокихъ ударахъ, наносимыхъ императрицѣ каждой его фразой;—однимъ словомъ, графиня, выходите замужъ.

— Это приказаніе, ваше величество?

— Нѣтъ, совѣтъ.

— Вы слишкомъ добры, государь, и если позволите...

Она не могла продолжать; кровь прилила у нея къ головѣ и руки дрожали.

— Ну, что-жь вы хотѣли сказать?

— Я хотѣла просить у васъ милости, ваше величество.

— Вы?

И онъ всталъ и началъ медленно ходить по комнатѣ.

— Я никогда ничего не просила у вашего величества, произнесла Луиза, слѣдуя за нимъ,—но теперь моя просьба пламенная, дерзкая, отчаянная.

— Въ чемъ дѣло? спросилъ императоръ, насупливая брови.

— Дѣло идетъ объ офицерѣ, ваше величество.

— Объ офицерѣ? повторилъ Наполеонъ иронически.

Луиза поняла его мысль.

— Этотъ офицеръ, ваше величество, храбро служилъ своей странѣ, но суровая преданность идеѣ побудила его измѣнить своему долгу... Простите, ваше величество, что я, женщина, смѣю просить за чело-  
вѣка, судьба котораго въ рукахъ вашего правосудія. Но если вамъ суждено быть великимъ государемъ, то мы, бѣдныя женщины, можемъ только просить и умолять. Вы всемогущи, а мы состра-  
дательны. Простите меня, государь, и выслушайте.

Сначала императоръ хотѣлъ безмолвнымъ жестомъ прекратить разговоръ, но искренность Луизы тронула его и къ тому-же маленькая графиня имѣла необыкновенное вліяніе на всесвѣтнаго повелителя.

— Говорите скорѣе, что сдѣлалъ вашъ офицеръ?

— Что онъ сдѣлалъ, ваше величество? Я не смѣю сказать.

— Такъ незачѣмъ было и начинать.

— Онъ заговорщикъ.

— Тѣмъ хуже для него. Я не люблю бѣшенныхъ собакъ. Кто онъ такой, вашъ заговорщикъ? Какого чина?

— Онъ служилъ капитаномъ.

— И обезчестилъ свои эполеты. Бьюсь объ закладъ, что это одинъ изъ аристократовъ, которымъ я позволилъ при Маренго сформировать отдѣльный гусарскій полкъ и носить не трехцвѣтную кокарду, а желтоголубую, по цвѣту ихъ мундира. Я былъ слишкомъ добръ, и всѣ эти франты, за исключеніемъ Сегюра, Пире, Флаго и Тюрена, заплатили мнѣ измѣной. Я имъ далъ чины, а они отблагодарили меня оскорбленіями, мятежомъ. По крайней мѣрѣ, вашъ капитанъ графъ или маркизъ?

— Нѣтъ, ваше величество, онъ республиканецъ.

— Такъ вы знаете съ якобинцами? произнесъ Наполеонъ съ удивленіемъ.

— Я поступаю въ своей сферѣ, какъ хорошій государь, отвѣчала Луиза рѣшительнымъ тономъ: — я допускаю въ свой домъ всѣхъ честныхъ, благородныхъ людей.

— О, я знаю, что вы умная женщина.

— И преданная вамъ, ваше величество.

— Что, однакожь, не мѣшаетъ вамъ защищать монаха враговъ.

— Я не защищаю ихъ, а прошу пощады.

— Такъ скажите прямо, что вашъ капитанъ—филадельфъ.

— Я не знаю; но онъ хорошій воинъ и его ожидаетъ смерть.

— Это другъ Удэ и Мале?

— Не знаю, но онъ другъ своей страны, ваше величество.

— Вы черезчуръ пламенно его защищаете, произнесъ съ неудовольствіемъ Наполеонъ,—а вы должны знать, что я не люблю бунтовщиковъ.

— Я это знаю, ваше величество, но позвольте мнѣ вамъ сказать, что милосердіе обезоруживаетъ даже ненависть. Простите меня за смѣлость, ваше величество, но смерть несчастнаго, скрывающагося въ уединенномъ уголкѣ Парижа, не можетъ принести пользы вашему величеству, а только омрачить вашу славу. Примите, государь, мою просьбу, какъ доказательство глубокаго уваженія и совершенной преданности вашей особѣ. Исполните мольбу женщины, никогда у васъ ничего непросившей, и даруйте жизнь человѣку, который достаточно благороденъ, чтобъ, помилованный вами, не помышлялъ болѣе о заговорахъ.

— Вы видѣли „Цинну или милосердіе Августа“?

— Да, ваше величество; послушайтесь Корнеля, если не меня.

— Конечно, его пьесы лучше пьесъ Брюне, сказалъ Наполеонъ, и послѣ нѣсколькихъ минутъ размышленія прибавилъ:—Вашъ капитанъ въ безопасномъ убѣжищѣ?

— Да, ваше величество.

— Вы знаете, гдѣ онъ?

— Нѣтъ, клянусь, не знаю!

— Я, кажется, догадываюсь, о комъ вы говорите. Герцогъ Отрантскій доносилъ мнѣ обо всемъ, что здѣсь дѣлается, и я изъ Шенбруна слѣдилъ за парижскими событіями. Дѣло идетъ о капитанѣ Ривьерѣ?

— Да, ваше величество.

— Храбрый офицеръ, нечего сказать. Но чортъ ихъ знаетъ, откуда у нихъ эти старыя идеи. Кажется, въ пятнадцать лѣтъ все измѣнилось. Впрочемъ, я предпочитаю бунтовщика-якобинца измѣннику-роялисту, осыпанному моими милостями. Пріѣзжайте завтра въ Тюльери, графиня, и мы увидимъ!

Луиза хотѣла благодарить императора, но онъ ее перебилъ:

— Погодите, еще ничего не рѣшено.

— Если ваше величество будете совѣтоваться только съ вашимъ сердцемъ, капитанъ спасенъ.

— Плутовка! сказалъ императоръ и прекратилъ разговоръ.

Солиньякъ былъ внѣ себя отъ радости: онъ не сомнѣвался въ счастливомъ исходѣ дѣла.

Луиза обратилась съ просьбою къ императору въ счастливую минуту, когда доказательство его великодушія могло принести пользу ему самому. Онъ зналъ, какое дурное впечатлѣнiе произвела на армию драматическая и таинственная смерть полковника Удэ. Онъ хотѣлъ уничтожить это впечатлѣнiе, и помилованiе Ривьера было какъ нельзя болѣе кстати. Этотъ офицеръ былъ очень любимъ въ армiи.

На другой день императоръ вручилъ Луизѣ помилованiе Ривьера.

— Я требую только одного, сказалъ Наполеонъ:—чтобъ онъ заставилъ всѣхъ забыть о себѣ.

— А если онъ, въ свою очередь, будетъ просить позволенiя служить своему отечеству?

— Увидимъ, отвѣчалъ императоръ.

Солиньякъ обезумѣлъ отъ радости и, осыпавъ поцѣлуями руки своей доброй феи, полетѣлъ къ Ривьеру и открыто, весело постучалъ въ дверь маленькаго домика. При этомъ необыкновенномъ стукѣ среди бѣлаго дня Клодъ подумалъ, что или полиція пришла его арестовать, или наступила минута борьбы за свободу.

Онъ страшно поблѣднѣлъ, когда Солиньякъ объявилъ, что по приказанiю императора онъ свободенъ.

— Свободенъ! воскликнулъ онъ, — по милости его! Не хочу. Я у него ничего не просилъ, кромѣ открытой борьбы или открытаго суда.

Эти слова были произнесены твердо и рѣшительно.

— Конечно, вы ничего не просили, отвѣчалъ Солиньякъ,—но развѣ можно отказаться отъ права дышать и ходить свободно, видѣть кого любишь и отомстить измѣнникамъ?

Глаза Ривьера засверкали при воспоминанiи о маркизѣ Олона, но онъ гордо произнесъ, качая головой:

— Но развѣ я могу принять милость отъ Бонапарта?



— Развѣ онъ отъ васъ чего-нибудь требуетъ: предательства, измѣны? Нѣтъ, онъ вамъ даетъ свободу безъ всякихъ условій. Будьте-же свободны, Ривьеръ, и начинайте жизнь съизнова...

Солиньякъ хотѣлъ продолжать, но въ эту минуту послышались слабые, нерѣшительные удары въ дверь.

— Кто это? спросилъ Солиньякъ.

— Вѣроятно, отецъ, онъ всегда такъ стучится.

Это дѣйствительно былъ старикъ Ривьеръ. Онъ поцѣловалъ сына, поклонился Солиньяку и, вынувъ изъ кармана нѣсколько плитокъ шеколада, положилъ на столъ.

— Вотъ я тебѣ принесъ, сказалъ онъ;—шеколадъ прекрасный и ты любишь его въ дѣтствѣ. Я сегодня очень торопился къ тебѣ. Ты знаешь, сегодня день кончины твоей маленькой сестры. Бѣдная Жанета, она очень походила на тебя, — конечно, въ миниатюрѣ. О, Господи, она-бы ужь никогда не стала принимать участія въ дьявольскихъ заговорахъ. Ну, ну! Я не скажу болѣе ни слова. Но, право, тяжело старому отцу приходить къ сыну тайкомъ, точно къ узнику.

Увидавъ старика, Солиньякъ тотчасъ подумалъ, что онъ убѣдитъ сына принять помилованіе.

— Что вы говорите объ узникѣ, сказалъ онъ весело, — здѣсь нѣтъ никакого узника.

Клодь гнѣвно насупилъ брови.

— Повторите, полковникъ, я васъ не понимаю, сказалъ старикъ, блѣдный, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Императоръ приказалъ прекратить производство по дѣлу капитана Ривьера.

— Что-жь это значить? Есть надежда?

— Какая надежда? Капитанъ Ривьеръ свободенъ, вотъ и все.

— Ты свободенъ! воскликнулъ Жанъ Ривьеръ, обращаясь къ сыну;—правда-ли это? Охъ! ноги мои, ноги! Дайте мнѣ стулъ, полковникъ. Благодарю васъ; я сталъ старой тряпкой.

Онъ плакалъ и смѣялся въ одно и то-же время.

— Ты свободенъ! продолжалъ онъ;—отчего-же ты не сказалъ мнѣ объ этомъ? Ты свободенъ! Такъ пойдемъ-же отсюда. Здѣсь душно! Пойдемъ, Клодь, пойдемъ! Я теперь въ состояніи пройти сто миль.

— Капитанъ свободенъ, объяснилъ Солиньякъ,—но онъ отказывается принять помилованіе.

— Отказывается! Какъ отказывается? Ты съума сошелъ, Клодъ! Тебѣ говорятъ, что все кончено, что нечего бояться ни судей, ни палачей, а ты хочешь...

— Вы не поймете, чего я хочу, перебилъ Клодъ.

— Конечно, я старый дуракъ, но это понимаю. Ты хочешь быть Катономъ и рисоваться своимъ гордымъ достоинствомъ. Но это не хорошо, это жестоко. Ты убиваешь старика отца, которому нѣтъ никакого дѣла до твоихъ политическихъ фантазій. Ты отказываешься доставить мнѣ счастье, а, кажется, я судьбой не избалованъ. Вотъ они, великіе-то умы! Но я долженъ тебѣ сказать, дитя мое, что если ты хочешь приглубить своего отца, то поторопись. Всѣ эти аресты, бѣгства, тайныя свиданія меня гложутъ и убиваютъ. Послушай, Клодъ, милый Клодъ, я всегда былъ добрымъ отцомъ, не правда-ли? Сдѣлай-же что-нибудь для меня. Возвратись ко мнѣ! Люби меня! Вотъ, видишь-ли, мнѣ необходимо твое присутствіе такъ-же, какъ нѣкогда было необходимо тебѣ молоко твоей матери, моей бѣдной Сюзеты. Не мучь меня, не убивай меня. Если тебѣ дадутъ свободу, возьми ее ради меня.

— Вы не знаете, чего вы просите, батюшка.

— Нѣтъ, знаю: большой жертвы. Но и я тебѣ жертвовалъ не малымъ. Теперь настало время расквитаться; я представляю твой вексель ко взысканію. Милый, дорогой, благородный Клодъ, послушайся меня: уйдемъ отсюда.

— Быть по-вашему, произнесъ Ривьеръ; — но, полковникъ, скажите тому, кто меня помиловалъ, что я не принимаю отъ него свободы, а беру ее...

Но Солиньякъ не далъ ему кончить и толкнулъ его въ объятія отца.

„Пусть его думаетъ о завтрашней борьбѣ, благо былъ-бы сегодня свободенъ, сказалъ самъ себѣ красавецъ полковникъ; — у него есть два могучіе повода къ спасенію: ненависть къ Агостино и любовь къ Терезѣ“.

## XXI.

## Переулочъ „Венгерской королевы“.

Первый-же часъ свободы Клодъ посвятилъ товарищамъ-филадельфамъ; но ни у Филопомена, ни у Гармодія онъ никого не засталъ. Сначала онъ испугался, не арестовали-ли ихъ, но потомъ успокоилъ себя тѣмъ, что навѣрное-бы зналъ, если-бъ съ ними что-нибудь случилось, а потому, конечно, ихъ отсутствіе объяснялось какой-нибудь другой причиной. Впрочемъ, онъ долженъ былъ вскорѣ все узнать, такъ-какъ рѣшился вечеромъ отправиться къ Бернару Тевено. Но что дѣлать до вечера?

Онъ позавтракалъ съ отцомъ, а потомъ сговорился сойтись съ Солиньякомъ въ Пале-Рояль. По дорогѣ туда онъ замѣтилъ, что нѣкоторые встрѣчные смотрѣли на него съ изумленіемъ; вѣроятно, это были тайные полицейскіе агенты.

Солиньякъ ждалъ Ривьера въ Пале-Рояль и прямо объявилъ ему, что желаетъ отправиться съ нимъ въ домъ маркизы Ригоди.

— Зачѣмъ? спросилъ Клодъ.

— Тамъ есть женщина, которую вы однимъ словомъ можете возвратить къ жизни.

— Развѣ Тереза больна? спросилъ Ривьеръ, поблѣднѣвъ.

— Да, она, бѣдная, очень страдаетъ, отвѣчалъ Солиньякъ, еще болѣе убѣждаясь въ любви Ривьера къ Терезѣ, — и если я пропустилъ этотъ аргументъ, уговаривая васъ не отказываться отъ свободы, то только для того, чтобъ доставить вашему отцу счастье одному убѣдить васъ. Но женщина, которую вы простили, не принимаетъ вашего помилованія, не считая себя его достойнымъ.

Ривьеръ ничего не отвѣчалъ, но Солиньякъ ясно видѣлъ, какъ двѣ большія слезы покатались по его блѣднымъ щекамъ, и онъ промолвилъ, тяжело вздыхая:

— Бѣдная Тереза!

Черезъ минуту онъ произнесъ рѣшительно:

— Пойдемте; ведите меня, куда хотите.

Вѣчно погруженная въ свои мрачныя думы, Тереза вздрогнула и хотѣла бѣжать, когда ей сказали, что Клодъ на свободѣ, въ домѣ маркизы Ригоди, и ждетъ ее.

— Ихъ лучше оставить вдвоемъ, сказала маркиза Солиньяку;— дайте мнѣ руку, сорванецъ, и пройдемтесь по саду. Сегодня очень холодно, но солнце свѣтитъ и мнѣ надо провѣтриться.

Тереза спрашивала себя, на яву-ли она видѣла передъ собою Клода, и невольно дрожала всѣмъ тѣломъ.

— Я васъ пугаю, сказалъ онъ грустно, и самъ не могъ смотрѣть на нее безъ ужаса.

Бѣдная женщина страшно похудѣла; ея скульптурныя формы опали; черные глаза мутно глядѣли изъ глубокихъ впадинъ. Это былъ призракъ прежней Терезы, но для Клода она сохраняла свою прежнюю притягательную силу.

„Быть можетъ, думалъ онъ, — ей легко возвратитъ прежнюю красоту. Для этого нужно немного—счастье“.

И онъ грустно качалъ головой, хотя повторялъ про себя: „Я, однакожъ, ее простилъ“. Во всякомъ случаѣ, несчастный видъ Терезы глубоко его тронулъ и онъ нѣжно, съ участіемъ сталъ разспрашивать объ ея страданіяхъ, успокаивать ее, утѣшать.

И Тереза отвернулася отъ такого человѣка! Ей теперь было стыдно самой себя, стыдно за ту роковую ошибку, по милости которой она предпочла его любви ложную страсть негодяя. Слушая добрыя, теплыя слова Клода, она не могла заглушить въ глубинѣ своего сердца тайнаго голоса, нашептывавшаго: „измѣнница, преступница“. Извѣстіе объ освобожденіи Клода радовало и вмѣстѣ пугало ее. Она не смѣла взглянуть на него и каждую минуту была готова зарыдать.

Видя, какое тяжелое впечатлѣніе онъ производитъ на Терезу, Ривьеръ рѣшился сократить свое посѣщеніе.

— Прощайте, сказалъ онъ.

— Вы уже уходите? промолвила Тереза.

Ей теперь было страшно съ нимъ разстаться.

— И вы никогда болѣе не придете? спросила она теномъ пламенной мольбы.

— Нѣтъ, Тереза, я вскорѣ опять приду. До свиданія, не унывайте.

Она ждала его отвѣта, какъ преступникъ приговора суда.

— Мнѣ васъ жаль отъ всей души, сказалъ Клодъ съ глубокимъ чувствомъ.

Онъ почти силою оторвался отъ нея. Онъ чувствовалъ, что

готовъ поддаться состраданію, и только воспоминаніе о своихъ мученіяхъ и нанесенномъ ему жестокомъ оскорбленіи удерживало его. При видѣ блѣдной, изнуренной, испитой Терезы сердце его болѣзненно сжалось. Онъ любилъ ее, несмотря на все. Онъ всецѣло принадлежалъ этой страсти, и, упрекая себя за то, что не заглушилъ ее въ глубинѣ своего сердца, онъ все-же съ мрачной радостью предавался ей.

Побуждаемый этимъ всепоглощающимъ чувствомъ, онъ ощутилъ теперь жажду увидать тотъ домъ, въ которомъ когда-то былъ счастливъ. Этотъ мужественный, храбрый человѣкъ, недорожившій жизнью и много разъ встрѣчавшій смерть лицомъ къ лицу, отправился съ внутренней, сердечной дрожью въ свою прежнюю квартиру улицы Монмартръ, оставшуюся пустою со времени его ареста. На тротуарѣ противъ дома онъ остановился и тревожно посмотрѣлъ на закрытыя ставнями окна. Тутъ онъ провелъ лучшіе дни своей жизни, тутъ онъ прижималъ къ своему сердцу Терезу, тутъ онъ толковалъ о судьбахъ отечества съ Тевено и другими товарищами. Все это теперь казалось давно прошедшимъ сномъ, отъ котораго онъ очнулся такъ неожиданно, такъ страшно.

Наконецъ, Ривьеръ постучалъ въ дверь; увидя его, привратникъ едва не упалъ.

— Вы не умерли?

— Какъ видите.

— Рассказывали, что васъ разстрѣляли два мѣсяца тому назадъ.

— Вы видите, что это неправда.

Ривьеръ взялъ ключъ и вошелъ въ свою квартиру, пустую, безмолвную. Ему казалось, что онъ проникъ въ чужое жилище, какъ воръ. Ставни были затворены, мебель покрыта бѣлыми чехлами, словно саванами. Вечеръ уже наступилъ, темный, холодный, ноябрьскій вечеръ. Дрожь пробѣжала по тѣлу Ривьера.

„Здѣсь точно какъ въ могилѣ“, подумалъ онъ, качая головой.

И, дѣйствительно, это была могила его иллюзій, мечтаній, вѣры!

Онъ медленно ходилъ взадъ и впередъ по пустымъ комнатамъ, какъ призракъ. Онъ часто останавливался; все воскрешало

въ немъ сладкія и горькія воспоминанія. Въ кабинетѣ въ каминѣ лежали дрова; Ривьеръ развелъ огонь и зажегъ свѣчи. Долго сидѣлъ онъ тутъ, устремивъ глаза на веселое пламя, и мало-помалу ему стало казаться, что все было по-прежнему, что сейчасъ придетъ къ нему Тереза, что счастье его не погибло.

Онъ, однакожь, не смѣлъ войти въ ея спальню. Онъ боялся даже призрака умершей любви. Наконецъ, онъ всталъ и дрожащей рукой отворилъ дверь. Все въ этой комнатѣ напоминало ее; онъ видѣлъ ее въ каждомъ углу, въ каждой вещи.

„Какъ любилъ я тебя, Тереза, думалъ онъ,—и мы могли-бы быть счастливы“.

Сердце его тревожно билось, дыханіе захватывало, онъ едва сдерживалъ слезы. Наконецъ, онъ опустился на колѣни подлѣ постели Терезы и, уткнувъ пылающую голову въ подушку, неслышно судорожно зарыдалъ.

Здѣсь онъ пробылъ нѣсколько часовъ; когда онъ опомнился, ночь уже давно наступила и свѣчи догорали.

„Я понимаю, подумалъ Клодъ,—что люди могутъ проводить цѣлыя дни въ склепахъ, разговаривая съ мертвыми. Я также теперь бесѣдовалъ съ мертвой. Отчего-же съ мертвой? Ея жизнь въ моихъ рукахъ. Если у меня будетъ достаточно силы, чтобы забыть прошлое и протянуть ей руку, она воскреснетъ“.

Грустная улыбка показалась на его лицѣ; увидавъ на каминѣ случайно оставленный Терезой шелковый поясъ съ серебряной пряжкой, онъ взялъ его, страстно поцѣловалъ, какъ влюбленный юноша, и положилъ во внутренній карманъ сюртука.

Онъ вышелъ изъ дома спокойный, утѣшенный. Призракъ погибшей любви произнесъ ему на ухо: „Я могу воскреснуть“.

Очутившись на улицѣ, онъ быстро пошелъ къ Бернару Тевено, не не сдѣлалъ и двадцати шаговъ, какъ остановился съ крикомъ удивленія и ужаса. Мимо него прошелъ человѣкъ, въ которомъ онъ узналъ по росту, по тѣни, а главное по инстинктивной злобѣ маркиза Олона.

Чиампи (Клодъ былъ убѣжденъ, что это былъ онъ) шелъ въ противоположную сторону, но Ривьеръ не хотѣлъ упустить счастливаго случая отомстить врагу. Правда, у него не было оружія, но онъ могъ задушить его руками. Поэтому онъ быстро послѣдовалъ за нимъ. Чиампи шелъ быстро, очевидно чувствуя по-

гоню, однакожь, разстояніе между ними все болѣе и болѣе уменьшалось. Ривьеръ уже тѣшилъ себя надеждой, что Агостино въ его рукахъ, какъ вдругъ итальянецъ перешелъ черезъ улицу и исчезъ между домами противъ церкви св. Евстафія. Очевидно, онъ вошелъ въ одинъ изъ нихъ. Но въ который? Всѣ ворота были заперты, кромѣ однихъ, то-есть, вѣрнѣе сказать, одной рѣшетки, за которой видѣлся мрачный, узкій проходъ. Ривьеръ вспомнилъ, что это переулокъ Венгерской Королевы, одинъ изъ темныхъ, таинственныхъ закоулковъ въ Парижѣ, соединяющій улицы Монмартръ и Монтаргель.

— Проклатіе! воскликнулъ громко Клодъ; — онъ меня увидалъ и бросился черезъ этотъ темный проходъ въ улицу Монтаргель. Неужели онъ улизнетъ изъ моихъ рукъ?

Все еще не теряя надежды догнать Агостино, онъ углубился въ темный переулокъ. Черезъ нѣсколько минутъ поспѣшной ходьбы онъ услыхалъ за собою шаги и, обернувшись, увидалъ три фигуры, слѣдовавшія за нимъ.

Неужели его, въ свою очередь, преслѣдовали? Не желая упустить итальянца, онъ не хотѣлъ остановиться.

— Капитанъ Ривьеръ! раздалось вдругъ въ ночной тишинѣ.

Ривьеръ узналъ голосъ Бернара Тевено и тотчасъ обернулся.

— Здѣсь, отвѣчалъ онъ съ невыразимой радостью.

Несмотря на все нетерпѣніе догнать Чампи, онъ былъ счастливъ, что можетъ прижать къ груди товарищей, которые, быть можетъ, спѣшили объяснить ему, что часъ борьбы насталъ. Онъ остановился, и когда Бернаръ Тевено почти поравнялся съ нимъ, онъ громко воскликнулъ:

— Какъ я радъ васъ видѣть, полковникъ!

И онъ протянулъ ему обѣ руки, но Тевено не отвѣчалъ тѣмъ-же.

— Что это значитъ? спросилъ Ривьеръ; — я вамъ протягиваю руку, а вы не берете ея? Развѣ вы меня не узнали?

— Нѣтъ, я васъ окликнулъ, холодно произнесъ Тевено рѣзкимъ, металлическимъ голосомъ; — мы были у васъ и, не заставъ дома, пошли домой и случайно догнали васъ.

Клодъ не могъ придти въ себя отъ изумленія. Не былъ-ли это сонъ? Что означало поведеніе полковника? Зачѣмъ подлѣ него стояли неподвижно, точно свидѣтели, двое товарищей-филадельфовъ?

— Филопомень! Катонъ! Лоранъ Малардые и Пьеръ Германъ! сказалъ Ривьеръ и протянулъ имъ руки.

Они стояли неподвижно, какъ статуи, и ничего не отвѣчали.

— Да говорите-же, воскликнулъ Ривьеръ,—что все это значитъ? Къ чему это молчаніе? Отвѣчайте!

Онъ быстро приблизился къ Тевено, но тотъ отстранилъ его рукой.

— Вамъ отвѣчать, а не намъ, сказалъ онъ.

— Мнѣ? Почему? спросилъ Клодъ, чувствуя, что кровь приливаетъ къ его головѣ.

— Мы съ удовольствіемъ видимъ, что вы на свободѣ, произнесъ иронически Тевено.

— А! вотъ почему вы не хотите мнѣ подать руки, отвѣчалъ Ривьеръ, и гордо прибавилъ:—неужели вы думаете, что я пожертвовалъ своими убѣжденіями ради свободы? Нѣтъ, я воспользуюсь ею, чтобы по-прежнему служить нашему дѣлу...

— Нашему дѣлу могутъ служить только честные люди, сказалъ Тевено рѣзко.

— Вы дадите мнѣ отчетъ въ этихъ словахъ, если они относятся ко мнѣ, сказалъ Ривьеръ, бросаясь внѣ себя на Тевено.

— Вы были казначеемъ нашего общества? холодно произнесъ полковникъ.

— Да, отвѣчалъ Клодъ, но голосъ его замеръ, точно онъ почувствовалъ приближеніе грозной опасности.

— Мы вамъ довѣрили векселя бордоскихъ банкировъ, которые составляли весь нашъ капиталъ.

— Да, но я вамъ ихъ возвратилъ. Сидя въ тюрьмѣ, я утѣшался мыслью, что эти бумаги въ вашихъ рукахъ.

— Неужели? Вѣдь вы знали, что мы не могли ими воспользоваться?

— Отчего?

— Отчего! Полноте притворяться. Насъ болѣе не обманете. Векселя, переданные вами, фальшивые.

— Фальшивые! воскликнулъ Ривьеръ.—Фальшивые!

Онъ задрожалъ какъ въ лихорадкѣ и подумалъ, не сошелъ-ли съума Тевено.

— Объясните, что вы хотите сказать, произнесъ Ривьеръ послѣдно;—какіе векселя фальшивые? тѣ, которые я вамъ пере-



далъ? Это невозможно. Они не выходили изъ моихъ рукъ и прямо изъ моей конторки я передалъ ихъ вамъ.

— Я знаю. И, однакожь, когда мы представили ихъ въ контору Мишеля Борда и Казавана, кассиръ намъ отвѣчалъ, что по нимъ уже уплачено.

— Уплачено? Кому?

— Мы васъ объ этомъ и спрашиваемъ, капитанъ Ривьеръ.

— Меня? Какъ меня? Вы думаете...

— Эти векселя, какъ вы сами признали, не выходили изъ вашихъ рукъ; мы дали вамъ настоящіе векселя, а вы намъ возвратили фальшивые. По настоящимъ-же векселямъ уплачены деньги два мѣсяца передъ тѣмъ, какъ мы представили фальшивые. Ихъ показали одному изъ нашихъ, который ѣздилъ въ Бордо.

— Вѣдь это страшное преступленіе, господа, произнесъ Клодъ, проводя рукою по лбу, на которомъ выступилъ холодный потъ:— подлогъ, воровство!

— Да, это страшное преступленіе, это предательство нѣсколькихъ сотъ товарищей. Мы не только не можемъ дѣйствовать, лишившись всѣхъ средствъ, но между нами есть измѣнникъ.

— Кто-жь это? произнесъ Ривьеръ безсознательно.

Филопомень и Катонъ стояли по-прежнему неподвижно, скрестивъ руки, какъ грозные судьи, а Бернаръ Тевено произнесъ торжественно:

— Капитанъ Клодъ Ривьеръ, совѣтъ филаделфовъ рѣшилъ вчера единогласно, что вы должны драться съ каждымъ изъ насъ, пока не будете убиты.

— Я? воскликнулъ Ривьеръ; — такъ это меня обвиняютъ?

— Ваше преступленіе доказано.

— Я—воръ! Да вѣдь это безуміе, полковникъ! Я, право, не знаю, оправдываться мнѣ или смѣяться. Капитанъ Ривьеръ—воръ! Кто этому повѣритъ?

— Всѣ доказательства противъ васъ.

— Вы этому вѣрите, Тевено?.. А вы, Малардье?.. А вы, Германъ?.. Вы не отвѣчаете. Я—воръ? Я сдѣлалъ подлогъ? Полноте! Я не знаю, что значить это испытаніе, но, видитъ Богъ, довольно! Я слишкомъ страдаю и, право...

Въ эту минуту Тевено махнулъ рукою Малардье и тотъ вы-

нулъ изъ-подъ плаща двѣ шпаги. Тевено взялъ одну изъ нихъ за остріе и подалъ Ривьеру.

— Что это значитъ? произнесъ Клодъ внѣ себя; — чего вы хотите отъ меня?

— Защищайтесь!

— Такъ это правда? Вы хотите со мной драться?

— Да.

— Ради Бога выслушайте меня и освободите отъ этого страшнаго кошмара. Я не боюсь смерти, вы это хорошо знаете! Но драться съ вами, котораго я люблю и уважаю, съ вами, моимъ братомъ по оружію и убѣжденіямъ, — это невысказано! И драться за то, что меня подозрѣваютъ въ воровствѣ! Полноте, полковникъ, вы съума сошли.

— Я исполняю обязанность, возложенную на меня товарищами.

Ривьеръ взялъ молча шпагу изъ рукъ Тевено и бросилъ ее на землю.

— Ну, убивайте меня, сказалъ онъ спокойно, — моя совѣсть чиста и сердце не дрогнетъ.

— Мы знаемъ, что вы храбры, но также знаемъ, что вы ради жены жаждали богатства и свободы. Вотъ для чего вы поддѣляли векселя и выпросили помилованіе у Бонапарта.

Изъ груди Ривьера вырвался крикъ злобы и глубокаго страданія.

— Это ужъ слишкомъ! Вы можете меня убить, но не оскорблять! Я не знаю, какое ужасное преступленіе скрывается подъ этимъ подлогомъ, я не знаю, кто преступникъ; но это не я. Для меня ужъ невыносима пытка повторять, что я не обворовалъ товарищей, что я не просилъ о помилованіи.

— Возвратите намъ наши погибшія надежды, отвѣчалъ Бернаръ Тевено гнѣвно; — вы были казначеемъ общества и вы должны отвѣчать за переданныя вамъ бумаги. У васъ онѣ были, васъ мы и караемъ.

— Но дайте-же мнѣ возможность отыскать преступника! Дайте мнѣ день, одинъ день!

— Одинъ день! отвѣчалъ иронически Тевено. — Въ одинъ день можно многихъ предать.

Ривьеръ лихорадочно задрожалъ и его раздираемый стонъ ясно доказывалъ его невинность; но филателисты оставались не-

преклонны. Лоранъ Малардье поднялъ шпагу съ земли и подаль ее снова Ривьеру.

— Защищайтесь! повторилъ Тевено.

— Я ужь вамъ сказалъ: убивайте, если хотите.

— Мы не убійцы и не палачи. Вы умрете отъ нашей руки, но въ честномъ бою. Если я васъ не убью, то Филопомень и Батонъ меня замѣнятъ.

— Я не буду драться.

— Такъ вы хотите, чтобъ я поступилъ съ вами, какъ съ самымъ низкимъ подлецомъ? сказалъ холодно Тевено, подходя къ Ривьеру и поднимая руку.

Блодъ отскочилъ. Неужели Ривьеръ, олицетвореніе чести и долга, получить пощечину? Онъ вдругъ почувствовалъ какую-то бѣшеную жажду смерти. Ему казалось, что единственнымъ средствомъ освободиться отъ этого страшнаго кошмара было—убить себя самому.

— Дайте! сказалъ онъ Малардье и, взявъ шпагу, машинально всталъ въ позицію.

Бернаръ Тевено скрестилъ съ нимъ лезвее и, сверкая глазами въ темнотѣ, ждалъ, чтобъ Ривьеръ сдѣлалъ нападеніе. Лоранъ Малардье и Пьеръ Германъ стояли неподвижно, скорѣе какъ свидѣтели казни, чѣмъ секунданты въ дуэли.

Ривьеръ не сдѣлалъ ни малѣйшаго движенія и Тевено сталъ нападать на него по всѣмъ правиламъ фехтованія. Но Ривьеръ не отвѣчалъ.

— Такъ вы не хотите защищаться? воскликнулъ гнѣвно полковникъ.

— Вы поступаете по своей совѣсти, а я по своей, отвѣчалъ Блодъ.

— Берегитесь! воскликнулъ Тевено. — Защищайтесь! Защищайтесь!

И онъ почти прикоснулся шпагою до груди Ривьера, который инстинктивно отпарировалъ ударъ.

— Наконецъ-то! вскричалъ Тевено.

Онъ выпрямилъ руку съ необыкновенной быстротой и, нагнувшись впередъ всѣмъ тѣломъ, вонзилъ шпагу въ грудь Ривьера. Блодъ зашатался и, схватившись рукою за лѣвый бокъ, оперся на свою шпагу. Тевено отбросилъ далеко отъ себя окровавлен-

ное оружіе и взялъ отъ Германа свою шляпу. Никто не произнесъ ни слова. Всѣ чувствовали, что смерть была близка.

Ривьеръ теперъ въ одно мгновеніе увидалъ всю свою жизнь, всѣхъ дорогихъ его сердцу людей: мать, отца, Солиньяка, Терезу, ради которой онъ совершилъ преступленіе, по словамъ его судей. Вдругъ, съ сверхъестественнымъ предвидѣніемъ умирающихъ, онъ понялъ все: на устахъ его задрожало имя, ненавистное, преступное. Да, онъ былъ убѣжденъ, что воръ, совершившій подлогъ, былъ Агостино. Онъ похитилъ у Ривьера не только жену, но и векселя. Клодъ хотѣлъ подойти къ Тевено, протянулъ руку и старался произнести: „это Чіампи“, но его уста лепетали только несвязные звуки.

„Кто-же ему отомститъ?“ подумалъ несчастный и грохнулся на землю безъ чувствъ.

Тевено медленно подошелъ къ распростертому Клоду.

— Мертвъ! сказалъ Лоранъ Малардье.

Это слово, казалось, возвратило къ жизни Ривьера; онъ приподнялся на лѣвомъ локтѣ и, устремивъ потухающій взглядъ на филадельфовъ, промолвилъ:

— Невиненъ... Прощаю... Чіампи... Чіампи...

Потомъ изъ глубины его полуоледенѣвшаго сердца вырвался пламенный крикъ:

— Отчизна! Франція!

Черезъ минуту Клодъ Ривьеръ болѣе не существовалъ.

## XXII.

### Исповѣдь.

Послѣдній крикъ умирающаго Ривьера произвелъ сильное впечатлѣніе на Тевено и его товарищей; онъ пробудилъ въ ихъ сердцахъ укоры совѣсти. „Точно-ли виноватъ Ривьеръ?“ подумалъ каждый изъ нихъ. Пройдя нѣсколько шаговъ по улицѣ Монтаргель, они молча пожали другъ другу руки и разошлись въ разные стороны. Вскорѣ шумъ ихъ шаговъ замеръ вдали.

Трупъ Клода Ривьера остался на землѣ въ переулкѣ Венгерской Королевы; Пьеръ Германъ, уходя, бросилъ на него плащъ, который онъ держалъ въ рукахъ. Жители переулка почти всѣ

спали и не слышали поединка, а тѣ, которыхъ разбудилъ шумъ оружія, спѣшили закрыть окна, бросивъ предварительно боязливый взглядъ на роковую сцену. Но не успѣли Тевено и его друзья исчезнуть въ темнотѣ, какъ открылось слуховое окно надъ маленькой лавчонкой съ вывѣской: „Комбурна, угольщикъ“, и полу-раздѣтый мужчина вышелъ на улицу, держа въ рукахъ витую восковую свѣчку. Онъ подошелъ къ тѣлу Ривьера и, освѣтивъ лицо мертвеца, вскрикнулъ отъ изумленія, — такъ поразительно было выраженіе умершаго. Какая-то свѣтлая улыбка надежды и вѣры играла на его блѣдныхъ губахъ и вообще смерть придавала ему особую, величественную красоту.

— Онъ умеръ, сказалъ Комбурна. — Какъ, это капитанъ Ривьеръ?

Со времени ареста Ривьера, онъ приобрѣлъ популярность въ Парижѣ, особенно въ Монмартрскомъ кварталѣ. Первой мыслью Комбурна было: „Надо его отнести домой“. Онъ сталъ звать сосѣдей, но никто не отделился.

— Они боятся, промолвилъ Комбурна, пожимая плечами, хотя и самъ не былъ совершенно спокоенъ.

Наконецъ, нѣкоторые изъ сосѣдей явились на помощь; Ривьера положили на плащъ, его покрывавшій, и отнесли въ его квартиру въ улицѣ Жюсьенъ.

— Я только-что видѣлъ его и говорилъ съ нимъ! сказалъ привратникъ. Онъ высказалъ предположеніе, что капитанъ, вѣроятно, былъ убитъ рукою злодѣя.

— Нѣтъ, произнесъ шопотомъ Комбурна, — онъ погибъ на дуэли.

— Какъ! Вы видѣли?

— Тихе, послѣ я все расскажу.

Привратникъ тотчасъ-же отправился за Жаномъ Ривьеромъ. Бѣднаго старика разбудили и онъ съ ужасомъ воскликнулъ:

— Что случилось?

— Большое несчастье...

Привратникъ не смѣлъ продолжать, но Жанъ Ривьеръ по его лицу угадалъ, въ чемъ дѣло.

— Что случилось съ моимъ сыномъ? Онъ болѣнъ? Быть можетъ, умеръ? Да, умеръ! Отвѣчайте-же, Боже мой! Мой сынъ, мой влodge умеръ?

Онъ смотрѣлъ во всѣ стороны съ испугомъ, словно отыскивая призракъ Клода, и машинально проводилъ рукою по лбу. Тяжело было смотрѣть на несчастнаго старика.

— Гдѣ онъ? Дома? Хорошо, я хочу его видѣть! Пойдемте, прибавилъ онъ съ пламенной энергіей.

Онъ твердыми шагами дошелъ до улицы Монмартръ; на головѣ его не было шляпы, несмотря на холодную ночь, и отъ времени до времени онъ произносилъ отрывочныя фразы:

— Кто его убилъ? Кто его убилъ? Убійца дорогого поплатится... Клодъ убить! Я не вѣрю... Это невозможно!

Передъ домою улицы Монмартръ стояла уже толпа, несмотря на ночное время. При видѣ Жана Ривьера шумъ и говоръ прекратились и ему молча дали дорогу.

— Гдѣ онъ? Куда его положили? спрашивалъ старикъ жалобнымъ, ребяческимъ тономъ.

Увидавъ лежавшій на кровати трупъ, блѣдный, окостенѣвшій, онъ невольно отшатнулся и шопотомъ промолвилъ:

— Такъ это правда!

Онъ схватилъ руку Клода, покрылъ ее поцѣлуями и залился слезами.

— Милый, добрый Клодъ! бормоталъ онъ. — Ты, олицетворенная честь и добродѣтель, убить, какъ собака! А я живъ—я, ни на что ненужный, ни на что негодный человѣкъ! Я похороню тебя такъ-же, какъ твою мать и маленькую сестру! Гдѣ-же справедливость? Съ которыхъ поръ дѣти умираютъ ранѣе родителей? Отчего умеръ ты, а не я?

Наконецъ, онъ съ необыкновеннымъ величіемъ, котораго отъ него нельзя было ожидать, медленно закрылъ глаза сына. Потомъ, обращаясь къ присутствующимъ, прибавилъ повелительнымъ тономъ:

— Сбѣгайте кто-нибудь въ улицу Бретань, къ марезиѣ Ригоди, и попросите, чтобъ г-жа Тереза Ривьеръ немедленно прибыла сюда. Также уведомяте о случившемся Сильвена Шамборо, живущаго въ улицѣ Почтъ. А теперь оставьте меня одного съ нимъ.

Онъ махнулъ рукою и всѣ удалились. Около часа несчастный отецъ сидѣлъ у бездыханнаго тѣла Клода; часто онъ вскакивалъ съ какой-то безумной надеждой, часто ему казалось отъ мерцанія свѣчей, что мертвый движется. Но уввы! это былъ обманъ чувствъ и зрѣнія.

Вдругъ дверь отворилась и въ комнату вбѣжала Тереза, блѣдная, отчаянная.

Увидавъ бездыханный трупъ, Тереза бросилась на колѣни и, простирая къ нему дрожащія руки, воскликнула задыхающимся голосомъ:

— Прости! прости!

— Да, просите у него прощенья, несчастная, сказала съ горечью Жанъ Ривьеръ; — быть можетъ, вы причиной его смерти.

— Я его убила? О! не говорите этого! умоляла Тереза съ раздражающимъ воплемъ. — Не обвиняйте меня!.. Я его убила! Такъ вотъ несчастье, которое я предчувствовала... Нѣтъ, я не убійца!. Я невинна... Клодь, Клодь!

Она звала его съ дикимъ отчаянiемъ, хватала за руку, покрывая ее поцѣлуями. Потомъ, желая видѣть роковую рану, она разстегнула его сюртукъ и съ ужасомъ вытащила изъ-за пазухи бѣлый шелковый поясъ, пронзенный шпагой и обогранный кровью.

— Мой поясъ! воскликнула она, устремляя на широкую бѣлую ленту странный, безчувственный взглядъ.

— Я поднялъ еще вотъ это, сказалъ Комбурна, подавая ей медальонъ; — вѣроятно, онъ выпалъ изъ кармана капитана.

Это былъ миниатюрный портретъ Терезы, еще молодой дѣвушки, работы Изабѣ, который Клодь Ривьеръ всегда носилъ при себѣ.

— Мой портретъ! произнесла она тѣмъ-же дикимъ голосомъ.

— Да, сказалъ Жанъ Ривьеръ, — онъ васъ любилъ и никогда не заставилъ проронить ни слезинки!

— Пожалѣйте меня! Пожалѣйте! воскликнула Тереза, ломая себѣ руки; — вы и не подозреваете, какъ я страдаю!

— Это, однакъ, не удѣлъ женщинъ, неожиданно произнесъ ироническій голосъ; — напротивъ, онъ губятъ людей и доводятъ ихъ до смерти, какъ бѣднаго Ривьера.

Тереза обернулась. Въ дверяхъ стоялъ Сильвенъ Шамборо, съ обнаженной головой, и смотрѣлъ на нее съ безжалостнымъ презрѣнiемъ.

— О! не будьте жестокосердиѣ его! промолвила несчастная женщина.

Ей казалось теперь, что единственнымъ ея заступникомъ былъ мертвый Клодь.

Шамборо молча подошелъ къ Жану Ривьеру и обнялъ его.

— Вотъ дѣло вашей политики, произнесъ старикъ съ ожесточеніемъ, указывая на холодное тѣло сына;—его у меня убили.

— Кто? спросилъ Шамборо.

— Гражданинъ, произнесъ Комбурна, подходя къ бывшему члену конвента, котораго онъ нѣкогда зналъ на трибунѣ,—я видѣлъ и слышалъ все.

И онъ разсказалъ исторію страшной дуэли въ переулкѣ Венгерской Королевы, обвиненіе, взведенное на Ривьера, и смерть Клода, котораго насильно заставили защищаться.

Удивленіе, ужасъ и злоба выражались попеременно на лицахъ Шамборо и Жана Ривьера, которые жадно слушали каждое его слово.

— Эти люди сумасшедшіе! воскликнулъ Шамборо.

— Мой Клодъ—воръ! произнесъ Ривьеръ;—мой Клодъ сдѣлалъ подлогъ! Нѣтъ, это не сумасшедшіе, это разбойники, подлецы!

Тереза какъ-будто не слушала разсказъ Комбурна, но когда онъ кончилъ, она встала и спросила съ изумительной твердостью:

— Вы знаете людей, дерзнувшихъ его обвинять?

— Одного знаю, отвѣчалъ Комбурна.

— Какъ его зовутъ?

— Полковникъ Тевено.

— Я знаю, гдѣ онъ живетъ. И онъ повѣрилъ! Какъ, прибавила Тереза съ страстнымъ энтузіазмомъ, смотря на оледенѣвшій трупъ,—Тевено повѣрилъ, что такой человѣкъ могъ совершить низкое злодѣйство! Но не бойся, Клодъ, я назову настоящаго виновника.

— Вы его знаете? Ты его знаешь? спросилъ Шамборо.

— Знаю-ли я его! повторила Тереза съ дикимъ, болѣзненнымъ хохотомъ.

Болѣе она не сказала ни слова и молча просидѣла подлѣ мертвеца всю ночь, вмѣстѣ съ Жаномъ Ривьеромъ и Сильвенномъ Шамборо.

Утромъ она объявила, что ей надо уйти. Жанъ Ривьеръ былъ такъ убитъ, что не спросилъ, куда и зачѣмъ она отправлялась, но Шамборо воскликнулъ:

— Зачѣмъ его оставлять!

— Зачѣмъ? произнесла она, бросая дикій взглядъ на дядю;— для того, чтобъ заставить клеветниковъ преклониться передъ нимъ.



— Ступай! отвѣчалъ членъ конвента, не спрашивая никакихъ объясненій.

Тереза застала полковника Тевено за письменнымъ столомъ, на которомъ лежало много бумагъ и два пистолета. Онъ былъ блѣденъ, какъ полотно, и красные, налитые кровью глаза свидѣтельствовали о ночи, проведенной имъ безъ сна.

— Вы меня узнали? воскликнула Тереза, смотря ему прямо въ глаза.

Полковникъ молча, почтительно поклонился.

— Вы знаете, зачѣмъ я къ вамъ пришла?

Онъ поникъ головою передъ такимъ страшнымъ несчастьемъ.

— Я пришла вамъ сказать, продолжала Тереза, — что вы убица, и человекъ, котораго вы убили, лучше васъ всѣхъ.

— Сударыня, произнесъ Тевено дрожащимъ голосомъ, — дуэль безжалостна и правосудіе...

— Не говорите о правосудіи, перебила его Тереза съ жаромъ; — я знаю все: мнѣ передали обвиненіе, брошенное вами въ лицо капитану Ривьеру. Это обвиненіе ложное. Вы думаете, что воздали достойную кару виновному, а вы убили невиннаго, вы зарѣзали своего друга.

Тевено молчалъ, не смѣя возражать несчастной.

Лихорадочное возбужденіе, гнѣвъ и страданія Терезы усиливались каждую минуту.

— Вы мнѣ не вѣрите? воскликнула она съ тѣмъ дикимъ, безумнымъ хохотомъ, который такъ поразилъ Шамборо и Ривьера; — я докажу, что говорю правду. Вы вызвали на дуэль капитана Ривьера потому, что въ Бордо были представлены фальшивые векселя, и вы обвинили его въ подломъ преступленіи. Вы видите, мнѣ все извѣстно, и вы можете быть со мною откровенны. Не бойтесь, я васъ не выдамъ. Онъ сохранилъ-бы вашу тайну и я ее сохраню.

— Я вижу, что вы все знаете, отвѣчалъ медленно Тевено.

— Я знаю болѣе, чѣмъ вы думаете. Подлецъ, васъ обворовавшій, не капитанъ Ривьеръ, а другой вашъ товарищъ.

— Кто? спросилъ полковникъ, страшно поблѣднѣвъ.

— Капитанъ Чіампи.

— Онъ! воскликнулъ Тевено, сверкая глазами. — Вы знаете, что подобное обвиненіе...

— Этого только не доставало! перебила его Тереза, пожимая плечами;—вы, не задумываясь, признали виновнымъ челоуѣка, который, по своимъ нравственнымъ качествамъ, былъ выше всякаго подозрѣнія, а теперь защищаете негодя Чіампи.

Послѣднія слова она произнесла съ невѣроятной злобой и презрѣніемъ.

— Капитанъ Ривьеръ былъ кассиромъ нашего общества, сказалъ твердо Тевено.

— Да.

— Онъ намъ передалъ фальшивые векселя.

— Да, но Агостино Чіампи укралъ у него настоящіе векселя и подмѣнилъ ихъ фальшивыми.

— Укралъ? воскликнулъ полковникъ, чувствуя, что сердце его болѣзненно сжалось.

— Да, укралъ! Я вамъ говорю, что Чіампи виновенъ во всемъ. Онъ заслуживалъ смерти, а вы убили Клода.

— Господи! воскликнулъ Тевено,—если это правда, я сожгу руку, поразившую Ривьера. Нѣтъ, вы его любите и потому, естественно, защищаете его доброе имя. Мы его осудили и капитанъ Чіампи также подавалъ голосъ противъ него.

— Еще-бы! Онъ разомъ уничтожалъ соперника и доказательство своего преступленія. Конечно, онъ не пропустилъ такого счастливаго случая. А знаете вы, какимъ образомъ маркизь Агостино Олона проникалъ въ кабинетъ капитана Ривьера? продолжала Тереза съ лихорадочнымъ жаромъ;—онъ имѣлъ доступъ во всякое время въ домъ своего друга, онъ имѣлъ сообщницу, которая теперь отдала-бы жизнь, чтобъ загладить свою вину. Онъ такъ-же низко измѣнилъ своему другу, какъ и вамъ, своимъ товарищамъ; онъ соблазнилъ жену несчастнаго, котораго вы убили, онъ, Агостино Чіампи, былъ моимъ любовникомъ!

— Вашимъ любовникомъ? воскликнулъ Тевено, съ ужасомъ отшатнувшись отъ Терезы.

— Да, онъ былъ моимъ любовникомъ. Богъ свидѣтель, что я его ненавижу отъ всей души и что воспоминаніе объ его любви наполняетъ мое сердце стыдомъ и отвращеніемъ. Вы теперь понимаете, что вы сдѣлали? Клодъ ни въ чемъ невиноватъ, а виновенъ низкій, подлый измѣнникъ Чіампи.

— Боже мой! воскликнулъ Тевено, ударяя кулакомъ по столу,—неужели это правда?

— Вы мнѣ не вѣрите? Кажется, можно повѣрить женщинѣ, выдающей свою позорную тайну. Я измѣнила мужу, котораго должна была-бы любить безгранично—такъ онъ былъ благороденъ, добръ и великодушенъ. Но теперь меня жгутъ укоры совѣсти. Мнѣ кажется, что не вы его убили, а я! Мнѣ страшно! Я не хочу его болѣе видѣть. Онъ воскреснетъ, чтобъ отомстить мнѣ...

Вида отчаяніе и волненіе несчастной женщины, Тевено могъ ей не повѣрить, но на всѣ его дальнѣйшіе вопросы она отвѣчала такъ точно и обстоятельно, что всякое сомнѣніе исчезало.

Чтобъ очистить память Клода и обвинить Чіампи, она рассказала Тевено всѣ подробности своего бѣгства, жизни съ Чіампи, признанія въ подлогѣ. Тевено слушалъ ее съ болѣзненно-сжавшимся сердцемъ—и крупныя слезы выступали на его глазахъ. Блѣдный, отчаянный, онъ походилъ болѣе на мертвеца, чѣмъ Клодъ Ривьеръ.

— Прощайте, сударыня, сказалъ онъ, вдругъ обращаясь къ Терезѣ;—вы убили его столько-же, сколько и я. Вы, должно быть очень страдаете.

— Я? произнесла Тереза, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ;—мнѣ не долго страдать.

Она удалилась, гордая, счастливая тѣмъ, что принесла въ жертву свою честь. Ей казалось, что если-бъ Клодъ слышалъ ея оправданіе, онъ забылъ-бы ея вину. Чѣмъ дальше она шла по улицамъ, тѣмъ болѣе увеличивалось въ ней лихорадочное волненіе, кровь прилиwała къ головѣ, въ глазахъ мутилось и мало-по-малу она пришла къ убѣжденію, что Клодъ Ривьеръ не умеръ, а спалъ дома въ ожиданіи ея.

— Онъ спитъ, потому что страдаетъ, говорила она себѣ,—но когда я скажу ему, что настоящій виновный найденъ и его честь восстановлена, онъ съ радостью встанетъ.

И она громко повторяла на улицѣ: „Клодъ, Клодъ!“

Возвратясь домой, она, къ ужасу Комбурна и привратника, спросила съ улыбкой:

— Капитанъ никуда не выходилъ?

Потомъ она быстро взбѣжала по лѣстницѣ и вошла въ ком-

нату, гдѣ лежало тѣло Клода. Свѣчи горѣли вокругъ него. Жанъ Ривьеръ сидѣлъ все на томъ-же мѣстѣ, безмолвный, недвижимый. Шамборо безсознательно смотрѣлъ въ окно. Увидавъ Терезу, онъ спросилъ:

— Ну, что?

— Шшш! промолвила Тереза все съ той-же улыбкой и прикладывая палецъ ко рту.—Клодъ! Клодъ! прибавила она, подходя къ постели, на которой покоился вѣчнымъ сномъ мужественный воинъ,—я видѣла Тевено, Клодъ, онъ знаетъ все. Тебя болѣе ни въ чемъ не подозрѣваютъ. Встань, Клодъ! Подлеца достойно накажутъ. Ты спишь? Бѣдный Клодъ, какъ онъ усталъ! Не мѣшайте ему спать, дядя. Но какъ онъ будетъ счастливъ, когда, проснувшись, узнаетъ, что Тевено его ждетъ! Я сама передамъ ему эту радостную вѣсть. Не шумите, не шумите. Сонъ—лучшее лекарство. Пусть онъ спитъ, пусть онъ спитъ! А мнѣ болѣе никогда не сомкнуть глазъ!

Жанъ Ривьеръ смотрѣлъ на нее пристальными, безсознательными глазами.

— Какое страшное возмездіе! произнесъ Шамборо съ ужасомъ;—несчастливая сошла съ ума!

### XXIII.

#### Незаконный сынъ.

Агостино Чіампи уже болѣе не боялся Клода Ривьера, но полковникъ Тевено могъ быть для него еще опаснѣе. Слушая исповѣдь бѣдной Терезы, Тевено поклялся наказать итальянца, но въ этомъ ему помѣшала полиція Фуше. По всей вѣроятности, тайное общество было давно подъ надзоромъ полиціи и преемникъ полковника Удѣ былъ хорошо ей извѣстенъ; во всякомъ случаѣ, нѣкоторые изъ заговорщиковъ были арестованы.

Потерявъ деньги, лежавшія у банкировъ Борда и Базавана, филадельфы не могли привести въ исполненіе свой планъ дѣйствій. Упустивъ, такимъ образомъ, удобную минуту для рѣшительной борьбы, они легко попали въ сѣти герцога Отрантскаго. Быть можетъ, эта насильственная отсрочка была единственной

причиной ихъ неуспѣха, и кто поручится, что возстаніе Мале, неудавшееся въ 1812 г., не увѣнчалось-бы успѣхомъ въ 1809 г.? Во всякомъ случаѣ, Пьеръ Германъ, Лоранъ Малардье и Жиродьеръ были арестованы на военной гауптвахтѣ, и въ арміи распространился слухъ, что ихъ предалъ одинъ изъ товарищей.

Въ ту-же ночь полиція явилась въ домъ Бернара Тевено. Полковникъ еще не ложился спать и могъ-бы, выпрыгнувъ въ окно, искать спасенія въ бѣгствѣ; но онъ объ этомъ и не подумалъ.

— Отворите, именемъ закона, произнесъ какой-то невѣдомый ему голосъ за дверью.

— Законъ, сказалъ Варъ:—это право каждаго человѣка жить и умереть свободнымъ.

И онъ зарядилъ пистолеть.

— Отворите, повторилъ тотъ-же голосъ, и опытная рука стала быстро ломать замокъ.

— Клодь! произнесъ Тевено громко, словно онъ говорилъ съ умершимъ, — даже одержавъ побѣду, я не остался-бы въ живыхъ послѣ твоей смерти. Побѣжденный, я иду къ тебѣ.

Въ ту самую минуту, какъ дверь отворилась, раздался выстрѣлъ и Тевено упалъ на полъ съ пробитымъ черепомъ.

— Онъ убилъ себя! воскликнулъ Бернье, руководившій арестомъ, и приступилъ къ обыску, но ничего не нашелъ, кромѣ листовъ бѣлой бумаги и двухъ книгъ Тацита и „Трактата о добровольномъ рабствѣ“.

Германъ, Малардье и Жиродьеръ, преданные военному суду, были приговорены къ смертной казни; они умерли мужественно, съ громкимъ крикомъ: „Да здравствуетъ Франція и свобода!“

Между тѣмъ смерть капитана Ривьера глубоко поразила Солиньяка. Дюпюитрень, боясь дурныхъ послѣдствій, запретилъ ему присутствовать при похоронахъ, но Солиньякъ не послушался и, опираясь на руку вѣрнаго Кастаре, проводилъ своего любимаго товарища до его послѣдняго жилища. Однакожъ, несмотря на опасенія врача, горе не имѣло особенно губительнаго вліянія на красавца-полковника, который мало-по-малу привыкъ къ страданіямъ. Къ тому-же любовь мѣшала ему предаваться отчаянію.

Луиза призналась ему въ своей любви въ одну изъ тѣхъ ми-

нуть, когда сердце просится наружу и сокровенныя тайны невольно выговариваются. Откровенно, честно, съ гордымъ достоинствомъ и счастливою улыбкой она сказала, что любить его и съ радостью соединить свою жизнь съ его жизнью.

— Только, прибавила она съ очаровательной усмѣшкой, — смотрите, чтобъ счастье не разбило ваше сердце. Впрочемъ, продолжала она тотчасъ съ пламенной нѣжностью, — я надѣюсь, что сумѣю удержать ваше сердце отъ грозящей ему опасности.

Солиньякъ былъ внѣ себя отъ радости и блестящія лучи этого счастья ступевали горе, навѣянное на него смертью Ривьера.

Однакожь, Луиза не скрывала отъ него, что ихъ браку мѣшало одно препятствіе — воля ея дѣда.

— Неужели маркизъ Новаль можетъ вамъ помѣшать выйти за человѣка, котораго вы сами избрали?

— Маркизъ представляетъ въ моихъ глазахъ отцовскую власть, и если я отказала выбранному имъ жениху, то вы, конечно, согласитесь, что я не могу выйти замужъ за другого безъ его согласія.

— Я буду просить у маркиза вашей руки, Луиза.

— Дай Богъ, чтобъ онъ согласился.

— А если онъ не согласится? спросилъ Солиньякъ съ ужасомъ, — то неужели вы подчинитесь его волѣ?

— Я не знаю, что я сдѣлаю, мой другъ, но я хочу, чтобъ маркизъ благословилъ нашъ бракъ. Такова была послѣдняя воля моего отца.

На другой день Солиньякъ приказалъ доложить о себѣ маркизу Новалю. Старикъ принялъ его съ гордымъ достоинствомъ.

— Неудобно-ли вамъ присѣсть, милостивый государь, сказалъ онъ, указывая на кресло, и потомъ съ усиленіемъ прибавилъ: — сядьте, полковникъ.

Въ глазахъ аристократа этотъ солдатъ обманомъ схватилъ чинъ полковника. Въ доброе старое время чины покупались и тогда они были, по крайней мѣрѣ, собственностью.

— Я пришелъ къ вамъ, маркизъ, съ просьбою, сказалъ Солиньякъ съ видимымъ волненіемъ, — и надѣюсь, что вы взглянете на нее благосклонно, такъ-какъ отъ васъ зависитъ счастье всей моей жизни и еще одной, дорогой для васъ особы.

Старикъ давно ожидалъ подобнаго разговора и потому тотчасъ навострилъ уши.

— Позвольте мнѣ, маркизъ, быть съ вами откровеннымъ, продолжалъ Солиньякъ, — какъ подобаетъ солдату.

— Конечно, конечно, отвѣчалъ Новаль: — я самъ былъ морякомъ и знаю солдатскій языкъ, хотя онъ съ той поры очень измѣнился. Я долженъ вамъ сказать, полковникъ... что мы въ старину были воинами, а не наемниками.

— Вы были, маркизъ, тѣмъ-же, чѣмъ мы, — добрыми французскими солдатами.

Солиньякъ сдѣлалъ надъ собою неимоверное усиліе, чтобъ не вспылить, а маркизъ серьезно обидѣлся его словами.

„Что-жь, подумалъ старикъ, — онъ меня, пожалуй, назоветъ добрымъ малымъ“.

— Итакъ, я буду откровененъ, маркизъ, продолжалъ полковникъ; — я люблю съ пламенной и почтительной преданностью вашу внучку, графиню Фаржъ.

— Далѣе...

— Я имѣю честь просить у васъ ея руки, маркизъ.

— Вы просите руку моей внучки?

— Да, маркизъ.

— Вотъ видите, милостивый гос... полковникъ, произнесъ Новаль съ полулюбезной и полуиронической улыбкой, — вы просили позволенія говорить прямо, а я позволю себѣ быть даже грубымъ. Но мы должны понять другъ друга, и прошу васъ забыть все, что я буду принужденъ сказать вамъ.

Солиньякъ молчалъ, предчувствуя, что онъ тотчасъ наткнется на ту преграду, о которой говорила ему Луиза.

Старикъ понюхалъ табуку, оглянулъ полковника съ головы до ногъ и сказалъ тѣмъ особымъ тономъ аристократовъ восемнадцатаго столѣтія, который превращалъ учтивость въ грубость, нелишенную, однакожь, своей прелести:

— Я полагаю, полковникъ, что вы подумали серьезно прежде, чѣмъ рѣшились на этотъ шагъ. По-моему, мужъ долженъ прежде всего дать женѣ не титулъ, не богатство, а имя.

Солиньякъ позеленѣлъ. Ему казалось, что въ эту минуту дѣйствительно сердце у него лопнетъ. Маркизъ дотронулся до его

самоѣ чувствительной струны. Но онъ все-же пересилилъ свое волненіе и отвѣчалъ достаточно твердымъ голосомъ:

— Я полагаю, маркизъ, что человѣкъ, составившій себѣ имя на полѣ брани, заслуживаетъ столько-же уваженія, сколько человѣкъ, который только потрудился пожаловать на свѣтъ.

— Чортъ возьми! произнесъ Новаль,—аристократія, достоинство! Хорошо, я признаю вашу новую аристократію, но, я полагаю, все-таки необходимо, чтобы она была основана на семьѣ, законномъ бракѣ и...

— Довольно, маркизъ! воскликнулъ съ жаромъ Солиньякъ;— неужели вы станете упрекать меня въ томъ, что я незаконно-рожденный?

— Я никогда не рѣшился-бы произнести этого слова, полковникъ; но такъ-какъ вы его выговорили, то я буду откровененъ. Не бойтесь, я не стану васъ упрекать. Были незаконно-рожденные, передъ которыми исторія снимаетъ шляпу, если у нея есть таковая. Напримѣръ, герцогъ Вандомскій довольно знаменитая личность, и наши законные государи часто дарили монастырскія земли дѣтямъ любви... Но что-жь дѣлать? я старикъ и имѣю предразсудки. Я могъ-бы еще по слабости характера дозволить внучкѣ выйти за человѣка съ самой буржуазной фамиліей, но выдать ее за незаконно-рожденного — никогда! Клянусь, полковникъ, что моя внучка никогда...

— Никогда не выйдетъ замужъ, перебилъ его Солиньякъ,— за человѣка, который, явившись на свѣтъ безъ родословной, сдѣлалъ полкъ своимъ семействомъ и родину своей матерью,— за человѣка, который мечомъ достигъ не титула, а честнаго имени.

— Кто-же сомнѣвается въ вашихъ военныхъ доблестяхъ, полковникъ? Пусть вашъ императоръ дастъ вамъ маршальскій жезлъ, какъ нѣкогда далъ король герцогу Виллару, и я буду рукоплескать обѣими руками... но выдать за васъ мою внучку...

— Графиня Фаржъ меня любитъ.

— Можетъ быть. Такъ что-жь? Пусть она забудетъ, что я глава ея семейства, и сдѣлаетъ по-своему. Въ послѣднее время мы видѣли и не то. Я ее проклянусь.

— Вы знаете, маркизъ, что графиня Фаржъ васъ уважаетъ и видитъ въ васъ какъ-бы своего отца.



— Ея отецъ никогда не согласился-бы, чтобъ его аристократическая кровь смѣшалась съ кровью незаконнорожденнаго.

— Довольно! воскликнулъ рѣзко Солиньякъ; — ни слова болѣе, маркизъ. Вы отказываете мнѣ въ рукѣ женщины, которую я люблю? Вы дѣлаете несчастными меня и вашу внучку. Какъ вамъ угодно. Графиня Фаржъ скажетъ вамъ сама, къ какимъ послѣдствіямъ приведетъ ваша безумная гордость и упрямство.

— Чортъ возьми! произнесъ маркизъ съ сердцемъ, когда Солиньякъ вышелъ изъ комнаты, — съ какимъ-бы удовольствіемъ лѣтъ сорокъ тому назадъ я приказалъ-бы отпороть этого молодца! Слыханное-ли дѣло ему жениться на дочери моего сына? И эта дура влюбилась въ наемника, а отказываетъ маркизу Олона! Куда идти. свѣтъ! куда идти свѣтъ!

Возвратясь къ Луизѣ, Солиньякъ сказалъ ей:

— Я не знаю, кто были мои родители. Меня назвали Солиньякомъ по селенію, въ которомъ я родился. Но этого имени, извѣстнаго врагамъ и уважаемаго солдатами, недостаточно для маркиза Новаля. Дѣлать нечего; незаконнорожденный сойдетъ со сцены. Вы меня никогда болѣе не увидите. Прощайте.

— Пустяки, отвѣчала Луиза; — до свиданія!

Послѣ ухода Солиньяка она отправилась прямо къ маркизу Новалю.

— Вы сегодня сдѣлали двухъ несчастными, сказала она.

— Какъ! и вы туда-же?

— Я люблю Солиньяка такъ-же пламенно, какъ ненавижу вашего Олона, и я надѣюсь, маркизъ, что вы переѣдете свое мнѣніе.

— Никогда. Солиньякъ! Солиньякъ! Что такое Солиньякъ? Селеніе, деревня, вотъ и все. Вы не думаете-же вѣйти замужъ за деревню?

— Я хочу быть счастливой женой благороднѣйшаго изъ людей.

— Такъ что-жь? Будьте счастливой женою помимо моего согласія. Вы совершеннолѣтняя. Вѣдь вамъ это разрѣшаетъ вашъ гражданскій кодексъ. Но я именемъ вашего отца...

— Вы знаете, что воспоминаніе объ отцѣ не дозволить мнѣ васъ послушаться.

— Еще-бы! Подумайте сами: если-бъ еще вашъ рыцарь имѣлъ какое-нибудь буржуазное имя: Ленуаръ, Меружъ, Леверъ... А то: Солиньякъ!

Луиза видѣла, что лучше было не приставаъ въ эту минуту къ старику, и прекратила разговоръ. Однакожь, послѣднiя слова маркиза пробудили въ ней надежду...

— Имя! между тѣмъ говорилъ Солиньякъ съ горечью. — Я могу съ боя взять всѣ чины, всѣ титулы, я могу отдать за любимую женщину свою жизнь, но дать ей имя — невозможно. О, человеческое безумiе! О, злая судьба! Будьте храбрыми и добрыми человекомъ, любите и заслужите любовь — и все-же вы остаетесь побочнымъ, незаконнымъ отродьемъ.

Возвратясь домой, Солиньякъ былъ такъ грустенъ и задумчивъ, что маркиза Ригоди не могла не замѣтить въ немъ этой неожиданной перемены. Она старалась его разспросить, въ чемъ дѣло, но онъ упорно молчалъ.

„А! подумала она, потирая свой длинный носъ, — это дѣло серьезное. Но я женщина и сумѣю выпытать у него истину“.

Она, дѣйствительно, съ большимъ искусствомъ повела атаку.

— Кажется, я васъ довольно люблю, чтобъ вы были со мною откровенны, сказала она; — я достаточно вамъ доказала свою преданность и не заслужила съ вашей стороны такого презрѣнiя. Неблагодарность — гадкiй порокъ, а безъ меня...

— Конечно, отвѣчалъ Солиньякъ, — безъ васъ я никогда не дослужился-бы до офицерскихъ эполетъ. Я это знаю, и только что маркизъ Новаль напомнилъ мнѣ, что я найденнышъ.

— Ну, вотъ мы и близки къ истинѣ. Я начинаю понимать, въ чемъ дѣло. Вы просили у маркиза руки графини Фаржъ?

— Да.

— И онъ отказалъ?

— Наотрѣвъ.

— На какомъ основанiи?

— Я не желалъ-бы повторять его словъ, они мнѣ жгутъ глотку.

Солиньякъ не замѣтилъ неожиданной перемены, происшедшей въ маркизѣ Ригоди; голубые глаза старой дѣвы горѣли злобнымъ огнемъ и она нетерпѣливо ломала себѣ пальцы.

— Ну, ну! объясните-же, въ чемъ дѣло? Неужели старый ду-

ракъ васъ оскорбилъ? Что онъ сказалъ? Кажется, я имѣю право это узнать.

— Вотъ видите, воскликнулъ Солиньякъ съ жаромъ, — маркизъ Новаль бросилъ мнѣ въ лицо презрѣнное названіе людей, неимѣющихъ ни родителей, ни семейства. Онъ знаетъ, что Солиньякъ не мое имя, а названіе лимузенскаго селенія, въ которомъ вы меня нашли. А я, безумецъ, надѣялся быть мужемъ графини Фаржъ! Я... незак...

— Молчите! молчите! перебила его маркиза Ригоди. — Я понимаю. Не говорите этого страшнаго слова, Гаври, не говорите. Какъ! Старый пошлякъ осмѣлился... Старый болванъ! Полковникъ Солиньякъ развѣ не стоитъ всѣхъ Новалей, живыхъ и мертвыхъ? Что онъ сдѣлалъ въ жизни самъ, чтобъ пренебрегать героемъ? Я его осажу.

— Вы?

— Да, я поѣду къ нему. Родъ Ригоди почище Новалей. Если онъ вздумалъ кичиться родословной, такъ я ему покажу сотни пергаментовъ. Пусть увидитъ, что такое настоящая рыцарская кровь!

И она стала нетерпѣливо шагать по комнатѣ, но черезъ нѣсколько минутъ остановилась, позвонила и приказала закладывать экипажъ.

— Такъ вы ѣдете? спросилъ Солиньякъ.

— Сію минуту.

— Вы только даромъ потеряете время.

— Не думаю. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, я хочу съ нимъ объясниться. А вы пожалуйста подождите меня здѣсь. Я возвращусь черезъ часъ, и увѣрена, что привезу вамъ радостную вѣсть.

Она выбѣжала изъ комнаты, какъ безумная, и, какъ безумная, черезъ четверть часа явилась къ маркизу Новалю.

Старикъ принялъ ее, какъ всякій „порядочный человѣкъ“ долженъ былъ, по его мнѣнію, принять женщину, и съ изысканной любезностью спросилъ, чему онъ обязанъ такой честью.

— Вы, маркизъ, обязаны моимъ посѣщеніемъ не мнѣ, а вашей внучкѣ, отвѣчала старая дѣва.

„Какъ, опять Луиза?“ подумалъ Новаль, встрѣчавшій въ свѣтѣ маркизу Ригоди и знавшій ее съ самой хорошей стороны.

— Полковникъ Солиньякъ просилъ у васъ руки графини Фаржъ и вы ему отказали?

— Да, маркиза.

— Рѣшительно?

— Рѣшительно, сказалъ маркизъ съ удивленіемъ.

— Въ чемъ-же вы упрекаете полковника?

— Я, кажется, совершенно откровенно съ нимъ объяснился и считаю лишнимъ повторять. Неужели онъ вамъ поручилъ возобновить прерванные переговоры? Вы его другъ или родственница? Позвольте мнѣ, маркиза, во всякомъ случаѣ остаться при моемъ прежнемъ мнѣніи и не входить въ дальнѣйшія пререканія.

— Кто-бы я ему ни была, вамъ все равно, но я желала-бы, чтобъ вы высказали основательную причину вашего отказа.

— Нечего сказать, произнесъ старикъ, невольно засмѣявшись, — ваши выраженія прелестны! Вы требуете основательной причины моего отказа? Но скажите, какимъ именемъ подпишется вашъ полковникъ подъ брачнымъ договоромъ?

— Хорошо, значить вы отказали ему потому, что у него нѣтъ никакого имени. А если у него будетъ имя?

— Это невѣроятно, отвѣчалъ маркизъ, качая головой; — черезъ тридцать лѣтъ родители не признаютъ найденнышей за своихъ дѣтей.

— А вы забываете, маркизъ, что всякій найденнышъ — по праву аристократъ?

— Да, по словамъ найденнышей.

— Почему вы знаете, чей онъ можетъ быть сынъ?

— Мнѣ рѣшительно все равно.

— Почему вы знаете, что въ его жилахъ не течетъ такая-же благородная кровь, какъ ваша?

— Сомнѣваюсь, хотя судьба...

— Тутъ нѣтъ судьбы, а прекрасный воинъ, одаренный всѣми добродѣтелями истыхъ рыцарей...

— Хорошо рыцарь, вступившій въ армію Бонапарта.

— А развѣ лучше было служить въ главномъ штабѣ герцога Брауншвейгскаго?

— Однако, вы странно выражаетесь, маркиза, для одной изъ нашихъ.

— Я выражаюсь, какъ хочю, но у меня кипитъ кровь, видя,

что вы отворачиваетесь отъ зятя, котораго должны были-бы принять съ распростертými объятіями... Ахъ! если-бъ я была на мѣстѣ вашей внучки!

— Что-жь-бы вы сдѣлали?

— Я сдѣлала-бы по-своему и была-бы счастлива на зло вамъ.

— Маркиза, сказалъ старикъ съ презрительной улыбкой, — я думалъ, что имѣю честь принимать дочь маркиза Ригоди, а слушая васъ, мнѣ кажется, что передо мною рыночная гражданка.

— Не церемоньтесь, скажите прямо: торговка. Но, чортъ возьми, вы заставите хоть кого выйти изъ себя. А вы-то сами кто? Monsieur Véto!

— Monsieur Véto! воскликнулъ маркизъ, съ ужасомъ осматриваясь по сторонамъ. — Боже мой, какія выраженія! Ланжале! Ланжале! прибавилъ онъ, точно находился въ опасности и звалъ на помощь своего вѣрнаго управляющаго для защиты отъ этой странной женщины.

— Не бойтесь, я уйду, произнесла старая дѣва, — но если вы отказываете полковнику въ рукѣ вашей внучки только потому, что у него нѣтъ имени, то у него будетъ имя, отецъ, мать, — все, что хотите. Тогда мы посмотримъ, откажетесь-ли вы благословить бракъ, который осчастливитъ два любящія сердца.

Она выбѣжала изъ комнаты, какъ буря, оставивъ старика въ столбнякѣ.

— Monsieur Véto! повторялъ онъ бессознательно.

Упорство маркиза вдохнуло революціонный духъ въ старую дѣву, столь пламенно ненавидѣвшую якобинцевъ. Она надѣялась привести Солиньяку утѣшительный отвѣтъ и потому съ безпокойствомъ и злобою въ сердцѣ возвратилась домой.

— Я вамъ говорилъ, воскликнулъ Солиньякъ съ отчаяніемъ, узнавъ о результатѣ ея переговоровъ со старикомъ Новалемъ. — Незаконнорожденный!.. Пусть лучше пуля, засѣвшая въ мое сердце, сразу меня убьетъ. Я не могу болѣе страдать. Это слишкомъ ужасно!

— Ты хочешь умереть? воскликнула старая дѣва.

Солиньякъ не замѣтилъ, что она ему сказала „ты“, какъ въ дѣтствѣ, и повторилъ съ дикой рѣшимостью:

— Да, лучше умереть, чѣмъ такъ страдать! Смерть для меня будетъ освобожденіемъ.

— Ты съума сошелъ!

— Я люблю эту женщину всѣмъ сердцемъ и она не можетъ быть моею. Онъ мнѣ сказалъ: „вы незаконнорожденный“!

— Незаконнорожденный! Незаконнорожденный! А если-бъ ты былъ законнымъ?

Слиньякъ, въ свою очередь, подумалъ, что маркиза сошла съума.

— Что вы говорите?

Въ послѣднія минуты маркиза Ригоди какъ-бы преобразилась. Глаза ея лихорадочно горѣли и лицо напоминало прежнюю красавицу, несмотря на загорѣлыя морщины старости.

— Такъ нѣтъ-же, ты не умрешь! воскликнула она со слезами на глазахъ. — Ты будешь жить, ты будешь счастливъ! И никто не посмѣетъ болѣе назвать тебя незаконнорожденнымъ! Пока шло все хорошо, счастье улыбалось тебѣ и ты жилъ веселый, всѣми уважаемый, я могла сохранять свою тайну... Но ты страдаешь, ты плачешь, ты хочешь умереть! Чортъ возьми! пусть свѣтъ смѣется надо мною и бросаетъ въ меня камни, мнѣ все равно. Ты сегодня незаконнорожденный, а завтра будешь законнымъ.

— О, маркиза!

— Не называй меня маркизой! Посмотри на меня, Ганри, приди въ мои объятія, люби меня, я твоя мать!

— Вы?

— Я.

Не отгадывая тайны бѣдной женщины, Солиньякъ бросился къ ней на шею, покрывалъ ее поцѣлуями, смѣялся, плакалъ. Онъ былъ истинно счастливъ и вполне убѣжденъ, что теперь женится на Луизѣ.

— Я долженъ былъ-бы давно это отгадать по вашей добротѣ и любви ко мнѣ, промолвилъ онъ.

— Пустяки, отвѣчала маркиза Ригоди, отирая свои красные глаза; — плохая я мать, если до сихъ поръ не признала своего сына! Но, погоди, я заглашу свою вину. Не спрашивай у меня ничего и предоставь все мнѣ. Сынъ мой! Ты мнѣ теперь кажешься гораздо красивѣе и я люблю тебя въ сто разъ болѣе.

— Матушка!

Она закрыла глаза, прислушиваясь къ дивной мелодіи этого нѣжнаго слова; но чрезъ минуту она сказала съ энергіей полководца, идущаго въ бой:

— Пусть это останется тайной еще на нѣсколько часѣвъ. Теперь ступай, но дай мнѣ еще разъ тебя поцѣловать.

Когда Солиньякъ удалился, пораженный неожиданностью, но совершенно счастливый, она повзала свою прислугу и обычнымъ повелительнымъ тономъ воскликнула:

— Одѣваться! подать мнѣ всѣ мои брилліанты и кружева! Смотрите, Фурнье, чтобъ на вучерѣ и лакеяхъ были безукоризненные парики и чтобъ на экипажѣ не было ни пылинки.

— Что-жь, мы поѣдемъ къ императору? спросилъ Фурнье съ недовѣрчивой улыбкой.

— Къ императору! Какое мнѣ до него дѣло? отвѣчала маркиза Ригоди, качая головой, и прибавила взволнованнымъ голосомъ:— Мы ѣдемъ въ улицу Почтъ, Фурнье, къ Сильвену Шамборо, бывшему члену національнаго конвента.

#### XXIV.

##### ТАЙНА ШАМБОРО.

Двадцать девять лѣтъ тому назадъ въ Солиньякъ, хорошенькомъ лимузенскомъ селеніи, имя котораго носилъ красавецъ-полковникъ, жилъ небольшой собственникъ фермеръ Сильвенъ Шамборо. Отличаясь необычайнымъ умомъ и пламенной энергіей, этотъ молодой человекъ проживалъ съ своей матерью и однимъ работникомъ, который былъ скорѣе его другомъ, чѣмъ слугою. Онъ получилъ нѣкоторое образованіе и продолжалъ учиться самъ; онъ читалъ Руссо, Мабли, Вольтера, Дидро, и пaterъ, хорошій латинистъ, учившій его нѣкогда латинскому языку, часто говорилъ: „Сильвенъ гораздо ученѣе меня“.

Самое образованіе и наука не мѣшали Шамборо заниматься земледѣліемъ. Онъ не былъ очень богатъ, но имѣлъ достаточныя средства, чтобы жить съ матерью въ довольствѣ, тѣмъ болѣе, что онъ примѣнялъ свои знанія къ обработкѣ земли, всегда считавшейся однимъ изъ главнѣйшихъ источниковъ благоденствія Франціи. У него былъ старшій братъ Жерменъ Шамборо, но онъ поступилъ еще въ юныхъ годахъ въ морскую службу и о немъ не было никакихъ извѣстій до той поры, когда, много лѣтъ спу-

стя, онъ поручилъ Сильвену свою дочь Терезу. Мать обоихъ Шамборо была добрая, набожная вдова, гордившаяся своими дѣтьми, особенно Сильвеномъ, котораго любили и уважали всѣ поселяне, смотрѣвшіе на него, какъ на оракула. Всѣ въ Солиньякѣ готовы были идти за него въ огонь и въ воду, начиная съ Пантада, — такъ звали его работника.

Любимый всѣми и обеспеченный въ будущемъ, что было рѣдкостью въ то время тяжелой борьбы за существованіе, Сильвентъ Шамборо былъ-бы совершенно счастливъ, если-бы рядомъ съ Солиньякомъ не возвышался замокъ, въ которомъ жила прелестная, гордая молодая дѣвушка. Бѣдный безумецъ, сынъ поселянина, осмѣлился поднять глаза на очаровательную аристократку.

Въ солиньякскомъ замкѣ, отъ котораго теперь не осталось никакихъ слѣдовъ, обитала въ 1780 г. Роза-Эдмея Ригоди. Подобно Шамборо, она въ дѣтствѣ лишилась отца, изящнаго, любезнаго, скептическаго аристократа, отъ котораго она наслѣдовала мужественный духъ и вольтерьянскія наклонности. Несмотря на свои 20 лѣтъ, она жила монастырской жизнью съ старой матерью, маркизой Ригоди, отличавшейся пуританскою строгостью и разстроеннымъ здоровьемъ; всѣми дѣлами ея завѣдывалъ управляющій, по имени Бусакъ.

Это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые, происходя изъ народа, находятъ наслажденіе въ тиранствѣ, словно притѣсняя другихъ, они себя возвышаютъ. Вообще онъ былъ полнѣйшей антитезой Шамборо. На-сколько послѣдняго всѣ любили, настолько перваго ненавидѣли. Несмотря на усилія Тюрго уничтожить барщину и уменьшить налоги, положеніе поселянъ въ Лимузенѣ было очень тяжелое, а Бусакъ своей жестокостью еще увеличивалъ тяготившее ихъ бремя. Въ тѣ времена достаточно было одного неурожайнаго года, чтобы совершенно разорить страну; въ одинъ такой годъ въ Лиможскомъ округѣ погибло голодной смертью 60,000 человѣкъ, трупы которыхъ подбирали по дорогамъ. Бусакъ, не обращая вниманія на страшное бѣдствіе, продолжалъ сажать въ тюрьму недоимщиковъ по арендной платѣ за землю, а когда добрая, молодая Роза умоляла мать пощадить бѣдняковъ, Бусакъ говорилъ, качая головою:

— Я не въ состояніи буду управлять вашими помѣстьями, маркиза, если вы станете требовать, чтобы я обращался состра-



дательно съ людьми, которыхъ надо держать въ ежовыхъ рукавицахъ.

— Бусаекъ говоритъ правду, замѣчала всегда старая маркиза:— предоставь все ему и не вмѣшивайся, Роза, не его свое дѣло. Сядь лучше за клавикорды и сыграй ночью пьесу Ремо; женщины неспособны къ управленію помѣстьями.

Хотя въ послѣдствіи молодая дѣвушка доказала несправедливость этого мнѣнія, но тогда она молча повиновалась матери. Однакожь, уже тогда она была чрезвычайно рѣшительна и мужественна. Она часто одна по цѣлымъ часамъ скакала по окрестностямъ замка на кровномъ конѣ, жадно вдыхая въ себя воздухъ и съ восторгомъ любуясь природой своими большими, открытыми, честными глазами.

На конѣ ее увидалъ впервые и Сильвенъ Шамборо. Она пронеслась мимо него, какъ чудное виденіе; но черезъ нѣсколько дней онъ снова ее увидалъ. На этотъ разъ ея лошадь, закусивъ удила, бѣшено мчалась, и молодой человѣкъ, бросившись на встрѣчу разъяренному животному, остановилъ его могучей рукой.

— Вы спасли мнѣ жизнь, сказала Роза, прыгивая съ лошади и пожимаая руку юношѣ, который никогда въ жизни не забылъ того неожиданнаго электрическаго удара, который онъ ощутилъ въ эту минуту.

Судьба Сильвена Шамборо была на-вѣки связана съ этимъ чуднымъ видѣніемъ. Онъ мечталъ о немъ и днемъ, и ночью; съ своей стороны, и Роза Ригоди, хотя вообще немечтательная, часто невольно вспоминала о спасшемъ ее юношѣ съ открытыми, благородными глазами. Прежде она проводила жизнь очень прозаично, и только ежедневно посѣщая бѣдныхъ поселянъ, старалась хотя слабо вознаградить ихъ за притѣсненія Бусака; но теперь она иногда предавалась мечтамъ, конечно, несбыточнымъ и невозможнымъ.

Между тѣмъ мать Шамборо часто повторяла ему:

— Ты блѣднѣешь и худѣешь, Сильвенъ; книги тебя убиваютъ.

— Берегись, произносилъ ему на ухо Плантадъ,—не надо смотрѣть на слишкомъ высокую горную вершину, голова закружится.

У Шамборо не кружилась голова, но онъ просто любилъ Розу Ригоди и не старался даже побороть этого чувства. Онъ вполне

сознавалъ все свое безуміе, но говорилъ себѣ: „Она никогда не узнаетъ моей тайны! А я счастливъ, видя ее и нося въ сердцѣ ея дорогой образъ“.

Одно только событіе могло сблизить молодыхъ людей, и оно неожиданно случилось. Желѣзная рука Бусака до того угнетала несчастныхъ поселянъ, что они, наконецъ, взволновались, что нерѣдко случалось и до революціи въ эпохи неурожая.

При первомъ извѣстїи о волненїи Бусака бѣжалъ въ Лиможъ за помощью военной команды и юная Роза осталась одна для защиты замка. Всѣ слуги дрожали отъ страха, а старая маркиза была не въ состоянїи что-либо предпринять въ такую критическую минуту.

— Я васъ защищу, матушка, сказала молодая дѣвушка съ энергіей;—я пойду и успокою несчастныхъ, которыхъ вывелъ изъ терпѣнїя жестокой Бусака.

Она мужественно вышла къ толпѣ. Ее не испугали ни крики, ни маханья косами, кольями, но, по несчастью, взволнованной массѣ показалось, что Роза издѣвается надъ ними. Съ дикимъ ревомъ грубые поселяне и ихъ жены бросились на бѣдную Розу и уже повлекли ее со двора замка, какъ на ея помощь явился Сильвенъ Шамборо съ Плантадомъ.

Его вмѣшательства было достаточно, чтобы спасти молодую дѣвушку, но, несмотря на все свое мужество, она лишилась чувствъ, какъ только миновала опасность, и Шамборо съ Плантадомъ отнесли ее въ свою ферму. Потомъ Сильвенъ возвратился къ замку, желая предохранить отъ опасности и старую маркизу. Но гроза уже миновала. Поселяне забыли о владѣльницѣ замка и занялись опустошенїемъ ея погребовъ. Убѣдившись, что все обстоитъ благополучно, и поручивъ охрану маркизы нѣсколькимъ вѣрнымъ товарищамъ, Шамборо пошелъ домой. Между тѣмъ настала ночь и онъ по дорогѣ встрѣтилъ Плантада, который передалъ ему, что Роза Ригоди не имѣла силъ возвратиться въ замокъ, а осталась ночевать на фермѣ. Сердце Шамборо судорожно сжалось. Онъ съ счастьемъ отдалъ-бы свою жизнь, чтобы избавить любимую дѣвушку отъ страданїй, и не могъ не пожалѣть, что на фермѣ ее не могли окружить тѣми удобствами, въ которыхъ она привыкла. Но онъ былъ убѣжденъ, что его мать уступила ей свою комнату, и потому самъ, чтобы не обезпечить

больной, пошелъ въ комнату скотницы, которая наканунѣ уѣхала въ городъ. Онъ хотѣлъ, не раздвѣаясь, броситься на постель и отдохнуть немного, такъ-какъ ночью могла случиться новая тревога.

Но войдя въ комнату, полуосвѣщенную ночникомъ, онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ: на стулѣ висѣла шелковая мантилья. Онъ быстро подошелъ къ кровати и съ изумленіемъ увидаль на ней Розу Ригоди. Молодая дѣвушка не хотѣла беспокоить старуху Шамборо и, изнемогая отъ волненія, бросилась на кровать скотницы. Вскорѣ ея глаза закрылись и она заснула.

Первымъ движеніемъ Сильвена при видѣ спящей молодой дѣвушки было удалиться, но ноги его какъ-бы приросли къ землѣ и глаза не могли оторваться отъ прелестнаго лица. Сердце его тревожно билось, кровь прилила къ головѣ, въ глазахъ помутилось. Онъ всецѣло предался опьяняющему чувству любви. Она лежала передъ нимъ, она была въ его власти; онъ слышалъ ея тревожное дыханіе, онъ видѣлъ, какъ колыхалась ея грудь. Въ воздухѣ было что-то удушливое; грозовые тучи покрывали небо; атмосфера была пропитана электричествомъ.

Сильвенъ Шамборо какъ-бы обезумѣлъ. Нервные слезы катились по его щекамъ и долго сдерживаемый вопль, но не грустный, а радостный, вырвался у него изъ груди. Молодая дѣвушка съ испугомъ открыла глаза, но, увидавъ Шамборо, улыбнулась, не понимая хорошенько, какимъ образомъ онъ находился подлѣ нея. Она была еще подъ впечатлѣніемъ страшной сцены во дворѣ замка. Она чувствовала на своихъ плечахъ грубыя руки поселянъ; въ ухахъ ея раздавались ихъ крики. Эти страшныя видѣнія исчезали только передъ мужественнымъ образомъ ея избавителя, разогнавшего кровожадную толпу.

Шамборо думалъ, что она его немедленно прогонитъ, и былъ внѣ себя отъ счастья, когда она нѣжно его поблагодарила и спросила, въ безопасности-ли ея мать. Въ лихорадочномъ волненіи подошелъ онъ тогда къ молодой дѣвушкѣ и какъ-бы во снѣ объяснилъ ей свои чувства: свою пламенную любовь и безнадежное отчаяніе. Онъ былъ краснорѣчивъ и въ голосѣ его слышались необычныя, глубокія, непреодолимыя ноты. Роза, закрывъ глаза, въ полу-забытій отдавалась невѣдомому ей чувству.

— Завтра мы будемъ на-вѣки разлучены, говорилъ Силь-

вень, — завтра здѣсь останется только воспоминаніе о вашемъ мимолетномъ присутствіи, завтра все будетъ кончено и вы, быть можетъ, велите выбросить меня за дверь, но сегодня я могу сказать вамъ, что васъ люблю.

Никогда въ послѣдующей одинокой жизни Сильвенъ Шамборо не забылъ этой блаженной ночи, казавшейся ему чуднымъ, невѣроятнымъ сномъ.

На другое утро Роза Ригоди вышла изъ хижины Шамборо блѣдная, съ блуждающими, безсознательными глазами. Возвратившись въ замокъ, она заперлась въ свою комнату и не хотѣла отвѣчать на всѣ вопросы полицейскихъ властей, приступившихъ уже къ дознанію.

Бусакъ указывалъ на главныхъ виновниковъ и по тайной злобѣ къ Шамборо выставилъ его, какъ главнаго зачинщика. Сильвена арестовали и привели съ связанными руками во дворъ замка. По дорогѣ поселяне хотѣли побить камнями солдатъ, но снѣ не допустилъ ихъ до насилія.

— Они исполняютъ свой долгъ, сказалъ онъ, — не трогайте ихъ.

Въ ту минуту, какъ полицейскія власти хотѣли приступить къ допросу Шамборо и Бусакъ уже потиралъ руки отъ злобнаго удовольствія, во дворѣ показалась Роза Ригоди. Она медленно, но рѣшительно подошла къ полицейскому офицеру.

— Г. Шамборо не участвовалъ въ бунтѣ, сказала она, — онъ охранялъ мою мать и спасъ меня!

Она говорила твердо, хотя отрывисто, но всѣ замѣтили, что она ни разу не взглянула на Шамборо.

— Однакожь, вашъ управляющій полагаетъ... началъ полицейскій офицеръ, но молодая дѣвушка его перебила:

— Онъ лжетъ.

Къ величайшему негодованію Бусака, Сильвена освободили.

Удаляясь со двора, онъ неожиданно услыхалъ голосъ Розы Ригоди. Онъ обернулся; подлѣ него стояла молодая дѣвушка и въ ея большихъ голубыхъ глазахъ видѣлись гнѣвъ и что-то въ родѣ страха.

— Вы мнѣ спасли жизнь, а я васъ избавила отъ тюрьмы, быть можетъ, отъ смерти. Вы никогда меня болѣе не увидите, и если вы честный человѣкъ, то немедленно уѣдете отсюда.

— Это просьба или приказаніе? спросилъ Шамборо, вздрогнувъ.

Природная гордость Розы оскорбилась этимъ вопросомъ и она хотѣла отвѣтить: „приказаніе“, но по какому-то странному инстинкту произнесла:

— Это просьба.

— Такъ я уѣду, отвѣчалъ Шамборо.

Онъ возвратился домой, проклиная себя за данное обѣщаніе, но твердо рѣшившись его исполнить. Плантадъ тщетно старался отгадать, что случилось съ его другомъ, а старуха Шамборо тревожно повторыла:

— Онъ слишкомъ честолюбивъ, бѣдный ребенокъ. Онъ себя погубить.

Постому, когда сынъ объявилъ ей, что онъ покидаетъ Лимузенъ, она была почти довольна, — такъ боялась она Бусака и юной маркизы, о которой вѣчно мечталъ Сильвенъ. Что же касается его самого, онъ отправлялся въ Парижъ не какъ въ обѣтованную землю, но какъ въ изгнаніе, съ разбитымъ сердцемъ и мрачными мыслями.

Въ водоворотѣ столичной жизни онъ не забылъ прошедшаго и минутнаго луча счастья, освѣтившаго его скромную жизнь, но энергично трудился, чтобъ отогнать отъ себя призракъ отчаянія. Онъ писалъ и печаталъ, не подписывая своего имени, сочиненія по земледѣлію и практической философіи. Онъ далеко не былъ бѣденъ и доходъ съ фермы въ Солиньякѣ позволялъ ему жить, не нуждаясь, въ Парижѣ и содержать на родинѣ свою мать. Года шли за годами и Шамборо не возвращался въ Лимузенъ; онъ сдержалъ свое слово, и Роза Ригоди не имѣла о немъ никакихъ извѣстій.

Насталъ 1789 годъ. Бастилія была взята и Шамборо послѣ девятилѣтняго отсутствія возвратился въ Солиньякъ, куда его вызвала умирающая мать. Его прибытіе въ родное селеніе было настоящимъ торжествомъ. Онъ попрежнему былъ популяренъ въ этомъ отдаленномъ уголкѣ Франціи: его приняли, какъ нѣкогда встрѣчали губернатора провинціи; не за долго передъ тѣмъ уже было рѣшено выбрать его въ качествѣ депутата средняго сословія. Не долго торжествовалъ Шамборо: черезъ нѣсколько дней его мать умерла, и онъ съ грустью сказалъ Плантаду:

— Теперь у меня нѣтъ никого на свѣтѣ, кромѣ тебя.

Роза Ригоди также была сиротою, но она имѣла тайное, ни съ чѣмъ несравнимое утѣшеніе; у нея родился ребенокъ. Это былъ Солиньякъ. Всѣ сосѣди говорили, что его матерью была дѣвица Бертоланъ, уже умершая, но при жизни не опровергавшая этого предположенія. Единственный человекъ, знавшій тайну, Бусакъ, также умеръ страшной смертью отъ укушенія бѣшеной собаки. Маркиза Ригоди воспитывала своего сына, какъ представителя аристократическаго рода, и постоянно мечтала о блестящей его будущности.

Она никогда не думала или, по крайней мѣрѣ, старалась не думать о Сильвенѣ Шамборо, хотя она его нѣкогда любила, но ей стыдно было думать о своемъ позорѣ. Однакожъ, несмотря на всѣ свои усилія, она часто переносилась мысленно въ прошедшее и спрашивала себя, должна-ли она ненавидѣть или простить Шамборо. То она находилась въ нѣжномъ настроеніи, то упрекала себя за слабость, и изъ года въ годъ дозволяла сыну называться именемъ роднаго селенія, успокоивая свою совѣсть тѣмъ, что когда-нибудь откроетъ Шамборо, что у него есть сынъ.

Когда-же Сильвенъ возвратился снова въ Солиньякъ и присталъ къ революціонной партіи, она сказала сама себѣ: „Ахъ, негодяй, а я еще хотѣла сжалиться надъ нимъ!“

Оставшись одна на свѣтѣ и обязанная еще въ молодыхъ годахъ руководить сама своею жизнью, маркиза Ригоди была пропитана аристократическими предразсудками и вмѣстѣ съ тѣмъ ей были доступны всѣ прогрессивныя идеи; это была настоящая аристократка-вольтерьянка. Но по принципу она ненавидѣла революціонеровъ, и Шамборо въ 1789 году въ ея глазахъ ничѣмъ не отличался отъ буйной толпы, напавшей на нее въ 1780 г. Съ тѣхъ поръ она почти не выходила изъ своего замка, а впоследствии, когда Солиньякъ выросъ, она проводила большую часть года въ Парижѣ, близъ Тампльской тюрьмы.

Между тѣмъ Шамборо шелъ своимъ путемъ. Онъ отдался политической дѣятельности. Въ 1790 г. въ Лиможѣ стоялъ гарнизономъ королевско-наварскій кавалерійскій полкъ, который ни за что не хотѣлъ бросить бѣлую коварду, а граждане рѣшились заставить солдатъ насильно надѣть трехцвѣтную. Кровопрлитіе было неминуемо, какъ вдругъ въ городѣ случился

страшный пожаръ. Все населеніе, не исключая офицеровъ и солдатъ, бросилось къ пожарнымъ трубамъ и недавніе враги помогали другъ другу въ борьбѣ противъ разъяренной стихіи. Общая опасность примирила всѣхъ; пожаръ былъ потушенъ, и Шамборо на другой день потребовалъ въ городской ратушѣ, чтобы каждому офицеру и солдату королевско-наварскаго полка было дано званіе лиможскаго гражданина.

— Вотъ какъ несчастіе можетъ привести къ благимъ результатамъ, сказалъ онъ; — оно научаетъ людей лучше познавать другъ друга. Ненависть рождается и поддерживается только благодаря незнанію достоинствъ противниковъ.

Въ 1791 году Шамборо былъ назначенъ однимъ изъ администраторовъ департамента верхней Вьены, потомъ прокуроромъ, а послѣ 10 августа — депутатомъ въ національный конвентъ.

Узнавъ объ этомъ, маркиза Ригоди рѣшилась тверже прежняго никогда его болѣе не видать, но все-же не могла удержаться отъ грустнаго вздоха.

„Кто-бы это могъ предвидѣть?“ промолвила она про себя.

Въ конвентѣ Шамборо честно исполнялъ обязанности народнаго представителя. Въ 1793 г. ему предложили постъ министра внутреннихъ дѣлъ, но онъ отказался, предпочитая остаться съ Гужономъ въ продовольственной комисіи, и часто повторялъ:

— Мы здѣсь кормимъ Францію, а не гильотинируемъ ее.

Эти слова вполне характеризуютъ всю его дѣятельность. Онъ энергично работалъ и не жалѣлъ ни трудовъ, ни усилій на службѣ своей родинѣ и въ то-же время выказывалъ безграничное человѣколюбіе, что не мѣшало, однакожь, маркизѣ Ригоди, думая о немъ, называть его „кровопійцей“. Но думала-ли она когда-нибудь о немъ? Кто знаетъ?

Что-же касается Шамборо, онъ никогда не забылъ памятной ночи, когда онъ убѣдился въ-очію, что иногда сбываются самыя невозможныя мечты. Теперь-же, удалившись изъ политическаго водоворота и вспоминая свою юность, бывшій членъ конвента, превратившійся въ утонченнаго эпикурейца, готовъ былъ отдать всю свою жизнь, лучшіе годы своей славы и силы, свое теперешнее благоденствіе, чтобы снова пережить эту роковую, сладостную ночь.

Часто, смотря на изысканныя блюда Жюли, онъ говаривалъ Плянтаду, ни на минуту съ нимъ неразстававшемуся:

— Странно, Плянтадъ, бывають минуты, что я сожалѣю о томъ времени, когда твоя мать пекла въ золъ брюкву и каштаны.

Плянтадъ молча качалъ головою. Онъ зналъ, что все это значило: „я сожалѣю о томъ времени, когда жилъ въ Солиньякѣ“.

Однакожь воспоминаніе о прошедшемъ имѣло свою горечь для Сильвена Шамборо. Какой жестокосердной казалась ему женщина, которая, отвѣтивъ на его любовь тѣмъ-же, прогнала его съ отчаяніемъ въ сердцѣ. Неужели ее не мучили уборы совѣсти?

— Нѣтъ, прибавлялъ онъ,—она олицетворенная гордость! О, женщины, женщины!

Роза Ригоди никогда не напоминала ему о своемъ существованіи. Любовь блеснула въ его жизни и потухла, какъ молнія. Но маркиза Ригоди знала все, что дѣлалъ бывший членъ конвента, какъ онъ жилъ вдали отъ всѣхъ и чѣмъ наполнялъ свою одинокую жизнь.

„Онъ не дурной человѣкъ, этотъ негодяй, говорила она себѣ,—и, право, нѣтъ благороднѣе и честнѣе человѣка на свѣтѣ, какъ этотъ якобинецъ“.

Такъ шло время. Маркиза Ригоди никому не открывала тайны рожденія своего сына, а Сильвенъ Шамборо находилъ утѣшеніе въ книгахъ и рѣдкихъ кушаньяхъ.

Жюли подозрѣвала, что ея хозяйинъ скрывалъ отъ нея что-то, но Плянтадъ молчалъ о прошедшемъ гражданина Шамборо.

## XXV.

### Солиньякъ получаетъ имя.

Мужественная маркиза Ригоди сильно волновалась, раздумывая во время дороги о томъ, какъ-то встрѣтить ее Шамборо? „Конечно, онъ долженъ былъ выразить самую почтительную благодарность, думала она,—такъ-какъ съ ея стороны было большой жертвой ѣхать къ члену конвента“. Она никогда на это не рѣшилась-бы, если-бъ дѣло шло не о Солиньякѣ. Но Солиньякъ могъ умереть! Ему необходимо было имя! „Чортъ возьми, онъ



получить его и все состояніе Ригоди. Конечно, свѣтъ будетъ смѣяться надъ бѣдной, старой Розой, но пусть его хохочетъ, — Ганри будетъ спасенъ! Ганри будетъ счастливъ!”

Когда карета остановилась передъ домою Шамборо, Плантадъ отворилъ дверь и едва не упалъ, услыжавъ отъ Фурнье, что маркиза Ригоди желаетъ видѣть г. Шамборо.

— Маркиза Ригоди! промолвилъ Плантадъ, не двигаясь съ мѣста.

— Поворачивайся-же, глупецъ! воскликнула старая дѣва, выходя изъ дверецъ кареты, вся залитая брилліантами.

Плантадъ бросился бѣжать и черезъ минуту возвратился красивый, какъ ракъ.

— Гражданинъ Шамборо проситъ пожаловать маркизу Ригоди, сказалъ онъ, едва шевеля языкомъ.

Весь домъ переполошился. Шамборо въ первую минуту подумалъ, что Плантадъ сошелъ съума, а потомъ выскочилъ изъ-за стола, на которомъ былъ приготовленъ роскошный завтракъ.

„Что все это значить? подумала Жюли. — Какая-то аристократка у насъ въ домѣ? И онъ не долъ индѣйки, не допилъ вина! Только-бы это не кончилось разстройствомъ желудка“.

Между тѣмъ Шамборо ушелъ въ свой кабинетъ, заваленный книгами и бумагами. Онъ былъ очень блѣденъ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Онъ съ какимъ-то ужасомъ вспоминалъ теперь о маленькой комнатѣ въ Солиньякѣ и о блаженной июньской ночи тридцать лѣтъ тому назадъ.

Дверь отворилась и маркиза Ригоди вошла въ комнату. Она молча взглянула на Шамборо и нашла, что для „кровопійцы“ онъ былъ очень приличнымъ, благороднымъ старикомъ. Онъ-же искалъ подъ загорѣлыми морщинами старой дѣвы любимыя черты юной амазонки, бѣшено скакавшей по полямъ. Эти два существа, отторгнутыя другъ отъ друга цѣлой жизнью, встрѣтились теперь почти на краю могилы. Съ какимъ-то страхомъ смотрѣли они другъ на друга, какъ-бы боясь раскрыть старую рану.

— Вы, конечно, догадываетесь, сказала, наконецъ, маркиза дрожащимъ голосомъ, — что безъ важной причины я не обезпечила-бы васъ въ вашемъ одиночествѣ.

— Я живу въ одиночествѣ только изъ боязни докучливыхъ посѣтителей, отвѣчалъ Шамборо.

— Судьба насъ разлучила, продолжала она,—и судьба снова на-время насъ соединяетъ.

— Я не понимаю.

— Г. Шамборо, начала маркиза, и, видя, что бывший членъ конвента пожалъ плечами, ей стало совѣстно, что она такъ назвала его,—мужчины и женщины могутъ ссориться и драться сколько имъ угодно на семь свѣтъ, но имъ воспрещено закономъ чести, стоящимъ выше всѣхъ законовъ, которые сочинили вы и ваши... виновата... повторяю, воспрещено дѣлать несчастными своихъ невинныхъ дѣтей... Ну...

Она остановилась и взглянула на Шамборо, который съ удивленіемъ ее слушалъ.

— Ну, прибавила она,—у насъ есть сынъ, г. Шамборо.

Бывшій членъ конвента вскочилъ, какъ ужаленный. Маркиза Ригоди передала эту невѣроятную вѣсть самымъ обыкновеннымъ, спокойнымъ тономъ.

— Сынъ! воскликнулъ Шамборо.

— Да, и прекрасный во всѣхъ отношеніяхъ.

— У васъ сынъ?

— Да, и у васъ.

— У меня сынъ?

— И вы его знаете.

Шамборо сорвалъ съ себя галстухъ: кровь бросилась ему въ голову и онъ задыхался.

— Позвать кого-нибудь?

— Нѣтъ, благодарю васъ, прошло. Но такая неожиданность...

— Вы никогда мнѣ не простите, что я такъ долго скрывала это отъ васъ. Но чортъ возьми! вы никогда не узнали-бы моей тайны, если-бъ я не была вынуждена открыть ее. Да, я пользовалась одна счастьемъ имѣть сына. Онъ мнѣ одной улыбался, меня одну любилъ. И, клянусь вамъ, онъ герой. Это полковникъ Соляньякъ.

— Соляньякъ? повторилъ Шамборо, и на лицѣ его показалось выраженіе гордой радости.

Онъ былъ счастливъ, что его кровь текла въ жилахъ благороднаго, мужественнаго красавца-воина.

— Да, Солиньякъ; и вы, конечно, не сдѣлаете упрека, что я худо его воспитала.

— Мой сынъ! произнесъ Шамборо какъ-бы во снѣ.

— Нашъ сынъ, повторила маркиза;—я понимаю ваше изумленіе. Но, по крайней мѣрѣ, вамъ нечего стыдиться, а я... Но лучше объ этомъ не говорить. Втеченіи тридцати лѣтъ я уже привыкла къ своему положенію. Ну, нашъ сынъ, красавецъ полковникъ, влюбился по-уши, бѣдное дитя. И ему отказываютъ въ рукѣ любимой женщины. Вы, конечно, понимаете, почему?

— Нѣтъ.

— Потому, что у него нѣтъ имени. Я знаю, что вы скажете: Солиньякъ лучше всѣхъ именъ на свѣтѣ. Но не такъ думаетъ старый маркизъ Новаль.

— Маркизъ Новаль?

— Да, бывший аристократиска.

Шамборо съ изумленіемъ взглянулъ на маркизу.

— Да, продолжала она,—онъ такъ глупъ, что заставляетъ меня говорить вашимъ языкомъ, кровоп... Онъ выводитъ меня изъ терпѣнія и я, право, понимаю...

— Что?

— Ничего. Однимъ словомъ, онъ отказалъ нашему сыну въ рукѣ его внучки. А! маркизу Vêto нужно имя,—хорошо, у нашего сына будетъ имя.

— Какъ?

— Послушайте, сказала маркиза рѣшительнымъ тономъ,—для того, чтобы полковникъ Солиньякъ былъ законнымъ сыномъ, его мать и отецъ должны быть обвинены. Я съ этой цѣлью и пріѣхала. Сильвенъ Шамборо, прибавила она, вставая,—вотъ моя рука.

Въ глазахъ Шамборо помутилось и онъ ничего не отвѣчалъ.

— Вы отказываетесь? продолжала маркиза;—конечно, мое предложеніе безумно, но оно спасаетъ нашего сына. Что-же? Я жду отвѣта.

— Мое имя, моя жизнь всегда принадлежали и принадлежать вамъ! воскликнулъ Шамборо, блѣдный и со слезами на глазахъ.

— Слава-богу! день не пропалъ даромъ. Но помните, что мы разлучимся тотчасъ послѣ вѣнчанія. Я отправлюсь въ Ли-

музень, а вы останетесь здѣсь, и мы никогда болѣе не увидимся. Нашъ сынъ будетъ счастливъ—и этого достаточно.

— Нашъ сынъ... повторилъ Шамборо;—а онъ знаетъ тайну своей жизни?

— Нѣтъ, но, конечно, я ему первому открою все, когда будетъ рѣшенъ вопросъ о нашемъ бракѣ.

— Ахъ! промолвилъ Шамборо,—какъ мы могли быть счастливы тридцать лѣтъ тому назадъ, если-бы...

— Что вспоминать прошлое? Женемся безъ фразъ, какъ сказалъ одинъ изъ вашихъ.

— Я васъ всегда любилъ.

— Всегда?

— Всегда.

— И я, быть можетъ, васъ любила-бы... начала маркиза съ тяжелымъ вздохомъ, но тотчасъ прибавила совершенно другимъ тономъ:—что умерло, то умерло. Займемся живыми. Вы возьмете на себя переговорить съ мэромъ. Вотъ мои бумаги. Не забудьте пожалуйста ни одного титула моего отца. Надо доказать аристократу Новаля, что кровь моего сына не хуже его крови.

Возвратясь домой, маркиза Ригоди объявила Солиньяку, кто былъ его отецъ.

— Ты будешь теперь называться Шамборо, сказала она.

— Шамборо? Я знаю одного Шамборо, бывшего члена конвента, хорошаго знакомаго Клода Ривьера.

— Это онъ самый.

— Онъ честный человѣкъ и благородный гражданинъ.

— Слава-богу, онъ честный человѣкъ, а гражданиномъ пусть себѣ будетъ сколько хочеть. Это твой отецъ. Конечно, маркизъ Новаль найдетъ, что онъ слишкомъ популяренъ и демократиченъ; но чортъ возьми! онъ помирится съ внукомъ маркиза Ригоди.

Въ тотъ-же вечеръ Солиньякъ постучался въ дверь бывшего члена конвента.

— Кто тамъ, Плантадъ? спросилъ Шамборо.

— Вашъ сынъ, отвѣчалъ Плантадъ, которому уже было известно все, что случилось.

Солиньякъ вошелъ и протянулъ руку Шамборо; старикъ прижалъ его къ своему сердцу.

— Я давно восхищался вами, сказалъ Шамборо,—а теперь стану васъ любить. Я знаю, сколько страданій причиняетъ любовь, подобная той, которая гложетъ ваше сердце. Я заглушилъ много рыданій, я затаилъ много слезъ въ своей жизни. Часто, вспоминая о прошедшемъ, я, несчастный, и не подозрѣвалъ, что у меня есть живое утѣшеніе—сынъ. Я не зналъ, какъ сладко говорить: мой сынъ. Да, дитя мое, ты мой сынъ.

Между тѣмъ маркиза Ригоди вторично отправилась къ старику Новалю и насильно проникла въ его кабинетъ.

— Вы мнѣ сказали, произнесла она торжественнымъ тономъ,— что мужъ графини Фаржъ долженъ имѣть имя. Человѣкъ, котораго она любитъ, получилъ теперь имя и я имѣю честь просить у васъ руки графини Луизы Фаржъ для полковника Ганри Шамборо-де-Солиньяка, сына Сильвена Шамборо, бывшаго члена конвента, и...

— Вы съума сошли! воскликнулъ маркизъ.

— И Розы-Эдмеи Ригоди, дочери Жана-Леонара, маркиза Ригоди, певича и барона Оріа, Санзильона, Сен-Жюльена и Брюффера, кавалера ордена св. Людовика и командира пентьеврскаго драгунскаго полка.

Старый маркизъ былъ внѣ себя отъ изумленія.

— Нечего прибавлять, продолжала маркиза,—что въ нашемъ родѣ женская линія наслѣдуетъ всѣ титулы, а потому полковникъ не только получитъ состояніе, но и всѣ титулы своего дѣда.

Новаль по-прежнему молчалъ.

— У жениха есть имя, онъ благородной крови и будетъ богатъ, сказала маркиза;—отвѣчайте-же.

Въ эту минуту дверь въ кабинетъ отворилась и вошла Луиза.

— Именемъ отца умоляю васъ, маркизъ, сказала она нѣжно,—сдѣлайте меня счастливой на всю жизнь.

Старикъ, казалось, былъ погруженъ въ глубокую думу и старался припомнить что-то, ускользавшее изъ его памяти. Наконецъ, онъ позвонилъ и потребовалъ Ланжале, эту ходячую геральдику.

— Ланжале, сказалъ онъ,—вы знаете все; не правда-ли, одинъ изъ графовъ Фаржъ женился на маркизѣ Ригоди?

— Маркизъ совершенно правъ, отвѣчалъ Ланжале послѣ минутнаго размышленія:— Луи-Сципiонъ де-Фаржъ женился 1-го

іюля 1642 г. на Клотильдѣ-Армандѣ де-ла-Ригоди и у нихъ родились...

— Довольно, произнесъ маркизъ;—мнѣ пришло въ голову, что если дѣйствительно этотъ бракъ между двумя родами Фаржъ и Ригоди состоялся, то я долженъ согласиться на свадьбу моей внучки. Что-же дѣлать, у всякаго свои слабости. У меня тоже есть свои предразсудки. Графиня, вы можете выйти замужъ за вашего полковника. Но, чортъ возьми! я никогда не буду звать его иначе, какъ полковникъ де-ла-Ригоди.

— И онъ не покраснѣетъ за свою мать, отвѣчала маркиза, и прибавила, обращаясь къ Луизѣ:—Обнимите меня, дочь моя.

Въ этотъ вечеръ Солиньякъ былъ совершенно счастливъ, и если-бъ счастье было для него смертельно, то, конечно, красавецъ полковникъ умеръ-бы мгновенно.

Кастаре также былъ счастливъ и повторялъ про себя:

— Я также женюсь на Катису, но немного погодя.

## XXVI.

### Зимнія розы.

Брачный контрактъ полковника Солиньяка и графини Фаржъ назначено было подписать въ домѣ послѣдней въ улицѣ Монблана вечеромъ того дня, когда назначена была свадьба Шамборо и маркизы Ригоди. Съ самаго утра всѣ жители роскошнаго дома графини Фаржъ были на ногахъ. Ждали самого императора, который, подписавъ брачный контрактъ въ Тюльери, долженъ былъ пріѣхать на балъ, который старый маркизъ Новаль давалъ въ честь своей внучки.

— Кто-бы подумалъ, что Солиньякъ сынъ члена конвента, сказалъ Наполеонъ, узнавъ исторію своего любимца, красавца полковника;—впрочемъ, по словамъ Бомарше, каждый человѣкъ непременно чей-нибудь сынъ. Я очень радъ, что такъ случилось. Солиньякъ олицетворяетъ собою уничтоженіе старыхъ ненавистей и соединяетъ Сен-Жерменское предмѣстье съ моимъ дворомъ. Я даже подумалъ, не сдѣлать-ли сенаторомъ стараго дурака Новаля.

Солиньякъ былъ совершенно счастливъ. Осуществленіе всѣхъ его пламенныхъ желаній было недалеко; онъ могъ теперь и имѣлъ полное право успокоиться. Всѣ тревоженія послѣдняго времени совершенно изнурили его, и чѣмъ энергичнѣе онъ сопротивлялся одолевавшему его недугу, тѣмъ опасность становилась серьезнѣе. Каждая радость, страхъ или волненіе причиняли Солиньяку страданіе и почти каждую минуту роковая пуля напоминала о себѣ.

Узнавъ о свадьбѣ Солиньяка, Дюпюитренъ покачалъ головою.

— Смотрите, сказалъ онъ,—вы еще не расквитались съ своей проклятой раной, а ужъ искушаете судьбу. Впрочемъ, вы, быть можетъ, и правы: счастье—хорошее лекарство.

Но если Солиньякъ былъ счастливъ, то Агостино Чіампи былъ вѣ себя отъ ярости. Тереза сошла съ ума, а Луиза вышла замужъ за другого. Онъ разомъ лишился обѣихъ, а главное—состоянія Луизы. Несмотря на всѣ его усилія, смѣлые планы и преступленія, онъ не приобрѣлъ ничего, а его соперникъ, котораго онъ не сумѣлъ убить, торжествовалъ.

— Я сожалею не о золотѣ, говорилъ онъ себѣ,—котораго лишаетъ меня этотъ человѣкъ, но меня бѣситъ мысль, что я побѣжденъ и оплеванъ.

Его не оставляла теперь мысль во что-бы то ни стало отомстить Солиньяку, и, лучше всего, въ день его свадьбы. Солиньякъ избѣгнулъ пули и яда, но, быть можетъ, винжалъ, искусно направленный, покончить его жизнь.

„Одно меня можетъ удержать, думалъ Чіампи:—страхъ быть пойманннмъ. Если-бъ можно было математически рассчитать эту послѣднюю попытку и обезпечить себѣ бѣгство, то я не задумался-бы ни на минуту“.

Въ это время у Агостино была довольно значительная сумма денегъ, происхожденіе которой онъ не могъ-бы открыто объяснить. Быть можетъ, филадельфы своею смертью обезпечили маркизу Олова средство къ бѣгству и онъ намѣревался получить имъ плату за преданіе товарищей посвятить на дѣло мести.

Утромъ въ день свадьбы Солиньяка Чіампи уложилъ свои чемоданы, взялъ паспортъ и отправился къ Андреинѣ.

— Я пришелъ съ тобою проститься, сказалъ онъ.

— Хорошо, отвѣчала она,—прощай.

— А ты останешься въ Парижѣ? спросилъ онъ.

— Да, вѣроятно, я останусь въ Парижѣ навсегда, отвѣчала она, бросая на брата странный взглядъ, не то ироническій, не то печальный, не то радостный.

— Развѣ твое порученіе не окончено?

— Какое порученіе?

— Королевы Баронины.

— Какое мнѣ дѣло до королевы и до Неаполя! воскликнула Андреина.—Благодаря имъ, я играла здѣсь презрѣнную роль. Я не желаю никогда ихъ болѣе видѣть и не увижу, такъ-какъ это зависитъ отъ меня.

Агостино сталъ ее разспрашивать далѣе, но она ничего не отвѣчала.

— До свиданія! сказалъ онъ.

— Прощай, отвѣчала Андреина.

— Неужели ты отпустишь меня, не пожелавъ мнѣ чего-нибудь хорошаго?

— Пожелать тебѣ чего-нибудь? произнесла она съ болѣзненнымъ хохотомъ.—Если хочешь, я тебѣ пожелаю, чтобъ ты раскался, если ты еще можешь раскаяться, Агостино, убійца и отравитель!

Онъ позеленѣлъ и быстро подошелъ къ ней.

— Впрочемъ, продолжала она, — я неблагодарная. Ты мнѣ далъ ядъ, находящійся въ этомъ кольцѣ. Тебѣ я обязана тѣмъ, что отъ меня зависитъ жить или умереть. Благодарю тебя, Агостино! Уходи, прибавила она, бросая на него страшный взглядъ.

Чіампи вышелъ, а Андреина углубилась въ тяжелыя, грустныя думы.

Вся прошедшая жизнь проходила теперь передъ ея глазами и одно имя, роковое, грозное, раздавалось въ ея ушахъ: Отавіо! Отавіо!

— Онъ также умеръ отъ любви, сказала она громко съ грустной улыбкой,—а я называла его трусомъ. Нѣтъ, онъ дѣйствительно былъ трусъ. Мужчина можетъ страдать! Только женщина боится страданій. Мы проклятыя существа.

Впродолженіи всего дня несчастная оставалась въ полусозна-



тельною, неподвижною положеніи. Она походила на статую, но одаренную слухомъ, такъ-какъ она ясно слышала шумъ и суматоху въ сосѣднемъ домѣ маркиза Новаля.

Съ утра уже гражданинъ Шамборо и маркиза Ригоди были мужемъ и женою. Маркиза сіяла бриліянтами и настояла, чтобъ весь ея домъ принялъ праздничный видъ.

— Я не хочу тайственности, говорила она;—кажется, это событіе заслуживаетъ, чтобъ его всё видѣли.

Съ своей стороны, Шамборо, чисто выбритый, въ бѣломъ галстухѣ, въ синемъ фракѣ съ золотыми пуговицами, свѣтло-желтыхъ бровяхъ и бѣломъ жилетѣ съ отворотами, обшитыми кружевами, казалось, помолодѣлъ на пятнадцать лѣтъ.

Когда женихъ и невѣста сѣли въ одну карету, чтобъ ѣхать къ мѣру, приглашенные гости и многочисленные слуги саркастически переглянулись.

— Они по дорогѣ будутъ вспоминать прошедшее прежде, чѣмъ скажутъ роковое *да*, замѣтилъ съ улыбкой одинъ изъ слугъ маркизы.

— Они васъ не спросятъ, что имъ дѣлать, отвѣчалъ Шляпда съ сердцемъ.

Если-бы путешники слышали, о чемъ говорили женихъ и невѣста, они очень изумились-бы. Быть можетъ, чтобы скрыть свое волненіе или чтобы избѣгнуть воспоминанія о прошедшемъ, они говорили объ осеннихъ полевыхъ работахъ, о выкормѣ пулярдокъ, о сборѣ каштановъ и т. д. Они объ этомъ говорили инстинктивно, для приличія, для того, чтобы удержаться отъ выраженія тѣхъ чувствъ, которыя тридцать лѣтъ тому назадъ были-бы трогательными, а теперь только смѣшными. Онъ напомнилъ ей слова Фенелона, что земледѣліе—основа челоѣческой жизни. и она отвѣтила: „да, конечно“, но въ дѣйствительности ихъ мысли переносились далеко, въ Солиньякъ, во времена ихъ юности.

„Нѣкогда мы были Эстелла и Неморинъ, думала иронически маркиза,—а теперь мы Филемонъ и Бавкида“.

По окончаніи гражданской церемоніи у мэра молодые возвратились въ улицу Монблана. Но теперь они вовсе не разговаривали, хотя Шамборо имѣлъ право назвать женою женщину, которую онъ любилъ всю свою жизнь.

— Вотъ я и дома, сказала, наконецъ, бывшая маркиза, а

теперь гражданка Шамборо, когда они поворачивали въ улицу Монбланъ;—вечеромъ увидимся у графини Фаржъ.

— До свиданія! отвѣчалъ Шамборо.

Она протянула ему руку и они оба взглянули другъ на друга съ глубокимъ волненіемъ.

„Однакожь, этотъ кровопійца не дурной человѣкъ“, подумала гордая аристократка.

„Какое-бы блаженство принесъ мнѣ этотъ официальный обрядъ тридцать лѣтъ тому назадъ“, думалъ Шамборо.

Передъ домою Ригоди ожидала молодыхъ большая толпа, и такъ-какъ маркиза была столь-же популярна въ Парижѣ, какъ и въ Лимузенѣ, ее привѣтствовали громкими кликами. Даже кто-то закричалъ:

— Да здравствуетъ гражданка Шамборо!

— Онъ, вѣрно, думаетъ, что это мнѣ понравится, сказала она себѣ;—гражданка! Такъ что-жь? Это не оскорбленіе, это фактъ; я дѣйствительно жена гражданина.

Сильвенъ Шамборо возвратился въ свой домъ, гдѣ теперь царила суматоха. Тереза, жившая снова у дяди со времени похоронъ Ривьера, съ большимъ беспокойствомъ прислушивалась къ каждому слову и вглядывалась въ каждое лицо. Молча, безсознательно ходила она изъ комнаты въ комнату, останавливаясь то передъ Жюли, то передъ Плянтадомъ, но, по обычаю умалишенныхъ, принимала участіе во всемъ, что дѣлалось вокругъ нея. Ее, повидимому, очень волновало извѣстіе, что полковникъ Солиньякъ женится и въ домъ графини Фаржъ готовится великолѣпный праздникъ.

— Праздникъ! Праздникъ! повторяла она съ болѣзненной улыбкой и искала нарядовъ, лентъ, брилліантовъ.

— Вотъ мой истинный уборъ, произнесла она, вынимая и покрывая поцѣлуями бѣлый шелковый поясъ съ кровавымъ пятномъ, найденный на тѣлѣ Ривьера;—вотъ послѣдній подарокъ Кюда. Я никогда съ нимъ не разстанусь, меня съ нимъ похоронять. Не правда-ли, я большая кокетка?

Въ домѣ маркиза Новаля приготовленія къ балу дѣлались въ громаднѣхъ размѣрахъ. Онъ хотѣлъ показать новому двору, что такое древняя аристократія, и въ сущности былъ очень доволенъ новой милостью Наполеона къ полковнику Солиньяку. Когда

императору представили для подписи брачный контрактъ Солиньяка, онъ спросилъ:

— Какіе титулы у Солиньяка?

— Онъ полковникъ, ваше величество.

— Я говорю не о чинахъ, а объ его титулахъ, или, лучше сказать, объ его титулѣ. Полковникъ Ганри Шамборо, баронъ де-Солиньякъ!

И Наполеонъ собственноручно вписалъ этотъ титулъ въ контрактъ.

— Баронъ, говорилъ Новаль,—конечно, баронъ имперіи, но все-же легче сдѣлать уступку барону, хотя онъ и сынъ члена конвента.

— Между тѣмъ въ сосѣднемъ домѣ Андреина сидѣла по-прежнему безмолвная, неподвижная, устремивъ дикій взглядъ на букетъ розъ, который она велѣла купить въ память того блаженнаго дня, когда она бросила такой-же букетъ красавцу Солиньяку на парадѣ.

„Я хочу умереть, вдыхая въ себя благоуханіе розъ, думала она;—такія-же розы Отавіо приносилъ мнѣ. Эти розы также умрутъ, но переживутъ меня“.

Она повторила нѣсколько разъ „переживутъ меня“, точно въ этихъ словахъ было какое-то тайное сладострастіе. Потомъ она встала, поставила цвѣты въ стеклянную вазу и устремила жадный взглядъ на эти зимнія розы, искусственныя произведенія оранжерей. Тутъ были розы всѣхъ сортовъ—и блѣдныя, скромно свернувшія свои лепестки, и пунцовыя, точно алія губы, просящія поцѣлуя, и бутоны въ своей зеленой темницѣ. Вокругъ цвѣтовъ свѣжіе, блестящіе листья выражали избытокъ жизни и отъ всего букета распространялось опьяняющее благоуханіе.

— Да, это жизнь, любовь! воскликнула она громко.—Но ничто не сравнится съ радостью и сладострастіемъ смерти!

И она съ лихорадочной поспѣшностью поднесла къ губамъ перстень, въ который Агостино влилъ ядъ. Прижавъ пружинку и открявъ зубами медальонъ, она съ жадностью проглотила нѣсколько капель яда.

— Вотъ, сказала она съ спокойной, счастливой улыбкой,—все кончено, я свободна!

Она опустила въ кресло и, прислонясь головою къ спинкѣ, закрыла глаза, какъ-бы для сна.

„Только-бы мнѣ не видать сновъ, думала она съ ужасомъ, а мысль, что она никогда болѣе не проснется, наполняла ея сердце безумной радостью. — Какіе люди дураки, что не умѣютъ пользоваться такимъ счастьемъ“.

Вдругъ дикая, тревожная мысль овладѣла всѣмъ ея существомъ; она вскочила блѣдная, дрожащая. Какъ! она умереть и никогда болѣе не увидитъ Солиньяка! Никогда! Никогда! Быть можетъ тамъ, за гробомъ? Но кто знаетъ, что насъ тамъ ожидаетъ? А она хотѣла его видѣть, хотя-бы еще одинъ разъ, хотѣла явиться передъ нимъ, не какъ женщина, а какъ призракъ, и сказать ему: „Гаври! помни объ Андреевѣ, какъ она помнила объ Отавіо“.

Но какъ его увидать? Нельзя-же было ей отправиться на семейный праздникъ въ домъ Луизы? Отчего-же нѣтъ?

„Я умираю, чего-же мнѣ бояться? думала она. — Приличія! Свѣтъ! какъ все это ничтожно передъ смертью! Да, я пойду къ нимъ. Я увижу его, я увижу ихъ обоихъ! Я грѣшница, пусть это будетъ моимъ наказаніемъ!“

И взявъ изъ вазы букетъ розъ, она стала жадно вдыхать въ себя опьяняющее благоуханіе, словно желая насладиться жизнью прежде, чѣмъ расстанется съ нею на-вѣки.

## XXVII.

### Марціалъ Кастаре.

Домъ графини Фаржъ блестялъ огнями. Толпа знатнѣйшихъ сановниковъ имперіи: маршалы, статсъ-дамы, герцогъ Отрантскій, Камбасересъ и пр. и пр., тѣснились въ его залахъ. Популярность красавца Солиньяка, вниманіе, оказываемое постоянно императоромъ Луизѣ Фаржъ, аристократизмъ маркиза Новаля и невѣроятный бракъ между бывшимъ членомъ конвента Шамборо и маркизой Ригоди — придавали этому празднику особый интересъ.

Солиньякъ былъ такъ счастливъ, что боялся за долговѣчность

подобнаго блаженства. Но улыбка Луизы, нѣжный взглядъ ея или пожатіе руки изгоняли на долго всѣ опасенія.

— Если кризисъ счастья минуетъ благополучно, говорилъ Дюпонтрень, зорко слѣдя за своимъ паціентомъ, — то сердце мало-по-малу оправится, но теперь опасность грозитъ полковнику ежеминутно. И къ чему это жениться, прибавлялъ онъ, пожимая плечами. — „Periculosa felicitas!“

Но, смотря на Луизу, докторъ могъ совершенно успокоиться. Предестная женщина казалась ангеломъ-хранителемъ красавца воина; во всѣхъ ея словахъ и жестахъ проглядывала любовь и ясно было видно, что она обожала мужа и готова для него на всевозможныя жертвы.

Маркиза Ригоди была также очень счастлива. Она имѣла продолжительный разговоръ съ сномомъ въ маленькой гостиной, обитой зеленымъ атласомъ, и парила въ седьмомъ небѣ. Ее только немного встревожило одно обстоятельство: Солиньякъ при ней вынулъ изъ кармана два маленькихъ пистолета, которые онъ всегда носилъ при себѣ со времени нападенія Агостино, и положилъ ихъ на этажерку.

— Это что такое? воскликнула она. — Оружіе? Зачѣмъ?

— Оно меня не повидало до сихъ поръ, отвѣчалъ Солиньякъ, — но теперь оно излишне и я его оставляю.

Онъ провизнесъ эти слова съ улыбкой и добрая женщина успокоилась.

Наполеонъ только-что уѣхалъ послѣ довольно долгаго пребыванія на балу, гдѣ онъ дружески пожалъ руку полковника, поцѣловалъ бѣлую перчатку Луизы и вообще милостивыми улыбками выразилъ свое удовольствіе по случаю брака красавца гусара. Онъ даже остановился передъ старымъ маркизомъ Ногалемъ и сказалъ ему:

— Что-жь вы, маркизъ, все еще на насъ дуетесь?

Эти слова были такъ неожиданны и поспѣшны, что Новаль растерялся и ничего не отвѣчалъ. Когда-же Наполеонъ удалился, онъ промолвилъ:

— Чортъ возьми! У этого человѣка есть что-то особенное.

— Еще-бы: успѣхъ, замѣтилъ иронически герцогъ Отрантскій, стоявшій подлѣ.

— Успѣхъ явленіе мимолетное, сказалъ Шамборо, обращаясь прямо къ Фуше;— пусть вашъ поведитель этого не забываетъ.

Пока всѣ находились подъ впечатлѣніемъ присутствія императора и маркиза Ригоди съ гордостью смотрѣла на сына, къ которому такъ благоволилъ повелитель почти полуміра, къ Солиньяку подошелъ слуга и доложилъ, что его просить какой-то неизвѣстный господинъ, желающій сказать ему два слова по очень важному, спѣшному дѣлу.

— Гдѣ онъ? спросилъ Солиньякъ.

— Въ маленькой зеленой гостиной, полковникъ.

— Хорошо, я сейчасъ приду, сказалъ Солиньякъ и, взглянувъ съ счастливою улыбкой на Луизу, окруженную придворными дамами, пошелъ по заламъ къ указанной комнатѣ.

Поднявъ портьеру и войдя въ зеленую гостиную, онъ съ удивленіемъ увидалъ, что въ ней никого не было.

— Что же говорилъ слуга? воскликнулъ онъ громко. — Гдѣ же неизвѣстный господинъ?

И онъ оглядывался во всѣ стороны. Вдругъ его глаза остановились на пистолетахъ, еще недавно положенныхъ на этажерку, и онъ инстинктивно направился къ нимъ. Въ эту минуту заскрипѣлъ полъ и онъ обернулся. Въ дверяхъ стоялъ блѣдный, стиснувъ зубы, Агостино Чіампи.

Внѣ себя отъ зависти, гнѣва и униженія, Чіампи не могъ перенести счастья своего соперника и рѣшился на безумную попытку погубить его въ минуту самаго торжества. Хорошо зная расположеніе дома графини Фаржъ, въ нижнемъ этажѣ котораго происходилъ блестящій пріемъ, онъ проникъ въ зеленую гостиную подъ предлогомъ важнаго дѣла, касающагося полковника Солиньяка, и намѣревался, заманивъ его въ западню, заколотъ кинжаломъ, потомъ выскочить въ окно, выходящее въ садъ, перелѣзть черезъ стѣну и искать спасенія въ бѣгствѣ, что было не трудно, такъ-какъ у него все было готово для бѣгства. Конечно, онъ игралъ въ опасную игру, но пламенный итальянецъ дошелъ до того, что былъ готовъ жертвовать своей жизнью, чтобъ только отомстить ненавистному сопернику.

Пославъ слугу за Солиньякомъ, Агостино спрятался за дверь, и когда красавецъ полковникъ вошелъ въ комнату, онъ незамѣтно затворилъ дверь и опустил портьеру. Въ эту минуту его за-

мѣтилъ Солиньякъ; и, увидя въ его рукахъ кинжалъ и не надѣясь достичь во время этажерки, на которой лежали пистолеты, онъ сказалъ себѣ: „все кончено!“

Дѣйствительно, Агостино, не говоря ни слова, бросился на него съ дивой яростью, схватилъ его за горло и изо всей силы вонзилъ кинжалъ въ его грудь почти у самаго сердца. Солиньякъ отскочилъ и, не издавъ ни малѣйшаго звука, грохнулся на полъ близъ самой этажерки.

Оставивъ кинжалъ въ ранѣ, Агостино подбѣжалъ къ окну, но съ ужасомъ остановился. За стеклами мелькала какая-то тѣнь и мощныя руки трясали раму, такъ-что стекла звенѣли. Агостино бросился тогда къ дверямъ въ противоположной стѣнѣ. Въ эту самую минуту стекла разлетѣлись въ дребезги и раздался голосъ Кастаре, силившагося поднять задвижки:

— Я здѣсь, полковникъ! я здѣсь!

Солиньякъ слышалъ его голосъ, видѣлъ бѣгство убійцы, но не могъ ничего сдѣлать. Онъ одной рукой уже схватилъ съ этажерки пистолетъ, но до того ослабъ, что не могъ взвести курка.

Агостино ужъ отворилъ дверь, и еще минута—онъ исчезъ-бы за тяжелой портьерой, какъ вдругъ съ дикимъ крикомъ отскочилъ отъ порога, какъ ужаленный. Въ дверяхъ показался призракъ женщины съ бѣлымъ букетомъ на груди.

„Андреина“, блеснуло въ головѣ Солиньяка.

Ея обнаженная рука тяжело опустилась на плечо Агостино и съ неимовѣрной силой она втолкнула его въ комнату.

— Убійца! Подлецъ! промолвила она глухимъ голосомъ.

Онъ хотѣлъ высвободиться, но она впила ногти въ его тѣло. Тогда онъ схватилъ ее за горло и сталъ душить, но въ эту минуту Солиньякъ, приподнявшись съ неимовѣрнымъ усиленемъ, спустилъ курокъ пистолета.

Раздался выстрѣлъ и итальянецъ, замахавъ руками, грохнулся на коверъ мертвый, съ разбитымъ черепомъ.

Между тѣмъ отворилось окно и Марціалъ Кастаре, вскочивъ въ комнату, бросился къ Солиньяку съ дикимъ крикомъ:

— Ганри, Ганри! не умирай!

Но красавецъ полковникъ ужъ потерялъ сознание и лежалъ неподвижно, какъ мертвый.

— Боже мой! воскликнулъ Кастаре, — неужели его убили!

Онъ схватилъ рукоятку кинжала, вонзеннаго въ грудь полковника, но съ минуту колебался, вырвать-ли ему окровавленное желѣзо, какъ-бы боясь съ тѣмъ вмѣстѣ вырвать и сердце своего друга. Его пальцы дрожали и отъ ихъ судорожныхъ движеній рана расширялась.

„Если я его убью, желая спасти? подумалъ Марціалъ; — но нѣтъ, если я буду еще колебаться, онъ умретъ“.

Эта мысль о роковыхъ послѣдствіяхъ его нерѣшительности придала храбрости Кастаре и онъ успѣшно вырвалъ кинжалъ изъ груди раненаго; кровь хлынула потокомъ изъ зіяющей раны.

Андреина, выпрямившись во весь ростъ, съ воспаленными глазами, посинѣвшими губами и судорожно сжатыми чертами лица, стараясь казаться спокойной, мужественной, стояла неподвижно, какъ статуя, и смотрѣла мутными взорами на Кастаре, который, бросившись на колѣни, разстегивалъ мундиръ раненаго.

Пистолетный выстрѣлъ былъ услышанъ всеми гостями и многіе изъ нихъ послѣдили въ зеленую гостиную. Луиза бѣжала впереди всѣхъ, а за нею маркиза Ригоди, ноги которой подкашивались отъ страха. На порогѣ роковой комнаты Луиза остановилась съ инстинктивнымъ ужасомъ при видѣ окровавленнаго Солиньяка, мертваго Агостино и полуживой Андреины, походившей скорѣе на призракъ, чѣмъ на живое существо. Но маркиза бросилась прямо къ сыну и, положивъ его голову къ себѣ на колѣни, спросила у Кастаре:

— Онъ умеръ?

Гусаръ ничего не отвѣчалъ и безсознательно смотрѣлъ на кровь, струившуюся изъ раны полковника.

— Доктора! Доктора! воскликнула Луиза; — гдѣ Дюпюитрентъ?

Черезъ секунду изъ толпы выдѣлился знаменитый хирургъ и, засучивъ рукава своего синяго фрака, подошелъ къ раненому.

Водворилось гробовое молчаніе. Всѣ съ нетерпѣніемъ ждали приговора Дюпюитрена, а онъ, хладнокровный, съ насупленными бровями, спокойно разсматривалъ рану. Наконецъ, онъ поднялся съ полу.

— Онъ будетъ живъ? произнесла мать глухимъ голосомъ.

— Что надо дѣлать? воскликнула Луиза.

— Ничего, отвѣчалъ Дюпюитрентъ загадочнымъ тономъ и,



показывая изумленной толпѣ сплющенный кусочекъ свинца, прибавилъ: — Никогда я не видывалъ такой счастливой раны. Нѣтъ худа безъ добра! Сильное истеченіе крови исторгнуло изъ раны проклятую пулю, грозившую смертью полковнику. То, чего не могъ сдѣлать ножъ хирурга, сдѣлалъ кинжалъ. Сегодня утромъ я не могъ-бы отвѣчать за жизнь Солиньяка, ежеминутно находившуюся въ опасности, но теперь я скажу: онъ спасенъ.

— Спасенъ! воскликнула Луиза съ пламенной радостью.

— Спасенъ! промолвила маркиза и припала блѣдными губами къ холодному лбу сына.

Въ углу комнаты никѣмъ незамѣченный Шамборо едва сдерживалъ слезы.

— Важную вы сдѣлали операцію, землякъ, сказалъ Дюпонтренъ, дружески трепля по плечу Кастаре: — вы сдѣлали то, на что я никогда-бы не рѣшился. Расширивъ рану, вы спасли жизнь полковнику. Вотъ такъ хирургъ!

— Если-бы я его не спасъ, то вмѣсто одного мертвеца было-бы два: онъ и я.

Теперь только обратили вниманіе на Агостино Чіампи. Но одного взгляда было достаточно Дюпонтрену, чтобы сказать рѣшительно:

— Умеръ.

И онъ обернулся къ Андреинѣ; но та махнула рукой и дрожащими шагами подошла къ Луизѣ. Внучка маркиза Новаля взглянула съ необычной для нея гордостью и жестокосердіемъ на итальянку. Но Андреина произнесла смиреннымъ, отрывистымъ, не отъ шіра сего голосомъ:

— Я пришла сюда не для того, чтобы его отнять у васъ... Я умираю... Я васъ ненавижу... Простите... Сдѣлайте его счастливымъ... Я была его недостойна... и исчезаю.

Побуждаемая состраданіемъ, Луиза хотѣла успокоить несчастную, но въ это мгновеніе Андреина вздрогнула всѣмъ тѣломъ.

— А-а! ядъ силенъ, промолвила она; — его приготавлилъ Чіампи! Проклятый родъ!

Дюпонтренъ поддержалъ ее; прислонившись къ нему, Андреина умерла стоя, выпронивъ изъ рукъ только въ послѣднее мгновеніе свой букетъ розъ.

Пока Солиньяка клали на импровизированную постель, а охо-

лодѣвшую Андреину уносили въ другую комнату, въ зеленой гостиной появилась женщина въ странной одеждѣ съ красными лентами въ черныхъ волосахъ. Она вошла въ домъ, гордо поднявъ голову и отстраняя слугъ словами:

— Я родственница.

Она медленно подошла къ трупу Чіампи, отъ котораго всё отшатнулись, и долго смотрѣла на него. Лицо Агостино было дѣйствительно ужасное: зависть, гнѣвъ, униженіе побѣжденнаго исказили его красивыя черты. Смерть придаетъ поэтическое величіе только жертвамъ святаго дѣла.

— Это онъ! Это Агостино Чіампи! произнесла Тереза, качая головой.—Его убилъ Тевено. Знаете, за что? Агостино выдалъ своихъ товарищей. Теперь мой Клодъ будетъ жить счастливо. Подлеца нѣтъ на свѣтѣ!

Бѣдная сумасшедшая дико захохотала. Сильвенъ Шамборо подошелъ къ ней и едва оторвалъ ее отъ бездыханнаго трупа. Уводя ее изъ комнаты, онъ съ изумленіемъ замѣтилъ, что на ней былъ бѣлый шелковый поясъ съ кровавымъ пятномъ, найденный на груди Клода Ривьера.

## XXVIII.

### Конецъ драмы.

Бывшая маркиза Ригоди, теперь гражданка Шамборо, должна была выѣхать изъ Парижа тотчасъ послѣ свадьбы и на-вѣки покинуть челоуѣка, руки котораго она сама просила; но рана Солиньяка замедлила ея отъѣздъ на мѣсяцъ. Только убѣдившись, что красавецъ полковникъ совершенно оправился, она удалилась въ свой дорогой Лимузенъ съ старымъ, почти ослѣпшимъ Жакомъ и Терезой, которая медленно чахла, то предаваясь грустными думамъ, то съ улыбкой мечтая о Ривьерѣ. Въ своемъ старомъ замкѣ маркиза Ригоди—такъ продолжали ее всѣ звать, не смотря на ея постоянныя восклицанія: я не маркиза, а госпожа Шамборо—жила своей прежней жизнью, посылая по временамъ фрукты и консервы своему мужу и маркизу Новалю.

Сильвенъ Шамборо оставался въ Парижѣ. Онъ смотрѣлъ теперь на жизнь спокойнѣе, довольнѣе; у него была теперь цѣль—любить сына и думать о немъ.

— Въ женщинахъ есть кое-что хорошее, Плантадъ, говаривалъ онъ иногда;—сдѣлавшись матерями, онѣ совершенно перерождаются.

По временамъ Шамборо посылалъ за Жаномъ Ривьеромъ и старики проводили нѣсколько часовъ вмѣстѣ, скорѣе думая каждый о своемъ прошедшемъ, чѣмъ разговаривая.

— Зачѣмъ я живу? На что я годенъ, потерявъ все, что мнѣ было мило и дорого на свѣтѣ? говорилъ Ривьеръ, казавшійся отъ горя и страданій столѣтнимъ старцемъ;—моего бѣднаго Клода убили!

— Вы хоть видѣли, какъ онъ росъ, и можете вспоминать объ его дѣтствѣ, отвѣчалъ Шамборо, качая головой,—а я не имѣю даже этого утѣшенія.

— Нѣтъ, у васъ взяли ребенка и возвратили вамъ человѣка. У меня-же ничего нѣтъ.

Возвращаясь домой съ Плантадомъ, Жанъ Ривьеръ всегда останавливался передъ мрачной массой Пантеона и произносилъ задумчиво:

— Вотъ гдѣ онъ лежалъ-бы между великими людьми, если-бы судьба была справедлива. Никто не знаетъ, Плантадъ, сколько умираетъ людей, которые, можетъ быть, гораздо выше тѣхъ, кого прославляетъ исторія.

И этотъ посмертный панегирикъ сыну нѣсколько утѣшалъ бѣднаго старика.

Оправившись, Солиньякъ, по совѣту Дюшютрена и собственному влеченію, поѣхалъ съ Луизой, Кастаре и Катериной Маньякъ въ Лимузенъ.

— Вотъ моя родина, сказалъ онъ, подъѣзжая къ замку Ригоди въ свѣтлое зимнее утро;—мы здѣсь проживемъ до весны одни, счастливые, забытые всѣми.

Наступила весна со всѣми ея прелестями. Солиньякъ, указывая Луизѣ съ терасы замка на пробуждающуюся природу, сказалъ съ жаромъ:

— Посмотрите, милая Луиза! все живетъ, улыбается, смѣется,

вездѣ зелень, цвѣты, блескъ, радость! и все это для насъ двоихъ, Луиза.

„Для нихъ двухъ, думала маркиза Ригоди, сидѣвшая не подалеку;—ахъ, милые эгоисты! а я то что? Ну, они счастливы и я довольна“.

Въ замкѣ Ригоди было не менѣе счастлива и другая чета: Марціалъ Кастаре, женившись на Катеринѣ Маньякъ, также блаженствовалъ и часто говорилъ женѣ:

— Вотъ видишь, Катису, не надо смѣяться надъ предсказаніями; теперь я, правда, ничего не боюсь. Опасность миновала, черноокая красавица умерла и пуля вынута. Пусть пруссаки, австрійцы, итальянцы и итальянки дѣлаютъ, что хотятъ. Намъ они не страшны. И такъ-какъ я умру въ одинъ день съ полковникомъ, то, голубушка Катису, мнѣ нечего торопиться. Мы съ нимъ проживемъ сто лѣтъ.

## СУДЬБА РАИИ.

(Съ сербскаго.)

Какая жалкая судьба —  
Всю жизнь бороться съ ницетою,  
И цѣпь позорную раба  
Носить, поникнувъ головою.  
Молчать, не думать, не любить,  
Скрывать души святыя силы...  
И малодушно скоронить  
Порывы страсти до могилы!  
И отдаваться безъ любви,  
И улыбаться равнодушно,  
Когда огонь кипитъ въ крови,  
Когда кругомъ такъ душно, душно...  
То пресмыкаться день за днемъ,  
То, палачей разить не смѣя,  
Склоняться молча подъ ножомъ  
У разъяреннаго злодѣя.

Изъ этой тьмы скорѣе вонъ!  
Скорѣй, не то душа устанетъ!  
Страхни ея позорный сонъ,  
Пусть Божій громъ надъ нею грянетъ!  
Внемли-жь: спасенья голоса...  
За отошедшею грозою—  
Тучнѣй поля, свѣжѣй лѣса  
И ярче небо надъ тобою...  
Съ открытымъ сердцемъ бури жди  
И, вмѣстѣ съ шумомъ непогоды,  
Въ твоей измученной груди  
Промчится чудный вихрь свободы.

В. И. Славянской.

# СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.



## РОЛЬ МЫСЛИ ВЪ ИСТОРИИ.

(Опытъ исторіи мысли. Т. I. Вып. I. Издан. журнала «Знаніе».)

### IV.

Было время, и не слишкомъ даже давно, когда зоологи, ботаники, астрономы, физики и вообще ученые жрецы тѣхъ наукъ, которыя теперь принято называть *опытными*, считали своею священною обязанностью относиться къ изучаемымъ ими явленіямъ природы — явленіямъ внѣшняго, объективнаго міра, — съ нравственно-телеологической точки зрѣнія. Астрономическіе, біологическіе и физическіе факты имѣли для нихъ значеніе только на-столько, на-сколько они подтверждали или противорѣчили тому или другому заранѣе составленному идеалу изслѣдователя. Въ этотъ идеалъ всегда входило представленіе о *цѣли*. Вся природа казалась одушевленною какою-нибудь цѣлью. Иногда эту цѣль видѣли въ удовлетвореніи потребностей человѣческаго организма, его субъективнымъ желаніямъ и стремленіямъ, — иногда въ осуществленіи высшихъ, недоступныхъ пониманію человѣка, предназначеній провидѣнія. Человѣческія потребности или высшія предназначенія провидѣнія служили, такимъ образомъ, основнымъ критеріумомъ, съ точки зрѣнія котораго разсматривалось и обсуждалось и развитіе организмовъ, и движеніе планетъ, и вообще всякая метаморфоза въ физическомъ мірѣ.

Понятно, что при господствѣ подобнаго міросозерцанія явленія природы изслѣдовались съ точки зрѣнія чисто-субъективной. Изслѣдователь хлопоталъ не столько о томъ, чтобы открыть и выяснить дѣйствительную связь, существующую между ними, изучить управляющіе ими реальныя законы, сколько о томъ, чтобы подтануть ихъ подъ свою субъективную мѣрку, подъ ту или другую метафизическую доктрину. При оцѣнкѣ ихъ имѣлся въ виду не критерій „истиннаго“ и „ложнаго“, а критерій „нравственнаго“ и „безнравственнаго“, „хорошаго“ и „дурного“, „желательнаго“ и „нежелательнаго“. Наука, по рукамъ и ногамъ связанная разными этическими и теологическими соображеніями, погрязшая въ тинѣ субъективизма, съ трудомъ могла подвигаться впередъ. Ея прогрессивное развитіе было обусловлено развитіемъ и совершенствованіемъ нравственныхъ понятій, нравственныхъ идеаловъ человѣчества. А послѣдніе, какъ извѣстно, развиваются необыкновенно медленно и туго. Поэтому нерѣдко случалось, что драгоценныя научныя открытія, что гениальныя научныя обобщенія умирали въ самомъ зародышѣ, насильственно устранялись изъ области научнаго изслѣдованія, надолго вычеркивались изъ сознанія современниковъ, потому что они или шли въ разрѣзъ съ общепринятыми воззрѣніями, или не совпадали съ извѣстными идеалами, и представители этихъ воззрѣній, этихъ идеаловъ обрушивались на нихъ со всею необузданностью возмущеннаго нравственнаго чувства и съ позоромъ и бичеваніемъ изгоняли „истину“ изъ храма науки. Такимъ образомъ, благодаря этой близорукости и постоянной оппозиціи католической клики, средніе вѣка представляютъ такую обширную и безплодную почву, на которой не могло развиться ничего новаго и оригинальнаго въ интелектуальномъ отношеніи. Всякая попытка прогрессивной мысли считалась ересью и преслѣдовалась, какъ религіозная ересь.

Вспоминая теперь объ этомъ мрачномъ времени, когда католическое духовенство и іезуиты держали науку въ осадномъ положеніи, когда они совали свой носъ всюду—и въ вычисленія астронома, и въ анализъ химика, и даже въ невинныя изысканія ботаника, мы не находимъ достаточно сильныхъ словъ для выраженія нашего негодованія, мы восторгаемся освобожденіемъ человѣческой мысли изъ-подъ католическаго гнета, мы ругаемъ и проклинаемъ инквизицію... Какъ и всегда, мы обрушиваемъ грома нашего

гнѣва на слѣдствія и совсѣмъ упускаемъ изъ вида породившія ихъ причины.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти іезуиты, эта страшная инквизиція, пославшая на костеръ Джордано Бруно, заточившая Галилея, предававшая анафемѣ всякій проблескъ свободной мысли, — развѣ все это не было лишь логическимъ, неизбѣжнымъ послѣдствіемъ господствовавшаго тогда субъективнаго отношенія къ явленіямъ природы, субъективнаго метода? Судьи, осудившіе Бруно и Галилея, были лишь послѣдовательными проводниками и выразителями этого метода. Въ немъ ихъ полное оправданіе.

Глубоко проникнутые сознаніемъ, что каждое научное изслѣдованіе всегда преслѣдуетъ и всегда должно преслѣдовать какой-нибудь нравственный идеалъ, какую-нибудь определенную доктрину, эти люди ни на минуту не допускали мысли, чтобы Бруно и Галилей могли относиться объективно къ интересующимъ ихъ астрономическимъ вопросамъ. Въ ихъ математическихъ вычисленіяхъ, въ ихъ астрономическихъ гипотезахъ они видѣли и, съ точки зрѣнія господствующаго субъективнаго метода, должны были видѣть нѣкоторую нравственно-оппозиціонную тенденцію. По ихъ мнѣнію — и мнѣнію совершенно основательному, — эта тенденція находилась въ полнѣйшемъ противорѣчій съ общепринятыми воззрѣніями, съ общеустановленной догмой католическаго авторитета. И за нее-то онъ ихъ осудилъ. Онъ ихъ осудилъ не только какъ заблуждающихся ученыхъ, но и какъ испорченныхъ, безнравственныхъ людей. Это было совершенно логично, хотя теперь намъ это кажется возмутительнымъ.

Этотъ страшный авторитетъ, эта ретроградная сила, опирающаяся на невѣжество массы, и до сихъ поръ даетъ себя чувствовать и мы вовсе не такъ далеко ушли отъ мировоззрѣнія судей Бруно и Галилея. Правда, въ той области изслѣдованія, которой они занимались, мы болѣе или менѣе окончательно отрѣшились отъ прежней субъективной и традиціонной точки зрѣнія. Теперь для насъ совершенно даже непонятно, какъ можетъ быть безнравственна астрономія, какъ можетъ быть преслѣдуема химія или физиологія. Мы всѣ убѣждены, что къ даннымъ этихъ наукъ этические критеріи неприимны; мы ищемъ въ нихъ не того, что намъ желательно или нежелательно, субъективно пріятно или непріятно, что, съ нашей точки зрѣнія, нравственно или безнравственно, — а того,



что объективно истинно. Естествоиспытатель, изслѣдуя отношенія, существующія между данными явлениями, можетъ обнаруживать факты, весьма мало сообразные съ установившимися понятіями массы, съ мировоззрѣніемъ того или другого авторитета, и ни одному здраво-мыслящему человѣку не придетъ, однако, въ голову заподозрить его нравственную чистоту, если только обнаруженные имъ факты дѣйствительны, если они не плодъ его досужей фантазіи. Напротивъ, всякое тенденціозное направленіе въ этомъ отношеніи, всякая фальсификація фактовъ, окрашиваемыхъ цвѣтомъ извѣстной предвзятой идеи, хотя-бы это было совершенно въ духъ господствующей доктрины, рождаетъ въ нашихъ глазахъ значеніе науки и ея неподкупное безпристрастіе.

Такимъ образомъ, теперь мы предъявляемъ ученому требованія прямо противоположныя тѣмъ, которыя ему предъявлялись во времена Галилея. Тогда ему говорили: „проводи во что-бы то ни стало, защищай всѣми средствами извѣстный нравственный идеаль, извѣстную догму, и все, что ты ни скажешь, все, что ты ни отвероешь и ни придумаешь, будетъ истиной“. Теперь, напротивъ, мы говоримъ: „Ищи одну лишь объективную истину и ни о какихъ идеалахъ и догмахъ не заботься. Не первая должна сообразоваться съ послѣдними, а послѣдніе съ первой“.

Однако, всѣмъ-ли ученымъ мы предъявляемъ подобныя требованія?

Вотъ въ томъ-то и бѣда, что нѣтъ.

Объективнаго отношенія къ изслѣдуемому предмету мы требуемъ только отъ той сравнительно небольшой группы ученыхъ, которыхъ принято называть естествоиспытателями. Къ ученымъ-же, изучающимъ не явленія природы (въ тѣсномъ смыслѣ этого слова), а явленія общественной и психической жизни людей, мы и до сихъ поръ обращаемся съ тѣми-же требованіями, съ какими обращался средневѣковой авторитетъ къ Бруно и Галилею. Мы хотимъ непременно, чтобы они вносили въ свои изслѣдованія какіе-нибудь нравственные и иные чисто-субъективные идеалы, чтобы они оцѣнивали и взвѣшивали анализируемые ими факты съ точки зрѣнія своихъ личныхъ ощущеній и вкусовъ, чтобы они разсматривали ихъ сквозь призму „пріятнаго и непріятнаго“, „желательнаго и нежелательнаго“, „дурного и хорошаго“. Короче говоря, мы хотимъ оставить общественныя науки въ той субъективной рутинѣ, отъ кото-

рой освободились мало-по-малу науки естественныя. И, подобно тому, какъ современники Галилея не допускали мысли, чтобы человѣкъ, открывающій новыя астрономическіе факты, идущіе въ разрѣзъ съ общепринятыми теологическими воззрѣніями, могъ быть человѣкомъ религіознымъ и, слѣдовательно (съ точки зрѣнія тогдашней морали), нравственнымъ, такъ точно и теперь мы не хотимъ вѣрить, чтобы можно было имѣть какіе-нибудь нравственные идеалы и не подводить подъ нихъ изучаемыя явленія общественной жизни. Отсюда само собою понятно, почему всѣ наши такъ-называемыя общественныя науки пропитаны до мозга костей метафизико-идеалистическимъ направленіемъ. Онѣ идеалистичны, потому что суютъ свои идеалы всюду, потому что все подъ нихъ подводятъ и все ими объясняютъ. Онѣ метафизичны, потому что идеаль является у нихъ не какъ отвлеченный критерій, а какъ нѣкая сущность, воплощеніемъ которой онѣ почти исключительно только и занимаются. Въ подтвержденіе этой мысли я могъ-бы привести безчисленное множество примѣровъ изъ области такъ-называемой политической экономіи, изъ области государственныхъ и юридическихъ наукъ и т. п., но это завлекло-бы насъ слишкомъ далеко. Укажемъ здѣсь лишь на одну изъ общественныхъ наукъ—на исторію. Трудно себѣ представить какую-нибудь другую отрасль человѣческаго знанія, которая находилась-бы въ болѣе печальномъ, хаотическомъ состояніи, чѣмъ она. Кто-то не безъ основанія сравнилъ ее съ легкомысленной женщиной, услугами которой всякій пользуется по своему выбору и вкусу. Въ исторіи, какъ въ обширномъ музеѣ, безъ труда можно отыскать орудія для борьбы съ кѣмъ и съ чѣмъ угодно.

Какой-бы ограниченный періодъ времени вы ни взяли, но если изученіемъ его занималось нѣсколько историковъ, то вы навѣрное можете сказать, что каждый изъ нихъ придетъ къ выводамъ, противорѣчающимъ выводамъ его сотоварищей. Еще Бейль сказалъ: „у насъ столько исторій, сколько историковъ“. А почему? Потому, что каждый историкъ не только въ комбинированіи и извѣстномъ освѣщеніи фактовъ, но и въ самомъ выборѣ ихъ постоянно руководится своими субъективными ощущеніями, своими личными вкусами и воззрѣніями. Каждый старается провести свою идейку, оправдать свой идеаль, нисколько не за-

ботаясь о реальной связи историческихъ явленій, о дѣйствительномъ, объективномъ соотношеніи изучаемыхъ фактовъ.

Очевидно, что при такомъ антинаучномъ методѣ изслѣдованія исторія никогда не выбьется изъ колеи рутиннаго эмпиризма, она никогда не сдѣлается наукою въ точномъ смыслѣ этого слова, никогда не выйдетъ изъ младенческаго періода своего развитія. Сами историки начинаютъ это сознавать; наиболее талантливые, наиболее гениальные изъ нихъ (въ родѣ, напр., Бокля) дѣлаютъ даже попытку—или, по крайней мѣрѣ, открыто заявляютъ о своемъ желаніи сдѣлать ее,—попытку изучать исторію обществъ съ тѣмъ-же объективнымъ безпристрастіемъ, съ какимъ геологи изучаютъ исторію нашей планеты. Правда, до сихъ поръ эта попытка ни разу еще не увѣнчалась успѣхомъ. Современному историку, очевидно, такъ-же трудно отрѣшиться отъ своего субъективнаго метода, какъ это было трудно средневѣковому астроному. Однако, важно и то, что явилась уже потребность въ новомъ методѣ. Пока она еще сознается очень немногими, но придетъ время—и ее сознаетъ большинство мыслящихъ людей. Прогрессъ исторіи, какъ науки, будетъ обезпеченъ, она станетъ тогда на дѣйствительно твердую почву и отрѣшится мало-по-малу отъ своихъ метафизическихъ бредней.

Авторъ „Опыта исторіи мысли“ не принадлежитъ къ этому меньшинству. Онъ не имѣетъ ни малѣйшаго представленія о рациональномъ историческомъ методѣ и, вѣстѣ съ толпою подобныхъ ему историковъ-метафизиковъ, видитъ въ исторіи не науку о законахъ, управляющихъ развитіемъ обществъ, а искусство называнія историческихъ фактовъ на нитки субъективныхъ идеаловъ. „Формы общества, событія исторіи, говоритъ онъ (стр. 18),—сами по себѣ не представляютъ интереса...“ они интересны лишь настолько, насколько они служатъ „пособіемъ или противодѣйствіемъ тому нравственному идеалу, который выработался въ убѣжденіяхъ изслѣдователя...“ (стр. 14). Задача историка состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы изучить и опредѣлить необходимую связь и внутреннюю логику историческихъ фактовъ, послѣдовательность и сосуществованіе выработываемыхъ исторіею общественныхъ состояній; нѣтъ, по мнѣнію автора, этотъ вопросъ не только не важенъ для историка, но онъ даже не долженъ входить въ кругъ его изслѣдованій. Вмѣсто того онъ предлагаетъ

ему заняться разрѣшеніемъ такихъ вопросовъ: „Представляютъ ли историческія событія сознательное стремленіе къ тому прогрессу, который признанъ историкомъ, какъ цѣль человѣческаго развитія? Которая изъ борющихся партій стремилась къ нему и понимала его яснѣе? Которая противодействовала ему наиболѣе сознательно? Какія обстоятельства способствовали торжеству или поражению представителей прогресса въ данную эпоху, подготовляли и вызвали окончательно это торжество или пораженіе? Какъ постепенно уяснялось и затемнялось въ исторіи сознание нравственнаго идеала, который развился въ убѣжденіи историка?“ (ib.).

Авторъ полагаетъ, что вопросы эти вполне научны и что исторія, отвѣчающая на нихъ, будетъ вполне „научною исторіею“.

О, святая наивность! Скажите-же, Бога-ради, какое дѣло наукъ до того, что у нѣкоего X. или Z. сложился такой-то нравственный или общественный идеалъ, такое-то субъективное представленіе о человѣческомъ прогрессѣ? Можетъ быть, этотъ идеалъ прекрасенъ, это представленіе возвышенно, но разъ историкъ навязываетъ ихъ всему человѣчеству, разъ онъ ищетъ въ исторической жизни народа только то, что имѣетъ къ нимъ непосредственное отношеніе, разъ онъ выбираетъ, освѣщаетъ и комбинируетъ историческіе факты не по ихъ дѣйствительной, объективной важности, а потому, насколько они содѣйствовали „уясненію и затемненію сознанія“ его, т.-е. историка, „нравственнаго идеала“, — онъ дѣлается моралистомъ, публицистомъ, метафизикомъ, философомъ, всѣмъ, чѣмъ хотите, но онъ перестаетъ быть историкомъ. Это такъ-же безспорно и очевидно, какъ и то, что человѣкъ, изучающій астрономію или біологію съ непрежъяною цѣлью доказать истинность какой-нибудь теологической догмы, можетъ быть прекраснымъ теологомъ, искуснымъ проповѣдникомъ, но никогда не будетъ и не можетъ быть ни порядочнымъ астрономомъ, ни сноснымъ біологомъ.

Сущность каждой науки, будетъ-ли то астрономія, біологія или исторія, одна и та-же; она всегда имѣетъ дѣло лишь съ законами данныхъ явленій, т.-е. съ постоянными соотношеніями ихъ послѣдовательностей и сосуществованій. Она допускаетъ, конечно, нѣкоторыя гипотезы, нѣкоторыя апріорныя теоріи; но это совсѣмъ не значитъ, что она можетъ произвольно выбирать и

комбинировать факты въ угоду известнаго идеала, известной доктрины. Въ первомъ случаѣ теорія только комментируетъ факты, во второмъ, наоборотъ, факты берутся лишь для того, чтобы иллюстрировать теорію.

Въ этомъ-то и заключается разница между человѣкомъ „науки“ съ одной стороны и метафизикомъ—съ другой. Человѣкъ науки изучаетъ дѣйствительно существующую связь и порядокъ явленій. Метафизикъ, отвергая эту связь и этотъ порядокъ, старается создать его изъ собственной головы, сообразуясь не съ реальными фактами, а съ своими чисто-субъективными идеалами и представленіями.

Такъ именно и поступаетъ авторъ „Опыта исторіи мысли“. Предоставивъ исторіку классифицировать историческія событія сообразно его представленію о сущности человѣческаго прогресса, авторъ тѣмъ самымъ отрицаетъ существованіе между ними необходимой связи,—связи, такъ-сказать, „объективной“, независящей отъ „субъективныхъ“ возрѣній изслѣдователя. Дѣйствительно, онъ прямо говоритъ, что исторія не имѣетъ никакихъ такихъ законовъ, изслѣдованіемъ и раскрытіемъ которыхъ занимаются другія науки. Всякая наука ставитъ своею задачею „свести явленія (подлежащія ея изслѣдованію) на возможно-меньшее число такихъ общихъ формулъ, которыя находятъ себѣ приложеніе всегда и вездѣ въ этой области, такъ чтобы сквозь пеструю ткань „разнообразныхъ“ явленій мысль ученаго постоянно усматривала повтореніе однихъ и тѣхъ-же основныхъ началъ...“ (стр. 12). Эти общія формулы и называются „законами“. И, очевидно, пока наука не открыла еще этихъ законовъ, она не можетъ ни вполне понять, ни правильно классифицировать изучаемыя ею явленія, она будетъ находиться въ „эмпирическомъ“ состояніи и по-необходимости станетъ прибѣгать во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ къ помощи метафизики, — иными словами, она не будетъ „наукою“ въ точномъ смыслѣ этого слова. Но въ исторіи, по мнѣнію автора, такихъ законовъ нѣтъ, „и то, что представляетъ нѣчто подобное въ теченіи историческихъ событій, есть законъ не исторіи, а социологій, феноменологій духа, физики земли“ и т. д. (ib.). Слѣдовательно, исторія, съ этой точки зрѣнія, никогда и не можетъ быть наукою.

Если это такъ, въ такомъ случаѣ субъективно-метафизическій методъ автора вполне понятенъ и вполне законенъ.

Но такъ-ли это?

На чемъ онъ основываетъ свой рѣшительный приговоръ, обрекающій исторію или на вѣчное прозябаніе въ тинѣ грубаго эмпиризма, или, на бессмысленное блужданіе по высотамъ туманной метафизики?

На томъ единственномъ фактѣ, что будто-бы въ исторіи группы явленій не повторяются, „вѣчно возникаютъ въ ней новыя комбинаціи предшествующихъ обстоятельствъ, которыя приводятъ къ событіямъ лишь однажды совершающимся“ (стр. 10). Прежде всего самый этотъ фактъ весьма недостоверенъ. Конечно, тождественныхъ явленій, ни въ исторіи, да и ни въ какой другой области фактовъ, доступныхъ нашему наблюденію, мы никогда не встрѣчаемъ. Однако, историческія событія, отличааясь въ своихъ деталяхъ весьма значительнымъ разнообразіемъ, по общему своему характеру, по своей основной сущности далеко не представляютъ той „неповторяющейся новизны“, которую приписываетъ имъ авторъ. Напротивъ, многіе историки-философы, вглядываясь попристальнѣе въ историческую жизнь народовъ, были до такой степени поражены ихъ утомительнымъ однообразіемъ, что создали даже цѣлую теорію историческаго круговорота,—теорію, въ свое время весьма популярную и почти общепризнанную между современниками Вико. Наконецъ, у всѣхъ и всюду укоренившаяся привычка искать и находить аналогію между тѣмъ, что было, и тѣмъ, что есть, едва-ли могла-бы имѣть мѣсто, если-бы дѣйствительно эта аналогія не имѣла подъ собою какой-нибудь реальной почвы, если-бы она была плодомъ безпардонной фантазіи метафизиковъ и поэтовъ.

Но кромѣ того, неповторяемость однихъ и тѣхъ-же явленій не доказываетъ еще, что и „отношенія“ между ними не могутъ повторяться. Экономическая, политическая, юридическая, умственная и нравственно-религіозная жизнь извѣстнаго народа можетъ не представлять ни малѣйшей аналогіи съ экономической, политической, юридической и т. д. жизнью другого народа или даже одного и того-же народа въ различные періоды его историческаго развитія. Тѣмъ не менѣе, однако, между всѣми этими различными сторонами общественнаго быта могутъ существовать у

всѣхъ народовъ, во всѣ періоды ихъ развитія, одни и тѣ-же постоянныя, необходимыя отношенія. Изслѣдованіе этихъ-то отношеній и должно составлять задачу историка. И разъ они выяснены, иными словами, разъ историкѣ удалось открыть извѣстную, необходимую связь въ послѣдовательной смѣнѣ и сосуществованіи общественныхъ состояній, онъ тѣмъ самымъ открываетъ „историческій законъ“,—законъ на-столько-же всеобщій и непреложный, какъ и любой изъ законовъ химіи, біологіи и т. п.

Авторъ скажетъ, пожалуй, что это будетъ не законъ исторіи, а законъ социологіи. Но какъ-же и можетъ быть иначе? Вѣдь исторія есть развитіе даннаго социальнаго организма; слѣдовательно, законы перваго должны по-необходимости быть законами втораго, и наоборотъ. Точно такъ-же, какъ законъ развитія челоуѣка есть въ то-же время и законъ его организма, социологія, понимаемая какъ общественная статика и какъ общественная динамика, относится къ исторіи какъ цѣлое къ своей части. Изъ законовъ, управляющихъ этою частью, можно заключить и о законахъ, управляющихъ цѣлымъ.

## V.

Отказываясь искать въ исторіи тѣхъ социологическихъ законовъ, которые управляютъ и предопредѣляютъ теченіе историческихъ событій, авторъ вынужденъ искать въ собственномъ своемъ разумѣ, въ своихъ субъективныхъ представленіяхъ о „сущности прогресса“ какой-нибудь руководящей идеи, какой-нибудь опредѣленной нормы для оцѣнки и классификаціи историческаго матеріала. Онъ поступаетъ въ этомъ случаѣ совершенно такъ-же, какъ поступали до него и какъ, вѣроятно, будутъ поступать долго и послѣ него заурядные историки-метафизики. Они обыкновенно опредѣляютъ себѣ заранѣе, опредѣляютъ а priori то, что, по ихъ мнѣнію, должно составлять „существенное содержаніе исторіи“, и затѣмъ уже съ большимъ или меньшимъ искуствомъ подбираютъ факты, непосредственно относящіеся къ этому существенному содержанію; все-же остальное, какъ неизмѣющее прямого отношенія къ „существенному“, оставляется въ тѣни или проходитъ полнѣйшимъ молчаніемъ. Приемъ, какъ видите, весьма

и весьма научный; бѣда только въ томъ, что они никакъ не могутъ между собою согласиться насчетъ опредѣленія „существеннаго“. Существенное для одного нерѣдко оказывается несколько не существеннымъ для другого, и, наоборотъ, что кажется одному непреложно-истиннымъ, то для другого представляется вопіющею ложью. И между этими двумя крайностями остается широкая арена только для діалектической эквилибристики, для словопреній и софизмовъ.

И это весьма понятно. Для cadaго изъ нихъ существенно то, съ чѣмъ онъ лучше всего знакомъ, что больше всего его интересуеть. Если историкъ дипломатъ, если онъ состоитъ, напр., *attaché* при какомъ-нибудь посольствѣ, если онъ занимаетъ какую-нибудь государственную должность, если онъ привыкъ вращаться въ тѣхъ сферахъ, которыя занимаютъ *de la haute politique*, то, разумѣется, для него самымъ существеннымъ содержаніемъ исторіи будутъ дипломатическія интриги, политическія комбинаціи, государственное управление и т. п. Если онъ воинъ или, по крайней мѣрѣ, вращается въ тѣхъ кружкахъ, гдѣ на первомъ планѣ стоятъ военные интересы, то онъ склоненъ будетъ и въ исторіи отдавать этимъ интересамъ предпочтеніе передъ всѣми другими. Если онъ принадлежитъ къ духовной средѣ, въ особенности если онъ занимаетъ какое-нибудь видное или вообще доходное мѣстечко въ церковной іерархіи, то нѣтъ сомнѣнія, что въ исторіи человѣчества онъ будетъ видѣть только исторію церкви, исторію своей іерархіи. Наконецъ, если онъ человѣкъ ученый, кабинетный, привыкшій возиться съ отвлеченными идеями, ушедшій въ книги, живущій, если можно такъ выразиться, однимъ мышленіемъ, то понятно, что для такого историка существенно содержаніе исторіи будетъ заключаться въ прогресѣ человѣческаго интеллекта, въ развитіи человѣческой мысли, насколько она проявляется въ творчествѣ, въ наукѣ, въ философіи.

Было время, когда исторіографія составляла какъ-бы монополию тѣхъ классовъ общества, которые можно назвать по преимуществу государственными, такъ-какъ изъ нихъ выходило большинство людей, занимавшихъ высшія государственныя, дипломатическія, военныя, духовныя и т. п. должности. Разумѣется, подъ ихъ искусными перьями исторія превращалась въ утопительныя сказанія о нескончаемыхъ войнахъ, дипломатическихъ



передрагахъ, церковныхъ интригахъ,—однимъ словомъ, въ исторію церкви, государства и дипломатіи.

Время это прошло и теперь исторію уже пишутъ не хитроушные дипломаты, не государственные „дѣльцы“, не благочестивые патеры, а разные „разночинцы“, люди книжные, вся жизнь, всѣ мысли, вся дѣятельность которыхъ почти исключительно сосредоточиваются на однихъ лишь умственныхъ интересахъ. Отсюда само собою понятно, что именно эти интересы и должны были въ новѣйшихъ исторіяхъ выдвинуться на первый планъ.

Дѣйствительно, всѣ сколько-нибудь замѣчательные представители новѣйшей философской исторіи, начиная съ О. Конта и кончая какимъ-нибудь Генна-ам-Риномъ, видятъ въ исторіи общественнаго развитія не болѣе, какъ исторію человѣческой мысли. „Въ исторіи общества, говоритъ Контъ,—господствующее значеніе имѣетъ исторія человѣческаго ума“. „Исторія міра есть въ концѣ-концовъ лишь исторія развитія мысли“, восклицаетъ Лоранъ. Дреперъ свой очеркъ исторіи Европы озаглавливаетъ: „Исторія умственнаго развитія Европы“. Бокль въ накопленіи и распространеніи знаній признаетъ главный и самый существенный факторъ историческаго развитія (по крайней мѣрѣ, Европы). Лазарусъ и Шафгаузенъ видятъ въ „идеяхъ“, въ „непрестанной работѣ человѣческой мысли“ основную сущность исторіи. Почти то-же самое утверждаетъ и Курно. По мнѣнію Генна-ам-Рина, „вся цивилизація состоитъ въ обработкѣ трехъ идей“: „идеи истины, идеи красоты и идеи добра“.

Нашъ авторъ, какъ и подобаетъ философу, повторяетъ то-же; и для него исторія человѣчества сводится къ „исторіи мысли“, и преимущественно „мысли критической“. „Задачу исторіи, говоритъ онъ,—можно выразить такъ: показать, какъ критическая мысль личностей перерабатывала культуру обществъ“ (стр. 6.)

Какъ прежде въ подвигахъ дипломатовъ, воиновъ и т. п. видѣли „существенное содержаніе“ исторіи, такъ теперь его видятъ въ подвигахъ критической мысли, вносящей будто-бы, въ цивилизацію „истину и справедливость“.

Критическая мысль—это, нужно отдать автору справедливость, его собственное изобрѣтеніе,—изобрѣтеніе, которымъ онъ, повидимому, весьма дорожитъ. Да и есть за что: оно если не болѣе, то, во всякомъ случаѣ, не менѣе остроумно, чѣмъ и изобрѣтен-

ный тѣмъ-же авторомъ „субъективно-объективный“ или „антропологическій“ методъ.

Повидимому, всякая мысль, если только она направлена на критику даннаго явленія, къ какой-бы сферѣ оно ни относилось и въ какой-бы формѣ она ни проявлялась,—эта мысль должна называться критическою мыслью. Критическая мысль—это не есть какая-то особая, специальная, высшая способность человѣческаго интеллекта. Это не есть даже высшая стадія развитія человѣческой мысли. Едва только мозговая дѣятельность человѣка начинаетъ выходить изъ состоянія безотчетнаго инстинкта и становится сознательнымъ мышленіемъ, какъ уже является критика. Кто мыслить сознательно, тотъ мыслить критически. И дѣйствительно, въ самыхъ младенческихъ формахъ проявленія мысли (въ формахъ, напр., религіознаго творчества, которое нашъ авторъ считаетъ одною изъ самыхъ низшихъ ступеней развитія мысли) мы уже находимъ несомнѣнные слѣды критическаго отношенія къ явленіямъ, окружающимъ человѣка. Разумѣется, критика эта становится тѣмъ послѣдовательнѣе, тѣмъ глубже и разумнѣе, чѣмъ шире раздвигаются горизонты мысли, чѣмъ болѣе она обогащается опытомъ, чѣмъ болѣе совершенствуются методы ея изслѣдованій. Сила критики растетъ съ силой мысли. Но тѣмъ не менѣе первая никогда не составляетъ какой-то специфической формы послѣдней; напротивъ, она присуща въ большей или меньшей степени всѣмъ ея формамъ, всѣмъ ея проявленіямъ.

Отрицать эти элементарныя психологическія истины—значить не отдавать себѣ яснаго отчета въ самомъ процесѣ сознательнаго мышленія. Сознательно мыслить—значить сопоставлять, сравнивать, различать, обобщать, и, на основаніи этихъ сопоставленій, сравненій, различеній и обобщеній приходить къ какому-нибудь выводу. Но когда вы сопоставляете, сравниваете, различаете и т. д., развѣ вы не критикуете? Возможно-ли-же послѣ этого утверждать, будто сознательная мысль не всегда бываетъ критическою, будто рядомъ съ мыслью критическою есть еще какая-то другая мысль, не критическая?

Нашъ авторъ считаетъ это возможнымъ (см. стр. 8, 9 и др.) Очевидно, подъ терминомъ „критическая мысль“ онъ понимаетъ не совсемъ то, что подъ нимъ обыкновенно понимается. Для него это не извѣстное проявленіе человѣческой мысли вообще, а извѣст-

ная специфическая форма мысли. Въ чемъ-же, по его мнѣнiю, заключается особенность этой формы?

Критическая мысль, говоритъ онъ, возникаетъ тогда лишь, „когда является первое сознательное стремленiе удалить аффектъ изъ процесса теоретической мысли, получить результатъ размышленiя не такимъ, какимъ мы его желаемъ для нашей пользы и въ виду нашего вѣрованiя, но такимъ, каковъ онъ есть самъ по себѣ“ (стр. 8); слѣдов. критическая мысль есть мысль, если можно такъ выразиться, по-преимуществу объективная, мысль, очищенная отъ всякихъ субъективныхъ аффектовъ, чуждая всякихъ утилитарныхъ соображенiй, мысль, изслѣдующая и оцѣнивающая всякiй данный предметъ по его внутренней реальной сущности, а не по тому прiятному или непрiятному впечатлѣнiю, которое онъ на насъ производитъ. Говоря проще: вполне безстрастное (т. е. неаффецированное); вполне объективное отношенiе къ явленiямъ окружающаго насъ мира есть, по мнѣнiю автора, отношенiе критическое.

Обыкновенно подобное отношенiе принято называть научнымъ; автору угодно его называть критическимъ. Что-же, изъ-за словъ спорить нечего! Но только вотъ въ чемъ бѣда: выше мы видѣли, что съ точки зрѣнiя „антропологической“ или „субъективно-объективной“ (т. е. съ точки зрѣнiя самого автора) невозможно относиться вполне объективно, слѣдовательно, критически, къ явленiямъ общественной жизни, не только современнымъ намъ, но и давно минувшимъ; что при изученiи и оцѣнкѣ этихъ явленiй мы должны руководствоваться не столько ихъ реальной сущностью, сколько нашими собственными нравственными идеалами, нашими чисто-субъективными чувствами прiятнаго и непрiятнаго, желательнаго и нежелательнаго и т. п.

Такимъ образомъ, оказывается, что всѣ тѣ вопросы, всѣ тѣ интересы, всѣ тѣ явленiя, которыя всего ближе касаются насъ, простыхъ смертныхъ, неизощренныхъ въ философскихъ тонкостяхъ,—что всѣ они недоступны критической мысли; что заниматься ими можетъ лишь мысль не критическая, т. е. мысль, изъ которой не удаленъ еще аффектъ, которая еще не освободилась отъ утилитарныхъ соображенiй, отъ субъективныхъ ощущенiй прiятнаго и непрiятнаго, желательнаго и нежелательнаго.

Но если это такъ, если критическая мысль имѣетъ дѣло лишь

съ такими явленіями, къ которымъ мы можемъ относиться совершенно объективно, т. е. съ явленіями, лежащими, по мнѣнію автора, внѣ сферы общественной жизни, то какой-же интересъ она можетъ имѣть для историка этой жизни?

Авторъ утверждаетъ, однако, будто именно эта-то безстрастная, объективно-отвлеченная мысль постоянно перерабатываетъ культуру и развиваетъ „справедливость“ въ общественныхъ формахъ. Какъ-же это такъ? Во-первыхъ, „справедливость“ понятіе утилитарное и въ высшей степени субъективное: какое-же отношеніе къ ней можетъ имѣть мысль, чуждая всякой субъективности и утилитарности? Во-вторыхъ, переработка культуры, т. е. данныхъ, отъ предковъ унаслѣдованныхъ общественныхъ формъ, всегда предполагаетъ нѣкоторое страстное отношеніе къ нимъ; ее не могутъ осуществить люди, удалившіе изъ своего мышленія всякіе аффекты, всякія соображенія о томъ, что имъ полезно или вредно, непріятно или пріятно. А между тѣмъ таковы-то именно и должны быть, по вышеприведенному опредѣленію автора, носители критической мысли.

Какъ объяснить всю эту очевиднѣйшую путаницу понятій, всю эту массу непримиримыхъ, повидимому, противорѣчій?

Не бойтесь, очень легко: вспомните только опять тѣ общія свойства „россійскаго человѣка“ интеллигентной среды, о которыхъ я говорилъ въ началѣ статьи, и вы увидите, что ларчикъ авторской мудрости открывается весьма просто.

„Россійскій человѣкъ“ очень любитъ, какъ всѣмъ извѣстно, служить въ одно и то-же время двумъ господамъ: и Богу—свѣчкой, и чорту—кочергой. Недаромъ онъ пользуется репутаціею „продувного малага“. Во-истину продувной! Къ несчастію, почти всегда случается такъ, что прежде всего и больше всего онъ самъ себя обманываетъ. Онъ воображаетъ, напр., что когда онъ ставитъ Богу свѣчку, то всѣ мы такъ сейчасъ-же и повѣримъ его благочестію, что мы умиляемся, расплачемся, осыпемъ его всяческими похвалами и поощреніями. И дѣйствительно, мы на-столько добродушны, что поддерживаемъ его въ этомъ заблужденіи; мы умиляемся, восторгаемся и въ то-же время мы думаемъ про себя: „шалишь, такъ вотъ и надулъ; знаемъ мы тебя: небойсь, дома-то кочерга для чорта ужь готова!“

Впрочемъ, такъ-какъ всѣ мы страдаемъ этою слабостью дву-

сторонняго служенія, то мы относимся къ ней весьма снисходительно. Мы убѣждены даже, что она если и не добродѣтель, то, во всякомъ случаѣ, такое качество, безъ котораго жить намъ на свѣтѣ было-бы весьма трудно и отъ котораго никакихъ дурныхъ послѣдствій ни для кого произойти не можетъ, ибо, безъ сомнѣнія, никто нашему двуличному служенію не повѣритъ.

Такъ, по всей вѣроятности, разсуждаетъ и нашъ авторъ, и разсуждаетъ, по-моему, весьма основательно. По крайней мѣрѣ, только съ точки зрѣнія этихъ объясненій я и могу объяснить себя его противорѣчія.

Съ одной стороны, видите-ли, онъ желаетъ показать намъ себя человѣкомъ живымъ, страстнымъ и притомъ преисполненнымъ благороднѣйшими чувствованіями. Понятно, въ качествѣ человѣка живого и благороднѣйшими чувствованіями преисполненнаго, онъ не можетъ допустить того безстрастнаго, того строго-объективнаго отношенія къ фактамъ исторіи, которое считаетъ для себя обязательнымъ естествоиспытатель. Явленія внѣшней природы, говоритъ онъ,—не то, что явленія жизни общественной. Изучая первыя, мы ищемъ и раскрываемъ лишь ту реальную связь, которая ихъ объединяетъ, тѣ общіе законы, которымъ они подчиняются. Изучая вторыя, мы ищемъ и раскрываемъ тѣ отношенія, въ которыхъ они стоятъ къ нашимъ нравственнымъ идеаламъ, мы хотимъ знать, оказываютъ-ли они имъ „противодѣйствіе или пособіе“. Если противодѣйствіе, то мы должны призывать общество къ борьбѣ съ ними; если пособіе—къ охраненію и развитію ихъ (стр. 19.)

Слушая эти прекрасныя рѣчи, вы только восклицаете: „вотъ сейчасъ видно, что живой человѣкъ, а не сухой педантъ!“

Не такъ-ли? Конечно, въ глубинѣ души своей вы, быть можетъ, подумаете совсѣмъ другое; вамъ, какъ русскому человѣку,—человѣку, всегда склонному къ недоувѣрію и скептицизму,—вамъ покажется, пожалуй, немножко страннымъ, зачѣмъ это автору понадобилось совать въ исторію свои нравственныя идеалы, зачѣмъ онъ, искренно желая призывать общество къ борьбѣ противъ общественныхъ формъ или къ охраненію ихъ, стыдливо прикрывается историческими пиррами? Зачѣмъ, однимъ словомъ, онъ старается казаться не тѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ быть, зачѣмъ онъ одѣваетъ моралиста и публициста въ ученую хламиду исто-

рика? Понятно, что вы, по свойственной вамъ деликатности, ни одного изъ вашихъ сомнѣній автору не выскажете. Онъ останется въ полной увѣренности, что свѣчка, поставленная Богу, произвела свое впечатлѣніе, и вы умилены и растроганы.

Но, поставивъ свѣчку, онъ все-таки не можетъ забыть и о кочергѣ.

И кочерга выступаетъ на сцену. Она также служитъ, какъ и свѣча, и въ этомъ я не могу не замѣтить отличительнаго свойства русскаго интеллигентнаго человѣка, — человѣка, вѣчно корпящаго надъ книгами, постоянно витающаго въ безпечальной области теоретическихъ вопросовъ и абстрактныхъ идей, утратившаго всякую способность и всякую охоту къ аффективной дѣятельности, къ живому, страстному отношенію къ явленіямъ окружающей его практической жизни. Понятно, что человѣкъ, одаренный такою природою, особенно если онъ уже успѣлъ втѣнуться въ свою книжную мудрость, если онъ специально посвятилъ себя такъ-называемому умственному труду, если онъ сдѣлалъ изъ теоретическаго резонерства свою професію, свое ремесло, — понятно, говорю я, такой человѣкъ всегда будетъ чувствовать нѣкоторую склонность черезъ мѣру преувеличивать важность и значеніе чисто-абстрактнаго мышленія, такъ-какъ оно-то именно и составляетъ самую важную, самую выдающуюся сторону его умственной жизни. Что у кого болитъ, тотъ о томъ и говорить.

Вотъ почему и нашъ авторъ, требуя, съ одной стороны, субъективнаго отношенія къ явленіямъ общественной жизни, съ другой утверждаетъ, что измѣнить эти явленія, пересоздать историческую культуру можетъ лишь такая „теоретическая мысль“, которая будетъ относиться къ нимъ объективно, т. е. изъ которой будетъ удаленъ всякій аффектъ. „И это потому, говоритъ авторъ, — что аффекты временны, цѣли ихъ частны и узки, а измѣнчивость ихъ не ограничена ничѣмъ. Борьба, направленная противъ культурнаго застоя во имя аффектовъ, лишена всякой послѣдовательности и можетъ мѣшать развитію сложной культуры, но не можетъ сообщить существующей культурѣ развитія въ опредѣленномъ направленіи“ (стр. 37) \*).

\*) Правда, на слѣдующей 38 стр. авторъ самъ себя опровергаетъ. Онъ говоритъ, что одной критики еще недостаточно для того, чтобы побудить чѣловѣка воплощать созданный ею идеалъ въ жизнь, т. е. чтобы перерабатывать сообразно

Спаси-же насъ Боже отъ афектовъ! Не нужно афектовъ. Забудемъ все, что говорилъ авторъ о задачахъ историка, отрѣшившись отъ всякаго субъективизма и станемъ развивать въ себѣ одну только холодную, безпристрастную, во всему объективно относящуюся критическую мысль. Все наше спасеніе въ ней. Она создаетъ прогрессъ, открываетъ истину въ теоріи и вноситъ „справедливость“ въ практику. Она невидимо, но постоянно борется съ культурными формами общезитія и постепенно перерабатываетъ ихъ. Отъ дальнѣйшаго успѣха этой борьбы и этой переработки должно зависѣть наше будущее счастье. Будемъ-же укрѣплять критическую мысль и возложимъ на нее всѣ наши упованія.

## VI.

Да, будемъ ее укрѣплять и въ себѣ, и въ другихъ, и, для благого начала, подвергнемъ ее самую критику.

Авторъ „Опыта исторіи мысли“ ужь очень ее любитъ; у него на каждомъ словѣ все критика, да критика, да критика. „Критическая мысль постоянно перерабатываетъ культуру и въ этой-то переработкѣ и состоитъ вся сущность исторіи“.

Такъ-ли это? Дѣйствительно-ли критическая и вообще научная, отвлеченная мысль играла въ исторіи человѣчества ту роль, которую ей навязываютъ новѣйшіе историки-идеалисты вообще, а нашъ авторъ въ частности?

---

съ нимъ общественную культуру, что для этого необходимъ извѣстный афектъ,— афектъ, который заставляетъ насъ увлекаться нашимъ идеаломъ, полюбить его, всецѣло ему отдаться. Но если человѣкъ борется за свой идеалъ потому только, что послѣдній возбуждаетъ въ немъ извѣстный афектъ, то не имѣемъ-ли мы права сказать, что онъ борется во имя афекта (во имя страстной любви къ идеалу)? Отнимите афектъ—и идеалъ превратится въ мертвую, теоретическую формулу, и человѣкъ не пойдетъ ради него ни на костеръ, ни на плаху. Слѣдовательно, не всегда „борьба, направленная противъ культурнаго застоя во имя афектовъ, лишена всякой послѣдовательности“, не всегда также и афекты бываютъ „временны, а цѣли ихъ узки и частны“. Тутъ все, очевидно, зависитъ отъ того, чѣмъ и какъ возбуждается афектъ.

Я указываю здѣсь на это противорѣчіе только мелькомъ; но за нимъ скрывается другое, болѣе важное, болѣе глубокое. О немъ буду говорить подробно въ текстѣ, и тогда еще разъ придется вернуться къ вопросу объ афектахъ.

Когда говорится о роли мысли въ исторіи, то, разумѣется, мысль понимается не въ томъ широкомъ, метафизическомъ смыслѣ, который отождествляетъ ее съ психическою дѣятельностью человѣка вообще. Если понимать ее въ этомъ смыслѣ, то вопросъ о ея роли въ исторіи сводится къ вопросу объ исторической роли человѣческой дѣятельности, въ какихъ-бы формахъ она ни проявлялась. Мысль не есть всякая форма человѣческой дѣятельности, а только одна изъ ея формъ; она обхватываетъ собою не всю психическую сторону человѣческой природы, а лишь нѣкоторую ея часть. Чѣмъ значительнѣе эта часть, чѣмъ большую роль играетъ мысль въ психической жизни человѣка, тѣмъ полнѣе она подчиняетъ себѣ его дѣятельность, а, слѣдовательно, тѣмъ сильнѣе обнаружится ея вліяніе и на все, что входитъ въ сферу этой послѣдней.

Отсюда само собою слѣдуетъ, что степень вліянія мысли на ходъ историческихъ событій, на развитіе общественной жизни опредѣляется двумя условіями: во-первыхъ, ролью, которую она играетъ въ дѣятельности мыслящихъ людей; во-вторыхъ, относительною численностью людей мыслящихъ сравнительно съ людьми немыслящими и тѣмъ значеніемъ, которое имѣютъ первые въ общественномъ организмѣ.

Разсмотримъ сначала первое условіе.

Одинъ нѣмецкій психологъ, Лазарусъ, утверждаетъ, будто идеи, овладѣвъ человѣкомъ, получаютъ существенное вліяніе на всю его дѣятельность. „Онѣ, придавая жизни направленіе и цѣли, пополняютъ ее новымъ содержаніемъ“.

По метафизической теоріи это такъ и должно быть; но на практикѣ мы видимъ сплошь и рядомъ обратное. Мы видимъ людей, додумавшихся и усвоившихъ себѣ прекраснѣйшія идеи, и въ то-же время въ своей практической дѣятельности ничѣмъ не отличающихся отъ толпы, живущей инстинктами, неспособной къ сознательному мышленію,—толпы, отрицающей, затаптывающей въ грязь всякія идеи.

Говорятъ, это исключенія, это явленія ненормальныя; но они повторяются такъ часто, что, скорѣе, обратные случаи могутъ быть отнесены къ исключеніямъ. Не лучше-ли-же вмѣсто того, чтобы махать на нихъ рукою, поискать въ опытной психологіи фактовъ, которые дали-бы ключъ къ ихъ оцѣнкѣ и разъ-



ясненію? Быть можетъ, психологія-то эта и покажетъ намъ, что повсюду замѣчаемое безсиліе идеи подчинить себѣ практическую жизнь человѣка есть явленіе не аномальное, а, напротивъ, вполне нормальное, обуславливаемое непреложными законами психической природы человѣка.

„Боже мой, воскликнетъ читатель,—да что-же это такое вы хотите съ нами дѣлать? Неужели вы еще недостаточно мучили насъ разною метафизикою? Вамъ этого мало: вы хотите еще угрожать насъ психологическими разсужденіями! Мерсі, съ насъ и Бавелина довольно! Вы просто злоупотребляете нашимъ терпѣніемъ“.

Твоимъ терпѣніемъ, читатель? Но кто-же имъ теперь не злоупотребляетъ? И почему одинъ я долженъ составлять исключеніе? Если ты одержимъ желаніемъ слѣдить за „россійскою словесностью“, если ты рѣшаешься читать „глубокомысленныя“ статьи такого Митрофана, какъ г. Скабичевскій, митрофанистѣй котораго ничего не выставляли на своихъ страницахъ даже старья „Биржев. Вѣдомости“, то чего-же тебѣ бояться моихъ сравнительно невинныхъ размышленій? Впрочемъ, успокойся, я не стану злоупотреблять своимъ правомъ,—безспорно мнѣ, какъ русскому писателю, принадлежащимъ,—правомъ одурманивать тебя „вышними разсужденіями“ о „матеріяхъ важныхъ“. Я великодушно предоставляю „психологамъ доказывать“ все, что они хотятъ; а самъ позволю себѣ лишь обратить твое вниманіе на одинъ фактъ изъ твоей собственной жизни,—фактъ, который тебѣ, конечно, и безъ меня извѣстенъ, который ты много разъ наблюдалъ и на себѣ, и на своихъ знакомыхъ.

Когда ты былъ юнъ и неопытенъ, когда въ твоей головѣ сидѣло очень мало „идей“, когда ты былъ на-столько еще невѣжественъ, что за русскими журналами не слѣдилъ и книгъ вообще читать не любилъ,—ты помнишь, конечно, что тогда, въ эти золотые годы твоей „умственной незрѣлости“, тебѣ ничего не стоило рѣшиться на самыя дерзкія поступки, на самыя необдуманныя предпріятія. Тебя за нихъ иногда наказывали, а иногда и великодушно прощали, снисходя къ твоей „незрѣлости“. Ты часто слышалъ, какъ старшіе говорили: „вотъ перебѣется, станетъ поумнѣй и будетъ человѣкомъ“. И дѣйствительно, чѣмъ больше ты росъ и умнѣлъ, тѣмъ все рѣже и рѣже отважи-

вался на все, что считалось дерзкимъ и необдуманнымъ. Мало того, самая сфера „дерзкаго и необдуманнаго“ постоянно расширялась въ твоёмъ представленіи: съ каждымъ годомъ твоего умственного роста ты включалъ въ нее все новыя и новыя серіи поступковъ и предпріятій. И прежде, чѣмъ ты получилъ атестатъ „зрѣлости“, ты научился уже обдумывать и соображать каждый свой шагъ, взвѣшивать каждое свое слово, каждое свое дѣйствіе, резонировать по поводу каждого своего чувствованія. Горизонты твоей мысли раздвинулись, ты зналъ наизусть грамматику Кюнера, а *livre ouvert* Саллюстія, Тацита, Овидія, Цицерона, ты помнилъ всѣ неправильныя греческія глаголы, ты читалъ „Русскій Вѣстникъ“ и „Русскую Старину“, ты постигъ мудрость Страхова, изучилъ психологію Кавелина, былъ весьма хорошо знакомъ съ философіею Соловьева и вполне понималъ красоты марковского стиля; если-бы ты захотѣлъ, ты могъ-бы поступить въ старшій классъ катковскаго лицея... однимъ словомъ, ты былъ не только зрѣлъ, но и перезрѣлъ. И что-же? вмѣстѣ съ зрѣлостью тебя обуяла какая-то боязливая нерѣшительность. Ты не могъ сдѣлать самаго плеваго дѣла безъ того, чтобы предварительно вдосталь не наумчить себя всяческими сомнѣніями и недоумѣніями: да что изъ этого выйдетъ? да не осмѣютъ-ли да какъ-бы не влопаться? да и стоитъ-ли игра свѣчъ? и т. д., и т. д. Все стало для тебя вопросомъ, все казалось тебѣ загадкой, и ты сказалъ себѣ: „пока я не разрѣшу мучащихъ меня загадокъ, пока я не найду отвѣта на осаждающіе меня вопросы, не стану я нигуда соваться; буду думать... думать... и жить, какъ всѣ живутъ“.

Ты такъ и поступилъ, читатель. Ты все думаешь, думаешь, читаешь, перечитываешь, анализируешь, обобщаешь и... живешь, какъ всѣ живутъ, а можетъ быть, даже и хуже. Куда дѣлась твоя прежняя предпримчивость, твоя „незрѣлая“ отвага на дерзкіе поступки? Праведный Боже, получивъ атестатъ зрѣлости, ты сталъ „тише воды, ниже травы“. А вѣдь ты поумнѣлъ. Отчего же это случилось съ тобою такой казусъ? Неужели только оттого, что ты поумнѣлъ?

Да, дорогой мой читатель, именно оттого. И такъ-какъ ты имѣешь теперь атестатъ зрѣлости, то тебѣ будетъ очень нетрудно понять эту, повидимому, весьма странную штуку.

Прежде, когда у тебя, въ силу тѣхъ или другихъ виѣшнихъ побужденій, являлось желаніе что-нибудь совершить, это желаніе, не встрѣчая никакой задержки въ твоей, непривыкшей резонировать головѣ, немедленно осуществлялось. Говоря языкомъ ученыхъ: между афектомъ, возбудившимъ въ тебѣ желаніе дѣйствовать, и обнаруженіемъ дѣйствія во-внѣ не имѣлось никакихъ или почти никакихъ посредствующихъ звеньевъ. Съ развитіемъ твоей мыслительной способности, съ увеличеніемъ запасовъ твоей „идейной“ опытности, разстояніе между началомъ акта (афектомъ) и его концомъ (дѣйствіемъ) все болѣе и болѣе удлиннялось и виѣсть съ этимъ уменьшалась вѣроятность неизбѣжнаго слѣдованія послѣдняго (дѣйствія) за первымъ (афектомъ). Афектъ, не находя себѣ немедленнаго удовлетворенія въ дѣйствіи, постепенно испарялся въ отвлеченной мысли. Слишкомъ много обдумывая каждое изъ своихъ побужденій, слишкомъ тщательно взвѣсивая всѣ возможныя и невозможныя послѣдствія своихъ дѣйствій, ты становился въ концѣ-концовъ крайне мнительнымъ и нерѣшительнымъ: у тебя мало-по-малу атрофировалась способность къ активной дѣятельности, ты привыкалъ жить въ мірѣ идей и махалъ рукою или, еще хуже, ты пассивно примирялся съ окружающею тебя грубою, будничною прозою.

Это, конечно, печальная исторія, но ты можешь утѣшиться тѣмъ, что приключилась она не съ однимъ тобой: постигшая тебя судьба есть судьба цѣлаго общественнаго класса, — класса, сдѣлавшаго, подобно тебѣ, изъ мышленія свою излюбленную професію.

Не даромъ-же и различіе между людьми установилось на „людей мысли“ и „людей дѣла“. Одни только мыслятъ и потому самому ничего не дѣлаютъ; другіе только дѣлаютъ, но за то почти никогда не мыслятъ. И чѣмъ больше крѣпнетъ и развивается мысль, тѣмъ все глубже становится пропасть между „идеєю“ и „жизнью“.

Отсюда мы можемъ сдѣлать такое заключеніе: вліяніе мысли на человѣческую дѣятельность обратно пропорціонально развитію въ человѣкѣ интеллектуальной стороны, сравнительно съ стороною афективною; чѣмъ болѣе развита первая, тѣмъ подавленнѣе вторая и тѣмъ мизернѣе роль мысли въ активной жизни людей, а слѣдовательно тѣмъ слабѣе и ея вліяніе на общій ходъ человѣческихъ дѣлъ.

Мнѣ скажутъ, пожалуй, что мое заключеніе не вытекаетъ изъ послышки. Посылка говорить лишь, что люди, у которыхъ мыслительная способность господствуетъ надъ аффектами, люди, сдѣлавшіе изъ мышленія свою професію,—что такіе люди, въ силу своей бездѣятельности, не могутъ непосредственно вліять на общее теченіе практической жизни. Но отсюда еще весьма далеко до заключенія, что и мысль вообще точно также бессильна измѣнить это теченіе.

Выработанная бездѣятельнымъ, пассивнымъ классомъ людей, она можетъ зацѣпить въ голову человѣку съ иною натурою, человѣку, у котораго аффективная сторона преобладаетъ надъ интеллектуальною, и тогда нѣтъ сомнѣнія, что онъ постарается осуществить ее въ своей практической дѣятельности и доставить ей, такимъ образомъ, возможность непосредственно вліять на ходъ человѣческихъ дѣлъ.

О, это совершенно вѣрно; но только нельзя назвать этого вліянія непосредственнымъ,—она вліяетъ черезъ посредство аффективной дѣятельности человѣка. Не попади она случайно на почву аффекта—почву, всего менѣе благопріятствующую, по словамъ нашего автора, развитію критики,—она имѣла-бы для народной жизни ровно столько-же значенія, сколько и зерно, брошенное на проѣзжую дорогу или занесенное на камень.

Судя по тому, что говоритъ авторъ о нравственности (это тоже его любимый конекъ), можно предполагать, что съ этимъ и онъ согласенъ. Онъ говоритъ, что „критическая мысль“ только тогда становится руководительницею практической дѣятельности человѣка, когда она ложится въ основу его „нравственнаго убѣжденія“, иными словами—когда она входитъ въ неразрывный союзъ съ нѣкоторыми аффектами. И, очевидно, чѣмъ сильнѣе будутъ эти аффекты, тѣмъ болѣе имѣется шансовъ для превращенія „мысли“ въ „убѣжденіе“. Но аффектъ будетъ тѣмъ могущественнѣе, тѣмъ устойчивѣе и постояннѣе, чѣмъ сильнѣе онъ затрогиваетъ основныя потребности природы человѣка, чѣмъ тѣснѣе онъ связанъ съ его „личными“ интересами. Поэтому, чѣмъ болѣе мысль гармонируетъ съ личными интересами,—интересами, которые если не всегда, то, по крайней мѣрѣ, въ большинствѣ случаевъ опредѣляются экономическимъ положеніемъ человѣка и въ особенности той среды, къ которой онъ принадлежитъ,—

тѣмъ скорѣе она становится убѣжденіемъ, т.-е. получаетъ способность непосредственно вліять на практическую дѣятельность людей.

Однако, мы выше видѣли, что, по мнѣнію автора, мысль, осложненная афектомъ, не есть мысль критическая; мысль-же, неосложненная афектомъ, опять по опредѣленію того-же автора, не есть нравственное убѣжденіе. А такъ-какъ, съ другой стороны, одно лишь нравственное убѣжденіе можетъ превратить мысль въ дѣло, то тогда само собою слѣдуетъ, что мысль некритическая играетъ въ исторіи человѣчества несравненно болѣе существенную роль, чѣмъ мысль критическая. Слѣдов., не послѣдняя, а первая должна обращать на себя преимущественное вниманіе историка.

Но въ такомъ случаѣ и „существенное содержаніе“ исторіи измѣняется. По мнѣнію автора, „самый важный вопросъ для исторіи цивилизаций“ есть вопросъ „о содержаніи общественныхъ міросозерцаній“ (стр. 32.) Она опредѣляется, говоритъ онъ далѣе, двумя „основными формами мысли: мыслью критическою и мыслью практическою“ (стр. 10) или „знаніемъ и жизнью“ (стр. 33.) Послѣдняя слагается подъ вліяніемъ привычекъ, вѣрованій, преданій, и соотвѣтствуетъ тому, что авторъ въ другомъ мѣстѣ называетъ культурою,—первое-же и есть критика. Критика спасаетъ насъ отъ застоя, она приводитъ жизнь въ броженіе и, такимъ образомъ, создаетъ исторію. Отсюда само собою слѣдуетъ, что она-то, эта критика, эти знанія, и составляютъ существенное содержаніе исторіи; не будь ихъ—не было-бы и ея.

Такова мысль автора.

Однако, изъ всего того, что было сказано, видно, что критика и знанія только тогда и „приводятъ жизнь въ броженіе“, только тогда и создаютъ исторію, когда они сопровождаются афектами, вызываемыми насущными интересами людей,—интересами, возникающими и развивающимися на почвѣ экономическихъ отношеній. Отрѣзанныя отъ этихъ афектовъ, въ данныхъ экономическихъ интересовъ, они остаются пустыми, мертвыми формулами, абстрактными идеями, неспособными сдвинуть ни единого камня въ исторически-выработавшейся культурѣ общества. А слѣдовательно, если культура эта измѣняется и развивается, то причину этихъ измѣненій и этого развитія мы должны искать не

въ знаніяхъ и не въ критической мысли, а въ данныхъ экономическихъ интересахъ, создающихъ почву, благопріятствующую претворенію знанія въ убѣжденіе и убѣжденія въ дѣло.

Но если экономическіе интересы и порождаемые ими аффекты играютъ въ исторіи болѣе важную роль, чѣмъ знанія и критика, то отсюда само собою слѣдуетъ, что существенное содержаніе исторіи должно опредѣляться первыми, а не послѣдними.

## VII.

„Вы все толкуете объ афектахъ, вызываемыхъ личными интересами, объ экономическихъ отношеніяхъ, объ основныхъ потребностяхъ человѣческой природы,—потребностяхъ, подъ которыми вы, конечно, подразумѣваете потребности самаго низшаго сорта, потребности желудка, потребности самосохраненія и т. п. Фи, какъ вамъ это не стыдно! Какъ-будто ужъ человѣкъ никогда не можетъ отрѣшиться отъ личнаго интереса, какъ-будто у него нѣтъ болѣе высокихъ потребностей, болѣе благородныхъ побужденій, чѣмъ тѣ, которыя вы называете „основными“! Нѣтъ, вы унижаете человѣка, вы забываете о присущемъ ему стремленіи къ нравственному развитію, нравственному совершенствованію. Вы забываете, что у людей бываютъ и нравственные идеалы,—идеалы, которые нерѣдко идутъ въ разрѣзъ съ ихъ личными интересами, которые ни сколько не гармонируютъ съ ихъ экономическимъ положеніемъ и ради которыхъ они идутъ, однако, на плаху и костеръ! Откуда-же явились эти идеалы, какъ они въ нихъ выработались? Знаніемъ, критикою. „Критика предшествуетъ постановкѣ нравственнаго идеала и оправдываетъ его какъ истину“ (стр. 38.) А вы все съ своими „основными потребностями“, съ своими „личными интересами“! Будто ужъ больше и нѣтъ ничего въ человѣкѣ!

О, успокойтесь, читатели, я съ удовольствіемъ и охотою признаю, что аффекты высшаго порядка, аффекты, возбуждаемые нравственными идеалами и неимѣющие никакого прямого отношенія ни къ личнымъ интересамъ, ни къ презираемымъ вами потребностямъ желудка и самосохраненія,—что эти аффекты существуютъ и что подъ ихъ вліяніемъ люди способны совершать великія дѣла.

Но много-ли такихъ людей? Не принадлежать-ли они къ рѣдкимъ исключеніямъ изъ толпы „среднихъ людей“, не составляютъ-ли они ничтожнаго меньшинства въ ничтожномъ меньшинствѣ?

Да, вѣдь это такъ! Вы должны съ этимъ согласиться, хотя-бы вы были отчаяннѣйшими оптимистами изъ оптимистовъ.

Но если это такъ, то имѣемъ-ли мы право, имѣеть-ли право историкъ утверждать, будто нравственные аффекты играютъ серьезную роль въ исторіи человѣчества? Что нѣкоторую роль они играютъ, что въ будущемъ, быть можетъ, ихъ роль сдѣлается еще значительнѣе—этого нельзя отрицать. Но вѣдь историкъ имѣеть дѣло не съ будущимъ и даже не съ настоящимъ, а только съ прошлымъ. Подумайте-же, чѣмъ жило это прошедшее, какіе стимулы его двигали, какіе мотивы имъ руководили? Идеи, теоріи, критика? О, вы не рѣшитесь этого утверждать. Возьмите любое историческое движеніе, любой историческій фактъ, называемый вами, съ точки зрѣнія вашихъ высшихъ нравственныхъ идеаловъ, прогрессивнымъ, выкиньте въ его сущность—и вы не замедлите убѣдиться, что въ основѣ его всегда лежали мизерныя, будничныя экономическіе интересы той или другой среды, низкія, животныя потребности желудка и самосохраненія, инстинктивные и чисто-личные аффекты.

Да и какъ могло быть иначе? Критическая мысль вырабатывается ничтожнымъ резонирующимъ меньшинствомъ; для того, чтобы она могла проникнуть въ среду чувствующаго большинства, необходимо, чтобы между этимъ меньшинствомъ и этимъ большинствомъ не существовало никакихъ ни естественныхъ, ни искусственныхъ перегородокъ. Но вѣдь вы-же очень хорошо знаете, что этого никогда не было. Зачѣмъ-же мы будемъ морочить себя? Зачѣмъ-же мы напрасно будемъ клеветать на идеи, теоріи, на „критическую мысль“ человѣчества, дѣлая ее отвѣтственною за его исторію? Она, бѣдная, тутъ не причемъ. Мы сказали выше, при какихъ двухъ условіяхъ она дѣйствительно могла-бы играть важную роль въ исторіи. Теперь мы видимъ, что ни одно изъ этихъ условій не имѣеть мѣста. Число „носителей ех professio критической мысли“ ничтожно, и, въ силу объясненныхъ выше психологическихъ законовъ, ихъ участіе въ общественной жизни еще ничтожнѣе. Кромѣ того, критическая мысль, сама по себѣ взятая, только тогда и можетъ что-нибудь сдѣлать, когда ослож-

няется афектомъ, т. е. перестаетъ быть критическою. Мало того, даже тѣ высшіе афекты, которыми она можетъ быть осложнена для того, чтобы стать нравственнымъ убѣжденіемъ, по существу своему крайне рѣдки и встрѣчаются въ жизни лишь въ видѣ исключенія. Какой-же выводъ можемъ мы сдѣлать изъ всего сказаннаго?

А вотъ какой: не нравственныя доктрины, не критическая мысль двигаютъ исторію, не они составляютъ ея существенное содержаніе; содержаніе ея опредѣляется чисто-личными афектами, мало осмысленными, почти инстинктивными потребностями; а эти личные афекты, эти мало-осмысленныя потребности обуславливаются, въ свою очередь, экономическимъ положеніемъ, экономическими интересами той среды, въ которой они возникаютъ и развиваются. Они-то и составляютъ нервъ общественной жизни, душу исторіи; на нихъ-то историкъ и долженъ сосредоточить все свое вниманіе.

Выводъ какъ-разъ обратный тому, къ которому приходитъ нашъ авторъ. По нашему мнѣнію, этотъ нервъ, эта душа исторіи, или, какъ онъ выражается, „культурные элементы общественной жизни“, взятые сами по себѣ, не имѣютъ для историка никакого значенія; „они, говоритъ онъ, — цѣнны, какъ матеріалъ для работы мысли на пути ея завоеваній въ сферѣ истины и справедливости“ (стр. 61). Но не они-ли создаютъ „мысль“, не ими-ли она питается, не они-ли опредѣляютъ ея содержаніе и направленіе, наконецъ, не они-ли даютъ ей возможность практически осуществляться? И вы говорите, что они цѣнны лишь настолько, насколько служатъ матеріаломъ для ея завоеваній въ сферѣ... и т. д. О, неисправимый поклонникъ силы мысли! Что же, составляйте опытъ ея исторіи: быть можетъ, онъ убѣдитъ васъ въ ея безсиліи.

На-сколько этотъ „опытъ“ будетъ удовлетворителенъ, пока еще нельзя сказать ничего опредѣленнаго. Подождемъ слѣдующихъ выпусковъ. Во всякомъ случаѣ, судя по вышедшему „введенію“, мы не имѣемъ права возлагать на него слишкомъ большихъ надеждъ. Это будетъ не „опытъ“ исторіи человѣчества, исторіи цивилизаціи въ научномъ смыслѣ этихъ словъ, — это будетъ не болѣе, какъ рассказъ „о завоеваніяхъ мысли въ сферѣ истины и справедливости“, — истины и справедливости, какъ ихъ понимаетъ



авторъ, — иными словами, разсказъ о томъ, что сдѣлала человѣческая мысль для осуществленія его субъективныхъ идеаловъ. При любви автора къ постоянному балансированію и фиктивному примиренію дѣйствительныхъ или мнимыхъ противорѣчій, при его боязни стать на одну какую-нибудь опредѣленную точку зрѣнія, при его наклонности къ эклектизму, мы не можемъ требовать отъ него нѣ ясности въ изложеніи, ни новизны въ мысляхъ. За то съ чисто-фактической стороны, со стороны обилія матеріала, „Опытъ“ автора удовлетворитъ, по всей вѣроятности, не только русскаго, но и болѣе требовательнаго читателя. На-сколько съумѣетъ онъ воспользоваться этимъ матеріаломъ—объ этомъ по „введенію“ судить еще нельзя. Правда, онъ устанавливаетъ въ немъ нѣкоторыя общія точки зрѣнія, нѣкоторые принципы, на основаніи которыхъ долженъ быть, по его мнѣнію, сгруппированъ собранный имъ матеріалъ. Хотя авторъ и придаетъ этимъ принципамъ большое значеніе, хотя онъ и говоритъ, что тотъ, кто не соглашается съ ними, можетъ совсѣмъ не читать его книги, такъ-какъ онъ „едва-ли найдетъ въ ней много такого, чего-бы не встрѣчалъ въ другихъ, болѣе специальныхъ трудахъ“ (стр. 79),—однако, оцѣнка ихъ пока еще преждевременна, или, во всякомъ случаѣ, неинтересна. Они построены авторомъ по тому-же субъективно-метафизическому методу, по которому онъ опредѣлялъ и „существенное содержаніе“ исторіи. Разбирать ихъ — значить опять пускаться въ тѣ „высшія области“, въ тѣ апріорныя разсужденія, которыя и тебѣ, читатель, да, по правдѣ сказать, и мнѣ порядочно-таки надоѣли. Притомъ - же самымъ лучшимъ для нихъ критеріумомъ могутъ служить сгруппированные на основаніи ихъ историческіе факты. Но до историческихъ фактовъ авторъ не дошелъ, и, судя по его плану, дойдетъ еще очень не скоро. Подождемъ, и когда дождемся, тогда увидимъ и оцѣнимъ.

II. Никитинъ.

## НЕ ПОДОЖДАТЬ-ЛИ ОТНИМАТЬ?

(По поводу предположеній о преобразованіи волостныхъ судовъ.)

(Окончаніе.)

### VII.

„Fiat justitia — pereat mundus!“ восклицали когда-то неблагоразумные римляне въ порывѣ прокурорской ревности не по разуму, забывая, что „міръ“ (mundus), который они осуждали на гибель ради соблюденія буквы „закона“ (justitia), совершаетъ свое великое жизненное шествіе въ силу высшихъ законовъ жизни и смерти, законовъ не писанныхъ, а лежащихъ въ самой природѣ человѣка, и что писанный законъ—твореніе этого самаго человѣка, и твореніе не всегда удачное, потому что человѣкъ приспособляетъ его къ условіямъ мѣста и времени. Сегодня люди сочинили законъ и соблюдаютъ его, пока онъ пригоденъ для нихъ по складу ихъ жизни и по всей суммѣ жизненной обстановки. Но люди растутъ и мѣняются; они вырастаютъ изъ закона, какъ дѣти вырастаютъ изъ платья, и въ такомъ случаѣ законъ перестаетъ быть пригоднымъ, перестаетъ быть даже относительною правдою. И люди мѣняютъ законъ, чтобъ не погибъ міръ, а неблагоразумные римляне кричатъ: „пусть погибаетъ міръ, а законъ долженъ быть соблюденъ!“

Какъ часто пришлось-бы погибать міру, если-бъ онъ слушался римской прокурорской болтовни и не измѣнялъ закона сообразно требованіямъ жизни!

„Пусть погибнетъ крестьянскій судъ, пусть, ради мировыхъ судей, погибнетъ волость—эта ячейка государства!“ кричатъ на-

ши елатомскіе римляне изъ-за того, что практическій судъ этой ячейки государства, судъ, выработанный тысячелѣтнею жизнью народа, судъ, выросшій на почвѣ обычая, изъ плоти и крови русскаго народа—этотъ судъ не подходитъ подъ идеаль суда, сочиненнаго въ канцеляріи.

Но такихъ римлянъ у насъ слава-богу немного. Мы видѣли выше, что большая часть компетентныхъ лицъ, отвѣчая сенатору Любощинскому, указали на такія особенности и жизненные черты волостного суда, которыя должны служить предостереженіемъ, что построеннаго тысячелѣтнимъ народнымъ трудомъ зданія не слѣдуетъ разрушать перомъ канцеляриста.

Черты эти очень знаменательны.—На одну изъ этихъ жизненныхъ чертъ крестьянскаго суда мы намѣрены указать сейчасъ. Черта эта — подчиненіе писанаго закона закону жизни, закону экономической необходимости наравнѣ съ закономъ необходимости нравственной.

Эта черта очень важна въ оцѣнкѣ волостного суда, и какъ-бы ни былъ мудръ судъ всесловный или дворянскій, онъ никогда не будетъ правымъ: надо самому сидѣть въ крестьянской шкурѣ и другой шкуры не знать, чтобы быть судьей крестьянина. Замѣчательно, что крестьянскій судъ почти во всемъ своимъ рѣшеніямъ старается приложить экономическій аршинъ и притомъ исключительно *свой*, длина котораго для некрестьянина неуловима. У крестьянъ свой призматическій спектръ, и проступки ихъ, проходя черезъ ихъ-же крестьянскую призму, получаютъ такую окраску, которая для насъ не всегда понятна. Крестьянскій судъ даже нравственную оцѣнку человѣческихъ дѣяній производитъ съ помощью своего экономического аршина — такъ дороги для крестьянина деньги и такъ дешева его спина, а иногда и иные части крестьянскаго тѣла.

До какой поразительности доходитъ дешевизна оцѣнки крестьяниномъ своей спины, глазъ, рукъ, ногъ и даже своей жизни, можно видѣть изъ слѣдующаго факта, засвидѣльствованнаго крестьянскимъ судомъ. Кому не дорогъ свой собственный глазъ? Онъ дорогъ и красавицѣ, и ученому труженику, и швеѣ, работающей иглою, и сапожнику, котораго шило кормить, а глазъ помогаетъ. Беречь что-либо „какъ зеницу ока“ — это значитъ очень беречь. Какъ ни дорогъ глазъ и мужику, но — два пуда ржи для него

дороже глаза... Въ рѣшеніяхъ волостныхъ судовъ часто попадаются „мировыя записи“, заключаемыя крестьянами по поводу причиняемыхъ другъ другу обидъ, оскорбленій, убытковъ: если обиженный, взявъ отступного или помирившись на водѣѣ, дастъ отъ себя запись обидчику, то ужъ онъ отказывается отъ всякаго исба и преслѣдованія виновнаго. Въ числѣ этихъ записей попадаются такія: „1872 года мая 29, я, государственный крестьянинъ села Пароя, Василій Финогеновъ Ильинъ, далъ сіе мировое условіе односельцу своему, крестьянину Павлу Иванову Красникову, въ томъ, что 4 числа мая, онъ, Красниковъ, при распитіи общей десяточной водки, нечаянно выстегнулъ мнѣ лѣвый глазъ водкою (какъ это его угораздило?), отъ чего онъ лишился зрѣнія; я это оскорбленіе ему, Красникову, прощаю и прошу на него по сему дѣлу нигдѣ не буду, а предаю это все вѣчному забвенію, въ чемъ и подписуюсь; за каковое оскорбленіе я получилъ съ него, Красникова, *два пуда ржаной муки*“!.. (стр. 749.)

Глазъ оцѣненъ въ два пуда ржаной муки; да онъ и по „Русской Правдѣ“, 800 лѣтъ назадъ, когда голова знатнаго человѣка стояла для убійцы всего 40 гривенъ,—и тогда глазъ простого смерда или огнищанина былъ дороже двухъ пудовъ ржаной муки!

Случай этотъ такъ и переноситъ насъ въ XVII вѣкъ. Такъ и слышится челобитная къ царю Михаилу Федоровичу шуянина посадскаго человѣчишки Микифорки Сворняка на Тихона Иконнича: „да онъ, Тихонъ, напився пьянъ, учалъ похвалиться: прежде-де сынъ мой у жены твоей глазъ выколоть, и ты-де намъ не что доспѣлъ; а нынѣ, государь, похвалился онъ, Тихонъ, выколоть у женишки моей и другой глазъ...“

Ясно, что всесословный судъ сталъ-бы въ тупикъ передъ такимъ фактомъ: мужикъ мужику при распитіи десяточной водки выстегнулъ глазъ водкою-же — и отдѣлался двумя пудами ржаной муки.

За то въ другомъ случаѣ простые побои оцѣнены въ 8 руб., какъ это видно изъ слѣдующей мировой подписки: „Я нижеподписавшійся, села Куймани государственный крестьянинъ Алексѣй Михайловъ Пригаринъ, далъ сіе мировое свѣденіе того-же села Евграфу Николаеву Разомазову, что сынъ его Михаилъ нанесъ

мнѣ побоевъ; нынѣ я, Пригаринъ, обиду прощаю, за что получилъ вознагражденіе 8 р., и просить по присутственнымъ мѣстамъ нигдѣ не буду и предаю вѣчному забвенію“.

При дороговизнѣ для крестьянина денегъ, судъ очень рѣдко прибѣгаетъ къ денежнымъ штрафамъ, а если и рѣшается на нихъ, то въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, когда нѣтъ другого выхода изъ того положенія, въ которое поставилъ себя виновный.

— Жалуюсь я въ поносительномъ словѣ отъ крестьянки-односелки Катериной Бородиной (заявляетъ крестьянинъ Кошелевъ сулеватовскому суду), которая гворила публично, что будто-бы дочь моя дѣвица Дарья Фатѣева родила, отчего и сдѣлалась больна. Срамъ моей дочери я перенести не могу“.

Только въ этомъ случаѣ судъ рѣшается прибѣгнуть къ денежному штрафу: „въ поношеніи словъ дѣвицы Кошелевой отъ женщины Бородиной взыскать въ пользу Кошелевой 3 р.“ (стр. 51).

— Проходила я съ ярмарки изъ села Добраго (жалуется одна крестьянка тележенскому суду на нѣкоего деревенскаго ловеласа), и близъ села Тележенки истецъ началъ меня удерживать для сдѣланія со мной прелюбодѣянія и оборвалъ у меня покрывку и растресь носимую мною покупку.

Хотя ловеласъ отзывался, что только „бралъ истипу за плечи и нечаянно съ нею упали“, однако, судъ, съ одной стороны, за это „нечаянное паденіе“, съ другой—за то, что ловеласъ не послушался семикратнаго вызова къ отвѣту, рѣшилъ взыскать съ него 5 руб.

Но вотъ максимумъ денежной мировой сдѣлки между богатыми мужиками, и тоже за оскорбленіе дѣвушки, т. е. за такой проступокъ, который долженъ быть счтть съ чести женщины самымъ тяжелымъ для мужика наказаніемъ—деньгами: „Мы, Алексѣй Сушковъ и Карпъ Евсѣевъ, заключили сію мировую сдѣлку въ томъ, что я, Сушковъ, за названіе моей дочери Татьяны, при свидѣтеляхъ, б....., по испрошеніи имъ, Евсѣевымъ, у меня прощенія, по христіанскому обряду, его прощаю, но съ тѣмъ только, чтобы онъ, Евсѣевъ, за безчестье дочери моей заплатилъ мнѣ деньгами 25 р., а я, Евсѣевъ, деньги эти ему, Сушкову, заплатить согласенъ“ (стр. 755, 328). Такая сумма — это половина стоимости всего хозяйства Антона Горемыки, и неудивительно, что судъ прибѣгаетъ къ денежнымъ взысканіямъ съ такою осмотри-

тельностью, съ какою греки не всегда прибѣгали къ остракизму, а Худояръ-ханъ — къ смертной казни.

Крестьянская молодежь вановской волости, шатскаго уѣзда, парни и дѣвѣицы, собрались на посѣдки. Это ихъ дворянское собраніе, балъ, вечеръ, маскарадъ, опера, минерашки, лекціи, художественныя выставки — все, что наполняетъ жизнь образованнаго общества. И вотъ парни желаютъ угостить дѣвушекъ. Но чѣмъ угостить? Да и гдѣ взять денегъ на угощеніе? Трое молодыхъ парней — двое Кулешовыхъ и одинъ Симашкинъ, отправляются на рѣку, ловятъ тамъ пару молодыхъ гусей, зарѣзываютъ ихъ и приносятъ въ подарокъ дѣвушкамъ, которыхъ собралось на посѣдки ровно десять красавиць, изъ которыхъ только одной 18 лѣтъ, а всѣмъ остальнымъ 17—16 и даже 15. Красавицы принимаютъ приношеніе кавалеровъ, и у нихъ начинается пиръ и наслажденіе сворованной гусятинкой.

На утро всю молодую компанію тащутъ къ суду. Молодежь сознается въ своемъ проступкѣ и чистосердечно проситъ прощенія; но обиженная сторона не прощаетъ. Тогда судъ заключаетъ, что хотя виновные подлежали-бы строгому наказанію за кражу, но какъ всѣ они „чистосердечно въ своемъ проступкѣ раскаялись и какъ были прежде поведенія безукоривннаго“, то наказаніе имъ должно быть сдѣлано „съ снисхожденіемъ, и за гусей слѣдуетъ заплатить по стоимости ихъ однимъ мужчинамъ“, а дѣвушки отъ штрафа освобождены. За то вся молодежь подвергнута была „строгому заключенію подъ арестъ на хлѣбъ и воду, равняющемуся тѣлесному наказанію“ (каково! этому тѣлесному наказанію на хлѣбъ и водѣ бѣдный мужикъ подвергается каждый день). Для парней арестъ назначался на двое сутокъ, для дѣвушекъ — на сутки. Парни, кромѣ того, должны были заплатить за пару гусей полтора рубля (стр. 193).

Денежный штрафъ налагается иногда также и въ пользу распространенія грамотности между крестьянами: случается, что судьи, сами сознавая всю слѣпоту неграмотности, постановляютъ наказывать виновныхъ штрафомъ въ пользу сельскихъ школъ, съ тою цѣлью, чтобы будущіе судьи, дѣти и внуки ихъ, приглядывали къ своимъ рѣшеніямъ не накопченныя на сальной свѣчкѣ печати, не обоюдоострыя „тамги“, какъ приглядываютъ тавро на лошадиномъ бедрѣ, а свои собственныя грамотныя руки.

Молодой парень Савостьинъ, побывавъ въ городѣ и на базарѣ, научился курить папироски, свертывая ихъ изъ всякой попавшейся подъ руку бумажки. Сельскій староста барановской волости дѣлаетъ парню замѣчаніе, что курить около строенія нельзя. Савостьинъ „дозволяетъ себѣ выразиться: что тебѣ за дѣло, и нѣкоторую даже неприличную брань“. Табакокура за это сѣкутъ 20 ударами розогъ и штрафуютъ полтинникомъ „въ пользу сельскихъ школъ“ (стр. 181).

Является на селѣ буянь, котораго все общество унять не можетъ. Это—унтеръ-офицеръ Тишкинъ. „Тишкинъ ведетъ жизнь свою нетрезво и въ пьяномъ видѣ, буйнаго характера, дурной нравственности“, „бьетъ свою жену постоянно, безъ всякой причины“; „неоднократно былъ замѣчаемъ ходящимъ по селу пьянымъ съ папиросами, курить табакъ завернутымъ въ бумагу“; когда Тишкину воспрепятствуютъ это жители и сотскій, буянь „на всякія воспрепятствія“ отвѣчаетъ: „васъ всѣхъ нужно въ огнѣ пожечь“; Тишкина для протрезвленія арестуютъ; по вытрезвленіи, Тишкинъ, „напившись еще чище, не оставляя свой буйный характеръ, пьяный по улицѣ бѣгаетъ за ребятишками, кричитъ: „я васъ порѣжу“, встрѣчающихся съ нимъ жителей ругаетъ неприличными словами, матерно“; до суда доходятъ жалобы вторично; за Тишкинымъ посылаютъ сотскаго „для взятія“; „при взятіи Тишкинъ дозволилъ себѣ не только-что ругательство, даже взялъ за грудки сотскаго“; „наконецъ взяли Тишкина“, привели къ судьямъ, которые собраны были всѣмъ сенатомъ, въ полномъ составѣ; но и тутъ Тишкинъ „дозволилъ себѣ ругать всѣхъ безъ разбора“.

Это ужъ хуже римскаго буяна Кориолана. Судъ, однако, освобождаетъ тарадѣвскаго Кориолана отъ розогъ „во вниманіе къ службѣ Тишкина“, а только арестуетъ на пять дней на хлѣбѣ и водѣ и, какъ высшею степенью наказанія, штрафуетъ 2 руб., потому собственно, что виновнаго воина высѣчь судьи не рѣшаются (стр. 169). Все это дѣлается чисто-семейнымъ образомъ, хотя тарадѣвскій Кориоланъ могъ-бы быть препровожденъ къ воинскому начальнику и жестоко-бы поплатился за оскорбленіе Рима, его сенаторовъ—въ лицѣ волостныхъ судей, консуловъ—въ лицѣ сотскихъ, ливторовъ—въ лицѣ десятскихъ съ розгами, и всего римскаго форума—въ лицѣ мірской сходы.

Крестьянскій судъ къ своимъ рѣшеніямъ старается прилагать гуманнѣйшее изрѣченіе человѣческой мудрости: „лучше помиловать десять виновныхъ, чѣмъ наказать одного невиннаго“.

Такъ, солдатка фащевской волости жалуется на свою родную сноху, что та ножомъ перерѣзала ей основу, висѣвшую около двора, и что основа эта стоитъ ей 5 р. Хотя свидѣтели и показывали, что отвѣтчица кричала — „подай мнѣ ножъ“, однако, рѣзала-ли она основу — не видали, то въ виду этого и на основаніи гуманной пословицы, что „лучше помиловать ошибочно, чѣмъ ошибочно наказать“, судъ оставилъ это дѣло безъ послѣдствій (стр. 670).

Равнымъ образомъ онъ старается не доводить преступниковъ до окончательной гибели за какой-либо одинъ ложный шагъ, дѣлающійся потомъ роковымъ шагомъ для несчастнаго на всю жизнь, ведущій его въ острогъ, на каторгу, въ могилу, что очень часто случается тамъ, гдѣ судьи не входятъ въ душу и въ источникъ нравственнаго афекта преступника.

Священникъ вановской волости Алексѣй Яхонтовъ жаловался суду на крестьянина Старикова, обвиняя его въ слѣдующемъ преступленіи: „при обходѣ священникомъ дворовъ въ день храмоваго праздника“, Стариковъ въ своемъ домѣ не только не встрѣтилъ батюшку и не приготовилъ для совершенія молебствія необходимаго для помѣщенія образовъ мѣста въ переднемъ углу, но, дерзко противорѣча священнику, когда тотъ хотѣлъ занять образами передній уголъ, выразился, конечно, въ пьяномъ видѣ, „что онъ и не нуждается совершеніемъ молебна“. Судъ усмотрѣлъ въ этомъ проступкѣ только „неприличныя безчинства“, и потому, во уваженіе къ заявленію священника, наказалъ виновнаго 15-ю ударами розогъ и на будущее время „внушилъ ему необходимость благонравія при дѣлахъ священнодѣйствія (стр. 190). Дѣйствительно, ребяческая выходка пьянаго полудикаря и не заслуживала другого наказанія; а если-бы на дѣло взглянули какъ на уголовное преступленіе и посадили провинившагося мужика въ острогъ, то изъ него навѣрное вышелъ-бы потомъ воръ, циническій козунъ, а, быть можетъ, и убійца.



## VIII.

Чѣмъ болѣе вы изучаете крестьянскій судъ, тѣмъ болѣе убѣждаетесь, что къ нему надо относиться съ крайнею осторожностью. У народа свой міръ понятій, въ который образованному человѣку не легко проникнуть, а еще труднѣе разобраться въ немъ. У народа и нравственность своя, и курсъ этой нравственности, говоря языкомъ биржи, положительно не зависитъ отъ того, на какой высотѣ стоятъ фонды нашей общественной нравственности по текущимъ бюлетенямъ нашей нравственной биржи.

Оттого едва-ли цѣлесообразно было-бы за извѣстные нравственные проступки строго наказывать народъ, который почти такимъ-же суевѣрнымъ ребенкомъ остался до сихъ поръ, какимъ былъ въ то время, когда въ 1071 году, при неурожаѣ въ ротовской области, встали волхвы-чародѣи и, ходя по погостамъ, указывали на „лихихъ бабъ“, говоря, что „вотъ эта жито держитъ, а эта медъ, а эта рыбу, а эта кожи“, что отъ нихъ неурожай, бездождіе и голодъ; и народъ-ребенокъ самъ приводитъ къ волхвамъ женъ своихъ, дочерей, матерей и убивалъ ихъ цѣлыми сотнями, какъ еретицъ, удерживающихъ своими чарами урожай и всякое плодородіе.

Почти то-же вѣдь повторяется и теперь, какъ мы видимъ при обзорѣнн случаевъ рѣшенія волостныхъ судовъ по дѣламъ о названіи какой-либо бабы „волшебницею“, колдуньей, вѣдьмою и въ особенности „еретницею“ (стр. 82, 519 и др.).

Названіе бабы „волшебницей“, а мужика „волдуномъ“ влечетъ за собою судъ и довольно строгое наказаніе, такъ-какъ народъ не освободился еще отъ того воззрѣнія на природу, когда она олицетворялась у него въ образѣ Перуна, Дажбога, Стрибога, потомъ русалки, лѣшаго и т. д. Вмѣстѣ съ народомъ не освободились отъ этого міросозерцанія и избираемые имъ судьи, искренно вѣрующіе, что домовая подсыпаетъ овса любимой лошади, а у нелюбимой воруетъ кормъ; что любимому коню онъ заплетаетъ по ночамъ гриву и иногда ѣздитъ на немъ; что порчу можно послать по вѣтру наговоромъ, облака можно отогнать отъ полей, особенно когда для этого баба-колдунья начнетъ махать на нихъ снятою съ своего тѣла сорочкою, и т. п., и т. п.

Какой-же иной судъ можетъ быть у этого народа, кромѣ того суда, который онъ самъ себѣ создаетъ въ узкой сферѣ своего дѣтскаго міросозрѣнія? Надо хорошо знать народъ, жить въ его шкурѣ, думать его умомъ, вѣрить его вѣрованіями, чтобы хорошо и право судить его, а иначе мы будемъ постоянно прощать его тамъ, гдѣ онъ самъ себя ни за что не проститъ, и строго наказывать тогда, когда онъ себя, по совѣсти и по глубокому знанію своего нравственнаго и экономическаго міра, поневолѣ прощаетъ. Мы можемъ иногда смѣяться надъ нимъ, иногда, и, конечно, чаще, жалѣть его, но прилагать къ нему свою мѣрку не должны, потому что будемъ къ нему неправы и онъ не повѣритъ нашей правдѣ и законности, а черезъ это еще болѣе деморализуется, такъ что ему и удержу не будетъ, пока онъ окончательно не очеловѣчится нравственно, а главное—экономически.

„Назадъ тому дней десять, заявляетъ одна крестьянка на своего обидчика перемышльскимъ судьямъ,—пришелъ къ намъ въ домъ сосѣдъ Романъ и спрашиваетъ продажнаго поросенка. Я ему сказала, что у насъ былъ поросенокъ, но мы его продали. Тогда онъ меня спросилъ: „давай блиновъ“. Я ему сказала, что я ихъ уже перепекла. Онъ вышелъ изъ избы и, пройдя нѣсколько мичуть, воротился обратно съ крестьянкой Хавроньей, и взшедши въ избу, Хавронья схватила меня за косы и стала бить, а за что—это мнѣ неизвѣстно, и говорила, будто-бы я ее испортила, даже меня вытащила за косы изъ избы на улицу“.

Что это? Понятны-ли намъ эти отношенія людей? Является сосѣдъ къ сосѣдѣ и требуетъ блиновъ. Какъ? что? гость это или врагъ? Ему не даютъ блиновъ. Тутъ подвертывается Хавронья—и хозяйку въ своемъ домѣ таскаютъ за косы—она-де испортила Хавронью. Это—или сумасшедшіе, или какія-то странныя дѣти. Ни то, ни другое: это дреговичи и радимичи, какими они были еще при Несторѣ-лѣтописцѣ.

Вызванная въ судъ Хавронья показала, что она хоть и была въ домѣ истицы вмѣстѣ съ Романомъ, но не била ее, а только Романъ сказалъ ей, что истица ее „испортила“.

Мужъ истицы, съ своей стороны, показалъ: „Я за своей женой дурныхъ поступковъ никогда и никакихъ не видалъ, а какъ Хавронья била ее за косы, я видалъ, но не отбивалъ по той причинѣ, что изъ онаго могло-бы произойти уголовное“.

Переспрошены были потомъ всѣ свидѣтели. Дѣло объяснилось тѣмъ, что проданный поросенокъ былъ совершенно невинною причиною всего этого страннаго случая — поросенокъ былъ только casus belli: въ голову Хавроньи была брошена мысль, что истица ее испортила, и она при народѣ кричала, что эта ужасная женщина, которую она за косы вытащила на улицу, — „еретница“. Мало того, убѣжденіе ея въ томъ, что она испорчена этой „еретницей“, было такъ велико, что когда обѣ женщины были призваны въ судъ, то та изъ нихъ, которая воображала себя испорченною, бросилась на мнимую „еретницу“ и била ее въ присутствіи судей. Съ своей стороны, судьи были, повидимому, такъ поражены этой сценой, что рѣшились оштрафовать Хавронью тремя рублями только за побои, причиненные мнимой „еретницѣ“, но разборъ дѣла по обвиненію ея въ какомъ-то „еретничествѣ“, въ способности портить другихъ людей, въ знакомствѣ съ сверхъестественными силами—это дѣло судьи признали выше своей компетентности (стр. 839—840).

Ясно, что народу, не далеко оставившему за собою поклонниковъ Стрибога и Дажбога, нужны такіе судьи, для которыхъ душа этого народа не была-бы потемками, для которыхъ не казалось-бы страннымъ, что люди стоятъ на волосъ „отъ уголовного“ при такихъ обстоятельствахъ, которыя намъ казались-бы только смѣшными. А судьями, для которыхъ крестьянская душа не будетъ потемками, и могутъ быть только тѣ, которые и думаютъ за-одно съ народомъ, и вѣрятъ съ нимъ за-одно, и за-одно съ нимъ могутъ понимать тѣ отбѣнки народной жизни, которые намъ, со стороны, невидимы, непонятны, немислимы, неосвязаемы.

Въ числѣ коренныхъ истинъ, до которыхъ дошла юридическая наука послѣдняго времени, первую и главнѣйшую признается та, что судъ есть выраженіе общественной совѣсти и что судьи не должны быть ни выше, ни ниже того общества, для котораго они служатъ выраженіемъ или среднею величиною общественной нравственности: на этой истинѣ основанъ институтъ присяжныхъ. Оно и понятно. Въ каждой странѣ институтъ присяжныхъ можетъ быть основанъ только на законахъ и обычаяхъ своей страны. Институтъ этотъ представляетъ собою совѣсть и нравственный критеріумъ цѣлой страны, и если кого осудили и оправдали присяжные, то значитъ, что его осудила и оправдала вся страна,

т. е. та нравственная величина, которая отражаетъ въ себѣ совѣсть каждаго гражданина страны. Оттого институтъ присяжныхъ выражаетъ собою собраніе представителей отъ всѣхъ слоевъ общества, отъ всѣхъ сословій, состояній, положеній, потому что онъ судить всю страну.

Но такъ-какъ общій государственный судъ, выражающійся въ судѣ присяжныхъ, не можетъ и не въ состояніи входить въ разбирательство мелкихъ дѣлъ, иногда съ общей государственной точки зрѣнія ничтожныхъ, какъ, напр., воровство куръ одною крестьянскою бабою у другой или обозваніе одной бабою другой именемъ „колдунья“ и „еретницы“, то для этого имѣются свои собственные, сепаратные суды, какъ у насъ судъ волостной или крестьянскій, представляющій собою среднюю совѣсть всей крестьянской волости и лучше, чѣмъ все государство, вмѣстѣ взятое, знающій слабые и здоровыя стороны своей волости, ея потребности, каждаго изъ ея обитателей. У этого суда отчасти свой и юридическій, и нравственный кодексъ: у судей этого суда отчасти даже и свой языкъ, который скорѣе понятенъ имъ подсудимымъ, чѣмъ могъ-бы быть понятенъ имъ нашъ языкъ; у подсудимыхъ этого суда отчасти и своя нравственность, непохожая на нашу нравственность; у нихъ и преступленія отчасти свои, не совсѣмъ похожія на наши преступленія. Изъ этого прямой логическій выводъ, что они сами должны быть и своими судьями, какъ каждая страна, каждое государство должно быть своимъ собственнымъ судьей по отношенію къ своимъ гражданамъ, а каждый народъ долженъ быть судьей самого себя.

У крестьянскаго суда не только свой языкъ, но и своя логика, своя мотивировка рѣшеній, иногда кажущаяся намъ смѣшною, но для крестьянъ вполне понятная.

Въ рыбинскій волостной судъ являются двое тяжущихся — крестьяне Фроловъ и Ханинъ. Первый, служащій у помѣщика Колобова старостой, жалуется, что послѣдній назвалъ его воромъ господскаго овса.

— Я Фролова обозвалъ воромъ потому (оправдывался Ханинъ), что Фроловъ выговорилъ мнѣ, Ханину, слѣдующія слова: что я, Ханинъ, занимался молотью у г. Колобова, чрезъ что самое и уберегъ собственную свою одонью хлѣба въ цѣлости; я-же, Ха-

нинь, принявъ эти слова за бранныя, и напротивъ оныхъ обозвалъ Фролова воромъ.

Судъ понялъ, въ чемъ дѣло, а мы-бы, пожалуй, и не поняли крестьянской логики.

Онъ такъ понялъ: „волостной судъ по соображенію своему призналъ слова, выговоренныя Ханину, не бранными, какъ это ясно доказываетъ, что посредствомъ работы у каждаго крестьянина пріобрѣтается болѣе имущества, а по лѣности уничтожается и послѣднее. Слѣдовательно, слова Фролова относятся къ похвалѣ Ханина, а выраженное слово воръ Ханинимъ, и притомъ бездоказательное, очень оскорбительно, а въ особенности для служащаго человѣка“. Вслѣдствіе этихъ разсужденій судъ и наказалъ Ханина 20 ударами розогъ (стр. 121).

Къ такимъ-же разсужденіямъ и философствованіямъ пріобрѣтаетъ судъ и въ тѣхъ сомнительныхъ случаяхъ, когда объ одномъ и томъ-же фактѣ встрѣчаетъ разнорѣчивыя показанія истцовъ и свидѣтелей.

Вотъ подобный случай, хорошо характеризующій и самый крестьянскій судъ, и тѣхъ, съ кѣмъ ему приходится имѣть дѣло.

— Была я на рѣкѣ, близъ села лежащей, для мытья бѣлья (жалуется суду крестьянка Сажина), и на возвратномъ пути ко двору, къ неожиданному моему случаю, увидала я своего сына Романа въ безчувственномъ положеніи на дорогѣ, пролегающей отъ рѣки ко двору моему. На вопросъ мой, что съ нимъ случилось, получила отвѣтъ, что онъ избитъ односельцемъ крестьяниномъ Бѣтинимъ съ двумя его сыновьями. Когда я возразила Бѣтинимъ: „за что увѣчите?“—на это они высказали, что это не мое дѣло, что у нихъ идетъ дѣло по поземельной части, а когда я, какъ мать своему дитю, вступилась въ дальній разговоръ (т. е. сама подралась съ Бѣтиними, побивъ ихъ „хлудомъ“, на которомъ несла съ рѣчки бѣлье) въ отношеніи нанесенныхъ моему сыну побоевъ, то и я получила нѣсколько плуухъ отъ Бѣтина, отъ которыхъ страдала головою болѣю.

Кажется, дѣло ясно. „Дѣло шло по поземельной части“—значить „увѣчили“ одинъ другого по поводу пререканій объ усадьбѣ. Въ „разговоръ“, т. е. въ драку, вступилась баба—и ее побили. Но свидѣтели и отвѣтчики показывали, что дѣло было не такъ, что сама Сажина, какъ мать римскихъ Гракховъ, горячо

умѣла дѣйствовать „по поземельной части“ и, защищая свое драгоценное право по новоду неправильной перепашки ея огорода Бѣтинными, побила ихъ „хлудомъ“, когда шла на рѣчку, которую мы назовемъ классическимъ именемъ Тибра; когда-же она возвращалась съ Тибра, то увидала, что избитый ея сынъ Романъ Гракхъ лежитъ на землѣ въ „безчувственномъ положеніи“: это значитъ, что Гракхъ, народный герой, былъ побитъ патриціями Бѣтинными вслѣдствіе запутанности аграрныхъ законовъ и перепашки огорода у матери Гракховъ.

Судьи, не хуже римскихъ сенаторовъ распутавъ всѣ разнорѣчія въ показаніяхъ, „нашли, что драка между тяжущимися была хотя и на одномъ мѣстѣ, но не въ одно время, что видно изъ показаній свидѣтелей, такъ-какъ нѣкоторые изъ нихъ показали, что отвѣтчикъ билъ просительницу и сына ея, а другіе—что просительница была отвѣтчика, и показанія свидѣтелей справедливы, потому собственно, что драку можно произвести по одному дѣлу въ разное время и при разныхъ свидѣтеляхъ (глубокомысленно!), которые и видѣли разную драку, а поэтому свидѣтелей отвѣтчика Бѣтина и не слѣдуетъ устранять отъ свидѣтельства, хотя просительница и объясняетъ, что одинъ свидѣтель родственникъ Бѣтину, а другой съ нею въ ссорѣ, но лицо, не видавшее драку, не можетъ оную передать въ точности противъ дѣйствующаго лица и свидѣтеля“. Значитъ—обѣ стороны дрались и обѣ разомъ были и побѣдителями, и побѣжденными, и истцами, и отвѣтчиками по двумъ разнымъ дракамъ. Обѣ стороны судъ и арестовалъ на 4 сутокъ (стр. 24—25).

Или такой случай: бывшая дворовая женка жаловалась сырскому суду, что къ ней въ домъ пришли „солдаты и крестьянинъ въ пьяномъ видѣ, бросились на нее и неизвѣстно за что нанесли ей жесточайшіе побои, первоначально за волосы, а потомъ продолжали наносить удары по всѣмъ частямъ тѣла кулаками и сапогами, отъ которыхъ (заключаетъ истица) въ настоящее время чувствую слабое здоровье“; и тутъ-же добавила, что солдата она ужъ простила.

Отвѣтчики объясняли, что истицу они вовсе не били, а только подрались „неизвѣстно за что“ (вотъ и разбирай этихъ дѣтей!) съ ея мужемъ, и тотчасъ-же помирились. Свидѣтели утверждали—одни, что истицу отвѣтчики били пинками, другіе—что дрались только съ мужемъ.

Судъ и здѣсь сообразилъ сущность дѣла, для насъ темную. Изъ обстоятельства дѣла сего видно, заключаетъ онъ,—что истица проситъ не изъ какихъ-нибудь побоевъ, а собственно изъ корыстолюбія своего: солдата простила, а на крестьянина по обитанной (?) злобѣ, что не пришелъ къ ней поклониться,—и на основаніи этого тонкаго разсужденія отказываетъ истицѣ въ просьбѣ (стр. 637.)

Что особенно дорого крестьянину въ волостномъ судѣ, такъ это то, что онъ видитъ себя на одномъ съ нимъ нравственномъ уровнѣ, относится къ нему какъ равный къ равному, понимаетъ языкъ его судей, которые и его понимаютъ, потому что выросли съ нимъ на одной нивѣ, пахутъ одною и той-же сохой, ходятъ въ томъ-же лаптѣ и получаютъ одинаковые окладные листы.

Относясь къ суду, какъ къ *своему* институту, а къ судѣ, какъ къ своему брату, крестьянинъ хотя при случаѣ и заартачится, покричитъ на судѣ, но его тутъ-же и „сокращаютъ“, не отнимая у него рабочихъ дней.

Въ рѣшеніяхъ волостныхъ судовъ юго-западной Россіи мы встрѣчаемъ болѣе частые случаи неповиновенія суду или непризнанія его юрисдикціи, чѣмъ въ рѣшеніяхъ половины восточной и сѣверной. Тамъ, напримѣръ, бывали такіе случаи: крестьянинъ Романюкъ возилъ еврейку Рухлю въ Радзивиловъ; по условію, онъ долженъ былъ везти ее безъ клади, но, вопреки условію, Рухля, возвращаясь изъ Радзивилова въ м. Козино, наклала на возъ разныхъ покупокъ, поставила боченокъ съ постнымъ масломъ, и „ночью, ѣхавши по греблѣ (гати) козинской, Рухля сидѣла на возу, заткнувши пальцемъ воронку отъ боченка“, въ то время, когда самъ Романюкъ шелъ шѣшкомъ, погоняя лошадей и отсыкая дорогу; пріѣхавъ домой, Рухля денегъ не отдала Романюку. Послѣдній жаловался, и судъ приговорилъ еврейку къ уплатѣ денегъ. Но когда Рухлѣ объявили рѣшеніе суда, приговору котораго она сначала сама изъявляла согласіе поворотиться, еврейка, выходя изъ присутствія, сказала: „что мнѣ твой волостной судъ! у меня есть на то приставъ. Я на той судѣ не сдаюсь—що то! *мужики—судья!*“ За эту дерзость „мужики-судья“ оштрафовали еврейку тремя рублями (Труды экспед. Чубинскаго, VI т., стр. 222, 223). Въ другомъ случаѣ было такъ: пономарь кievской губерніи, мѣс. Гостомля, Никифоръ Дмитро-

вичь, укралъ у крестьянина Олейника нѣсколько сѣна и, будучи уличаемъ въ воровствѣ, побилъ Олейника кулаками въ голову. Жалоба. Хотя пономарь сначала и согласился судиться волостнымъ судомъ, но когда за воровство и за побои Олейника въ голову его приговорили къ уплатѣ 5 р. въ пользу обиженнаго, пономарь вдругъ перемѣнилъ тонъ и отозвался, что онъ не намѣренъ платить 5 р. за то, что побилъ Олейника въ голову, „ибо можно купить на базарѣ голову за 5 р. и бить сколько угодно“ (тамъ-же, 103). Каково пономарское остроуміе!

Въ рѣшеніяхъ волостныхъ судовъ восточной половины Россіи, великорусской, мы находимъ также, что сопротивленіе волостному суду крестьянъ выражалось иногда очень рѣзко, что въ присутствіи всего деревенскаго синедріона подсудимые называли судей „дураками“ и, повидимому, не хотѣли подчиняться ихъ рѣшеніямъ; но судъ такихъ непокорныхъ „сокращалъ“, по его собственному выраженію, т. е. сажалъ подъ арестъ, сѣлъ и штрафовалъ деньгами (Труды ком. сен. Любощинскаго, I, стр. 81, 83.)

## IX.

Намъ остается только сказать о характерѣ отношеній крестьянскаго суда къ семьѣ, къ проявленію общественной и частной нравственности.

По отношенію къ крестьянской семьѣ судъ представляетъ собою какъ-бы старшаго, почетнѣйшаго семьянина, и по спорнымъ имущественнымъ, а равно щекотливымъ нравственнымъ вопросамъ даетъ свою санкцію по силѣ господствующаго обычая въ такой-же мѣрѣ, какъ и по силѣ закона. Онъ даже не отдѣляетъ иногда понятія закона отъ понятія простого обычая, и тамъ, гдѣ ему совѣсть или природное чувство подсказываютъ поступить такъ или иначе въ вопросахъ права или обычая, онъ просто говоритъ: „это законъ“, или „это не законъ“, т. е. это хорошо, а это не хорошо.

„У насъ такой законъ: за опростоволось бабы — палеи“, говорятъ крестьяне, хотъ такого закона, вѣроятно, не было и нѣтъ ни въ одномъ кодексѣ, ни въ какой странѣ, гдѣ-бы считалось безчестіемъ, если замужня женщина, по винѣ другого лица, по-



кажетъ при народѣ свои волосы, хотя-бы волосы эти были очень красивы.

Разсердившійся на сосѣдку мужикъ выталкиваетъ ее изъ избы въ сѣнцы. Изъ сѣнецъ баба показывается народу „простоволоскою“. За это обидчика сбьютъ десятью ударами розогъ (тамъ-же, 745). Кузнецъ Петръ Крешукъ, выбѣжавъ изъ своей кузницы къ дворянкѣ Юли Липецкой, привязывается къ ней, требуя отдачи ему долга 15 в., „и между тѣмъ въ лицѣ народа срываетъ съ нея головную хустку и оставляетъ Липецкую на дорогѣ въ волосахъ“. Судъ не прощаетъ обидчику этого публичнаго оскорбленія женскихъ волосъ, штрафуетъ его деньгами и присуждаетъ просить у обиженной прощенія въ присутствіи суда (Тр. эксп. Чубинскаго, VI, 228, 229.)

По отношенію ко многимъ случаямъ жизни у крестьянина есть *свой* законъ, унаслѣдованный имъ, можетъ быть, отъ того еще времени, когда онъ поклонялся „роду и рожаницѣ“, „молился подь овинномъ“, „умыкалъ у воды дѣвицъ“ и т. д.

Эпической стариной и безыскусственной прелестью отзываются также и его духовныя завѣщанія, апробуемыя волостнымъ судомъ и вносимыя имъ въ свои книги. Мы говоримъ о тѣхъ только завѣщаніяхъ, въ составленіи которыхъ участвовало творчество самого народа, а не риторское краснорѣчіе мѣстнаго причта.

„Я нижеподписавшійся, усманскаго уѣзда, нижнематренской волости, с. Ольховки, государственный крестьянинъ Степанъ Максимовъ Буновъ при свидѣтеляхъ нижеподписанныхъ: имѣю я двухъ сыновей Харитона и Прокофія; за непочтеніе послѣдняго, Прокофія, я отдѣляю его за таковыя его грубыя поступки, и онъ просилъ меня какъ родителя, чтобы отдѣлить его, я по вздуманію своего какъ въ разумномъ умѣ отдѣлилъ его и выдѣлилъ ему изъ имѣнія малое количество, именно: жеребенка двухъ лѣтъ, телку одного года, двухъ овецъ, десять копенъ ржи, двѣ копы проса и двѣ овса, всего на семьдесятъ руб. сер. Теперича я чувствую слабое здоровье, какъ престарѣлыхъ лѣтъ, если я помру, будетъ Прокофій вступатся въ имѣніе къ Харитону и будетъ тревожить мои *кости*, заклинаю того и нѣтъ моего благословленія, и что ему Прокофію выдано, съ тѣмъ и живи, и подписуюся Степанъ Максимовъ Буновъ“ (Труды ком. Любозинскаго, I, стр. 620.) Развѣ такая эпическая простота возможна въ завѣщаніи, когда-бы оно

совершалось нотаріальнымъ порядкомъ? И развѣ завѣщаніе „не тревожить кости“ не сильнѣе скрѣпляетъ и оберегаетъ отъ недобрыхъ поползновеній злой воли, чѣмъ гербовая пошлина? Для народа „кости родителей“ священнѣе актовой бумаги. Или въ другомъ завѣщаніи читаемъ: „по смерти-же моей, онѣ (дочери) должны обѣ по долгу христіанскому меня похоронить, какъ-то псалтырь читать и сорокъ обѣдней полный сорокоустъ отслужить, въ полугодовщину и годовщину исполнить поминъ, а въ случаѣ ихъ между собою спора и перепорки исполнить мое духовное завѣщаніе относительно похороненія, чтенія псалтыря и сорокадневнаго помина, то подъ заклятіемъ даю все свое имѣніе тому, кто мое завѣщаніе исполнить“ (тамъ-же, стр. 810). Тутъ уже замѣтно проглядываетъ внушеніе причта и эпическая поэзія завѣщанія отходить на второй планъ.

Въ видахъ охраненія интересовъ крестьянской семьи, преимущественно съ экономической точки зрѣнія, судъ строго запрещаетъ семейные раздѣлы безъ уважительныхъ причинъ и „не скажачи“ суду: такъ онъ сбъчетъ розгами братьевъ, тайно отъ суда раздѣлившихся, сбъчетъ собственно за то, что отъ этихъ семейныхъ распрей „не уплачиваются казенныя подати“ (стр. 53.) Судъ сбъчетъ розгами сына за то, что онъ самовольно отдѣляется отъ отца и тѣмъ парализуетъ силы плательщиковъ податей; по наказаніи, сына соединяютъ съ семействомъ отца (стр. 81.)

Судъ научаетъ женщину уважать законъ, и когда крестьянка Шутова говоритъ своему старостѣ, что „на бабѣ взятки гладки и суда нѣтъ“ — ее за это штрафуютъ (стр. 28.) Когда ушедшая отъ мужа жена заявляетъ суду, что нѣтъ такого закона, чтобы „заставить ее жить въ домѣ мужа и свекора“ (каковъ юристъ!), то эту эмансипированную бабу арестуютъ на семь дней и „водворяютъ“ въ домѣ мужа и свекра, несмотря на ея протесты, достойные героинь муже и женоразводныхъ романовъ г. Авдѣева (стр. 31.) Но въ то-же время судъ ограждаетъ бабу отъ гуляки-мужа и, „согласно мѣстныхъ обычаевъ, обязательно заставляетъ его купить избу для жены съ дѣтьми, а на продовольствіе съ озиныхъ посѣвовъ отбираетъ отъ него на одну душу земли во всѣхъ поляхъ и предоставляетъ ей въ полное распоряженіе“, возлагая въ то-же время платежъ податей на гуляку-мужа (стр. 341)—распоряженіе, дѣлающее честь крестьянскому такту, кото-

„Дѣло“, № 12.

раго, къ сожалѣнiю, недостаетъ иногда нашему образованному обществу и даже нѣкоторымъ писателямъ, которые такую отдѣленную отъ мужа женщину сейчасъ-бы произвели въ нигилисты или въ стриженую бабу и наглумились-бы надъ нею съ классическимъ цинизмомъ. За то крестьянскiй судъ отстраняетъ иногда отъ распоряженiя имуществомъ отцовъ и матерей, когда они недостойны этой чести, и предоставляетъ право старшинства, главенство въ семьѣ дѣльнымъ сыновьямъ, говоря, что „сынъ хоть молодъ, да хорошъ, а отецъ хоть и старъ, да изъяснись“. Мало того, прежде показанiе на судѣ отца или матери на сына и дочь считалось священнымъ и противъ него судъ былъ безсиленъ; теперь-же матерей арестуютъ за напрасное обвиненiе дѣтей. Древне-славянскiй „родъ“ теряетъ свою силу; естественное право уступаетъ логикѣ времени и фактовъ, и старыя, подгнившiя основы, такъ-сказать, свайныхъ общественныхъ построекъ расшатываются реальнымъ смысломъ самого народа.

Этому-же самую логикою времени изгоняются изъ народа и такiя проявленiя общественной нравственности, какъ древне-русское „умыванье у воды дѣвицъ“, которое замѣняется болѣе цивилизованными формами сближенiя половъ.

Хотя „посѣдки“ дѣвицъ съ парнями еще и продолжаютъ, но свальныя купанья дѣвушекъ и парней не только выводятся, но уже иногда и наказываются судомъ, особенно когда они соединены съ безчинствомъ и безобразiемъ, какъ это видно, напр., и изъ наказанiя розгами одного крестьянина за то, что во время купанья деревенскихъ дѣвушекъ онъ явился къ нимъ „безъ портовъ, въ одной рубашкѣ, и началъ за ними гонять“, хвастаясь въ то-же время, что одна одиннадцатилѣтняя дѣвочка, купавшаяся тамъ-же, уже больше года находится съ нимъ въ любовной связи (стр. 712); или изъ наказанiя арестомъ на хлѣбъ и водѣ другого безобразника, крестьянина Сложеникина, „за появленiе въ публичномъ мѣстѣ пьянымъ съ обнаженiемъ себя показанiями своего тѣла, влекущаго за собою соблазнъ“ (стр. 106), и т. д.

Всесильному времени уступаетъ также и одна изъ самыхъ застарѣлыхъ язвъ русской земли—это бродяжничество, шатанье побѣлу-свѣту „Ивановъ непомящихъ родства“, потому что экономически это идетъ въ разрѣзъ съ интересами крестьянской об-

щины. Прежде бродяги были продуктомъ крѣпостного права, жестокаго суда, тяжелой рекрутчины и другихъ общественныхъ болѣзней, когда историческій „Иванъ“ уходилъ отъ недобраго барина, пригрозившагося отдать его въ рекруты, сослать въ Сибирь за то, что невѣста историческаго „Ивана“ не хотѣла оставаться у барина въ любимыхъ форничныхъ, или отъ кнута за поджогъ барской усадьбы или риги, или отъ семидневной барщины, или, наконецъ, отъ полного отсутствія не только крестьянскаго, но и всякаго суда; этими историческими „Иванами“ переполнена была русская земля; историческіе „Иваны“ составляли ядро „понизовой вольницы“, шли въ расколъ, на Яикъ, въ Анапу, на „Дарьюрѣку“ и т. д. Теперь историческіе „Иваны“ переводятся, и само крестьянское общество зорко слѣдитъ за ними, потому что за нихъ оно должно отбывать недоимку и держать отвѣтъ передъ начальствомъ, какъ самостоятельная общественная единица. Оттого крестьянскій судъ строго наказываетъ историческаго „Ивана“, если только онъ попадется гдѣ-нибудь въ Ростовѣ-на-Дону или въ Астрахани на бурлачествѣ и забудетъ, что гдѣ-нибудь въ керенскомъ уѣздѣ, въ отьясовской волости, дядя Пахомъ или дядя Сысой платятъ за него недоимки. Да и бѣгать историческому „Ивану“ представляется теперь меньше причинъ, когда онъ притомъ и на желѣзной дорогѣ не можетъ производить земляныя выемки и откосы при неизбѣннѣ въ карманѣ законнаго паспорта (бываютъ, впрочемъ, и исключенія, какъ слышно.)

Но за то крѣпкою остается въ народѣ его историческая солидарность, обзываемая иногда по невѣденію именемъ „табунныхъ“ или „стадныхъ“ свойствъ русскаго народа. Эта табунность проявляется иногда въ томъ, что какой-нибудь безграмотный жокаемужикъ, сопровождаемый грамотнымъ дѣтинкою изъ куйманской сельской школы и толпою единомышленниковъ, ходитъ по селу и отъ каждаго встрѣчнаго „отбираетъ руки“ о томъ, наприм., чтобы сломать цѣлые дома и строенія новопоселенцевъ, которые почему-либо имъ нелюбы, тѣснятъ ихъ постройками, заѣдаютъ ихъ усадѣбную и полевою землю, — и строенія славиваются и размѣтываются по пустырямъ, потому что этого требуютъ стадные инстинкты народа; размѣтываются по выгону склады кирпичей, заготовленные какимъ-либо пришельцемъ въ эту историческую общину, — и только признаваемый всѣми крестьянами авторитетъ

своего суда останавливаетъ эти проявленія древняго „шумства“, которое прежде усмиралось, бывало, воинскими командами (стр. 734—736.)

А между тѣмъ самая форма крестьянскаго суда такъ проста, такъ наивна: въ большинствѣ рѣшеній этого суда мы читаемъ какъ обыкновенную эпическую форму, что „судьи-де. поговоря между собою“, постановили то-то и то-то; и это постановленіе почти никогда нейдетъ въ разрѣзъ съ инстинктами массы: *такъ* масса хочетъ, *такъ мы сами* приговорили — и баста! Если-же смотрѣть на эти приговариванья съ точки зрѣнія литературно-жѣщанской рутинны, то они дѣйствительно покажутся не только наивными, но даже до крайности смѣшными и нелѣпными. Но народъ понимаетъ языкъ своихъ судей и своихъ писарей. Мало того, онъ охотнѣе повинуется исходящимъ изъ суда повелѣніямъ, если они раздаются на такомъ языкѣ, который отдастъ въ ухахъ народа чѣмъ-то возвышеннымъ, „письменнымъ“, почти церковнымъ. Этотъ языкъ онъ ни за что не промѣняетъ на нашъ мертвый канцелярскій языкъ. Замѣчательно, что народъ, плохо понимая вычурность языка мировыхъ судей и адвокатовъ съ ихъ „квалификаціями“ и „экспертизами“, хотя-бы они даже и поддѣлывались подъ рѣчь народа, вполне понимаетъ своихъ судей и писарей, если у нихъ языкъ даже немножко и диковатъ, но если только онъ созданъ однимъ духовнымъ процесомъ съ тѣмъ, который совершается и въ мозгу всего народа.

Изъ всего вышесказаннаго, надѣмся, само собой вытекаетъ заключеніе:

Русскій народъ такъ еще дѣтски-примитивенъ, что нуждается въ своемъ собственномъ домашнемъ судѣ для разбора его повседневныхъ дразгъ: ссоры, драки, „выхлестыванье глазъ водкою“, „выбитіе зубовъ“, выщипыванье волосъ и бородъ, оскорбленіе бабъ „простоволосомъ“, обозваніе „колдуномъ“, „еретницей“, „безчестіе женщины посредствомъ пачканья воротъ и оконъ дегтемъ“, копейчныя претензіи изъ-за вуръ, свиней, яицъ, потравы хлѣбовъ, и миліонъ мелкихъ „злюбъ дня“ — все это требуетъ суда близкаго, скорого, своего, такого-же копейчнаго, какъ и самые искы.

Отсюда вновь вытекаетъ тезисъ за тезисомъ:

Народъ нашъ такъ мало развитъ юридически, что у него нельзя еще отнимать суда обычнаго.

Народъ нашъ такъ не богатъ, что еще не въ силахъ замѣнить розги другимъ наказаніемъ, отнимающимъ у него или заработокъ, или рабочіе дни.

Народъ нашъ такъ малограмотенъ, что судьямъ его, тоже неграмотнымъ, нельзя ставить въ вину невѣденіе закона.

Народъ нашъ такъ дорожитъ недавно полученной свободой, что боится вновь потерять ее при судѣ „всесловномъ“.

Народъ, наконецъ, такъ привыкъ не вѣрить никому, кто не въ лаптяхъ и не въ его зипунѣ, что желалъ-бы, чтобы его пока оставили въ покоѣ.

Что-же нужно для того, чтобы волостной судъ, слабыя стороны котораго отрицаемы быть не могутъ, отвѣчалъ своему назначенію?

Одно компетентное лицо дало по этому вопросу такой отзывъ сенатору Любоцинскому:

„Мы очень хорошо знаемъ, какое значеніе имѣетъ декоративная сторона дѣла въ высшихъ судахъ для образованной даже публики, избалованной всевозможными зрѣлищами торжественныхъ афектацій. При словѣ: „судъ идетъ!“ при удаленіи и появленіи изъ совѣщательной залы присяжныхъ засѣдателей, каждый изъ присутствующихъ, не говоря о лицахъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ, да и сами судьи довольно проникаются тѣмъ именно настроеніемъ, которое прежде и болѣе всего необходимо для воспріятія суда *скараго*. Поэтому требуется, чтобы и въ волостной судъ введена была нѣкоторая доля торжественной обрядности и даже искусственности. Волостнымъ судьямъ дать льготы и служебныя привилегіи; одѣть ихъ въ кафтаны въ родѣ почетныхъ и дать имъ бронзовыя цѣпи. Положить судьямъ жалованье, и непремѣнно казенное, „царское“, какъ и прочимъ судьямъ. Волостное правленіе тоже обставить торжественностью: въ камерѣ суда — большой столъ, покрытый цвѣтнымъ сукномъ, зеркало, крестъ и евангеліе, кресла для судей, скамейки и т. д. Нужно и на крестьянскій судъ хоть что-нибудь издержать, чтобы онъ не казался кабакомъ или арестантской.

„А вѣдь нашъ народъ стоитъ того (продолжаетъ тотъ-же отзывъ), чтобы объ его судѣ позаботились хоть въ половину противъ заботъ, затраченныхъ и правительствомъ, и обществомъ для привилегированныхъ судей. Право на эти заботы дала ему вся его

вѣковая исторія“ (Труды ком. сенатора Любоцинскаго: „Отзывы разн. мѣстъ и лицъ“, стр. 427—428.)

Исторія, добавимъ мы съ своей стороны, приводитъ насъ къ глубокому убѣжденію, что никакія заботы и затраты, никакія внѣшнія улучшенія не даютъ ожидаемыхъ отъ нихъ результатовъ, если, при извѣстномъ ростѣ общества, улучшенія эти прививаются только механически. Эту горькую историческую истину подтверждаетъ печальная исторія улучшенія нашего высшаго суда, который, при данномъ ростѣ нашего общества и при данномъ уровнѣ общественной совѣсти, заставилъ всплыть наружу всѣ хищническіе, киргизскіе инстинкты общества и овладѣлъ общественною совѣстью въ такой степени, что наши присяжные засѣдатели, подъ вліяніемъ лишь одной стилистической эквилибристики присяжныхъ авгуровъ, также легко оправдываютъ виновныхъ, какъ легко осуждаютъ невинныхъ, такъ что высшій судъ является въ этомъ отношеніи нисколько не выше волостного суда, съ тою развѣ разницею, что въ волости Фемидою помыкають волостные старшины и волостные писаря, заставляющіе эту бѣдную богиню ходить иногда въ кабакъ за водкой, потому что слѣпая старушка по своей незрячести часто не вѣдаетъ, гдѣ она — въ питейномъ домѣ или въ волостномъ, а въ высшихъ судахъ богиня эта, хотя и является подчасъ зрячею, но, находясь на побѣгушкахъ у присяжныхъ повѣренныхъ, этихъ волостныхъ писарей высшаго полета, этихъ ловцовъ въ темномъ омутѣ человѣческихъ вляузь, нерѣдко исполняетъ роль биржевого маклера.

Если чему научилъ насъ историческій опытъ, такъ это тому, что, съ одной стороны, пока уровень нашего развитія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и курсъ общественной совѣсти не будутъ стоять выше курса акцій московскаго комерческаго банка, до тѣхъ поръ никакія внѣшнія, механическія улучшенія не будутъ приносить того добра, какое отъ нихъ ожидается, и что, съ другой стороны, пока дѣти нашихъ крестьянъ не перестанутъ быть такими-же древлянами, дреговичами и радимичами, какими остались ихъ отцы, и, вооруженные грамотностью, не займутъ ихъ мѣстъ въ волостномъ судѣ, до тѣхъ поръ всякіе опыты съ преобразованіями крестьянскаго суда будутъ, по меньшей мѣрѣ, безрезультатны.

Д. Мордочевъ.

## ЕЩЕ О ФРЕБЕЛЬ И ДѢТСКИХЪ САДАХЪ.

Съ позволенія вашего, читатель, я намѣренъ снова потревожить скучную тѣнь Фребеля. Вызвана-же эта тѣнь не мною, а г. Каптеревымъ изъ одного царства мертвыхъ въ другое — въ педагогическое собраніе, гдѣ она, конечно, чувствовала себя какъ дома, вкушая сладкій фирміамъ похвалъ, которыми угощаль ее этотъ педагогъ въ своемъ рефератѣ (П. Каптеревъ, четыре публ. лекціи о первоначальномъ воспитаніи дѣтей, „Народная Школа“ № 8). Что касается насъ, то въ одномъ изъ номеровъ нашего журнала („Педагогическія увлеченія“, № 12, 1874 г.) мы отнеслись отрицательно къ этой ученой муміи, и всегда были увѣрены, что она, перенесенная на нашу почву, рассыплется въ прахъ. Г. Каптеревъ, задумавъ реставрировать эту мумію, возсталъ противъ нашихъ мнѣній, называя ихъ крайними и пристрастными, хотя въ то-же время онъ говоритъ, что мы вѣрно подмѣтили недостатки фребелевской системы. Мы взяли за перо не съ тѣмъ, чтобы полемизировать съ г. Каптеревымъ, и не желаемъ говорить ни о своей личности, ни о личности Фребеля. Только на одинъ упрекъ, сдѣланный намъ г. Каптеревымъ, мы считаемъ излишнимъ возразить и вмѣстѣ съ тѣмъ дополнить наши сужденія о значеніи Фребеля и дѣтскихъ садовъ для русской педагогической практики.

Въ статьѣ „Педагогическія увлеченія“ мы, между прочимъ, замѣтили, что „Фребель, какъ нѣмецъ, больше философствовалъ, чѣмъ дѣлалъ дѣло, и притомъ, какъ нѣмецъ, всегда исходилъ въ своей философіи отъ своего я, столь любезнаго нѣмецкому сердцу“. „Совершенно наоборотъ, отвѣчаетъ намъ г. Каптеревъ:— онъ былъ болѣе практической, чѣмъ теоретической педагогъ, и его



значеніе заключается не въ его туманныхъ теоріяхъ, а въ созданномъ имъ институтѣ — *дѣтскомъ садѣ*? Слѣдовательно, разногласіе между нами полное. Не долго думая, г. Каптеревъ порѣшилъ, что наше мнѣніе основано на „недостаточномъ знакомствѣ съ системой Фребеля“. Если г. Каптеревъ думалъ озадачить насъ быстротой этого рѣшенія, то онъ ошибся, ибо мы намѣрены доказать, что г. Каптеревъ, отдѣляющій философію Фребеля отъ его практической дѣятельности, не только недостаточно знакомъ съ фребелевской системой, но и совершенно незнакомъ съ ея духомъ.

Въ ряду общественныхъ дѣятелей, о которыхъ память сохранилась въ исторіи, нельзя указать ни на одного человѣка, у котораго теорія работала-бы такъ беззащитно и произвольно надъ практикой, какъ у Фребеля. Къ сожалѣнію, у насъ мало извѣстно происхожденіе тѣхъ мячиковъ, кубиковъ, цепочекъ и прочей дребедени, которая составляетъ душу дѣтскихъ садовъ. А это весьма любопытный предметъ. Ни одна изъ этихъ игръ, ни одна мелочь, ни одинъ „даръ“ не былъ результатомъ наблюденій надъ фактами изъ дѣтской жизни. Фребель хотѣлъ создать свою собственную дѣтскую жизнь, по шаблону своей фантастической философіи. Еще задолго передъ тѣмъ, какъ Фребель сдѣлался учителемъ, у него все уже было готово — и принципы, и метода, и приемы; въ его головѣ несуществующія дѣти уже кривлялись, плясали и играли въ кубики и палочки, а самъ Фребель уже начертилъ себѣ путь, съ котораго не могъ его ни на волосъ сдвинуть никакой толчокъ житейской практики. Мы сказали, что фребелевская система не основана на педагогической практикѣ, но за то она основана на астрономическихъ наблюденіяхъ, она основана на... кометѣ. Да, читатель, на кометѣ; мы нисколько не шутимъ и даже готовы прочесть объ этомъ пресерьезный рефератъ въ педагогическомъ собраніи. Въ 1811 году является эта необыкновенная педагогическая комета, она привлекаетъ къ себѣ всеобщее вниманіе, и ее начинаетъ созерцать по цѣлымъ ночамъ впечатлительный Фребель. Комета эта была какъ комета: маленькое сферическое тѣло съ предлиннымъ хвостомъ, и ничего болѣе. При чемъ тутъ дѣти и воспитаніе? спросите вы. Въ томъ-то и заключается штука философской теоріи, что ее никто не понимаетъ, кромѣ ея творца. Вотъ что говорить объ этомъ

преданнѣйшій биографъ и панегиристъ Фребеля, Бруно Ганшманъ: „Появленіе прекрасной кометы въ тихія ночи было для Фребеля предметомъ созерцанія и причиной того, что онъ глубоко погрузился въ сущность *сферическаго въ окружающей природѣ и въ самомъ человѣкѣ*. Онъ убѣдился во всеобщности закона о *сферическомъ*“. „Сферическое, говоритъ самъ Фребель, — есть осуществленіе разнообразія въ единствѣ и единства въ разнообразіи“. „Всякая вещь, всѣ вещи суть сферическаго происхожденія, сферическія сущности“. „Каждая вещь развиваетъ въ совершенствѣ свою сферическую природу тогда, когда она стремится изобразить свою сущность въ себѣ и чрезъ себя въ своемъ единствѣ, въ своей единичности и въ своемъ разнообразіи“. „Равнымъ образомъ и назначеніе человѣка состоитъ въ томъ, чтобы развить и осуществить сперва свою сферическую природу, а затѣмъ природу сферической сущности вообще“. „Кто сознательно вліяетъ на развитіе сферической природы какого-либо существа, тотъ воспитываетъ это существо. Отсюда воспитаніе человѣка есть развитіе его силъ для познанія и познанія для свободнаго дѣйствія. Къ этой цѣли приводитъ жизнь по сферическому закону“. Вотъ краткое, но совершенно полное резюме всей педагогической мудрости Фребеля. Разумѣется, вы ничего здѣсь не понимаете, но потому-то никто не понимаетъ и игры Фребеля, ибо эти игры — реальное воплощеніе его философіи, полнѣйшее сліяніе галлюцинаціи слова съ галлюцинаціей дѣла. Вполнѣ согласно съ галлюцинаціями Фребеля, игры должны начинаться съ сферическаго тѣла, съ твердаго шара, за которымъ слѣдуетъ мячикъ. Если здравый смыслъ подскажетъ вамъ предположеніе, что, вѣроятно, мячъ избранъ просто какъ самый элементарный гимнастическій аппаратъ, то это будетъ совершенно несправедливо, ибо тогда не зачѣмъ и открывать шаръ, такъ-какъ дѣти играютъ имъ съ незапамятныхъ временъ. Но теорія Фребеля слишкомъ далека отъ здраваго смысла. Шаръ избранъ, какъ символъ философской тріады „единства, единичности и разнообразія“, — тріады, безъ которой Фребель ни шагу не дѣлаетъ въ своей педагогической практикѣ. Шаръ осуществляетъ эту тріаду, ибо „онъ есть зеркало внутренняго и наружнаго міра ребенка“. Фребель вовсе не желаетъ, чтобы дѣти играли мячикомъ, какъ это они обыкновенно дѣлаютъ: они должны „созерцать шаръ“, и потому-то онъ вѣшается надъ колыбелью 8-мѣсячнаго младенца,

дабы „пробудить въ немъ предчувствіе процесса развитія жизни“ и воспитать его, „какъ члена природы и всего, единичнаго существованія и всеобщей жизни“. Этой чепухи еще мало было Фребелю, и вотъ она заканчивается другой философской идеей, которой Фребель остался вѣренъ до гробовой доски, несмотря на ея вопіющую нелѣпость. Именно Фребель считалъ долгомъ „стремиться къ развитію ребенка изнутри“, такъ-какъ онъ видѣлъ въ немъ миниатюръ готоваго, взрослога человѣка. Этой краеугольной орудой пропитана вся теорія и практика Фребеля. Не будь у него этой вздорной мысли, онъ никогда не избралъ - бы „созерцаніе шара“ первой ступеню развитія душевныхъ силъ ребенка. Здравомыслящіе люди во всѣ времена думали, что „изнутри“ воспитывать ребенка нельзя, ибо внутри у него еще ничего нѣтъ, а нужно дать ему сперва это внутреннее содержаніе изъ вѣшняго міра. Упустивши это простое соображеніе, Фребель сталъ громоздить нелѣпость на нелѣпости. Такъ, въ его даже время извѣстно было, что способность зрѣнія развивается опытомъ и послѣдовательнымъ упражненіемъ, а въ наше время прямыми опытами доказано, что именно тѣлесное зрѣніе вырабатывается у дѣтей крайне медленно, а у годовалаго ребенка существуютъ лишь едва замѣтные слѣды этой способности. И замѣчательно, какъ діаметрально противоположны современныя научныя изслѣдованія педагогическимъ бреднямъ Фребеля. Оказывается, что если вмѣшиваться въ душевную жизнь годовалаго ребенка, то именно *не слѣдуетъ начинать съ шара* и не отъ него переходить къ плоскости, линіи и точкѣ, а совершенно наоборотъ. Въ какой послѣдовательности дѣти изучаютъ форму и очертаніе предметовъ, можно безошибочно судить по тѣмъ слѣдпорожденнымъ субъектамъ, которымъ зрѣніе возвращалось удачною операціей. Такіе субъекты въ первое время послѣ операціи не отличаютъ куба отъ квадрата, шара отъ круга. На картинѣ они видятъ смѣсь цвѣтовъ, но не распознаютъ, вслѣдствіе отсутствія выработаннаго зрѣнія, изображенныхъ на ней предметовъ. Они, напр., не отличали послѣ операціи собаку отъ кошки и ключъ отъ карандаша. Но всѣ эти прозрѣвшіе слѣпые, достигнувъ зрѣлаго возраста, вполне ознакомились съ тѣлами посредствомъ осязанія, — слѣдовательно, чего-же можно ожидать отъ ребенка, еще неумѣющаго ползать? Но наши педагоги не

считаютъ такіе факты даже принадлежащими къ своей области, они не имѣютъ никакого понятія объ азбукѣ психо-фізіологической педагогики, и потому для большаго уясненія нашей оппозиціи фребелевскимъ идеямъ, позвольте намъ, читатель, приподнять хотя слегка край той завѣсы, которая скрываетъ необъятную область совершенно нетронутыхъ и единственно плодотворныхъ для педагогики изслѣдованій.

Современная біологія выработала одну изъ самыхъ безспорныхъ и важныхъ по своимъ практическимъ послѣдствіямъ истинъ, до которыхъ когда-либо возвышалась наука. Эта истина — законъ наследственности. Замѣчательно, что наши педагоги не понимаютъ этого закона до такой степени, что они ставятъ себѣ въ особенную заслугу и какъ безспорное доказательство современности своихъ воззрѣній то обстоятельство, что они дошли до необходимости изученія свойствъ ребенка съ первыхъ дней его рожденія. Г. Каптеревъ весьма доволенъ собой и Фребелемъ за то, что они вмѣстѣ защищаютъ эту безшабашность. По рутинѣ эти педагоги привыкли думать, что ребенокъ только по выходѣ изъ материнской утробы дѣлается „чѣмъ-то“, а до тѣхъ поръ онъ — ничто. Къ счастью, эта узкая точка зрѣнія, тормозящая до невѣроятной степени успѣхи педагогики, начинаетъ разрушаться современной наукой. Уже доказано опытами фізіологовъ, что нѣкоторыя чувства ребенка, напр., осязаніе, обнаруживаются еще въ утробѣ матери. Но и этого мало. Необходимо отодвинуть предѣлы дѣтской жизни еще далѣе и признать, что ребенокъ рождается ранѣе своего появленія на свѣтъ и даже ранѣе момента фізіологическаго зачатія. Онъ рождается въ организмѣ отдаленныхъ предковъ, съ первымъ трепетомъ жизни на землѣ, съ первымъ порывомъ человѣческой мышцы, съ первымъ дыханіемъ разума, съ первымъ актомъ великой исторической драмы. Нужно было-бы написать книгу чудовищнаго объема, чтобы, углубившись въ безграничную даль прошлаго, отыскать тамъ микроскопическій зародышъ современнаго ребенка и подмѣтить ту пылинку первобытныхъ идей, чувствъ, инстинктовъ и физическихъ силъ, которая, медленно разрастаясь и перебрасываемая волной культуры отъ одного поколѣнія къ другому, достигла, наконецъ, своей пристани въ материнской утробѣ и тамъ воплотилась въ организацію младенца нашихъ дней. Такой трудъ не по силамъ

одному человѣку, но армія натуралистовъ, въ рядахъ которой сражаются такіе герои, какъ Дарвинъ, Валласъ, Лэбокъ, Тэйлоръ, сдѣлала свое дѣло, и, право, пора нашей педагогикѣ покинуть сыпучіе пески бесплодной нѣмецкой философіи и ступить твердой ногой на твердую почву естествознанія. Педагогика начинается біологіей, исторіей первобытной культуры, антропологіей и сравнительной этнографіей; ея продолженіе составляетъ физиологическая психологія, а конецъ—соціологія. Вообще мы хотимъ этимъ сказать, что предметъ науки о воспитаніи несравненно шире, чѣмъ это обыкновенно полагають, и что она генетически связана съ такими отраслями знанія, родство которыхъ съ педагогикой и не подозрѣвается воспитателями, отрицающими почему-бы то ни было законъ наслѣдственности.

А между тѣмъ этотъ законъ есть основаніе раціональной педагогики. Такъ-какъ организмъ передаетъ своимъ дѣтямъ не только наслѣдованныя имъ качества, но и качества, которыми онъ отличается отъ родителей, то, слѣдовательно, каждый потомокъ наслѣдуетъ сумму постепенно выработывавшихся измѣненій отъ всѣхъ своихъ предковъ, и притомъ эти измѣненія должны появляться въ организмѣ въ той-же хронологической послѣдовательности, въ какой они являлись у его предковъ. Важность этого вывода для педагогики слишкомъ очевидна, и о какихъ-то шарикахъ толковать при этомъ совершенно неумѣстно. Отсюда слѣдуетъ, что ребенокъ, пока онъ не достигъ самостоятельности и неспособенъ развивать свою индивидуальность, живетъ не активно, но инстинктами, которые являются въ хронологической зависимости и по закону, уже намѣченному довольно ясно современными изслѣдованіями. Чтобы не отдаляться отъ предмета статьи, приложимъ этотъ выводъ къ играмъ Фребеля.

Итакъ, въ силу закона наслѣдственности, одна способность, приобрѣтенная человѣчествомъ ранѣе другой, и у ребенка обнаруживается въ томъ-же порядкѣ. Такъ-какъ способность различать цвѣта не существуетъ у животныхъ и даже, какъ показали остроумныя изслѣдованія Гейгера, весьма недостаточно была развита у древне-историческихъ народовъ (у индійцевъ и даже у грековъ), то съ полной вѣроятностью можно предположить, что и у ребенка она обнаруживается позже всѣхъ зрительныхъ ощущеній. Слѣдовательно, въ этомъ случаѣ напрасны всѣ стара-

нiя развивать эту способность у годовалаго ребенка съ помощью цвѣтныхъ шаровъ Фребеля. Вообще анализъ чувствъ показываетъ, что зрительныя способности развиваются у ребенка въ слѣдующемъ порядкѣ. Прежде всего новорожденный учится отличать свѣтъ отъ темноты. Затѣмъ, достигнувъ дѣтскаго возраста, онъ видитъ всѣ попадающіеся ему на глаза предметы лишь въ плоскостномъ и линейномъ ихъ очертаніи, но это не мѣшаетъ ему знакомиться съ положеніемъ этихъ предметовъ въ пространствѣ и съ разстояніемъ ихъ отъ глаза. Значительно позже глазъ ребенка узнаетъ, но при дѣятельномъ участіи органа осязанія (слѣдовательно, когда ребенокъ начнетъ порядочно ходить и получить возможность свободно пользоваться руками), что предметы суть *тѣла*, т. е. имѣютъ объемъ, а отсюда у него постепенно выясняется понятіе о перспективѣ. Наконецъ, послѣдней является способность различать цвѣта. Но здѣсь очень важную роль играетъ и такъ-называемый законъ „физиологическаго соотношенія“, важность котораго впервые объяснена Дарвиномъ. Это очень просто. Всѣ отправления организма находятся между собой въ зависимости, такъ-что одно отправление не можетъ явиться ранѣе другого, и зрѣлость одного влечетъ за собой созрѣваніе другого. Такъ инстинктъ половой возмужалости не можетъ явиться прежде, чѣмъ разовьются почти всѣ органы тѣла. Способность ходьбы не можетъ возникнуть ранѣе способности ползанія. Съ другой стороны, явилась, напр., способность направлять глаза на вѣншіе предметы, и ребенокъ ощущаетъ только свѣтъ, различая его отъ темноты, въ ожиданіи, пока не наступитъ физиологическая очередь новой способности—видѣть предметы въ ихъ плоскостномъ и линейномъ очертаніи. Но является и эта способность и пробуждаетъ цѣлую цѣпь выработанныхъ еще нашими предками ассоціацій ощущенія очертаній и формы съ протягиваніемъ рукъ къ предметамъ, имѣющимъ это очертаніе,—ассоціацій, укрѣпившихся въ цѣломъ рядѣ поколѣній и переданныхъ, какъ инстинктивная способность, и ребенку,—и тогда у ребенка возникаетъ инстинктивное стремленіе за все хвататься руками. Вслѣдствіе этого, а равно и отъ усиливающагося питанія мышцъ, развиваются и крѣпнутъ органы движенія и у ребенка готова инстинктивная наклонность ползать. Но уже ранѣе явился инстинктъ хватанія руками за вѣншіе предметы, а этотъ-то инстинктъ заставляеть ребенка постепенно освобождать

свои руки отъ совмѣстнаго и одновременнаго дѣйствія съ ногами, и такимъ образомъ генетически вырабатывается способность ребенка ходить на двухъ ногахъ. Затѣмъ, когда ребенокъ самъ начнетъ двигаться, когда онъ самъ въ состояніи разглядывать и ощупывать предметы со всѣхъ сторонъ, онъ пріобрѣтаетъ понятіе объ объемѣ и тѣлѣности. Вотъ почему знакомство съ тѣлами должно начинаться не ранѣе, какъ послѣ того, когда ребенокъ хорошо уже научится ходить. Поэтому преждевременно и бесполезно предаваться такой философской игрѣ, какъ вѣшать надъ колыбелью 8-мѣсячнаго младенца шаръ, какъ этого требуетъ Фребель, равно какъ преждевременно предлагать ребенку, еще неумѣющему порядочно ходить, геометрическія фигуры въ видѣ различныхъ складныхъ игръ, шары и кубы, принимаемые имъ за круги и квадраты. Еще ошибочнѣе предлагать въ то-же время ребенку упражненія съ цвѣтными полосками, ибо это положительно значитъ насиловать природу ребенка, какъ насилдовалась-бы она, если-бы у 5-лѣтняго ребенка преждевременно развивалось половое чувство, или какъ если-бы того-же ребенка, не обучивъ арифметикѣ, засадить за высшую математику. Замѣтимъ къ тому-же, что такъ-какъ ребенокъ живетъ переходами отъ одного *инстинкта* (а не чего - либо прививаемаго извнѣ) къ другому, то нельзя дѣйствовать на этотъ инстинктъ ранѣе, чѣмъ онъ явится, т. е. ранѣе, чѣмъ ребенокъ начнетъ самостоятельно дѣйствовать подъ вліяніемъ этого инстинкта. Вотъ соображеніе, которое, казалось-бы, могло навести всякаго педагога на ту простую истину, что всякое постороннее вмѣшательство въ развитіе ребенка основанное только на абстрактной доктринѣ, есть чистѣйшій произволь.

Мы старались выяснитъ въ общихъ чертахъ наиболѣе рациональную точку зрѣнія на педагогику, — точку зрѣнія, открывающую обширное поле для новыхъ изслѣдованій, позволяющую примѣнить даже математическій методъ къ явленіямъ психической жизни ребенка и, что всего важнѣе, изгоняющую изъ педагогики всѣ сомнительные авторитеты, всякій произволь, всякое стремленіе замаскировать свое невѣжество или безсиліе отвлеченными умозрѣніями. Отчего-же, наконецъ, наши педагоги, такъ любящіе дѣтей, не покинутъ ради нихъ своихъ теплыхъ мѣстъ, насиженныхъ разными Гербартами, Бенеке и Фребелями, и не примутся за новое, быть можетъ, и трудное сначала, но спасительное дѣло

обновленія колеблющейся педагогики неизблемыми истинами естествознанія? Изумительно, съ какимъ олимпійскимъ спокойствіемъ наши официальные педагоги занимаются пустяками. Какъ торжественно, напр., г. Каптеревъ поучаетъ публику о фребелевской системѣ, а между тѣмъ этотъ величавый дидактъ не знаетъ азбуки естественныхъ наукъ, онъ не потрудился даже заглянуть въ элементарнѣйшіе учебники физиологіи, откуда-бы онъ узналъ, что всѣ эти фребелевскіе кунштюки, игры и институты, о которыхъ онъ разглагольствуетъ въ журналъ г. Мѣдника, суцій вздоръ.

Однако, покори́мся необходимости и вернемся снова къ Фребелю. Мы говорили о шарѣ, истекшемъ, такъ-сказать, изъ „сферического закона“. Возьмемъ второй даръ Фребеля — кубъ. Почему именно кубъ? Согласитесь, что кубъ вовсе не игрушка и не забава для дѣтей. Что это такое—это, право, трудно сказать. Мы думаемъ, что это просто желаніе возбудить у ребенка рефлексію, потому что, дѣйствительно, всѣ игры Фребеля рассчитаны на возбужденіе у дѣтей страшной, мертвенной рефлексіи, отъ которой и взрослому дѣлается тошно. Если отправляться отъ наблюденій надъ дѣтской жизнью, то никакъ нельзя выдумать такой игры. Но Фребель никогда не зналъ настоящихъ дѣтей, потому что у него были свои теоретическія, мертворожденные дѣти, выродившіяся изъ сферического закона и его мистической триады. Связь густой туманъ своей философіи онъ не видѣлъ жизни, и когда совершились у него первые философскіе роды, онъ окончательно пересталъ понимать дѣйствительность, онъ больше знать ничего не хотѣлъ и онъ серьезно сказалъ: „Теперь я могу умереть; идея найдена; остальное сдѣлають другіе“. А г. Каптеревъ утверждаетъ, что Фребель не философъ. Фребель, конечно, лучше г. Каптерева зналъ самого себя. Онъ отлично понималъ, что не пойдетъ дальше найденной имъ идеи, сколько-бы онъ ни жилъ на свѣтѣ и сколько-бы онъ ни мозолилъ себѣ глаза наблюденіями надъ дѣтьми. Какая это, однако, идея? Это все та-же нелѣпая триада, все тотъ-же рогатый сферическій законъ. Шаръ есть воплощеніе единства, кубъ — его противоположность. „Шаръ и кубъ относятся между собой, какъ единство и множество, какъ движеніе и покой“. Вотъ происхожденіе куба. Но, учить Фребель, ребенка нельзя оставлять долго подъ впечатлѣніемъ крайнихъ противоположностей, его юную душу нуж-



но успокоить золотой серединой, и къ двумъ законамъ Фребеля присоединяется новый—*законъ посредничества* (Vermittlungsgesetz). „Между двумя противоположно равными тѣлами должно быть какое-либо тѣло въ качествѣ посредника, которое соединило-бы единство въ своемъ круго-плоскостномъ элементѣ и множество въ своемъ прямо-плоскостномъ элементѣ. Этому удовлетворяетъ *цилиндръ*“. Это уже третья игра, а за ней тянется цѣлый рядъ игръ все въ той-же мертвящей философской послѣдовательности. Шаръ, кубъ, цилиндръ — три символа основныхъ идей; собственно дальше идти какъ-будто нельзя, да и некуда; и, казалось-бы, можно отпустить ребенка на волю и дать ему дѣйствительно поиграть, какъ слѣдуетъ. Но нѣтъ, позвольте, еще цѣпи философіи Фребеля натянуты твердо. Существуютъ три основныя идеи (единство, множество, посредничество), но нѣтъ еще сочетанія между ними. Каждая изъ этихъ основныхъ идей сама-по-себѣ есть цѣлое, и ребенокъ до сихъ поръ изучилъ три различныя цѣлостности. На основаніи *закона противоположности* (Gesetz des Gegensatzes) ребенокъ отъ цѣлостности долженъ перейти къ *цѣло-частичности* (Gesetz des Gliedganzen). Поэтому послѣдующіе дары Фребеля состоятъ изъ кубовъ, раздѣленныхъ на различныя части. Но и въ самомъ дѣленіи куба долженъ быть соблюденъ законъ полнаго единства. Игры Фребеля исходили отъ шара, символа „всесторонняго единства“, а теперь и цѣлый кубъ нужно сначала раздѣлить всесторонне, т. е. на 8 частей, и т. д., и т. д.

Я вижу, читатель, вашу кислую гримасу и бросаю философію Фребеля, сожалѣя искренно, что я въ настоящее время не въ педагогическомъ собраніи и не читаю рефератъ, гдѣ я перебралъ-бы, шагъ-за-шагомъ, всѣ дары Фребеля и доказалъ-бы г. Каптереву, что „дѣло, которое дѣлалъ Фребель“, задумано, рѣшено и выполнено его философскимъ кретинизмомъ. Философія Фребеля не только изобрѣтала новыя игры, но она передѣлывала на свой ладъ и старыя. Лишь только дѣти особенно увлекутся какой-нибудь игрой, Фребель тотчасъ впутывается, обрушивается на нее всѣмъ грузомъ своихъ умозрѣній и разстраиваетъ общее веселье. Онъ самъ откровенно говоритъ по поводу одной игры: „Такъ-какъ эта веселая игра всѣмъ нравится, то въ нее долженъ быть введенъ *порядокъ*“. Если г. Каптеревъ все-таки за-

мѣтитъ намъ, что значеніе Фребеля заключается не въ его философіи и играхъ, то въ чемъ-же? Въ дѣтскомъ саду? Но если изгнать изъ дѣтскаго сада всѣ игры Фребеля, съ его юродивыми пѣсенками, и перебросать за окно всѣ коробочки съ кубиками, и корзиночки съ бумажками, то вѣдь въ немъ останутся только голыя стѣны и песчаный полъ. Къ этому-ли сводится „міровое открытіе“ Фребеля? Относительно всей его практической дѣятельности можно сказать: да, къ этому.

Но въ дѣятельности Фребеля есть нѣчто и другое, что поважнѣе всѣхъ его игръ и умозрѣній. Близорукость ихъ безвредна, потому что видна издалека, но въ этой близорукости шевелится что-то хищническое и отталкивающее. Это — желаніе измѣять въ своихъ неуклюжихъ лапахъ нѣжный цвѣтокъ дѣтской свободы, это желѣзное упорство, съ какимъ этотъ самодовольный филистеръ шагаетъ по головамъ дѣтей и стремится накинуть узду порядка на свободную дѣтскую натуру и загнать ее на кордѣ до тѣхъ поръ, пока она не подчинится вполне волѣ своего хозяина. Это-то стремленіе разительно дѣйствуетъ на нашихъ педагоговъ, которые видятъ въ дѣтскомъ саду средство подчинить съ раннихъ поръ интелектъ ребенка контролю своей педагогической рутинны. Вотъ почему такъ прославляются дѣтскіе сады. Разъ мы уже дали понять, на основаніи нѣкоторыхъ научныхъ данныхъ, незаконность и противоестественность такой попытки. Постараемся выяснитъ нашу мысль и съ другой стороны.

Непримиримый антагонизмъ между семьей и школой сталъ избыткомъ мѣстомъ всѣхъ нашихъ педагогическихъ размышленій. Семья обвиняетъ школу, школа — семью. Семья не умѣетъ учить, школа не умѣетъ воспитывать. Семья ничего не смыслитъ въ педагогическихъ принципахъ, школа плететъ изъ этихъ принциповъ длинную борду, на которой она хочетъ дрессировать своихъ питомцевъ. Семья портитъ дѣтей безхарактерностью, школа насилуетъ ихъ твердостью своей дисциплины. Нужно признаться, конечно, что и семья, и школа стоятъ другъ друга. Но дѣло не въ этомъ. Практическая сторона вопроса заключается въ томъ, кто вредитъ больше. Что касается насъ, то мы глубоко убѣждены, что, какъ и всегда, вредитъ больше тотъ, кто сильнѣе.

Въ силу одного изъ самыхъ грубыхъ заблужденій, раздѣленіе

ныхъ почти всѣми нашими педагогами, образованіе характера отдѣляется отъ умственнаго развитія ребенка. Обыкновенно говорятъ: человѣкъ можетъ быть весьма развитымъ и въ то-же время безхарактернымъ, и наоборотъ. Такое соображеніе снимаетъ со школы всякую отвѣтственность за то, что она не воспитываетъ волю и характеръ.

Согласиться съ этимъ рѣшительно не позволяютъ ни основныя психологическія истины, ни все то, къ чему ведетъ сколько-нибудь внимательный анализъ школы. Что такое характеръ? Характеръ есть стремленіе проявлять внѣшнимъ образомъ свое самобытное содержаніе. Не внѣшнее проявленіе, не дѣло, будь оно самое лихорадочное, важно здѣсь, но внутренняя самобытность. Если человѣкъ энергически поклоняется модѣ, если жена смѣло отбрасываетъ въ сторону матеріальное положеніе своего супруга и разоряетъ его своимъ туалетомъ, чтобы походить на княгиню „Зизи“, то будетъ-ли здѣсь что-либо похожее на характеръ? Княгиня „Зизи“ выразила своимъ костюмомъ самобытную идею, но ея подражательница поступила какъ всѣ и потому у нея нѣтъ личной характеристики, нѣтъ характера. Есть много людей, которые съ неутомимымъ усердіемъ и въ мысляхъ, и на дѣлѣ изгибаются предъ общественными кумирами; есть люди, которые съ такой точностью копируютъ чужую честность, чужую смѣлость идей и поступковъ, что они всѣми признаются хозяевами самихъ себя. Но это психологическій обманъ. Всѣ эти люди обладаютъ воспримчивостью, иногда огненной, къ чужимъ характерамъ, но у нихъ нѣтъ своего характера, напротивъ; они—воплощеніе типической безхарактерности. Итакъ, внутренняя самобытность—вотъ душа характера. Для того, чтобы человѣкъ былъ человѣкомъ дѣла, онъ долженъ знать, что онъ будетъ дѣлать, ему нужна идея. Школа даетъ человѣку очень много идей, но потому именно, что она даетъ ихъ, а не берутся онѣ съ боя и путемъ самостоятельныхъ усилій, эти идеи ведутъ къ безхарактерности. Люди, привыкшіе со школьной скамьи ожидать, пока идея приготовится для нихъ, люди, никогда непредпринимавшіе самостоятельныхъ экскурсій въ ея сферу, которые никогда сами не пролагали себѣ дорогу среди густого лѣса сомнѣній къ свѣтящемуся вдали огоньку истины, у которыхъ никогда не за-

мирало дыханіе отъ сладкаго волненія и предчувствія близости свѣта,—эти жалкіе люди всегда будутъ лишены характера. По привычкѣ они всегда будутъ довольствоваться тѣмъ, что есть, и всегда будутъ лишь конировать чужіе мысли и поступки. По-этому неумѣлость ребенка стократъ хуже даромъ достающейся умѣлости, ибо первая способна порой вызвать въ душѣ борьбу сомнѣній, готовая-же умѣлость—это безчеловѣчная кастрація ума и сердца.

Какъ угодно, а семья, какова-бы она ни была, никогда не можетъ обезличить ребенка такъ, какъ утонченный деспотизмъ школы, и въ особенности современной, фребелевской школы, врывающейся въ колебель младенца и подстерегающей каждое его душевное движеніе. И въ семьѣ ребенокъ учится такъ-же, какъ и въ школѣ, но только онъ учится,—что всего дороже—по-своему, учится такъ, что его нельзя подстеречь самому опытному и вездѣсущему родительскому глазу. Въ этомъ отношеніи семья всегда слабѣе школы; ей недостаетъ послѣдовательности, системы, умѣнья.

Насъ и, я думаю, многихъ изъ нашихъ читателей всегда поражало то обстоятельство, что нерѣдко, несмотря на страшный семейный гнетъ, доходившій до азіятскаго варварства, люди изъ этой семьи являлись въ міръ съ непреклоннымъ характеромъ, съвозившимъ изъ всѣхъ движеній ихъ самобытной, рѣзко опредѣлившейся натуры. Явленіе это встрѣчается особенно часто въ нашемъ домостроѣ и составляетъ уже нѣсколько избытій сюжетъ нашихъ романовъ и бытовыхъ очерковъ. Съ перваго взгляда явленіе это парадоксально, но въ сущности оно понятно. Оно значитъ только то, что даже грубый деспотизмъ семьи лучше деликатной предупредительности педагогической системы. Невѣжественный деспотизмъ прежде всего непослѣдователенъ и потому онъ самъ первый зароняетъ въ душу сѣмена протеста, который всегда уничтожается школьной дресировкой. Суровый деспотизмъ не въ состояніи уловить своими грубыми руками тонкую нить психической индивидуальности ребенка, онъ бьетъ не въ то мѣсто, и въ результатъ выходитъ, что нетронутая индивидуальность продолжаетъ развиваться, но только еще интенсив-

нѣе, потому что она получаетъ въ глазахъ ребенка особенную важность.

Не случилось-ли вамъ также, читатель, встрѣчать противоположныхъ примѣровъ? Мальчикъ — любимецъ семьи, всѣ на него молятся, ему смотрять, что-называется, въ глаза, ему позволяютъ дѣлать все, что ему вздумается, его балуютъ и предупреждаютъ всѣ его капризы и прихоти. И вдругъ этотъ-то мальчикъ, достигнувъ зрѣлыхъ лѣтъ, оказывается дрянью во всѣхъ отношеніяхъ, существомъ совершенно безличнымъ и ни на что неспособной тряпкой. Этихъ примѣровъ еще больше, чѣмъ первыхъ. И это явленіе очень легко объясняется тѣмъ, что личность мальчика никогда не сталкивалась съ препятствіями, и, какъ все, что не упражняется, ослабѣваетъ и атрофируется до уничтоженія.

Стоитъ подумать надъ этими грустными явленіями нашей жизни. Со всѣхъ сторонъ раздаются жалобы на то, что у насъ нѣтъ активныхъ характеровъ. Это правда. Но ихъ еще будетъ меньше, они совершенно исчезнутъ, если воспитаніе окончательно попадетъ въ руки современной фребелевщины. Теперь для дѣтей остается хоть семья, гдѣ, по крайней мѣрѣ, до 7 лѣтъ ребенка не учатъ или гдѣ, другими словами, ребенокъ учится самъ, въ тиши своего развивающагося духа и въ незамѣтной для родительскаго ока формѣ, онъ учится самостоятельно мыслить (причемъ, конечно, не исключается необходимость поправокъ его мышленія, но *поправокъ*, а не предложенія готовыхъ идей) и потому создаетъ себѣ характеръ, вслѣдствіе-ли полного невмѣшательства родителей, вслѣдствіе-ли непослѣдовательнаго вмѣшательства или даже вслѣдствіе открытаго деспотизма. Это отсутствіе школьнаго надзора всегда тревожитъ лишь педагоговъ-рутинеровъ, и вотъ почему эти именно педагоги отстаиваютъ съ такимъ одушевленіемъ всякія системы и фребелевскую въ особенности. Воспитаніе, по ихъ мнѣнію, до сихъ поръ страдаетъ тѣмъ недостаткомъ, что дѣти до 7-лѣтняго возраста остаются безъ призора, въ невѣжественной и неумѣлой семьѣ. Господа, въ этомъ только заключается единственный противовѣсъ вредному вліянію вашей, или, лучше сказать, не вашей, а организуемой вами нѣмецкой школы, и вотъ почему дѣтскіе сады, стремящіеся урвать отъ ребенка хоть нѣсколько часовъ семейной жизни и, мало того, совсѣмъ

прибрать его къ своимъ рукамъ, абсолютно вредны и гибельны для будущаго нашихъ подрастающихъ поколѣній. Въ самомъ дѣлѣ, что-же можетъ быть хуже этой пытки ума и души, этого сжиганія характеровъ и воли на медленномъ огнѣ педагогики, этой лавочки, куда родители зазываются крикомъ: „къ намъ пожалуйте, къ намъ, у насъ есть для вашихъ дѣтей готовныя чувства, готовныя инстинкты, готовныя идеи; мы избавимъ отъ труда не только васъ, но и вашихъ дѣтей, ибо на мягкомъ ложѣ готовыхъ истинъ они будутъ только отдыхать и пребывать въ совершенномъ спокойствіи“? Однако, сами что-же будутъ дѣлать эти дѣти? Они ничего не будутъ дѣлать. Видали-ли вы, читатель, дѣтей, которыя, будучи 3 лѣтъ отъ роду, знали анатомію и физиологію, а въ 9 лѣтъ смотрѣли идиотами? Мы видѣли одного изъ такихъ дѣтей, и его вялая, полузадумчивая, полубезсмысленная физиономія уже носила слѣды душевной и умственной кастраціи. Характеристическій видъ этого мальчика лучше всего можетъ уяснить все безчеловѣчіе преждевременнаго вмѣшательства въ умственное развитіе ребенка.

Закончимъ нашу замѣтку общимъ взглядомъ на фребелевскую систему. Не ради противорѣчія г. Каптереву, но изъ глубокаго убѣжденія мы должны и здѣсь повторить, что фребелевская система есть продуктъ чисто-нѣмецкаго духа и достойное созданіе націи, которая удивила міръ своей философіей и филистерствомъ; самый-же гнилой плодъ, принесенный ею, это — фребелевская система. Фребелевская система — это высшее выраженіе эгоизма взрослого, стремленія воспитать ребенка для самого себя, для существующаго безличія, это желаніе увѣковѣчить свое филистерское прозябаніе въ потомствѣ. „Все предупредить и все приготовить для ребенка, чтобы онъ самъ не взялъ чего-либо“ — вотъ девизъ фребелевской системы. Истинное воспитаніе задается противоположными цѣлями. Во-первыхъ, оно имѣетъ въ виду общечеловѣческое воспитаніе ребенка или, иначе, психофизиологическое развитіе его. А, во-вторыхъ, — и это самое главное — оно стремится — не будемъ говорить сдѣлать изъ ребенка человѣка, запечатлѣть въ его душѣ вѣчныя идеалы правды, истины и добра, какъ это всегда обѣщаетъ идеальво-эгоистическая педагогика, — но просто облегчить ребенку переходъ изъ нашего собственнаго по-

колѣнія къ поколѣнію слѣдующему. Для этого нужно только ослабить въ себѣ своекорыстную любовь къ настоящему и научиться больше думать о счастья грядущаго, чѣмъ о себѣ. Научимся уважать и не страшиться идеаловъ, которые идутъ на смѣну нашимъ, и безбоязненно поведемъ къ нимъ на-встрѣчу своихъ дѣтей. Тогда я протяну вамъ, читатель, руку и скажу вамъ: „Придите! будемъ жить для дѣтей!“

В. Ленскій.

# ПАРИЖСКІЯ ПИСЬМА.

1 ноября 1875 г.

Недавно почти во всѣхъ здѣшнихъ газетахъ была разсказана слѣдующая исторія: одинъ молодой человѣкъ, приващикъ въ модномъ магазинѣ Латинскаго квартала, увѣрилъ молодую дѣвушку, страстно его полюбившую, что онъ отвѣчаетъ ей тѣмъ-же; между ними возникла связь, результатомъ которой было рожденіе ребенка. Отецъ соблазненной дѣвушки предложилъ приващику жениться на ней и узаконить прижитое дитя; соблазнитель отказался исполнить эту свою обязанность; раздраженный отецъ ударилъ его ножомъ и нанесъ такую рану, отъ которой молодой человѣкъ, вѣроятно, умретъ, если уже не умеръ.

Извѣстный французскій писатель и академикъ Александръ Дюма воспользовался этимъ происшествіемъ и высказалъ въ письмѣ къ редактору газеты „Opinion Nationale“ нѣсколько оригинальныхъ мыслей. Письмо его читалось съ жадностью, такъ что номеръ газеты, гдѣ оно было напечатано, раскупался на расхватъ, и его пришлось не только перепечатать, но и самое письмо передать въ другую газету—„Courrier des Tribunaux“, для напечатанія за счетъ „Opinion Nationale“.

Въ письмѣ Дюма не мало трескучихъ фразъ, какъ и во всѣхъ его произведеніяхъ, въ которыхъ онъ проводитъ излюбленныя имъ идеи, видѣ театральныхъ его пьесъ, зрѣло обдуманыхъ и отдѣланныхъ до мелочей. Письмо видимо написано съ плеча, въ чемъ, впрочемъ, авторъ и самъ сознается, заключая его просьбою, обращенною къ редактору газеты, перечитать печатаемыя строки и исправить невольныя ошибки. Но въ одномъ нельзя отка-



зять Дюма, — этому представителю французскаго литературнаго жанра, — въ томъ, что всякому вопросу, котораго онъ касается, онъ умѣетъ придать особый характеръ страстности и живого, горячаго интереса. Онъ приводитъ читающую его публику въ какую-то лихорадочную дрожь, и увлекаетъ за собою въ густыя дебри возбуждаемыхъ имъ вопросовъ всякаго склоннаго къ обсужденію серьезныхъ предметовъ человѣка, даже изъ числа такихъ, которые относятся къ нему безъ всякаго сочувствія.

Свое письмо Дюма начинаетъ категорическимъ заявленіемъ, что между двумя молодыми людьми не можетъ быть дѣйствительнаго любовнаго сближенія внѣ брака. „Тутъ дѣйствуютъ молодость, горячность темперамента, любопытство, скука, страсть къ развлеченіямъ, распутство, наконецъ, чистая случайность, а въ особенности, въ качествѣ самаго страшнаго вспомогательнаго для мужчинъ средства—его безнаказанность! Что касается любви, это чувство способно принять только одну форму: человѣкъ женится, если любимая женщина свободна, онъ относится къ ней почтительно, если она уже связана. Всякое другое отношеніе мужчины къ женщинѣ, внѣ указанныхъ отношеній, не можетъ называться любовью!“

Прекрасно! Согласимся съ такимъ опредѣленіемъ слова *любовь*! Но затѣмъ изъ такого опредѣленія тотчасъ-же является новое недоразумѣніе. По опредѣленію Дюма, любовью должно называться желаніе обвѣнчаться законнымъ бракомъ съ любимой особою. А какимъ-же словомъ обозначить естественное влеченіе, чувствуемое другъ къ другу двумя личностями различнаго пола? Придется выдумать новое слово. Слѣдовательно, въ сущности ничего не измѣнится, словарь только обогатится новымъ выраженіемъ.

Но пойдѣмъ далѣе. Дюма замѣчаетъ, что событія, подобныя подавшему ему поводъ написать разбираемое письмо, случилось-бы несравненно рѣже, если-бы воспитаніе дѣвушекъ не обусловливалось существующимъ обычаемъ скрывать отъ нихъ самымъ старательнымъ образомъ все, что можетъ касаться вопроса объ отношеніяхъ, установленныхъ природою между различными полами, и если-бы тѣмъ самымъ дѣвушка не были поставлены въ совершенную невозможность защищаться отъ внезапныхъ нападѣній мужчины.

„У насъ существуетъ престранное воззрѣніе, пишетъ Дюма, —

будто женская добродѣтель только тѣмъ и спасается, что ей не открываютъ тайнъ природы. Но такое невѣденіе приводитъ только къ тому, что любой Трубадуръ, предвидя, что дочери Прюдома <sup>ничего</sup> неизвѣстно, соблазняетъ эту дѣвушку, а Прюдомъ, если только онъ обладаетъ большимъ запасомъ энергіи, чѣмъ предусмотрительности, убиваетъ соблазнителя. Было-бы несравненно лучше, если-бы дѣвушка хорошо знала, чего добивается Трубадуръ своими увлекательными рѣчами, и съ первыхъ-же словъ сказала ему: „Знаю, милый мой, въ чемъ тутъ дѣло! Напрасно трудитесь, проходите путь-дорогою!“ Правда, въ такомъ случаѣ она знала-бы такія вещи, о которыхъ принято не говорить молодой дѣвушкѣ, но, съ другой стороны, она также знала-бы и то, чего дѣвушкѣ не слѣдуетъ дѣлать!“

Съ этими доводами Дюма, конечно, нельзя не согласиться. Дѣйствительно, въ нашъ странный вѣкъ, представляющій столь поразительную смѣсь щепетильнаго лицемерія съ разнузданностью нравовъ, только старательно скрываемою, — родители какъ-будто ставятъ себѣ задачу, <sup>подъ</sup> предлогомъ сохраненія дѣвственной чистоты, доводить своихъ дочерей въ нѣкоторомъ смыслѣ до чистаго идиотизма. Попадетъ дѣвушка на человѣка, который не пожелаетъ воспользоваться ея наивностію, въ результатѣ является законный бракъ. Но если судьба столкнетъ ее съ какимъ-нибудь донжуаномъ въ блистательномъ мундирѣ или ловеласомъ, обладающимъ гостиннодворскою утонченностію, — и дѣвушка легко обращается въ навсегда потерянную женщину.

Тѣмъ не менѣе предубѣжденіе въ этомъ отношеніи такъ сильно укоренилось въ нравахъ, что ни Дюма, ни самая остроумная журналистика едва-ли въ состояніи скоро повалить рутину.

Чувствуя свою слабость въ отношеніи достиженія результатовъ на этомъ пути, Дюма обращается въ другую сторону и ставитъ себѣ вопросъ: существуетъ-ли какое-нибудь средство для воспрепятствованія повторяющимся ежедневно примѣрамъ оставленія соблазненныхъ дѣвушекъ ихъ любовниками и связанныхъ съ подобною обстановкою скандаловъ и преступленій?

Подобное средство существуетъ, отвѣчаетъ Дюма, и доводы его по этому предмету на-столько оригинальны, что я считаю нужнымъ привести ихъ дословно.

„Обязанъ-ли законъ охранять всякую собственность и всякій капиталъ?“ спрашиваетъ Дюма и отвѣчаетъ:

„Да, обязанъ“.

„Честь дѣвушки составляетъ-ли ея собственность, спрашиваетъ онъ далѣе,—и дѣвственность ея можетъ-ли считаться ея капиталомъ?“

„Да, отвѣчаетъ онъ опять,—и притомъ собственность эта такого свойства и капиталъ такой цѣнности, что когда собственность оказывается отчужденною или похищенною, когда капиталъ будетъ растроченъ и уничтоженъ,—то рѣшительно ничто въ мірѣ не можетъ замѣнить подобной потери.

„Разъ, что дочь наша лишилась этой собственности и этого капитала, мы не имѣемъ болѣе права предложить достойному уваженія человѣку жениться на ней, какъ-бы велика ни была сумма матеріальной собственности или звонкаго капитала, которую мы намѣрены были-бы дать ей въ приданое: цѣнность подобной особы не имѣетъ болѣе текущаго курса ни въ мірѣ нравственномъ, ни въ мірѣ общественномъ! Если появится охотникъ на подобный товаръ, мы обязаны открыто исповѣдать ему всё дурныя стороны той рѣшимости, на которую онъ отваживается. Если-же мы скроемъ истину подъ предлогомъ охраненія нашей семейной чести. если мы, такъ-сказать, представимъ фальшивые документы на принадлежность собственности или захотимъ выплатить капиталъ фальшивою монетою, то насъ, пожалуй, сочтутъ за людей очень ловкихъ, но ловкихъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ выраженіе это примѣняется къ поддѣльвателямъ кредитныхъ бумажекъ или къ ворамъ, когда подобные люди найдутъ средство скрыться отъ полицейскаго преслѣдованія.

„Какъ только обманутый зять узнаетъ истину и увидитъ, что мы заставили его заплатить за грѣхи его предшественника, тогда нечего удивляться даже самымъ рѣзкимъ дѣйствіямъ съ его стороны, тѣмъ болѣе, что никакихъ законныхъ средствъ отомстить намъ онъ подъ рукою не имѣетъ; выгнать ли онъ дочь нашу отъ себя или расправится съ нами палочными ударами,—мы сами вызвали такой исходъ. Однимъ словомъ, разъ что дѣвушка лишена своего капитала внѣ брака, на ея долю остается или вѣчное поканіе и отшельническая жизнь, если она сохранила понятіе о

честности, или хитрость, обманъ, развратъ и тому подобное, если она этого понятія лишилась. За нею остается еще право надѣяться, что найдется человѣкъ, который покроетъ все ея грѣхи своимъ именемъ изъ великодушія или изъ расчета, но и подобное соображеніе можетъ служить къ ущербу одного или нѣсколькихъ изъ дѣйствующихъ лицъ "...

„И что-же? восклицаетъ далѣе Дюма, —этотъ цѣнный капиталъ, который не можетъ быть замѣненъ ничѣмъ другимъ, но замѣняетъ собою многія другія цѣнности, который столь дорогъ всеѣмъ матерямъ, отцамъ, дѣвцамъ и мужьямъ, что изъ-за утраты его люди приходятъ въ отчаяніе, стыдятся жизни, дерутся, убиваютъ другъ друга и геройски умираютъ, —этотъ капиталъ не пользуется со стороны закона никакимъ покровительствомъ: законодательство предоставляетъ его на произволъ перваго попавшагося негодяя и отвѣчаетъ равнодушіемъ и невниманіемъ на всякую жалобу о его расхищеніи! Законъ не придаетъ этому капиталу даже той цѣнности, которую онъ признаетъ за двадцати-франковою монетою“.

Все эти разсужденія весьма краснорѣчивы, но, какъ мнѣ кажется, основаны на смѣшеніи понятій. Сравненіе, приводимое авторомъ, неподходящее, и вотъ почему вопросъ далеко не можетъ быть такъ просто разрѣшенъ, какъ это кажется Дюма.

Конкубинатъ, да и вообще всякая незаконная, преходящая связь представляетъ по существу своему товарищество, ассоціацію двухъ лицъ, основанную на свободномъ договорѣ, въ силу котораго каждая изъ сторонъ дѣлаетъ извѣстный взносъ и получаетъ извѣстную выгоду. Въ законномъ бракѣ то-же товарищество является уже освященнымъ общественными постановленіями и имѣющимъ цѣлью постоянную совмѣстную жизнь, сопряженную съ рожденіемъ и воспитаніемъ дѣтей. Въ конкубинатѣ санкции нѣтъ. Вступающія въ него лица очень хорошо знаютъ, что ассоціація ихъ ни на чемъ другомъ не основана, какъ на доброй волѣ контрагующихъ сторонъ. Каждая изъ этихъ сторонъ имѣетъ въ виду извѣстный объѣмъ, отъ котораго она ожидаетъ извѣстныхъ нравственныхъ или матеріальныхъ выгодъ и удовольствій. Если затѣмъ одинъ изъ контрагентовъ окажется обманутымъ и не найдетъ тѣхъ результатовъ, которыхъ добивался, то долженъ пенять самъ на себя: защиты въ писаномъ законѣ онъ найти себѣ не можетъ.

Напрасно женщина, выставляя предлогомъ, что она существо слабое или что у нея не хватило силъ къ сопротивленію, станетъ пытаться приковать къ себѣ человѣка внѣ условій заключеннаго контракта. Какія-бы побудительныя причины она ни приводила, съ юридической точки зрѣнія онѣ не будутъ признаны основательными. И если разъ допустить, что женщина имѣетъ право ссылаться на свою слабость, придется придти логическимъ путемъ къ тому, что она никакихъ обязательствъ принимать на себя не можетъ и должна оставаться подъ постоянной опекой мужчины.

Дюма говорить, между прочимъ, что любовь есть право всякаго человѣка, что пользованіе этимъ правомъ составляетъ естественную потребность, подобную потребности ѣсть и пить. Последнее опредѣленіе вѣрно, но первое неправильно. Всякое право признается за человѣкомъ закономъ: такъ, напримѣръ, право вступитъ въ бракъ, право завѣщать имущество являются послѣдствіемъ положительнаго законодательства. Въ томъ-то и дѣло, что желаніе ѣсть и пить не есть право, а потребность. То-же самое слѣдуетъ сказать и о любви. Человѣкъ имѣетъ право ѣсть, когда у него есть кусокъ хлѣба; онъ имѣетъ право любить, когда условится о томъ съ подлежащимъ субъектомъ женскаго пола. Но нельзя у него отнять права и умереть отъ голода или отъ неудачной любви! Всякій, кто хочетъ найти удовлетвореніе подобной потребности, долженъ обращаться не къ закону, а къ труду; въ помощь ему можетъ придти общественная благотворительность или дружеское содѣйствіе сочувствующихъ ему лицъ, а не законная власть.

Вотъ тѣ соображенія, которыми разбиваются разсужденія Дюма. Онъ напрасно берется за разрѣшеніе такихъ вопросовъ, которые ему не подь силу. Вообще, когда Дюма, при всей его талантливости, пускается въ разрѣшеніе социальныхъ вопросовъ, отъ него не слѣдуетъ ожидать ни точности выраженій, ни вѣрности выводовъ. Стилъ его, сдержанный и точный въ его драматическихъ произведеніяхъ, становится распущеннымъ, многословнымъ, и основная мысль зачастую остается невыясненной и поражаетъ парадоксальностью.

Дѣятельность Дюма на этомъ поприщѣ замѣчательна не тѣмъ, чтобы онъ выяснялъ вопросъ или облегчалъ разрѣшеніе его; нѣтъ, она замѣчательна тѣмъ особеннымъ, специальнымъ умѣньемъ Дюма

привлечь къ затрогиваемой имъ темѣ общественное вниманіе, сгруппировать вокругъ себя толпу какъ защитниковъ, такъ и противниковъ своей аргументаціи, — однимъ словомъ, придать вопросу его жизненный нервъ, сдѣлать его вопросомъ дня и моды.

Популярность имени Дюма играетъ, конечно, въ этомъ случаѣ значительную роль, но нельзя не отдать справедливости и той силѣ движенія идей и выраженія ихъ, которою отличается въ высшей степени эластическій талантъ Дюма. Онъ невольно увлекаетъ читателя неожиданными и новыми оборотами рѣчи, такими мѣткими остротами, которыя запечатлѣваются въ умѣ и переходятъ чуть нѣ въ пословицы. Такую живучесть рѣчи можно объяснить только живописностью ея и яркимъ воспроизведеніемъ большихъ мѣстъ современныхъ мѣстныхъ нравовъ. Самая смѣлость выраженій и рѣзкость очертацій служатъ для него средствомъ оживить вопросъ, возбудить любопытство и привлечь къ себѣ общее вниманіе. Ну хоть-бы въ настоящемъ случаѣ: сколько разъ затрогивался вопросъ, котораго теперь коснулся Дюма въ своемъ письмѣ, и общество всегда относилось къ нему вяло и равнодушно; но вотъ заговорилъ Дюма на ту-же тему — и впродолженіи двухъ недѣль только и рѣчи во всѣхъ салонахъ и періодическихъ изданіяхъ, что объ его письмѣ и его пикантномъ содержаніи. Сколько карикатуръ появилось съ надписью: *дѣвственность — капиталъ!*

Въ этомъ простомъ, коротенькомъ и общественномъ афоризмѣ, по видимому, нѣтъ ничего новаго и возбуждающаго нервы публики; въ самомъ дѣлѣ, не все-ли равно обществу: составляетъ-ли дѣвственность капиталъ или нѣтъ? Какое дѣло до этого самодовольному биржевому аферисту, бульварному *petit-cové*, салонному жуиру и той массѣ облѣпившихся буржуа, которыхъ можетъ разбудить отъ ихъ апатической дремоты развѣ второе лиссабонское землетрясеніе, — какое имъ дѣло до того, о чемъ пишетъ Дюма? А между тѣмъ, благодаря его смѣлымъ приемамъ и искусству дѣйствовать на нервную натуру парижской публики, благодаря тѣмъ ударамъ, которые онъ отпускаетъ направо и налево, онъ поднялъ на ноги всю праздную толпу, заставилъ ее задуматься и заговорить, т. е. достичь именно той цѣли, на которую онъ рассчитывалъ. Приподнявъ немножко завѣсу, закрывавшую цѣлый омутъ грязнаго разврата, онъ вско-

лыхаль этотъ омутъ и, указавъ на него, торжественно произнесъ: „Смотрите! вотъ онъ — этотъ омутъ, который незамѣтно затягиваетъ насъ и который мы официально называемъ „l'ordre moral“. Основная мысль Дюма заключается въ томъ, что похищеніе дѣвственности составляетъ со стороны похитителя не только безнравственный, но и отвратительный поступокъ, что нравы нашего вѣка слишкомъ снисходительны къ такому преступленію, и что общество не можетъ и не должно закрывать глаза на эту разъѣдающую язву. Смотрите, говоритъ онъ, — на эту массу незаконныхъ рожденій, на этихъ бѣдныхъ дѣтей, которыя не знаютъ ни отца, ни матери; на этихъ холодныхъ и бездушныхъ развратниковъ, которые, по русской пословицѣ, любятъ кататься, но не любятъ саночки возить... И вотъ самыя равнодушныя и зачерствѣлыя личности должны были сознаться, что въ нравахъ современнаго общества, а въ особенности парижскаго, вопросъ стоитъ неправильно.

На это-то ненормальное положеніе и указываетъ Дюма. Онъ ставитъ его въ упрекъ какъ равнодушію общественнаго мнѣнія, такъ и положительнаго закона. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что по существу дѣла онъ правъ, но предлагаемыя имъ мѣропріятія выражены въ такомъ видѣ, что я считаю за лучшее передать ихъ въ буквальный переводъ.

„Если вы желаете, чтобы въ обществѣ число соблазнительей, пользующихся случаемъ, чтобы лишить женщину ея чести, было не болѣе числа тѣхъ воровъ, которые похищаютъ насущный кусокъ хлѣба, въ которомъ они нуждаются, то добейтесь отъ законодательства изданія слѣдующаго положенія:

„Дѣвственность есть капиталъ.

„Всякій, успѣвшій воспользоваться этимъ капиталомъ, помимо брака, въ случаѣ иска со стороны потерпѣвшей дѣвицы или ея родителей и представленія ими надлежащихъ доказательствъ, имѣетъ быть приговоренъ къ уплатѣ убытковъ, которые, смотря по состоянію виновнаго, могутъ быть опредѣлены суммою отъ десяти до ста тысячъ франковъ.

„Если дѣвушка, вовлеченная въ незаконную связь, родитъ ребенка, то ему должно быть присвоено имя отца, который, сверхъ того, будетъ обязанъ обезпечить воспитаніе его суммою, равною присужденной въ пользу матери.

„Если виновный окажется неимѣющимъ никакихъ средствъ къ денежному вознагражденію матери и ребенка, то онъ будетъ приговоренъ къ тюремному заключенію до десяти лѣтъ, и ни въ какомъ случаѣ не менѣе, какъ на два года.

„Дѣвица, которая будетъ уличена въ увлеченіи мужчины, противъ котораго начатъ искъ, въ видахъ спекуляціи, или-же въ подачѣ неосновательной жалобы, будетъ приговорена къ тюремному заключенію на срокъ отъ двухъ до пяти лѣтъ.

„Родители, потакавшіе подобному преступленію, а также и всѣ тѣ, кто содѣйствовалъ его совершенію, подлежатъ тому-же наказанію.

„Вы увидите, заключаетъ Дюма,—какъ эти нѣсколько строкъ, будучи помѣщены въ дѣйствующемъ законѣ, упростятъ существующій порядокъ вещей“.

Упрощеніе это, однакожь, не такъ легко, какъ это кажется Дюма. Вопросъ о рожденіи дитяти отъ того или другого отца далеко не такъ просто разрѣшается на практикѣ: обыкновенно оно оказывается дѣломъ темнымъ и сомнительнымъ. Самая трудность въ разрѣшеніи этого вопроса и привела законодательства къ тѣмъ рѣзкимъ колебаніямъ, которыя такъ замѣтны въ нихъ.

Тѣмъ не менѣе вопросъ, затронутый Дюма, на-столько заслуживаетъ вниманія, и притомъ не только во Франціи, но и въ другихъ цивилизованныхъ странахъ, что интересно было-бы послушать мнѣніе тѣхъ компетентныхъ лицъ, которымъ рано или поздно придется разрубить этотъ новый гордіевъ узелъ.

Дюма кончаетъ письмо страннымъ и фантастическимъ предложеніемъ, о которомъ распространяться едва-ли нужно. Съ той минуты, пишетъ онъ,—какъ законъ не предписываетъ отцу обязанности вскормить и воспитать свое дитя,—съ этой минуты законодательство обязано провозгласить, что рожденіе ребенка внѣ брака не заключаетъ въ себѣ ничего противозаконнаго и ненормальнаго. Если только выскажется законъ прямо и откровенно въ этомъ смыслѣ, тогда мужчинамъ не будетъ надобности бросать на произволъ своихъ дѣтей, а женщинамъ не придется убивать изъ-за этого и себя, и несчастныхъ дѣтей своихъ. „Есть народная молва, что дѣти, рожденные отъ любви, всегда отличаются умомъ и красотою; и это неудивительно, потому что они — плодъ страстной молодости, энергіи, и, наконецъ, взаимнаго сочувствія, вполне



естественнаго и добровольнаго. Какъ-же можетъ законодательство этихъ-то именно дѣтей ставить въ положеніе безпомощное, представляя на ихъ долю лишь одно невѣжество, порокъ и смерть?"

Въ заключеніе Дюма объясняетъ, что, выходя съ подобнымъ предложеніемъ на общественную арену, онъ, вѣроятно, прослыветъ или съумасшедшимъ, или человѣкомъ безнравственнымъ; но онъ предупреждаетъ читателя, во-первыхъ, что къ такому о себѣ мнѣнію останется совершенно равнодушнѣе, а, во-вторыхъ, онъ терпѣливо будетъ ожидать, не предложитъ-ли кто лучшаго выхода изъ этой страшной соціальной неурядицы.

Ожидать такого предложенія готовъ, вмѣстѣ съ Дюма, и я, пишущій эти строки. Но боюсь, что намъ придется долго ждать у моря погоды.

13 ноября 1875 г.

Въ числѣ многихъ театральныхъ залъ, въ которыхъ развлекается эlegantная парижская публика въ длинные зимніе вечера, есть такъ-называемый театръ Вантадуръ, посвященный представленіямъ преимущественно на иностранныхъ языкахъ. Послѣ парадныхъ представленій теперь нѣсколько устарѣвшей уже итальянской оперы, славившейся во время оно именами Рубини и Малибранъ, Маріо и Гризи, на той-же сценѣ парижскіе жители видѣли англійскія представленія, затѣмъ отечественную оперу и, наконецъ, русскую труппу, привезенную г. Танѣвымъ, о которой мы въ свое время сообщили читателямъ „Дѣла“. Тутъ-же являлась втеченіи трехъ сезоновъ и знаменитая Ристори, затѣмъвавшая блескомъ своего таланта воспоминанія о покойной любимицѣ Рапелли. Въ послѣднее время на сценѣ этой опять зазвучалъ итальянскій языкъ, столь пріятно ласкающій ухо слушателя, даже незнакомаго съ нимъ, въ лицѣ моднаго трагика Эрнесто *Росси*. Хотя парижское общество далеко еще не въ полномъ сборѣ послѣ осеннихъ каникулъ, но притокъ публики на представленія замѣчательнаго трагика громадный, хотя *Росси* является передъ парижской публикой уже не въ первый разъ. Дѣтъ десять тому назадъ онъ сопровождалъ Ристори, и тогда уже былъ замѣченъ здѣсь, какъ человѣкъ, обладающій замѣчательнымъ драматическимъ талантомъ. Но это были только первые опыты дѣятельности трагика; по сло-

вамъ очевидцевъ, настоящая игра Росси не имѣетъ и сравненія съ тою, которая внушена ему была въ юности вдохновенною актрисой.

Росси дебютировалъ въ роли Отелло. Въ этой роли я видѣлъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ Айра Ольриджа, пользовавшагося не меньшею репутаціею. Но Ольриджъ, сколько мнѣ помнится, старался выставить только внѣшній обликъ, только созданный преданіемъ характеръ Отелло, тогда какъ Росси проникаетъ въ самыя глубокіе изгибы жестокой и звѣрской души мавра. Приемы Росси просты, движенія скромны, — а это у итальянца должно быть признано особеннымъ достоинствомъ, — фізіономія его чрезвычайно выразительна, наконецъ, голосъ, измѣняющійся, смотря по духу рѣчи, отличается гибкостью, твердостью, проникательностью и поразительною звучностію.

Длинный разговоръ полководца передъ венеціанскимъ сенатомъ былъ произнесенъ съ замѣчательною ясностію и по тону изобличалъ полное сознаніе со стороны рассказчика дѣйствительнаго своего достоинства. Зритель такъ и чувствовалъ, что передъ нимъ великій мастеръ своего дѣла, дѣйствительный трагикъ, къ которому вполне примѣняется итальянское выраженіе „di primo cag-tello“.

Нѣжность Отелло въ сценахъ съ Дездемоной, рѣчь, которая сравнивается Шекспиромъ съ бурей, возбуждаемой любовью, переданы Росси превосходно. Съ замѣчательною тонкостью выполненъ имъ также переходъ къ сомнѣнію и чувству ревности, внушаемому ему „честнымъ Яго“. Но вся зала трепещетъ, когда, въ принадлежъ ярости, мавръ бросается на того-же Яго, душитъ его за горло, сбиваетъ съ ногъ и произноситъ слѣдующія слова:

— Если ты рѣшился ее оклеветать, а во мнѣ возбудить подобное подозрѣніе, то ты не посмѣешь никогда болѣе обратиться съ молитвою къ Богу, ни почувствовать угрызения совѣсти; увеличивай на душѣ своей преступленіе за преступленіемъ; все, что ты ни сдѣлаешь, будетъ наводить ужасъ на силы небесныя и страхъ на міръ земной; потому-то всѣ дѣйствія твои будутъ угублять только тяжесть твоего проклятія.

Сцена при подобной игрѣ выходитъ дѣйствительно страшная, и впечатлѣніе только усиливается въ слѣдующемъ актѣ, когда

разъяренный ревнивецъ является въ спальню къ женѣ. Знаменитое восклицаніе мавра, когда онъ узнаетъ, уже по смерти Дездемоны, о предательствѣ Яго: — Неужели небо лишилось грома! было произнесено такимъ голосомъ, который электрическимъ токомъ пробѣжалъ по всему театру. Зада чувствовала, что эти грома, въ недостаткѣ которыхъ Отелло упрекаетъ небо, присущи ему самому, силѣ его игры и громадности его драматическаго таланта. Впечатлѣніе, произведенное на публику, хотя и не вполне понимавшую итальянскій языкъ, на которомъ давалась пьеса, было такъ сильно, что нѣкоторымъ изъ зрителей, по собственному сознанію, всю ночь потомъ грезился страшный мавръ.

Парижская фельетонная пресса—эта неумолкаемая сплетница, эта уличная трибуна, готовая къ услугамъ каждаго литературнаго цыгана, обо всемъ трактующая и надъ всѣмъ произносящая свой приговоръ, не обошла молчаніемъ и итальянскаго трагика. Она упрекнула его въ манерности, не сумѣвъ отличить простой экспрессіи и разнообразія игры отъ обыкновенной ходульности французскихъ классическихъ актеровъ. Далѣе, она выразила сомнѣніе, что Росси, истративъ всю силу своего таланта на замѣчательное воспроизведеніе такого типа, какъ венеціанскій мавръ, оборвется на другихъ пьесахъ. Сомнѣнія эти длились, однакожь, недолго, вскорѣ за тѣмъ поставили на сцену Гамлета, котораго исполнилъ Росси такъ-же художественно и сознательно, какъ и Отелло.

Читателю, вѣроятно, извѣстно то рѣзкое противорѣчіе, которое существуетъ между философскими воззрѣніями автора трагедіи, проводимыми въ монологахъ героя, и нѣкоторыми сторонами драматическаго хода пьесы. Появленія убитаго короля, требующаго отъ сына отмщенія, жалобы его на испытываемыя страданія и настойчивость тѣхъ общечеловѣческихъ чувствъ, которыя высказываются этою загробною тѣнью, ненавидящею своего убійцу и продолжающею питать нѣжныя чувства къ виновной королевѣ,—все это далеко не сходится со смысломъ и тенденціями извѣстнаго монолога:

— Быть или не быть?

Это противорѣчіе служитъ главнымъ доводомъ для тѣхъ лицъ, которыя ставятъ Гамлета личностію, дѣйствующею въ полномъ сознаніи, подъ влияніемъ лишь напускнаго, притворнаго помѣшательства. Русскимъ читателямъ, вѣроятно, извѣстно, что ана-

лизъ этого психическаго вопроса подалъ поводъ въ цѣлой спеціальной литературѣ. На тему: дѣйствительно-ли Гамлетъ дѣйствуетъ подъ вліяніемъ умственнаго расстройства или онъ такимъ только кажется?—на эту тему написанъ цѣлый рядъ сочиненій, трактующихъ очень подробно.

На мой взглядъ вопросъ этотъ не нуждается въ подробномъ разборѣ. Въ трагедіи прямо сказано, что Гамлетъ притворяется сумасшедшимъ. Не проще-ли прямо повѣрить автору на-слово?

Если-бы Гамлетъ представлялъ собою единственное лицо, которому грезится тѣнь покойнаго короля, то, пожалуй, фактъ этотъ можно было-бы принять за результатъ галлюцинаціи. Подобное появленіе призрака и впечатлѣніе, имъ производимое, доказывало-бы, что умственные органы принца не совсѣмъ въ порядкѣ. Но не онъ одинъ видитъ призракъ короля: его видитъ Горацио и въ свою очередь убѣждается въ справедливости явленія, и только вслѣдствіе его настояній Гамлетъ рѣшается придти на мѣсто явленія и вступить въ сношенія съ призракомъ отца. Если признавать все это послѣдствіемъ галлюцинаціи, то помѣшаннымъ окажется не одинъ Гамлетъ, а цѣлый рядъ дѣйствующихъ лицъ. Не много-ли будетъ?

Далѣе, въ сценѣ съ королевой, тѣнь отца вновь появляется Гамлету. Онъ вступаетъ съ нею въ разговоръ, что подаетъ поводъ королевѣ-матери сказать:

— Увы, онъ сума сошелъ! Тѣнь эта просто бредъ твоего воображенія, прибавляетъ она.

— Бредъ! восклицаетъ на это Гамлетъ.— Но пощупайте пульсъ мой и убѣдитесь, что онъ бьется такъ-же правильно и нормально, какъ вашъ собственный. Нѣтъ, матушка, выкиньте изъ головы вашей преслѣдующее васъ мнѣніе, что тотъ фактъ, о которомъ я говорю вамъ, есть результатъ моего разстроеннаго воображенія, а не вашего собственного преступленія.

Все это не похоже на рѣчи человѣка помѣшаннаго. Гамлетъ, по моему мнѣнію, является просто скептикомъ, невѣріе котораго не даетъ себя поколебать съ перваго разу, несмотря на сверхъестественныя явленія тѣни отца и несмотря на просьбы и приказанія, отдаваемые этою тѣнью; чтобы превозмочь это невѣріе, этотъ скептицизмъ нерѣшительнаго ума своего, Гамлету нуженъ рядъ опытовъ, въ которыхъ онъ проявляетъ волнующія его ду-

пу сомнѣнія. Вынужденный проживать рядомъ съ человѣкомъ, похитившимъ престолъ и могущимъ возымѣть подозрѣніе въ преданности пасынка по всякому необдуманному выраженію послѣдняго, Гамлетъ, чтобы имѣть возможность отступать отъ правилъ томительнаго этикета и связанныхъ съ нимъ придворныхъ формъ, притворяется сумасшедшимъ и, только благодаря этому психическому состоянію, находитъ возможность прослѣдить нѣкоторые факты и данныя, которые иначе ускользнули-бы отъ его наблюдательности.

Макбету также является призракъ убитаго имъ короля. Развѣ изъ этого слѣдуетъ, что онъ помѣшанный?

Статуя командора, съ высоты пьедестала своего отвѣчающая Донъ-Жуану и являющаяся затѣмъ, въ концѣ драмы, на передній планъ сцены, съ цѣлью увлечь убійцу въ пропасть ада,— должна быть также признаваема явленіемъ галлюцинаціи. Однако, никому никогда и въ голову не приходило доказывать безуміе Донъ-Жуана, въ характерѣ котораго легковѣріе и мистицизмъ играютъ, разумѣется, не послѣднюю роль.

Какъ въ Донъ-Жуанѣ, такъ и въ Макбетѣ, такъ, наконецъ, и въ Гамлетѣ, драматургъ счелъ нужнымъ обратиться къ фантастическому элементу просто съ цѣлью усилить дѣйствіе драмы и выставить впередъ моральное ея значеніе. Скажу даже болѣе: какъ драматическій приѣмъ, притворное помѣшательство представляетъ фикцію, которою Шекспиръ воспользовался съ относительною скромностью, но которая дала ему возможность растянуть пьесу на пять актовъ. Открытая борьба Гамлета съ похитителемъ престола, само собою разумѣется, не представлялась возможною, и только настойчивое притворство его дало ему средство оставаться при дворѣ и послѣдовательно провѣрить тѣ факты, которые могли убѣдить его въ дѣйствительности преступленія. Если-бы Гамлетъ былъ просто помѣшаннымъ, то весь интересъ положенія исчезалъ-бы за этимъ чисто-патологическимъ явленіемъ, неимѣющимъ въ себѣ достаточныхъ данныхъ, чтобы возбудить творческую силу поэта, подобнаго Шекспиру.

Но потому-то роль Гамлета и не всякому актеру по-плечу. Чтобы выполнить ее съ художественной правдой, надо быть и актеромъ, и мыслителемъ. Въ сущности всякая сценическая игра осно-

вана уже на притворствѣ со стороны актера, а здѣсь становится еще необходимымъ притворяться притворяющимся. Эту-то сторону роли Росси выполнилъ съ замѣчательнымъ совершенствомъ, чѣмъ выдвинулъ впередъ схваченный Шекспиромъ антитезъ совершенно холоднаго разсудка, проявляющагося въ разсужденіяхъ въ высшей степени глубокихъ и энергическихъ. Горечь мизантропическихъ насмѣшекъ героя тѣмъ самымъ выставлена исполнителемъ на первый планъ, а маска, которою онъ пользуется, даетъ ему поводъ доводить смѣлость этихъ насмѣшекъ до того ужаснаго характера, отъ котораго невольная дрожь пробѣгаетъ по жиламъ слушателя. Эти-то противорѣчія, эта-то внутренняя борьба, эти-то послѣдовательныя сомнѣнія, обращающіяся внезапно въ глубокую увѣренность, и дѣлають роль Гамлета одною изъ самыхъ замѣчательнѣйшихъ во всемъ существующемъ театральномъ репертуарѣ, но и одною изъ самыхъ труднѣйшихъ для выполненія.

Росси справился съ ролью какъ исполнитель, обладающій талантомъ совершенно исключительнымъ. Онъ понялъ роль Гамлета именно такъ, какъ ее понималъ самъ Шекспиръ. Личность Отелло, какъ ее создалъ поэтъ, не представляла еще собою достаточнаго для столь разносторонняго исполнителя разнообразія: тутъ герой почти впродолженіи всей пьесы является возбужденнымъ и дѣйствующимъ подъ вліяніемъ сильныхъ душевныхъ порывовъ. Въ роли Гамлета, наоборотъ, исполнителю приходится сыграть всю гамму человѣческихъ страстей и чувствованій. Тутъ и ужасъ, и жалость, и ненависть, и любовь, и раздраженный гнѣвъ, и сдержанная иронія, и внезапное появленіе страшнаго негодованія, и холодное притворство, дающее возможность готовиться къ мести въ тѣни, такъ, чтобы обружающіе не могли замѣтить направляемаго удара. Въ сценѣ появленія отца въ третьемъ актѣ, видимаго одному Гамлету, но не матери его, Росси довелъ патетизмъ выполненія до крайнихъ предѣловъ. Это была уже не игра актера, передающаго свою роль болѣе или менѣе отчетливо, — нѣтъ, это былъ дѣйствительный ужасъ, въ которомъ исполнитель заставилъ участвовать всю публику! Припадокъ гнѣва, побуждающій героя вырвать у матери портретъ убійцы и растоптать его ногами, выполненъ былъ такъ, что страшно становилось за несчастную, игравшую роль матери! И здѣсь артистическая фикція исчезала

и зрителю казалось, что передъ нимъ происходитъ истинное происшествіе. Но на ряду съ этимъ крайнимъ проявленіемъ человѣческой страсти какъ хороши были всѣ мягкіе переходы, этотъ особый жанръ *mezzo carattere*, который представляетъ собою настоящіе, грудные звуки драматической гаммы, никогда немогущіе утомить зрителя. Вся ироническая и сдержанная сторона роли была продѣлана съ чисто-аристократическимъ тактомъ, возвышающимъ значеніе таланта.

Рядомъ съ этими классическими ролями Росси ожидалъ успѣхъ еще болѣе значительный въ роли относительно новѣйшаго репертуара. Онъ выступилъ въ драмѣ Дюма-отца „Кинъ“ (Kean). Пьеса эта очень старая; первое представленіе ея относится къ 1836 году. Настоящее названіе драмы: „Кинъ или распутство и геній“, обозначаетъ собою то время, къ которому она относится, и всѣ наивныя претензіи романтическаго направленія, господствовавшая въ эту эпоху. Игралъ пьесу въ Парижѣ знаменитый трагикъ Фредерикъ Леметръ, и помнящимъ его французамъ обидно сравнивать своего исполнителя съ пріѣзжимъ актеромъ, вздумавшимъ выполнить ту-же роль сорока годами позже. Поэтому въ фельетонной трескотнѣ и проявляется какое-то предвзятое нерасположеніе къ Росси. Одинъ театральныи критикъ прямо даже отозвался, что у Леметра проявлялся въ этой роли геній, а у Росси видѣнь только талантъ.

Я Леметра не видѣлъ и потому судить о немъ не могу, но, внѣ всякаго сравненія, Росси произвелъ на меня самое глубокое впечатлѣніе. Пьеса, по существу своему, рѣшительно не соотвѣтствуетъ современнымъ сценическимъ потребностямъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ она была вновь поставлена въ театрѣ „Одеонъ“ для стараго петербургскаго знаконца Бертонна, однако, не имѣла успѣха и вскорѣ сдана была въ архивъ. Въ итальянскомъ переводѣ драма имѣетъ еще менѣе смысла, такъ-какъ переводчикъ, поддѣлываясь подъ современныя условія, исключилъ изъ нея тѣ именно мѣста, которыя по духу своему соотвѣтствуютъ тому времени, подъ вліяніемъ котораго она писалась. Все распутство Кина, выведенное на сцену, ограничивается нѣсколькими стаканами краснаго вина, проглатываемыми хотя и лихорадочно, но недостаточными для того, чтобы возбудить столь сильную натуру, какъ Кинъ.

Несмотря на всё эти невыгодныя условія, несмотря на противорѣчія и непоследовательность въ дѣйствіи, которою отличается драма, зритель пораженъ массою выставленной актеромъ страсти, вѣрностью интонаціи и продуманною истинною всей игры. Во второмъ актѣ, въ сценѣ съ миссъ Анною, когда актеръ Кинъ уговариваетъ ее отступить отъ намѣренія посвятить себя сценѣ, Росси замѣчательно передалъ всё волнующія его чувства. Съ горькою улыбкою, съ величественнымъ презрѣніемъ судить онъ о грустныхъ сторонахъ професіи актера и связанныхъ съ нею томленіяхъ и разочарованіяхъ; когда-же миссъ Анна, испуганная рисуемою имъ мрачною картиною, начинаетъ уговаривать его покинуть сцену, то надо видѣть, съ какимъ торжественнымъ негодованіемъ онъ отступаетъ отъ этого предложенія, предпочитая выносить всевозможныя непріятныя стороны избранной карьеры, только-бы публика и общественное мнѣніе продолжали увлекаться имъ однимъ, а не его соперникомъ!

„Нѣтъ, восклицаетъ онъ, — разъ выступивъ на эту томительную карьеру, бросать ее нельзя! Но вступать-то на нее не слѣдуетъ.“ Последнія слова повторяетъ онъ нѣсколько разъ, и каждое слово глубокимъ впечатлѣніемъ отражается въ умѣ слушателя. Но верхъ совершенства игры представляетъ Росси въ четвертомъ актѣ, во время вставочнаго представленія изъ Гамлета. Въ самомъ патетическомъ мѣстѣ представленія Кинъ внезапно замѣчаетъ принца Валлійскаго въ одной изъ ложъ вѣсть съ своею любовницею и, подъ влияніемъ страшнаго припадка ревности, внезапно прерываетъ представленіе и съ страшными ругательствами обращается въ своему сопернику. Мало-по-малу путается Росси въ своихъ фразахъ, позабываетъ роль, наконецъ, подходитъ къ рампѣ и палкою начинаетъ угрожать находящемуся среди бель-этажа царственному сопернику. Сцена до такой степени хорошо сыграна, что нѣкоторые изъ зрителей на первомъ представленіи приняли ее за дѣйствительное событіе, повскакали съ мѣсть и бросились успокаивать актеровъ, разсѣвшихся для репликъ по разнымъ частямъ залы. Это придадо дѣлу нѣсколько комической элементъ, но тѣмъ не менѣе ясно показываетъ, до какой степени доходитъ талантливость актера, исполняющаго роль Кина.

Давалъ еще Росси „Короля Лира“, но я его не видѣлъ въ



этой пьесѣ. Впечатлѣніе, произведенное имъ на публику и на газетныхъ критиковъ, поражающее. Многие высказываютъ сожалѣніе, что въ Парижѣ не находится французскихъ актеровъ, которые могли-бы играть Шекспира съ тѣмъ-же успѣхомъ. Театръ постоянно полонъ, и я не сомнѣваюсь, что Росси оставитъ по себѣ въ парижской публикѣ не только глубокіе слѣды своего сценическаго таланта, но—что гораздо важнѣе—разсѣетъ въ ней тѣ нелѣпыя предубѣжденія противъ Шекспира, которыя и до сихъ поръ уживаются въ литературной и полубразованной французской толпѣ.

Анонимъ.

## НОВЫЯ КНИГИ.

---

Гете въ молодости и его поэтическія произведенія. Іоганнъ Шерръ. С.-Петербургъ, 1876.

Въ короткомъ очеркѣ Шерръ даетъ біографію Гете, о которомъ наша публика почти ничего не знаетъ. Она живетъ больше повѣстями да романами доморожденныхъ писателей или болѣе или менѣе плохими переводами современнаго европейскаго романа, который тоже неспособенъ заполнить нашу сердечную и умственную пустоту. Что-же касается до великихъ плодовъ европейской мысли и до знакомства съ европейскими гениями, то въ подлинникахъ мы ихъ не читали, а плохіе переводы Гете, Шиллера, Байрона, конечно, едва-ли окажутъ на кого-нибудь просвѣтительное вліяніе.

Мы думаемъ, что и очеркъ Шерра пройдетъ тоже незамѣтно; по крайней мѣрѣ, какъ панегирикъ, онъ произведетъ не совсѣмъ вѣрное впечатлѣніе. Шерръ, какъ нѣмецъ и патриотъ, конечно, имѣетъ право преклоняться передъ титаномъ Гете и патриотическія чувства Шерра, конечно, заслуживаютъ полнаго уваженія. Но дѣло въ томъ, что ясное для Шерра вовсе не ясно для русскаго читателя, и ничего нѣтъ мудренаго, что онъ прочитаетъ «Гете въ молодости», какъ не совсѣмъ поэтической формуляръ великаго поэта Германіи.

Шерръ—демократъ и потому съ самаго начала заявляетъ, что Гете вышелъ изъ народа. Геній не рождается въ пурпурѣ, говоритъ Шерръ, и Александръ Македонскій и Фрицъ прусскій—исключеніе, только подтверждающее это правило. Все истинно великое, подготовляющее будущее и заключающее въ себѣ зиждущую силу для загадочнаго зданія человечества, происходитъ изъ народа. Но народъ не чернь, заключаетъ Шерръ,—это двѣ вещи разныя, хотя лжепророки нашего времени хотѣли-бы ополить и унижить народъ до черни. Чернь есть социальная болѣзнь, народъ—національное здоровье.

Въ сущности эти мысли Шерра вѣрны, но только онѣ выражены не совсѣмъ точно. Не знаемъ, о какихъ лжепророкахъ онъ говоритъ, но подъ именемъ народа всегда понимались тѣ не совсѣмъ ясно сформулированныя свѣтлыя стороны національнаго характера, изъ которыхъ формируется идеальное представленіе о какомъ-то истинномъ, очищенномъ и просвѣтленномъ типѣ, дающемъ определенное направленіе прогрессивнымъ стремленіямъ къ улучшенному строю всей общественной жизни. Тѣхъ рѣзкихъ различій, которыя дѣлаетъ Шерръ, не выдерживаетъ его собственное изложеніе. Прадѣдъ Гете былъ, дѣйствительно, кузнецомъ, но его папенька былъ уже важный чиновникъ, превполненный чиновнаго достоинства и умѣвшій держать себя соотвѣтственно своему положенію. Мать Гете была тоже не изъ деревни, и если по своей непосредственной, задушевной и вѣчно молодой натурѣ участвовала въ душевной наслѣдственности Гете, то трудно ей приписать полное вліяніе на строй его души, потому что и нравственное вліяніе отца, и умственное вліяніе матери оказывались почти безслѣдными при первоначальномъ ростѣ Гете. Если въ физической организаціи Гете наслѣдовалъ нервный строй матери, а крѣпость тѣла и здоровье отъ прадѣда-кузнеца, то сущность замѣчанія Шерра все-таки сводится къ тому, что ставить такъ вопроса, какъ онъ, нельзя, и Гете оказывается человѣкомъ очень пристойнаго происхожденія, хотя, по документамъ, и недворянскаго.

Что Гете былъ не изъ того очищеннаго народа, о которомъ говоритъ Шерръ, и даже не имѣлъ съ нимъ душевной связи, видно изъ космополитической дѣятельности Гете. Только разъ погрѣшилъ онъ истинно-народной новеллой — Гецце Берлихингеномъ, и затѣмъ уже на-всегда виталъ въ самыхъ высокиихъ слояхъ поэтическаго эфира и творилъ внѣ той жизни, которая его окружала. Берне въ своихъ отзывахъ о Гете вовсе не такъ неправъ, какъ это кажется.

Студенческое время Гете провелъ довольно бурно. Онъ отдалъ дань и кутежу, и разнымъ проказамъ молодости, и слишкомъ обильному употребленію трудноваримаго мерзебургскаго пива, такъ что у Гете открылось сильное легочное кровотеченіе, отъ котораго больной былъ спасенъ только съ большими усиліями. Въ эту-же первую пору своей молодости Гете попалъ и въ *сомнительное* общество, которое оставило на немъ сильное впечатлѣніе. Сомнительное общество, какъ говоритъ Шерръ, дало, „конечно, сильный толчекъ природнымъ аристократическимъ наклонностямъ Гете“, и дальше: „но при всемъ томъ все-таки остается справедливымъ обвиненіе, что онъ впоследствии намѣренно не видѣлъ рѣзко обозначенной и легко узнаваемой границы между народамъ и чернью“. Такимъ образомъ, уже съ первой молодости Гете становился на объективную высоту и все его послѣдующее развитіе только помогало ему глубже уходить въ свой внутренній міръ. Составъ вліяній на Гете былъ довольно разнообраз-

ный. Сближеніе съ студентами медицины укрѣпило въ немъ интересъ къ естественнымъ наукамъ, и этотъ интересъ развился въ послѣдствіи въ самостоятельную дѣятельность естествоиспытателя. Директоръ академіи живописи Эзеръ научилъ его видѣть идеаль красоты въ простотѣ и спокойствіи. Дрезденская галерея показала ему въ болѣе наглядномъ видѣ сущность простоты и художественнаго величія. Жена лейпцигскаго профессора Боге научила Гете свѣтскому обращенію и дала вѣншній лоскъ; она настаивала, чтобы Гете познакомился съ Шекспиромъ въ оригиналѣ; она руководила его въ изученіи критическихъ трудовъ Леснога, она отучала его отъ рифмоплетства. Вполнѣ уяснили ему взглядъ на искусство Винкельманъ и «Лаокаонъ» Лесинга. Съ Сусанной Клетенбергъ онъ ревностно преданъ изученію религіозныхъ вопросовъ, блуждая въ лабиринтѣ теософіи, мистики, кабалистики и алхиміи. Женщины, въ которыхъ Гете постоянно влюблялся, поддерживали неугасимый огонь чувства въ его сердцѣ. Но при этомъ нужно замѣтить, что Гете никогда не былъ развратнымъ, а въ его груди жило пламенное, нѣжное сердце и въ молодости у него ужъ такъ было заведено, какъ говоритъ Шерръ, что ни городъ, то дѣвица: здѣсь Гретхенъ, а тамъ Кетхенъ, теперь Линхенъ, а послѣ Минхенъ, сегодня Анхенъ, а завтра Жанхенъ. Естествознаніе и мистическіе Сусанны Клетенбергъ внесли въ воззрѣніе Гете духъ пантеизма. Паскали Паоло, этотъ герой и организаторъ корсиканской республики, произвелъ на Гете необыкновенно сильное впечатлѣніе. Гердеръ научилъ Гете заглядывать въ собственную его душу, находить во всемъ первоначальное, самобытное, дѣвственное, и сдѣлалъ для Гете въ частности то, что онъ сдѣлалъ для нѣмецкой литературы вообще, т. е. dokonчилъ освобожденіе Гете отъ оковъ французскаго искусства. Гердеръ открылъ Гете поэзію библіи, міръ Гомера, Шекспира и Оссіана. Зердеровское вліяніе, кажется, было самымъ сильнымъ вліяніемъ. Періодъ *вихря* и *бури* какъ будто прошелъ надъ головой Гете. Основной характеръ этой эпохи былъ весь революціонный, мятежный. Молодое поколѣніе было охвачено всепожирающимъ, неукротимымъ волненіемъ и разрывъ со всѣмъ устарѣвшимъ и отжившимъ сталъ всеобщимъ лозунгомъ. Въ воздухѣ висѣло предчувствіе чудовищныхъ переворотовъ и рядъ ихъ дѣйствительно начался скоро, съ первыми-же свободными демократическими стремленіями американскихъ штатовъ. Вольтеръ своимъ скептическимъ умомъ взорвалъ весь фундаментъ церковной католической іерархіи и отнялъ отъ людей все ихъ прежнее нравственное содержаніе. Руссо пополнилъ эту духовную пустоту своимъ ученіемъ о возвращеніи къ законамъ природы и возбудилъ стремленіе къ свободѣ. Чѣмъ вліяніе подобныхъ умовъ обнаружилось во Франціи, читателю извѣстно. Въ Германіи политической революціи не могло произойти, но явилась духовная и моральная, литературная революція. Нѣмцы и по своему національному характеру не могли поступать какъ

французы и потому они стремились къ свободѣ нѣсколько иначе; они хотѣли освободить чувство и мысль, освободить личность отъ оковъ чуждыхъ ей мечтаній, хотѣли замѣнить прежнее обезьянство чувствомъ своего достоинства, оригинальнымъ творчествомъ, а горестное сознание государственной раздробленности и ничтожества увело нѣмцевъ въ идеально-заоблачныя сферы фантазій о всемірномъ гражданствѣ. И представителемъ этой нѣмецкой всемірности явился Гете. Вотъ гдѣ величайшая разниа между Гете и другимъ титаномъ нѣмецкой поэзій—Шиллеромъ.

Когда въ Эрфуртѣ Гете видѣлся съ Наполеономъ, то благоговѣнно преклонился передъ его гениемъ, тогда-какъ Шиллеръ, съ самаго начала бывшій противъ «царя битвъ», остался такимъ-же до конца, потому что не видѣлъ въ Наполеонѣ «чистыхъ человѣческихъ чертъ». Шиллеръ понималъ Наполеона субъективно и этически; Гете, напротивъ,—объективно и эстетически. Шиллеръ шелъ въ обратномъ направленіи противъ Гете. Онъ началъ страстнымъ гражданиномъ вселенной и кончилъ пылкимъ патриотомъ. „Несмотря на свою субъективность, говоритъ Шерръ,—Шиллеръ глубже понималъ значеніе историческихъ лицъ и событій и отъ его взгляда не могло укрыться, что наполеоновскій космополитизмъ ничто иное, какъ маска бездоннаго, всепоглощающаго властолюбія. И чѣмъ яснѣе Шиллеръ убѣждался въ этомъ, тѣмъ сильнѣе чувствовалъ желаніе остановиться на мысли объ отечествѣ, какъ на твердомъ грунтѣ, съ котораго можно защищать самыя дорогія сокровища націи отъ распространяющагося, подобно всепожирающему огню, чужеземнаго владычества и деспотизма».

Карьера Гете извѣстна. Онъ былъ приобрѣтенъ для Веймарскаго двора и назначенъ тайнымъ совѣтникомъ при посольствѣ съ годовымъ окладомъ въ 1,200 талеровъ. Это было 11 іюля 1779 года, а въ сентябрѣ онъ былъ тайнымъ совѣтникомъ съ прибавкою жалованья 200 талеровъ; нѣсколько позже послѣдовала еще прибавка 400 талеровъ; наконецъ, въ 1816 году, онъ получилъ министерскій окладъ—3,000 талеровъ. Но Гете былъ все-таки титанъ-человѣкъ и потому странно чувствовать за него противорѣчіе, которое, конечно, онъ самъ долженъ былъ чувствовать полнѣе. И противорѣчіе, дѣйствительно, мучило Гете. Втайнѣ онъ чувствовалъ, что жить такъ нельзя, и что если не оставить дворъ на-всегда, то нужно его оставить хотя на долгое время. Гете долженъ былъ сознаться, что впродолженіи десяти лѣтъ онъ растратилъ много времени на мелкой придворной службѣ и на мелкихъ интересахъ маленькаго двора и что мечты о чѣмъ-то великомъ въ сущности сводились къ самымъ ничтожнымъ мелочамъ. Гете нужно было оставить дворъ, чтобы возстановить свою сердечную свободу, чтобы освободиться отъ мелочной поставки разнаго мелкаго поэтическаго товара для придворной потѣхи. И Гете оставилъ, наконецъ, Веймаръ. Въ Гете его непослѣдовательность выкупается его гениемъ, но лучше, если-бы выкупать ее не было надобности.

Лучшее общеніе въ его жизни было съ Шиллеромъ. Шиллеръ имѣлъ рѣшительное вліяніе на Гете и далъ ему новый толчекъ. Гете называлъ свое сближеніе съ Шиллеромъ «новою весною, въ которой все снова возродилось, распустилось и снова зацвѣло», а когда Шиллеръ умеръ, Гете жаловался, что утратилъ «лучшую половину» своего собственнаго существа. Можно сказать даже, что послѣ Шиллера Гете пересталъ писать.

Эти стороны характера и развитія Гете въ изложеніи Шерра являются второстепеннымъ и третьестепеннымъ и онъ больше говоритъ о титанизмѣ поэта и его необыкновенной поэтической мощи. Но, подчиняясь поэтическому вліянію Гете, нельзя въ то-же время не видѣть и не чувствовать его какъ человѣка, гражданина и патриота. А въ такомъ случаѣ его мощная олимпійская фигура является чѣмъ-то слишкомъ безстрастнымъ и холоднымъ предъ плѣнительной, увлекающейся и страстной личностью Шиллера. Разбирая, что Гете сдѣлалъ и что онъ могъ-бы сдѣлать, является вопросъ: дѣйствительно-ли онъ сдѣлалъ то, что-бы могъ, и точно-ли онъ послужилъ въ мѣру своихъ силъ интересамъ своего отечества и далъ людямъ отвѣты на ихъ ближайшіе вопросы?

### Крестьяне-присяжные. Н. Златовратскаго. Слб. 1875.

Мысль г. Златовратскаго гораздо лучше ея выполненія, хотя авторъ и не лишень нѣкотораго таланта. Его мысль выиграла-бы гораздо больше и въ глубинѣ, и въ убѣдительности, если-бы онъ писалъ очерки не беллетристическіе, а этнографическіе. Г. Златовратскій стоитъ подъ знаменемъ народности и принадлежитъ къ толку графа Толстаго. Мы этимъ не хотимъ сказать ничего противъ графа Толстаго, мистицизму котораго недостаетъ только реальной подкладки, чтобы сдѣлаться реальной истиной. Г. Златовратскій не на-столько мистикъ, чтобы быть эхомъ графа Толстаго, но уже гораздо ближе къ реальному пониманію *непосредственности*, называемой современной психологіей скрытымъ или безсознательнымъ мышленіемъ.

У мысли г. Златовратскаго есть даже очень размахистый пошибъ, и если-бы серьезность выполненія соответствовала серьезности содержанія, если-бы г. Златовратскій не вдавался въ балагурство, заставляя мужиковъ калякать и говорить всякій шаблонный вздоръ, съ легкой руки нашихъ юмористовъ выдаваемый за народную рѣчь и за мужицкую логику, то, конечно, «Крестьяне-присяжные» явились-бы произведеніемъ высшаго литературнаго разбора. Но у автора не достало именно той односторонности, которая нужна, чтобы сильная мысль выразилась въ своей соб-

ственной сильной формѣ. Теперь-же г. Златовратскій точно раздвоилъ душу непосредственнаго, простаго человѣка; съ одной стороны, вы чувствуете въ ней сильныя инстинкты правды, неподкупной честности и благородства и релягіозное, благоговѣйное отношеніе къ вѣчной справедливости и къ божескому правосудію, выражающемуся въ земномъ судѣ; съ другой—передъ вами какіе-то косноязычныя „рукосуи“, на половину идиоты, на половину дѣти, медвѣди, вылѣзшіе изъ берлогъ. Одно изъ двухъ: или въ народѣ выражается тотъ высшій процессъ скрытаго, непосредственнаго мышленія, который способенъ создавать высшее величіе народовъ, та непосредственная свѣжесть природы, которая поражаетъ въ Иліадѣ и въ Одиссеѣ, та непостижимая для ученыхъ умниковъ сила безошибающей правды, по которой именно громада и масса служатъ поправкой всѣхъ историческихъ ошибокъ умниковъ,—и въ такомъ случаѣ эту естественную силу, творящую исторію, нужно показать во всемъ ея величіи,—или-же народная непосредственность, только извѣстнаго рода безграничная глупость, надъ которой нужно смѣяться. Если г. Златовратскому нужно смѣяться, то онъ-бы и смѣялся и давалъ своихъ рукосуевъ; а если онъ смѣяться не хотѣлъ, то ему нужно было сохранить тонъ человѣчнаго, уважительнаго отношенія къ простолюдину даже и тогда, когда обстоятельства ставятъ егѡ въ неловкое, комическое положеніе. Авторъ, несъумѣвшій сохранить послѣдовательность и единство, раздвоился между двумя крайностями и, погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймалъ.

Мы думаемъ, что это произошло оттого, что г. Златовратскій, не владея достаточно художественнымъ творчествомъ, захотѣлъ быть белетристомъ, тогда-какъ, по складу своей мысли, онъ можетъ скорѣе писать болѣе серьезное, чѣмъ ту-же серьезность выражать образнымъ мышленіемъ. Думаемъ мы еще, что г. Златовратскому помѣшала и его собственная незаконченность. Сказать, что онъ поэтъ съ чужого голоса, было-бы невѣрно; но тѣмъ не менѣе въ «Крестьянахъ-присяжныхъ» чувствуется какая-то не вполне созрѣвшая мысль и незаконченное представленіе, точно авторъ спѣшилъ передать свое первое впечатлѣніе, не переживъ его самъ тѣмъ безсознательнымъ процессомъ мышленія и скрытой внутренней работы, съ которыми онъ знакомитъ читателя въ описываемыхъ имъ крестьянахъ.

И какой богатый матеріалъ былъ у г. Златовратскаго и что можно было - бы изъ него сдѣлать! Авторъ обладаетъ способностію психическаго анализа; у него много наблюдательности, онъ знаетъ народъ и способенъ рисовать типы. Наконецъ, ему хорошо извѣстны и печальныя стороны народа и причины ихъ — и изъ всего этого богатаго матеріала, изъ котораго можно-бы создать цѣлую эпопею, прошибающую и открывающую глаза, онъ сдѣлалъ только коротенькіе очерки, читая которые, не знаешь, жалѣть-ли, что они явились, или радоваться.

Извѣстно, что каждый читатель читаетъ свое. Такіе читатели, которые ужьли-бы читать авторовъ вполне,—рѣдкое исключеніе. Каждый выскиваетъ или себя, или читаетъ то, что онъ въ состояніи понять, или-же дѣлаетъ изъ чтенія простое праздное препровожденіе времени и ищетъ случая посмѣяться, какъ онъ смѣется въ театрѣ Верга. Для подобныхъ читателей вся серьезная сторона книги г. Златовратскаго останется незамѣченной, и нѣтъ ничего мудренаго, что они вычитаютъ у г. Златовратскаго совсѣмъ не то, что хотѣлъ сказать авторъ.

Намъ, людямъ интеллигентнымъ, мужикъ всегда кажется глупъ, мы смѣемся и надъ его простотой и считаемъ себя очень понимающими и развитыми, и въ то-же время, право, въ сравненіи съ этой неразвитостію мы являемся еще большею неразвитостію. Не мужика надо учить, а насъ, и портить жизнь не непосредственный, простой человѣкъ, а та собирательная посредственность, которая считаетъ себя цивилизованной. Вотъ для этихъ-то людей и нужно писать ясно, чтобы не давать имъ повода ко всякимъ толкованіямъ и къ ошибочнымъ выводамъ. Разумѣется, чтобы впечатлѣніе вышло полно и сильно, требуется и сильный художественный галантъ, котораго у г. Златовратскаго нѣтъ, и потому мы пожалѣемъ еще разъ, что онъ не совсѣмъ вѣрно воспользовался своими силами. Работая одними серьезными способностями, онъ могъ-бы дать очень почтенную книгу и о современномъ бытѣ простолюдина, и его честномъ міровоззрѣніи, и объ его отношеніяхъ къ жизни, очень серьезныхъ и глубокихъ, и о святомъ пониманіи своихъ отношеній къ ближнему, и о той божеской правдѣ, которая живетъ въ его непосредственной душѣ, ужьющей лучше любить и прощать, чѣмъ когда, потерявъ свою душу; тотъ-же простой, непосредственный человѣкъ начинаетъ жить головными чувствами и головными представленіями. Конечно, для подобной книги нужно было посидѣть и поработать и писать ее не годъ, а два. Г. Златовратскій или поспѣшилъ, или невѣрно опредѣлилъ свои силы, или отнесся къ своей задачѣ менѣе серьезно, чѣмъ относился къ ней мы.

Очерки г. Златовратскаго начинаются описаніемъ типовъ. Передъ нами мужики, отправляющіеся присяжными въ городъ. Мы нарочно выищемъ общую характеристику г. Златовратскаго, чтобы читатель лучше познакомился съ умственными средствами автора. «Всѣ эти «юридическія лица» были прежде всего трудолюбивые землепашцы, принадлежали къ тому русскому типу, который отличается крупными чертами лица, ростомъ болѣе средняго, шагистою и нѣсколько развалистой походкой, сѣрыми или блѣдно-голубыми глазами и бѣлесовато-рыжими, двушерстными бородами. Всѣ они большіе любители говорить и слушать разныя сентенціи, въ родѣ того, наприѣръ, что: «мужику баловаться нельзя; мужика за баловство, знаешь, какъ надо... Мужикъ, что быкъ»... Всѣ они болѣе легковѣрные художники, чѣмъ строгіе мыслители, и хотя прежде, чѣмъ на что-нибудь



рѣшится или рѣшить какое-нибудь дѣло, долго носятъ съ нимъ, думаютъ, изслѣдуютъ со всѣхъ сторонъ, но вдругъ, утомившись, бросаютъ всѣ свои длинныя подготовительныя изысканія и произносятъ рѣшеніе, иногда совершенно противоположное всѣмъ добытымъ предварительными изысканіями результатамъ, но за то согласное съ ихъ душевнымъ настроеніемъ. Они впечатлительны; въ нихъ замѣтна склонность рѣшать дѣла «по душѣ», а не по хитросплетеннымъ измышленіямъ. Все это кладетъ на нихъ характеръ, печать добродушія. И затѣмъ г. Златовратскій даетъ два образчика этихъ художниковъ: одинъ Лука Трофимычъ, извѣстный подъ именемъ «обстоятельнаго» мужика, а другой—Недоуздокъ, пользующійся репутацией «необстоятельнаго». Лука Трофимычъ ничѣмъ не увлечется; онъ все дѣлаетъ не торопясь, основательно, толково, и, несмотря на то, онъ поступилъ разъ хуже всякаго обстоятельнаго. Недоуздокъ совсѣмъ другой человѣкъ; онъ живетъ подъ напѣтомъ; онъ можетъ увлечься всѣмъ, сдѣлаться и аскетомъ, и монахомъ, то уйти въ разгулъ, то полюбить семейную жизнь, то такъ-же внезапно ее бросить, жениться, и черезъ какой-нибудь мѣсяцъ захотѣть жениться на другой,—и, несмотря на свою кажущуюся безалаберность, Недоуздокъ именно та непосредственная, твердая сила, съ которой нужно знать, какъ обращаться; онъ тотъ народный вопросъ, на который нужно умѣть отвѣчать и дать все или ничего, потому что его отдающуюся натуру не могутъ удовлетворить ни полуслова, ни полумѣры, ни полудѣла.

Когда наши присяжные отправились въ городъ, имъ попалась деревня съ убогими избами; прошли они ее въ конецъ и никого не выдали ни у дворовъ, ни изъ избъ голосовъ не слышно; только старуха глухая у однихъ воротъ стояла. Въ концѣ деревни они замѣтили старика, и тотъ, на вопросъ присяжныхъ, отчего въ деревнѣ никого не видно, отвѣтилъ: „Только намъ, старымъ, да груднымъ и осталось... новѣ у насъ вотъ гдѣ поселенье-то развеселое, невесело въ своихъ отцовскихъ избахъ! показалъ старикъ по направленію къ фабрикѣ.—Народъ отъ закона отбился... Въ туманѣ ходитъ. Мужья женъ не знаютъ, жены мужей покидали. Сватовства уже и не слыхано: сватовъ ровно изъ вѣковъ не было. Дѣвки рожаютъ безъ стыда, что бабы. Робяты перемѣшали: не разберутъ, кой законный, кой нѣтъ. Недавно вотъ тутъ, на Ильинкѣ, баба родила, а мужъ-то и не призналъ. „Не мой, говоритъ,—это машинный (фабричный, значить), изъ-подъ нашины рождень...“ Да въ безпамятствѣ и объ уголь младенца. Кой въ прорубь таскаютъ: изъ года въ годъ какъ пять даютъ по утопленнику... Жена мужа лѣтось ячичницей съ мышьякомъ накорила,—это въ селѣ Семенкахъ. Въ Болтушахъ мужикъ на Покровъ бабу зашибъ,—вишь, съ прикащикомъ запримѣтилъ. На Капельника дядя Петръ на возжахъ повѣсилъ изъ-за невѣстки... Вотъ какое мѣсто грѣха народнаго насчиталъ я вамъ, старый“. И рѣчь деревенскаго статистика на-

роднаго „грѣха и несчастья“ подѣйствовала сильно на присяжныхъ; съ каждымъ шагомъ къ городу, съ каждой встрѣчей все сильнѣе начинали они ощущать свою близость къ этому народному грѣху и несчастью, свою нравственную обязанность къ нему. Такъ-называемые „образованные“ не могутъ имѣть даже смугнаго ощущенія этой близости, замѣчаетъ г. Златовратскій. Для нихъ народный „грѣхъ-несчастье“ есть не болѣе, какъ абстрактная идея права, для народа-же это боль человѣка съ плотью и кровью. Въ то время, какъ, по понятіямъ образованныхъ, „грѣхъ“ начинается съ момента преступнаго акта и требуетъ наказанія, для крестьянина онъ уже самъ по себѣ есть „часть кары и несчастья“, начало взысканія карающаго Бога за одному Ему вѣдомые, когда-то совершенные поступки. И Лука Трофимычъ послѣ рѣчи деревенскаго статистика размышлялъ дорогой такъ: „Вотъ и опять ячница съ мышьякомъ... и два года тому, въ первую мою очередь, тоже была ячница съ мышьякомъ. И пойдетъ тебѣ изъ года въ годъ, ячница за ячницей, — карай не карай!“

Мы не станемъ вдаваться въ дальнѣйшія подробности очерковъ, ни въ болѣе подробный ихъ разборъ. Для библиографической замѣтки мы и такъ сказали много, и сказали много потому, что очерки, набросанные г. Златовратскимъ, заключаютъ въ себѣ такой матеріалъ, который могъ-бы послужить содержаніемъ для чего-нибудь болѣе капитальнаго и ждетъ бытописателя не изъ разсказчиковъ, а изъ романистовъ съ широкимъ взглядомъ, съ глубокимъ психическимъ анализомъ и всестороннимъ, европейскимъ образованіемъ.

---

## Герцеговина въ историческомъ, географическомъ и экономическомъ отношеніяхъ. Спб., 1875.

Этой маленькой брошюрой ограничивается, къ сожалѣнію, все, что успѣла произвести наша литература для удовлетворенія всеобщему интересу, возбуждаемому современнымъ положеніемъ Герцеговины. Какъ великъ этотъ интересъ, такъ-же ничтожны наши свѣденія о Герцеговинѣ, которая, несмотря на свое почти центральное положеніе въ Европѣ, конечно, менѣе извѣстна большинству читателей, чѣмъ какой-нибудь новооткрытый уголокъ Африки или Новой Голандіи. Разбираемая нами брошюра сообщаетъ очень скудные свѣденія о Герцеговинѣ, но изъ этихъ свѣденій можно заключить, что Герцеговина — страна очень поучительная и любопытная даже вѣдъ своего политическаго современнаго положенія.

Исторія и экономическій бытъ Герцеговины, разумѣется, навѣваютъ не-  
„Дѣло“, № 12.

веселыя мысли. Что перенесло это многострадальное племя втеченіи четырёхсотлѣтняго томленія въ своемъ родномъ казематѣ—объ этомъ могутъ составить понятіе только несчастныя славянскія народности, испытавшія страшный гнетъ азіятскаго деспотизма. Въ настоящее время, когда биржевой курсъ на „большаго человека“ упалъ такъ низко, официальная Европа, къ счастью, услышала вопль герцеговинцевъ. И это, конечно, завидное благо для тѣхъ соплеменныхъ герцеговинцамъ народностей, которымъ жилось и живется вовсе не лучше. Турція, какъ извѣстно, страна конституціонная, страна отвѣтственныхъ министровъ, выборнаго начала и самоуправленія, но все это только на бумагѣ, и внѣшній лоскъ европейской цивилизаціи какъ-то плохо вяжется съ внутреннимъ и глубоко засѣвшимъ варварствомъ мусульманскаго міра; европейская конституція доведена здѣсь до смѣшного. Теперь, когда такъ много говорятъ о несчастяхъ герцеговинцевъ, трудно въ самомъ дѣлѣ повѣрить, чтобы управленіе этой страной, какъ и всякой турецкой провинціей, основано было на выборномъ началѣ и народномъ представительствѣ. А между тѣмъ это дѣйствительно такъ. Въ исходѣ шестидесятихъ годовъ широкодушательный султанскій „гати-гумаюнъ“ даровалъ всѣмъ жителямъ оттоманской имперіи такъ-называемыя „меджлисы“, вполне соотвѣтствующіе нашему „земству“; за меджлисами слѣдуетъ, конечно, „правый и скорый судъ“, свободныя религіозныя общины, муниципальные совѣты и тому подобныя либеральныя учрежденія. Конечно, опытъ скоро показалъ славянамъ, чего можно ожидать отъ турецкаго земства, надъ которымъ безконтрольно властвуютъ „вали“ (губернаторы), эти креатуры стамбульскаго деспотизма; какая правда можетъ царствовать въ судахъ, находящихся подъ опекой „заптіевъ“ (полицейскаго управленія), и какой свободой мнѣній могутъ они пользоваться въ виду официально организованнаго штата шпионовъ. „Прямымъ слѣдствіемъ послѣднихъ реформъ“ говоритъ авторъ „Герцеговины“,—была децентрализація стамбульской власти и полновластіе вали или генераль-губернаторовъ. Дѣйствуя съ неограниченнымъ произволомъ, вали только прикрывается постановленіями меджлисовъ (земствъ), неимѣющихъ силъ противиться его волѣ“. Турецкая конституція все дала на бумагѣ и все отняла на дѣлѣ. Оставивъ въ полной силѣ администрацію, она создала, такъ-сказать, двойное управленіе, одно видимо-либеральное, другое—тайно-деспотическое, и такимъ образомъ населеніе находится подъ управленіемъ двухъ совершенно противоположныхъ системъ: одной, повидимому, либеральной и выставляемой на показъ Европѣ, и другой—самой безцеремонной, грубой, чисто-турецкаго закала. Турецкая конституція, дѣйствующая въ помощь администраціи, очевидно, служитъ славянамъ во вредъ, и для нихъ, безъ сомнѣнія, стоило бы лучше отказаться отъ конституціонныхъ благъ, дарованныхъ имъ Стамбуломъ, и остаться, по крайней мѣрѣ, при одной безхитростной системѣ деспотизма нашей и заптіевъ. „Жизнь, честь и имущество каждаго

не мусульманина, говоритъ авторъ разбираемой нами брошюры,—находятся въ полномъ распоряженіи паши и бега въ настоящее время, какъ находились во времена завоеваній. Разница заключается лишь въ томъ, что тогда произволъ былъ явный и достигалъ своей цѣли быстро; теперь онъ обставленъ цѣлою системой формальностей и потому дѣйствуетъ медленно“ (стр. 47.) Если-бы Турція обратилась къ любой изъ конституціонныхъ державъ за совѣтомъ, какъ поступать ей въ отношеніи славянъ послѣ того, какъ она даровала имъ вполне безупречную конституцію, то мудрено было-бы наставить въ этомъ случаѣ турецкое правительство. Извѣстно изъ газетъ, что консульская комисія, принявшая на себя посредничество между Турціей и Герцеговиной, должна была разойтись, признавъ свое полнѣйшее безсиліе. Причина волненій въ Герцеговинѣ кроется не въ случайныхъ притѣсненіяхъ, которыя могли-бы быть устранены полюбовной сдѣлкой или дарованіемъ какихъ-либо новыхъ правъ. Всѣ права имѣются, и чѣмъ меньше ихъ, тѣмъ, конечно, лучше. „Официально, говоритъ тотъ-же авторъ „Герцеговины“,—въ основѣ всѣхъ этихъ учрежденій лежитъ выборное начало, въ дѣйствительности составляющее злую насмѣшку надъ христіанскими населеніемъ. Райя связанъ по рукамъ и ногамъ произволомъ послѣдняго заптія (жандарма); свидѣтельство его не принимается ни въ какомъ дѣлѣ, убіеніе райи не только оправдывается, но даже предписывается кораномъ; понятно, что значить, при такихъ условіяхъ, дарованное ему право выбора. Стоитъ только немного вникнуть въ основы мусульманскаго общества, чтобы понять, что никакія реформы не могутъ улучшить быта христіанъ при условіи сохраненія непосредственной власти надъ ними мусульманъ“. Тотъ, кто ближе ознакомится съ положеніемъ славянскихъ народностей въ Турціи, вполне согласится съ этимъ мнѣніемъ. Если-бы Турція искренно пожелала сдѣлать что-либо дѣйствительно полезное для облегченія участи райи, то она могла-бы сдѣлать это не иначе, какъ перевернувъ вверхъ дномъ всѣ свои порядки. Въ Герцеговинѣ нѣтъ крѣпостнаго права, но трудно представить себѣ что-либо ужаснѣе закрѣпощенія герцеговинскаго райи. Въ настоящее время народъ совершенно не владѣетъ землей, она роздана турецкимъ правительствомъ герцеговинскому дворянству (агамъ) за его добровольное обращеніе въ мусульманство. Это-то дворянство, играющее въ исторіи Герцеговины столь постыдную роль, представляетъ собою главное зло народа, и теперь, въ минуту всеобщей борьбы за освобожденіе, народъ находитъ въ дворянствѣ своего главнаго врага. Обратившись въ кметовъ или арендаторовъ, народъ платитъ за право обрабатыванія земли и своимъ агамъ, какъ собственникамъ земли, и правительству. Народъ вполне свободенъ, но пользоваться этой свободой совершенно бесполезно. Райя могъ всегда оставить своего агу, но это ни къ чему не вело, потому что порядокъ вездѣ былъ одинъ и тотъ-же. Мало того, между землевладѣльцами существуетъ общее соглашеніе не принимать къ себѣ недовольныхъ кметовъ. Райѣ оставалось только одно:

избрать какой-нибудь клочек пустой земли и поселиться на немъ. Но лишь только земля приводилась въ надлежащій видъ, ага безъ всякихъ формальностей присвоивалъ ее себѣ, а райя изъ землевладѣльца превращался въ кмета. Вотъ въ чемъ заключается источникъ всѣхъ бѣдствій герцеговинца. Понятно, что вассальныя отношенія къ Портѣ и даже религіозная рознь играютъ здѣсь второстепенную роль. Для Порты остается еще одинъ важный пунктъ въ положеніи герцеговинцевъ, куда она можетъ наметить свои реформы, свои ираде и гати-гумаюны, это — налоги и безконечные поборы. Одинаково трудно отвѣтить, за что платитъ герцеговинскій райя и за что онъ не платитъ. Онъ платитъ прежде всего своему агѣ за пользованіе землей, онъ платитъ и государственной казнѣ такъ-называемую *десятину*, которая съ  $\frac{1}{10}$  всѣхъ произведеній, собираемыхъ райей съ арендуемой земли, возрасла сперва до  $\frac{1}{6}$ , а потомъ до  $\frac{1}{4}$ . Недавно онъ платилъ особый налогъ (хараджъ) за *право жизни* (!), но теперь онъ отиѣненъ и вмѣсто него учреждена подать за освобожденіе отъ военной службы (аскеріэ-бедели), взимаемая съ каждаго райи, начиная съ семилѣтняго возраста. Далѣе райя обложенъ особымъ  $12\frac{1}{2}$ -процентнымъ сборомъ (ашаръ), падающимъ на всѣ произведенія земли. Владѣтели козь и овецъ платятъ *янамъ*, по четыре піастра за штуку; за каждую-же голову рогатаго скота, лошади, осла, свиньи взимается особая подать по нѣскольку піастровъ за каждую голову. Налогъ существуетъ также за покупку и продажу каждой вещи, за право убоя скота, за перемоль хлѣба, съ каждаго плодоваго дерева. Налогъ, называемый *верне*, падаетъ на всю домашнюю обстановку. Кромѣ того, платится владычій и общинный налогъ, особый налогъ на табакъ, на соль, наконецъ особымъ-же налогомъ покрываются и расходы при проѣздѣ митрополита, чиновниковъ, заптій и т. д. По расчисленію автора „Герцеговини“, райя платитъ 85 р. налоговъ, а выручаетъ различными способами 120 р. въ годъ (стр. 53.) Такимъ образомъ, на пропитаніе герцеговинца со всей семьей, на ремонтъ земледѣльческихъ орудій и т. д. остается только тридцать пять рублей. Надъ этимъ можно, кажется, задуматься, даже не будучи герцеговинцемъ. Во всемъ этомъ была, конечно, только одна утѣшительная сторона для герцеговинца: уничтоженіе всѣхъ его надеждъ, которыя могли-бы по временамъ примирять его съ своимъ положеніемъ и отдалять отъ него время его освобожденія. Теперь-же, вполне изолированный отъ существующаго порядка, онъ бьется за будущую свободу, съ полнымъ сознаніемъ, что возвратъ къ настоящему для него физически невозможенъ. Разумѣется, для Порты система налоговъ представляетъ обширное поле благодарныхъ реформъ, но приступить къ нимъ теперь, съ надеждой на улучшеніе быта герцеговинцевъ и своего собственнаго положенія, слишкомъ поздно, ибо результаты этихъ реформъ, при самомъ лучшемъ ихъ исходѣ, могутъ обнаружиться лишь спустя десятки лѣтъ, между тѣмъ какъ малѣйшее уменьшеніе государственныхъ приходовъ не сегодня, завтра сдѣ-

лаеть Порту банкротомъ. „Еще десять лѣтъ тому назадъ, говорить авторъ „Герцеговины“,—расходъ на погашеніе долга (въ Турціи) составлялъ около 20% всего государственнаго дохода, теперь этотъ расходъ достигъ 65%. Еще два года тому назадъ реализація займовъ Порты составляла около 45% номинальной цѣны, теперь она можетъ разсчитывать на какіе-нибудь 20% или много 25%“ (стр. 8.) Въ реформахъ нѣтъ исхода Портѣ и, можетъ быть, въ этомъ заключается вѣрнѣйшая надежда на освобожденіе Герцеговины.

Окончивъ обзоръ разбираемой нами брошюры, мы должны сказать, что, какъ единственный въ нашей литературѣ очеркъ, посвященный Герцеговинѣ, брошюра эта заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія. Она нѣсколько коротка и мѣстами суха, но вмѣстѣ съ тѣмъ она сообщаетъ очень много существенныхъ свѣденій, которыя могутъ служить ключемъ къ разъясненію современнаго положенія Герцеговины. Авторъ весьма кстати приложилъ къ своей брошюрѣ карту Герцеговины, но онъ весьма некстати, какъ намъ кажется, назначилъ за 60 небольшихъ печатныхъ листковъ своей книжки 75 коп.

---

## Путешествіе по Германіи и Швейцаріи, отъ Петербурга до Монблана. Путеводитель и чтеніе для юношества. И. Бѣлова. Изданіе И. И. Глазунова. Спб., 1875 г.

Г. Бѣлову вздумалось, почему-то, вояжировать... Въ этомъ не было-бы ровно никакой бѣды, если-бы г. Бѣловъ, убивъ праздное время и очистивъ свой карманъ отъ нѣсколькихъ сотъ лишнихъ рублей, излагалъ-бы потомъ бесплатно свои путевыя впечатлѣнія въ кругу добрыхъ друзей и знакомыхъ. Послѣ того, какъ г. Бѣловъ собственными руками соорудилъ себѣ безобразный мавзолей подъ именемъ „Сборникъ статей и матеріаловъ для бесѣдъ и занятій дома, въ дѣтскомъ саду“ и пр. и пр., порядочная публика рѣшительно не интересуется знать: сидитъ-ли этотъ сочинитель дома, вояжируетъ-ли онъ въ чужихъ краяхъ или, достигнувъ блаженнаго состоянія Nirваны, созерцаетъ въ безмятежномъ спокойствіи носки своихъ сапоговъ. Но нашъ сочинитель не такъ скромнъ; онъ упорно тянетъ канитель своей литературно-педагогической дѣятельности; онъ не довольствуется однимъ мавзолеемъ, подобно книгопродавцу Лисенкову, и создаетъ себѣ новыя, такъ-сказать, запасныя надгробныя памятники. Истративъ нѣсколько сотъ рублей на безцѣльную поѣздку, г. Бѣловъ не хочетъ теперь принять ихъ „за свой счетъ“, говоря комерческимъ терминомъ, но желаетъ возложить протори

и убытки на російское юношество, которое ни сномъ, ни духомъ не виновато въ этой поѣздкѣ.

Для того, чтобы описаніе путешествія могло быть любопытно не для одного лишь путешественника, требуется соблюденіе нѣсколькихъ непремѣнныхъ условий: во-первыхъ, богатство и свѣжесть наблюденій; во-вторыхъ, искусство изображать и группировать ихъ; въ-третьихъ, наконецъ, умѣнье сдѣлать изъ этихъ наблюденій соответственные выводы, которые закрѣпили-бы ихъ и осмыслили въ памяти читателей. Ни одного изъ этихъ условий,—какъ и слѣдовало ожидать,—не выполняетъ г. Бѣловъ. Доказательства тому представляются, въ избыткѣ, на первыхъ-же страницахъ его книги. Наблюдательность у г. Бѣлова самая мелкая, описательнаго таланта нѣтъ ни малѣйшаго, выводы—не только избитые, казенные, но весьма часто и безобразные, возмущающіе нравственное чувство читателя. Пообѣщавъ самоувѣренно „проникать въ существо“ того или другого наблюдаемаго явленія, „добраться до причины, породившей это явленіе“, г. Бѣловъ очень скоро и неопровержимо доказываетъ свою полную неспособность къ такого рода анализу. Не успѣлъ еще нашъ путешественникъ перебраться за родной рубежъ, какъ его смертельно избидѣлъ какой-то пассажирь, „принадлежавшій къ обществу вполне хорошему“, и избидѣлъ единственно тѣмъ, что захватилъ съ собой въ вагонъ слишкомъ много ручнаго багажа. „Знайते и отдайте, милостивый государь, трагически восклицаетъ обиженный педагогъ, обращаясь къ своему сосѣду,—что я рѣшился избавиться отъ вашихъ вещей при наступленіи ночи. Онѣ не мѣшаютъ мнѣ сидѣть (sic!), но помѣшаютъ спать, а спать я буду, если кто-нибудь не займетъ моего мѣста“. „До ночи еще далеко“, отвѣчалъ весьма резонно г. Бѣлову его злополучный сосѣдъ. Но несмотря на то, что вещи сосѣда не мѣшали сидѣть гнѣвному педагогу, несмотря на то, что къ ночи сосѣдъ переставилъ ихъ на-столько удобно, что г. Бѣловъ могъ протянуть на диванѣ свои ноги, жолчь не угомонилась въ руководителѣ юношества, и онъ измыслилъ для своего спутника такую ужасную казнь: „Много-ли, мало-ли я спалъ, не знаю, рассказываетъ онъ.—Знаю только то, что проснулся отъ шумнаго говора. Кто-то будилъ моего сосѣда, громко приговаривая: „Вставайте, вставайте!.. очистите мѣсто! А если такъ, любезный, прибавилъ неизвѣстный господинъ,—если не хочешь встать доброй волей, то встанешь поневолѣ“. Съ этими словами онъ, не говоря лишняго слова, схватилъ моего сосѣда за ноги и потащилъ съ дивана. Вѣроятно, неизвѣстный господинъ обладалъ большой силой, ибо онъ въ одну минуту стащилъ своего противника на полъ и *проволокъ* (sic!) довольно далеко по проходу. Точно также игноренно онъ сбросилъ съ дивана всѣ вещи и преспокойно усѣлся на мѣсто... Положеніе моего бывшаго сосѣда было очень незавидно: весь вагонъ хохоталъ, вещи его валялись по разнымъ угламъ. Вставъ съ полу, онъ кинулся къ своему противнику съ видимымъ намѣреніемъ нанести ему ударъ, но

послѣдній успѣлъ схватить его за руку. Такъ-какъ почти совершенно разсвѣло, ибо лѣтнія ночи коротки, то я вполне ясно увидѣлъ, что мой бывшій сосѣдь, сколько ни силился, но все-таки не могъ освободить руки изъ охватившихъ ее тисковъ. *Даже лицо его выражало страданіе.* Геркулесь держитъ его руку и произноситъ громко, отчеканивая каждое слово: „Слушай, держу твою руку для того, чтобы показать тебѣ, какова моя сила и что я могу сдѣлать съ тобой, если захочу. Такихъ, какъ ты, мнѣ нужно троицъ. Затѣмъ *знай и отдай* (геркулесь, очевидно, говоритъ слогомъ г. Вѣлова; вотъ ужъ точно: прекрасные умы сходятся не только въ мысляхъ, но и въ способѣ ихъ выраженія!), что ты наглець,—наглець потому, что способенъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти лишитъ другого права и грубо захватить это право. (Господи, что ни слово, то Цицеронъ съ языка слетѣлъ!) Ты чувствуешь, какова моя *железная рука*; слѣдовательно, всего лучше сдѣлаешь, если оставишь меня въ покоѣ...“ *„Я чувствовалъ необыкновенное удовольствіе, что наглець получилъ достойное наказаніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко пожалѣлъ, что не обладаю физической силой“.* (!!)

Какъ вамъ нравится, читатель, эта сценка? Намъ она очень понравилась. Нельзя было откровеннѣе со стороны г. Вѣлова обнаружить, даже вывернуть наизнанку всѣ сокровенныя прелести своей нравственной природы. Передъ глазами любознательнаго путешественника и сердцевѣда (какимъ онъ себя рекомендуетъ) происходитъ отвратительнѣйшая сцена: дюжія буянъ стаскиваетъ за ноги съ дивана и *проволакиваетъ по проходу*, рискуя разбить голову своей жертвѣ, несчастнаго пассажира, который провинился передъ нимъ только въ томъ, что крѣпко заснулъ; вещи этого перепуганнаго бѣдняги летятъ во всѣ стороны, а „лицо его выражаетъ страданіе“, между тѣмъ какъ оскорбившій его буянъ читаетъ ему же наставленіе, выдвигая на видъ, какъ *ultima ratio*, свою железную силу; и какое-же впечатлѣніе производитъ на г. Вѣлова эта картина? Онъ любитъся ею, какъ лавочникъ на Сѣнной площади любитъся иногда дракою перессорившихся торговкокъ, онъ „чувствуетъ необыкновенное удовольствіе“, онъ сожалѣетъ объ одномъ, что самъ, по недостатку физической силы, не могъ задать такую-же встрепку своему сосѣду, и объявляетъ, наконецъ, что въ лицѣ дюжаго буяна онъ обрѣлъ „достойнаго глубокаго уваженія человѣка“ (стр. 10). Мало того, дюжія буянъ дѣлается сейчасъ-же его другомъ, наперсникомъ, и вмѣстѣ съ нимъ совершаетъ все дальнѣйшее путешествіе. Учитесь, юноши, истинной педагогической мудрости, пускайте чаще въ дѣло свои „железныя руки“ и безъ церемоніи стаскивайте за ноги всѣхъ спящихъ пассажировъ, буде между ними попадется даже когда-нибудь и самъ сочинитель Вѣловъ...

Мы могли-бы, кажется, распротиться на этомъ мѣстѣ съ г. Вѣловымъ,



но, не желая подвергнуться упреку въ преднамѣренномъ выборѣ „красотъ“ книги, скажемъ нѣсколько словъ и о слѣдующемъ ея содержаніи.

Расхрабрившись сосѣдствомъ геркулеса, г. Бѣловъ рассказываетъ намъ далѣе, что и онъ однажды проявилъ столь-же мужественный характеръ въ борьбѣ съ какимъ-то крестьяниномъ, ѣхавшимъ въ 3-мъ классѣ по дорогѣ отъ Пскова. Крестьянинъ осмѣлился согрubitъ „барынь въ шляпкѣ“, по поводу отвореннаго окна, которое хотѣлось закрыть этой барынь, и г. Бѣловъ, какъ ревнитель правосудія, сейчасъ-же вступился въ дѣло. „Ты заплатилъ деньги, началъ онъ немедленно внушать мужичку, — *въроятнo* (въроятнo—какая тонкая язвительность!) не за то, чтобы говорить женщины пошлыя дерзости. Если ты не хочешь исполнить просьбы, то исполнишь, *когда тебя заставятъ*“. Съ этими словами я заперъ окно. „Теперь выслушай еще нѣсколько словъ: если ты будешь продолжать говорить грубости, то я на первой-же станціи обращусь съ просьбой къ начальнику посадить тебя“. Словомъ, г. Бѣловъ распорядился по-свойски: и окно заперъ, и правоученіе прочелъ, чѣмъ, конечно, вогналъ мужика въ „видимое смущеніе“, такъ что послѣдній началъ извиняться разомъ и передъ барыней въ шляпкѣ, и передъ г. Бѣловымъ, котораго принялъ, несомнѣнно, за переодѣтаго исправника или, на худой конецъ, становаго пристава. „Подобный переходъ отъ грубости къ униженію, философствуетъ по этому поводу распорядительный педагогъ, — нисколько не удивилъ меня, ибо, потолкавшись на своемъ вѣку среди народа, я часто видѣлъ такіе переходы отъ грубости къ самоуниженію“. Гораздо добрѣе, чѣмъ къ необразованному мужику, отнесся г. Бѣловъ къ лакею на виленской станціи, который прожилъ 4 года за границей кельнеромъ, а потому имѣлъ полную возможность, по мнѣнію автора, „просвѣтить себя“. „Исполняй свое дѣло, рассуждалъ съ нашимъ путешественникомъ этотъ достопочтенный джентльменъ, — живи скромно, — всѣ тебя уважаютъ. Я лакей, правда, но вѣдь лакей также служить людямъ, какъ и всѣ другіе“, и пр. Хотя эта философія давно уже была исчерпана кучеромъ Селифаномъ въ „Мертвыхъ Душахъ“, но на г. Бѣлова она подѣйствовала такъ сильно, что онъ „увлекся бесѣдой съ лакеемъ“ и чуть-чуть не прозѣвалъ поѣзда. Перебравшись за прусскую границу, г. Бѣловъ начинаетъ описывать всѣ видѣнныя имъ мѣста по географическимъ учебникамъ и путеводителю Майскаго, въ такомъ, напр., родѣ: „Кенигсбергъ, по-польски Кролевецъ, лежитъ на рѣкѣ Шпрегелѣ, въ разстояніи одной мили отъ залива Фришъ-гафа... Шпрегель не широка, но глубока... Въ Помераніи мало развита фабричная дѣятельность. Берлинъ стоитъ на рѣкѣ Шпрее, протекающей черезъ городъ“, и пр. и пр. Этихъ-же драгоцѣнныхъ источниковъ придерживается авторъ и на всемъ пути своего слѣдованія, разбавляя и украшая ихъ, по временамъ, поучительными бесѣдами съ буаномъ, „превосходно отдѣлавшимъ“ пассажира. Изъ этихъ бесѣдъ выясняются и нѣкоторыя личныя симпатіи путешественника. Такъ,

напр., съ особенною любовью относится онъ къ прусскимъ свиньямъ: „Что за чудесный скотъ! вскричалъ я, будучи не въ силахъ удержать своего удивленія при видѣ поразительно, на славу откормленныхъ животныхъ.—Такия животныя возможны лишь тамъ, гдѣ сельское хозяйство доведено до совершенства. Просто не нагляднись“. Забѣтивъ въ своемъ спутникѣ эту нѣжную черту, Александръ Романовичъ (иня буяна) не упускалъ потомъ случая доставить ему удовольствіе созерцанія. „Смотрите, смотрите, Иванъ Дмитріевичъ (т. е. г. Бѣловъ), вдругъ закричалъ онъ, трогая меня за плечо,—смотрите, какихъ свиней гонять!“ (стр. 29 и 35.)

Въ другой разъ тотъ-же Александръ Романовичъ обратилъ педагогическое вниманіе Ивана Дмитріевича на *березку*, пріютившуюся въ расщелинѣ альпійской скалы, и Ивану Дмитріевичу „пріятно было взглянуть на растеніе, къ которому глазъ привыкъ съ первыхъ дней дѣтства“ и съ которымъ, какъ надо полагать, у г. Бѣлова связывалось много педагогическихъ воспоминаній.

Но не все-же на свѣтѣ одни удовольствія и наслажденія. Были у г. Бѣлова и неприятныя минуты. Всего болѣе страшился онъ грозы, полиціи и мошенниковъ. Гроза въ Интерлакенѣ довела трусливаго педагога до такого нервнаго состоянія, до котораго, казалось намъ, можетъ дойти только какая-нибудь замескорвѣдкая купчиха, затворяющая ставни при первомъ блескѣ молніи и, въ отчаяніи, сама прячущаяся подъ перину. Въ эту минуту г. Бѣловъ говорилъ о себѣ: „тѣломъ живъ, но отъ страха помираю!“ (стр. 149), и ему „*боязно* было стоять у окна“. Въ Женевѣ г. Бѣловъ, вмѣстѣ съ другомъ своимъ, Александромъ Романовичемъ, находясь въ театрѣ, „все поджидали, не выведутъ-ли особенно азартныхъ клопальщиковъ, но потомъ, *убѣдившись, что о полиціи нѣтъ и помину*, принялись вторить увлеченію остальной публики“. (Отсюда видно, что г. Бѣловъ не всегда бываетъ такъ смѣлъ и рѣшителенъ, какъ въ стычкѣ съ псковскимъ мужикомъ.) За свой карманъ г. Бѣловъ держался такъ крѣпко, что прозрѣвалъ,—едва-ли не напрасно,—мошенника въ каждомъ изъ незнакомыхъ людей, которые имѣли несчастіе обратиться къ нему съ самымъ невиннымъ вопросомъ (стр. 53.)

Политическія и экономическія разсужденія г. Бѣлова нисколько не интереснѣе его личныхъ наблюденій и выдающихся качествъ его характера. Необходимость таможенъ онъ объясняетъ, напр., слѣдующимъ *нагляднымъ* образомъ: „Если я везу, положимъ, изъ Франціи въ Россію шелковыя матеріи и не оплачиваю ихъ пошлиной, то этия подрываю свою шелковую промышленность. Спрашивается: почему? Потому, что во Франціи эта промышленность доведена до возможнаго совершенства, и шелковые товары продаются до-нельзя дешево. Если-бы ввозъ ихъ не сдерживать пошлиной, то нашихъ шелковыхъ матеріи никто не сталъ-бы покупать по причинѣ понятной: онѣ и хуже достоинствомъ французскихъ, и стоятъ дороже“. Разъяснивъ

такъ *понятно* необходимость покровительственной системы въ торговлѣ и не предвидя со стороны милыхъ дѣтей естественныхъ вопросовъ: зачѣмъ-же, моль, у насъ занимаются такими видами промышленности, которые не могутъ быть доведены до совершенства? Г. Бѣловъ не менѣе понятно разсуждаетъ и о побѣдѣ пруссаковъ надъ австрійцами при Садовой. „Пруссія въ этой войнѣ, говоритъ онъ,—доказала, что ея внутренній порядокъ, ея войска, оружіе, а главное—образованіе *несравненно выше, чѣмъ въ Австріи*, доказала, что ея правительство шло по пути несравненно болѣе вѣрному“ и пр., и пр. Короче сказать, г. Бѣловъ повторяетъ извѣзженную фразу прусскихъ національ-либераловъ, что Австрію побѣдилъ-де прусскій школьный учитель, а не крупковскія пушки и лучшая организація военной силы. Не знаемъ только, какая есть надобность прививать эту идею русскому юношеству, къ которому обращается съ своей рѣчью г. Бѣловъ.

Вотъ и все содержаніе разбираемой книги. Читатель пусть теперь самъ разсудитъ: какого успѣха заслуживаетъ она по своимъ достоинствамъ.

---

# РОЗЫ ПРОГРЕСА.

## ХІІ.

### „Засѣданіе“ редакціи.

Аховъ слушалъ съ особеннымъ интересомъ, какъ члены редакціи обрабатывали Забубенина и его романъ. Однакожь, ему недолго пришлось внимать милымъ рѣчамъ литературныхъ собратьевъ: вскорѣ добродушный литературный генераль вернулся изъ кабинета редактора и, обратившись къ Ахову, объяснилъ ему, что Пѣготинъ просить его къ себѣ. Аховъ отправился, предшествуемый генераломъ.

Они прошли большую комнату; посрединѣ ея былъ билиярдъ, а по стѣнамъ тянулись мягкіе диваны, обитые ковромъ. Между двумя диванами, какъ-разъ противъ билиярда, стоялъ бюстъ Бѣлинскаго, къ пьедесталу котораго было прислонено нѣсколько вѣвъ и мазиковъ, и тутъ-же рядомъ, на полу, валялись сапоги, очевидно забытые лакеемъ. Дверь въ сосѣдную комнату закрывалась опущенной тяжелой портьерой. Добродушный генераль отстранилъ эту портьеру и скрылся за ней; Аховъ пошелъ вслѣдъ за нимъ и очутился въ кабинетѣ редактора.

Пѣготинъ сидѣлъ у большого круглаго стола, заваленнаго корректурами и рукописями; онъ былъ въ халатѣ и въ туфляхъ и хранилъ въ своей фигурѣ и въ лицѣ такое выраженіе, будто онъ хорошенько не успѣлъ выспаться.

— Вотъ, отрывисто промывчалъ добродушный генераль, указывая какъ-то однимъ жестомъ Ахова Пѣготину и Пѣготина Ахову.

Пѣготинъ привсталъ, протягивая руку.

— А, радъ познакомиться, началъ онъ глухо-шипящимъ голосомъ, вскидывая на Ахова глаза и тотчасъ-же отводя ихъ въ сторону. — Мы давно любопытствовали, прочитавъ вашъ разсказъ, давно... Вотъ садитесь, хоть сюда, пожалуйста...

Онъ снялъ съ ближайшаго кресла ящикъ съ сигарами и переставилъ его на столъ. Аховъ сѣлъ. Красивый сетеръ, лежавшій въ сторонѣ на полу, привсталъ, подошелъ къ нему, слабо махнулъ хвостомъ, ткнулся въ его колено мордою и потомъ медленно, будто сдѣлавъ дѣло, отошелъ и легъ на прежнее мѣсто.

— Вы извините, что до сихъ поръ вамъ гонораръ не высланъ: редакція, видите, затруднялась все насчетъ постоянного вашего мѣстопробыванія...

— Да, я самъ виноватъ въ этомъ: я не написалъ настоящаго адреса, сказалъ Аховъ. — Я и не могъ этого сдѣлать, такъ-какъ... Впрочемъ, это все равно, не беспокойтесь...

— Вы что-жь теперь въ Петербургъ на-время прибыли?

— Нѣтъ, думаю жить тутъ буду, если поживется.

— А, вотъ что... Хорошо-съ... хорошо-съ... Время теперь у насъ тутъ не очень, чтобъ ладное... разумѣется... Ну, да все не провинція... Хорошо-съ... А сценки ваши удачны... Наблюдательность есть и юморъ...

Минуть съ пять поговорили по поводу „сценокъ“ о литературныхъ матеріяхъ, причемъ Пѣготинъ сдѣлалъ два-три очень вѣрныхъ замѣчанія, показывавшихъ въ немъ прирожденный критическій вкусъ. Во время этого разговора вернулся добродушный генералъ.

— Да что-жь вы, Платонъ Егоровичъ, не одѣваетесь, не выходите: тамъ васъ ожидаются вѣдь, обратился онъ довольно рѣзко къ редактору.

— Ахъ, кто тамъ? Вы-бы безъ меня...

— Да какъ безъ васъ... Тамъ вонъ какой-то поэтъ новый пришелъ, онъ стихи свои спрашиваетъ...

— Поэтъ?..

— Да, Махтинъ его зовутъ, что-ли... На прошлой недѣлѣ стихи вамъ отдалъ. Цѣлая тетрадь, говорить...

— Тетрадь?.. Батюшки вы мои!.. Да, да, помню, приносилъ это-то... Да я ее, кажется, Любвеобильному передалъ...

— У Любвеобильнаго нѣтъ: я спрашивалъ его.

— Нѣту? Гмъ! Вотъ оказія... Куда-же это я ихъ... Тетрадь... гмъ...

Цѣготинъ принялся шарить на столѣ между бумагами, представляя съ мѣста на мѣсто тяжелую бронзовую пепельницу.

— Да вы, вѣрно, опять форточку мнѣ затывали? усмѣхнулся добродушный генералъ;— вотъ ихъ теперь и отыскивай.

— Ну, форточку, экой вы, право, форточку... Тутъ гдѣ-нибудь запади... Не все-же форточки затывать поэзіей...

— Ужь вѣдь это извѣстная у васъ манера...

— Манера... Какая-же манера?.. Это, отецъ, про меня легенду только такъ сложили, что я форточку стихами затываю... Однакожь, нѣтъ этой тетради-то поэта, чортъ ее знаетъ куда она...

— Ну вотъ!

— Да вы скажите поэту, чтобъ онъ повременилъ... Урезоньте какъ-нибудь, отецъ...

— Нѣтъ, ужъ вы сами подите.

— Эхъ, экой вы какой... Ну что мнѣ... Мнѣ одѣваться надо...

— Все равно одѣваться придется: тамъ васъ Консерваторова желаетъ видѣть.

— Агафья? спросилъ, даже вздрогнувъ какъ-то весь, редакторъ.

— Само-собой, Агафья.

— Ахъ, батюшки мои... Не знаете, отецъ, что ей такое?

— Статью, говорятъ, новую даю.

— Отецъ, уговорите вы ее не давать.

— Краткая.

— Что такое краткая?

— Статья у ней, говорятъ, краткая.

— Не надо и краткой. У ней вѣдь краткая значитъ листовъ въ двадцать.

— Ну, ужъ это вы ей сами объясните. Она увѣрена, что надо.

— Да о чемъ статья-то?

— О брачной равноправности у мандинговъ.

— Вона! Это что-жъ за мандинги?

— Кто ее знаетъ. Она объясняетъ, что это племя такое есть въ западной Африкѣ.

— Экъ ее! И откуда она это такое племя вытащитъ!.. Ужъ вы, отецъ, пожалуйста меня избавьте: усовѣстите вы ее, Христа ради.

— Нѣтъ, я не пойду... Я ее боюсь.

— Да чего-жъ вы боитесь?

— У нея такіе глаза... она такъ смотритъ; она мнѣ душу всю прободала...

Пѣготинъ и генераль расхохотались; Аховъ тоже невольно смѣялся.

— Ступайте вы, право, сами... Нужно-же вѣдь будетъ одѣваться когда-нибудь, все равно ужъ...

— Эхъ... Ну, дѣлать, видно, нечего, надо идти...

Пѣготинъ привсталъ. Добродушный генераль удалился.

— Такъ вамъ, отецъ, слѣдуетъ за три листа получить, какъ-жеся? обратился редакторъ къ Ахову.

— За три, отвѣчалъ тотъ.

— Вотъ мы это сейчасъ...

Пѣготинъ взялъ со стола ключи, подошелъ къ шифоньерѣ и началъ медленно отпирать ее. Доставъ толстую пачку асигнацій, онъ отдѣлилъ четыре изъ нихъ и подалъ Ахову.

— Такъ, какъ-жеся, отецъ?

Оказалось, что такъ.

— А ужъ вы теперь извините меня, мнѣ пріодѣться, а то тамъ... народъ дожидается.

Аховъ раскланялся.

По уходѣ Ахова, Пѣготинъ облачился въ надлежащій костюмъ и вышелъ въ ту комнату, гдѣ были члены редакціи. Консерваторова даже ему и поздороваться съ членами не дала, такъ на него и устремилась.

— Я вотъ статью новую, новую статью, Платонъ Егоровичъ, принесла: „О брачной равноправности у мандинговъ“. Это очень интересно. У мандинговъ брачныя отношенія оказываются чрезвычайно рациональными. Это самое разумное племя насчетъ брачныхъ отношеній, и тѣ жиденькія теоріи, которыя...

— Эхъ, пронзить она его душу глазами, насквозь пронзить, тихонько, „въ сторону“ говорилъ добродушный генераль членамъ, кивая на Консерваторову;—эхъ, она насквозь пронзить.

Пѣготинъ кой-какъ постарался отдѣлаться отъ стрекотни Консерваторовой и выпроводилъ ее. Съ поэтомъ онъ тоже справился скорехонько: убѣдилъ того, что стихи его хотя хороши, но не могутъ быть напечатаны по цензурнымъ условіямъ. Поэтъ сіялъ удовольствіемъ.

— А рукопись вы позволите мнѣ попридержать, говорилъ Пѣготинъ любезно:—я еще почитаю, можетъ, что-нибудь и отберу, когда время полегче выйдетъ... Вамъ вѣдь не нужно рукопись, вы намъ можете ее въ собственность, такъ-сказать, предоставить?

— Сдѣлайте одолженіе... у меня есть другая...

Поэтъ удалился въ радужномъ настроеніи.

Пѣготинъ, выпроводивъ поэта, присѣлъ къ столу на-ряду съ членами и генералами. Началось такъ-называемое „совѣщаніе редакціи“. На сцену опять выступилъ вопросъ о полемической статьѣ Сарказмова и о томъ, слѣдуетъ-ли отвѣчать на эту статью или смолчать и не поднимать брошенную перчатку.

— По моему мнѣнію, намъ не слѣдуетъ оставлять этого безъ возраженія, съ искусственнымъ пафосомъ кричалъ Выпуклоутробинъ:—это значило-бы дать восторжествовать ихъ кружку... Ихъ дерзости не будетъ удержу; они и теперь чуть не обзываютъ насъ пошляками и идиотами...

— Ну гдѣтъ, ну гдѣ-же это они называютъ? мотнулъ головой добродушный генераль;—этого въ статьѣ я не вижу.

— И я, признаюсь, отозвался Пѣготинъ; — тамъ, конечно, про васъ рѣзко сказано, вотъ про Константина Савича тоже немножко обидно...

— Я пошлостями не обижаюсь! процѣдилъ сквозь зубы Хвостиковъ.

— Ну, а вообще-то они ничего... Пишутъ, бываетъ, и хуже, продолжалъ Пѣготинъ,—такъ что я, право, не знаю, какъ, господа...

— Я думалъ-бы, что отъ полемики слѣдуетъ уклониться и лучше смолчать, замѣтилъ лукавый генераль.



— Я тоже думаю, что слѣдуетъ, отрывисто повторилъ критикъ Честоновъ.

— И вы тоже, Федосѣй Васильевичъ? вскрикнулъ Выпуклоутробинъ съ удивленіемъ.

— Да... Какая же теперь полемика, когда мы... сидимъ въ затхломи чужанѣ.

— Какъ въ затхломи чужанѣ? спросили всѣ, съ удивленіемъ взглянувъ на Честонова.

— Ну-да, въ затхломи чужанѣ, повторилъ Честоновъ, и затѣмъ, вставъ и забирая шапку, прибавилъ: — мнѣ, однако, идти надо, прощайте.

Члены и генералы распрошались съ критикомъ, не стараясь его удерживать и не испрашивая больше объясненія внезапно произнесенной имъ фразы: они знали, что по чрезвычайному глубокомыслию и сосредоточенности Честоновъ не только устно, но и печатно въ своихъ статьяхъ нерѣдко порождалъ такіе удивительные афоризмы, предъ которыми ничего не оставалось больше, какъ только разводять руками.

Послѣ ухода критика засѣданіе редакціи окончилось скоро. Пѣготинъ куда-то заспѣшилъ, добродушный генералъ началъ шутить и разстроилъ шутками серьезныя разсужденія, Любвеобильный принялся вихвалить какой-то „стишокъ“, найденный имъ въ послѣдней книжкѣ какого-то журнала, лежавшей на столѣ. Всѣ, однимъ словомъ, принялись болтать въ разбродъ; поболтали съ полчаса и разошлись, впрочемъ, съ такими серьезными лицами, будто они совершили очень важное дѣло. Огорченнымъ изъ засѣданія вышелъ одинъ только Хвостиковъ: онъ сокрушался рѣшеніемъ редакціи воздерживаться отъ полемики. Это рѣшеніе препятствовало ему излить изъ своей самолюбивой души цѣлую серію бранныхъ эпитетовъ, которые онъ озабоченно придумывалъ вотъ уже около недѣли.

### XIII.

#### „Послѣдніе жорчи міра“.

Въ тотъ самый день, когда Аховъ получилъ свой гонораръ, Аверьевъ отправился въ мастерскую Бутербродова. Адвокатъ по-

шелъ туда не очень охотно, а такъ больше, для приличія, потому что общалъ Марьѣ Алексѣевнѣ. Къ художеству онъ никакой склонности не имѣлъ, а картины любилъ только такія, на которыхъ изображались скабрзные сцены или нагія женщины.

„И для какого чорта она выдумала ѣхать въ этому художнику? съ досадою размышлялъ дорогой адвокатъ; — ну что онъ тамъ намалевалъ такое? Чай, ерунда какая-нибудь. И потомъ тутъ этотъ опять старецъ лошадеобразный прибудетъ, чтобъ чортъ его побралъ совѣтъ... Эхъ, право, только, кажется, сегодня я время даромъ потеряю“.

Въ такомъ родѣ сѣтовалъ легкомысленный адвокатъ, не подозревая того, что судьба, какъ это бываетъ очень часто, почти даже всегда, распорядится совершенно вопреки его ожиданіямъ.

За то, если Аверьевъ, отправляясь въ мастерскую Бутербродова, морщился и плакался на судьбу, ожидая всякой скуки, художникъ положительно былъ на седьмомъ небѣ, приготовляясь встрѣтить Марью Алексѣевну.

Бутербродовъ по своему характеру былъ то, что прежде именовали романтикомъ. Онъ сохранялъ упорно тѣ преданія гениевъ тридцатыхъ годовъ, по которымъ художникъ есть нѣчто, долженствующее отличаться отъ обыкновеннаго смертнаго и видомъ, и обстановкой, и поступками, и привычками. Художникъ, по мнѣнію Бутербродова, долженъ непремѣнно одѣваться картинно: надѣвать шляпу съ перомъ или съ помповомъ, пальто непремѣнно „накидывать“, такъ, чтобы оно больше на плащъ походило, чѣмъ на пальто. Художникъ долженъ имѣть необыкновенную мебель, такую, чтобы на ней нельзя было сидѣть, а только лежать, и притомъ еще лежать не просто, а какъ - нибудь вздернувъ необыкновенно ноги. Художникъ долженъ работать только тогда, когда на него нисходитъ свыше вдохновеніе; художникъ долженъ безпрестанно влюбляться въ красавицъ и въ него должны тоже влюбляться красавицы. Художникъ при разговорѣ долженъ употреблять утрированные жесты и т. д.

Мастерская Бутербродова, сообразно съ характеромъ и направленіемъ ея обладателя, была убрана и обставлена самымъ нелѣпнымъ образомъ: вездѣ были разбросаны какія-то лохмотья,

купленные художникомъ, вѣроятно, на Апраксиномъ и выдаваемые имъ за какіе-то „историческіе“ костюмы. На стѣнахъ висѣли арматуры изъ неизвѣстнаго оружія, больше похожія на конскую сбрую, какъ ее развѣшиваютъ въ шорныхъ лавкахъ, чѣмъ на арматуры. Тутъ-же рядомъ съ арматурами увѣрленъ былъ, неизвѣстно зачѣмъ, скелетъ, у котораго недоставало костей лѣвой ноги. Ни стульевъ, ни стола въ мастерской не было: только посрединѣ комнаты, передъ мольбертомъ съ картиною, стояли какіе-то кубическіе ящики, обитые ковромъ. Эти неудобные для сидѣнія ящики Бутербродовъ почему-то считалъ „классическими табуретами“, необыкновенно изящными и живописными. Около ящиковъ помѣщалась софа такой необыкновенной ширины, что на ней можно было совершенно удобно спать поперегъ. Аполонъ Бутербродовъ увѣрялъ всѣхъ и cadaго, что софа эта предназначена по-преимуществу для аристократическихъ дамъ, почитательницъ его таланта и обожательницъ его интересной особы; что на этой-то знаменитой софѣ отдыхаютъ аристократическія красавицы. Однакожъ, факты не согласовались съ увѣреніями художника: на софѣ, дѣйствительно, нерѣдко отдыхала одна особа прекраснаго пола, рябоватая съ лица, но дебая тѣломъ натурщица Акулина, на которую, вѣроятно, художникъ и изливалъ кипучую страсть своего пламеннаго сердца.

Кромѣ табуретовъ и софы въ мастерской еще была одна мебель: небольшая витрина съ стекляннымъ верхомъ и золочеными ножками. Въ этой витринѣ любопытствующіе посѣтители мастерской могли видѣть коллекцію сувенировъ, оставленныхъ великому художнику многочисленными плѣненными имъ красавицами. Тутъ была извѣстная уже читателямъ туфля итальянской тигрицы, извлеченная изъ кратера, подвязка французской пантеры, часть проволоки отъ кринолина испанской львицы, шелковый ажурный чулокъ англійской герцогини, кружевная сорочка русской княгини, шитый золотомъ корсажъ турчанки, наконецъ, жилетъ самого Бутербродова, облитый въ часъ разлуки слезами какой-то дочери Эллады, и т. п. Бутербродовъ охотно повѣствовалъ любопытствовавшимъ созерцателямъ этихъ сувенировъ о томъ, какъ пылко любили его красавицы, ихъ оставившія, и о томъ, при какихъ обстоятельствахъ эти сувениры были вручены ему.

Произведенія Бутербродова точно также вполне согласовались съ его характеромъ. Онъ любилъ выбирать ужасные сюжеты, онъ постоянно рисовалъ такія сцены, гдѣ непременно были трупы, кровь, убійство и тутъ-же рядомъ танцы, вакханалія. Картины его были на эффектъ, отличались пестротой и яркостію колорита, бенгальскимъ освѣщеніемъ; кричащими красками онъ думалъ прикрыть свое художественное невѣжество, отсутствіе вкуса и неуверенную технику посредственнаго маляра.

Въ настоящее время онъ оканчивалъ картину какого-то аллегорическаго содержанія, которая въ сущности представляла невообразимый хаосъ, но, по мнѣнію Аполлона Бутербродова, исполнена была невѣроятно глубокой мысли. Картина называлась: „Послѣдніе корчи міра“. Дѣйствіе происходило неизвѣстно гдѣ, чуть-ли не въ пространствѣ; дѣйствующія лица принадлежали ко всѣмъ націямъ и представлены были во всевозможныхъ положеніяхъ и во всевозможныхъ душевныхъ состояніяхъ; тутъ была группа маркизъ и маркизовъ прошлаго столѣтія, танцующихъ „пантомимъ любви“; скупой рыцарь, издыхающій въ подвалѣ на грудѣ золота; замерзающіе въ Ледовитомъ океанѣ русскіе промышленники; вздергиваемые на дыбы евреи и еврейки; весело обѣдающіе у Дюссо офицеры; Неронъ съ любовницами на развалинахъ горящаго Рима; чиновникъ, берущій взятки; подвигъ рядового Архипа Осипова; купающіяся нимфы съ порхающими при лунѣ эльфами и т. д. Однимъ словомъ, картина представляла невѣроятную, фантастическую яичницу и по смыслу, и по колориту, и по композиціи, и по выполненію. Но самъ Бутербродовъ считалъ ее не только глубочайшимъ и величайшимъ созданіемъ его собственнаго генія, но вмѣстѣ съ этимъ и послѣднимъ словомъ современной живописи.

Передъ этой-то удивительной яичницей красовался Бутербродовъ въ ожиданіи визита Марьи Алексѣевны. Онъ для этого случая не преминулъ надѣть какую-то невѣроятно-художническую блузу, подпоясанную ремнемъ, поги вмѣсто панталонъ облекъ въ трико лиловаго цвѣта и башмаки съ пряжками, а на голову надѣлъ беретъ, хотя въ мастерской вовсе не дуло, а, напротивъ, было даже жарко. Захвативъ въ одну руку палитру и муштабель, а въ другую кисть, Бутербродовъ стоялъ передъ картиной и изощрялся въ разныхъ живописныхъ позахъ, дѣлалъ репетицію приѣма Марьи

Алексѣевны, пускалъ на лицо необыкновенныя улыбки, сверкаль глазами, шевелиль усами.

Долго въ одиночествѣ позироваль передъ „Послѣдними корчами міра“ Аполонъ Бутербродовъ; наконецъ, часу въ четвертомъ, въ мастерскую вошла Марья Алексѣевна, вся раскраснѣвшаяся отъ мороза, свѣжая, благоухающая, съ свѣтлой улыбкой на лицѣ и веселыми, сіяющими глазами. Черный бархатъ шляпы, опушенной соболемъ, чудно оттѣняль ея шелковые волосы; шубка на пуху обрисовывала пышныя формы и дѣлала ихъ еще пышнѣе. Когда Марья Алексѣевна вошла, Бутербродовъ такъ и сомгль: она была одна, Лухманова не было съ нею.

— Какъ, однѣ! наивно воскликнулъ Бутербродовъ, кинувшись съ нѣкоторымъ даже сумасшедшимъ сверканіемъ въ глазахъ навстрѣчу Марьѣ Алексѣевнѣ;—о, благодарю, благодарю!

— За что-же? съ удивленіемъ отодвинулась Марья Алексѣевна отъ порывистаго генія, тщетно желавшаго облобызать ея руку, которую она, протянувъ художнику, тотчасъ-же засунула крѣпко въ муфту.

— Какъ, помилуйте, такое счастье: я вижу васъ однѣхъ у себя въ мастерской! Нѣтъ, я не нахожу словъ благодарности, рассыпался восторженно Бутербродовъ.

— Благодарите, по крайней мѣрѣ, не меня, а Павла Афонасьевича: это его вина, что я одна пріѣхала. Его что-то задержало, я не хотѣла васъ обмануть и Аверьева. Кстати, его еще нѣтъ? прибавила она, быстро оглядываясь.

— Этого адвоката? поморщился художникъ;—нѣтъ, да я желалъ-бы, чтобы онъ совсѣмъ не приходилъ...

— Ну, а я-бы этого не желала и удивляюсь...

— Ахъ, оставьте, забудьте его и позвольте мнѣ думать и говорить только о васъ, смотрѣть на вашу красоту и благоговѣть!

Марья Алексѣевна приблизила муфту къ губамъ, стараясь скрыть невольный смѣхъ.

— Нѣтъ ужъ, мсье Бутербродовъ, оставишь мою красоту и будемъ лучше смотрѣть вашу картину... Гдѣ-же она? Ахъ, вот!

Она было-направилась къ картинѣ.

— Пойдите, о, пойдите, вдругъ засуетился, какъ угорѣлый котъ, Бутербродовъ;—позвольте, я вамъ укажу настоящую точку, откуда слѣдуетъ смотрѣть... Вотъ сюда пожалуйста, здѣсь...

Онъ метнулся въ сторону, двинулъ одинъ изъ своихъ кубическихъ табуретовъ и предложилъ сѣсть Марьѣ Алексѣевнѣ. Она, однакожь, не садилась и, вынувъ золотой лорнетъ на коротенькой цѣпочкѣ съ кольцомъ, принялась разсматривать картину.

На вѣкоторое время водворилось молчаніе. Марья Алексѣевна пристально вглядывалась. Бутербродовъ стоялъ рядомъ съ нею въ необыкновенной позѣ: онъ одну руку, съ палитрой и муштабелемъ, какъ-то отвелъ назадъ, скорчивъ ее, а другую протянулъ впередъ вмѣстѣ со всѣмъ своимъ тощимъ тѣломъ. Въ этомъ положеніи онъ нѣсколько напоминалъ извѣстную фигуру боргезскаго бойца и былъ удивительно комиченъ. Марья Алексѣевна слегка покосилась на него, покусала губы и принялась восхищаться картиной. Бутербродовъ возсіалъ.

— Нѣтъ, позвольте, подождите, заговорилъ онъ, — погодите говорить: прежде смотрите... обнимайте идею... Обняли? Обняли идею?

— Да, да... говорила Болгановская, не зная, что отвѣчать ему;— да, это прекрасно... Charmant!

— Только обнимите идею, приставалъ Бутербродовъ,—и для васъ озарится все. Поймите: „Послѣдніе корчи міра“... Оргія любви, сладострастія и крови... вотъ! Тутъ главная, основная мысль.

— Ахъ, но тутъ ужасное у васъ нарисовано такое, мсье Бутербродовъ... вонъ это.

— Да, встряска средневѣковыхъ вѣдьмъ—жидовоѣвъ. Это и есть оргія крови. Ну, а вотъ чудная пѣснь и танецъ любви: сильфы при лунѣ... нѣжные образы сладострастія и потомъ вдругъ гражданская нота: подвигъ рядового Архипа Осипова... Не правда-ли, это задумано? Это плодъ души, въ которой жажда страсти и величія. Я вынашивалъ эту мысль десять лѣтъ...

— Прекрасно, да, да... Вотъ эти фигуры и потомъ краски...

— Опять смѣсь крови и благоуханія и въ краскахъ, не правда-ли?

— Развѣ можетъ быть такая смѣсь, помилуйте? раздался позади расходившагося Бутербродова мужской голосъ.

— Ахъ, г. Аверьевъ, воскликнулъ, обернувшись, художникъ и сдѣлалъ кислую гримасу.

— Мсье Аверьевъ! повторила также, но съ видимой радостью

Марья Алексѣевна, которая начинала уже себя чувствовать очень напряженно, ровно ничего не разумѣя въ комментаріяхъ Бутербродова.

— Извините, что я опоздалъ, любезно улыбаясь, раскланялся адвокатъ. — Табъ вы сказали, что краски—смѣсь крови и благоуханій любви? Это очень интересно, позвольте взглянуть.

— Сдѣлайте одолженіе, сухо отвѣтилъ Бутербродовъ, и подумалъ про себя: „Чортъ тебя сунулъ тутъ въ самую интересную минуту“.

Аверьевъ взбросилъ пенснэ на носъ, оглядѣлъ „Корчи міра“ отъ верху до низу, прищурился, промолвилъ съ важностью знатока севозъ зубы: „очень, очень хорошо, превосходно“, и потомъ, вдругъ отнявъ пенснэ, обратился къ Марьѣ Алексѣевнѣ:

— А г. Лухмановъ будетъ? сказалъ онъ.

Марья Алексѣевна пояснила, что Лухманова что-то задержало и онъ отказался сопровождать ее. Адвокатъ улыбнулся необыкновенно весело и принялся болтать богъ-вѣсть о чемъ, какъ-будто въ мастерской не было знаменитой картины. Бутербродовъ скрежеталъ внутренно зубами на наглость адвоката и надѣялся его про себя самыми вѣжливыми эпитетами. Болгановская, уразумѣвъ намѣреніе Аверьева и понимая, что знаменитый художникъ злится, дѣлала попытку обратить свое вниманіе и вниманіе адвоката на „Корчи міра“, но попытка эта какъ-то не выходила у нея: созерцаніе „Корчей“ и оцѣнка ихъ красоть возбуждала въ Болгановской рѣшительную скуку.

Наконецъ Марья Алексѣевна объявила, что ей пора, поблагодарила Бутербродова за доставленное ей удовольствіе его произведеніемъ и направилась во-свои.

— Вы проводите меня, мсье Аверьевъ? бросила она небрежно адвокату.

Тотъ, разумѣется, даже встряхнулся весь отъ удовольствія.

— Вы позволите и мнѣ это удовольствіе? подскочилъ Бутербродовъ, почти взбѣшенный тѣмъ, что адвокатъ такъ не во-время прервалъ его tête-à-tête съ Марьей Алексѣевной, такъ небрежно третировалъ его картину и затѣмъ почти изъ-подъ носа у него „уводитъ“ эту женщину.

— Ахъ, я буду очень рада, отозвалась Марья Алексѣевна.

— Въ такомъ случаѣ я сейчасъ... только пальто... засуетился художникъ.

— Позвольте, замѣтилъ вдругъ Аверьевъ, смотря въ упоръ на Бутербродова:— какъ-же вы пойдете въ этомъ?

Онъ почти ткнулъ пальцемъ въ лиловые, обтянутые невыразимые Бутербродова.

Бутербродовъ взглянулъ на свои ноги и растерялся. Марья Алексѣевна не могла удержаться отъ смѣха и быстро юркнула за дверь. Аверьевъ тоже захохоталъ и поспѣшилъ-было за нею. Но вскипяченный Бутербродовъ грубо остановилъ его за рукавъ пальто.

— Два слова, сказалъ онъ надменно, выпрямляясь и схватившись за конецъ праваго уса.

— Что вамъ угодно? оборотился Аверьевъ.

— Я не позволю, милостивый государь, смѣяться надъ собой! Я не позволю! какъ-то заскрипѣлъ художникъ, сверкая очами.

— Что вы, Господь съ вами, кто надъ вами смѣялся?

— Вы.

— Когда?

— Сейчасъ. Надъ моими пантал... надъ этимъ! указалъ Бутербродовъ на свои невыразимые.

— Я вовсе не смѣялся, я только сказалъ, что нельзя-же вамъ, въ самомъ дѣлѣ, по Невскому гулять въ такихъ невыразимыхъ. Простудитесь. А Марья Алексѣевна не дожидаться-же, когда вы будете переодѣваться.

— Милостивый государь, вы не смѣли мнѣ этого говорить, не смѣли дѣлать такого замѣчанія!.. Я... я... не могу позволить вамъ!

— Ну, объ этомъ мы послѣ поговоримъ, что вы мнѣ можете позволить, вежливо измѣрявъ его съ ногъ до головы, отвѣтилъ Аверьевъ;— теперь мнѣ некогда, меня ждетъ дама. Прощайте-сь! Желаю вамъ счастливо оставаться съ вашими невыразимыми и вашими „Корчами“.

Онъ нахлобучилъ свою соболью шапку и вышелъ.

— Что!? кинулся-было въ дверь Бутербродовъ, но увидавъ въ глубинѣ коридора ожидавшуюся Болгановскую, остановился и воротился въ мастерскую.

— Ага, такъ вотъ ты какъ со мной! схватилъ онъ себя за



лобъ.—Ну, ты мнѣ заплатишь, проклятый адвокатишка, я тебѣ покажу, кто такой Аполонъ Бутербродовъ, я научу тебя смѣяться, каналья ты этакая!..

#### XIV.

Марья Алексѣевна и Аверьевъ ѣдутъ въ «Ташкентъ».

— Что это вы не идете до сихъ поръ? нѣсколько нетерпѣливо встрѣтила Аверьева Марья Алексѣевна, дожидавшаяся его у дверей.

— Ахъ, извините ради Бога, меня задержалъ своими разговорами Бутербродовъ...

Марья Алексѣевна посмотрѣла пристально въ его лицо.

— Послушайте, что вы дѣлаете? Вы, кажется, ссориться вздумали?

— Да, нѣтъ, помилуйте, какая ссора! Стану я ссориться съ такимъ чудачкомъ, какъ этотъ великій Бутербродовъ.

— Да за что, изъ-за чего у васъ вышло?

— Можете представить, онъ обидѣлся, зачѣмъ я сказалъ, что ему невозможно идти васъ провожать въ его лиловыхъ панталонахъ.

Марья Алексѣевна вдругъ остановилась на ходу и расхохоталась.

— Постоите, дайте мнѣ руку, говорила она, стараясь удержаться отъ смѣха, опираясь на Аверьева;—охъ, я задыхаюсь отъ смѣха... Пойдемте. Ахъ, какъ это забавно... Изъ-за панталонъ... Точно дѣти... ха, ха, ха!

Она опять принялась смѣяться.

— Онъ просто дуракъ, этотъ вашъ Бутербродовъ! рѣзко сказалъ Аверьевъ.

— Мой? почему-же мой?

— Потому, что онъ хвастается всѣмъ и каждому, что пользуется вашей благосклонностью, не преминулъ сосплетничать адвокатъ на соперника.

— Онъ? скорчила гримасу Болгановская.—Ну, да и вы хороши, если ему повѣрили.

— Отчего-же вы предполагаете, что я повѣрилъ? У меня и въ мысляхъ не было вѣрить.

— Однако, говорите мнѣ: вашъ Бутербродовъ. Эхъ, господа, я васъ знаю: вы всё одного поля ягоды.

Разговаривая такимъ образомъ, они пришли къ воротамъ академіи. У воротъ стояли широкіе сани, запряженные парой отличнѣйшихъ воронихъ рысаковъ, прикрытыхъ голубою сѣткой. Кучеръ съ широчайшей спиной и бородой, въ бирюзовой рогатой шапкѣ, сидѣлъ недвижно, протянувъ руки въ толстѣйшихъ теплыхъ перчаткахъ и выровнявъ возжи съ блестящими серебряными бляхами. Это была пара Болгановской; рядомъ съ нею стояла лошадь Аверьева.

— Ну, позвольте, какъ-же мы сдѣлаемъ? сказала Марья Алексѣвна;—вы отпустите, что-ли, свою лошадь и отправитесь со мной?

— Я весь къ вашимъ услугамъ. Но вы куда?

— Да мнѣ нужно сперва въ Морскую, къ Андрею, а потомъ...

— Знаете, что я предложу вамъ потомъ? вдругъ перебилъ Аверьевъ, значительно посматривая на Болгановскую.

— Что такое?

— Посмотрите, какая погода, прелесть! Неужели у васъ нѣтъ желанья покататься?

— Отчего нѣтъ? Я и думаю потомъ проѣхать по Невскому,

— Нѣтъ, а куда-нибудь подальше, за городъ?

— Вы, однакожъ, многого хотите... Впрочемъ, погода, дѣйствительно, такая, что, пожалуй, вы и правы.

— А потомъ-бы обѣдать. Какъ-разъ будетъ время: теперь пятый въ началѣ...

— Что, что? Обѣдать? Съ вами? Какой вы смѣшной...

— Чѣмъ-же, помиуйте? Что тутъ удивительнаго?

— Гдѣ-же?

— Гдѣ хотите. У Дорота, наприимѣръ?

— Ужъ не въ „Ташкентъ“ -ли, а? Еще дальше прогулка будетъ, засидѣлась Марья Алексѣвна.

— А что-жъ, пожалуй и въ „Ташкентъ“ поѣдемте, отлично.

— Ну, перестаньте болтать вздоръ. Отпустите вашего вучера, садитесь и проводите меня къ Андрею.

Они усѣлись и поѣхали. Дорогою Аверьевъ сталъ настойчиво

приставать къ Болгановской, склоняя ее осуществить его предложеніе о прогулкѣ за городъ и обѣдѣ. Она сперва отшучивалась и просила адвоката оставить „глупую фантазію“. Аверьевъ уже терялъ надежду уговорить ее, какъ вдругъ Марья Алексѣевна согласилась.

— Все, что вы тутъ болтали, этого я не послушалась-бы, сказала она:—не подумайте, что меня убѣдили ваши резоны... Это все вздоръ. Но мнѣ пришла въ голову особенная мысль... и я ѣду.

— Какая-же это мысль?

— Теперъ не скажу. Будетъ съ васъ и того, что я ѣду... А вамъ еще объясненіе дай... Какія претензіи...

— Помилуйте, до претензій-ли мнѣ!.. Я счастливъ, какъ никто! воскликнулъ адвокатъ.

Онъ, дѣйствительно, былъ на седьмомъ небѣ отъ согласія Болгановской. „Сегодня обработаю“, мелькнуло въ головѣ адвоката.

— Чуръ, однакожь, пустяковъ въ голову не заирать, замѣтила Марья Алексѣевна, какъ-бы въ отвѣтъ на тайную мысль Аверьева:—мы ѣдемъ съ вами гулять, потомъ обѣдать, и все тутъ. Это условіе. И если вы вздумаете выходить изъ него, получите щелчокъ по вашему адвокатскому носу, который, я вѣжу, начинаетъ сіять ужъ слишкомъ самодовольно... Слышите-же, милостивый государь?

Аверьевъ наклонился, стараясь губами влѣзть во внутренность ея муфты и коснуться руки Марьи Алексѣевны.

— Не дурачьтесь, толкнула его, усмѣхаясь, Болгановская.

Они заѣхали къ Андрею. Адвокату пришлось прождать добрыхъ полчаса, покуда Болгановская и чахоточная французенка совѣтовались насчетъ фасона новой шляпки, которую заказала Марья Алексѣевна. Наконецъ она вышла и они поѣхали.

Кони мчали быстро и скоро вынесли ихъ за Нарвскую заставу. Наступали уже зимніе сумерки. Снѣжная пыль летѣла съ дороги и осыпала голубую сѣтеу, растянутую на широкихъ крупахъ рысаковъ, серебрянымъ инеемъ; бахрома и кисти сѣтки взвивались среди снѣжной пыли. Легкій морозный, „вкусный“ воздухъ пріятно вѣялъ въ лицо и ласкалъ щеки непрерывающейся щекочущей струйкой холодка. Рысаки подхватывали все сильнѣе, храпя, горячася и поднимая паръ.

Аверьевъ съ самодовольной улыбкой смотрѣлъ въ лицо Марьи Алексѣевны, стараясь электризовать ее своимъ взглядомъ, и всю дорогу пѣлъ ей о своихъ чувствахъ, изощряясь то въ сентиментальности, то въ остроуміи. Но Болгановская, какъ только они выѣхали за Нарвскую заставу, объявила, что ему дозволяется говорить вздоръ, но она отвѣчать не будетъ. И, дѣйствительно, она сидѣла молча, будто замерла. Въ полусумракѣ ея плающее лицо, окутанное соболемъ, представлялось Аверьеву точно въ золотой рамкѣ. Неподвижная улыбка, блескъ глазъ, устремленныхъ впередъ сквозь вуаль, раздувшіяся розовыя поздри изящнаго очертанія—все въ этомъ молодомъ, вѣющемъ свѣжестью жизни лицѣ было такъ возбуждительно, все дышало такой здоровой, подымающей нѣгой! Аверьевъ просунулъ-таки свою руку въ ея муфту и, сжавъ своими горячими пальцами ея руку у пульса, просто замиралъ и млѣлъ.

Наконецъ, рысаяи, круто своротивъ съ дороги, разомъ вынесли сани къ подъѣзду ресторана и стали. На крыльцо вскочили два татарина во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ и уже отстегивали полость. Аверьевъ ловко выпрыгнулъ изъ саней и подаль Марьѣ Алексѣевнѣ руку. Она взбѣжала легкими шагами въ сѣни подъ руку съ Аверьевымъ, быстро прошла залу ресторана, оглядываясь съ любопытствомъ кругомъ и шурясь отъ свѣта лампъ. Татаринъ отворилъ дверь комнаты и почтительно пропустилъ ихъ.

Комната, куда они вошли, была очень высока и просторна. Одна изъ ея стѣнъ оканчивалась трехграннымъ фонаремъ съ широкими окнами, завѣшанными тяжелыми портьерами темно-фіолетоваго цвѣта съ желтыми широкими полосами и разводами. Толстые шнуры съ кистями подхватывали твердыя складки портьеры. Въ простѣнкахъ между окнами вдѣланы были узкія зеркала, въ которыхъ эффектно дробились матовые шары стѣнныхъ лампъ. Мебель въ комнатѣ была мягкая: широкая, точно постель, отоманка съ шитыми подушками, кушетка съ изогнутой, стеганой спинкой, развалистыя кресла. Какъ-разъ противъ отоманки былъ каминъ съ разгорѣвшимися золото-красными угольями. Свѣтъ отъ камина, перемѣшанный со свѣтомъ лампъ, отражался на голубомъ коврѣ какимъ-то колоритнымъ, мерцающимъ, бенгальскимъ сіяніемъ. Въ большія окна изъ-за темныхъ скла-

докъ портьеръ еще глядѣло сѣрое, туманное пятно погасающаго дня.

Марья Алексѣевна, сбросивъ шубку, подошла къ зеркалу, принялась развязывать ленты шляпы и мелькомъ взглянула въ окна; они выходили въ садъ; съвозъ запущенныхъ стекла виднѣлись голые, жидкіе сучья деревьевъ, обвѣшанные махрами снѣга. Видъ этого сада, запорошеннаго снѣгомъ, вдругъ почему-то повѣялъ тоскливымъ впечатлѣніемъ на Богдановскую.

— Велите-же скорѣй подавать обѣдъ, обернулась она нѣсколько нетерпѣливо къ увивавшемуся около нея Аверьеву. Сжимаемая брови и нервически отбросивъ съ головы шляпу, она начала красивымъ движеніемъ рукъ поправлять волосы, сначала на затылкѣ, потомъ на лбу. Приблизивъ на мгновение къ лицу руки, будто пробуя, не замерзли-ли онѣ, она тотчасъ-же отняла, нагнула еще разъ изящную шею передъ зеркаломъ, взглядѣлась въ свои глаза, расправляя брови, и потомъ плавно пошла и опустилась на отоманку.

Аверьевъ между тѣмъ заказывалъ обѣдъ явившемуся французу, который слушалъ адвоката съ такимъ почтительнымъ вниманіемъ, такъ пододвинулся къ нему бокомъ, будто страшился проронить хоть одно слово. Марья Алексѣевна съ насмѣшливой улыбкой наблюдала серьезную позу и мину француза, вслушиваясь, какъ онъ отчетливо перечислялъ разныя кушанья; до нея долетали одно за другимъ названія блюдъ, произносимыя такъ важно и вкусно французомъ, что ей ненашутку захотѣлось ѣсть, ѣсть, ѣсть.

Обѣдъ былъ заказанъ. Французъ удалился. Татаринъ принесъ на блестящемъ, огромномъ подносѣ закуску и поставилъ ее на маленькій столикъ близъ камина. Аверьевъ съ изысканной вѣжливостью увивался около Марьи Алексѣевны, предлагая ей закуску, но, впрочемъ, любезничалъ и болталъ довольно сдержанно, такъ-какъ лакеи безпрестанно входили, сервируя обѣдъ. Скоро столъ уставили рогатыми канделябрами, посудой, хрустальемъ, вазами и плодами. При яркомъ свѣтѣ люстры заискрился узкогорлый врюшонъ съ яйцевиднымъ углубленіемъ въ искривленномъ боку, гдѣ сверкалъ ледъ, съ золотистой влагой шампанскаго, въ которой плавали апельсины.

Сѣли обѣдать—Марья Алексѣевна на широкомъ вреслѣ, Аверь-

евъ почти около нея на отоманскѣ. Въ каминъ былъ подброшенъ уголь; онъ запылалъ, распространяя пріятную теплоту. Прогулка возбудила аппетитъ Болгановской и она ѣла не церемонясь; Аверьевъ, напротивъ, былъ нервно возбужденъ и почти не прикасался къ кушаньямъ, а только пилъ.

## XV.

### Послѣ обѣда.

Въ концу обѣда и Аверьевъ, и Марья Алексѣевна дѣлались все оживленнѣе. Подали въ серебряномъ кофейникѣ кофе, а также ликеры. Прислуживавшій татаринъ ушелъ и не возвращался: не зачѣмъ было. Аверьевъ подливалъ шампанскаго въ бокаль Болгановской, приглашалъ ее выпить ликеры. Она смѣялась, едва обмачивала губы, но все-таки пила. Загнувъ голову нѣсколько на бокъ и назадъ, будто ее тяготили пышные волосы, падавшіе завитымъ пучкомъ локоновъ съ темени, Марья Алексѣевна положила разгорѣвшуюся щеку на руку, облокотилась на столъ, причемъ рукавъ платья отворотился и рука, казалось, утонула въ пѣнѣ кружевъ подрукавника. Прижатая рукою щека сдвинулась кверху и подняла нижнее вѣко одного глаза, которому это придало необыкновенно лукавое и задорное выраженіе. Поймавъ другую руку Марьи Алексѣевны, лежавшую вдоль колѣнъ, Аверьевъ припалъ къ ней губами и, спустившись съ софы на коверъ, очутился почти у ногъ молодой женщины. Онъ прерывающимся голосомъ говорилъ ей страстныя признанія, умолялъ, приближалъ свое лицо къ ея колѣнямъ и пылающими глазами заглядывалъ въ ея глаза.

Болгановская смѣялась. Онъ рѣшился, наконецъ, тронуть ее за талию. Она подвинулась и отстранила его рукою.

— Перестаньте, сказала она, — вѣдь уговоръ былъ не дураться...

— Марья Алексѣевна! воскликнулъ, весь коробясь, дрожащимъ голосомъ адвокатъ.

— Что, Дмитрій Петровичъ?

— Неужели вы такая жестокая и... и холодная, что не тронетесь моею страстью, моими мольбами?

— А неужели вы думаете, что я такая наивная, что тронусь подобнымъ вздоромъ? Повторяю, садьте и не мните мнѣ даромъ платье.

Аверьевъ отстранился, нѣсколько передергиваясь, всталъ и началъ ходить по комнатѣ, заложивъ назадъ руки и похрущивая суставами. Онъ задыхался.

— Вотъ такъ-то лучше, погуляйте, прохладитесь, у васъ шампанское и выйдетъ изъ головы, посмѣиваясь, говорила Марья Алексѣевна, опять налегши грудью на столъ и слѣдя глазами за быстро-шагающимъ Аверьевымъ.

— И вы думаете, что это дѣйствуетъ шампанское? съ упрекомъ остановился онъ передъ нею. — Послѣ всего того, что я вамъ высказалъ, что вы слышали о моей любви... Поймите-же, что я обожаю васъ, что я безумно...

— Будетъ, будетъ мальчишествовать, Дмитрій Петровичъ, перестаньте. Давайте говорить, какъ слѣдуетъ взрослымъ. Выпейте сельтерской воды, садьте и слушайте, что я вамъ скажу.

— Ну, хорошо, будь по-вашему, вздохнулъ, ероша волосы, Аверьевъ и, сѣвъ, въ самомъ дѣлѣ налилъ себѣ въ стаканъ сельтерской воды.

— Ну-съ, что вы скажете, я слушаю, сказалъ онъ, выпивая плывающими губами стаканъ и начиная блѣднѣть.

— Видите, что: я поѣхала съ вами обѣдать вовсе не потому, почему вы думаете. Вы думали, что я рѣшилась покутить съ вами, вы думали, что воспользуетесь этимъ... Такъ вѣдь, а? Вы это думали, правда? Обѣдъ вдвоемъ, шампанское—и все готово? Вы вотъ сейчасъ, за минуту, предполагали, что все это такъ, по-вашему, и выйдетъ.

— Позвольте, Марья Алексѣевна... заикнулся-было Аверьевъ.

— Пойдите, не перебивайте, не оправдывайтесь и не лгите. У васъ все это было на умѣ, разумѣтся. Мнѣ, признаюсь, все это пришло въ голову въ то время, какъ вы меня упраскивали ѣхать сюда. Ну вотъ, чтобы доказать вамъ вздоръ вашихъ намереній, я и поѣхала. Поняли, Дмитрій Петровичъ?

— Я понялъ, что вамъ угодно играть мною, съ гримасой отвѣтилъ адвокатъ.

— Мнѣ ничего не угодно и я вообще не люблю ничѣмъ играть. Но вы такъ ведете себя, что поневолѣ приходится вамъ

показать, что такъ нельзя... Поменьше самопадѣянности, милый Дмитрій Петровичъ...

— То-есть меньше откровенности и больше обмана, не безъ насмѣшки перебилъ Аверьевъ.—Ну, простите, я слишкомъ прямъ, слишкомъ увлекаюсь, такъ-что забылъ необходимое предисловіе. А вѣдь для женщины въ этомъ все дѣло—въ предисловіи.

— Нѣтъ, не въ этомъ дѣло, вы не отгадали, вспыхнувъ, выпрямившись и складывая руки на груди, почти мрачно посмотрѣла на него Марья Алексѣевна.

— А въ чемъ-же, позвольте узнать?

— Въ томъ, что вы всѣ, господа, очень мало понимаете женщину и притомъ очень грубы и—извините—очень глупы, рѣзко сказала Болгановская.

— За что-же удостоиваете столь нелестнаго мнѣнія? поежилъ Аверьевъ.

— За что удостоиваю? За дѣло. Какъ легко вы думаете о женщинахъ! Поухаживалъ немного для виду, устроилъ *tête-à-tête*, да еще съ шампанскимъ, воспользовался случаемъ—и дѣло въ шляпѣ... Да хоть-бы вы то подумали, что мнѣ не семнадцать лѣтъ... Меня на такую штуку подвести... забавно! Милѣйшій мой Дмитрій Петровичъ, поняли вы теперь, что ваши расчеты были пустые расчеты?

Она говорила все это почти съ гнѣвомъ, волнуясь, ядовитымъ тономъ, такъ-что Аверьевъ даже началъ смущаться и у него мелькнула мысль: „не напилась-ли ужь она?“

Болгановская прочла у него эту мысль въ глазахъ и поблѣднѣла.

— Знаете, что я вамъ еще скажу? вдругъ пододвинулась она къ нему, глядя на него почти въ упоръ. — Ну, вотъ, вы никакъ ужь не догадаетесь. Или ужь не говорить, а? Понучить?

— Нѣтъ, нѣтъ, удостойте, ужь бейте за одно, за-разъ, скажите, умолялъ онъ.

— Вотъ что. Сейчасъ вотъ, сію минуту, послѣ наставленія вамъ за вашу пошлость и глупость въ отношеніи къ женщинѣ, я хотѣла вамъ признаться, что я васъ... что вы мнѣ нравитесь—да, да, что вы такъ на меня смотрите?—вы мнѣ нравитесь... И я-бы сказала вамъ это...



— Марья Алексѣевна! сдѣлалъ шагъ къ ней Аверьевъ.

Но она отстранила его.

— Постойте, теперь ужь поздно, не надо, нельзя... Но вы... вы подумали въ своей мелкой душонкѣ, что я... болтаю вамъ спьяна!

Въ голосѣ ея задрожала надрывающая нотка, она круто отвернулась, подошла къ зеркалу и стала надѣвать шляпку.

— Спросите счетъ и поѣдете, рѣзко приказала она.

Онъ подошелъ къ ней, онъ обвилъ сзади рукой ея талию, сталъ разувѣрять ее, что она напрасно заподозрѣла въ немъ такую мысль. Онъ просилъ прощенья, умолялъ. Все было напрасно. Она будто закаменѣла и отъ нея вѣяло холоднымъ пренебреженіемъ.

— Поѣдете поскорѣй, говорила она, съ гримасой принимая пожатіе его рукъ и цѣлованіе,— не дурачьтесь... Всѣ ваши угадыванія и колѣнопреклоненія не поведутъ ни къ чему...

На возвратномъ пути Аверьевъ смотрѣлъ очень кисло. Скверное ощущеніе „натанутаго носа“ не оставляло его во всю дорогу. Онъ мысленно давалъ самому себѣ нелестный эпитетъ „скотинны“ и съ злостью думалъ, что онъ „упустилъ случай“, что теперь, пожалуй, ему ужь ничего не добиться отъ Марьи Алексѣевны, такъ-какъ женщины „не прощаютъ подобныхъ вещей“ и тотъ, кто разъ „не умѣлъ воспользоваться“, становится въ ихъ глазахъ нѣсколько смѣшонъ, теряетъ надъ ними верхъ. „А ужь потерялъ верхъ надъ женщиной, на что-жь тутъ разсчитывать, тутъ ужь отъѣзжай лучше, чтобы даромъ время не тратить“, уныло подводилъ кислые резоны сконфуженный адвокатъ.

И, кажется, онъ былъ правъ: Марья Алексѣевна уже начала его третировать, какъ комическое лицо, въ родѣ Бутербродова. На свѣжемъ воздухѣ она вздохнула свободно, ея раздраженное состояніе прошло и она впала въ самое игривое расположеніе. Всю дорогу она шутила, хохотала, подсмѣивалась надъ Аверьевымъ и вообще была необыкновенно весела...

— Знаете, говорила она,— вы мнѣ теперь, Дмитрій Петровичъ, больше нравитесь, чѣмъ давеча... Тогда вы какой-то сахарный были, а теперь такой приличный, солидный, настоящій дѣлецъ... Видите, какъ я васъ исправила, какъ подѣйствовали мои наставленія...

Аверьевъ кусаль губы въ бѣшенствѣ. Она не унывала и иронизировала. Она начала его утѣщать, какъ она выражалась, въ его „горѣ“. Горе въ сущности небольшое. Тосковать нечего. Все можетъ переимѣниться; теперь вотъ она надъ нимъ смѣется и мораль ему читаетъ, а завтра, черезъ недѣлю—чѣмъ чортъ не шутить!—онъ ей будетъ читать мораль и она будетъ у его ногъ. Вѣдь мужчины такіе мастера оболгать бѣдныхъ слабыхъ и неопытныхъ женщинъ. Она совѣтовала ему только не сокрушаться и по-возможности разсѣвать себя.

— Вотъ для разсѣянiя займитесь спиритизмомъ... Теперь этимъ всѣ занимаются; встаети у духовъ можете попросить совѣта, какъ вести себя, чтобъ побѣдить меня, несчастную... спросите, скоро-ли я буду вашей жертвой, и такъ далѣе. Право, займитесь спиритизмомъ. Миѣ вотъ Павелъ Афонасьевичъ обѣщаль устроить какъ-нибудь вечеръ съ этимъ... какъ его?... ну, вотъ съ этимъ медиумомъ, о которомъ всѣ кричать... съ Эдифомъ... Приходите, я васъ заранѣе зову... И, право, если вамъ духи помогутъ, буду ваша, непременно, ха, ха, ха!

У несчастнаго адвоката лопнуло всякое терпѣніе. Онъ оскорбился и даже обратился съ упреками къ Болгановской. Такъ что разставшись съ Марьей Алексѣвной, онъ почти кипѣлъ злобой на нее.

И, однакожь, когда онъ вернулся домой и попробоваль-было забыть и свою неудачу, и Марью Алексѣвну, попробоваль заняться дѣлами, онъ не могъ отвязаться отъ воспоминанiй ея образа. Онъ чувствовалъ аромать, который вѣяль отъ ея шеи, когда онъ наклонялся къ ней, онъ ощущаль мягкое прикосновеііе ея горячихъ рукъ; въ его воображенiи возникала эта дышущая, волнующаяся грудь, ему прямо въ глаза смотрѣли разгорѣвшіеся, лучистые, съ бархатными рѣсницами, смѣющіеся и дразнящіе глаза; ему видѣлись яркія губы, прикасающіеся къ краю бокала и смѣющіеся сквозь золотистую влагу вина молодымъ, звонкимъ смѣхомъ то манищей страсти, то лукаваго пренебреженiя.

— А чортъ побери и меня, и ее, почти съ бѣшенствомъ прошепталъ онъ;—неужто я въ самомъ дѣлѣ влюбился, какъ дуракъ, въ эту кокотку...

Онъ порывисто вскочилъ и принялся шагать изъ угла въ

уголъ по комнатѣ. Долго ходилъ онъ, то омрачаясь неприятными, тяжелыми воспоминаіями, то снова весь сіяя удовольствіемъ.

## XVI.

### „Планъ“ Адама Антоновича Загржембовича относительно Никса.

Прошло съ недѣлю. Аверьевъ во все это время не видался съ Марьей Алексѣвной и упорно старался отвлечься отъ нея усиленными заботами о дѣлахъ. Между прочимъ, „дѣльце насчетъ вексельна“ адвокатъ обработалъ съ загржембовичемъ согласно съ совѣтомъ послѣдняго и, разумѣется, получилъ двойной процентъ, и съ Балкашина, и съ ходатая.

Заполучивъ эти вексельки, почтеннѣйшій Адамъ Антоновичъ немедленно приступилъ къ осуществленію того „особеннаго плана-съ“ насчетъ Никса, о которомъ онъ говорилъ Аверьеву. Планъ этотъ... Но прежде позвольте нѣсколько словъ объ авторѣ плана.

Адамъ Антоновичъ Загржембовичъ принадлежалъ къ категоріи тѣхъ петербургскихъ пріобрѣтателей, которыхъ выработанный и законченный типъ такъ часто фигурируетъ въ дни теперешняго прогресса... на скамьѣ подсудимыхъ — этомъ ясномъ и вѣрномъ зеркалѣ, отражающемъ героевъ современности. Адамъ Антоновичъ мошенничалъ „отъ юности своея“, какъ умѣлъ и гдѣ могъ. Въ сорока годахъ онъ успѣлъ намошенничать даровую великолѣпную квартиру, пару изрядныхъ рысаковъ и изрядный капиталецъ. Ко всему этому прибавлялась извѣстность ловкаго человѣка, ходатая по такимъ темнымъ дѣламъ, за которыя съ опаской берутся даже такъ-называемыя „продувныя бестіи“.

Такое положеніе и такая репутація и въ настоящемъ значили не мало; но Загржембовичъ надѣялся въ грядущемъ, при современномъ теченіи прогресса, открыть несравненно болѣе обширный путь всякихъ преуспѣяній.

Особенно надежды Загржембовича оживились съ тѣхъ поръ, какъ онъ сдѣлался довѣреннымъ лицомъ и управляющимъ нѣкой богатой домовладѣлицы, генеральши Объярыковой. Объярыкова была помѣшанная старуха, вдова, страдавшая двумя маніями за-

разъ: скупостью и желаніемъ пріобрѣсти себѣ на-клонѣ дней титулованнаго и молодого мужа. Втершись въ довѣренность къ этой полоумной, богатой старухѣ, Загржембовичъ понялъ, что теперь или никогда, тутъ или нигдѣ, онъ долженъ понагрѣть себѣ руки. И онъ грѣлъ ихъ не стѣсняясь, безсовѣстно надувая и обирая старуху, несмотря на ея скарედность.

Постепенное обираиіе Объернковой казалось, однакожь, досто-почтенному ходатаю, во-первыхъ, слишкомъ медленнымъ, во-вторыхъ, не особенно радикальнымъ. Онъ началъ придумывать различныя комбинаціи, какъ-бы устроить дѣло такъ, чтобы запустить въ капиталы Объернковой лапу однимъ разомъ и загрести такой кушъ, который-бы могъ обезпечить его на всю жизнь.

Комбинаціи Адаму Антоновичу приходили въ голову самыя разнообразныя, начиная отъ намѣренія предложить старухѣ въ мужа себя самого и кончая отравленіемъ и ограбленіемъ ея. Разумѣется, между этими крайними комбинаціями являлось много и среднихъ, но онѣ оказывались неподходящими. Что-же касается двухъ упомянутыхъ крайнихъ, то первую изъ нихъ Загржембовичъ рѣшился осуществить только тогда, когда уже не найдется никакой иной. Повидимому, комбинація брака со старухой была самая легкая и исполнимая; но, при ближайшемъ разсмотрѣніи, она представляла нѣкоторыя невыгоды. Во-первыхъ, омерзительное сожитіе съ ходячимъ трупомъ. Ну, это еще куда ни шло: по соображеніямъ почтеннаго ходатая, это можно было преодолѣть при нѣкоторомъ напряженіи. Затѣмъ старуха могла прожить, пожалуй, еще десять-пятнадцать лѣтъ. Это ужъ выходило совсѣмъ скверно. Загржембовичъ лелѣялъ мечту, потрудясь на поприщѣ темныхъ дѣлъ, сдѣлаться добрымъ мужемъ молодой и непремѣнно хорошенькой жены и зажить счастливымъ семейникомъ. Какъ нѣкоторые извѣстные мошенники, онъ по своей натурѣ былъ очень склоненъ къ семейнымъ радостямъ, онъ въ семьѣ видѣлъ идеаль и цѣль земного благополучія.

Между тѣмъ при женитьбѣ на Объернковой эта цѣль отдалялась отъ него, быть можетъ, до старческихъ годовъ. А тогда какое ужъ семейное счастье?.. Конечно, если-бы жениться, и потомъ, этакъ черезъ годъ, черезъ два, отравить старуху, устроить духовное завѣщаніе, фальшивое или настоящее—все равно...

Но отравить старуху, составивъ фальшивое завѣщаніе въ свою

пользу, можно было и такъ. Разумѣется. Только на этотъ счетъ почтеннаго ходатая смущало одно маленькое обстоятельство: нѣкоторая боязнь той страны, которая была завоевана для Россіи Ермакомъ. Загржембовичъ ужасно не любилъ этого героя русской исторіи; Сибирь-же, имъ завоеванную, Адамъ Антоновичъ просто терпѣть не могъ, хотя про всѣхъ своихъ враговъ говорилъ, что онъ ихъ „отправить въ Сибирь“.

Это инстинктивное отвращеніе къ странѣ, которая, по увѣренію многихъ мудрыхъ политиковъ, должна имѣть великую будущность, останавливало замыслы Загржембовича относительно отравленія и онъ углубился въ придумываніе другихъ, менѣ рискованныхъ средствъ для уловленія объерьевскихъ капиталовъ. Наконецъ, его осѣнило и онъ остановился на одномъ планѣ, казавшемся ему такъ-же блистательнымъ, какъ генералу Трошию казался его знаменитый „планъ“ обороны Парижа.

Планъ Загржембовича состоялъ въ слѣдующемъ: онъ вознамѣрился прискать подходящаго субъекта въ мужа Объерьевой и за содѣйствіе женитьбѣ на богатой старухѣ сорвать съ этого субъекта именно тотъ кушъ, который рисовался въ мечтахъ Загржембовича. Разумѣется, найти подходящаго индивидуума, согласнаго на подобную операцію, было-бы не трудно: въ прекрасномъ городѣ Петербургѣ сотни молодцовъ готовы за возможность обладанія даже и не очень солидными капиталами полѣзть въ помойную яму, не только жениться на старухѣ. Но для замысловъ Загржембовича требовались нѣкоторыя особенныя условія: искомый субъектъ долженъ быть, во-первыхъ, въ его рукахъ, во-вторыхъ, что-называется дрянцо-человѣкъ, чтобы и потомъ имъ можно было повернуть, какъ захочется.

Загржембовичъ началъ подыскивать субъекта, подходящаго къ этимъ условіямъ, и остановилъ свое вниманіе на блистательномъ Никсѣ Духмановѣ. У Загржембовича было достаточное количество векселей юнаго дипломата. Адамъ Антоновичъ снабжалъ капиталами Никса еще въ тѣ дни, когда будущій дипломатъ обучался въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній. Обученіе, впрочемъ, шло больше по части камелій и поэтому будущій вершитель судебъ Европы дѣлалъ преизрядные долгишки. Съ теченіемъ времени, вступивъ въ свѣтъ, Никсъ продолжалъ прибѣгать къ обязательной помощи Адама Антоновича. Въ послѣднее вре-

мя, задумавъ свой „планъ“, Загржембовичъ велъ дѣла такимъ образомъ, что самъ снабжалъ Никса по малости (для „прикормки“, какъ выражался ходатай); но за то скупалъ его векселя у другихъ кредиторовъ. Достаточно заманивъ желаннаго звѣря въ сѣти, Загржембовичъ готовился теперь ихъ накрыть надъ нимъ. Это было тѣмъ легче сдѣлать, что звѣрь былъ отнюдь не изъ хищныхъ.

## XVII.

### Никсу сватаютъ богатую невѣсту.

Однакожь, все-таки Никсъ былъ звѣрь и, видя, что надъ нимъ начинаютъ разстилаться сѣти, чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко. Онъ сидѣлъ въ „дѣловомъ“ кабинетѣ Адама Антоновича и бесѣдовалъ съ почтеннымъ ходатаемъ. Какъ ни натягивалъ на себя дипломатическій юноша свою обычную легкомысленную небрежность, онъ не могъ преодолѣть нѣкотораго волненія. Волненіе Никса выжалось то гримасами и передергиваніемъ личныхъ мускуловъ, то какимъ-то безнадежнымъ ерзаньемъ въ креслѣ. Никсъ хорошо понималъ, что ему не подобаетъ выказывать волненіе, что онъ теряетъ свое достоинство передъ Адамомъ Антоновичемъ. Адамъ Антоновичъ еще лучше понималъ, что онъ, такъ-сказать, притискиваетъ къ стѣнѣ Никса и что это притискиваніе слѣдуетъ продолжать энергичнѣе.

Никсу въ его скверномъ положеніи все окружающее казалось необыкновенно сквернымъ, — сквернымъ почти до тошноты. Оно, впрочемъ, такъ и было. Несмотря на притязательную роскошь, обстановка Загржембовича была преотвратительная. Тяжелая мебель кабинета отличалась великолѣпнѣе охтенской работы. Никсу особенно претили какіе-то деревянные рѣзные купидоны, поддерживавшіе доску большого кабинетнаго стола, заваленнаго „дѣлами“, томами свода законовъ и судебными уставами. Никсъ бросилъ въ глазъ монокль, съ напускнымъ презрѣніемъ мелькая взглядомъ то по топорнымъ рошамъ этихъ купидоновъ, то по лицу самого Загржембовича. Послѣднее тоже представляло мало привлекательнаго: длинное, землястаго цвѣта, съ тяжелыми, бѣгающими глазами — оно имѣло въ себѣ нѣчто каторжное. Будь на

Загржемовичъ, виѣсто бархатнаго малиноваго халата, сѣрая сермяга съ бубновымъ тузомъ на спинѣ, онъ выглядываль-бы совершеннымъ колодникомъ. Помянутый бархатный халатъ не мало раздражалъ Никса: юноша почему-то считаль униженіемъ для себя, что хозяинъ принимаетъ его, не церемонясь, въ халатъ. Никсъ думаль, что этотъ „хамъ“ не умѣеть себя вести „съ порядочными людьми“. Онъ, впрочемъ, ошибался: хамъ умѣль себя вести при случаѣ, но съ Никсомъ не считаль нужнымъ стѣсняться, такъ-какъ не признаваль его „порядочнымъ“.

— Такъ какъ-же-съ, Николай Афонасьевичъ, говорилъ каторжный хозяинъ, поигрывая одною рукой кистью халата, а другую положивъ на ручку массивнаго кресла, — такъ какъ-же-съ? Дѣло-то ваше, изволите видѣть сами, плоховато-съ...

— Mon cher, я это знаю. Зачѣмъ-же вы хотите пугать меня?

— Я не пугаю, а предостерегаю-съ. Мой долгъ предостеречь-съ. Потому я вѣдь не хочу губить васъ. Оборони Богъ. Но я собственно-съ для вашей пользы предупреждаю. Вы человекъ молодой, легкомысленный-съ...

— Вы читаете мнѣ мораль, mon cher, Адамъ Антоновичъ!

— Мораль не мораль-съ, а, такъ-сказать, истину-съ... Извольте видѣть: вамъ жизнь, какъ это говорятъ-съ, улыбается, вы вотъ и того... все увлекаетесь... Оно недурно, что и говорить-съ... Эти Гандошки да Фаншетки, ужины да пикники... заманчиво, занято-съ... А что-же въ концѣ-то-съ? Вѣдь въ концѣ-то одна дрянь выходитъ, Николай Афонасьевичъ. Я вамъ по дружбѣ-съ, какъ отецъ, можно сказать, совѣтую-съ...

— Н-но! Ужь избавьте, mon cher, отъ другого отца. И одного довольно; скупъ становится старикъ. Только свою Марью Алексѣевну и ублажаетъ. А попросишь на буаръ и манже — вряхтитъ... Видно, пора на покой...

— Вотъ вы все шутите-съ... А нехорошо вамъ придется, если вы лишитесь Афонасія Степановича. Они-съ по своему положенію получаютъ много денегъ. А умри они — что вамъ изъ наслѣдства перепадеть-съ? Мнѣ немножко дѣла-то вашего батюшки извѣстны-съ... Да, можетъ, еще Марья Алексѣевна кой-что попридержуть-съ: онѣ дама на этотъ счетъ заботливая... И выйдетъ, что по однимъ моимъ векселькамъ не хватить-съ... А ужъ что по другимъ — и думать нечего.

— Но-но-но, *mon cher*, вы, кажется, фантазируете.

— Нѣтъ-съ, Николай Афонасьевичъ, я все по справкамъ-съ, по точнымъ справкамъ знаю-съ... Да-съ. Потому я вотъ и говорю вамъ: извольте вы о себѣ пораздумать-съ. Время-съ, право... я-то терпѣливъ, еще, можетъ быть, и повременить могу. Да вотъ другіе-то какъ... Намедни вотъ мнѣ Абигъ говоритъ...

— Абигъ? какой Абигъ? Ахъ, это тотъ, рыжій! Помню, помню... Ужасный скотъ... Ну, что-же онъ вамъ говорилъ?

Загржемовичъ покоробился эпитетомъ скота, даннымъ такому-же приобрѣтателю, какъ онъ самъ.

— Вы неосторожно, очень неосторожно выражаетесь, милый Николай Афонасьевичъ. И о достойныхъ лицахъ-съ. Я-бы вамъ не совѣтовалъ такъ: это неприлично-съ.

Никсъ поежился.

— Bourde! Ну, что вы обижаетесь за всякаго каналья, *mon cher*?

— Абигъ, Самуилъ Соломоновичъ, не каналья-съ, рѣзко перебилъ Загржемовичъ, — Абигъ почтеннѣе многихъ молодыхъ людей-съ изъ хорошихъ фамилій-съ.

— Ну, что-же, *mon cher*, что вамъ говорилъ насчетъ меня этотъ Абигъ?

— Что онъ хочетъ васъ того-съ...

— Что, *mon cher*, того?

— Въ тарасовку-съ.

— Ахъ онъ каналья!.. Надѣюсь вы, почтеннѣйшій Адамъ Антоновичъ, возстали противъ этой пошлой идеи?

— Нѣтъ-съ, не возсталъ, Николай Афонасьевичъ, потому что, признаться вамъ, я нахожу ее, эту идею, очень резонной-съ.

— Полноте шутить, *mon cher*, это нехорошо съ вашей стороны, не по-пріятельски.

— Я не шучу-съ нисколько.

— Quelle idée bizarre! Никса въ тарасовку! Что скажутъ наши? Что скажетъ Гандошъ?.. *Mon cher*, это нелѣпо!

— Оно лѣпо или нелѣпо, а легко возможно-съ, Николай Афонасьевичъ.

— Возможно, легко возможно! Какъ это вы говорите! вы хотите доѣхать меня въ конецъ!

— Вѣдь это не я-съ, Николай Афонасьевичъ, это другіе:



Абигъ, вотъ тоже Корпоподличъ, и онъ-съ поговариваетъ... А если они предпримутъ-съ, я тоже, съ своей стороны, не могу отставать... Вы знаете, это дѣло общее... Конечно, отъ меня тутъ больше будетъ зависѣть: я вашъ главный кредиторъ и могу ихъ успокоить...

— Ну да, mon cher, ну да, конечно, отъ васъ все зависить! Я и говорю. Ну, а вы, неужели вы рѣшитесь меня утопить? Никас? Mon cher, Адамъ Антоновичъ, я васъ знаю, я не вѣрю. Вы человѣкъ порядочный, не то что какой-нибудь тамъ мерзавецъ Абигъ... pardon, вы не желаете, чтобы я о немъ дурно выражался... Нѣтъ, вы такъ со мной не поступите...

— Оно такъ-то такъ-съ; но вѣдь, согласитесь, Николай Афонасьевичъ, мнѣ тоже надо и о себѣ позаботиться... Поймите это.

— Но что-же вамъ-то беспокоиться, mon cher: вы знаете, у меня впереди есть шансы.

— То-то вотъ шансовъ-то я не вижу никакихъ-съ... Вы вотъ все на наслѣдство надѣетесь. А наслѣдство-то—оно еще вилами на водахъ-съ писано... А теперь-то отъ Афонасія Степановича что-жъ вамъ перепадаетъ?.. По мелочамъ-съ пользуетесь... Этимъ не обернетесь, въ обиходъ-съ. Гдѣ-же ужъ о кредиторахъ думать! А вотъ какъ если кредиторы-то васъ понажмутъ-съ, чтобы въ тарасовку-то... такъ, можетъ, батюшка-то вашъ средства и съпугутъ. Хоть часть за васъ уплатятъ-съ... векселя ваши на себя переписутъ; все оно надежнѣе...

— Надежнѣе, поприжмутъ... Какія вы все неприятности рассказываете, mon cher.

— Я потому говорю-съ, чтобы вы поняли-съ, что вамъ на шансы-то рассчитывать нечего. Это все одно мечтаніе-съ, шпикъ, такъ-сказать. Вѣрьте-съ слову... Поищите, батюшка, другихъ средствъ, посолдиѣе.

— Но какихъ-же средствъ, какихъ? Ну, вы вотъ дѣловой человѣкъ, ну посовѣтуйте.

— А и въ самомъ дѣлѣ развѣ посовѣтовать? ухмыльнулся Загржемовичъ.— Да что-же посовѣтовать-то?.. Одно вотъ развѣ: хватите-ка богатенькую невѣсту.

— Ваh! я-бы всей душой. Но откуда достать ее, mon cher, откуда? Нынче, съ этимъ прогресомъ, даже купчихи вывелись.

— Ну, если пошарить, такъ можно найти. Не даромъ ска-

зано въ писаніи: ищите и обрящете. Да вотъ-съ у меня, признаться, одна даже на примѣтъ есть, хотите посватаю?

— Вы смѣтаетесь, *mon cher*?

— Нѣтъ, безъ всякихъ шутокъ-съ. Только не знаю, понравится-ли?

— Очень богата?

— Сундуки ломаются-съ. На этотъ счетъ останетесь довольны. Боюсь вотъ только, молода покажется.

— *Sac à papier!* Вы меня интригуете?

— Такъ молода, что за несовершеннолѣтіемъ, пожалуй, пошъ вѣнчать не станетъ-съ... За шестьдесятъ за пять-съ...

Загржембовичъ выговорилъ это не безъ нѣкоторой боязни: онъ ожидалъ, что поразить Никса годами предлагаемой невѣсты. Но, къ его удивленію, Никсъ даже и усомъ не повелъ: только лѣниво потянулся и выбросилъ изъ глаза монокль.

— *Ugraiment!* По мнѣ все равно, проговорилъ онъ, мгновенно возвращаясь къ своей небрежной невозмутимости.—А кто такая, *mon cher*?

— А вотъ домовладѣлица наша, генеральша Объерыкова.

— Объерыкова? *Mais quelle horrible nom.* — Объерыкова... Вѣрно, чудовище какое-нибудь?

— Да ужъ за красоту не взыщите... За то капиталы-съ—конца-края нѣтъ, вотъ что дорого.

— Очень любопытно: богатое чудовище... Ну, и что-же эта... какъ вы назвали: Заварыкова, Объерыкова?—изъ какихъ-же она?

— Генеральша-съ, вдова.

— И желаетъ замужъ?

— То-есть спитъ и видитъ-съ... вотъ какъ-съ... И чтобы за молоденькаго, да-съ... Привередливая старуха, хе, хе, хе... Совѣтую дѣйствовать, Николай Афонасьевичъ, совѣтую-съ: дѣло спорое-съ...

Загржембовичъ потрепалъ Никса по волѣнѣ. Никсъ самодовольно поморщился.

— Какая это у васъ скверная вакханка, вдругъ отвлекся онъ отъ предмета разговора, указывая взглядомъ на картину, висѣвшую на стѣнѣ.—Вы совсѣмъ не имѣете вкуса, *mon cher* Адамъ Антоновичъ... Вообще все это у васъ, и обои, и драпировки—все ужасно грубо, ужасно *mauvais genre*...

Загржемовичъ хотѣлъ-было обидѣться. Но дипломатическаго юношу, завидѣвшаго выходъ изъ положенія субъекта, прижатого къ стѣнѣ, теперь трудно было смирить: онъ не далъ ему вымолвить слова и быстро продолжалъ:

— Да, да, вы ничего не смыслите, топ сег, въ изящномъ, ровно ничего... Повѣрьте Никсу, да... Ну, такъ какъ-же насчетъ этого вашего чудовища?

— Что-жь, не угодно-ли будетъ смотрины сдѣлать?

— Смотрины? Что это такое смотрины, топ сег? Что такое?

— Невѣсту будущую не хотите-ли, моль, посмотрѣть?

— Ахъ, очень, очень. Я заинтересованъ; это пресмѣшно. Покажите, топ сег, вашего монстра. Посмотримъ, оцѣнимъ и потомъ потолкуемъ.

— Когда-же вамъ угодно будетъ назначить день?

— День? Ну, да когда хотите. Хоть сегодня, пожалуй.

— Надо будетъ предупрежденіе сдѣлать-съ, приготовить старуху. Вдругъ нельзя-съ.

— Ну, какъ хотите. Приготовляйте, я ужъ это вамъ все предоставляю... Руководите... А тамъ увидимъ.

— Да-съ, хорошо, очень хорошо-съ, если-бы это дѣльце вы, Николай Афонасьевичъ, обработали... Тутъ-съ, изволите видѣть, такіе капиталы загрести можно—помраченіе ума-съ... Вотъ я вамъ все пунктуально разъясню-съ.

И Загржемовичъ принялся разъяснять пунктуально.

666.

*(Продолженіе будетъ.)*

## ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА.

---

Обзоръ событій нынѣшняго года.—Обанкротившіяся правительства.—Герой нашего времени, Бетель Струсбергъ. — Жизнь его въ Лондонѣ и Соединенныхъ Штатахъ. — Струсбергъ находитъ свое призваніе. — Промышленныя предпріятія Струсберга. — Его благотворительность. — Ловкое дѣльце въ Румініи. — Внутреннія затрудненія и экономическій упадокъ въ Германіи. — Новый избирательный законъ во Франціи. — Выборъ сенаторовъ. — Въ Испаніи все идетъ по-старому. — Экс-королева Изабелла. — Святѣйшій отецъ папа благодумствуетъ. — Современное значеніе Италіи. — Поразительная перемена европейской политики. — Жизненный нервъ европейской политики. — Слухи о готовящемся возстаніи въ Болгаріи. — Варварскій способъ веденія войны въ Босніи и Герцеговинѣ. — Эмиграція изъ возставшихъ провинцій. — Раса, религія и языкъ не составляютъ главной причины вражды, характеризующей Турцію. — Въ чемъ заключается органическій порокъ турецкаго государства? — Лучше-ли самимъ туркамъ въ Турціи, чѣмъ христіанамъ?

Въ настоящей хроникѣ мы намѣрены представить нашимъ читателямъ краткій обзоръ событій нынѣшняго года. Время теперь самое удобное для такой работы. Когда солнце не свѣтитъ, а если и выглянетъ изъ-за густыхъ тучъ, то не грѣетъ; когда земля покрыта толстымъ слоемъ снѣга; когда въ Петербургѣ короткое утро быстро снѣняется сумерками и затѣмъ наступаетъ длинная полярная ночь, — въ такое время очень удобно предаваться серьезнымъ размышленіямъ и дѣлать оцѣнку событіямъ. Уличный шумъ не проникаетъ въ комнату, гдѣ царитъ мертвая тишина. Мысль работаетъ, бесконечно работаетъ и, мало-по-малу, подъ влияніемъ густого мрака и сѣраго неба, уносится далеко, въ тѣ пространства разрѣженной атмосферы, лежащей за моремъ тучъ и облаковъ, гдѣ холодное солнце свѣтитъ ярко, золотя своими лучами прихотливыя формы облаковъ. Но въ этихъ высочайшихъ сферахъ человѣкъ не можетъ дышать, слѣдовательно,

тамъ нѣтъ мѣста для мышленія; обезсиленный человѣкъ волей-неволей долженъ спуститься въ область густого тумана, въ море снѣга, и плавать въ этомъ пространствѣ. И мысль наша недолго витаетъ въ лазурныхъ сферахъ...

Подъ вліяніемъ окружающей обстановки мы обращаемся къ воспоминаніямъ; передъ нами проходитъ рядъ событій счастливыхъ и несчастныхъ; проходятъ дѣятели всякаго рода—и люди, жертвующіе всѣмъ для блага другихъ, во имя великой идеи, и ловкіе дѣльцы, съ апломбомъ запускающіе руку въ карманъ ближняго, и примирители, никого не примирающіе, а только запутывающіе и безъ того запутанное положеніе. Эти воспоминанія волнуютъ, невольно возбуждаютъ надежды, которыя быстро смѣняются отчаяніемъ; въ результатъ полная неудовлетворенность, сомнѣніе въ здравомысліи людей, нежелающихъ извлекать никакихъ уроковъ изъ исторіи, слѣпо выдающихся въ пропасть и незамѣчающихъ, что счастье было такъ близко, такъ возможно...

Мы не ставимъ себѣ задачей слишкомъ много распространяться по поводу тѣхъ или другихъ фактовъ. Хроника—не ученая диссертація; къ теоріямъ и отвлеченностямъ она можетъ обращаться только въ случаѣ крайней необходимости. Для послѣдовательности событій не существуетъ никакого опредѣленнаго порядка; известное событіе возникаетъ иногда въ тотъ самый моментъ, когда его менѣе всего ожидаютъ. Хроникеры часто, если можно такъ выразиться, насилуютъ событія, стараясь расположить ихъ въ искусственномъ порядкѣ. Журналисты—Прокусты, терзающіе современные событія, урѣзывая ихъ, грубо и неловко перекраивая съ цѣлю приноровить ихъ къ размѣрамъ и излюбленнымъ теоріямъ своей газеты. Что касается насъ, мы чувствуемъ религіозное почтеніе къ факту; вмѣсто того, чтобы пропускать событія сквозь призму нашихъ мнѣній, мы пытаемся наши мнѣнія объяснить событіями. Повидимому, это вполне логично и естественно, но такое отношеніе къ факту встрѣчается очень рѣдко и, смѣемъ прибавить, оно представляетъ не мало затрудненій. Рѣдкій историкъ относится вполне добросовѣстно къ факту; рѣд-

кѣй понимаетъ, что иной фактъ слишкомъ краснорѣчиво говоритъ самъ за себя и не требуетъ риторическихъ комментариевъ. Точность историка должна-бы, по-настоящему, не отступать отъ точности алгебраической формулы, въ которой нѣтъ ни слова лишняго; историкъ долженъ больше всего заботиться о правдѣ и истинѣ, а не предаваться риторическимъ упражненіямъ въ слогѣ. Такъ-бы слѣдовало быть, но много-ли историковъ, свободныхъ отъ обвиненія въ пустой болтовнѣ и извращеніи фактовъ?

Въ настоящей хроникѣ мы не даемъ подробнаго отчета о всѣхъ событіяхъ нынѣшняго года, что потребовало-бы слишкомъ обширной статьи; мы остановимся только на нѣкоторыхъ особенно яркихъ событіяхъ, большая часть которыхъ еще не успѣла исчезнуть изъ памяти нашихъ читателей. По правдѣ сказать, событія нынѣшняго года не представляютъ собой особеннаго интереса, тѣмъ болѣе, что со времени возстанія въ Герцеговинѣ вниманіе всей Европы сосредоточено на Турціи...

---

Европейскія биржи управляются синдикатами, въ члены которыхъ выбираются биржевые дѣятели. Эти биржевые судилища имѣютъ право воспрещать входъ въ храмъ Плутуса биржевымъ игрокамъ, провинившимся въ томъ, что они своевременно не уплатили разницы; а также, конечно, плутамъ, слишкомъ ужъ явно, скандально обнаружившимъ свои мазурническія наклонности; и, наконецъ, спекуляторамъ, до того зарвавшимся, что имъ пришлось явиться на скамьѣ подсудимыхъ. Послѣднія двѣ категоріи навсегда лишаются права вести дѣла на биржѣ; первая-же можетъ надѣяться на снисхожденіе. На практикѣ, впрочемъ, случается такъ, что изгнанные второй и третьей категоріи возвращаются къ биржевой дѣятельности снова, когда позабудутъ объ ихъ подвигахъ и они найдутъ милостивцевъ, готовыхъ провести ихъ въ святилище плутократіи. До сихъ поръ исключались изъ биржевого сообщества исключительно частныя лица и сдѣлано постановленіе, чтобы ни на одной биржѣ не принимались испанскіе фонды. Но теперь законъ о воспрещеніи дѣятельности на биржѣ, повидимому, намѣренъ распространить и на правительства, невыполняющія своихъ долговыхъ обязательствъ. Банкрот-

ство въ отношеніи своихъ европейскихъ кредиторовъ правительствъ Перу, Венецуэлы, Парагвая, Сан-Доминго, Коста-Рика и Гондураса сильно скандализировало финансовую публику. Изъ ея среды вышелъ проектъ учрежденія международного судилища для разбирательства дѣлъ между обанкротившимися правительствами и ихъ кредиторами. Нѣкоторые изъ очень огорченныхъ кредиторовъ предлагали даже устройство международной долговой тюрьмы, въ которую можно-бы было заключать несостоятельныя правительства. Но пока еще не совершились предлагаемыя реформы, лондонское *сити* торжественно и гласно выразило свое неудовольствіе вышеназванными обанкротившимися правительствами. Оно рѣшило, что официальные представители этихъ правительствъ не получаютъ приглашенія на большой пиръ, даваемый лондонскимъ лордомъ-меромъ дипломатическимъ агентамъ, аккредитованнымъ при великобританскомъ правительствѣ.

„ — Почему-же вы пригласили турецкаго посланника? “ спросила ихъ сатирическая газета „Punch“.

Москва дѣлаетъ великую честь, что она захватила и заперла въ тюрьму знаменитаго Струсберга, одного изъ замѣтныхъ дѣятелей въ новой Германіи, славу нѣмецкаго іудейства: какъ извѣстно, Струсбергъ принадлежитъ къ числу еврейскихъ богачей, по ихъ словамъ, „въ настоящее время держащихъ міръ въ своихъ рукахъ“. Имя Струсберга несомнѣнно перейдетъ и въ исторію, и въ романъ. Его будутъ цитировать каждый разъ, когда явится необходимость выставить новый примѣръ (сотни ихъ уже выставлены) изумительныхъ промышленныхъ и коммерческихъ способностей, которыми одарены дѣти Израиля. Христіане принуждены были признать и признаютъ преимущество надъ собой евреевъ въ этомъ отношеніи; правда, христіане при этомъ утѣшаютъ себя тѣмъ, что считаютъ себя честнѣе.

Бетель Струсбергъ родился въ 1823 году въ восточной Пруссіи. Едва исполнилось ему 12 лѣтъ, родители послали его для зарабатыванія хлѣба въ Лондонъ, гдѣ жилъ его дядя, занимающій комисіонерствомъ. Бетель пристроился къ дядѣ и, бѣгая туда и сюда, немилосердно топчя свои башмаки, зарабатывалъ по нѣскольку копеекъ въ день. Однакожь, комисіонерство его не удов-

летворило. Онъ пробовалъ разныя занятія, пытался изучать ремесла, но долго не могъ похвалиться удачей. Онъ былъ еще очень молодъ, когда отрекся отъ закона своихъ отцовъ и принялъ англиканскую религію. Обращеніе въ христіанство поставило его въ сношенія съ англиканскими религіозными газетами. Познакомившись съ газетнымъ дѣломъ, Струсбергъ задумалъ издавать полу-политическую, полу-промышленную газету, рассчитывая, что съ ея помощью онъ достигнетъ степеней извѣстныхъ.

Но газета не пошла; фортуна все еще не поворачивалась къ искателю счастья Струсбергу. Въ 1848 году мы встрѣчаемъ его въ Соединенныхъ Штатахъ учителемъ въ нѣмецкой школѣ. Вскорѣ онъ занялся покупкой оптомъ грузовъ попорченныхъ товаровъ и, продавая ихъ въ розницу, нажилъ небольшой капиталъ, который, впрочемъ, потерялъ, сдѣлавшись снова журналистомъ въ Лондонѣ (въ 1858 году). Обманутый въ своихъ надеждахъ, онъ возвратился въ отечество и поселился въ Берлинѣ, „городѣ интеллигенціи“, принявъ должность агента одной изъ англійскихъ страховыхъ компаній. Наконецъ, въ 1864 году онъ нашелъ свое призваніе. Онъ сошелся съ нѣсколькими англійскими капиталистами, которые ссудили ему капиталъ на постройку желѣзной дороги отъ Тильзита до Гинтербурга. Черезъ шесть лѣтъ Струсбергъ, идя въ хвостъ за Блейхредеромъ и другими финансистами, сталъ лицомъ замѣтнымъ, особой. Онъ былъ на-столько уменъ, что добылъ титулъ „доктора“, имѣющій не малое значеніе въ странѣ ординарныхъ и экстраординарныхъ професоровъ.

Докторъ Бетель Струсбергъ принадлежитъ къ числу тѣхъ рѣшительныхъ игроковъ, которые не задумываются удвоивать свою ставку, рассчитывая такой игрой скорѣе и вѣрнѣе сорвать банкъ. Струсбергъ кинулся въ громадныя спекуляціи, въ которыя съ благородной развязностью онъ вкладывалъ чужія деньги. Рискуя миліонами, которыхъ у него не было, онъ приобрѣлъ дѣйствительные миліоны. Вскорѣ онъ выстроилъ въ Берлинѣ дворецъ, затмившій самыя богатѣйшія дома въ городѣ. Онъ купилъ въ Пруссіи 10 имѣній, въ Богеміи огромное имѣніе, за которое заплатилъ два съ половиною миліона рублей. Если-бы биржа раздавала титула, то Струсберга слѣдовало-бы назвать барономъ преміи, графомъ учета, маркизомъ дисконта. Авантюристы разнаго рода спѣшили пристроиться къ дѣламъ Струсберга; сотнямъ та-



кихъ игроковъ онъ раздавалъ свои приказанія. Къ нему несли свои сбереженія пасторы-пѣтисты, старухи-ханжи, даже многія знатныя вдовы, въ надеждѣ, что великій финансистъ удвоитъ имъ ихъ небольшіе капиталы. Въ Берлинѣ онъ захватилъ концесію на постройку мясного рынка; въ Антверпенѣ онъ взялся снести старую цитадель и превратилъ это обширное мѣсто въ новый городской кварталъ; въ Ганноверѣ онъ выстроилъ заводъ для производства локомотивовъ, на которомъ у него работаетъ 5,000 человекъ. Въ его промышленныхъ предпріятіяхъ работало почти 100,000 человекъ; 75,000 семей получали средства къ жизни чрезъ его посредство. При всемъ томъ онъ не былъ скрытой, чѣмъ бываетъ большинство выскочекъ. Онъ любилъ благотворить въ широкихъ размѣрахъ. Въ одну зиму онъ раздавалъ до 10,000 порцій супу въ день бѣднякамъ и раздавалъ нуждающимся топлива на 65,000 рублей. Когда на его родинѣ, въ восточной Пруссіи, случился голодъ, онъ отправилъ туда нѣсколько поѣздовъ съ хлѣбомъ и картофелемъ. Его можно считать плутомъ большой руки, но въ скряжничествѣ его нельзя обвинить. Онъ купилъ каменноугольныя и антрацитовыя копи, желѣзные рудники, построилъ чугунно-литейные и желѣзные заводы и паровыя кузницы въ Богеміи, въ Пруссіи и, кажется, въ Петербургѣ. Въ Германіи, въ Венгріи, въ Румыніи и въ Россіи онъ былъ концессіонеромъ и строителемъ нѣсколькихъ тысячъ верстъ желѣзныхъ дорогъ. Въ 1870 году въ дѣлахъ, въ которыхъ онъ принималъ участіе, обращался капиталъ въ 450 миліоновъ рублей. Главнымъ руководителемъ всѣхъ этихъ дѣлъ былъ онъ. А двадцать лѣтъ передъ тѣмъ онъ считалъ себя счастливымъ, если ему удавалось заработать въ день 50 копеекъ. Струсберги—эти смѣлые авантюристы—должны считаться истинными героями нашей эпохи. Во всѣхъ большихъ городахъ Европы тысячи молодыхъ людей съ глубокимъ вздохомъ подымали глаза къ небу, смотрѣли на вечернюю звѣзду и восклицали: „Ахъ, если-бъ мнѣ удачу Бетеля Струсберга!“

У насъ передъ глазами находится теперь портретъ великаго финансиста. Онъ представленъ въ видѣ Колосса родосскаго; правая нога его стоитъ на антверпенской цитадели, лѣвая на городѣ Букарестѣ; внизу, между ногъ его, проходитъ поѣздъ желѣзной дороги.

Здѣсь встаетъ припомнить букарестское дѣло Струсберга, которое около трехъ лѣтъ тому назадъ надѣлало страшной тревоги, едва не смутило миръ Европы, легло тяжелымъ бременемъ на Молдаво-Валахію и сильно пошатнуло популярность Карла гогенцолернскаго, князя румынскаго.

Концесія на проведеніе сѣти желѣзныхъ дорогъ въ Румыніи румынскимъ правительствомъ была отдана берлинской компаніи, во главѣ которой стоялъ Струсбергъ, а въ числѣ акціонеровъ были: принцъ Антонъ Гогенцолернъ, отецъ румынскаго князя, князь Гогенлоэ, герцогъ Уэстъ, герцогъ Ратиборъ и графъ Ленсдорфъ—все люди близкіе князю Висмарку.

Слѣдовало построить 930 километровъ (871 верста) желѣзной дороги. Правительство гарантировало огромный процентъ ( $7\frac{1}{2}$ ) на капиталъ въ  $62\frac{1}{2}$  миліона рублей, слишкомъ 71,750 рублей на версту. Акціи и облигаціи разрѣшалось пускать въ обращеніе частями, по мѣрѣ постройки участковъ дороги. Румынскіе капиталисты одинъ передъ другимъ старались приобрѣсть акціи предпріятія, сулившаго громаднаго выгоды, — предпріятія, которое въ Германіи иначе не называли, какъ національнымъ румынскимъ.

Когда первая треть сѣти, идущая отъ Букареста черезъ Галацъ до Римника, была окончена, инспекторы, назначенные по указанію самого Струсберга, нашли ее выстроенною превосходно и готовою для эксплуатаціи. Едва гг. инженеры подписали свой похвальный отзывъ, получилось извѣстіе, что одинъ изъ мостовъ снесенъ водою; чрезъ нѣсколько времени дали знать, что и другой мостъ постигла та-же участь. Оказалось, что желѣзную дорогу строили, не принявъ въ соображеніе, что румынскія рѣки сильно разливаются послѣ проливныхъ дождей. Къ тому-же дорога была выстроена такъ непрочна, что значительная часть полотна была размыта дождемъ. Станціи были выстроены такъ плохо, что многія изъ нихъ послѣ перваго проливного дождя покосились; вообще дорога представляла самый безотраднѣйшій видъ. По всей Румыніи пронесся крикъ негодованія и Струсбергъ былъ привлеченъ къ суду. Открылись ужасныя злоупотребленія въ расходованіи акціонернаго капитала, но тѣмъ не менѣе румынское правительство взяло подъ свою защиту доктора Струсберга, что имѣло послѣдствіемъ паденіе популярности принца Карла. Компа-

нія Струсберга, затративъ весь акціонерный и облигаціонный капиталы, кое-какъ сваяла двѣ трети линіи и объявила себя несостоятельной. Такимъ образомъ, небогатая румынская казна принуждена была вписать въ свою долговую книгу долгъ слишкомъ въ 20 миліоновъ рублей, на которые она должна платить 7½ процентовъ. Между тѣмъ ежегодный бюджетъ Румыніи не превышаетъ 15 миліоновъ рублей. Можно судить, съ какимъ уваженіемъ относится теперь румынскій народъ къ нѣмецкой культурѣ и цивилизаціи, какъ онъ цѣнитъ моральныя качества нѣмцевъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что дѣло Струсберга убило симпатіи Румыніи къ прусской политикѣ.

Всемогущая германская имперія чувствуетъ себя не совсѣмъ хорошо въ своихъ расширенныхъ границахъ; можно сказать безъ преувеличенія, что въ послѣднее время она стала бояться даже своей собственной тѣни. Мольтке въ своей рѣчи, произнесенной въ палатѣ, замѣтилъ, что положеніе, гарантированное версальскимъ трактатомъ, можетъ считаться прочнымъ никакъ ужъ не болѣе 50 лѣтъ. Но высказавъ такое завѣреніе, онъ поспѣшилъ прибавить, что очень много случайностей можетъ произойти втеченіи этого полувѣка, слѣдовательно, надо быть ко всему готовымъ.

Въ виду этихъ-то случайностей руководителя новой германской имперіи порѣшили, что надо прежде всего разгромить совершенно Францію, разгромить такъ, чтобы она уже не могла болѣе подняться на ноги. Бисмаркъ считалъ легкимъ дѣломъ справиться съ Мак-Магономъ, такъ блистательно внезапно своимъ талантъ полководца при Вертѣ и Седанѣ; онъ былъ убѣжденъ, что версальское національное собраніе, занятое борьбою партій, взаимно ненавидящихъ другъ друга, не сумѣетъ принять никакихъ рѣшительныхъ мѣръ въ сопротивленію вторженію и Франція снова окажется безсильной отразить германскія полчища. Канцлеръ германской имперіи не сомнѣвался въ побѣдѣ и рассчитывалъ осуществить свой планъ нынѣшней весной, но былъ остановленъ въ своихъ честолюбивыхъ замыслахъ рѣшительнымъ тре-

бываніемъ русскаго императора, чтобы европейскій миръ не былъ нарушенъ. Союзъ съ Россіей слишкомъ важенъ для Германіи, и какъ ни отваженъ Бисмаркъ, но онъ не осмѣлился рискнуть имъ.

Правительство новой германской имперіи охотно бросилось-бы въ новую войну, чтобы только, хотя на время, пріостановить внутреннія затрудненія. Борьба канцлера съ ультрамонтанствомъ до сихъ поръ сопровождалась самыми сомнительными успѣхами. Бисмаркъ много рассчитывалъ на дѣятельность либеральныхъ (или старыхъ, какъ они себя сами называютъ) католиковъ, но ни рвеніе знаменитаго Деллингера, ни старанія докторовъ отъ либерализма и професоровъ раціональной теологіи не привели ни къ чему. Не помогъ даже самъ Гладстонъ, отказавшійся отъ государственной дѣятельности для протестантской пропаганды. Брошюры его о римскомъ католицизмѣ попали въ тонъ заявленіямъ канцлера германской имперіи, но не принесли ему никакой пользы. Правда, брошюры эти, подписанныя такимъ извѣстнымъ именемъ, разошлись въ Великобританіи въ количествѣ 150,000 экземпляровъ. Въ переводахъ онѣ распродавались также успѣшно, въ особенности во Франціи, благодаря болѣе всего тому, что представитель французскаго либерализма, министръ Бюффе, запретилъ продажу ихъ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Но къ несчастію для Бисмарка, германскіе ультрамонтане не захотѣли читать брошюру Гладстона и всегда отворачиваются отъ ученыхъ трудовъ свѣтилъ германскаго либеральнаго католицизма, докторовъ Брауна и Михалиса и даже самого Деллингера.

И матеріальное положеніе Германіи не изъ завидныхъ. Вездѣ существуетъ промышленный и комерческій застой. Отъ него страдаютъ Гамбургъ и Берлинъ, Вѣна, Пешть и Франкфуртъ, вообще всѣ города и области, вращающіеся въ солнечной системѣ князя Бисмарка.

Австро-Венгрія еще не оправилась отъ *краха* 1873 г. Венгрія въ финансовомъ отношеніи стоитъ хуже, чѣмъ даже сама Австрія. Сѣверная Германія страдаетъ хроническими желудочными болями, происшедшими отъ несваренія пяти-миліардной контрибуціи. Результатомъ наплыва денегъ въ Германію явилось увеличеніе бѣдности. Цѣна на жизненные припасы увеличилась въ большей пропорціи, чѣмъ заработная плата. Вывозъ мѣстныхъ произведеній уменьшился, въ то-же время привозъ иностранныхъ значительно

увеличился. Конкуренція эльзасскихъ и лотарингскихъ фабрикъ разорила мѣстныя германскія мануфактуры. И какъ послѣ этого не воскликнуть: да здравствуетъ слава! да здравствуетъ побѣда! Впередъ! будемъ продолжать наши завоеванія!

Версальское національное собраніе, избранное въ дни горя и печали, какъ выразился одинъ изъ его предводителей, Бэле, должно скоро разойтись. Наконецъ-то! Давно пора! Повторимъ вратцѣ всѣмъ извѣстную, поучительную въ отрицательномъ смыслѣ, исторію его, для лучшаго уясненія событій нынѣшняго года. Собраніе въ большинствѣ своихъ членовъ состоитъ изъ представителей трехъ монархическихъ партій: легитимистовъ, орлеанистовъ и бонапартистовъ, избранныхъ въ оппозицію республиканской партіи, желавшей войны и сопротивленія до послѣдней крайности. Всѣ полагали, что собраніе, окончивъ дѣло, для котораго оно было избрано, т. е. заключивъ миръ съ Германіей, немедленно разойдется. Не тутъ-то было! Большинство, которому, благодаря бѣдствіямъ Франціи, досталась власть въ руки, захотѣло извлечь изъ нея все, что было возможно. Конечно, оно рѣшило прежде всего отстранить республиканскую партію отъ власти, которой пользовались нѣкоторые изъ ея представителей въ силу событій. Это исполнилъ Тьеръ, но тутъ онъ объявилъ, что страна не желаетъ монархіи. Большинство вознегодовало за это на Тьера и заставило его выйти въ отставку. Тотчасъ-же явилось три претендента на престолъ Франціи. Между тремя монархическими партіями началась ожесточенная борьба. Легитимисты, орлеанисты и бонапартисты—или какъ ихъ называлъ одинъ сатирической листокъ: Карабасъ, Роберъ Макэръ и Кассъ-Мажу, т. е. представители трехъ извѣстныхъ типовъ французскаго общества—ни въ чемъ не могли согласиться. Наконецъ, орлеанисты показали видъ, что намѣреваются войти въ соглашеніе съ легитимистами; они отправились въ Фросдорфъ на поклоненіе графу Шамбору, увѣряли его въ своей преданности ему, какъ законному королю, и въ то-же время при всякомъ удобномъ случаѣ выставляли его въ смѣшномъ видѣ, такъ-что сдѣлали, наконецъ, невозможной его реставрацію. Легитимисты, разумѣется, отвернулись отъ своихъ

недавнихъ союзниковъ. Тогда орлеанисты подали руку бонапартистамъ. Зная, что эти головорѣзы способны на все, орлеанисты съ изумительной щедростью стали раздавать имъ мѣста въ администраціи, арміи и судѣ. Бонапартисты такъ много получили, что сами съ изумленіемъ спрашивали себя: за что на нихъ посыпалась такая благодать? Такая система правленія получила названіе *нравственнаго порядка*; она особенно процвѣтала, когда власть находилась въ рукахъ Брольи и Бэле. Очнувшіеся отъ своего пораженія бонапартисты ободрились и принялись наносить удары направо и налево. Они преслѣдовали республиканцевъ по приказанію своихъ патроновъ, орлеанистовъ; они издѣвались надъ легитимистами, потому что патроны смотрѣли на это сквозь пальцы и только ухмылялись. Наконецъ, они стали поколачивать и самихъ своихъ патроновъ. Испуганные орлеанисты бросились въ объятія Гамбеты. Давъ, такимъ образомъ, урокъ своимъ союзникамъ бонапартистамъ, орлеанисты снова подали имъ руку и посовѣтовали слушаться и буквально исполнять приказанія своихъ патроновъ. Бонапартисты дали слово не выходить изъ повиненія и, какъ водится, надули, проваливъ орлеанистскихъ кандидатовъ на выборахъ въ сенатъ.

Такова исторія версальскаго собранія до 25 февраля нынѣшняго года, когда едва терпимая республика была провозглашена официально большинствомъ одного голоса. Орлеанскіе принцы, опасаясь государственнаго переворота, на который могли рискнуть бонапартисты, приказали своимъ друзьямъ подать голосъ за республику. Орлеанисты разсчитываютъ добиться штатгальтерства герцога Омальскаго, а затѣмъ возведенія на тронъ графа Парижскаго, подъ именемъ Луи-Филиппа II.

Но чтобы вѣрнѣе осуществить свои планы, орлеанисты дали республикѣ, состоящей подъ патронатомъ Валлона, такую конституцію, которая даетъ имъ возможность во всякое время свергнуть республику и замѣнить ее орлеанской монархіей, что, впрочемъ, едва-ли имъ удастся, такъ-какъ орлеанская монархія, по крайней мѣрѣ, въ настоящее время, не имѣетъ никакихъ шансовъ на успѣхъ. Болѣе всего они питаютъ надежду на сенатъ, президентомъ котораго они намѣревались выбрать герцога Омальскаго и которому по конституціи дана довольно широкая власть.

Между тѣмъ Бюффе, имѣющій въ своемъ распоряженіи пре-

фектовъ, готовыхъ на все, и множество мэрoвъ, желающихъ уго- дить министру, подготовилъ новый избирательный законъ. Онъ разсчитываетъ на-столько повліять на выборы посредствомъ адми- нистраціи, что въ будущую палату войдетъ большинство орлеа- нистовъ, которое, конечно, выберетъ президентомъ палаты герцога Омальскаго, а тамъ до штатгальтерства останется сдѣлать только одинъ шагъ. Главныя статьи новаго избирательнаго закона, при- нятаго палатой, слѣдующія: вотированіе по спискамъ замѣняется вотированіемъ по округамъ и въ нѣкоторыхъ городахъ и окру- гахъ, избравшихъ почти исключительно республиканцевъ, число депутатовъ уменьшено. Напрасно люди благоразумные въ палатѣ доказывали, что вотированіе по спискамъ болѣе справедливо, ра- ціонально и практично, что при немъ менѣе поводовъ къ враждѣ и несогласію,—большинство, которымъ заручился Бюффе, ничего не хотѣло слушать: оно вообразило себѣ, что при вотированіи по округамъ легче пройдутъ официальные орлеанистскіе кандидаты. Но, кажется, оно ошиблось въ своемъ расчетѣ: извѣстнѣйшія изъ французскихъ республиканскихъ газетъ доказываютъ, что при- нятіе новаго избирательнаго закона нисколько не уменьшаетъ шан- совъ кандидатовъ республиканской партіи; напротивъ, въ нѣко- торыхъ мѣстностяхъ, благодаря новому дѣленію на избиратель- ные округа, шансы эти увеличиваются.

Затѣмъ палата приступила къ выбору изъ своей среды 75 несмѣняемыхъ сенаторовъ. Бюффе и его друзья надѣялись, что большинство сенаторскихъ мѣстъ достанется орлеанистамъ. На- чалась дѣятельная интрига, шли самыя беззащитныя торги и переторжки. Наконецъ Боше, Бюффе, Брoльи, Виттъ и Лефевръ-Понталисъ рѣшили, что каждый изъ нихъ можетъ расчитывать на большинство въ три голоса и, слѣдовательно, избраніе его несомнѣнно. Далѣе они порѣшили, что ни одно имя не попадетъ въ ихъ кандидатскій списокъ безъ одобренія герцога Омаль- скаго.

Тщетно легитимисты умоляли ихъ: „дайте намъ хотя нѣсколько маленькихъ мѣстъ въ сенатѣ!“ — орлеанисты оставались непре- клонными. Тогда случился поворотъ, котораго не предвидѣли мудрые стратеги-орлеанисты. Взбѣшенные легитимисты обратились къ Гамбетѣ:

— Мы заключаемъ съ вами союзъ, говорили они;—мы пода-

димъ голоса за Марку, за Наке, за кого вы хотите, только не допускайте пройти ни одному орлеанисту; они надули и васъ, и насъ.

Съ такой-то цѣлью былъ заключенъ этотъ странный союзъ между Гамбетой и Шалемель-Лакуромъ съ одной стороны и марквизомъ де-ла-Рошетомъ съ другой, между республиканцами и легитимистами. При вотированіи, которое во Франціи получило названіе „борьбы журавлей съ лягушками“, одержалъ верхъ списокъ лѣвой стороны; огромное большинство сенаторскихъ мѣстъ получили республиканцы и легитимисты; орлеанисты-же прошли въ ничтожномъ меньшинствѣ: ни Бюффе, ни Боше, ни Понталисъ, ни Бродь не выбраны.

Борьба за сенаторскія мѣста очень занала парижскую публику; по поводу ея сказано много остротъ и нарисовано карикатуръ. Эта борьба закончила карьеру версальскаго національнаго собранія и очень ярко характеризуетъ политику партій, на которыя дѣлится собраніе,—политику, ронявшую всѣ партіи безъ исключенія.

Версальское собраніе, наконецъ, разойдется, Франція легко вздохнетъ. Новѣйшая исторія не представляетъ ни одного примѣра подобнаго политическаго собранія, которое въ такихъ критическихъ, въ такихъ трагическихъ обстоятельствахъ, въ какихъ находилась Франція въ послѣднія пять лѣтъ, выказало-бы себя до такой степени неспособнымъ, безсердечнымъ и эгоистичнымъ, какъ версальское.

Франція ждала долго—можетъ быть, даже слишкомъ долго—новыхъ выборовъ. Будемъ надѣяться, что всеобщая подача голосовъ, причинившая такъ много зла Франціи утвержденіемъ власти за Наполеономъ III и выборомъ версальской палаты, на этотъ разъ, въ 1876 году, будетъ примѣнена осмотрительнѣе и дастъ странѣ разумную палату, которая съумѣетъ поправить зло, надѣлавное ея предшественницей.

---

Промель годъ, какъ юный Альфонсъ, благодаря государственному перевороту, совершенному генералами Ховеларомъ и Кампосомъ, признанъ королемъ Испаніи. Годъ тому назадъ онъ игралъ



торжественный въездъ въ Мадридъ на бѣлой лошади. Весь городъ былъ разукрашенъ флагами; дамы съ балконовъ махали платками, видали цвѣты, выпускали голубей, украшенныхъ лентами національныхъ цвѣтовъ; изъ всѣхъ оконъ падалъ дождь бумажекъ, на которыхъ были напечатаны стихи въ честь молодого короля. Шли оживленные толки о томъ, что новое царствованіе дастъ Испаніи миръ и благоденствіе и покончитъ съ ужасной междоусобной войной. Папа прислалъ благословеніе своему „любезному крестнику“. Королева-мать также телеграммой привѣтствовала его и послала свое благословеніе; на поздравленіе своей матери король Альфонсъ отвѣтилъ телеграммой-же въ несовсѣмъ удачной редакціи: „Изъ глубины моего сердца, тронутаго единодушіемъ испанскаго народа, провозгласившаго меня своимъ отцомъ, благодарю тебя и принимаю твое благословеніе, какъ отъ Бога,—принимаю для себя и моихъ сыновей, испанцевъ“. Вручая посланному знамя съ гербомъ Кастиліи, онъ сказалъ: „Передайте моей матери это знамя, представляющее собой старинную славу Испаніи, которую я надѣюсь возстановить“.

Какъ только Альфонсъ XII вступилъ на испанскую землю, его кузенъ дон-Карлосъ издалъ слѣдующій манифестъ, который въ то время могъ показаться похвалой, но теперь можно подумать, что, пожалуй, дон-Карлосъ не скоро будетъ побѣжденъ. Вотъ этотъ манифестъ:

„Испанцы!

„Революція, погрязшая во лжи, провозгласила испанскаго короля изъ членовъ моей фамиліи; она рассчитываетъ этииъ путемъ примириться съ требованіями легитимности. Я представитель легитимности. Я одинъ представляю монархію въ Испаніи. Съ царственнымъ презрѣніемъ я отвергаю предложенія, съ которыми осмѣлились обратиться ко мнѣ сентябрьскіе революціонеры, снова совершившіе пагубное, незаконное дѣло.

„Революціонеры хорошо знаютъ, что я не могу быть ихъ королемъ. Глава августѣйшей фамиліи Бурбоновъ въ Испаніи, а съ глубокой горестьюзираю на поступокъ моего кузена Альфонса, который, по неопытности, свойственной его лѣтамъ, согласился быть орудіемъ тѣхъ самыхъ людей, которые изгнали его вмѣстѣ съ его матерью изъ отечества и позволили себѣ противъ нихъ угрозы и сарказмы. Я не протестую; достоинство мое и моей ар-

мін не дозволяєть ніѣ другого протеста, кромѣ того, который съ неодолимымъ краснорѣчіемъ вылетаетъ изъ жерлъ нашихъ пушекъ. Прокламація принца Альфонса не можетъ закрыть передо мной ворота Мадрида; напротивъ, она отерываєть ниѣ дорогу къ возрожденію нашего любезнаго отечества.

„Не пройдетъ имъ даромъ новый актъ преторіанізма, оскорбляющій гордость испанскаго народа! Мои мужественные волонтеры, побѣдившіе въ сраженіяхъ: при Эрроль, Альпіенѣ, Мантегурасѣ, Кастельолитѣ, Соморостро, Абарзуцѣ, Кастелонѣ, Кордовѣ и Урніетѣ, будутъ въ состояніи помѣшать новому оскорбленію, нанесенному нашей великодушной Испаніи, новому скандалу передъ лицомъ цивилизованной Европы.

„Призванный поразить революцію въ нашемъ отечествѣ, я ее поражаю, подъ какимъ-бы видомъ она ни являлась: въ своей-ли дикой лютой и безстыдномъ невѣріи или-же подъ маской набожнаго лицемерія. Испанцы! именемъ Бога, именемъ нашей Испаніи, влянусь вамъ, что я останусь вѣренъ моей святой миссіи, что я стану держать незапятнаннымъ наше святое знамя. Оно служитъ символомъ тѣхъ спасительныхъ принциповъ, которые составляютъ теперь нашу надежду, а завтра будутъ нашимъ торжествомъ.“

Прошелъ годъ—и король Альфонсъ XII еще не возстановилъ древней славы Испаніи, не поправилъ ея финансовъ, которые все еще находятся въ томъ-же безотрадномъ состояніи, въ какомъ были до его вступленія на престолъ. Король по-прежнему все еще деликатничаетъ съ папой, своимъ крестнымъ отцомъ, и по его требованію выдаетъ денежныя вознагражденія богатымъ епископамъ изъ государственной казны, на-столько бѣдной, что она часто бываетъ не въ состояніи удовлетворять самымъ насущнымъ государственнымъ потребностямъ.

Молодой король все еще продолжаетъ деликатничать съ своимъ кузеномъ и соперникомъ дон-Карлосомъ; Сан-Себастьянъ и Бильбао подвергаются бомбардировкѣ, какъ они подвергались ей въ прошломъ году. Впрочемъ, существуетъ нѣкоторая надежда, что гражданская война, наконецъ, окончится въ Испаніи, но не ради побѣдъ мадридскихъ войскъ, а по непоимѣрному истощенію баскскихъ провинцій. Король Альфонсъ нѣсколько разъ хотѣлъ купить миръ; онъ предлагалъ его дон-Карлосу на условіи, что онъ

признаетъ своего кузена испанскимъ инфантомъ и назначить ему огромное содержаніе, но дон-Карлосъ на это предложеніе отвѣчалъ учащенными пушечными выстрѣлами. Тѣмъ не менѣе ходитъ слухъ, что дон-Карлосъ усталъ и желаетъ найти приличный предлогъ, чтобы бросить затѣянную имъ игру и удалиться въ Римъ, Вѣну или Мюнхенъ проѣдать миліоны, наслѣдованные имъ отъ покойнаго герцога Моденскаго.

Хуже всего для молодого Альфонса XII, что онъ также слишкомъ деликатничаетъ и съ своимъ народомъ, который его почти никогда не видитъ. Альфонсъ заявилъ, что онъ намѣренъ обезпечить свободу Испаніи, между тѣмъ большая часть страны находится въ осадномъ положеніи, дѣйствіе конституціи приостановлено и правительство не рѣшается созвать кортесы, что, конечно, придется сдѣлать рано или поздно, но тогда-то и начнутся настоящія затрудненія.

---

Экс-королева Изабелла соскучилась въ Парижѣ. Къ тому-же ей пришлось явиться отвѣтчицей въ очень неприятомъ процесѣ. Главный поваръ ея сбѣжалъ и оказалось, что большинство изъ поставщиковъ уже нѣсколько времени не получали ни гроша по своимъ счетамъ. За уплатой они обратились къ экс-королевѣ. Она объявила, что она не должна платить по этимъ счетамъ, такъ-какъ она платила повару по 12 франковъ въ день съ персонъ и всѣ деньги были ею уплачены. Поставщики обратились съ жалобой въ судъ; экс-королева и въ судѣ дала такой-же отвѣтъ; судъ отказалъ въ искѣ поставщикамъ, которые и дали себѣ слово не отпускать ничего въ кредитъ лицамъ, служащимъ у экс-королевы Изабеллы, хотя-бы они требовали кредита отъ ея имени.

Экс-королева Изабелла, соскучившись въ Парижѣ, захотѣла отправиться на жительство въ Мадридъ и пользоваться тамъ всѣми почестями, присвоенными королевѣ-матери. Но король, ея сынъ, рѣшительно воспротивился ея возвращенію въ милое отечество и не захотѣлъ объяснить причину своего отказа. Экс-королева послала для переговоровъ съ сыномъ знаменитаго Марфори. По совѣту своей сестры, герцогини Джирженти, король прика-

заль арестовать Марфори и сослать его на Филиппинскіе острова. Поводомъ къ аресту послужили существовавшіа будто-бы сношенія Марфори съ „непримиримыми республиканцами“, которые въ Бартагенѣ вели вооруженную борьбу съ правительствомъ Кастелляра. Этотъ фактъ показываетъ, что король Альфонсъ не особенно чтитъ свою мать, благословеніе которой онъ въ официальномъ актѣ называлъ какъ-бы исходящимъ отъ Бога.

---

Святѣйшій отецъ, римскій папа, продолжаетъ выражать глубокую горестъ въ виду постоянно возрастающаго „нечестія“. Онъ плачетъ, отлучаетъ отъ церкви и говоритъ очень чувствительныя рѣчи, нелишенные иногда остроумія и хитрости. Онъ безпрестанно даетъ аудіенціи депутаціямъ изъ разныхъ странъ католическаго міра, приносящимъ ватиканскому узнику сладкій фиміамъ лести и болѣе вещественные знаки своей привязанности, состоящіе въ банковыхъ билетахъ и драгоценныхъ камняхъ, которыми усыпаны образа и статуи святыхъ, подносимыхъ въ даръ главѣ католичества взаимно его пастырскаго благословенія. Доходы папы увеличиваются съ каждымъ годомъ. Этотъ фактъ показываетъ, какъ легко въ католическомъ мірѣ уничтожить налогъ, которымъ государства облагаютъ себя въ пользу духовенства. Святой отецъ сталъ несравненно богаче послѣ отнятія у него свѣтской власти; въ качествѣ свѣтскаго государя онъ нерѣдко нуждался въ деньгахъ, теперь-же не знаетъ, куда ихъ дѣвать, такъ ихъ много у него. Каждая французская епархія обложена въ его пользу отъ 80 до 100,000 франковъ. Какъ видно, продажа соломы, вынутой изъ тюфяка, на которомъ спитъ несчастный ватиканскій плѣнникъ, даетъ хорошіе доходы. Въ своей раззолоченной ватиканской тюрьмѣ этотъ плѣнникъ ведетъ самую спокойную жизнь и пользуется самымъ завиднымъ здоровьемъ на зло Бисмарку, который заботится о томъ, чью кандидатуру на папскій престолъ будетъ поддерживать Германія послѣ смерти Пія IX. На самомъ дѣлѣ папа гораздо здоровѣе самого Бисмарка. Добрякъ Пій IX съ гораздо большимъ спокойствіемъ и хладнокровіемъ принималъ послѣдовательныя пораженія, чѣмъ основатель новой Германія свои побѣды. Говорятъ, что папа до

сихъ поръ не вѣрять въ силу и могущество новой Германіи, что, разумеется, не нравится князю Бисмарку. Въ характерѣ Піа IX есть много женственности и потому онъ чувствуетъ слабость къ „скверному чудовищу“ (такъ онъ самъ называетъ новый порядокъ вещей въ Италіи). Вы, можетъ быть, полагаете, что его симпатіи лежатъ къ Антонелли, къ Патрици или къ кардиналамъ, его окружающимъ? Нѣтъ, болѣе всѣхъ онъ любитъ Гарибальди и Виктора-Эмануила, т. е. своихъ побѣдителей.

— Кто-бы могъ предвидѣть, кто-бы могъ повѣрить, что въ одинъ прекрасный день будутъ вмѣстѣ жить въ Римѣ Джузеппе (Гарибальди), Матракъ (Викторъ-Эмануилъ) и я, сказалъ недавно „непогрѣшимый“, — и что всѣмъ намъ тронимъ будутъ неистово аплодировать каждый разъ, какъ мы высунемъ носъ въ окошко?

Въ нынѣшнемъ году за Италіей сильно ухаживали, чего съ ней не случалось ни разу въ продолженіи трехъ послѣднихъ столѣтій. Ее посѣтили два императора: австрійскій въ Венеціи, германскій въ Миланѣ. Австрія ищетъ ея дружбы и союза на случай войны съ Германіей; Германія—на случай войны съ Австріей и по поводу ея несогласій съ Ватиканомъ.

Оба императора встрѣтили въ Италіи одинаково самый торжественный и сочувственный пріемъ, такъ-что трудно сказать, которой стороны будетъ придерживаться Италія въ случаѣ войны между Германіей и Австріей. Въ обоихъ пріемахъ выразился искренній, неподдѣльный энтузіазмъ итальянцевъ, который, конечно, вызванъ былъ не столько самими августѣйшими посѣтителями, сколько сознаніемъ, что ловкая политика Кавура и его преемниковъ привела къ тому, что могущественные государи такъ чествуютъ недавно еще незначительнаго пьемонтскаго короля.

Эти два посѣщенія служатъ поразительнымъ доказательствомъ переменъ, происшедшихъ въ европейской политикѣ въ послѣдніе годы. Какой контрастъ между настоящимъ положеніемъ и воспоминаніями изъ прошлаго! Нѣсколько лѣтъ тому назадъ каждый счелъ-бы невѣроятнымъ, если-бъ ему сказали, что итальянцы, въ то время кричавшіе: „смерть нѣмцамъ!“ будутъ вскорѣ провозглашать виваты въ честь тѣхъ-же нѣмцевъ.

Перемены, случившіяся на нашихъ глазахъ, показываютъ, что мы будемъ свидѣтелями еще болѣе удивительныхъ переменъ. Мы впадаемъ въ постоянную ошибку, увѣковѣчивая настоящій моментъ и вѣря въ его продолжительность. Будущее намъ кажется продолженіемъ настоящаго впечатлѣнія. Мы имѣемъ слабость вѣрить, что какъ наша жизнь, такъ и жизнь націй покоятся на прочной и неподвижной почвѣ. Но исторія находится въ вѣчномъ движеніи и приводитъ насъ къ неизвѣстному будущему. По рѣкѣ временъ, какъ говорятъ поэты, корабль уноситъ насъ все далѣе и далѣе. Помость, на которомъ мы стоимъ, берега рѣки, мимо которыхъ мы плывемъ, намъ кажутся неподвижными и мы думаемъ, что мы не дѣлаемъ ни шагу впередъ, что мы стоимъ на мѣстѣ. Нѣкоторые — реакціонеры — думаютъ даже, что мы идемъ назадъ, потому что они сами перешли съ передней части корабля на заднюю. Но мы постоянно идемъ впередъ и въ каждой часъ мы проходимъ мимо новыхъ лѣсовъ, новыхъ городовъ, новыхъ деревень...

Кромѣ посѣщенія императоровъ, итальянскую публичку сильно интересовалъ процессъ убійцы Сонцово. Онъ очень интересенъ, какъ картина нравовъ, какъ характеристика интригъ, составляющихъ наслѣдіе прошлаго, отъ котораго все еще не можетъ освободиться Италія. Мы охотно вдались-бы въ подробности этого процесса, если-бъ все наше вниманіе не было занято теперь событіями, происходящими въ Турціи, которыя несомнѣнно должны оказать вліяніе на дальнѣйшій ходъ исторіи Европы.

---

Жизненный нервъ европейской политики въ настоящее время, находится въ Константинополѣ, въ Турціи. Національности славянскія или родственныя славянамъ своей численностью значительно превышаютъ цифру населенія турокъ и родственныхъ имъ племенъ, обитающихъ на Балканскомъ полуостровѣ (изъ 11,500,000 общаго населенія на полуостровѣ, славянъ 6,280,000, т. е. 54 проц.). Все это славянское населеніе находится теперь въ возбужденномъ состояніи. Часть его, въ Босніи и Герцеговинѣ, открыто возстала и ведетъ вооруженную борьбу съ турками. Свободная Сербія и Черногорія охотно подали бы возставшимъ со-

племенникамъ руку помощи, если-бъ это не было имъ формально запрещено державами-покровительницами. Но нѣтъ сомнѣнiя, что если вооруженная борьба въ Боснiи и Герцеговинѣ продлится, ни сербское, ни черногорское правительства не въ силахъ будутъ противостоять общему желанiю сербовъ и черногорцевъ вѣшать-ся въ борьбу. Уже и теперь массы молодыхъ людей изъ Сербiи и Черногорiи спѣшатъ присоединиться къ сражающимся, поступа-ямъ въ ихъ ряды въ качествѣ волонтеровъ. Пользуясь тѣмъ, что снѣгъ, покрывъ горы въ Боснiи и Герцеговинѣ, приостановилъ военныя дѣйствiя; пользуясь тѣмъ, что возстанiе пока не рас-пространяется и какъ-бы улеглось, утихло, правительство пади-шаха пытается разными мѣрами склонить возставшiя провинцiи къ миру. Если этого ему не удастся сдѣлать, что весьма вѣ-роятно, отоманской Портѣ грозятъ большiя испытанiя, выходъ изъ которыхъ, въ смыслѣ *statu quo* или только внѣшнихъ измѣ-ненiй, крайне затруднителенъ, если не невозможенъ. По слухамъ, съ весной готовится возстанiе въ обширныхъ размѣрахъ во всѣхъ славянскихъ провинцiяхъ Балканскаго полуострова. Гово-рятъ, Болгарiя находится въ такомъ возбужденномъ состоянiи, что скорый взрывъ тамъ неминуемъ. „Болгаре, всегда терпѣл-ивые, спокойные, преданные труду и способные съ изумительной кротостью переносить невзгоды и самыя страданiя, сказалъ не-давно въ своей лекцiи одинъ замѣчательный профессоръ (лекцiя напечатана въ газетахъ), — болгаре потеряли всякое терпѣнiе и готовы подать помощь возставшимъ герцеговинцамъ и боснякамъ“. Конечно, можетъ быть, мнѣнiе это не основано на вѣроятныхъ фактахъ и, по всей вѣроятности, отдѣльныя возстанiя въ Бол-гарiи, бывшiя въ нынѣшнемъ году, обязаны своимъ возникнове-нiемъ горячимъ головамъ, пришедшимъ изъ Сербiи или Румынiи и съ энергiей пропагандировавшимъ идею независимости. Очень можетъ быть, что болгаре еще не думаютъ о возстанiи, но во всякомъ случаѣ искра уже брошена, скрытое неудовольствiе на-чинаетъ уже обнаруживаться, и кто знаетъ, чѣмъ и какъ оно разрѣшится?

Мы говоримъ условно, мы не дѣлаемъ никакихъ предсказанiй; иначе и говорить нельзя, потому что въ данный моментъ навѣр-ное рѣшительно ничего нельзя предвидѣть. Говорятъ, что и островъ Критъ намѣренъ присоединиться къ возстанiю и критяне

уже ведутъ переговоры съ болгарами. Но, конечно, и сами болгаре едва-ли могутъ знать теперь, что они предпримутъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Турецкое правительство, понятно, должно теперь особенно ухаживать за болгарами. Вѣдь Болгарія занимаетъ третью часть Балканскаго полуострова; болгаре — самая сильная изъ всѣхъ славянскихъ народностей, находящихся подъ турецкимъ владычествомъ. Но и болгаре не могутъ забыть всѣхъ притѣсненій, какія они терпѣли отъ турокъ; не могутъ не вспомнить они, что возставшіе босняки и герцеговинцы, умоляющіе ихъ о помощи, такіе-же христіане, какъ и они; между людьми, принадлежащими къ одному и тому-же племени, братскія симпатіи пробуждаются каждый разъ, какъ только является побудительная причина къ ихъ обнаруженію; когда соплеменникъ зоветъ на помощь, невольно забьется сердце и человекъ бываетъ способенъ тогда на героическое самопожертвованіе. Къ тому-же болгаре сознаютъ, что трудно имъ подыскать болѣе удобный моментъ для завоеванія независимости, о которой они постоянно мечтаютъ и не могутъ не мечтать, когда ихъ повелители-магометане на каждомъ шагу оскорбляютъ все, что имъ дорого, что для нихъ свято.

Повторяемъ опять, мы не хотимъ дѣлать никакихъ предсказаній, тѣмъ болѣе, что сама судьба дала актерамъ великой драмы нѣкоторый рѣзыхъ. Ни та, ни другая сторона еще не увлечена въ потокъ безповоротныхъ рѣшеній, которому часто не могутъ противиться актеры драмы. Событія еще пребываютъ въ неопредѣленномъ состояніи, ихъ можно еще направить и налѣво, и направо; ими еще можно управлять. Но шагъ далѣе — и страсти вступаютъ въ свои права и стануть господствующей силой...

Попробуемъ, пока еще не наступила окончательно кровавая развязка, высказать наше мнѣніе относительно существующаго положенія дѣлъ. Никто не станетъ отрицать, что турки совершили много несправедливостей, причинили массу страданій подчиненнымъ имъ христіанамъ. Но изъ всякаго положенія можно найти возможно-справедливый и практичный выходъ. И не надо забывать, что лучший выходъ изъ даннаго затруднительнаго положенія не всегда бываетъ хорошимъ и удобнымъ для обѣихъ сторонъ, — онъ только можетъ быть лучшимъ по сравненію съ существующимъ зломъ. Но всякое рѣшеніе должно имѣть гуманную



подкладку—этого не должны никогда забывать враждующія стороны. И вовсе не трудно быть гуманнымъ, когда пылъ вражды уже остылъ и соперники рѣшились окончить свою борьбу путемъ соглашенія.

Въ настоящей хроникѣ мы не имѣемъ намѣренія дѣлать точное и строгое изслѣдованіе восточнаго вопроса, о которомъ такъ много разсуждаютъ теперь и въ законодательныхъ собраніяхъ, и въ прессѣ западной Европы. Мы напомнимъ только, что онъ представляетъ собой гордіевъ узелъ современной политики, чѣмъ во времена Александра Македонскаго были азіатскія дѣла. Мы убѣждены, что теперь вовсе не требуется меча для разрушенія этого узла; это, однакожь, не значить, что можно обойтись со всѣмъ безъ ампутации; нѣтъ, на деревѣ есть сухія вѣтки, которыя необходимо будетъ отрубить. Западно-европейскіе политики на разные лады разрѣшаютъ этотъ вопросъ въ своихъ кабинетахъ.

Впродолженіи болѣе, чѣмъ четырехъ столѣтій, завоеватели-турки не сумѣли создать одной общей національности, не умѣли слить съ собою побѣжденныхъ ими народности; ясно, что и въ будущемъ они не въ силахъ совершить такой ассимиляціи.

Турки уже вынуждены были признать полунезависимость народностей, живущихъ къ сѣверу отъ Дуная. Теперь босняки и герцеговинцы желаютъ завоевать себѣ административную автономію и находиться въ такой-же зависимости отъ султана, въ какой находятся Румыніа, Сербія и Черногорія. Того-же желаютъ Болгарія, Фессалія и др., но пока еще они находятся въ выжидательномъ положеніи.

Противъ первобытнаго, варварскаго, восточно-мусульманскаго турецкаго деспотизма представляется только одинъ видъ протеста—вооруженное возстаніе. Такъ всегда дѣлалось и дѣлается теперь на Востокѣ; европейская Турція своимъ политическимъ и социальнымъ устройствомъ совершенно напоминаетъ азіатскій Востокъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ обнаружилось возстаніе въ Болгаріи и Мидхадъ-паша, усмиряя его, пролилъ потоки крови и разорилъ страну, и Болгарія до сей поры еще не оправилась отъ этого усмиренія. Что касается настоящаго возстанія въ Герцеговинѣ и Босніи, до сихъ поръ оно сопровождалось массою бѣдствій и страданій. Война ведется патріархально, безъ

тѣхъ лицемѣрныхъ переряживаній, которыя въ ходу у болѣе цивилизованныхъ народовъ. Здѣсь все дѣлается на-чистоту и война есть ничто иное, какъ грабежъ, насиліе, пожаръ и убійство. Здѣсь не даютъ пощады. Если какъ-нибудь случайно возьмутъ плѣнныхъ, то ихъ непременно замучаютъ. По окончаніи битвы побѣдители рубятъ головы, рѣжутъ носы и уши у мертвыхъ и раненыхъ непріятелей, брошенныхъ на полѣ сраженія. Всякое коварство признается военной хитростью и считается дозволительнымъ. Жестокость одинаково проявляютъ обѣ стороны, но пальму первенства въ этомъ стяжали баши-бузукы, турецкое ирегулярное войско. Всякое жилище, попадающее на пути двигающейся колонны—будетъ-ли то непріятельское или дружественное—подвергается разрушенію. Одинъ путешественникъ по Герцеговинѣ, англичанинъ, захвавъ въ разрушенную деревню, задалъ себѣ слѣдующіе вопросы: Деревня эта христіанская и сожжена турками? или турецкая и сожжена христіанами? или христіанская, нежелавшая пристать къ возстанію, и за то сожжена инсургентами? или ее сожгли сами жители, чтобы она не досталась туркамъ? или это деревня, населенная православными, и ее сожгли католики? или-же наоборотъ? Каждая изъ этихъ гипотезъ можетъ быть истиной. Если деревня, къ ея несчастью, находится на пути отряда той или другой стороны, ей во всякомъ случаѣ грозитъ пожаръ и разрушеніе.

Всѣ, кто могъ бѣжать изъ несчастныхъ возставшихъ провинцій, бѣжали и поселились въ Черногоріи, Сербіи и Далматіи. Въ Босніи и Герцеговинѣ остались почти только инсургенты, чтобы бить турокъ, и турки, чтобы бить инсургентовъ. Убѣжавшіе терпятъ страшную нищету и ставятъ въ затруднительное положеніе области, ихъ пріютившія. Австрійское правительство, истратившее по 13 ноября почти 1½ миліона рублей на пропитаніе бѣглецовъ, заявило, что оно далѣе не въ силахъ тратить такую значительную сумму денегъ. Инсургенты тоже встрѣчаютъ затрудненіе въ продовольствованіи себя втеченіи зимнихъ мѣсяцевъ. Баши-бузукы еще менѣе обезпечены въ средствахъ пропитанія. Турецкія ирегулярныя войска тоже терпятъ нужду въ провіантѣ. „Можно опасаться, что та и другая сторона погибнуть отъ голода и тифа“, пишетъ корреспондентъ изъ Герцеговины въ одну англійскую газету. Болгарія обложена значительнымъ допол-

нительнымъ сборомъ на содержаніе арміи, выставленной на случай противъ нея. Прибавимъ, что большая часть турецкихъ регулярныхъ войскъ, сражающихся противъ инсургентовъ, почти два года уже не получаетъ жалованья; часть этихъ войскъ, изъ пѣхоты, взбунтовалась прямо отъ голода и для усмиренія ихъ употребили въ дѣло артилерію и кавалерію; много бунтовщиковъ пали жертвами отъ картечи и кавалерійской атаки.

---

Пора покончить съ возмущеніями, театромъ которыхъ постоянно служитъ Турція. Турки причинили слишкомъ много страданій и необходимо найти справедливый и практический выходъ изъ существующихъ затрудненій. Безпрестанно приходится слышать, что христіане не могутъ выносить ига ислама; что славяне, греки, армяне и др. не могутъ терпѣть татаръ, турокъ и туркомановъ. Но политики обманываются, что въ этой ненависти главную роль играютъ религія и раса. Если-бы даже раздѣлить Турцію на три или на четыре части по главнымъ расамъ, ее населяющимъ, то едва-ли-бы устранились главныя затрудненія. Раса составляетъ только второстепенный элементъ въ этомъ дѣлѣ. Болгары происходятъ изъ финской вѣтви, также, какъ и турки, между тѣмъ они ослабились и принадлежатъ теперь къ славянской группѣ. Въ восточной части Болгаріи и до сихъ поръ можно встрѣтить еще округа, въ которыхъ жители по одеждѣ, языку и обычаямъ ничѣмъ не отличаются отъ турокъ; здѣсь даже есть мусульманскія святыни, куда стекаются турки на поклоненіе; между тѣмъ и эти болгарскіе округа тянутъ къ славянамъ. Возьмите венгровъ: они составляли авангардъ турецкихъ полчищъ, двинувшихся на Европу, между тѣмъ турки постоянно ищли въ нихъ самыхъ смертельныхъ враговъ своихъ. На Балканскомъ полуостровѣ рѣшительный хаосъ національностей; кого тутъ нѣтъ! Болгары, сербы, албанцы, турки, греки, армяне, цыгане, евреи, румыны, черкесы, ногайскіе татары и пр., и пр. Каждая изъ этихъ народностей называетъ страну, гдѣ она живетъ, своей родиной и считаетъ исключительно себя настоящимъ хозяиномъ этой страны. Турки, поселившіеся въ Болгаріи, юрки въ Македоніи, коньяриды, еще въ XI столѣтіи устроившіеся въ горахъ

въ Румелии, считаютъ себя почти аборигенами и знать не хотятъ дѣйствительныхъ аборигеновъ мѣстностей, гдѣ они поселились.

Если за основаніе дѣленія населенія Балканскаго полуострова принять религію, то здѣсь встрѣтятся не меньшія затрудненія, какъ и при дѣленіи на расы. Одна и та-же раса исповѣдуетъ нѣсколько различныхъ религій и сектъ; эти секты взаимно ненавидятъ одна другую, ненавидятъ даже болѣе, чѣмъ мусульманъ. Въ споры между православными и католиками часто вѣшиваются турки для того, чтобы примирить ихъ между собою. Здѣсь случаются такія-же сцены, какъ при Гробѣ Господнемъ въ Иерусалимѣ, — сцены, позорящія христіанъ. Когда кто-нибудь почувствуетъ ненависть къ своему брату, онъ ненавидитъ его гораздо больше, чѣмъ могъ-бы ненавидѣть посторонняго. Оттого-то секты, вышедшія изъ одного и того-же исповѣданія, ненавидятъ другъ друга гораздо больше, чѣмъ другія исповѣданія.

Языкъ въ одной и той-же расѣ тоже не одинъ; нарѣчій множество и часто сосѣди не понимаютъ другъ друга.

Несомнѣнно, что раса, религія и языкъ составляютъ не главную, а второстепенныя причины раздѣльности и вражды, характеризующихъ современное состояніе турецкаго государства. Въ чемъ-же лежитъ главная причина? Въ чемъ его органическій порокъ? Болѣзнь, свѣдающая Турцію, это — скверное политическое управленіе, составляющее причину и результатъ еще худшаго соціальнаго устройства. Это ракъ, постоянно развѣдающій организмъ турецкаго государства и съ каждымъ годомъ распространяющійся все далѣе и далѣе. Что именно вызвало возстаніе въ Босніи к Герцеговинѣ? Возмутительныя злоупотребленія, которыя безнаказанно совершали *амы*, поземельные собственники и чиновники вмѣстѣ, по большей части славянскаго происхожденія, принявшіе только мусульманство для того, чтобы ихъ самихъ менѣе притѣсняли, а они, въ свою очередь, могли-бы свободнѣе притѣснять другихъ. Истиннымъ освободителемъ Босніи и Герцеговины будетъ не тотъ, кто завоюетъ ихъ у турокъ административную автономію, но тотъ, кто вмѣстѣ съ тѣмъ избавитъ ихъ отъ произвола *амы*, т. е. совершитъ подобную-же великую реформу, какал совершена въ Россіи 19 февраля 1861 года. Конечно, реформаторъ здѣсь встрѣтится съ многочисленными затрудненіями, но тѣмъ болѣе ему чести, если онъ съумѣетъ устранить эти за-

трудненія. Въ Босніи и Герцеговинѣ ага забиралъ у земледѣльца все, что могъ взять. Вслѣдъ за агой къ земледѣльцу являлся сборщикъ податей отъ центрального правительства; потомъ шелъ православный священникъ или католическій патеръ; каждому слѣдовало заплатить опредѣленную подать;—спрашивается. что-же затѣмъ оставалось у земледѣльца для пропитанія его и его семейства? Подобное-же совершается и въ другихъ провинціяхъ, но въ Босніи и Герцеговинѣ положеніе было самое безотраднее, рѣшительно невыносимое. Вотъ почему объ эти провинціи возстали, рѣшаясь переносить всѣ ужасы войны, голодъ, холодъ и болѣзни, что, какъ мы знаемъ теперь, онѣ дѣйствительно не переносятъ съ геройскимъ самообладаніемъ. „Хуже не будетъ, говорили босняки и герцеговинцы,—а если намъ придется всѣмъ погибнуть въ сраженіяхъ, то, право, лучше умереть, чѣмъ переносить тѣ притѣсненія, какія намъ приводилось испытывать“. Они не долго думали и возстали; вначалѣ ихъ была горсть плохо вооруженныхъ противъ все-таки регулярныхъ турецкихъ войскъ.

Собственно говоря, въ Турціи страдаютъ не одни христіане. Политическій и соціальный строй турецкаго государства таковъ, что не меньшая доля страданій достается и самимъ туркамъ. Существуетъ мнѣніе, что турки въ Европѣ стоятъ лагеремъ; не надо забывать, что это лагерь чисто-азіатскій, слѣдовательно реквизиціи и народерство процвѣтаютъ въ полной силѣ. Въ этомъ мнѣніи есть доля истины; при неопредѣленности отношеній, существующей между различными классами общества, между управляющими и управляемыми, въ Турціи кто сильнѣе, тотъ и правъ, каждый хватаетъ все, что можетъ схватить. Понятно, при такомъ порядкѣ однимъ достается очень много, другіе лишаются возможности добывать предметы первой необходимости. Тамъ, гдѣ турки живутъ небольшими группами между христіанами, они пользуются нѣкоторымъ довольствомъ, живя на счетъ христіанъ; но гдѣ они живутъ большими массами, они испытываютъ тѣ-же притѣсненія, какія выпадаютъ на долю христіанъ; ихъ притѣсняютъ свои-же братья турки, отнимая у нихъ все, что можно отнять; на Балканскомъ полуостровѣ нищихъ-турокъ сравнительно не меньше, чѣмъ нищихъ-христіанъ.

Представитель „молодой Турціи“ Мустафа Фазиль-паша, умер-

шій въ декабрѣ нынѣшняго года, представилъ въ 1867 году султану докладную записку, въ которой между прочимъ писалъ слѣдующее:

„Вашему величеству постоянно говорятъ, что разкъ, разъѣдающій нашу несчастную страну,—это вражда религій и расъ между собою. Повѣрьте, государь, что главное зло въ притѣсненіяхъ, которыя терпятъ ваши подданные. И не думайте, что притѣсненія достаются только на долю несчастнымъ райямъ; могу васъ увѣрить, что наши бѣдные турки страдаютъ не меньше христіанъ, если еще не болѣе. За христіанъ вступается иногда Европа и на-время утихаютъ притѣсненія, надъ ними тяготящія. Но кто обращаетъ вниманіе на вашихъ бѣдныхъ подданныхъ, подвергающихся страшнымъ притѣсненіямъ отъ администраціи, злоупотребляющей вашимъ священнымъ именемъ? Кто пожалѣетъ о бѣдномъ сынѣ Ислама, душа котораго скрываетъ безграничное терпѣніе и гордую безропотность, которыхъ никогда не можетъ понять западный человѣкъ?“

Въ одной изъ будущихъ нашихъ хроникъ мы представимъ возможно-подробный очеркъ современнаго состоянія Турціи и коснемся, на-сколько это будетъ необходимо, восточнаго вопроса.

М. Триго.

## КАЛЕЙДОСКОПЪ.

(Литературныя и общественныя замѣтки.)

Нѣсколько предварительныхъ словъ.—Минувшіе экстазы, протесты и обличенія.—Калейдоскопическій характеръ современной русской жизни.—Юноши, учащенные въ шантажъ.—Шантажъ взрослыхъ и солидныхъ людей.—Адвокаты присяжные и вольно-практикующіе.—Совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ и биржевая артель.—Борьба адвокатовъ съ литературою.—Г. Думашевскій и сто тысячъ *срыгу*.—Стихотворная элегія по этому случаю.—Педагоги-классики и педагоги-музейщики.—Рефератъ А. С. Воронова въ педагогическомъ обществѣ.

„Предисловія“ плохо читаются, какъ извѣстно, и въ ученыхъ твореніяхъ; тѣмъ обиднѣе участь ихъ въ замѣткахъ, имѣющихъ отчасти фельетонный характеръ. А между тѣмъ нельзя отнять у автора желанія и даже права—напередъ объясниться съ своею публикою, установить извѣстный штандпунктъ въ бесѣдахъ съ нею, условиться въ пониманіи различныхъ сторонъ общественной жизни. Какъ согласить старинную и прочно-утвердившуюся привычку читателя съ интересами автора, тоже споконъ-вѣку заявляющими себя, да и возможно-ли, вообще, такое соглашеніе? Однако, попробуемъ. Только я попрошу позволенія рассказать коротенькую притчу. Два чиновника какого-то департамента, одинъ постарше, другой помладше, заспорили однажды о томъ: слѣдуетъ или не слѣдуетъ поставить запятую въ сомнительномъ пунктѣ официальной бумаги, которая должна была забраться довольно высоко по административной лѣстницѣ. Чиновникъ постарше утверждалъ, опираясь на авторитетъ покойнаго Греча, что запятой тутъ быть не полагается, чиновникъ помладше доказывалъ противное, ссылаясь едва-ли не на гг. Николенко и Гаврилова. (Господи прости его легковѣріе!) Спорили, спорили, ни до чего не дого-

ворились, а бумагу послать все-таки надо. Наконецъ, одинъ изъ нихъ, видя безвыходность преній, предложилъ такой *modus vivendi*: запятую можно поставить, но маленькую, про всякій случай. Слѣдуетъ быть ей—хорошо, не слѣдуетъ—есть поводъ отговориться, что это вовсе и не запятая, а такъ-себѣ, легонькій росчеркъ и вольность писаря. Орфографическая Америка была, такимъ образомъ, открыта, хотя имя новаго Колумба осталось безъизвѣстно для потомства... Вотъ этотъ-то *modus vivendi* мы и хотимъ примѣнить къ нашему положенію начинающаго „обозрѣвателя“ современныхъ дѣлъ и бездѣлицъ. Предисловіе у насъ будетъ, но краткое, запятую мы поставимъ, но маленькую.

Если вы, читатель, человѣкъ среднихъ лѣтъ и пережили душой періодъ російскаго обновленія, въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ, то вы не забыли, конечно, какъ сильно напрягались ваши нервы, какъ дѣятельно работалъ вашъ умъ надъ изысканіемъ новыхъ формулъ общественной жизни, неизмѣнныхъ моральныхъ принциповъ, и какъ все вокругъ васъ жило и двигалось тѣми-же стремленіями, тѣми-же благородными порывами. Нужды нѣтъ, что вы заблуждались въ этихъ исканіяхъ, что вы не всегда были вѣрны вашимъ принципамъ, что въ суетѣ жизни вы отклонялись отъ нихъ то въ ту, то въ другую сторону; но въ васъ возбужденъ былъ тотъ могучій импульсъ, который ищѣшаетъ человѣку успокоиться на этихъ противорѣчіяхъ; вы, какъ магнитъ къ сѣверу, обращались всегда и неизмѣнно въ вашихъ сужденіяхъ,—если не въ дѣйствіяхъ,—къ общимъ началамъ, къ нравственнымъ понятіямъ, и въ нихъ искали для себя точки опоры. Вы были даже—сознайтесь!—слишкомъ привередливы на этотъ счетъ, какъ всякій юный и пылкій неофитъ; вы всего менѣе отличались способностью отыскивать для виноватаго смягчающія обстоятельства, и шалунъ-студентъ, ущипнувшій маску въ какомъ-то провинціальномъ Эльдorado, былъ осужденъ вами съ неменьшею строгостью, чѣмъ и глотающій шпаги городничій города Глухова. Въ порывѣ крайняго вольнодумства вы восклицали даже, вмѣстѣ съ поэтомъ Венедиктовымъ, что чины и богатство еще не даютъ человѣку никакой нравственной цѣны и что важнѣе всего на свѣтѣ—добродѣтель, украшенная разсудкомъ просвѣщеннымъ. „Будь хоть чиномъ малъ, да умомъ вельможа, сердцемъ генералъ“,—вторили вы либеральному стихотворцу, невольнѣ ясно



сознавая, что демократическая природа въ своемъ фатальномъ равнодушiи создаетъ лишь просто человѣческія сердца, а не генеральскія или прапорщичьи, по табели о рангахъ. Майоръ Громека дерзалъ полемизировать съ генераломъ Ржевусскимъ, оставляя права литературнаго обсужденія государственныхъ вопросовъ; Н. Ф. Павловъ патетически восклицалъ по тому-же поводу, что литературѣ нѣтъ дѣла до чиновъ и офиціального положенія писателей и что „рядовую мысль не произведетъ въ офицерскій чинъ никакая подпись“. Уваженіе къ общественному мнѣнію, боянь малѣйшаго печатнаго нареканія доходили у насъ до сентиментальности; въ то-же время мы готовы были распять себя изъ-за сочувствія къ меньшей братіи, къ угнетенному человѣчеству. Наши язвы мы не только показывали наружу, но даже, для пущаго безпристрастія, расковыривали ихъ пальцемъ. Словомъ, говоря стихами г. Некрасова:

Сознаваться въ недугахъ прошедшихъ  
 Были мы до того горячи,  
 Что превысили всякую мѣру...

Вы, вѣроятно, помните, почтенный читатель, что всѣ Козляиновы россійской имперіи дружно заявляли, что они „отрицаются“ отъ *того* Козляинова, который учинилъ дебошъ въ вагонѣ какой-то желѣзной дороги; помните, что Камень - Виногоровъ, оскорбившій женщину своей пошлой выходкой, провалился въ люкъ при общемъ свистѣ и шиканьѣ раздраженнаго партера... За представителями литературнаго и общественнаго движенія шла молодежь довѣрчивою и почтительною толпою, мечтаю о безкорыстномъ служеніи родинѣ, отгоняя отъ себя всякую мысль о позорномъ компромиссѣ съ грязной дѣйствительностью, желѣя въ своемъ сердцѣ одни лишь чистые и добрые инстинкты. Въ этой пылкой молодежи кличка „карьериста“ считалась едва-ли не самою унизительною; достоинство дѣла измѣрялось не „хапанцами“ и „кунами“, которые можно было сорвать съ него; выступая на общественную арену, юноша не задавался прежде всего цѣлью: *faire sa fortune*. Мы присутствовали, казалось, при выработкѣ новаго, строгаго кодекса общественной нравственности, котораго не писанне, но общепризнанные параграфы могли-бы карать всякое гнусное дѣло сильяѣе и чувствительнѣе, чѣмъ писанныя статьи уложенія о наказаніяхъ. Эта надежда выражалась и героемъ комедіи:

„Доходное мѣсто“, когда онъ, съ подмостковъ Александринскаго театра, восклицалъ при оглушительныхъ рукоплесканіяхъ публики, что близокъ, молъ, часъ, въ который „судъ общественнаго мнѣнія будетъ для насъ страшнѣе суда уголовнаго“.

И что-же, читатель, мы зримъ теперь? Прежніе дѣятели прогресса, прежніе ревнители и оберегатели интересовъ народа, прежніе проповѣдники и обличители—всѣ они оказались фантомами, движущимися тѣнями, въ родѣ тѣхъ, которыя такъ искусно воспроизводятся на парижскихъ сценахъ. Вотъ движущаяся тѣнь вынимаетъ шпагу, вотъ пронзаетъ она насквозь другую, враждебную тѣнь, вотъ заструилась кровь ручьемъ и окрасила бѣлый плащъ... но вдругъ звякнуло что-то за кулисами, повернулись зеркала, создававшія весь этотъ сценическій миражъ,—и куда дѣвались воюющіе фантомы съ ихъ шпагами, сраженіями и кровавыми ранами! Спектакль кончился, и прислуга торопится тушить лампы.

Что происходитъ въ нашей современной общественной жизни—трудно даже и выразить. Чего мы хотимъ, на что надѣмся, къ чему стремимся—на это едва-ли кто отвѣтитъ сознательно, да едва-ли кто и думаетъ объ этомъ. То, чѣмъ страдаемъ мы въ настоящее время,—это именно отсутствіе всякихъ идеаловъ, всякой послѣдовательности и всякаго искренняго, интеллектуальнаго увлеченія въ какомъ-бы то ни было смыслѣ и тонѣ. Всѣ понятія перепутались, какъ шашки; всѣ идеалы потускнѣли, какъ серебро Александра Кача; всѣ якобы враждебные лагеря разбиты рядкомъ, безъ „окоповъ“ и „фортецій“ между ними, такъ-что улизнуть изъ одного лагеря въ другой можно при свѣтѣ дня, не опасаясь ни преслѣдованія съ той стороны, откуда уходишь, ни плохого гостепріимства тамъ, куда приходишь. Давно-ли Петръ Исачъ Вейнбергъ, покинувъ, казалось, навсегда тенденціозные переводы изъ Гейне и Вёрне, превращался въ руссификатора и редактора „Варшавскаго Дневника“; давно-ли онъ произносилъ въ Варшавѣ пламенные сличы? А теперь онъ снова осаждастъ петербургскія редакціи предложеніемъ своихъ услугъ,—и ничего-себѣ, ходитъ, какъ встрепанный. Г. Герардъ увѣряетъ даже—и, вѣроятно, не на смѣхъ,—что г. Вейнбергъ есть именно та литературная сила, которая создаетъ журналамъ репутаціи, а редакторамъ ихъ—каменные дома. Какъ счастливъ г. Герардъ, что онъ имѣетъ уже квартиру и не обя-

занъ выжидать ее въ томъ домѣ, который будетъ строиться на шаткомъ фундаментѣ журнальныхъ заслугъ г. Вейнберга: онъ весь вѣкъ рисковалъ-бы остаться подъ чистымъ небомъ!

Заглянемъ-ли въ другія, не литературныя сферы, мы и тамъ найдемъ тотъ-же хаосъ, ту-же невыразимую сутолоку и путаницу понятій. Г. Шумахеръ берется печатно защищать свое „поведеніе“, какъ члена совѣта московскаго коммерческаго банка, и совершенно невзначай, вполне безсознательно уличаетъ себя въ новомъ преступленіи, за которое прокурорскій надзоръ снова тянетъ его къ отвѣту. Московскій городской голова, сочиняя свое печатное объясненіе, — какъ говорятъ даже, не безъ помощи какого-то присяжнаго юридическаго строчила, — думалъ, что онъ правъ и передъ закономъ, и передъ совѣстью, получая огромный денежный окладъ, въ качествѣ наблюдателя за финансовыми операціями банка, и не исполняя ни на іоту принятыхъ имъ на себя обязанностей, не участвуя даже нѣсколько лѣтъ въ ревизіи вексельнаго портфеля. Онъ былъ наивно увѣренъ, что получать куши за абсолютное *fait - niente*, рвать жирные куски направо и налево, подвергая страшному риску всѣхъ, кромѣ себя самого, — что это почтенное занятіе на-столько вошло въ нравы русскаго общества и такъ полюбилось нашимъ дѣльцамъ, что они и не подумаютъ обвинить въ этомъ занятіи московскаго лорда-мера, а, напротивъ, позавидуютъ ему въ глубинѣ своихъ ростовщическихъ сердець.

Нравы-то общества, можетъ быть, и дѣйствительно примирились-бы съ такимъ поведеніемъ, но, на бѣду г. Шумахера, въ уложеніи о наказаніяхъ остался еще забытый пунктъ, который не такъ-то благосклонно взираетъ на подобныя дѣянія. И вышло, значитъ, вопреки предсказанію Жадова, что уголовный кодексъ для г. Шумахера гораздо дѣйствительнѣе угрозъ и приговоровъ общественнаго мнѣнія. — Г. Герардъ, взявшись защищать за изрядный кушъ права Овсянникова на знаменитую паровую мельницу, переходитъ за болѣе изрядный кушъ на сторону г. Кокорева, и это пикантное обстоятельство не мѣшаетъ ему плакаться, въ другомъ случаѣ, на эксплуатацію труда, на жадность и безсердечіе капиталистовъ, наживающихъ дома на счетъ литературныхъ пролетаріевъ... И крокодиловы слезы эти принимаются за подлинное, непритворное соболѣзнованіе. Г. Герардъ, да вы не одинъ и не

два, а десять домовъ выстроите, если поживете и дождетесь какого-нибудь новаго Овсянникова...

Изыскивая подходящее слово, которое, какъ ярлыкъ, можно было-бы навѣсить на картину сумбура, разстилающуюся предъ нашими глазами, мы перебрали много ходячихъ терминовъ, покуда не вспомнили, наконецъ, о *калейдоскопѣ*. Да, это именно калейдоскопъ! невольно воскликнули мы, прикинувъ подъ эту мѣрку разнокалиберныя явленія нашей современной общественной. Только въ калейдоскопѣ могутъ такъ причудливо путаться и люди, и вещи, направляясь въ разныя стороны и сталкиваясь между собою самымъ неожиданнымъ и комическимъ образомъ; только въ этомъ затѣйливомъ приборѣ надъ всѣми явленіями господствуетъ одна ясная идея — случая и непослѣдовательности. Итакъ, поставимъ это слово во главѣ нашихъ настоящихъ и будущихъ замѣтокъ, въ твердой увѣренности, что справедливость его не разъ подтвердится тѣми фактами, которые занесемъ мы на эти страницы.

---

Въ октябрѣ петербургское общество переполошилось довольно замѣтно по поводу одного судебного процесса; нынче вѣдь самыя сенсационныя толки идутъ, какъ извѣстно, отъ скандала подсудимыхъ. Загремѣла рѣчь товарища прокурора, заскрипѣли перья газетныхъ публицистовъ. Въ общество входилъ, повидимому, новый врагъ подъ европейскою кличкою *шантажа*, — врагъ, давно, впрочемъ, знакомый намъ подъ будничнымъ названіемъ мошенничества. Нѣсколько молодыхъ людей, занимавшихъ не очень высокія социальныя положенія (одинъ, напр., служилъ официантомъ въ гостиницѣ Демуть; другой „жилъ при матери“, безъ опредѣленныхъ занятій; третій помогалъ своему отцу, едва-ли не мелкому ростовщику, „во взысканіи съ разныхъ лицъ долговъ“, — слѣдовательно, занимался въ скромныхъ размѣрахъ адвокатствомъ или ходатайствомъ), нѣсколько этихъ молодыхъ людей предалися не безъ успѣха новому виду промышленности, который былъ сформулированъ г. товарищемъ прокурора въ слѣдующихъ словахъ: „существуетъ такой способъ корыстнаго посягательства на чужую собственность, гдѣ виновный, пользуясь скомпрометированнымъ положеніемъ потерпѣвшаго, подъ угрозою разгласить позорящее его

ния обстоятельство, *выманиваетъ себя плату за молчаніе*, какъ-бы слѣдующее вознагражденіе за благовоспитанную скромность, тонкую деликатность“. Яснѣе говоря, молодые офиціанты и „облакаты“, находившіеся въ связяхъ съ сыскною полиціею и имѣвшіе возможность (какъ это выяснилось на судѣ) пользоваться ея бланками, сочли за благо припугнуть кое-кого изъ своихъ знакомыхъ угрозою обнаружить ихъ *черезчуръ восточные вкусы* и, произведя этою угрозою достоюдолжное впечатлѣніе, принялись затѣмъ опустошать не только ихъ кошельки, но также и ихъ комоды и гардеробы. Запуганные данники, не желая подпасть подъ надзоръ сыскаго отдѣленія, сначала покорно расплачивались за свои дѣйствительныя или мнимыя увлеченія, но, наконецъ, возмущились, какъ древляне противъ Игоря, и рѣшились пойти на-встрѣчу той опасности, которою имъ угрожали. Отсюда и возникъ процессъ о шантажѣ.

Что-же, однако, замѣчательнаго въ этомъ процессѣ и стоило ли намъ упоминать о немъ? Стоило, читатель, очень стоило, и вотъ на какомъ основаніи. Во-первыхъ, изъ процесса вполне выяснилось, что „люди улицы“, люди шантажа удачно восприняли уроки, идущіе къ нимъ изъ интеллигентныхъ слоевъ общества, и что они такъ-же ловко умѣютъ срывать куши безъ всякаго физическаго или умственнаго труда, и благодумствовать потомъ въ ресторанахъ Дюссо и Доминика. Правда, куши эти ничтожны въ сравненіи съ тѣми монстрами-кушами, которые получаютъ гг. присяжные повѣренныя; правда и то, что невинная котлетка и рюмка водки, услаждавшія вкусъ уличныхъ шантажистовъ, не могутъ идти въ сравненіе съ трюфелями, устрицами и тонкими винами, истребляемыми ежедневно другими избранниками фортуны; но разница здѣсь только количественная, а не качественная. Вудь только побогаче умомъ и образованіемъ юные шантажисты да не преграда имъ прокуратура путь эксплуатаціи общественнаго мнѣнія и битья на скандалъ, искусство ихъ могло-бы окрѣпнуть, развиться, а тогда и куши болѣе солидные повалили-бы къ нимъ въ лапы. Во-вторыхъ, недурно и то обстоятельство, что нѣкоторая часть нашей прессы—быть можетъ, созная втайнѣ свое родство съ обвиняемыми промышленниками, — подала свой голосъ въ защиту страждущей братіи. „Быть можетъ, говорилъ г. товарищъ прокурора Жуковскій, обращаясь къ присяжнымъ засѣдателямъ, — кому-ни-

Будь изъ васъ случалось встрѣчать въ началѣ нынѣшняго года, *замѣтки въ газетахъ* по вопросу о томъ: въ какой степени можетъ быть общество заинтересовано въ преслѣдованіи людей, выманивающихъ себѣ прибыль за молчаніе объ извѣстномъ имъ преступленіи. Тамъ указывалось на то, что самая возможность такого корыстнаго посягательства на чужую собственность обусловливается положеніемъ того лица, которое отплачивается отъ угрозъ. Если - бѣ это лицо открыто покалось въ своемъ дурномъ дѣлѣ, ему незачѣмъ было-бы бояться свѣта и людей; оно, слѣдовательно, несетъ ущербъ по своей доброй волѣ. Трудно, говорятъ, сказать, кто тутъ страдалецъ, кто виновенъ; кто вызываетъ защиту, кто репресію. Общество, заинтересованное въ раскрытіи, обнаруженіи преступленій, не можетъ стать на защиту лица, таившаго свое преступленіе и закуповавшаго доносъ деньгами. Всѣ эти возраженія сводятся къ вопросу лишь о томъ, въ какой степени вымогательство, при посредствѣ угрозы доносомъ о преступленіи, *извинительно?* Но и съ этой стороны ошибочность точки зрѣнія представляется очевидною. Дѣйствительно, лицо, откупающееся отъ доноса, само выдаетъ деньги, но оно руководится къ тому отнюдь не доброю волей, ибо у него нѣтъ свободы выбора. Ему предстоитъ или дать выкупъ, или подчиниться послѣдствіямъ объявленнаго позора. Потому-то, съ точки зрѣнія лица, выманивающаго себѣ плату за молчаніе, угроза и представляется мощною, неизбѣжною, что она направлена на чувство самосохраненія. Въ тяжести этого психическаго насилія и лежитъ право угрожающаго на прибыль, — право, нисколько неотличающееся отъ того, которое въ силу физическаго насилія доставляетъ поживу насчетъ чужого имущества въ кражѣ, грабежѣ. Совершенно справедливо, что общественный интересъ стремится къ раскрытію преступленій, но *поощрять въ этомъ направленіи гражданъ до снисходительнаго отношенія къ шпиону-эксплуататору, значило-бы поощрять въ нихъ самыя низкіе инстинкты, значило-бы растлывать ихъ нравственность, не достигая все-таки возможности раскрывать всѣ до единаго преступленія.* Говорятъ, лицо, подчиняющееся угрозѣ, само, однако, виновно, само поставило себя въ такое положеніе, и потому не можетъ рассчитывать на защиту общества. Но защищать такое лицо, въ смыслѣ возстановленія чести, нѣтъ и надобности, притомъ воз-

становить утраченную имъ-же самимъ честь нѣтъ и возможности. Ошибочность точки зрѣнія кроется тутъ именно въ невѣрной оцѣнкѣ общественнаго интереса. Дѣло въ томъ, что общество стоитъ на стражѣ того святого принципа, въ силу котораго какъ личность, такъ и имущественныя права человѣка неприкосновенны. Общество стремится искоренить всякое частное насиліе надъ личностью и правами человѣка, въ силу чего-бы такое насиліе ни проявлялось, на кого-бы оно ни простиралось. Отстаивать неприкосновенность личности въ этомъ смыслѣ—не значить отстаивать честь, а потому, искореняя всякое такое насиліе надъ личностью, общество должно оградить въ такомъ смыслѣ и преступника, потому что онъ въ силу того, что преступникъ, не теряетъ еще человѣческой личности“.

Далѣе товарищъ прокурора, оставаясь вѣрнымъ своей мысли, высказалъ, что онъ вовсе „не имѣетъ въ виду отстаивать честь потерпѣвшихъ по настоящему дѣлу“, и что это представляется ихъ собственнымъ усиліемъ, „если только они находятъ достаточно къ тому основаній по поводу двусмысленнаго положенія, въ которое они сами стали“. „Я не могу подтвердить,—говорилъ онъ въ заключеніе своей рѣчи,—показанія Юзефовича, удостовѣряющаго, что вещи у него похищены на Невскомъ проспектѣ, и совершенно согласенъ съ показаніемъ Бурнашева (судебнаго слѣдователя смоленскаго округа), который самъ называетъ оригинальнымъ свое знакомство съ подсудимымъ Михайловымъ; но оградить имущественное право потерпѣвшихъ отъ того насилія, подъ давленіемъ котораго оно находилось, лежитъ на прямой обязанности суда“.

Хорошій урокъ дали вы, г. товарищъ прокурора, нашей шантанжной прессѣ, и лучше ея сдумѣли разглядѣть всѣ элементы скандальнаго дѣла!

---

Восточная пословица гласитъ, что „рѣчь есть серебро, а молчаніе — золото“. Соображаясь съ этой пословицей, иные шантанжисты могутъ сѣтовать, что въ нашей современной практикѣ происходитъ какъ-разъ наоборотъ: имъ, шантанжистамъ, за ихъ продажное молчаніе, которое должно-бы цѣниться, по пословицѣ, на вѣсъ золота, досталась только горсточка серебра,

да и то мелкаго, 48 пробы; а настоящее-то золото плыветъ въ руки господамъ адвокатамъ за столько-же продажное... краснорѣчіе. Въ самомъ дѣлѣ, г. прокуроръ слишкомъ строго и одно-сторонне посмотрѣлъ на подсудимыхъ, хотя, какъ представитель обвиненія, онъ исполнялъ въ этомъ случаѣ только свою обязанность. Люди шантажа—не уроды въ своей обширной семьѣ; не они первые, не они послѣдніе желаютъ зашибить копейку дешевымъ способомъ; все вокругъ нихъ живетъ и дышетъ тѣми-же вождедѣніями. Богъ не далъ имъ краснорѣчія, общество отказало въ образованіи, вложивъ, однако, въ нихъ алчные инстинкты, заразивъ ихъ безсердечіемъ и безсовѣстностью,—что-же могутъ они повести на рынокъ и получить въ обмѣнъ хоть частицу тѣхъ благъ, которыя не съ большими заслугами получаютъ другіе топтатели Невского проспекта? А пироги съ румяными корками и вкусными начинками стоятъ подъ носомъ и пахнутъ такъ завлекательно, а молодость бурлитъ въ жилахъ и неотступно требуетъ „хлѣба и зрѣлищъ“. И вотъ люди улицы, воспитанные въ трактирахъ и лакейскихъ, за немнѣніемъ краснорѣчія, несутъ на рынокъ свое молчаніе... Я замѣчаю, впрочемъ, что даю богатую поживу будущимъ ораторамъ и защитникамъ шантажа и избавляю ихъ отъ труда подумать надъ разработкою этой темы, хотя они, навѣрное, не подѣлятся со мною своимъ адвокатскимъ гонораромъ и положатъ его „полностію“ въ свой карманъ. Но, не будучи корыстолюбивымъ, я не опасаясь адвокатскаго плагиата; мало того, я даже выворачиваю, такъ-сказать, свои карманы и готовъ подарить „предлюбодѣямъ мысли“ еще одинъ солидный аргументъ. Одинъ изъ обвиненныхъ юношей посвящалъ, какъ сказано, свои труды ходатайству по исковымъ дѣламъ своего отца, т. е. онъ былъ однимъ изъ тѣхъ мелкихъ облакатовъ, которые тянутъ съ грѣхомъ пополамъ грошевые иски и глотаютъ лишь слюнки, глядя на шикарные, блестящіе подвиги своихъ старшихъ товарищей по ремеслу. Понятно, что очи этихъ странниковъ-пѣшеходовъ, робко направляющихся въ палестину безмятежнаго срывапія кушей, обращаются волею-неволею на несущіеся туда-же щегольскіе экипажи гг. присяжныхъ повѣренныхъ; совершенно справедливо, что безвѣстные и немудрые облакаты, непросвѣщенные наукою и сознаніемъ своихъ общественныхъ обязанностей, ищутъ свѣта съ той стороны, гдѣ дѣйствуютъ



*советы* присяжныхъ повѣренныхъ—эти корпоративные центры, служащіе представителями и защитниками интересовъ цѣлаго сословія. Законъ предоставилъ, какъ извѣстно, гг. присяжнымъ повѣреннымъ большія права: онъ далъ имъ привилегированное положеніе въ судѣ, не обязалъ никакою пошлиною за ихъ патенты, приносящіе, однако, огромный доходъ; предоставилъ имъ, наконецъ, свой собственный „судъ чести“, отправляемый въ советѣ присяжныхъ повѣренныхъ, который избирается вольными голосами изъ среды самого сословія и подчиненъ, въ апелляціонномъ порядкѣ, не окружному суду, а судебной палатѣ. Простые-же, не присяжные повѣренные не имѣютъ ни одного изъ этихъ правъ и платятъ за свои патенты довольно значительную пошлину, какъ за торговныя свидѣтельства. Давая эти привилегіи, законъ возложилъ на присяжныхъ повѣренныхъ только одну, нѣсколько стѣснительную, обязанность: защищать безвозмездно бѣдныхъ клиентовъ, по-очередно, по назначенію суда. Какъ-же воспользовались гг. присяжные повѣренные своими правами и какъ добросовѣстно исполнили свою единственную обязанность? Отвѣтъ на это не трудно дать, взявъ, какъ матеріалъ, послѣдній отчетъ здѣшняго совета присяжныхъ повѣренныхъ и принявъ къ свѣденію различныя толки, вызванныя болѣе или менѣе замаскированными и недошедшими до совета дѣйствіями этого класса людей.

Нельзя не замѣтить, что советъ повѣренныхъ здѣшняго судебного округа весьма оригинально понялъ свою задачу. Въ его отчетѣ,—несмотря на всю предварительную редакціонную работу выглаживанія и затушовки некрасивыхъ сторонъ присяжной адвокатуры,—проходятъ передъ вами „достоверныя изсвидѣтели“, клеветники, доносчики, вымогатели; вамъ рассказываютъ, даже не безъ подробностей, возмутительныя, циническія продѣлки, роняющія достоинство всей корпораціи, и вы ждете, что „судъ чести“, нестѣсненный никакими формальными уликами, съумѣетъ оцѣнить, какъ должно, гнусное дѣло и не потерпитъ присутствія нравственно-замаранныхъ личностей въ своей средѣ. Но вы страшно ошибаетесь: „внушенія“, „предостереженія“ и „выговоры“—вотъ единственныя мѣры, которыми думаетъ советъ присяжныхъ повѣренныхъ оградить честь своего сословія, прибѣгая въ самомъ крайнемъ случаѣ къ запрещенію практики на одинъ годъ. Этоли называется судомъ чести? въ этихъ-ли казуистическихъ, оправ-

дательныхъ и извиняющихъ натяжкахъ выражается уваженіе къ обществу, боязнь лишиться его довѣрія? Одинъ присяжный повѣренный совѣтуетъ письменно другому: „пожать хорошенько“ своего кліента и „долбнуть“ его по карману, не щадя ни нравственнаго чувства, ни матеріальнаго положенія этого кліента, и такой отвратительный взглядъ на свою професію признанъ въ совѣтѣ, популярнѣйшимъ изъ его членовъ, только „немного-циническимъ“, но не лишаящимъ своего исповѣдника возможности продолжать эти беззавѣтные похождения по чужимъ карманамъ. Вообще нравственная сторона адвокатской професіи, повидимому, совершенно улетучилась, и корпоративный трибуналь рта не раскрываетъ, чтобы объяснить своимъ собратьямъ, что, помимо той или другой юридической обстановки дѣлъ, существуетъ еще и моральный принципъ, который можетъ и долженъ оттолкнуть отъ выгоднаго процесса, гнилого внутри, хотя и отполированнаго снаружи всѣми крющотворскими снадобьями. Ростовщики, напр., всегда умѣютъ прикрываться легальными формами; злостныя банкротства продѣлываются съ неменьшимъ знаніемъ юридическихъ тонкостей; содержательницы нѣкоторыхъ „пансіоновъ“ также на законномъ основаніи эксплуатируютъ своихъ несчастныхъ жертвъ, — неужели защита интересовъ такихъ личностей, такихъ вредныхъ паразитовъ общества, совмѣстима съ нравственнымъ достоинствомъ присяжной адвокатуры, отличенной и возвышенной судебными уставами, конечно, не для поддержки всякой тли в гнили, имѣющей деньги въ своемъ распоряженіи? Кажется, совѣту присяжныхъ повѣренныхъ слѣдовало-бы высоко держать знамя своей корпорации, неуклонно и строго напоминать своимъ товарищамъ о моральныхъ принципахъ, которые никогда не должны тонуть въ приказной изворотливости и въ разнузданномъ корыстолюбіи; слѣдовало-бы не *отклонять* примѣненіе этой морали къ дѣлу, т. е. къ практическимъ занятіямъ присяжныхъ повѣренныхъ, но *пользоваться* каждымъ удобнымъ случаемъ поставить моральный и общественный принципъ на принадлежащее ему мѣсто. Между тѣмъ въ совѣтскомъ отчетѣ, — хоть шаромъ покати, — не найдешь ни сучка, ни задоринки въ этомъ смыслѣ. Хватайте, молъ, други, всякаго леща, который добромъ или не добромъ попалъ въ ваши сѣти; потрошите его смѣло, не соблюдая даже письменной предосторожности въ выраженіи вашего нравственнаго худосочія; рос-

кошествуйте на общественныхъ харчахъ во вредъ и пагубу этому обществу, — мы васъ не извергнемъ изъ своей среды, не откажемся отъ солидарности съ вашими подвигами и не снимемъ съ васъ того серебрянаго значка, которымъ вы такъ безцеремонно поминаете. Словомъ, совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ ведетъ себя такъ, что ему не худо было-бы поучиться корпоративной честности у здѣшной биржевой артели, которая далеко не такъ благодушно взираетъ на нравственныя качества своихъ членовъ. „У меня одинъ артельщикъ, — рассказывалъ финансовый тузъ фельетонисту „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, — чуть не надѣлалъ большой бѣды по оплошности: выпилъ маленько, и уже не въ первый разъ. Я его простилъ; не потребовалъ изъ артели другого. И что-же? *Староста сильно пенялъ мнѣ на это, говоря, что такимъ образомъ вся артель избалуется: „Помилуйте, батюшка, вѣдь если онъ у васъ, вдругорядь, съ пьяныхъ-то глазъ подожжетъ, а мы за него и отвѣчай!.. Воля ваша, это не порядокъ“.* Еще-бы! биржевая артель, состоящая изъ простыхъ, сѣрыхъ мужичковъ, понимаетъ, что значитъ *пдоровать свой кредитъ* благодаря шалонайству одного какого-нибудь артельщика; биржевая артель предвидитъ ясно дурныя послѣдствія нравственной распушенности въ исполненіи своихъ обязанностей; — не понимаетъ этого и не предвидитъ послѣдствій только совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ, въ которомъ засѣдаютъ лица, окончившія курсъ наукъ во всевозможныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ...

Снисходительно относясь къ разнымъ „адвокатскимъ вольностямъ“, совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ стремится пошатнуть исполненіе той единственной даровой обязанности, которая возложена на нихъ судебными уставами. До свѣденія совѣта доведенъ былъ случай такого рода: одинъ изъ подсудимыхъ, сосланный уже нынѣ въ архангельскую губернію, имѣлъ право на даровую защиту присяжнаго повѣреннаго, но, сообразивъ, что даровому коню въ зубы не смотрять, и не рассчитывая на безкорыстную ревность своего ангела-хранителя, онъ самъ предложилъ защитнику гонораръ, которымъ тотъ, конечно, не побрезгалъ. Когда же защита проиграла дѣло и подсудимый долженъ былъ прогуляться на родину безсмертнаго Ломоносова, гдѣ, несмотря на славныя историческія преданія, жить все-таки неудобно и тягостно, то онъ вспомнилъ, что выданный имъ адвокатскаго гонораръ могъ-бы

теперь пригодиться ему самому при водвореніи въ мѣстахъ не столь отдаленныхъ,—вспомнилъ и предъявилъ требованіе о возвратѣ денегъ въ совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ. „Обсудивъ это дѣло,—говорится въ отчетѣ,—совѣтъ пришелъ къ заключенію, что взглядъ присяжнаго повѣреннаго на право защитника по назначенію брать гонораръ во время производства дѣла долженъ быть признанъ неправильнымъ. Заставлять подсудимаго предложить гонораръ защитнику, назначаемому ему судомъ и еще не оказавшему никакой существенной услуги, можетъ только недовѣріе къ добросовѣстности защитника, опасеніе того, что защита даровая будетъ недоброкачественная и что защитника надо задобрить, чтобы онъ дѣйствовалъ усерднѣе. Въ интересѣ сословія присяжныхъ повѣренныхъ, слѣдуетъ противодѣйствовать возникновенію и распространенію подобныхъ понятій въ публикѣ и постановить правиломъ, что защитникъ не по выбору, а по назначенію суда, *неправъ до рѣшенія дѣла получать гонораръ или обязательство о платежѣ гонорара отъ кліента*, какое правило устранить всякія, на будущее время, предположенія о томъ, что на способъ веденія защиты можетъ имѣть какое-нибудь влияние то обстоятельство, вознаграждаема или не вознаграждаема она. Такъ-какъ вопросъ о полученіи гонорара за обязательную защиту является впервые въ совѣтѣ, и вводимое имъ правило только съ момента установленія его могло-бы считаться для присяжныхъ повѣренныхъ обязательнымъ, то совѣтъ, *не подвергая присяжнаго повѣреннаго никакому взысканію*, отослалъ представленныя имъ деньги по-принадлежности“. То-есть, другими словами: совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ имѣетъ ясныя улики, что большинство членовъ корпораціи, не исключая самыхъ извѣстныхъ и нажившихъ себѣ состояніе адвокатуровъ (вспомнимъ г. Острякова, который, будучи назначенъ даровымъ защитникомъ, ни разу не повидался съ своимъ кліентомъ и не явился даже на судоговореніе), желаетъ отлынять отъ даровой защиты бѣдняковъ, что измышляются мѣры обойти законъ и отнять суму у нищаго, что, наконецъ, въ сферѣ такихъ щекотливыхъ отношеній между кліентомъ и адвокатомъ возможно и даже неизбѣжно прямое *вымогательство* со стороны послѣдняго подъ угрозю обезсилить предумышленно значеніе защиты (г. Куперникъ провозгласилъ-же вмѣсто защитительной рѣчи:

„распиши, распиши его!“),—совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ знаетъ все это, и что-же постановляетъ онъ въ огражденіе своей корпоративной чести? Что деньги не могутъ требоваться только до рѣшенія дѣла, а послѣ рѣшенія — бери, сколько хочешь. Значить, и волки сыты, и овцы цѣлы. Но во что обратится даровая защита при такомъ милостивомъ рѣшеніи совѣта? Кто уличить адвоката въ томъ, что онъ взялъ деньги, противно правилу, не до рѣшенія дѣла, а послѣ него? Какой-же изъ опытныхъ дѣльцовъ выдастъ на свою шею подобную росписку-петлю? Совѣтъ не только не законопатилъ подземной норки, въ которую пролѣзало мелкое корыстолюбіе, но превратилъ ее въ правильный туннель, гдѣ свободно промчится цѣлый адвокатскій поѣздъ... Всѣ эти вещи творятся открыто и гласно въ нашей столицѣ. А то ли еще происходитъ въ провинціяхъ, гдѣ, по достовернымъ слухамъ, облакаты, присяжные и неприсяжные, совершенно замѣнили „красивное сѣмя“ старыхъ судовъ, съ тѣмъ преимуществомъ, что противъ нихъ не дѣйствуетъ ужъ прежній законъ о сутягахъ и ябедникахъ, которымъ нерѣдко, въ заключеніе похвальной карьеры, воспрещалось „всякое хожденіе по дѣламъ“. Мы знаемъ, что въ нѣкоторыхъ губернскихъ городахъ облакаты, не довольствуясь собираніемъ изустныхъ сплетенъ о предполагаемыхъ и возможныхъ искахъ, стали ходить въ архивы и раскапывать изъ любознательности рѣшенные дѣла, въ надеждѣ выудить изъ нихъ какую-нибудь новую вляузу. Для разбора-же этихъ вляузъ, пущенныхъ въ ходъ адвокатскою изобрѣтательностью, приходится чуть не каждый годъ увеличивать число отдѣленій въ окружныхъ судахъ и обременять, безъ всякой существенной надобности, государственную кассу. Кромѣ того, адвокатскій барышъ, такъ легко наживаемый, будучи сопоставленъ съ ничтожнымъ жалованьемъ судебныхъ чиновъ, служитъ большимъ соблазномъ и заставляетъ подумывать объ увеличеніи содержанія судей... И вотъ плоды, принесенные намъ адвокатурою, которая выступила на свое поприще подъ знаменемъ друга и защитника сиротъ! Дошло ужъ до того, что, напр., въ мясниковскомъ и овсянниковскомъ процессахъ лучшая, интеллигентная доля русскаго общества смотритъ съ большимъ уваженіемъ и надеждою не на гг. защитниковъ, чутко прислушивающихся только къ шелесту радужныхъ асигнацій, а на гг. прокуроровъ, строго

изрекающихъ слово формальнаго правосудія. На-сколько гг. адвокаты удалились отъ защиты общественныхъ интересовъ, помимо виѣшнихъ уликъ и доказательствъ, на-столько-же прокуроры къ ней приблизились, расширявъ, такимъ образомъ, пониманіе своихъ прямыхъ обязанностей. И это дѣлаетъ честь ихъ такту и образованности. Въ концѣ-концовъ, кто пожалѣлъ о томъ, что присяжныхъ повѣренныхъ лишили въ провинціяхъ ихъ самосуда и подчинили окружному суду?

Наша ссръзная литература не со вчерашняго дня указывала гг. адвокатамъ всю опасность того ложнаго пути, на который они выступили. Въ белетристическихъ очеркахъ, въ передовыхъ статьяхъ и въ фельетонахъ литература разъясняла нашимъ домо-рощеннымъ Жюль-Фаврамъ, что, идя по этой дорогѣ, они оттолкнутъ отъ себя все порядочное общество и добьются той самой репутаціи, которую пользовались до Петра Великаго, блаженной памяти, „земскіе ярыжки“ и подъячіе „съ приписью“ и безъ оной. При этомъ литература старалась указать тѣ здравыя начала, на которыхъ должна была-бы основываться адвокатская профессія, желающая заслужить общественныя симпатіи, и не оставила безъ возраженій статью г. Маркова, который не хотѣлъ отдѣлать въ адвокатурѣ шелуху отъ здороваго ядра. Но гг. адвокаты, присяжные и неприсяжные, не только не вняли этимъ, въ сущности, доброжелательнымъ указаніямъ, не только не постарались уничтожить разладъ, возникшій между ними и общественнымъ мнѣніемъ, — разладъ, который рано или поздно отразится на ихъ денежной наживѣ, — но пустились еще въ борьбу съ литературою, видя въ ней, по своей неразвитости, какого-то природеннаго врага, а не добраго союзника. Такъ, напримѣръ, г. Куперникъ (московскій адвокатъ), оставившій безъ защиты своего дароваго кліента и поднятій, справедливо, на-зубки литературу, — вмѣсто того, чтобы покаяться и исправиться, началъ отругиваться самымъ пошлымъ и бездарнымъ образомъ. Защищая недавно нѣкоего Ковнера, — сначала похѣстившаго нѣсколько обличительныхъ статей въ петербургскихъ журналахъ, а потомъ проворовавшагося по своей службѣ въ банкъ, — защищая этого авантюриста-еврея, который едва-ли и самъ претендовалъ когда-нибудь на титулъ русскаго литератора, г. Куперникъ не выдержалъ, своей злобы и разразился противъ всей литературы слѣдующею

банальною выходкою: „Изъ личныхъ свойствъ автора настоящаго дѣла (т. е. Ковнера) было обращено вниманіе на то, что онъ писатель, принадлежитъ, такъ-сказать, къ литературной семьѣ (!). *Явленіе грустное и знаменательное! Литература есть соль общества, а если соль теряетъ силу?..* Къ несчастію, эта потеря силы ужъ не въ первый разъ проявляется на скамьѣ подсудимыхъ... Не буду приводить доказательствъ, не буду называть именъ (а жалъ! мы-бы вамъ на одно литературное имя насчитали двадцать адвокатскихъ), сошлюсь только на такой примѣръ, что лѣтъ десять тому назадъ между двумя толстыми петербургскими журналами разгорѣлась полемика по вопросу о томъ, долженъ-ли быть литераторъ честнымъ человѣкомъ, причеиъ одинъ доказывалъ, что этого вовсе не нужно“.

На это мы должны замѣтить прежде всего, что г. Куперникъ перепуталъ факты, и упомянутая имъ полемика происходила не между „двумя толстыми петербургскими журналами“, а между „Голосомъ“ съ одной стороны и *всею* остальною прессой — съ другой. Въ такомъ видѣ дѣло не перестаетъ быть страшнымъ: значить, въ литературѣ нашлись люди, которые не согласились съ жалкими софизмами автора статьи (г. В. Леонтьева, нынѣ числящагося въ бѣгахъ послѣ неудачнаго издательства); значить, и „соль общества“ еще не потеряла всей своей силы, и ея прикосновеніе къ кожѣ нѣкоторыхъ адвокатовъ еще производитъ чувствительный зудъ. Бѣда, неотразимая бѣда наступаетъ въ той сферѣ дѣятельности, гдѣ подобныя идеи не встрѣчаютъ ужъ ни откуда ни малѣйшаго отпора, какъ это происходитъ на нашихъ глазахъ въ сферѣ адвокатуры, гдѣ кличка „прелюбодѣя мысли“ ужъ не оскорбляетъ никого, и за нее поднимаютъ цинически бокалы на торжественныхъ обѣдахъ...

Поминаетъ лихоиъ литературу и г. Аловій Думашевскій, который хотя и не принадлежитъ тѣломъ къ корпораціи здѣшнихъ присяжныхъ повѣренныхъ, но духомъ своимъ вполне достоинъ принадлежать къ ней. Г. Думашевскій, воспользовавшись критическимъ положеніемъ старца Овсянникова, потребовалъ съ него сто тысячъ срыву за „руководство“ процесомъ. Литература подняла шумъ по этому поводу и назвала поступокъ г. Думашевскаго „предосудительной сдѣлкой“. Редакторъ „Судебнаго Вѣстника“ вздумалъ оправдываться, прикинулся обиженнымъ и, въ

запальчивости, наболталъ такихъ вещей, которыя выгоднѣе было бы для него держать подъ сурдинкой.

„Не хочу оставить безъ объясненій,—писалъ онъ въ своемъ отвѣтѣ,—*рѣшительно непонятныхъ* мнѣ инсинуацій, которыя пускаютъ въ ходъ по поводу получаемого мною гонорара; по этому предмету я долженъ категорически заявить, что я взялъ только то, что мнѣ предложили, и что, по моему убѣжденію (хорошо убѣжденіе!), *никому нѣтъ дѣла до того, сколько я получаю за свои труды*“.

Г. Думашевскому даже непонятно, что безобразная эксплуатація перепуганнаго человѣка можетъ интересоваться собою общественное мнѣніе, онъ полагаетъ, что никому нѣтъ дѣла до этого, и храбро называетъ *трудомъ* адвокатскую прижимку и безцеремонную торговлю своими юридическими свѣденіями! Далѣе онъ, ни къ селу, ни къ городу, приводитъ статью закона, по которой „не запрещается подсудимому просить кого-либо написать ему жалобу“. Хороша, подумаешь, адвокатская логика! Г. Думашевскому говорятъ, что онъ поступаетъ скверно въ нравственномъ смыслѣ, выжимая деньги изъ кармана растерявшагося богача, а онъ возражаетъ, что богачу, молъ, „не воспрещается“ нанимать адвоката! Впрочемъ, г. Думашевскій едва-ли не сожалѣетъ теперь, что онъ бралъ на себя „руководство“ овсянниковскимъ процессомъ... Обстоятельства какъ-то повернулись неожиданнымъ образомъ: Овсянниковъ, поуспокоившись, нашелъ, что если ужъ платить бѣшенныя деньги, то надо платить ихъ патентованному говоруну, а не юристу-теоретику, который еще нигдѣ не испробовалъ своего ораторскаго таланта; въ силу этого соображенія онъ снова обратился къ г. Павлу Потѣхину,—съ которымъ уже велъ прежде переговоры,—а г. Думашевскій остался, что-называется, какъ ракъ на мели. Потерявъ Овсянникова, г. Думашевскій ухватился-было за Рудометова,—какъ заяцъ за медвѣжье ушко въ баснѣ Крылова,—но и это ушко ускользнуло у него изъ рукъ... Событіе это подѣйствовало на насъ вдохновляющимъ образомъ, и мы посвящаемъ редактору „Судебнаго Вѣстника“ скромный плодъ нашей музъ:

Когда Овсянниковъ, въ смятеніи,  
Не зналъ, что дѣлать, что начать,—



Ты, Думашевскій, въ упоеньи,  
Мечталъ миллиарды получать.

Мечталъ, что ты—домовладѣлецъ,  
Что въ банкѣ членомъ состоишь,  
Что отъ издательскихъ бездѣлцъ  
Не получаешь только шишъ;

Что рысакомъ обзавелся ты,  
Что „желтовласая краса“  
Уже вошла въ твои палаты,  
И ты восхищенъ въ небеса...

Но вотъ смятенъя мигъ умчался,  
Воскреснулъ хлѣбный принципальъ,  
Съ Потѣхинымъ онъ вновь связался,  
А Думашевского прогналъ.

Мечта коварная разбита...  
Какъ прежде, Алоизій нашъ  
Сидитъ у стараго корыта,  
А домъ и „членство“—все шабашъ!

Въ нашемъ современномъ воспитаніи господствуютъ, какъ извѣстно, два направленія: одно—классическое, преобладающее въ гражданскихъ гимназіяхъ; другое—реальное, пропагандистомъ и теоретикомъ котораго является столь прославленный музей Солонного городка, заполонившій всѣ газеты репортерскими отчетами о „дѣяніяхъ“ своихъ комисій, подкомисій, субъ-подкомисій, вице-комитетовъ, секцій, унтеръ-секцій etc., etc... Если строгость и неослабность являются отличительными чертами перваго направленія, то второе направленіе, наоборотъ, рекламируетъ легкость и наглядность въ обученіи, т. е. игрушки, пособія, наводящія и руководящія вопросы и т. п. Словомъ, это по-преимуществу *игрушечная педагогика*. Придите къ намъ всѣ страждущіе и обремененные, гласятъ гг. музейщики, — и мы успокоимъ васъ. Мы разоведемъ вашихъ дѣтей нечувствительно и незамѣтно, безъ всякаго почти умственного труда съ ихъ стороны; мы осторожно раскроемъ ихъ черепъ наводящими вопросами въ родѣ: „что у тебя въ носу? сколько у тебя глазъ, рукъ и ногъ? гдѣ

правая, гдѣ лѣвая сторона? — раскроемъ черепъ и легонько вложимъ туда совсѣмъ готовое, получившее премію на парижской выставкѣ, умственное развитіе. Оба эти направленія иногда становятся и дебатируютъ въ „педагогическомъ обществѣ“.

Интересуясь развитіемъ и борьбою нашихъ воспитательныхъ идеаловъ, мы будемъ заглядывать подь часъ и въ это ученое общество.

На первый случай, въ калейдоскопъ нашъ попадаютъ пренія, происшедшія въ педагогическомъ обществѣ по поводу реферата А. С. Воронова: „О значеніи *обязательности* въ дѣлѣ народнаго образованія“. Серьезный и почтенный трудъ этотъ уже напечатанъ; слѣдовательно, нечего намъ и передавать его содержаніе, тѣмъ болѣе, что основной его тезисъ — обязательность первоначальнаго обученія для народа — выставленъ въ самомъ заглавіи реферата. Какъ основной тезисъ А. С. Воронова, такъ и способы практическаго его осуществленія, конечно, подлежатъ спору, и мы ожидали услышать сколько-нибудь обдуманныя и вѣскія возраженія. Но какъ велико было наше изумленіе, когда первый косноязычный ораторъ, заявившій себя противъ *всего* реферата г. Воронова (шѣкто Я. Ковальскій), обнаружилъ, во-первыхъ, полнѣйшее незнакомство съ содержаніемъ реферата, а, во-вторыхъ, и глубочайшее невѣжество по тому вопросу, о которомъ взялся онъ трактовать публично. Не напечатанъ г. Я. Ковальскій своего возраженія въ № 45 „Недѣли“, онъ могъ-бы еще отвертѣться отъ перваго обвиненія; но такъ-какъ письмо его въ редакцію „Недѣли“ у всѣхъ на глазахъ, вмѣстѣ съ ноябрьскою книжкою „Отеч. Записокъ“, гдѣ напечатанъ рефератъ А. С. Воронова, — то, сличивъ эти статьи, нетрудно убѣдиться, что г. Ковальскій, изъ любви къ спору ради спора, явился воевать, не слыхавъ самаго реферата. Достаточно двухъ доказательствъ. Г. Ковальскій, напр., имѣлъ смѣлость сказать и потомъ напечатать, что г. Вороновъ *смѣшиваетъ* два понятія: обязательное содержаніе школъ со стороны обществъ и обязательное ихъ посѣщеніе, — тогда какъ въ ясномъ раздѣленіи этихъ понятій и состоитъ главная заслуга г. Воронова. Далѣе г. Ковальскій требовалъ, чтобы ему было показано, „какъ давно существуютъ народныя школы въ той или другой странѣ Европы, неизмѣнней обязательнаго обученія; могли-ли-бы онѣ *устпть*

образовать всю массу народа“,—хотя и это было показано въ рефератѣ со всѣми новѣйшими статистическими данными. Не слышавъ реферата и почерпнувъ кое-какія свѣденія объ обязательности обученія изъ книги г. Окольскаго: „Объ отношеніяхъ государства къ народному образованію“, г. Ковальскій принялся еще увѣрять публику, что вопросъ этотъ и не поднимался ни во Франціи, ни въ Бельгіи (гдѣ онъ имѣетъ за собой, въ дѣйствительности, цѣлую литературу); но на этомъ пунктѣ опонентъ былъ уже остановленъ предсѣдателемъ, справедливо полагавшимъ, что продолженіе спора съ такимъ невѣжественнымъ говоруномъ ни для кого не принесетъ ни пользы, ни удовольствія... Впослѣдствіи мы узнали, что г. Ковальскій принадлежитъ къ числу ретивыхъ музейщиковъ, и тогда для насъ стало ясно, почему онъ не можетъ примириться съ законодательною мѣрою обязательности обученія. Помилуйте, зачѣмъ обязательность, зачѣмъ принужденіе (ахъ!), когда стоитъ только наставить въ народныхъ школахъ побольше игрушекъ изъ Солянаго городка—и не только крестьянскія дѣти, но и родители ихъ, престарѣлые патріархи, познаютъ въ нѣсколько приемовъ всю сладость науки?

Эхъ, мосье Ковальскій,

Плохо вы учились...

Изъ какой деревни

Вы сюда ввалились?

Для какой potrzeby

Диспутъ завязали,

И какіе лавры

Вы себѣ стяжали?!

И педагогическое общество удивляется, что въ немъ оскудѣваютъ дѣльные рефераты, и хлопочетъ вызвать ихъ искусственными мѣрами! Да помилуйте, господа, кому-же вспадетъ охота подвергать результаты серьезнаго изученія предмета на судъ такихъ опонентовъ, изъ которыхъ многіе могутъ сказать другъ другу: я—Ковальскій, ты—Ковальскій, онъ—Ковальскій?..

Не успѣли мы окончить нашихъ замѣтокъ, какъ газеты принесли намъ извѣстіе: въ началѣ о тяжелой болѣзни, а наконецъ и о смерти А. С. Воронова. Потеря такого честнаго, умнаго и высоко-образованнаго дѣятеля, какимъ былъ покойный Андрей

Степановичъ, безъ сомнѣнiя, была-бы чувствительна и не для нашего общества, бѣднаго умами и характерами; но мы нѣсколько утѣшаемся мыслью, что онъ умеръ—по выраженiю Ломоносова—*прекрасною смертью*, почти такъ-же, какъ другъ Ломоносова, Рихтеръ, пораженный молнiею во время громоотводныхъ опытовъ. Вороновъ умеръ, пораженный внезапно болѣзнию въ томъ-же за-сѣданiи педагогическаго общества, въ которомъ защищалъ онъ рефератъ свой,—къ сожалѣнiю, противъ неумѣлыхъ и бездарныхъ спорщиковъ, — онъ умеръ въ бою за дѣло народнаго образованiя, которому честно и правдиво служилъ всю жизнь свою, и русское общество, русскiй народъ не забудутъ его скромной могилы...

Н. Мизантроповъ.

## ОТВѢТЪ Г. ВЕЙНБЕРГУ.

Разъясненія мои по дѣлу г. Вейнберга съ г. Благосвѣтловымъ, на-сколько они касались редакціи журнала „Дѣло“, напечатанныя въ № 321 „С.-Петербур. Вѣд.“, вызвали со стороны г. Вейнберга велерѣчивый, но совершенно голословный отвѣтъ („С.-Петербур. Вѣдом.“, № 327.) Въ отвѣтѣ своемъ г. Вейнбергъ не просто возражаетъ на мое скромное и строго-фактическое заявленіе, а является съ обвиненіемъ противъ меня и, какъ обвинитель, съ свойственною ему развязностію, не стѣсняется уже ничѣмъ: ни извращеніемъ собственныхъ писемъ, ни уличными разговорами, которыхъ удостовѣрить, кромѣ него самого, некому, ни инсинуаціями на мою зависимость отъ *патрона*, ни явными противорѣчіями самому себѣ. Наконецъ, въ заключеніе своей филиппики противъ меня онъ восклицаетъ: „Понимаетъ-ли г. Шульгинъ, въ какомъ любопытномъ свѣтѣ является въ этомъ случаѣ его *нравственное міровоззрѣніе*“?

Допустимъ, что я не понимаю, г. Вейнбергъ; но понимаете-ли вы его? Задумывались-ли вы когда-нибудь надъ тѣмъ, каково вообще должно быть *нравственное міровоззрѣніе* человѣка, всю свою жизнь явившаго между переводами Гейне и статьями Камня Виногорова, между Берне и „Варшавскимъ Дневникомъ“? Человѣкъ, котораго нравственное міровоззрѣніе уживалось со всѣми профессіями и подлаживалось подъ всевозможные оттѣнки, по меньшей мѣрѣ, долженъ былъ-бы умалчивать о немъ, а не поучать ему другихъ. Кто вамъ повѣритъ на слово, когда все ваше литературное прошлое было сплошной массой противорѣчій и виляній изъ стороны въ сторону? Если въ моихъ „доказательствахъ“

какъ выражается г. Вейнбергъ, „почти нѣтъ ни одного слова правды“, то почему-же вы, и только вы, можете говорить ее? Посмотримъ, однакожь, на чьей сторонѣ больше правды, и посмотримъ не на основаніи уличныхъ разговоровъ и голословной болтовни, а на основаніи фактовъ и уцѣлѣвшихъ писемъ г. Вейнберга.

1) Онъ съ безцеремонностію утверждаетъ, что послѣднее его письмо, при которомъ онъ выслалъ изъ Вѣны клочекъ своего перевода, было отъ *16 сентября нов. стilia*, — значить отъ *4 сентября нашего*. А между тѣмъ на письмѣ ясно обозначена имъ-же самимъ дата *16/28 сент.*, слѣдовательно, не отъ 16, а отъ *28 сент. нов. стilia*. Письмо-писано самимъ г. Вейнбергомъ и подлинникъ его хранится въ судѣ, слѣдовательно, всякій можетъ удостовѣриться въ истинности заявляемаго мною факта. Но почему-же понадобилось это искаженіе г. Вейнбергу, обличающему меня въ неправдѣ и лицемѣріи моего заявленія? Если г. Вейнбергъ способенъ извращать такіе очевидные факты, документами засвидѣтельствованные, какъ собственныя письма, то чего-же можно ожидать отъ его уличныхъ разговоровъ? Какое можетъ быть уваженіе къ слову человѣка, нестѣсняющагося писать одно, а говорить другое? Но клочекъ перевода, посланный имъ изъ Вѣны отъ 16 сент., могъ быть полученъ въ Петербургѣ только 22 или 23 сент. и, слѣдовательно, я совершенно правъ, что равнѣ половины октября онъ не могъ быть отданъ въ наборъ.

2) Что окончаніе перевода не было совсѣмъ получено отъ г. Вейнберга, это несомнѣнно подтверждается тѣмъ, что переводъ его былъ посланъ въ цензуру безъ конца, въ чемъ ему легко убѣдиться по цензорскимъ корректурамъ. То-же самое подтвердить и типографія. Выслалъ-ли г. Благосвѣтловъ окончаніе французскаго оригинала г. Вейнбергу или нѣтъ, я этого не утверждалъ и не отрицалъ, потому что мнѣ неизвѣстны были ихъ заграничныя сношенія, но я говорю положительно, что окончаніе перевода не было доставлено и, чтобы отвязаться отъ осаждающихъ писемъ г. Вейнберга, рукопись его была отдана въ наборъ безъ конца. Притомъ я могу думать съ нѣкоторою вѣроятностію, что если г. Вейнбергъ такъ внимательно относился къ своему дѣлу, что могъ затерять „по невольной оплошности“,

какъ онъ самъ сознается, въ своихъ бумагахъ часть перевода, то отчего-же ему было не затерять и окончаніе высланнаго ему оригинала? По крайней мѣрѣ, на чьей обязанности лежало разъяснить это обстоятельство, какъ не на обязанности самого переводчика? Но г. Вейнбергъ предпочелъ личному свиданію со мною или съ г. Благосвѣтловымъ, къ которому онъ обратился за-границей съ просьбой о доставленіи работы, рядъ ругательныхъ писемъ, и миролюбивому соглашенію — судъ. И онъ-же, прикидываясь казанской сиротой, обиженный и огорченный, плачется на литературныя дразги, которыя, видите-ли, отвратительны для него! Онъ бѣгаетъ по адвокатамъ, прося ихъ о защитѣ, лѣзетъ въ судъ съ дразгами, и онъ-же жалуется на нихъ!

3) Онъ ставитъ мнѣ въ упрекъ, что я называлъ его требованія *назойливыми*. Но какъ-же назвать ихъ болѣе деликатно? Оставляясь должнъ редакціи, какъ онъ самъ заявляетъ объ этомъ и въ письмахъ, и печатно, онъ въ то-же время не терпѣтъ храбрости требовать *полнаго расчета* за свою ненапечатанную и, въ моментъ требованія, даже ненабранную статью; и какъ требовать! Онъ посылаетъ г. Благосвѣтлову оскорбительныя письма въ незапечатанныхъ конвертахъ, онъ приказываетъ своему посыльному не уходить изъ квартиры г. Благосвѣтлова до тѣхъ поръ, пока ему не уплатятъ денегъ, т. е. онъ изобрѣтаетъ особаго рода экзекуцію, и, почти съ кулакомъ къ лицу, требуетъ денегъ. Какъ-же назвать, повторяемъ, такія требованія, какъ не назойливыми? Изъ какой это житейской практики и ужь не изъ собственнаго-ли нравственнаго мировоззрѣнія заимствовалъ г. Вейнбергъ такіе приемы?

4) Г. Вейнбергу хочется вернуться и отъ того факта, что онъ требовалъ *полнаго расчета* за свою работу. Но какъ-же иначе понимать буквальное выраженіе его письма: „нахожу очень нелишнимъ просить васъ (т. е. Благосвѣтлова) немедленно вручить подателю этой записки или прислать сегодня-же съ вашимъ конторщикомъ *всѣ деньги*, слѣдующія мнѣ съ васъ за работу“. Что-же это такое, какъ не требованіе *полнаго расчета* за статью, которую рассчитать по рукописи не было физической возможности? И вѣдь не такъ-же наивенъ г. Вейнбергъ, чтобы не понимать всего этого!

Теперь я спрашиваю г. Вейнберга, понимаетъ-ли онъ, въ какомъ любопытномъ свѣтѣ рисуется его классическая фигура въ этомъ дѣлѣ? И какого закала должно быть его нравственное міровоззрѣніе вообще?

Заключаю тѣмъ, что въ дальнѣйшія объясненія съ г. Вейнбергомъ я не намѣренъ вступать не только печатно, но даже на улицѣ, если-бы мнѣ, на мою бѣду пришлось встрѣтиться съ нимъ.

Николай Шульгинъ.



## СОДЕРЖАНІЕ ДВѢНАДЦАТОЙ КНИЖКИ.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Старыя гнѣзда. Романъ. Гл. XIX—<br>XXXIII. (Окончаніе.) . . . . .    | <i>А. Михайлова.</i>      |
| Неграмотный. Стихотвореніе. (Изъ<br>Владислава Сырокомли.) . . . . . | <i>Л. Трефолева.</i>      |
| Жизнь и дѣятельность Ж.-Ж. Руссо.<br>(Окончаніе.) . . . . .          | <i>С. Ставрима.</i>       |
| Жизнь. Стихотвореніе. . . . .  | <i>И. Сурикова.</i>       |
| Исповѣдь старика. Романъ. Гл. XX—<br>XXIII. (Окончаніе.) . . . . .   | <i>Иполита Нъво.</i>      |
| Герцеговинецъ въ турецкой тюрьмѣ.<br>Стихотвореніе. . . . .          | <i>В. И. Славянскаго.</i> |
| На пути въ Персію. (Окончаніе.) . . . . .                            | <i>П. Огородникова.</i>   |
| Неблагодарный. Стихотвореніе. . . . .                                | <i>Петра Быкова.</i>      |
| Красавецъ. Романъ. Гл. XX—XXVIII.<br>(Окончаніе.) . . . . .          | <i>Жюля Кларети.</i>      |
| Судьба райи. Стихотвореніе. (Съ<br>сербскаго.) . . . . .             | <i>В. И. Славянскаго.</i> |

## СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Роль мысли въ исторіи. . . . .                                  | <i>Н. Никитина.</i>      |
| Не подождать-ли отнимать? (Окон-<br>чаніе.) . . . . .           | <i>Д. Л. Мордовцева.</i> |
| Еще о Фребелѣ и дѣтскихъ садахъ. . . . .                        | <i>Б. Лемскаго.</i>      |
| Парижскія письма. . . . .                                       | <i>Анонима.</i>          |
| Новыя книги.  |                          |
| Розы прогреса (Продолженіе). <sup>1</sup> . . . . .             | <i>666.</i>              |
| Политическая и общественная хро-<br>ника. . . . .               | <i>М. Триго.</i>         |
| Калейдоскопъ. Литературныя и обще-<br>ственныя замѣтки. . . . . | <i>Н. Мизантропова.</i>  |
| Отвѣтъ г. Вейнбергу. . . . .                                    | <i>Н. Шульгина.</i>      |



**XVIII. КАЛЕЙДОСКОПЪ. Литературныя и обществен-**

**ныя замѣтки. . . . . Н. ИВАНТОНОВА.**

Нѣсколько предварительныхъ словъ.—Минувшіе экстазы, протесты и обвиненія.—Калейдоскопическій характеръ современной русской жизни.—Юноши, уличенные въ шантажъ.—Шантажъ взрослыхъ и солидныхъ людей.—Адвокаты присяжные и вольно-практикующіе. — Совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ и биржевая артель.—Борьба адвокатовъ съ литературою.—Г. Думашевскій и сто тысячъ *сриву*.—Стихотворная алегія по этому случаю.—Педагоги-классики и педагоги-музейщики. — Рефератъ А. С. Воронова въ педагогическомъ обществѣ.

**XIX. ОТВѢТЪ Г. ВЕЙНВЕРГУ. . . . . И. МУЛЬГИНА.**

**XX. ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА „ДѢЛО“ ВЪ 1876 ГОДУ.**

**ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ  
ПРОДАЕТСЯ КНИГА:**

**РУССКІЯ**

**ИСТОРИЧЕСКІЯ ЖЕНЩИНЫ**

**(Женщины до-петровской Руси.)**

Д. Л. Мордовцева. Спб. 1874 г. Осталось незначительное число экземпляровъ. Цѣна 2 р. 75 к.; съ перес. 3 р. 25 к.

При этой книгѣ помѣщены слѣдующія объявленія: 1) объ изданіи журнала „Дѣло“ въ 1876 году; 2) объ изданіяхъ редакціи журнала „Дѣло“; 3) объ изданіи журнала „Нива“; 4) объ изданіи новаго журнала „Русскихъ и переводныхъ романовъ и путешествій“ въ 1876 г.; 5) объ изданіи журнала „Русская Старина“ въ 1876 г.; 6) о подпискѣ на газету „Снѣгъ Отечества“; 7) о выходѣ въ свѣтъ „Монографій“ А. П. Пятковскаго; 8) объ изданіи „Всемирнаго Путешественника“ въ 1876 г.; 9) объ изданіи „Журнала Охоты“ и сборника „Природы“ въ 1876 г.; 10) объ изданіи газеты „Недѣля“ въ 1876 г.; 11) объ изданіи „Новороссійскаго Телеграфа“ въ 1876 г. 12) отъ банкирской конторы Д. Н. Богдановича.

При этой книгѣ прилагаются: для городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ объявленіе картографическаго заведенія Ильина; для иногороднихъ: 1) объявленіе о подпискѣ на журналъ „Дѣло“; въ 1876 г. и объ изданіяхъ редакціи журнала „Дѣло“; 2) объявленіе о подпискѣ на журналъ „Ваза“ въ 1876 г.

ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Д Ъ Л О“

ВЪ 1876 ГОДУ

принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной конторѣ редакціи (по  
Надеждинской улицѣ, д. № 39) и у книгопродавцевъ:

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ:

Въ книжномъ магазинѣ А. Ф. Базунова,  
на Невскомъ проспектѣ, въ домѣ г-жи  
Ольхиной, и въ Книжномъ Магазинѣ  
для Иногородныхъ, на Невскомъ, въ д.  
Лѣсниковъ.

ВЪ МОСКВѢ:

Въ книжномъ магазинѣ П. Г. Соловьева,  
на Страсномъ бульварѣ, въ д. Алек-  
сѣева; а также въ книжномъ магазинѣ  
А. Л. Васильева, на Страсномъ буль-  
варѣ, въ д. Шамадина.

### ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

годовому изданію журнала „ДЪЛО“:

|   |             |
|---|-------------|
| Безъ пересылки и доставки . . . . .     | 14 р. 50 к. |
| Съ пересылкою иногороднымъ . . . . .    | 16 „        |
| Съ доставкою въ С.-Петербургѣ . . . . . | 15 „ 50 к.  |

**Подписная цѣна для заграничныхъ абонентовъ:**

Пруссія и Германія — 19 р.; Бельгія, Нидерланды и Прудунайскія княжества —  
20 р.; Франція и Данія — 21 р.; Англія, Швеція, Испанія, Португалія, Турція  
и Греція — 22 р.; Швейцарія — 23 р.; Италія — 24 р.

Для слугащихъ дѣлается разсрочка, но не иначе, какъ за поручи-  
тельствомъ гг. назначеевъ.

Въ настоящемъ 1876 году продолжается подписка на второе полугодіе жур-  
нала „ДЪЛО“, съ 7 книжки по 12-ю включительно.

Редакторъ-издатель Н. ШУЛЬГИНЪ.



A-53

This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine is incurred by retaining it  
beyond the specified time.

Please return promptly.



Widener Library



3 2044 079 302 212